

Даниил Гранин

4

Даниил
Гранин

4



Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ**

Картина
РОМАН

Повести



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

ББК 84.Р7

Г 77

Оформление художника
Б. ОСЕНЧАКОВА

Г $\frac{4702010201-055}{028(01)-90}$ подписное

ISBN 5-280-00959-8 (Т. 4)
ISBN 5-289-000860-5

© Состав. Издательство «Художественная литература», 1990 г.

Картина

РОМАН

ГЛАВА 1

Дождь застиг Лосева на Кузнецком мосту. Чтоб не мокнуть, Лосев зашел на выставку. До начала совещания оставалось часа полтора. Не торопясь он ходил из зала в зал, отдыхал от московской мельтешни. После мокрых весенне-холодных улиц, переполненных быстрыми столичными людьми, здесь было тихо, тепло. Больше всего Лосева угнетало в Москве невероятное количество народу, которое толкалось в любом учреждении, у любого прилавка, в каждом кафе, в каждом сквере. Даже здесь, на выставке, несмотря на простор, Лосева все же удивляли посетители — что за люди, почему бродят здесь в рабочее время. Большей частью женщины. Тоже примечательно, поскольку и у себя в городе на культурных мероприятиях Лосев заметил, что в зале сидят главным образом женщины. И то, что в столице имело место то же явление, отчасти успокаивало Лосева, отчасти же было достойно размышления.

Он шел вдоль стен, обтянутых серой мешковиной. Грубая, дешевая материя выглядела в данном случае весьма неплохо. Что касается картин, развешанных на этой мешковине, у Лосева они не вызывали интереса. Лично он любил живопись историческую, например, как Петр Первый спасает солдат, или Иван Грозный убивает сына, или же про Степана Разина, также батальные сцены — про гражданскую войну, партизан, переход Суворова через Альпы, да мало ли. Нравились ему и портреты маршалов, полководцев, известных деятелей искусства. Чтобы картина обогащала знаниями. Здесь же висели изображения обыкновенных стариков, подростков, разложенных овощей и фруктов с разными предметами, рисунки на бумаге, множество мелких картин в простых крашенных рамах. Лосев не мог представить себе, куда они все деваются после выставки, где

находились до нее и вообще какой смысл создавать их для такого временного назначения. Музеи — другое дело, в художественных музеях Лосев неоднократно бывал, на подобных же выставках не приходилось. И сейчас он убеждался, что вряд ли от этого он что-либо потерял. Иногда, разглядывая московские витрины, он поражался количеству ненужных для него предметов. Сколько существовало ненужных для обычного человека тех же выставок, и всяких организаций, и мероприятий...

Неожиданно что-то словно дернуло Лосева. Как будто он на что-то наткнулся. Но что это было — он не понял. Кругом него было пусто. Он пошел было дальше, однако, сделав несколько шагов, вернулся, стал ози-раться и вновь почувствовал смутный призыв. Исходило это от одной картины, чем-то она останавливала. Осторожно, стараясь не утратить это чувство, Лосев подошел к ней — перед ним был обыкновенный пейзаж с речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на латунной дощечке — «У реки», ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть подробности дома и постройки. Но вблизи, когда он наклонился к картине, пространство берега со всеми деталями стало распадаться на отдельные пятна, которые оказались выпуклыми мазками масляных красок со следами волосной кисти.

Лосев попятился назад, и тогда, с какого-то отдаления, пятна слились, соединились в плотность воды, в серебристо-повислую зелень, появились стены дома, облупленная штукатурка... Чем дальше он отходил, тем проступали подробнее — крыша, выложенная медными листами с ярко-зелеными окислами, труба, флюгер... Проверяя себя, Лосев стал возвращаться к картине, пока не толкнул девицу, которая стояла с блокнотом в руках.

— Картины не нюхать надо, а смотреть, — сказала она громко и сердито, не слушая его извинений.

— Ну конечно, смотреть, вот я и засмотрелся, — простодушно сказал он. — Я плохо разбираюсь, может, вы поясните. — Это он умел, обезоруживать своей уступчивостью, открытостью.

— Что именно? — сухо спросила девица.

— Тут написано «У реки». А что за река? Как ее название?

Девица усмехнулась.

— Разве это имеет значение?

— Нет уж, вы позвольте,— поглядывая на картину и все более беспокоясь, сказал Лосев.— Очень даже имеет. Мало ли рек. Это же конкретно срисовано.

Она, снисходя, улыбнулась на эти слова, оглядела его аккуратно застегнутый костюм, галстучек, всю его провинциальную парадность.

— Ну что изменится, если вам напишут название реки? Оно ничего не добавит, это просто пейзаж.

— Как так — просто. Очень даже изменится. Как вы не понимаете!

Лосев оторвался от картины, изумленно посмотрел на девицу. Длинный свитер, короткая кожаная юбочка, прямые волосы отброшены на плечи; несмотря на свой небрежный наряд, она выглядела уверенной в себе, нисколько не чувствуя своей бестолковости.

— И так не говорят: срисовано,— поучительно пояснила она.— Это был большой мастер, а не ученик. Для него натура являлась средством, вернее поводом, обобщить образ,— тут она стала произносить еще какие-то слова, каждое из которых было Лосеву известно, но, складываясь в фразу, они почему-то теряли всякую понятность.

— Здорово вы разбираетесь.— Лосев вздохнул, показывая восхищение.— Все же хорошо бы выяснить название. Образ хоть и обобщенный, а местность-то можно ведь уточнить, как по-вашему?

— Вряд ли... Попробуйте у консультанта.

Однако консультант куда-то отлучилась. Лосев еще прошелся, проверяя другие картины, но ничего подобного той не нашел... Девица в свитере издали поглядывала на него. Он вернулся к ней.

— Концов не найдешь. Безответственный народ эти художники.

— А в чем, собственно, дело?

— В том, что незачем зашифровывать.

— Не понимаю.

Он строго посмотрел на нее, как будто она была виновата.

— Надо точно указывать в названии.

Лицо у нее от носа стало краснеть, краска разлилась по щекам.

— Какого черта вы прицепились. Ходят тут!..— с яростью прошипела она.— Оставьте его в покое. Хватит. Вам-то что? Вы же ничего не смыслите в живописи.

Что вы имеете к этой работе? Ну?.. Самое безобидное выставили, нет, опять плохо...

Какая-то жилка у нее на шее дрожала, зрачки сузились, уперлись в лицо Лосеву, так что он попятился и только на улице опомнился, стал придумывать от обиды всякие хлесткие ответы, пока не заподозрил, что гнев ее относился к кому-то другому.

После совещания Лосев остался выпросить фонды для оборудования родильного дома. Каким-то чудом, плюс его слезные мольбы, ему вдруг отвалили импортную сантехнику — голубые умывальники, голубые ванны, роскошные души, и к вечеру, придя к себе в номер, попивая чай из большого фаянсового чайника, Лосев испытывал полнейшее умиротворение, довольство собою и время от времени улыбался своей удаче. Внизу шумела улица Горького нестихающим шелестом машин. Шум этот давно стал для Лосева как бы главным звуком Москвы, и когда у себя, в Лыкове, вспоминалась Москва, то прежде всего вспоминался этот идущий снизу слитный постоянный шелест машин вокруг гостиницы «Москва». И вспоминался вот такой высокий номер с простым шкафом, деревянной кроватью и приятное чувство одиночества.

Над диванчиком висела гостиничная картина, тоже пейзаж: кусты в осеннем поле. Лосев впервые обнаружил ее, хотя жил в этом номере уже неделю. Щурясь, он разглядывал аккуратно нарисованные тени, жухлую травку, пушистые облака. Сама местность была, по-видимому, красива, а на картине получилось скучно. Вот тут Лосев и вспомнил ту картину на выставке. Разница была большая. В чем состоит разница, Лосев не сумел бы определить, странным было то, что он ощущал эту разницу.

Вместо того чтобы идти в театр со всеми участниками совещания, Лосев позвонил к Фоминым и напросился в гости. Была такая традиция — приезжая в Москву, Лосев навещал земляков. Связи земляческие он всячески поддерживал, что во многих смыслах было полезно такому городу, как Лыков, достаточно известному и тем не менее сидящему на районном бюджете.

ГЛАВА 2

Фомин был генералом каких-то инженерных служб, дома он ходил в мохнатой клетчатой куртке, тубетейке и был похож на старого профессора. Пришли еще Седовы, тоже лыковские, муж работал в Мосэнерго, жена — инженером на галантерейной фабрике. Все они покинули Лыков много лет назад, когда Лосев был мальчишкой, и познакомился он с ними уже в Москве, получив их по наследству от прежнего председателя горисполкома.

За столом Лосев, как бы между прочим, рассказал про картину на выставке. Дом, нарисованный на картине, и все расположение полностью соответствовало дому Кислых, вплоть до того, что та же крыша, тот же флюгер, спуск к речке... На всякий случай посмеивался, потому что, слушая себя, засомневался: мало ли, может, совпадение — откуда запущенное место, которое видно из окон его кабинета, могло иметь такую красоту, как на полотне?

Дом Кислых все хорошо помнили и доказывали Лосеву, что спутать его невозможно, второго такого — с медной крышей, с полукруглыми окнами — быть не могло.

— Это тебе, Степаныч, не коробочки, какие тыставишь, — сказал Фомин огромным своим голосом. — Дом Кислых — уникум. Индивидуальный проект. А знаешь, почему крыша у него медная?

Лосев пил коньяк и слушал известную ему историю про женитьбу лесопромышленника Кислых на французке, дочери фабриканта духовых инструментов, который разорился и дал в приданое медные листы и трубы для духового оркестра. С тех пор Кислых и организовал городской оркестр, тот, что играл в парке по воскресеньям. Выяснилось, что отец у Седовой играл в том оркестре на тарелках. А в революцию оркестр отправился в губернский город на поддержку пролетариата. А в доме Кислых расположился комитет бедноты. Позже там были курсы ликбеза. А потом, это уже на памяти Седовой было, там коммуна жила, коммунары. А рядом, вспоминал Фомин, стояла лавка Городилова, это при нэпе, там торговали живой рыбой в садках, а дальше тянулись яблоневые сады и там часовня святого Пантелеймона, где бандиты расстреляли партизана Мошкова...

Нескончаемый этот поток воспоминаний обычно огорчал Лосева — нынешним городом его земляки интересовались куда меньше, чем тем Лыковым, что сохранился в их воображении; они вежливо выслушивали лосевские заботы о новом роддоме или пристани, помогали чем могли, но разговор всегда каким-то образом сносило к прежним временам, когда на рынок съезжались гончары и бондари с кадушками, кувшинами, горшками, свистульками, когда перед гостиним двором устраивали смотрины невест, а на майские праздники карусели и ярмарки.

Прошное выглядело у них милым, интересным, даже грязно-белые козы на улицах и двухэтажные дома «бывших» горожан, которых, оказывается, тоже раскулачивали и выселяли, и чайные, и пожарная каланча — все умиляло их и погружало в приятную грусть.

А то, что новый универмаг с таким трудом достроили на месте разрушенной в войну петровской башни, что провели канализацию, — это их не занимало.

— Башня придавала по крайней мере облик, — говорил Фомин, — а универмаги — они всюду. Ты, Степаныч, не фырчи, ты хоть и мэр, а не в состоянии создать физиономию городу. Ты своим стандартом только уничтожать можешь. Да я тебя не виню. Известно, тебе не разрешают. Но ты тоже пойми, что при стандарте Лыкову не угнаться за новыми городами. Был Лыков на всю Россию один. Цветные открытки выпускали с видами. Теперь он — рядовой райцентр. Таких сотни. Теперь ты открытки выпустить не можешь, на этих открытках изображать-то нечего. Вот если б ты гостиный двор восстановил... Да знаю, знаю, что не мог. Хотя Поливанов жалуется на тебя, считает, что ты не добился. Но представляешь, если бы...

— И представлять не хочу, — сказал Лосев, — разве нам разместиться в гостиним дворе! Поливанову легко жаловаться, ему что, ему любоваться, а людям жить надо. Куда мне их из домов угрозы расселять?

— Нет, Поливанов прав, конный завод зачем снесли? — сказал Седов. — Какие там фигуры стояли! Наказать надо за них Рычкова, хоть он сейчас замминистра. Да так, чтобы через газету. Согласись, Сергей Степаныч, нас воспитывали в отрицании прошлого. Все старое плохо, все новое хорошо. Теперь спохватились — охраняем памятники...

— Кто твой универмаг поедет рисовать? — гремел Фомин. — А вот в дом Кислых, выходит, приезжал художник. Увековечил.

Вмешался внук Фомина, студент, он был, оказывается, на выставке и сказал, что автор картины — Астахов — художник известный, сейчас его как бы заново открыли и считают новатором, художником мировой известности, даже удивительно, с чего такого художника занесло в дыру, подобную Лыкову.

Студент явно поддразнивал их, особенно своего деда, и тот немедленно загорячился и пошел про исторические заслуги Лыкова в строительстве русского флота, про то, каким культурным центром был город еще при Павле...

— Почему был? — спросил Лосев.

— Да потому что по тем временам он выделялся, а нынче...

В другое время Лосев тоже завелся бы на такой разговор, заспорил, но сейчас, глядя на лилово-раздутую шею генерала, он смолчал. Стареет Фомин. И Седовы стали старенькие. Он увидел, какие они прозрачные, реденькие. Вместе с ними уходил из жизни домотканый городок их юности, что витал перед их умственным взором в яблонево-облаках цветущих садов. Они сохраняли Лыков, каким он был, не смешивая с нынешним; это был Лыков краснознаменный, двадцатых, тридцатых годов, полный легенд, диковинных судеб, потрясений, с митингами, запахами пороха и самогона, игрой горнистов и колокольным звоном, и в то же время тихий, зеленый, застывший.

Тот городок, который и Сергей Лосев успел захватить мальчишкой, самый малый довоенный последок.

Будь его воля, он селил бы таких стариков в своем городе, чтобы они заменяли своей памятью бывшие здания и ушедшую красоту. Он стыдился и сожалел, что раньше без расположения слушал их рассказы и не заминал для будущего.

— И что ж, Сергей Степанович, понравилась вам эта картина? — вдруг туго натянутым голосом обратился к нему младший Фомин.

Добрым, веселым лицом он был похож на деда. Однако воинственный взгляд неприятно напомнил Лосеву девицу с выставки. Почему-то этот мальчишка тоже заранее на него ошетинился.

— Понравилась ли мне? — повторил Лосев, проверяя себя.

Что-то было в этой картине странноватое, что-то ведь мешало Лосеву сразу признать дом Кислых; все похоже, а не совсем.

— Не знаю, — сказал он. — Меня лично тут привлекает, что наше захолустье отразили.

— Да, это у вас критерий... это подход, — ядовито подхватил молодой Фомин.

— Леша! — Жена Фомина, в данном случае бабушка, посмотрела на внука со всей строгостью, какую могли изобразить ее круглые смешливые глаза.

— Ничего, ничего, пожалуйста, высказывайся, мне интересно, — сказал Лосев.

Леша не сразу сообразил, каким образом все обратилось на него.

— Я могу, мне-то что... — Он по-школьному вышел из-за стола — ушастый, нескладный, в тесных голубых джинсах, засунул руки в передние карманы и от этого вернул себе некоторую уверенность. — Для меня такие, как Астахов, — гордость нашего искусства. И перед Западом, и перед кем угодно. Они опередили всех! Что, не согласны? — запальчиво спросил он. — Между прочим, революция создала и Шагала, и Филонова, и Татлина... — Подождав, скривился насмешливо. — Молчите? Правильно. Соблюдайте осторожность. Мало ли что. Все-таки Астахов официально не вознесенный, еще не утвержден...

— Я ведь, Леша, ничего такого не знаю, да и не понимаю в живописи, — как можно благодушнее сказал Лосев.

— Редкий случай! Раз вы начальник, вы должны понимать во всех искусствах.

— Конечно, я могу различить, если обобщенный образ или фотографичность. — Лосев скромно вздохнул, смеясь одними глазами. — Но дальше не берусь, мы люди темные, провинция, мы на плакатах воспитаны.

Леша напряженно засмеялся, пытаясь ухватить, шутит над ним Лосев или же всерьез, но у Лосева это распознать было нелегко.

— Какой же вы мэр, если о живописи стесняетесь судить? Может, вы и в музыке не сечете?.. Наконец-то нашелся, кто не понимает!.. Ур-ра! Знает, что не понимает!

— Этот допризывник в мой огород швыряет,— пояснил Фомин.— Так что ты, Степаныч, не увертывайся. И не подлаживайся. У нас с ним своя битва идет. Пора его в армию.

— А вы полюбуйтесь, вот что он признает.— Леша показал на застекленные гравюры с какими-то полуобнаженными красавицами и толстощеками рыцарями.— Трофейная безвкусица. У него это считается искусство, это можно вешать...

Лосев почувствовал неловкость перед старшим Фоминым. За то, что схитрил, подыграл этому пареньку. На самом-то деле Лосев о живописи не стеснялся судить. Лосев мог не понимать в химии или в астрономии, а в живописи, и в тех же памятниках, в архитектуре, когда надо было, так разбирался не хуже других, чего тут особенного, например, на смотрах самодеятельности, на всяких конкурсах — попробуй не разберись, когда проект обсуждают. Естественно, делал это с умом, сперва заставлял других высказаться, сталкивал мнения, чтобы поспорили, выявили нюансы, потом уже заключал.

— Ты, Леша, напрасно деда осуждаешь. А если ему по душе такие картины? Нельзя только свой вкус признавать,— сказал он.— Ты мне лучше объясни, как в астаховской картине в смысле соответствия натуре, что это — реализм или нет?

Но тут выяснилось, что Леша никогда в Лыкове не бывал и сопоставить не может.

— Какие же вы патриоты, внуку до сих пор родных мест не показали,— сказал Лосев,— да и сами-то, сколько лет приглашаю вас...

— Это ты прав,— сказал генерал,— вот к спасу яблочному сядем в машину и нагрянем.

И, как всегда, начались заверения и планы, чтобы всем на машинах отправиться в Лыков, а еще лучше пароходом по Плясве, не спеша, и пожить в городе недельку-другую.

— Боюсь ехать... Одно расстройство,— сказала жена Седова, незрячим взглядом смотря на Лосева.— А хорошо бы картину такую дома иметь. А то ведь ничего не осталось, ни одной вещички. Если *купить* ее?..

Слова ее почему-то взволновали Лосева. У него самого в доме никогда картины настоящей не было. Висели какие-то деревянные расписные доски из магазина «Подарки» и застекленная репродукция...

Если бы он мог рассказать им про то особенное, что было в картине, — красота и в то же время какая-то несообразность, как будто там было что-то пропущено, то, что должно было быть — и не было.

ГЛАВА 3

На другой день Лосев зашел на выставку. То есть каким-то образом он оказался на Кузнецком и зашел. То есть даже не зашел, а очутился, потому что выставка была закрыта, и он прошел случайно вместе с рабочими в синих халатах, которые выносили скульптуры, таскали ящики.

К счастью, до того зала еще очередь не дошла.

Теперь Лосев стоял в этом зале один. Стучали молотки, с визгом волокли ящик по полу. Деловой этот шум несколько не мешал.

На картине, несомненно, был изображен дом Кислых в Лыкове. За ним слева, в дымке, проступала каланча. Нечетко, но все же. Нельзя представить, чтобы все так сошлось с другой местностью. Дом Кислых изображен был со всей точностью, во всех деталях.

Свет падал на картину сбоку, переходя в нарисованные золотистые потоки лучей, что косо упирались в реку, вода светилась им навстречу изнутри, коричнево. У самого уреза воды лоснились чугунные тумбы... С прошлого раза картина словно бы обрела новые подробности... Из раскрытого окна второго этажа вздувалась занавеска. На реке же, в тени нависшей ивы, поблескивали бревна гонки, один раз между ними привиделось что-то белое, но стоило Лосеву сдвинуть голову — это исчезало, терялось в тени. Он и так и этак отклонялся, ища точку, откуда можно рассмотреть этот предмет. Однажды ему показалось, что там мальчишка купается, держится за край гонок, выставив голые плечи... Гонки, длинные связки бревен, что гнали по Плясве сплавщики в резиновых сапогах и коробчатых брезентовых плащах. Горячие от солнца, липко-смоляные бревна, связанные венцами, медленно плыли мимо дома Кислых, мимо городка, и так сладко было лежать на них, болтая ногами в речной воде, где морщилось отраженное небо и заставленные лодками берега. Картина возвращала его в давние летние утра его мальчишеской жизни. Никаких прямых обозначений года в картине не

было. Тем не менее он убежден был, что это были времена его детства, он узнавал краски и запахи, тогда цветы пахли сильнее, леса были гуще, хлеб был вкуснее и каждая рыбина, пойманная в Плясве, была огромной. Он скорее угадал, чем увидел тропку напрямки через огороды к их дому. Впервые он вспомнил про Галку из их компании и Валюшку Пухова, что потом служил в милиции где-то на Дальнем Востоке. Вспомнилось, что там, рядом с Галкой, жили тогда они семьей в мезонине поповского дома, теперь давно уже снесенного. Прямо по тропке, через поваленный плетень, через мощенную булыгой старую дорогу, по дощатому тротуару, мимо гаражей, где стояли полуторки и районная эмка и вкусно пахло бензином... Он услышал голос матери, оттуда, из-за высокой зелени деревьев — «Сергей!» — и привычно побежал к нему, в глубь этой белой рамы, в глубь этого чудом сохраненного детского дня, казалось бы, навсегда пропавшего, забытого, а нет, вот он блещит, играет, плещется, наполняется звуками мелкими, которые он слышал только тогда, мальчишьям ухом: сухой треск кузнечиков, шлепанье лягушек, дальний визг пилорамы.

Было чудо, что художник поймал и заключил навечно в эту белую рамку его, Лосева, воспоминание, со всеми красками, запахами, теплынью.

Никогда он и не подозревал, что городок его может быть таким красивым, особенно это место, неблагоустроенное, насчет которого существовали всякие планы, которое несколько лет уже числилось пятном застройки.

Темно-синие халаты надвинулись, заслонили, отсекали Лосева, того, что был там на реке, от его тела, которое стояло в зале и смотрело, как рабочие снимают со шнурков картину.

Потом Лосев прошел в дирекцию узнать, как приобрести картину для Лыкова. Нельзя ли, например, оформить по безналичному расчету на Дом культуры. Выяснилось, что картина взята из собрания вдовы художника. Так что о безналичном расчете речи быть не могло, да к тому же известно, что вдова продает неохотно. Телефона у нее не было, Лосев выпросил ее адрес и в последний день командировки поехал на такси в Кунцево.

По дороге он купил торт и какие-то толстые желтые цветы на три рубля.

Дом был панельный, без лифта, квартира на пятом этаже. Дверь ему приоткрыли на цепочке не разобрав кто, и он должен был в пахнущую луком щель объяснить, что ему надо. Впрочем, он не стеснялся. Он был уверен, что все получится, поскольку дело его ясное, непреложное и он явился не сам по себе, не как частное лицо. Это всегда действовало на людей.

Вдову художника звали Ольга Серафимовна. Она протянула Лосеву большую белую руку, привычно выгнув кисть, как для поцелуя. Насчет поцелуя он сообразил потом, пожав ее руку. Это был первый промах. Следующий был цветы. И уж полный конфуз вышел с тортом.

— По какому поводу? — громко спросила Ольга Серафимовна. — Чтобы уговорить легче? И торт? Вы что же, надеетесь, что я вас чаем поить буду?

Она была величественной, огромной, слово «старуха» к ней не подходило, хотя ей перешло много за семьдесят. Седые пышные волосы горели над ней серебром. Она восседала за столом, накрытым желтой плюшевой скатертью, положив перед собою красивые сильные руки, которые не испортили ни годы, ни работа.

— Виноват, Ольга Серафимовна, действительно, неудобно, вроде как на чай набиваюсь, — удивился Лосев. — С другой стороны, я от души.

— И вот что, вы не разыгрывайте мужичка.

«Ну и режет, — восхищенно подумал Лосев. — Королева. Форменная императрица».

— Кто знал, что вы такая, — сказал он. — Однако цветы, они не подсудны, мы уж их в вазочку, все же три рубля плачено. — В таких случаях он упрямо держался начатого, не позволяя себя сбить. И пошел на кухню, налил воды в какую-то вазу, вернулся, поставил ее в сторонку на самоварный столик, при этом быстро, чтоб не прервали, нахваливал выставку, нахваливал по-простецки, словами самыми неумелыми, чтобы получалось смешнее, да еще пуская в ход свою белозубую улыбку с подмигом, отчего все двоилось и становилось непонятно, кто над кем смеется.

А квартирка была малогабаритная, потолки два пятьдесят, давно не отремонтированная, на потолке трещины, мебель послевоенная — фанера. По нынешним требованиям, не то чтоб скромно, а бедновато. Было вообще странно видеть в *такой* квартире такую старинно-барственную женщину, как Ольга Серафимовна.

Шуткам смеялись. В углу, закинув ногу за ногу, в вельветовых штанах, в малиновом бархатном пиджаке, сидел, попыхивая трубкой, Бадин, смуглый, похожий на индейца, тот, который открыл Лосеву дверь. Стеснительный и в то же время желчный, с речью запутанной.

На стенах висели рисунки, сделанные тонкой черной линией, как потом узнал Лосев — пером: голая женщина с роскошной грудью, большими ногами, большим задом изгибалась, лежала в разных позах, стояла на коленях, играла с собакой. Лицо обозначено было намеком, так что не поймешь, чем именно напоминала она Ольгу Серафимовну, но тем не менее это была она, и, сообразив это, Лосев смутился.

— Узнаете? — сразу спросил Бадин.

— Чего ж не узнать, — сказал Лосев, — вылитая Ольга Серафимовна.

Она милостиво улыбнулась и чуть расправила плечи, как бы разрешая себя сравнивать. Лосев подумал, как хороша была она всей своей крепкой бабьей фигурой и ничего стыдного в том, что голизна эта тут висит, нет. От того, что рисунков было много, от этого не было нехороших мыслей, а видно было, что художник любовался ее телом и жадно рисовал ее по-всякому.

Про Лыков она впервые слышала, с Астаховым она сошлась в войну, у него были до нее другие жены и у нее мужья. Под иконой, чуть сбоку, висела ее фотография с Астаховым, старым тяжелым толстяком с базедово выпученными глазами.

— Это он мне таким достался, — сказала Ольга Серафимовна, — раньше-то он был гусар. — Она кивнула Бадину, и тот достал потрепанный каталог выставки двадцать шестого года. На первой странице была фотография Астахова в белой блузе, стройного, с усиками, с длинными, по-нынешнему, волосами. Глаза его блестели, казалось, что он сейчас подмигнет.

— Первая и последняя его персональная выставка, — сказал Бадин. — Где все начала и концы... Восторги родили страх... с тех пор не разрешали.

На картинах были толпы людей, лошади, стиснутые коридорами улиц, какие-то смутно-знакомые лица, очертания ленинградских набережных и на них конница с пиками и трубачи...

Картины «У реки» там не было. Бадин сказал, что она написана позже, в тридцатых годах, и показал дру-

гой каталог ленинградской выставки к юбилею Октябрьской революции.

Черно-белая фотография сделала картину неузнаваемой, дом Кислых и места вокруг дома стали, наоборот, куда натуральнее, совсем похожими на существующее положение.

— Ах, вот эта, — сказала Ольга Серафимовна. — Так вы полагаете, что это ваше Лыково?

— Лыков, — вежливо поправил Лосев.

— За эту картину ему тоже попало, — сказал Бадин и посмотрел на Лосева с укором.

— Почему же?

— Не актуально-индустриальна. Аполитичный пейзаж. Тогда вменялось. Тут еще субъективизм... воспевание прошлого... Заодно с Кориным. Но за эту картину особо. Формализм.

Лосев сочувственно ахал, качал головой.

— «Бубновый валет» не могли простить! — уличающе сказал Бадин. — Представляете? — и засмеялся, наставив на Лосева мунштук трубки.

— Лыков, Лыков, — повторяла Ольга Серафимовна, вслушиваясь.

— Картина тридцать шестого, тридцать восьмого года, но он тогда ездил мало, — сказал Бадин, — разве что в Карелию.

— Ах, Бадин, вы не знаете, ведь он после Кати вытворял черт знает что, — с какой-то тоской сказала Ольга Серафимовна. — Помните, крышу разрисовал у Грабаря.

— Кажись, это раньше было... — мягко попробовал было Бадин, мучаясь от того, что ему приходится поправлять ее.

— Слышите? — Ольга Серафимовна слегка повернула голову к Лосеву. — Искусствоведы лучше меня знают. Теперь многие лучше меня про него знают. А что, может, и знают... Я ведь не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним десять лет. Какая я вдова — я наследница, я владелица... Бадин, вы не возражайте... Есть женщины, которые вдовы лучше, чем жены. Воспоминания пишут... А я... Лыков... — Она прикрыла глаза.

— Может, он что рассказывал? — спросил Лосев.

Ольга Серафимовна посмотрела на него словно издали.

— Где это?

Он объяснил, не вызвав у нее никакого интереса. Бадин, который, кажется, был специалистом, писал статью или же книгу про Астахова, тоже ничего не мог пояснить: когда художник был в Лыкове, зачем, имелись ли у него там родственники, друзья? Почему он выбрал дом Кислых? Ничего другого, а именно этот дом? Может, у него с этим городом что-то связано?

— Так что вам, дорогой товарищ, задание от нашей лыковской общественности, уточнить происхождение этого пейзажа и тем самым ввести в историю живописи наш город, — сформулировал Лосев и подмигнул.

Тем же шутейным тоном он попробовал выяснить, как теперь расценивается картина в смысле претензий к ней, в свете, так сказать, прошлой критики, поскольку она ныне всенародно выставлена, и заодно относительно непосредственно денежной цены. Он был поражен, когда Бадин, которому Ольга Серафимовна каким-то малым движением головы перекинула этот вопрос, назвал полторы — две тысячи рублей.

— Это вы как... серьезно? — не удержался Лосев.

Бадин посмотрел на него как на человека, произнесшего что-то неприличное, и спросил, а во сколько он, Лосев, оценивает картину, из чего исходит при этом, из каких цен.

— Две тысячи?.. — Не то что для себя, для города Лосев не мог позволить, ни по какой статье не мог протянуть такую сумму.

— Не кажется ли вам, Сергей Степанович, что цена может быть и три тысячи. И пять! Смотря чья картина, какая, — с некоторым усилием сказал Бадин, показывая, что денежные эти дела, которые его заставляют вести, ему неприятны.

Так-то так, но должны быть расценки, прейскурант, что ли. Иначе произвол. За что, спрашивается, заламывают такую сумасшедшую сумму? — возмущался про себя Лосев. Бесконтрольность! Какое право имеют, тем более что картина по сути — национальное достояние, а не личное. К тому же этот Астахов, может, в один день ее нарисовал и раскрасил.

— Если б я был знаток, — Лосев понеуклюжее развел руками, — я почему ахнул: по нашей пошехонской жизни цифра больно гигантская, я себе такого не представлял.

Даже если они назвали с запросом, все равно много не уступят.

— Я-то мечтал — для города нашего... Этот дом Кислых у нас достопримечательность. Да и вообще, такой случай, в кои веки... Я уверен, что товарищ Астахов, будь он жив, он бы иначе отнесся к нашей просьбе.

— Не надо, прошу вас. — Ольга Серафимовна поморщилась. — Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк отдавали?.. А теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.

Лосев неожиданно покраснел, густо налился багровым.

— Между прочим, если вы про войну, так я по эшелонам с мамкой ходил, соль выпрашивал, потом на лесозаводе вагонетки катал, вот где я был. Так что, Ольга Серафимовна, историю не будем трогать. Я полагал, что вас, кроме денег, интересуется пропаганда вашего супруга как художника. Вы имеете в нашем лице, может, единственную ситуацию.

Слушала его Ольга Серафимовна пренебрежительно, с какой-то посторонней мыслью в глазах, а Бадин наслаждался, пуская клубы душистого дыма. Коробка с тортом так и стояла неразвязанной на столе. «Возьмите ваш торт», — скажет брезгливо эта барыня вдогонку. Сейчас Лосева уже не так картина занимала, бог с ней, а обидно было уйти со смешком вдогонку, с этим тортом дурацким. Не привык Лосев, чтобы его высмеивали, да и не за что.

— Интеллигенция русская для народа, для просвещения жертвовала жизнью всей... эх, да что говорить. — Он махнул рукой, не желая объяснять. — Мы, конечно, живем в глуши, мы и без того во многом обездолены. Я не в порядке жалобы, но позвольте спросить, почему все только в Третьяковскую галерею? Почему сюда все — и выставки, и апельсины, и французские духи. У нас ведь тоже вкалывают, и тоже Россия. Между прочим, у нас в садах на скамеечках днем козла не забивают.

Он посмотрел на Бадина с надеждой найти поддержку у этого вполне современного и, видно, образованного человека с лицом благородного и справедливого индейца.

— И на основании этого вы решили, что Ольга Серафимовна должна вас задешево обеспечить живописью, — непримиримо сказал Бадин. — Духовными апельсинами. В награду за ваше провинциальное благо-

нравие? Вот вы ссылаетесь на пропаганду. Как же, мол, так и почему...

Откуда у них была эта враждебность, как будто им кто наговорил на Лосева, как будто он чем-то виноват перед ними всеми — и перед той девицей, и перед Лешей, и вот перед этим роскошным индейцем, который удобно покачивается на своей пружинистой вежливости, в своем бархатно-малиновом пиджаке и вельветовых штанах.

— Я, например, считаю, — рассуждал Бадин, — что пропагандировать картину, а тем более настоящего художника, незачем. Вы сделайте его доступным. Вы ему не мешайте. И все. Люди без вас разыщут талант. Не надо гнать к нему все эти стада туристов. Этому туристу охота в Лужники смотаться, а его тащат к Врубелю.

— Правильно делают, что тащат. Он ведь сам не пойдет, его обязательно подтолкнуть надо. Пусть один из десяти, но загорится... Нет, тут мы с вами не сойдемся.

Лосев даже хлопнул по столу, не удерживая себя. Уходить — так с треском. Сам уйдет, и торт под мышку, но прежде он им выложит. Жаль, что Ольга Серафимовна не слушает, до нее не достигает, серьги ее висели неподвижно, лиловый свет их звездно мерцал, и сама она пребывала сейчас среди звезд.

— На разных мы позициях с вами, — еще громче сказал Лосев. — Не настаиваете вы, чтобы народ картины смотрел, не нуждаетесь в этом. А художников вы спрашивали? Жаль, что они не слышат ваших рассуждений. Ручаюсь — они бы вам сказали кое-что...

Стоило ей чуть двинуть плечами, наклонить голову, и сразу спор оборвался. Никаких усилий она не проявляла, только спросила раздумчиво:

— У вас что, музей имеется? Галерея?

— Какой там... Так, краеведческий мечтаем, на общественных началах. Не положено нам.

— Где ж вы ее собираетесь повесить?

— Это не вопрос, — загораясь надеждой и потому с бравой солдатской готовностью отвечал Лосев. — Можно в Доме культуры. А еще лучше в горисполкоме. В зале заседаний, там надежнее, да и свету больше.

— Для зала она маловата, да и вряд ли уместна, — деликатно подсказал Бадин.

Лосев пересилил себя, согласился, как бы обрадованно:

— Это вы верно подметили. Ну что же, можно даже в кабинет ко мне, то есть председательский.

— Дожили. Вот, Бадин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Знал бы Астахов. Честь-то какая.— Ольга Серафимовна говорила медленно, без всякой насмешки.

— Почему ж вы так... Чего ж тут зазорного. Горисполком — это самый центр. Все приходят. Власть у нас народная. У нас к председателю попасть запросто.

Чем-то ему удалось задеть ее, так что она снизошла, опустила на него свой взгляд, и на Лосева словно дохнуло теплом — столько сохранилось еще чувства в этих поблекших глазах. Воспоминания словно разворошили подземный утухший жар. А глаза у нее, в обвисших морщинистых мешках, оставались узкие, с длинным, чуть выгнутым разрезом, который мог полоснуть по сердцу.

— Народ-то к вам, гражданин начальник, в кабинет идет не картину смотреть. Наверняка жилье просят, на дураков жалуются, в очереди томятся. Я, милый мой, по этим приемным насиделась. Не до картин было. Как топтать его стали, как поносить, чуть ли не диверсантом. Вот и доказывай. Господи, какими словами называли его, а теперь вы торгуетесь...

Вот оно что, подумал Лосев, вот оно в чем дело, вот где место больное, ему даже легче стало от того, что лично он, значит, был ни при чем, они соединяли его со всеми теми, другими, видели в нем тех, кто Астахова обижал. Первое, что хотелось, — откреститься: с какой стати ему отвечать за чьи-то древние глупости, за непонятные страхи неизвестных ему деятелей, всяких перестраховщиков, горлодеров. Невежд мало ли было... Был его предшественник Курочников, который из всей музыки признавал баян, на аккордеон уже бранился — «растленное влияние Запада».

А все же стыдно было отрешиваться и от Курочникова, и даже от тех неведомых начальников, что когда-то терзали Астахова. Не потому, что он их оправдывал, нет, тут было что-то другое.

— Что было, то было. Наверное, виноваты перед вами, Ольга Серафимовна, — сказал он, подставляя себя под ее взгляд. — Не нами началось, да на нас оборвалось.

Помолчали.

— У меня из Ленинграда Дворец культуры торговал большую картину для фойе,— вдруг вспомнила Ольга Серафимовна.— И то не согласилась. С мороженым чтоб гуляли мимо. Зачем? Бог с ними, с деньгами, верно, Бадин?

— Да, да, конечно,— сказал он, глядя на нее с гордостью.

Расшатанный стул скрипел под Лосевым. Вся эта ее фанаберия показалась вдруг подозрительной: что, как они оба попросту набивали цену? И она, и этот Бадин, который, поучая и оправдываясь, сообщал, сколько стоят картины известных художников, называя прямо-таки бесстыдные, диковинные цифры. Причем из года в год они росли. К тому же он положил перед Лосевым большую иностранную книгу, где были французские, итальянские пейзажи и наряду с прочими напечатано было маленькое фото картины «У реки». Получалось, что картина эта известная, каталожная, как выразился Бадин. Но Лосев, который понимал, что все это показывают ему не зря, прилип к этой фотографии. Смотрел и смотрел, и улыбался, и ничего не мог с собою поделать. Подумать только, что Лыков существовал в равноправном соседстве с известными французскими соборами, итальянскими улочками, бульварами, белоснежными городками на средиземноморском побережье — ничуть не хуже. Соседство это волшебным образом преобразило, подняло дом Кислых, превратило его чуть ли не в замок. Он как бы увидел через это фото свой городок так, как его рассматривали в этой книге другие люди.

Рублей на восемьсот, пожалуй, он рискнул бы оформить, в крайнем случае сотню еще накинул бы из своих, кровных. Мог он позволить себе сделать такой дар городу? Своими репродукциями Бадин раззадорил его, умысел этот Лосев, разумеется, усек, ну и наплевать, ему уже трудно было отступить.

Теперь, когда он увидел, что означает настоящая картина, что она состоит на учете во всем мире, что известно, где она находится, кому принадлежит,— ему во что бы то ни стало захотелось приобрести ее для города. Одно дело строить роддом или почтамт, или, наконец, канализацию — в этом и кроме Лосева найдутся раде-тели. Главврач, например, считает, что это он завел, запустил Лосева на строительство роддома... Какой примечательностью отметил Лосев свое пребывание на посту? Памятник партизанам, что поставлен в сквере? Бе-

тонные эти солдаты с бетонными детьми, сделанные на заказ столичными ваятелями, которые аж булькали от своей смелости, да и сам Лосев готов был биться за них, но биться было не с кем, памятник получился скучный, некрасивый. Трогательна только надпись внизу, которую сочинил Сотник, редактор газеты. Что еще останется? На ум попадались какие-то незначащие мелочи... Картина же была бы чем-то особым, целиком и полностью связанная со старанием Лосева, ни с кем больше; на первый взгляд диковинная инициатива, совсем в стороне от прямых функций руководителя города, но Лосев знал, что такие, не входящие ни в какие параграфы поступки навечно закрепляются в памяти городского населения.

Девятьсот рублей — крайняя цена, которую предложил Лосев, отбросив объяснения. Напрасно Бадин страдал и морщился от этой торговли. Скупился Лосев, но не свои берег, а государственные финансы. Лично Бадина с его интеллигентностью Лосев дождал бы, смущала своей надменностью Ольга Серафимовна, она смотрела на него и не смотрела, слышала и не слышала, затишье ее узких глаз ничем не нарушалось. Она восседала на своем рваном кресле, как на троне. И Лосев, который по должности своей общался и с большими людьми, и даже с такими, слово которых меняло судьбы целых предприятий, тысяч людей, тут почему-то оробел. Никак не мог повторить своей цифры. Запущенная эта квартира, с облупленными дверьми, трещинами на потолке, расшатанным паркетом, не принижала Ольгу Серафимовну, не делала ее бедной. Та бедность, которая поначалу бросилась в глаза Лосеву, ощущалась сейчас по-иному. Старенькая мебель, выгорелые обои — все как бы не имело значения. И даже какой-то шик пренебрежения был в этих облупленных фанерных дверях. Из бывших она, предположил Лосев, из аристократов, что ли, и тут же удивился своему предположению, потому что аристократка — казалось бы, наоборот, — привычна к роскоши. Графиня, баронесса... Но почему-то это ей не подходило. А может, так было принято у художников. Может, это у нее от Астахова, от той жизни, когда Астахов расписал кому-то крышу. И, наверное, мог выкидывать еще какие-то номера...

Он пожал плечами, спросил смиренно:

— Кому ж, Ольга Серафимовна, эту картину предназначаете?

— Если в хороший музей... Я прибалтам отдала, помните, Бадин, они сколько могли, столько дали.

На это Бадин неодобрительно пробормотал, что напрасно она продешевила, не потому ли прибалты одну картину выставили, а вторую в запаснике держат.

Через комнату неслышно прошла совсем древняя, легкая, как засушенный цветок, старушка и за руку провела мальчика, тоненького, большеглазого. Ольга Серафимовна поднялась:

— Вы извините.

— Что вы, это вы меня извините.— Лосев встал, вдруг шагнул к Ольге Серафимовне, взял ее за руку.— Пожалуйста, хоть на минутку взглянуть напоследок...— Он и к Бадину тоже обернулся просительно.— Я не задержу.

Ольга Серафимовна повела плечом надменно, как бы — «О господи, что за настырность...» Но не отказала, и Бадин достал картину с антресолей, поставил на стул.

ГЛАВА 4

Снова из глубины картины к нему слабо донесся голос матери: «Серге-ей!» и еще раз: «...е-ей!»

...А под ивой, за корягой жили налимы, их надо было нащупать там и торкнуть вилкой.

Счастье какое услышать снова певучий ее голос.

...А в доме Кислых был зал, где плиткой было выложено море и парусники. Многие плитки были разбиты, выдраны, но море еще угадывалось. Дом в те годы стоял пустой, с выбитыми окнами, они забирались туда, и Лосев подолгу смотрел на море, дорисовывая на выщербленных местах линкоры и рыбацьи сейнеры. В доме жили белые пауки, пахло углем. И пахло рекой. А на реке пахло бревнами, дымком от шалашей плотогонов, пахло тиной и ряской, пахло осиной старое корыто, на котором они по очереди плавали по реке. Запахи эти ожили,дохнули из глубины картины. Запах горячих от солнца чугунных кнехтов, старого причала.

К нему вернулся тот огромный мальчиший мир, шелестела листва, была жива еще мать. Лосев ощутил на голове ее маленькую жесткую руку.

— Какое у вас лицо...

Они внимательно смотрели на него, Ольга Серафимовна и Бадин.

Лосев провел рукой по лицу, он не понимал, чего они уставились, вместо того чтобы смотреть на картину.

— Я ведь вырос тут. — Он показал рукою в картину, в самую ее зеленую ольховую глубь.

Они переглянулись. Ольга Серафимовна улыбнулась.

— Ничего нет смешного, — высоким голосом сказал Лосев. — Для нас тут не просто картина. В музее ей, известно, будет слава, марка, почет и все прочее. Только музею все равно, какая картина. Для них что эта, что та. А мне... На данный вид у нас свое право. Тут все сохранилось соответственно натуре. Приезжайте, увидите.

Ольга Серафимовна все еще всматривалась в него.

— Не связывайтесь вы с ней... — вдруг проговорила она быстро, тихо, как бы сквозь зубы. — Хлебнете... зачем вам... картины, они требуют... они мне всю душу... — И дальше он не разобрал, а переспросить не решился.

Лицо ее побелело, замерло, как бы удерживая что-то. Лосев поспешил заговорить погромче, повеселее, делая вид, что ничего не произошло.

— В самом деле, приезжайте. Через месяц наибольшая красота пойдет. Дайте телеграмму, я вас встречу. Хотите на лошадях встречу? Точно, на лошадях...

Чем еще он мог прельстить столичных жителей?

— Не усердствуйте... никуда я не езжу, — охладила его Ольга Серафимовна. — Ноги у меня болят.

— Эх, жаль, а то могли бы сравнить, для истории вопроса... — Он направился к вешалке в переднюю. На счет же торта, он попросит оставить мальчику, но Ольга Серафимовна не двигалась, она стояла, перетянув на груди концы платка, и смотрела не на картину, а куда-то за нее, так же как до этого смотрела не на Лосева, а в то пространство, что находилось за ним.

— Что ж у вас и дом этот стоит? — спросила она.

Лосев обернулся, снова услышал в утренней тиши скрип флюгера, пересвист малых городских птиц, визг лесопилки, мычание коров, потому что до войны в Лыкове еще держали коров. Звуки были такие явственные, что, казалось, и Ольга Серафимовна, и Бадин должны были слышать.

— Дом стоит, и обе ивы. Разрослись, конечно.

— И крыша такая же?

— В точности. Она медными листами выложена. Был такой лесопромышленник...

Недослушав, Ольга Серафимовна кивнула.

— А в Москве от пречистенских домов ничего не осталось. Переулки на Арбате тоже снесли. Хожу по чужому городу... Видите, Бадин, они вот сохранили все.

— Не уверен, что они специально берегут.— Бадин вопросительно подождал.— Вероятно, так совпало случайно.— Он деликатно обратился к Лосеву, но тот не согласно хмыкнул.

— Все равно, Бадин, это редкость,— проговорила Ольга Серафимовна. Она смерила Лосева очнувшимся взглядом.— Какой вы были...— и засмеялась не ему, а кому-то неведомому.— Я бы вам дала ее так...

— Что значит так...— повторил Лосев, замирая.

— Если вы опять дарить собрались, Ольга Серафимовна,— ласково-успокаивающе сказал Бадин,— то прошу не торопиться, не тот это случай, верно ведь, Сергей Степанович? Почему вы должны благотворительностью заниматься? Да и не нуждаются они, это же *город*.

— Не спорьте, Бадин.— Она капризно поморщилась.— Да чего тянуть... Нет, нет, видал, какое у него лицо было,— и опять засмеялась чему-то.

— Вы коллекционерам отказываете, а у них хоть в сохранности будет,— загорячился Бадин.— Вы ради бога простите меня, Сергей Степанович, но согласитесь...

— Не нравятся мне коллекционеры,— сказала Ольга Серафимовна.— Тесно у них. Навешают кому с кем выпадет, как на кладбище. Давайте, голубчик, я вам надпишу.

Лосев проворно достал шариковую ручку, но Ольга Серафимовна заставила Бадина принести фломастер и на подрамнике косым ровным почерком начала: «От Ольги Астаховой, в дар...»

— Могу вам,— сказала она озорным молодым голосом.

— Нет,— сказал Лосев, чуть запнувшись, и, перебивая себя:— Нет, вы городу Лыкову, так и напишите.— Он почувствовал, что краснеет.

«...в дар городу Лыкову», поставила число, подписалась.

В этот раз Лосев взял руку, не пожал, а, подняв ее к себе, долго поцеловал, испытывая от этого удовольствие.

Бадин молча закладывал картину толстыми картонами, перевязывал, потом сунул в коричневый бумажный конверт, и все это еще в целлофановый мешок.

Только на улице Лосев опомнился. Картина была воздушно-легкой, не то что невесомой, — она обладала подъемной силой, так что он плыл, еле касаясь земли.

У стоянки такси его нагнал Бадин.

— Сразу не распаковывайте, — заговорил он, запыхавшись. — Пусть сутки постоит в помещении.

На все его наставления Лосев невпопад кивал, потом спросил:

— Послушайте, о чем Ольга Серафимовна... вроде как предупреждала?

— Это у нее теория. Есть картины, которые влияние оказывают на судьбу...

Лосев счастливо засмеялся и сказал, какая замечательная женщина Ольга Серафимовна. На что Бадин рассказал, как она в эвакуации все картины Астахова спасла, на себе тащила, чемоданы свои бросила, а картины тащила, на детской коляске везла, хотя полагала, что мазня, поскольку многие так считали, во всяком случае, понятия не имела, что́ они значат.

— Ей орден надо, — восхитился Лосев.

— Деньги ей нужны, — сказал Бадин. — Пенсия у нее мизерная. Тетку она содержит, кучу родных.

— Я же ей предлагал, сколько мог. Если она задаром решила, значит ей приятней. Так что вы напрасно. Мы, со своей стороны, грамоту ей дадим. Можем в санаторий ее пригласить. У нас есть, республиканского значения... — Он успокаивал Бадина, почти не задумываясь, щедро, однако не обещая ничего лишнего.

— Боюсь я, — сказал Бадин. — Боюсь! Затеряется картина, понимаете, в одиночку настоящая картина не может существовать. Она как муравей... Сгинет... Ей нужна среда, то есть художественный организм, собрание... Обычная наша нелепица — либо рыбку съесть, либо раком сесть.

Один глаз у него был печальный, в тесноте припухших век, а другой смотрел строго, обвиняюще.

ГЛАВА 5

В Лыкове картина не произвела впечатления. Виноват был сам Лосев, он сразу понял свою ошибку: сперва надо было дать людям полюбоваться картиной, расска-

зять про художника, про его вдову, про выставку, заинтересовать всех. Вместо этого он начал с того, что назвал цену, похвастал стоимостью. Редактор газеты Сотник, за ним прокурор заахали, узнав про две тысячи рублей, и все приготовились к чему-то необыкновенному, а тут и размеры оказались малые, и рамка копеечная, главное же — вид, то есть содержание, известное. И задаром, любуйся — не хочу. Весь дом Кислых таких денег, может, нынче не стоил.

Промах был непростительный, уж кто-кто, а Лосев умел подготавливать мнение, любое новое дело следовало всегда тщательно подготавливать. Надо было рассказать им про иностранную книгу с фотографиями, всемирную в некотором роде славу, то есть известность, которой, оказывается, пользуется давно Жмуркина заводь, хотя даже специалисты не знают, что за местность у Астахова изображена. Придется еще доказывать, что это наш город. Спорность лучше всего могла подействовать и вызвать патриотическое чувство, свойственное всем лыковцам. Получилось же все иначе, никто уже не слушал, что картина городу подарена, а твердили про неслыханные цены, кто, мол, может нынче платить такие деньги и за что. Стараний Лосева в приобретении картины не отметили, никто не спросил, каким образом ему удалось добыть это художественное сокровище. Лосев обиделся, прицепился к какому-то замечанию, вспылал, накричал. Хуже всего было, что никто не понял, с чего это он завелся. Вышло неловко. Впервые он как-то утерял контакт с людьми, которых знал много лет, со своими замами, заведомыми, которые всегда понимали его и он их тем более. Они смущенно разошлись, обиженные на него, и у него на них осталась обида.

Все было испорчено. Он сунул картину в пластиковый мешок и закрыл в шкаф.

Военком Глотов попробовал потом как-то загладить, сказал, что в смысле техники и сочетания красок вещь, конечно, достойная большого мастера, но содержание не очень выгодно показывает город, пусть даже с точки зрения исторической. Тем более если взять перспективу нового города. С другой стороны, картину, разумеется, нельзя было упустить...

Наголо обритый, широкий, тяжелый, налитый до краев мощью, военком и двигался осторожно, и говорил, сдерживая свою неразборчивую силу. Слушая его при-

тишенный голос, Лосев поостыл, удивился себе: оказывается, никто его самого-то не осуждал, а все прохаживались насчет картины. Он же признавал так, словно бы это шло в его адрес. Правда, спустя неделю на бюро горкома секретарь упрекнул руководителей комсомола: что вы все на средства ссылаетесь, иногда и без всяких средств можно добиваться, сумел же Лосев приобретение для города сделать.

...Пришли вагоны с оборудованием для роддома. Лосев лично следил за разгрузкой, чтобы не побили, не растащили. Все любовались светло-голубыми раковинами и массивными никелированными кранами и всей отлично сделанной, смазанной, щедро упакованной арматурой.

Потом надо было договариваться о второй очереди работ по канализации, наводнение повредило фундамент насосной станции, надо было срочно добыть деньги, материалы — словом, когда к нему обратились учителя Первой школы Тучкова Татьяна Леонтьевна и Рогинский Станислав Иванович, Лосев не сразу вспомнил, куда он подевал картину, и было неудобно оттого, что он долго рылся на верхних полках, наконец вытащил ее из-под рулонов, с самого дна шкафа.

Он поставил ее на стул, в стороне у окна, сам же отошел к столу перебрать почту, поговорил по телефону, никак не обращая на них внимания, не желая выслушивать их суждений. Рогинского он изредка встречал по общественной линии как лектора на моральные темы. Тучкову же знал плохо. Кажется, она преподавала рисование. Так он понял из ее сбивчивого бормотания в приемной, когда она, пылая, объясняла, почему им надо посмотреть картину.

Недослушав, Лосев согласился, щадя ее стеснительность. И было странно, что Рогинский тоже косноязычно хмыкал, несмотря на свой лекторский навык, японский зонтик и модно-окладистую бородку, из-за которой в недавнем прошлом у него происходили бурные объяснения с начальством.

Они оба волновались, и Лосев, чтобы их не смущать, старался не смотреть, как они передвигали стул с картиной, чтобы не отсвечивало, тихонько переговаривались. Занятый телефонным спором, он перестал обращать на них внимание и вспомнил, лишь ощутив за спиной плотную тишину.

Оба они пребывали в оцепенении. Тучкова застыла, сняла очки, округлые коричневые глаза ее влажно блестели, рот был приоткрыт, она наклонилась вперед, вытянулась, поднялась на цыпочки, словно хотела взлететь и не могла, и от этого ей было больно.

Лосев тоже остановился, глядя на преображенную ее внешность. И вдруг по тугим яблочно-гладким ее щекам покатились слезы. Тучкова не шевельнулась, не замечая их, как не замечала она уже ни этого кабинета, ни Лосева, ни Рогинского, стоящего в своей отдельной задумчивости. Слезы мешали ей смотреть, она смигивала их, устремляясь снова туда, в глубь картины, с таким страданием и счастьем одновременно, что Лосев смущенно отвернулся, залистал бумаги.

Вспомнил, что эта Татьяна Тучкова девчонкой, уже тогда очкастой, болталась среди мелюзги, когда отправляли комсомольцев на целину. Она была здешняя, и что-то у нее могло быть связано с теми местами.

— Ну, как народное образование расценивает? — спросил он, принимая на всякий случай тон, привычный в этом кабинете.

— Великолепная вещь, известная, слава богу, — с готовностью начал Рогинский, — мы о ней наслышаны. Так что замечательно, что вы приобрели ее. А что касается самого исполнения, так для того времени — смело...

— Откуда ж вы о ней знали? — недоверчиво спросил Лосев.

— Так она ж в каталогах фигурирует!

Такое объяснение уязвило Лосева, никак не ждавшего, что кто-то здесь, в Лыкове, мог знать про все это.

— А известно вам, сколько она стоит? — спросил Лосев с некоторой досадой.

— Не все ли равно, разве в этом дело! — вдруг, отрываясь от картины, воскликнула Тучкова, и налитые влагой глаза ее обратились к Лосеву. — При чем тут деньги?

Лицо ее стало гаснуть, верхняя губа поднялась, выражая жалость, даже некоторое презрение.

— Да хоть тысячу рублей, — сказала она.

— Между прочим, две тысячи.

— Ну и что, а сколько стоит, по-вашему, счастливый день? — выкрикнула она с непонятной болью. — А душа, она сколько? — И быстрым взмахом ярко-коричневых

глаз хлестнула Лосева. — Вы посмотрите, сколько тут души во всем. Как можно прятать такую вещь от людей!

— Кто прячет? Я? Да где б вы ее увидели... — начал было Лосев с отпором, но тут же понял, что объяснять и доказывать ничего не надо, слезы Тучковой были для него сейчас самой лучшей наградой. Хотя не представлял, никогда и в голову ему не приходило, что от картины можно плакать.

Тучкова вытерла мокрые глаза, надела очки, превратилась в ту незаметную учительницу, которую Лосев знал вроде бы давно и никогда не замечал. Платице ее обвисло, груди спрятались.

— Простите, пожалуйста, — виновато сказала она, все более конфузясь от неуместной улыбки Лосева.

Он ничего не мог поделать с собою, собственное лицо перестало его слушаться, улыбаясь чересчур, ненужная растроганность морщила лоб, тянула какие-то мышцы у глаз, так что невозможно было представить, какое выражение из этого складывается.

— Нет, нет, вы совершенно правильно отметили, — успокаивал он ее да и себя.

Рогинский тоже, чтобы отвлечь, стал расспрашивать про Ольгу Серафимовну, задавать те самые вопросы, которые Лосев хотел услышать. Впрочем, отвечать Лосев не стал, по Тучковой он чувствовал, что сейчас не надо ни о чем говорить. Молчания, однако, не получилось. Рогинский, удивительный человек, с той же легкостью и волнением стал, используя, как он выразился, счастливый случай, хлопотать о транспорте для лекторов. В другое время практическая его хватка была бы симпатична Лосеву, сейчас же оборотистость Рогинского показалась бестактной. Пока они говорили, Тучкова боком, тихо, направилась к дверям. Чтобы остановить ее, Лосев не торгуясь пообещал Рогинскому свою помощь и тут же спросил громко, обращаясь к Тучковой: может, имеет смысл повесить картину в школе, в классе рисования, тем более что окна школы как раз выходят на Жмуркину заводь и дом Кислых. Последнее соображение возникло у него внезапно, прямо-таки осенило его: школа построена на берегу, примерно там, откуда писал художник, и очень интересно будет сравнивать, особенно на уроках рисования, продемонстрировать ребятам процесс, то есть пример художественной работы на местном материале.

Одно к одному соединялось у него, да так ловко, складно, откуда что бралось, какое-то вдохновение напало; вообще надо подумать, не пора ли создать художественную школу, заинтересовать ребят. Он явно зажег обоих учителей. Картину он разрешил, даже попросил тут же взять. Тучкова смотрела на него во все глаза, и еще долго после того, как они ушли, унося тщательно завернутую картину, Лосев ощущал радостную свою силу.

В начале июня Лосева пригласили в Первую школу на выпускные экзамены. Прежде всего он посидел на физике, в которой, как он полагал, еще что-то смыслил, хотя каждый год обнаруживал, что знания его тают, и эти мальчики и девочки знают вещи, о которых у него самое смутное понятие.

После физики директор школы повела его по классам и кабинетам, где он когда-то учился. Он ничего не вспоминал, а, как и рассчитывала директор, озабоченно проверял состояние потолков, полов и все прикидывал свои ремонтные возможности.

В кабинете биологии у окна стояло несколько ребят младшего возраста, и Тучкова рассказывала им про красный цвет. На стене, обитой полосой серой мешковины, висела, ближе к окну, картина «У реки». В окно был виден другой берег Плясвы, дом Кислых, песчаная отмель. Окно из-за картины стало тоже картиной, только большой, застекленной. Лосев невольно принялся сравнивать обе картины, совершенно схожие: так же лучилась от солнца вода Жмуркиной заводи, так же серебрилась всякая зелень ив. Можно было подумать, что холст написан сейчас, прямо с этой натуры, но глаз Лосева легко находил разницу, тот слой времени, что скопился между этими картинами. В чем состояла разница, он сразу указать бы не мог — куда-то пропал второй чугунный кнехт, и ивы разрослись, и берег подмыло, а главное — дом постарел в сравнении с рекой и зеленью...

Сравнивая, он обнаружил, что на картине дом был заострен в углах, камень был несколько, что ли, каменнее, каждый выпирал из кладки изломами, а крыша была сдвинута и несколько перекошена... Сравнить было занятно. Помешало, что его заметили. Тучкова поздоровалась громко, как бы рапортуя, и дети обернулись, поздоровались, расступились. Директор сказала сдержанно, с упреком:

— Все-таки, Татьяна Леонтьевна, вы продолжаете. У Тучковой сразу упрямо обозначились скулы.

— Вы же сами видите, — сказала она, — отсюда наилучший ракурс. У меня совсем другие уроки стали.

Прозвенел звонок. Тучкова отпустила детей. Теперь, когда она осталась перед ними одна, директор твердо повторила, что имеется кабинет рисования и ничего страшного, если оттуда дом Кислых виден сбоку.

— Сбоку! Да там никакого эффекта! — со страданием воскликнула Тучкова.

— Кабинет рисования, по ее мнению, надо сюда перевести, — насмешливо пояснила директриса. — А биологию, ту можно куда-нибудь на «ща». Видите, Сергей Степанович, как у нас каждый педагог за свой предмет бьется.

— Это хорошо, — примирительно сказал Лосев.

Тучкова избегала обращаться к нему, а директриса, та предпочитала обращаться именно к нему, и даже когда выговаривала Тучковой, то тоже смотрела на Лосева.

— Математику, биологию они будут изучать и в своих вузах, техникумах, на разных курсах, — страстно заговорила Тучкова, — там о специальности позаботятся. Искусство же — наше дело. Поймите: то, что мы успеем дать им в школе, с тем они и останутся. На всю жизнь. Этому, кроме нас, кроме школы, к сожалению, никто не научит... Только если они сами. Но для этого надо в них вселить любовь. Успеть! Хотя бы интерес зажечь. Во взрослости уж поздно. Это так важно!..

За стеклами очков, в темноте ее глаз все бурлило, двигалось. Плотная выпуклая ее фигурка рядом с директрисой выглядела упругой, спортивной. Лосеву нравилось, что Тучкова не прибегает к его помощи, никак не ссылается на тот разговор в его кабинете.

— ...Наконец-то они могут видеть перед собою настоящее высокое искусство. Не копию! Они сами пробуют рисовать... Вы бы послушали, как мы здесь собираемся и обсуждаем со старшими.

— И курите вместе со своими учениками, — не выдержав, одернула ее директор. — Вы уж простите, Сергей Степанович, у нас тут свои страсти-мордасти. Вот, готовы школу в художественное заведение превратить, — со смешком заключила она и кивнула, отпуская учительницу и заканчивая этот непредвиденный разговор.

В тоне ее нечто относилось и к Лосеву, не то чтоб осуждение за эту картину, но некоторая претензия была.

— И все же мы будем вас просить, — упрямо сказала Тучкова, — биологию можно на третий этаж...

— Знаете что... — начала уже раздраженно директриса, Лосев остановил ее своей улыбкой.

— Все это не имеет значения...

— То есть как это? — вскинулась Тучкова.

Он посмотрел на нее и не сказал то, что хотел.

— Поживем — увидим. Пока что ремонт, ремонт нужен, — приговаривал он, обходя шкафы с чучелами «птиц нашего края» и лисицы, которая стояла тут испокон веку; потрогал старенький скелет на медных проволочках.

Выходя, он издали взглянул на картину, сказал:

— Вид отсюда неплохой, а?

— Да, вид, конечно, — подтвердила директриса, она была опытным директором и все поняла.

А он задержался взглядом, будто обернулся, как тогда, спрыгнув с лодки, в ту первую весну, когда только построили школу и было наводнение, снесло мост и их перевозили на маленьком дощанике на школьный берег. Это было в пятом классе, новая школа казалась дворцом с роскошными никелированными дугами раздевалки, с физкультурным залом, таким высоким.

— Что вы заторопились, Сергей Степанович? — спросила директриса.

Никуда он не торопился, она же не видела, что на самом деле он неся по лестнице, размахивая брезентовым своим портфельчиком, пионерский галстук выбился из-под куртки. На площадке они наклеили жеваной живицы, так что девчонки, которые бежали следом, прилипли своими подошвами, за ними и химичка Анна Сергеевна.

Директор показывала на береговой склон, изрытый еще с войны старыми, обвалившимися землянками зенитчиков. Все это она хотела сровнять, засадить цветами, сделать розарий.

Там, где сейчас спортплощадка, когда-то был тоже пустырь с глухими дебрями лопухов, крапивы, иван-чая, место самых страшных приключений, кровавых сражений, веселых историй. Потом самосвалы засыпали ее кучами щебня...

Он посмотрел на директрису с горечью пятиклассника Сережки Лосева: неужели она не понимает, что это будет катастрофа, где же играть, где воевать... Конечно, ему, Сергею Степановичу Лосеву, было известно, что в городе имеются оборудованные площадки для игр, и даже установили в парке фигуру Гулливера и избушку на курьих ножках, но теперь-то он увидел, что все это не то, — ни в какое сравнение не идет с этим дивным, заросшим могучим чертополохом, высоченной крапивой, замусоренным склоном. Удивительно, что директриса не понимала, что цветники и газоны не красота, а, наоборот, скукотища, никому не нужная затея; то, что она считает приведением в порядок, на самом деле — разрушение и полное варварство.

Она же смотрела на Лосева с недоумением. Обычно повсюду, где можно, он требовал сажать цветы, разбивать клумбы, она надеялась на одобрение, поскольку ныне на косогоре взрослые играют в карты, там выпивают, целуются.

Взгляд ее подозрительно проверил Лосева с ног до головы, может, она догадалась, что перед ней пятиклассник. Он не представлял себе, что это, школьное, еще живо в нем.

— Хорошо, рассмотрим, внесите в план благоустройства территории, — предложил он, с трудом возвращаясь оттуда, — подайте специальную записку насчет садово-парковых работ, — добавил он, соображая, как лучше оттянуть ее затею.

В тот же день, под вечер, он встретил Тучкову на улице. Он как раз шел и думал, почему он, глядя на эту картину, превращается в мальчишку.

Тучкова остановила его, сказала, что прочла то, что есть об Астахове, и хочет списаться с Ольгой Серафимовной, кое-что уточнить. Лосев обещал дать ее адрес. Через несколько дней, после исполкома, он зашел в школу вместе с военкомом и директором леспромхоза.

В школе было солнечно и пусто. Парты высились в коридорах друг на друге, пахло краской и мокрыми полами. Окно в кабинете биологии было распахнуто. Они долго стояли перед картиной.

— Вот это другое дело, — сказал военком.

По реке прошел катер. Гладкая волна набегала, откатывалась, изгибая, казалось, литое зеркало реки. Рябь скоро улеглась. Послеобеденный сонный жар обессилил

колыхание воды. Они опять могли смотреть и сравнивать.

— Серега, ты помнишь, как мы тут на плотках лежали? — вдруг спросил военком Готов.

Директор леспромхоза, молодой инженер, вздохнул:

— Красиво. Вот бегаешь, носишься и ничего не замечаешь. Сколько я уж тут, третий год живу, и что?

— Верно красиво? — обрадовался Лосев. — Я все думаю, откуда эта красота взялась? Без картины-то — обыкновенный участок. А при сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где ж она находится? Почему самостоятельно мы ее не обнаруживали?

Слушали с интересом — и к его словам, и к нему самому. Было неожиданно, что Сергей Лосев, которого все тут знали навылет со всеми его привычками, семейными делами, рыбалками, тостами, этот Сергей Лосев способен рассуждать на такие темы и горячиться.

— Все от таланта, — убежденно сказал военком.

— Талант — это только слово. А ты мне ответь, чтобы я понял.

— Красота в художнике заключена, — сказал военком, заражаясь его горячностью.

— В художнике? Допустим. Тогда объясни мне, откуда художник ее берет, из себя или же из натуры? Потому что если из натуры, то пусть мы с тобой красками, кистью не способны передать, но глазом-то можем тоже извлечь, увидеть...

— Да, да! Как это верно! — воскликнула Тучкова. Никто не слышал, как она вошла. И теперь, когда к ней обернулись, она залилась краской за свой возглас и все же попыталась еще сказать, как бы оправдываясь или поясняя: — В том-то и дело, что можно, можно увидеть. Прекрасное, оно действует на душу и как бы придает ей зрение, то есть в смысле того чувства, что называют душой, то есть называем... — Она запуталась и еще больше смутилась. — Извините меня, пожалуйста.

Директор леспромхоза задумчиво посмотрел на нее и сказал:

— Фотографией я мечтал заняться.

— Сфотографировал бы ты, между прочим, вид этот, пока тут стройку не начали, — сказал военком.

— Какую стройку? — спросила Тучкова.

Военком покосился на Лосева, деликатно закашлялся, предоставляя слово ему, как старшему, и тогда Ло-

сев объяснил, что дом Кислых будут сносить, весь этот участок Жмуркиной заводи запланирован под филиал фирмы, делающей вычислительные машины.

Тучкова как-то полузадушенно ахнула, глаза ее устремились на Лосева, в самую глубину его зрачков, в самый его зрительный нерв.

— Да как же так?.. Я ребятам обещала... Я на будущий год программу перестроила, мы во всех классах этот вид рисовать будем. Когда сами попробуют, тогда они поймут...

Директор леспромхоза засмеялся над этими ее рисовальными доводами, и от этого смеха Тучкова съежилась:

— Простите, я все понимаю, что же делать.— Никто ей не ответил. Они сочувственно смотрели на нее, и Тучкова смущенно заговорила, как бы утешая:— Но ничего, мы постараемся, пока... чтобы скорее людям показать.

— Вот это правильно,— сказал военком.— Хорошо бы вы лекцию для молодежи провели, особенно для призывников. Запечатлеть в памяти красоту родных мест. Сейчас для картины самый сезон стоит.

— Лекцию? Я не знаю... Я вряд ли сумею. Лучше из областного музея пригласить.

— Бросьте вы... Прекрасно справитесь. Зачем нам варяги?

Учительница вдруг перестала нравиться Лосеву. Ему было неприятно, что она так легко смирилась.

— А жаль,— сказал директор.— Уничтожат и... картина родословную потеряет. Сравнивать не с чем будет.

— Картина не потеряет,— сказал Лосев.— Картинке то что — мы потеряем.

Разговор этот испортил ему настроение. Он заметил, что на воде от причалов тянутся радужные пятна, что у дома Кислых навалена щебенка, доски...

ГЛАВА 6

Вскоре приехали сотрудники областного музея, состоялась лекция: «Наш край в произведениях советской живописи»; прошла она хорошо, и военком, и прокурор, который насчет стоимости ахал, присутствовали и хвалили. Лосев на это заметил военкому:

— Не послушалась Тучкова, ты же говорил, чтобы сама читала.

Военком рассмеялся.

— Так она же невоеннообязанная. Да и знаешь, она правильно сделала. Для авторитетности лучше, чтоб из области. Объективнее.

— Нечего приваживать их,— проворчал Лосев, но распространяться на эту тему не стал.

Из ближнего санатория, прослышав, стали ходить любители прогулок. Есть такая категория гуляющих — им нужно, чтобы прогулка имела цель. Четыре километра туда, четыре обратно и посередине ознакомление с художественной ценностью. Культурник санатория подхватил инициативу отдыхающих и организовал коллективное посещение. Потом еще и еще. Заходили в школу туристы, которые осматривали партизанский лагерь и соленый источник. Появлялись группы то из медицинского училища, то участники велосипедного пробега. Летом приезжего народу много, что ни день — кто-нибудь да требовал Татьяну Тучкову давать объяснения по картине, ей задавали вопросы, как настоящему экскурсоводу. Культурник разохотился, всякий раз накануне экскурсии звонил в гороно, предупреждал, словно бы в музей звонил. Несмотря на ремонт школы, стали приезжать целым автобусом, поднимались толпой по лестнице, спрашивали, почему картина висит в школе, в биологическом кабинете, неужели нельзя специальное помещение выделить. Делали замечания: почему нет портрета художника, хотя бы фотографии, почему не продают репродукции картины, куда писать отзывы?

Многие вроде были разочарованы, недовольны. Тучкова оправдывалась как умела. Однажды, когда кто-то сказал «обман, мы-то думали», она, не выдержав, заплакала, отвернувшись к окну. Все за ее спиной разом смолкли, потом пожилая толстуха в рыжем парике, сочувственно сморкаясь, сказала басом:

— Вы, женщина, тут ни при чем, это культурник нам мозги запудрил. Феномен, феномен! Выставка! Настрой создал не тот. Как на Эрмитаж. Сказал бы честно — кто хочет картину увидеть — ничего другого. Разве мы бы отказались? Женщина, вы, милая, извините нас.

Культурник тоже извинился, и после этого следующие экскурсии вели себя тише. Культурник, однако, не унимался. Оказывается, он работал по совместительству

в летней спортивной школе и обслуживал пароходство, и всюду он включал новый объект в план массово-экскурсионной работы. Вскоре Тучкова получила план, скрепленный печатями и подписями. На ее протесты культурник прочувствованно назвал ее «энтузиасточкой», «подвижницей», что же делать, если исторических достопримечательностей в районе мало, не будет картины, так уйдут эти часы на пустой азарт бросания колец и походы в универмаг.

Получалось, что она будет виновата, если станут резаться в карты, забивать козла и даже пить водку.

Никто ей за эту работу не платил, отпуск ее срывался, да еще в гороно сделали замечание, что экскурсанты мешают ремонту, разносят грязь.

Появилась книга отзывов, общая тетрадка, которую в утешение Тучковой учредил культурник. В тетрадь щедро заносили благодарности и похвалы Татьяне Леонтьевне за «возможность ознакомиться», «красочный рассказ», «воспитание любви к русской живописи и природе». Кроме этих записей, попадались, и все чаще, возмущенные отклики на предстоящую стройку: неужели нельзя сохранить этот вид, что за дикость — опять разрушают памятник культуры, пора призвать к порядку местные власти...

В горкоме партии Чистякова, тощая, тигрово-бесшумная, щурясь заметила Лосеву, что самодеятельные эти экскурсии роняют авторитет городских властей. Как всегда, она применяла безлично-уклончивые обороты: «позволяют себе», «развели», «раскачивают общественное мнение», «будоражат», «будируют». Лосев кивал внимательно, поощряюще, потом спросил:

— Значит, что же, Тучкова просит писать такие жалобы? Вы лично слышали? Ах нет? Тогда не пойдет. Полагать одно, знать другое. Мало ли кто сказал. Я люблю брать сведения из первых рук, свежинку люблю.

Чистякова непонятно прищурилась, не то смеясь, не то пряча глаза, неслышно отошла. К счастью, Лосеву некогда было вникать в эти слухи, летняя пора торопила с овощехранилищами, со строительством, рабочих отрывали в район на полевые работы, надвигалась сдача-приемка нового роддома. Летние дни хоть и длинные, а проскакивали быстрее зимних.

Заведующий гороно Савкин, будучи на приеме у Лосева, после решения своих вопросов, как бы между про-

чим сказал, что картину Астахова лучше бы перевесить сюда, в кабинет.

— Это почему?

— Ценная вещь. Охраны у нас нет, мало ли.

— А еще что? — спросил Лосев.

— Больше ничего.

— Давай выкладывай, — сказал Лосев.

Савкин, который в любую жару ходил в темно-синем, толстой шерсти костюме, при галстукке, неожиданно вспотел, громко засморкался и, умоляюще глядя на Лосева, сказал, что Астахов не из тех художников, каких следует пропагандировать школьникам. Лосев сослался было на Москву, на что завгороно тихо возразил:

— В Москве — там иностранцы, там политика диктует.

— Ты не темни, — сказал Лосев.

— Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Народ-то безответственный, настрочат жалобу. На вас или еще на кого. Глядишь, где-нибудь откликнется. Начальство заинтересуется. Доказывай потом. Вам-то что, а нам в любом случае попадет. Повесьте ее к себе. По моей официальной просьбе, а? У нас в школе и ремонт, и всякое другое.

Лосев смотрел на его мокрый лысеющий лоб, измятый скорбными морщинами забот всегда бедствующего, всегда неблагополучного хозяйства.

— Надо этой Тучковой сказать, чтобы перестала... — Он хотел сказать «будировать», но вспомнил Чистякову, поморщился. — Чего раньше времени в колокола бухать.

— Да Тучкова же при чем?.. — Савкин дернул плечом. — Глаза-то людям не завяжешь. На заводи-то уж вешки расставили, съемку ведут. Вот-вот дом снесут.

— Как съемку? — поразился было Лосев, потом кивнул. — Ладно, подумаем. Так тоже теперь неудобно — изъять и к себе в кабинет. Ведь это художественное произведение общего, так сказать, внимания.

— Не произведение это, а повод для жалоб, — упрямо сказал Савкин.

Жил заведующий гороно в соседнем с Лосевым новом доме, держал он в квартире двух морских свинок и по субботам, на радость ребятам, выпускал их во двор. Раньше он был учителем биологии и считал, что, имея животных, ухаживая за ними, дети становятся лучше.

— А ты сам-то как расцениваешь? — вдруг спросил Лосев.

Савкин посмотрел на него виновато и заботливо.

— Да по мне лучше школу художественную открыть, пусть там бы все и было.

Заботливый этот взгляд встревожил Лосева, он давно усвоил, что крупные вещи начинаются с мелочей, с таких вот ничего не значащих разговорчиков. Слабый сигнал, которым легко пренебречь, но лучше принять меры незамедлительно. Это как стук в машине. Если выяснить, где именно стучит, то можно устранить своими силами. Пора, пора бы обдумать ситуацию, определиться, да все было некогда, все откладывалось.

Вскоре после этого разговора в Лыков приехал зам-предоблисполкома Каменев. На второй день своего пребывания Каменев поинтересовался, что они тут за аттракцион открыли. Судя по этому словечку, Каменеву уже что-то наговорили. Лосев не стал отшучиваться, сам вызвался вести его в школу. Окончательного мнения у Каменева еще не было, в таких случаях лучше предупредить какое-либо опрометчивое высказывание. Когда ответственный человек выскажется, трудно потом заставить его изменить мнение, он всячески будет настаивать на своем, так что лучше не допустить такого высказывания. Легче формировать мнение, чем менять его.

Как бы случайно было устроено так, что в школе оказались в это время заведующий горно и военком; разумеется, пригласили и Тучкову. Рассказать про картину Лосев мог бы и сам, но он предпочел быть в стороне, сохраняя свободу маневра.

Тучкова повела объяснения бойко, с некоторой заученностью, — и это было хорошо, потому что внушало доверие. В нужный момент она сказала:

— Теперь самостоятельно сравните красоту природы с красотой, найденной художником в пейзаже. Почувствуйте, в чем разница... определите стиль художника... Посмотрите, как написаны стены...

Никогда он не подозревал, что можно столько разглядывать одну и ту же картину и получать удовольствие. Казалось бы, вид известный, ничего нового, никакой информации, откуда же это тепло приходит и что-то вспоминается, еле слышный мамин голос рассказывает, рассказывает. Наваждение. Лосев подумал, что когда на Жмуркину заводь привезут технику и стальной бабой

станут разбивать дом Кислых, все эти чудеса с картиной кончатся.

На том берегу крикливо плескалась ребятня, у моторки возились парни в плавках и рубашках. Сушилось белье на длинной веревке, подпертой в середине жердиной. Все это нарушало сходство, и Лосев досадовал. Каменев же замечал совпадение и восторгался, сличая новые подробности. Он отходил, смотрел так и этак, прицокивал от удивления.

— Надо же, устроили такую параллель.

Тучкова взглянула на Лосева неясно, за стеклами очков он уловил страх — так ли, мол, говорила, справилась ли? От бойкости ее не осталось и следа. Перед ним стояла не учительница, не экскурсовод, а девчонка, оробелая, удрученная тем, что могла все испортить. Она не обращала внимания на Каменева, не слышала его возгласов, ей важен был лишь Лосев, и то раздражение против нее, что накопилось у Лосева, растаяло, растворилось без остатка. Он ободряюще улыбнулся, она просияла, он зачем-то еще кивнул ей, и от этого она покраснела совсем неуместно-счастливо. «Что с ней?» — удивился Лосев и тотчас сказал:

— Это все Татьяна Леонтьевна придумала, — показал на нее, на ее пылающее лицо. — Народишко и пользуется ее патриотизмом. По правде говоря, сомневалась она насчет художника, но мы по своей темноте так рассудили...

— Да я... я не сомневалась, — вмешалась было Тучкова.

— Сомневалась... Не стыдись, ничего тут зазорного, — нажимая, сказал Лосев. — Мы ж здесь не спецы. Мы не знаем, как он числится. Нам что важно — наш городской пейзаж создан. Ничего другого, — он вопросительно остановился. — Конечно, может, мы чего не учитываем...

— Ладно, не прибедняйтесь, — сказал Каменев. — Это вы хорошо придумали.

— Из областного музея приезжали, — сказал военком.

— И что? — спросил Каменев.

— Вроде поддержали.

— Передайте спасибо им, — сказал Лосев.

— Передам, передам, — довольно сказал Каменев. — Тут специалистом не надо быть. Талант он потому и талант, что все, кто любит живопись, чувствуют...

И зампред даже несколько посмеялся над провинциальными их опасениями — данный художник упоминается в центральной печати, имя знаменитое, картина реалистичная, на местном материале, какие могут быть возражения, — что и требовалось Лосеву. Далее разговор перешел на экскурсии, Тучкова не утерпела, принялась расписывать популярность этой выставки, что Лосеву показалось ненужным. Все же, как ни говори, — самовольство, и неизвестно, как оно может быть воспринято.

На гладком, всегда приветливом лице Каменева трудно было что-то прочесть. Зампред принадлежал к тому типу руководителей, которые не показывают своего личного отношения к вопросу, зная, что их отношение еще не решает и может только попутать людей.

Насчет Тучковой он сказал, что сие есть эксплуатация человека, да еще при ее скромном учительском жалованье это совершенно неблагородно... Вышел как бы упрек Лосеву, впрочем приятный, поскольку слова Каменева косвенно разрешали экскурсии и рекомендовали все это оформить. Еще лучше было бы не хвастаться экскурсиями, лучше было бы, если бы Каменев сам, первый, порекомендовал организовать экскурсии и нечто вроде выставки, и можно было бы ему доложить об успехе его предложения. Тем самым он брал бы на себя ответственность, стал бы крестным...

— Как тут оформишь, — сказал Лосев побезнадежнее.

Каменев, высокий, стройный, несмотря на свои пятьдесят пять лет, приобнял Тучкову, наклонился и на ухо сказал:

— Мы-то его держим за опытного мэра. Хозяин такого города и нате вам, не может изыскать средств... Заварил кашу, так не жалея масла. Вот я был во Франции, там, случись у мэра подобная приманка, он бы раздул рекламу по всей округе — щиты на дорогах, передачи по телевидению. Большой доход извлек бы. А мы не умеем... Взвалила на себя Татьяна Леонтьевна — и ладно, все норовим подешевле, на энтузиазме...

Надо было дать ему разговориться, может, он и расщедрился бы на полставки музейной; к сожалению, Тучкова прервала его, стала уверять, что для нее экскурсии удовольствие, ее работа учителя рисования обрела новый смысл, что сейчас хочется пропустить побольше народа, пока все не кончилось.

Слово «кончилось» зампред понял как осень, когда природа пожелтеет и сходство пропадет, но Тучкова разъяснила, что пейзаж исчезнет не на сезон, а навсегда, поскольку тут произойдет стройка филиала завода вычислительных машин.

На вопросительный взгляд зампреда Лосев подтвердил, что стройка скоро начнется, идет она по республиканскому списку, место выделено давно, есть, правда, другие удобные площадки с километр ниже по реке, к окраине города...

В свое время он торговался с проектировщиками, кое-чего ему удалось для города добиться, в смету обещали заложить большой участок канализации по той стороне, трансформаторную подстанцию на два трансформатора, с тем, чтобы обеспечить мощностью целый район... Ничего этого он не стал рассказывать Каменеву, он ожидал его реакции: например, зампред мог сказать, что стройку надо сдвинуть отсюда, или что можно этот вопрос пересмотреть, или хотя бы что тут следует взвесить все за и против, но Каменев задумался о чем-то другом, остановился снова перед картиной. На чистом, хорошо выбритом лице его вместо какого-либо выражения появились ничего не значащие маленькие домашние морщинки, он вздохнул, поскреб шею.

— Вот и Татьяне Леонтьевне вопросы задают, — попробовал Лосев сделать еще один заход, — критикуют городские власти за эту стройку.

— И что же она? — спросил Каменев.

— А что она может?

Каменев задумчиво посмотрел на Тучкову.

— Я им отвечаю, что если бы от товарища Лосева зависело, он бы, конечно, предотвратил, — сказала Тучкова.

Каменев хмыкнул.

— Это я точно знаю, — горячо сказала Тучкова.

— Вполне возможно, — согласился Каменев, оглядывая кабинет с чучелами на шкафах, укрытыми бумагой, скелетом, завернутым в простыню, и эту картинку на стене, все это с какой-то своей мыслью, словно увязывая в один узел, вздохнул, покачал головой почти безнадежно. Куда ж картину девать после того, как стройка начнется? Здесь-то ей висеть уж ни к чему! Никто, конечно, об этом не думал. Тучкова плечами пожала. Каменев подождал секунду, другую и, придя на помощь, предложил после начала стройки передать

картину в областной музей. Предложил, сочувствуя, выручая, помогая пристроить, — а рядом с картиной можно будет повесить цветное фото Жмуркиной заводи в нынешнем, еще нетронутым виде.

— Ишь шустрые вы, на готовенькое тут как тут, — сказал Лосев.

— По-хозяйски смотрим. Где худо лежит, с того и живем. — И зампред засмеялся, помогая Лосеву смягчить все шуткой.

— Не лежит, а висит, и не худо, — сказал Лосев, показывая на стену, обтянутую серой мешковиной. Он чувствовал, что Каменев все более утверждает в своей мысли.

— Когда участок разворошат, так ей все одно где висеть, — рассуждал Каменев. — Здесь совсем будет некстати, вроде укора, икона всех скорбящих.

Заведующий горно согласился, и Лосев тоже улыбнулся, хотя не знал, что за икона всех скорбящих. Он понимал, что практически, наверное, так все и получится, как предрекает зампред, и раз уж на то пошло, надо бы кое-что получить взамен картины. Без дома Кислых потеряет она интерес. Лично ему неохота будет смотреть на нее, и впрямь, куда ее девать? Самое место для нее — музей. Он виновато посмотрел на Тучкову.

Произошло непонятное, как будто во взгляде Лосева она прочла совсем другое, распахнутые глаза ее засветились таким доверием и преданностью, что он смутился.

— Почему же к вам в музей, мы лучше в Третьяковку отдадим, — неприятно тонким, режущим голосом взмыла Тучкова. — Там больше людей бывает. Как вы, товарищ Каменев, легко свой интерес тут отыскали! Вместо того чтобы нам помочь. Вы лучше скажите: как, по-вашему, — правильно будет, если там, напротив, филиал построят, а?.. Да не бойтесь вы слово свое собственное сказать...

Щеки ее побелели, указка в руке дергалась. Савкин набрал было воздуха, но военком толкнул его предостерегающе и Лосеву тоже подмигнул. Однако Лосев хоть и любовался Тучковой, но забеспокоился — она могла все испортить, и себе, и общее хорошее впечатление, а главное, все те последующие дела, какие предстояло решать с Каменевым.

Путанные морщины на лице Каменева стали твердеть, он засопел, запыхтел, шея его борцовски вздулась. В такие моменты он становился груб, беспощаден и — что хуже всего — долго потом не забывал своего гнева. Но тут он насильно улыбнулся, проговорил как можно благодущнее:

— За что же сразу в ружье? Я ведь думаю, как лучше.

— Кому лучше?.. И что вы думаете, это как раз неизвестно. Вы же большой человек, всей культурой ведаете, должны вы как-то отозваться на эту стройку? Почему вы боитесь слово промолвить? Ведь точно боитесь? Думаете, что сперва согласовать надо, выяснить. Так разве вы себя уроните, если не получится? Наоборот. Мы же понимаем, что разные могут быть соображения.

— Вот мне и надо знать все соображения, а я их не знаю, — уже по-настоящему сердясь, сказал зампред.

— Что ж вы тогда *наши* соображения не спросите? Вы *нас* спросите, как нам лучше, может, нам необходима эта красота?

— Референдум устроить? — все более сердясь, сказал зампред, потом примирительно протянул ладонь. — Из-за картины стройку переносить? Не смешите. О вас же заботились, когда выбирали, в каком городе...

— Спасибо! — Тучкова быстренько поклонилась. — Тогда и поинтересуйтесь. Вот вы свое каждое слово рассчитываете, возьмите и нас в расчет. Филиалов и заводов много, а такой вид один. И не филиалом мы прославимся.

Указка в ее руке перестала дрожать, поднялась, голос зазвучал увереннее.

— Ладно, ладно, — сказал Лосев строго и недовольно. — Мы, Татьяна Леонтьевна, сами разберемся.

Она посмотрела на него умоляюще, прося прощения, и продолжала зампреду:

— ...Ведь это счастье, что появилось что-то удивительное. Вы бы видели, как ребята радуются. У нас совсем другие уроки стали. Это Сергей Степанович открыл нам... Это же чудо! Да, да, чудо! Его сохранить надо. Оно больше никогда не повторится!

Глаза ее заблистали, она не подбирала слова, не стеснялась восторженности.

— Ну-ну, не будем преувеличивать, — сказал зампред и улыбнулся военкому и заведующему горно. — Это не Рембрандт и не Репин.

— Да при чем тут Репин! — с досадой вскричала Тучкова, скривилась, как от боли. — Будь это Репин, конечно, вы бы вступились без страха и сомнения... Но картина это же не только имя, она сама... это же наше...

Лосев злился на нее и завидовал, с какой свободой она говорила с зампредом, ничего не смягчая, не обходя. Ей, конечно, что, ей терять нечего, она сама себе хозяйин, вольная птичка; посмотрел бы он, как она вертелась бы на его должности. И все-таки он ей завидовал.

— Между прочим, картину в музей нельзя отдавать, она подарена городу, там и надпись есть...

«Вот это она уж совсем зря», — подумал Лосев, потому что прикинул, что просить за картину: прежде всего художественную школу, затем со вторым кинотеатром решить. Стоило ему вспомнить о до сих пор не оборудованном кинотеатре, о попреках, которые сыпались второй год, о своих обещаниях невыполненных, потому что все обещанное ему срывалось, и у него тяжело заныло в затылке.

Она посмотрела на него, ожидая поддержки, не понимая, почему он молчит.

— Знаете, Татьяна Леонтьевна, мы... — начал Лосев, и тотчас навстречу ему распахнулась такая сияющая готовность, от которой ему стало неловко перед всеми и он сказал совсем не то, что собирался: — Вы, пожалуйста, передайте от меня, чтобы белье не развешивали тут на обозрение, у них задворков хватает.

В машине зампред сказал Лосеву:

— Черт те что позволяют себе. Ей-то что. Ей легко. Покрутилась бы на моем месте. Демагогия!.. И не цыкнешь. Это на тебя я могу цыкнуть, а на нее — грех вроде. Вот и пользуется, бестия. Чисто бабье чутье... Да... Боязнь подхалимажа у нас переходит в хамство... А фигурка ничего. Очертания есть. И дело свое любит. Нет, нет, такие люди, Сергей Степанович, нужны. Без них совесть закиснет. Она же воюет не корысти ради. Верно? Не для себя. Что она с этого имеет? Одни хлопоты.

Он помолчал, потом добавил с неясным смешком:

— А ты суров, суров.

Каменев и злился, и оправдывался, и было не угадать, как держаться с ним: то ли перевести речь на нужды роддома, что было крайне необходимо Лосеву, или же продолжать насчет этой злосчастной картины.

В свое время Каменев отличался решительностью, даже крутостью характера и многое мог. Но в прошлом

году его сильно подвели с одним спектаклем, так что он еле удержался, и с тех пор стал осторожничать, избегал крупно решать, не ввязывался в споры на исполкоме. Лосев подумал, что если бы сейчас тут сидела Тучкова, она, не зная всех этих обстоятельств, продолжала бы гнуть свое и, что удивительно, — вызвала бы сочувствие, а вот он, Лосев, хотя знаком с Каменевым давно и отношения у них добрые, а говорить с ним не может без оглядки, без дипломатии.

— Ты заметь, что стройку этого филиала будет курировать сам Уваров, — сказал Каменев.

— Да, мужчина несговорчивый, — сказал Лосев.

— И живописью не увлекается.

Они засмеялись.

Уваров ничем не мог увлекаться. Это была хорошо налаженная машина, оргмашина. Он вел дела без крика, без ругани, без накачек, все записывал в длинном узеньком блокноте, назначал срок и точно день в день спрашивал. Ничего так не боялись, как его занудно-презрительного выяснения причин невыполнения, опоздания перерасхода. У него всегда выходило, что таких причин не было, а была глупость, была лень, было неумение руководить.

Перечить Уварову никто не станет, Каменев не зря его упомянул, считал, видимо, что и заикаться на эту тему бестактно.

Они подъехали к роддому, тут все выправилось, пошло по заготовленному, продуманному Лосевым распорядку. И главврач, и строители показывали, объясняли с толком, все действовало, зажигалось, включалось как положено. Каменев хвалил, убеждался в правильных запросах города, сам формулировал их. Потом они обедали с главврачом, возбужденно-говорливым, веселым, и Лосев мог немного отдохнуть. Помолчать. Отдыхало его лицо. Какие-то мускулы уставали, вокруг рта и глаз.

Все завершалось как нельзя лучше, если не считать недоговоренности, которая оставалась между ними.

Главврач, подвыпив, провозгласил пышный тост в честь Лосева и завершения его детища — роддома. Лосев перевел разговор с себя на других мэров, у которых есть свои идеи, страсти... Рассказал про мэра города Кировска, который упорно создавал горнолыжные школы, строил подъемники, трамплины, мечтая превратить Хибины в столицу зимнего спорта. Совершенно серьезно убежден был, что наступит год, когда всемирную

зимнюю олимпиаду будут проводить у них, в Кировске. Лосев, чуть передразнивая, изображал своего приятеля, и все смеялись.

— Васюки! Голубая мечта каждого провинциала! — начал было главврач. — А вот наш роддом...

Но Лосев не дал себя сбить и незаметно переадресовал тост на зампреда, у которого тоже есть своя страсть, свое увлечение. Каменев охотно подтвердил, что если своего пристрастия нет, то и работать неинтересно. Лично он неравнодушен к музею и не скрывает этого. Областной музей — заведение бедное, не доходное, оно держится на сознательности сотрудников малооплачиваемых... И в то же время музей единственно вечное, единственное, что собирает, сохраняет эпоху! Ценность музейных вещей постоянно возрастает...

Лицо его разгладилось, стало округлым и мечтательным, он увлекся, поставил рюмку, забыв про тост. Все, что уходит из жизни, остается лишь в музее. И мы, и наше время, вот эти рюмки и эта лампа, и скатерть, и часы — все сохранится лишь через музей. Больше того, и герои вашей стройки, с главврачом и первым новорожденным, все дойдет до потомков с помощью музея. И что замечательно — в музее, даже таком небольшом, как областной, хранятся драгоценные вещи, взять те же картины, скульптуры, это как бы золотой запас нашего края. Производственное оборудование морально стареет, да еще как быстро. А экспонаты — наоборот, со временем дорожают, приобретают больший интерес. Золотой этот запас имеет ценность прежде всего для области. Здесь то, что дорого сердцам земляков, истоки патриотизма, чувства родины... А музейные работники! Кто идет в музей работать — бескорыстные люди! Только влюбленные в искусство — другие там не удержатся: невыгодно!

Теперь, когда Каменев разошелся, как того и хотел Лосев, разговор перестал Лосеву нравиться. Как будто в словах Каменева был умысел, дальний прицел. словно бы он нажимал на то недоговоренное, насчет картины.

Перед отъездом они остались вдвоем. Каменев взял его под руку, отвел от машины и передал записочку к одному товарищу, влиятельному по части оборудования кинотеатра. Товарищ отдыхает сейчас неподалеку в санатории, и Лосеву самое время в воскресенье съездить к нему, покатасть его по окрестным местам. Затем без перехода спросил напрямик:

— Ну так как, Степаныч, отдашь картину? Я тебя не тороплю, мне важно знать в принципе.

— Неудобно как-то.

— Перед кем?

— Перед общественностью.

— У тебя ж предлог несокрушимый... Можешь временно дать, а там посмотрим... Не пожалеешь! Мы это торжественно обставим. Телевидение пригласим.

Примерно к этому Лосев был готов, однако решения у него не было. Он мог Каменеву отказать, но что от этого город выиграет? И с кинотеатром застрянет, и остальное. А если согласиться, то, значит, Жмуркину заводь без боя отдать. И хотя до сих пор у него и мысли не было бороться, завязывать какой-то бой, но тут вдруг почувствовал, что картина и Жмуркина заводь сопряжены между собою, вместе они имеют для него особый смысл, а порознь нет.

Его подмывало поделиться всеми этими соображениями с Каменевым. Приятельствовали они много лет, доверяли друг другу, а вот что-то мешало. Не потому, что именно Каменев, нет, Лосев чувствовал, что просто язык не поворачивается говорить о таких странных вещах.

— Не торопите меня.— Лосев вспомнил, что Каменев недолюбливает Уварова, какие-то у них трения.— Я хочу Уварова поприжать на этой художественной арене. С неожиданной стороны, а?

Каменев остановился, посмотрел на Лосева запоминающе.

— Ну, ну... Уваров тебе, конечно, не уступит.— Он вдруг усмехнулся.— Ты, значит, собираешься ему подвесить невнимание к искусству? Будешь защищать эстетические ценности? Ну что ж, правильно, это полезно выявить — его отношение к живописи. Да и вообще к культуре. Пусть узнают. А? Что-то в этом есть. А? Небось под это ты с него чего-то выжмешь? С меня и с него? Хозяйственный ты мужик, Лосев. Только смотри, себя не перехитри!

Лосев рассмеялся невинно, как бы признаваясь, что Каменев видит его насквозь, от него не скроешься. А Каменев смотрел на него без улыбки, вообще безо всякого выражения на лице.

Продолжая прятать глаза в улыбке, Лосев обронил невзначай:

— Далась вам эта картина. Не Репин ведь, как вам сказали, и не Рембрандт.

— Эх, Лосев, Лосев, цивилизованный ты человек, ничего не скажу, а мыслишь недалеко. Я ведь почему еще заинтересован.— Он вздохнул мечтательно.— Под твоего Астахова мы можем еще кое-чего выставить. И того же Астахова, и других. Приобрести можно будет несколько приличных полотен, обменять с другими музеями.— Он нежно взял Лосева под руку.— Мои музейщики такие берутся подвиги свершить! У них, знаешь, какие планы... Двадцатые, тридцатые годы собрать. Физиономия у нас своя появится, ездить к нам начнут. Это ж большое дело!

— Надо же,— с чувством ахал Лосев.— Да это колоссально!

Прояснилось, какая у Каменева заинтересованность. Это было полезно, чтоб в каком-то смысле не продешевить. Этой картинкой, если умеючи, можно кой-чего вытянуть, и немало.

Машина отъехала, клубя пылью. Все, кто провожали, посмотрели на Лосева. Он вертел в руках конверт с запиской влиятельному товарищу. Лицо его почему-то вдруг скривилось, приобрело то яростно-жесткое выражение, при котором никто не решался обратиться к нему. Все молча смотрели, как он, не читая, разорвал конверт, потом еще раз и еще, аккуратно бросил обрывки в урну и зашагал к исполкому.

Иногда, проходя мимо школы, Лосев видел автобус или сваленные у подъезда зеленые рюкзаки, и у него появлялось тягостное чувство, какое бывало, когда он оттягивал неприятный разговор или визит в больницу.

Однажды он столкнулся с Тучковой, она покраснела, будто застигнутая врасплох, остановилась, он тоже остановился. Тучкова опустила голову, ровненький пробор ее и тот был красный. Запинаясь, она сказала, что пришел ответ от Ольги Серафимовны. Тучкова послала ей фотографии и написала про филиал; Ольга Серафимовна тоже считает, что Лосев все уладит, в крайнем случае можно подключить ему в помощь Бадина... Впрочем, лучше ему самому прочитывать, письмо у Тучковой дома, она может занести ему или как он скажет...

Он ждал еще чего-то, но она замолчала, не поднимая глаз.

— Как-нибудь занесите, — сказал Лосев. — Но напрасно вы ее заверили. Кто вас уполномочивал? Легко сказать — уладит! Не так эти вещи решаются, — все больше досадуя, говорил он, глядя на ее выгоревшие волосы.

Она стояла перед ним, не поднимая головы.

— Да и некогда мне возиться с этим, — сказал он с неясной ему самому злорадностью. — Дома угрозы расселять надо. А куда? А? А ты говоришь — пейзаж. Не до пейзажей мне. То-то вот.

Так он и ушел, не услышав от нее ни слова. Ему хотелось обернуться, но он боялся, что она все еще стоит с опущенной головой. Долго еще он ощущал спиной это молчание, оставленное позади.

Как назло, в этот же день, к вечеру, появился Рогинский, вернее пробился к нему во время перерыва на совещании строителей. Поблагодарил за транспорт и показал две старенькие цветные открытки, изображающие Жмуркину заводь. Одна совсем давняя, еще до сооружения дома Кислых; оказывается, тогда на этом месте стояла купальня, мостки были, кабины для раздевания, и выше, на берегу, раскинулся красивый павильон с полосатыми тентами, вазами, фонариками. На второй открытке был уже дом Кислых, но затянутый какими-то полотнищами, увешанный флагами и сфотографированный с улицы, так что Жмуркина заводь угадывалась позади дома. У парадной стоял городской в белой рубашке, шароварах и с шашкой.

Рогинский ловил интерес в глазах Лосева и все допытывался: «А? Здорово?» — и сам восхищался. Открытки он взял из коллекции Поливанова, у которого много иконографического материала и в том числе и по Жмуркиной заводи.

— Как старик поживает? — спросил Лосев.

Рогинский посерьезнел, скривил губы, показывая, что дела Поливанова плохи, и настолько, что говорить об этом не стоит.

— Передайте ему, что я зайду в воскресенье, — сказал Лосев, не успев сообразить, зачем он это делает.

ГЛАВА 7

Он полагал, что найдет поливановский дом безошибочно. Между тем на улице Володарского его не было. Посмеиваясь над собой Лосев свернул в Заячий пере-

улок, оттуда вышел на Крайнюю, постоял в раздумье, сверяясь с забытым, чисто механическим ощущением, вызывая память ног, и ноги повели его вправо, вправо, к маленькому двухэтажному деревянному дому с оштукатуренным низом. Дом был окрашен незнакомо, весь зеленым, только оконные резные наличники белым и белым же дверной косяк с карнизом. Бывая на Крайней, Лосев, может, и проходил этот дом, но никак не связывал его с поливановским, столько лет прошло, вся улица изменилась, и дом заgrimировался. А вот сейчас подошел к той парадной с козырьком, с почтовой щелью, с железками, чтобы подошвы обчищать, и застучало сердце. Посмотрел в угловое окно второго этажа. Вечернее низкое солнце ослепило стекла. Лосев пальцем постучал по трубе трижды, усмехнулся. Где под звонком висела эмалированная табличка «Доктор Цандер», — никаких следов от нее не осталось, все было закрашено, зашпаклевано. От поворотного звонка осталась ямочка. Парадным ходом давно не пользовались. В глухой калитке Лосев повернул тяжелое кованое кольцо, вошел во двор.

Сад разросся, однако был ухожен не в пример прошлому. Тогда беседка разваливалась, заросла кустами акаций. Теперь беседку свежее выкрасили голубеньким с синим, мелкая ее выемочная резьба проступила как новенькая. Беседка была та же самая, в которой часами гоняли чай, Поливанов там ораторствовал, призывал и наставлял. Лосев и внимания не обращал на эту беседку, она даже казалась тогда старорежимной уступкой древнему испуганному доктору Цандеру, которому когда-то принадлежал весь дом. Починенная беседка выглядела редкостной игрушкой, может, одна такая и сохранилась на весь город, а ведь было их в каждом садике...

Зато сам Юрий Емельянович Поливанов изменился, да так, что Лосев не узнал его. То есть, конечно, понял, что это он, но никак не мог соединить с тем Поливановым, никак не мог его *состарить* до такого. Потому что это было не от старости. Щеки его запали, весь он исхудал, особенно страшна была его тонкая, вся в обвислых складках пятнистая шея, нижняя губа оттопырилась, и бескровно-белое его лицо приобрело выражение брезгливое. Сквозь кожу просвечивала сухость черепа, костей, напоминая Лосеву школьный клацающий скелет.

«Как же так?.. Как же так?..» — мысленно повторял Лосев, ничего не понимая. Со времен его детства Поливанов оставался неизменным. Властный рокошующий здоровяк, огромный, тяжелый, летом в коломянковой куртке, зимой в овчинном полушубке с папахой, Поливанов стал такой же принадлежностью города, как водонапорная башня, как полегший дуб в парке. Лосев был уверен, что когда б он ни пришел в этот дом, он застанет Поливанова таким же и, откладывая год от году это свидание, нисколько не беспокоился.

Как же так, твердил он ошеломленно, да что же это такое?

По дороге сюда он готовился к попрекам, к язвительным подковыркам Поливанова: не стыдно, позабыл старика, стал начальством, зазнался, теперь мы тебе не нужны, мы люди маленькие, мы ему не пара, а, между прочим, старый-то друг лучше новых двух... — весь тот набор, который Лосеву приходилось выслушивать и от других. Поливанов делал бы это со вкусом, с грохотом, а главное, имел на это право. Лосев приготовил выложить ему кое-что в ответ. Но сейчас все ответы и накопленные претензии отодвинулись, помельчали и остались лишь жалость да тоска перед непоправимостью.

Во тьме запавших глаз Поливанова было что-то пустое, взгляд то появлялся, то пропадал, прерванный этой пустотой, *ничем*. Лосев вдруг почувствовал, что на него смотрит смерть, работающая, живая, не та, что в покойнике застылом, холодном, превращенном в предмет, где смерть уже не присутствует, а есть лишь ее след, ее результат. В Поливанове смерть жила, вовсю жила, в полном цвету. Она свила гнездо между его широкими, крепкими костями и высасывала и поедала его тело. Она хозяйничала в Поливанове, она существовала в нем и отдельно от него, временами выглядывая вместо него из глазных впадин. Зрелище этой действующей, торжествующей смерти было отвратительно и страшно.

Поливанов полуобнял Лосева, а сам следил за его лицом. Лосев закрылся белозубой улыбкой. Это он умел. С веселым открытым взглядом похвалил бодрость и энергию Поливанова так, что тот успокоился. При чем слушал с жадной доверчивостью, будто слово Лосева что-то значило, решало.

В доме расположение комнат осталось тем же. В маленьком зальце стояли те же кадки с китайскими роза-

ми. Крашенный дощатый пол блестел. Шкаф, этажерка, все солидное, старое стало красиво. Солнце высветило стены, пронизало зелень листьев, и Лосеву вспомнилось, как он мальчишкой приходил не сюда, а к дяде Феде, там тоже было похожее зальце, вдоль стен стояли стулья в холщовых чехлах, диванчик стоял зачехленный. Никто из детей в доме никогда не видел, какая обивка под чехлами. Чемоданы были в чехлах, книги все были обернуты, сама тетя Надя постоянно ходила в переднике, и только по праздникам вынимали бостонные костюмы, выходные туфли, доставали драповые пальто, шляпы, на стол ставили фарфоровые чашки. Вспоминалось это сейчас с усмешкой над той скудной нафталиновой жизнью, и при этом почему-то приятно было увидеть у Поливанова позабытые гнутые венские стулья с соломенными сиденьями, конторку с зеленым сукном, по верху огороженную точеными перильцами, на стене расписные доски, иконы, висела знакомая эмалированная табличка «Доктор Цандер Х., по внутренним болезням». И рядом высокие, в дубовом футляре английские часы, похоже те самые, что стояли в прихожей у Цандера рядом с чучелом медведя.

Лосев шумно хвалил сбереженную старину, и Поливанов, довольный, рассказывал, что все это он собирает для будущего музея, все завещано городу, когда-нибудь ведь займутся и культурой, не все же строить стадионы да кабинеты начальников. Лосев пропустил это мимо ушей и с той же восторженностью перешел в столовую, где, видно, к его приходу были приготовлены открытки, альбомы и какие-то рулоны в черных гранитовых футлярах.

Кроме тех двух открыток, у Поливанова имелся толстый альбом, большая коллекция собранных за разные годы почтовых открыток с видами Лыкова. Поливанов одну за другой показывал их Лосеву, поясняя, какой год, что за здание, как будто Лосев был приезжим. На цветных дореволюционных открытках пестрела и ярмарка 1903 года, карусель, городской и площадь с новеньким пожарным депо и каланчой, которую после нынешней войны снесли, и монастырь с кладкой из красного ракушечника и белого камня... Некоторые открытки Лосев знал, но многие держал в руках впервые, он и не подозревал, что их существует столько. На обороте кое-где сохранились николаевские марки и были

строки, написанные красивыми косыми почерками, какими ныне не пишут.

Павильон на берегу Жмуркиной заводи, по словам Поливанова, построен был к приезду цесаревича Александра, проект делал вице-губернатор Жмури́н, кстати способный архитектор, имеется альбом его проектов по Лыкову. Когда-то в этом городе собирались делать курорт, проводить здесь торговые ярмарки.

Поливанов и прежде умел рассказывать. Сейчас слова его обрели особую значительность. У него не было сил, как прежде, вскакивать, бегать, стучать палкой, он вкладывал в голос эти свои привычные размашистые жесты.

Сидя в высоком резном кресле, посверкивая глазами из-под косматых седых бровей, он напоминал Ивана Грозного.

Про стройку он не спрашивал, про намерения Лосева тоже не спрашивал, но каждая фраза звучала уличающе, с каким-то намеком.

Иногда в голосе его пробивался смешок, как бы предвкушение.

Появился Рогинский. Сверху спустились две старухи, одна накрашенная, коротко стриженная, с папиросой, другая с мягко-добрым лицом, мягкими руками, вся тряпично-ватная, Лосев смутно помнил ее — тетя Варя, сестра Поливанова. Следом за ними пришел молодой длинноволосый, нагло-заносчивый паренек. На нем был пиджак с металлическими пуговицами, под рубашкой вывязан шелковый шарф. При виде Лосева он насупился, попятился, но Поливанов подозвал его и представил как своего молодого друга, Константина, юношу одаренного, склонного к истории, рабочего по положению, музыканта по призванию... Все это говорил он в пику тому, что мог подумать Лосев, и Константин, или как его тут звали — Костик, успокоился, зажевал резинку с тем же нагло-заносчивым выражением.

Из задней комнаты Костик принес папку с проектом дома Кислых, который, оказывается, был недостроен, предполагались еще боковые флигели. Проект напоминал сгоревший павильон Ивана Жмурина. К реке вели каменные спуски, на отмели опять же была купальня, по откосу стояли скамейки... Имелось еще несколько листов соседних участков набережной и площади.

Перед Лосевым появлялся недостроенный, несбывшийся город старинной прелести. Он был и похож,

и не похож на Лыков, выученный с детства. Ладный, чистый и словно бы забытый. Такого города никогда не было, но что-то подобное было, давнее, как вкус чая с топленым молоком, одно из самых ранних его детских воспоминаний...

В проектах и планах будущих пятилеток Лосев четко представлял себе многоэтажные, с лоджиями, здания центра, плоские крыши коттеджей (это он отстоял их!) — целый район к Ольгиной роще, центральный бульвар и в конце площадь, главная площадь, мощенная белыми плитками, с краю у нее огороженный петровский дуб на фоне гостиницы. Все это было вычерчено, промерено, сосчитано в рублях, метрах, разрисовано архитекторами, внесено в списки и сметы и виделось Лосевым реально, так что кроме того города, в котором он жил и работал, для него существовал уже другой Лыков. Теперь же выплывал из прошлого наивно-мечтательный городок, затейливый, непрактичный, как старые бронзовые часы или эта садовая беседка. Но что-то в нем было. Какая-то отдельность, красота. Уютность. Неважно, что он остался в эскизах, в этих перспективах с блеклыми нежно-голубыми, розовыми отмысками. На длинной молочно-коленкоровой кальке, которую разворачивали перед ним, были подробно выписаны кареты, лошади, шли дамы с маленькими кружевными зонтиками, кудрявились аккуратные деревья.

В своих выступлениях и докладах Лосев привык говорить про неблагоустройство дореволюционного Лыкова, невылазную грязь, лачуги, бараки, где ютились рабочие кожевенного завода, про кабаки, пожары, эпидемии, про отсутствие водопровода. Все это было правильно, но сейчас впервые Лосев увидел, что имелось и другое, что в том, прошедшем, веке жили люди, которые тоже мечтали про другой Лыков. Городская управа хлопотала о строительстве каменного моста, в конце концов через земство и Столыпина добились ассигнований и мост построили, тот самый, по которому он ежедневно ездит. Стараниями земства были открыты три новых начальных училища, что тоже было непросто и потребовало долгого хождения по департаментам вплоть до князя Мещерского, которому преподнесли через его сестру каких-то особой красоты охотничьих собак.

Тут в рассказе Поливанова появилась фигура самого Ивана Жмурина, из местных дворян, который начал службу городским головой и отличался тем, что всех,

уличенных во взятках и поборах, заставлял вносить такие же суммы на строительство водонапорной башни. Когда его перевели в губернию, он и там продолжал заботиться о лыковских обывателях. Пользуясь приездом наследника, он замостил почтовый тракт, идущий сквозь Лыков. Городской парк, оказывается, заложен был и разбит также с его помощью. Будучи за границей, он специально ездил к знаменитому Пюклеру, садовому художнику, консультировался с ним о характере лыковского парка. Был он картежник, гуляка, и, видно, не без его участия купец Остроумов, после знаменитого загула с утоплением парохода, решился соорудить к приезду наследника мраморные ворота. И соорудил — из лучшего крымского золотистого мрамора, а потом под каким-то предлогом ворота эти разобрали и мрамор пошел на внутреннюю отделку актового зала и вестибюля Земледельческого училища. Там, где теперь техникум.

— Вот оно что! — сказал Лосев. — Мне и в голову не приходило, откуда у нас такая роскошь.

— А ты как полагал? Все, душа моя, имеет происхождение, — сказал Поливанов. — У всего есть история. Думаешь, только мы старались? До семнадцатого года тоже чего-то пытались, находились людишки, которые заботились и двигали Россию.

На старинной, толстого картона фотографии с титулом владельца: «Королевский фотограф Вильгельма Второго и герцога Вюртембергского Эмунд Рисс» — стоял в черном сюртуке, в светлом цилиндре рослый красавец Иван Жмурин. Военная выправка и легкость были в его фигуре. Подкрученные усики торчали вверх, и под ними с трудом удерживалась улыбка. Ему было лет сорок, и глядел он на Лосева с такой симпатией и пониманием, как будто что-то знал про него.

— Хорош гусар? — спросил Поливанов. — Увеличь портрет и повесь у себя в присутствии. А что? Твой предшественник. Верой и правдой служил. Невозможно? Небось считаешь: ежели до тебя что и сотворили, то все не так, самое толковое началось с твоего прихода. И самое главное.

— А как же, — согласился Лосев. — Нынешнее начальство всегда самое лучшее начальство.

Попробовал представить себе портрет Жмурина у себя в приемной и ряд портретов тех, кто были градоначальниками, городскими головами, председателями горсоветов. Сколько их перебывало!

— Богатые материалы у вас, — сказал Лосев. — Почительные. И по дому Кислых есть?

— А как же, — сказал Поливанов. — Ну-ка, Костик. Сквозь распахнутые двери соседней комнаты Лосев увидел стеллажи, тесно набитые картонными папками. Одну из таких папок Костик принес и положил, но не перед Лосевым, а перед Поливановым.

Там хранились рисунки внутреннего оформления, плафонов, какие-то вырезки из газет, письма... Никогда Лосеву и в голову не приходило, сколько может существовать документов об этом доме, о Кислых, о его семье.

— Тут еще не все, — хвалился Поливанов. — И про их предков есть, а про потомков, которые во Франции проживают, про них Рогинский собирает.

— Досье. Про других тоже собираете? — спросил Лосев.

— Про всех выдающихся лиц, — сказал Рогинский. — Революционеров, деятелей искусства и прочих интересных... Это Юрий Емельянович завел...

Рогинский, обычно говорливый, был краток, уступая подробности и всю площадку Поливанову.

— Думаешь, помер и быльем поросло? Эх, знал бы ты... От каждого человека, душа моя, письменные следы остаются. — Поливанов склонил голову на плечо, словно бы примериваясь, оглядел Лосева. — И какие. Особенно при развитом бюрократизме. Ты вот поговорил с человеком тет-а-тет — и спокоен, концы в воду. А он, мазурик, жене про это сообщил, а та тетке своей написала, а тетка в дневник... Про кого хочешь я тебе разыщу. А уж если человек в должности большой, то ой сколько можно выяснить! Взять того же Жмурина. Такие, душа моя, секреты!.. — Он даже прицокнул от удовольствия, и все заулыбались.

Обычно в любом из лыковских домов Лосев держался по-хозяйски, потому что принимали его как хозяина города, а так как он был человек общительный, компанейский, то само собой становился как бы центром, главой, слушали его, понимая, что он знает больше других, сверялись с ним, смеется он или суровится; если кто с ним и заспорит, то Лосев был даже доволен, поскольку мог на нем показать свою силу.

Здесь же царил Поливанов, все здесь внимали Поливанову, слушали его как оракула, наперебой забо-

тились о нем. Неужели когда-то и Лосев студентом вот так, раскрыв рот, сидел перед Поливановым?

От него ждали и сейчас того же. Он разглядывал все эти редкостные бумажки и картинки под устремленными к нему ожидающими взглядами.

Поливанов выкладывал все новые козыри.

Лосев хвалил, вежливо и преувеличенно. По тому, как слаженно помогали Поливанову, похоже было — все они о чем-то договорились; один Лосев не знал, когда и откуда начнется... Он только примерно догадывался, чувствовал, как устремленно вел разговор Поливанов, не позволяя ни себе, ни кому другому отклоняться.

Взял он, к примеру, такого земского деятеля, как начальник Земледельческого училища Коротеев. Сколько сделал этот начальник для народного просвещения уезда. По нынешним временам ему бы Героя Труда дали. А?

— Не меньше, — поддержал Рогинский. — А мы... Улица была названа в его честь, и ту переименовали.

— Вот именно, — сказал Костик, и все посмотрели на Лосева.

— А этот пожарник...

— Исленев, — подсказала Поливанову дама с папирской.

— Исленев, он на свои средства оборудовал пожарную команду, несколько раз спасал город от огня... Нет, душа моя, отринуть-то их не хитро, легче легкого, ибо выгодно считать, что в России все никуда не годилось, все было мерзостью, угнетением и дикостью. Так ведь история, она все равно свое возьмет, как ты ее ни переиначивай, как ни гни под себя. Пятьсот лет город жил до нас; не только бунтовали и плакали, были и праздники, и умные дела, и красота. А мы считаем, что только мрак царил. Это же надо себя не уважать, предков своих! Отсюда Россию кожей снабжали, соль варили, тоже о чем-то кумекали. Пятьсот лет в трудах неустанных. Вся история прошла через город наш. Разве мало людишек было достойных! А мы кого-нибудь из них чтим? Кого-нибудь величаем? Кладбище старое разорили! А там, между прочим, была могила Спиридонова, героя Чесменской битвы. Вот она, полюбуйся, душа моя, надгробие какое стояло. Это из старого журнальчика фотография, вырезка. А рядышком с ним лежала актриса Протасова, гремела в середине прошлого века на всю Россию. Была, между прочим, и могила протои-

ерея Раевского. Из тех Раевских. Просветитель. Не бережем, разоряем. На твоём месте я бы... Хозяина нет у нас. Распустились. Никто никого не боится. Страху мало. Утек страх.

Прозрачно-слабая рука Поливанова погрозила Лосеву, сжала, сгребла что-то невидимое.

Получилось так, что Лосев сидел один, остальные напротив него, с Поливановым посередине; можно подумать — устроили судилище.

— От кладбищ многое и идет... У нас могилы не связывают с воспитанием. А если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают, предков. Нигде на эту тему не выступишь. Вот ты, Рогинский, в своём Обществе охраны памятников можешь лекцию предложить: «О значении кладбищ для человека»?

Рогинский кисло улыбнулся в ответ.

— Кладбище, оно для города летопись, — гремел Поливанов, — исторический мемориал, оно в любом случае ценность...

Лосев вспоминал — когда он был на могиле матери, знал, что ходила туда тетка, жена дяди Феди, и ограду по её настоянию поставил зав. коммунальным отделом Морщихин, покрасил зачем-то алюминиевой краской. Лосев вдруг рассердился и сказал:

— Между прочим, Юрий Емельянович, кладбище начали разорять в тридцатые годы, вы бы тогда и цыкнули бы.

Не стоило затевать спор, чувствовал, что Поливанов нарочно вызывает его, заводит. Лучше бы поддакнуть, вознегодовать вместе со всеми, так нет, завелся-таки и остановиться не мог.

— ...Я вас не виню, я-то понимаю и учитываю. Склепы да памятники были у кого? У купцов да дворян. Простой люд под деревянным крестиком лежал, чего тут разорять. А к богачам и вашим героям известно какое было отношение. Это мы теперь, задним числом, поумнели. Добрые стали, историей занимаемся. Но давайте и свою историю не забывать, отцов наших и дедов тоже понимать надо.

Вот тут Поливанов и произнес тихонечко так, как бы вспомнив, как бы к слову:

— Ты-то отца своего понимал?

— В каком смысле?

— Считал его чудаком, смеялся над его бреднями. А между прочим, душа моя, недавно перечел я кое-что.

Весьма любопытная у него философия. Самодеятельная, но гуманнейшая...

— Что вы перечли?

— Его записи. Тетрадочку. Мудрец он, самородок, а ты его разве старался понять?

Но в это время дверь отворилась и вошла Тучкова.

По тому, как ее встретили, обрадовались и как она поцеловала старушек, а Костик вскочил ей навстречу, видно было, что она здесь человек свой. С ее приходом завозились, стали накрывать на стол, и разговор запрыгал в разные стороны — про старые церковные книги, которые собирал Поливанов, про последние раскопы археологов на подворье монастыря, про дожди и яблоки.

Перешли на веранду. Костик и Рогинский помогали носить посуду. Лосев хотел было сесть рядом с Тучковой, оказалось, что это место Костика, во всем тут поддерживался заведенный порядок; видно, часто собирались, шла у них какая-то своя жизнь, Лосеву неизвестная. Казалось, он знал все самое существенное, что совершается в городе. На самом же деле подспудно, в глубине струилась жизнь непредусмотренная, о которой он и понятия не имел.

Загорелые обнаженные руки Тучковой летали над столом. Блестел улыбчивый ее рот. Лосев ни разу еще не видел ее такой. «Красивые руки. Ишь размолодилась», — подумал он с обидой. Он выпил водки, чокаясь одинаково приветливо со всеми. Когда чокался с Тучковой, она посмотрела на него смело, без той распахнутости и восторга, скорее с любопытством. Ей интересно было видеть Лосева в непривычной обстановке, она тоже сравнивала. Она и понятия не имела, что когда-то он был завсегдатаем этого дома, тоже ходил и пивал чай. Эти молодые воображали, что они тут первые, и Поливанов поддерживал их в этом.

Конечно, в доме многое переменилось. Раньше у Поливанова скрипели расшатанные табуретки, Лосев и не смог бы вспомнить ту мебель, никто не обращал на нее внимания, всюду царил тот послевоенный ералаш, когда умели спать где придется — на полу, на сенных тюфяках, ели из алюминиевых мисок за кухонным столом. За каким угодно столом, было бы что поесть.

Сейчас свирельно напевал желтый фигурный самовар, сияя начищенными медалями, чашки стояли различные, каждая произведение искусства, сахар раздобыли откуда-то крепкий и кололи его старинными

узорчатыми длинноручными щипцами. Пили вприкуску. В деревянном резном блюде лежали теплые корки, ржанные, с картошкой, каких и в деревне уже не пекут. Водка была в екатерининском штофе темно-синего стекла с вензелем. Стояла крынка с топленным молоком, горшок с творогом. Крынка была с зеленоватой поливой, такие Лосев смутно помнил с детства и потом изредка видел в глухих деревнях. Празднично вкусно пахло, хлеб лежал на расписной доске, варенье накладывали серебряной ложкой с витой ручкой. На подставе солонки горела надпись «Без соли стол кривой». Все было здесь стародавнее, позабытое, и каждая вещь вроде бы радовала Лосева, а все вместе раздражало, и чем дальше, тем сильнее.

Смертный вид Поливанова вдруг перестал саднить, словно всегда были эти запавшие щеки, этот проступивший сквозь восковую кожу череп. Нынешний Поливанов отделился от того, памятного, и Лосев слушал его рассуждения о том, как истребляют в Лыкове старину, все неуступчивей. Разговоры эти Лосеву давно обрыдли, страсть к старине, вспыхнувшая в последние годы, раздражала его какой-то крикливостью — наподобие этого сервированного под старину стола.

— Уверяют меня, что не желаешь ты дом Кислых сносить, — сказал Поливанов.

Лосев не откликнулся, промолчал.

— Ну что ж, святое дело сделаешь. Пора тебе за ум взяться. Да только не верю я.

— Чему не верите?

— Сейчас у нас, конечно, не модно старину рушить. На словах все защитники. Но знаешь, душа моя, как до дела доходит — так «обстоятельства», «не от меня зависит» и тому подобное.

Лосев не торопясь дожеввал, потом рассмеялся:

— Я как раз собирался сказать, что я бы с полным удовольствием. Так разве от одного меня зависит?

— Видишь, Таня, с него взятки гладки. Он-то не хочет, так ведь они не знают. Он бы и тово, так а вдруг яво. Одному богу молиться, другому кланяться — и всем будет хорош.

Лосев снова засмеялся как ни в чем не бывало, как будто речь шла не о нем. Неуязвимое добродушие его рассердило Поливанова.

— Если что порушить, это он мог бы сам, а защитить... Жмурин, беспартийный дворянин, тот мог с гу-

бернатором схватиться. В столицу, когда надо было, поехал. Поди, тоже карьерой дорожил. Такие же были людишки, тем же миром мазаны, в той же суете сует толклись. А все-таки до какого-то предела...

— О боге думали,— сказала стриженная старуха.— О своей душе.

Поливанов недовольно зыркнул на нее глазами.

— Как раз тогда бог был не в моде. Нет, тут другое, Надежда Николаевна. Скорее об истории думали, суда потомства боялись. Хотели город свой прославить и себя, естественно. Жмурин этот, может, на памятник себе надеялся. Это если по линии тщеславия, но скорее всего просто любил свой край. Имя свое берег. Хозяином себя пожизненно считал. А у тебя — временщики. Ты кого-нибудь на пенсию с почетом проводил? Чтобы вспоминать о нем по-хорошему? Да и ты сам порой лишь о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Ты не обижайся.

— А я и не обижаюсь,— сказал Лосев и налил себе водочки.

— Потому что перед тобою люди, у которых никакой корысти. Мне что, мне на Жмуркину заводь уже не любоваться, мне города жалко. Детишек жалко, не останется им красоты. Жмуркина заводь, может, последнее место, где красота старого города сохранилась. И вот уже до нее добрались.

— А что же вы раньше молчали?— спросил Лосев.

— Между прочим, писал я тебе, иль забыл? Еще в запрошлом году. Копию могу показать. Али и так вспомнишь?— Поливанов зло оживился, зарадовался.— Ответ за твоей подписью получил. По всей форме. Этому вы научились. Не глядя подмахивать. «Примем во внимание. Будет рассмотрено при рассмотрении».

Тьфу ты, и в самом деле было его письмо, было... Лосев тогда пробежал глазами, передал для ответа с досадой, какую вызывали у него подобные советчики, особенно же Поливанов, который то и дело строчил жалобы на городские власти, вмешивался, указывал.

Работникам горисполкома Поливанов надоед, как болячка, с удовольствием его бы прищемили, но побаивались Лосева, к тому же у старика сохранились по прежней работе и другие влиятельные связи.

— ...Моя-то совесть чиста. Да что толку в этой чистоте... Это католики о своей душе пекутся, а я болею за то, чтобы сохранить родное, российское. Пригодится.

Ты разве русские дома строишь? Лыковские? Твоим эс-перанто душа не насытится. Я долго жил, я вижу, чего мы лишились, сколько свели на нет по глупости, по невежеству. Ладно, тогда мы малограмотны были, но теперь-то наивысше образованные. И что? Опять рушим. Позор. А тебе в первую очередь. Ведь ты себя навеки приговоришь. При ком уничтожена была Жмуркина заводь? А-а, был такой печальной памяти начальничек Сергей Лосев. Тем он и прославился.

Лосев примирительно улыбнулся.

— Может, и другое что вспомнят.

— Родильный дом, да? Или канализацию? Это, думаешь, искупит? Не надейся, народная память либо — либо. Либо ты святой, либо пес худой. Да и правильно... От Жмурина хоть название заводи осталось, а от тебя что?

Они все жадно слушали и наблюдали за приклеенной улыбкой Лосева. Среди наведенных на него взглядов он прежде всего видел глаза Тучковой, в них было ожидание, беспокойство за него, готовность прийти на помощь.

— Что же вы всем миром на одного? Это, Юрий Емельянович, недозволенный прием, — и Лосев укрепил свою улыбку смешком.

— А потому, душа моя, на одного, что с общественностью не захотел обсудить. Может, и надо филиал строить, не знаю, но ты должен был проект на народное рассмотрение вынести. А вы всё втихаря, считаете, что сами с усами, что раз вам власть доверили, то вы, следовательно, самые умные в городе.

Лосев расхохотался.

— Факт, потому и избрали, что умнее нас нету.

— Да про что вы? — вдруг с тоской проговорила Тучкова. — Сергей Степанович!.. И вы тоже, Юрий Емельянович, о чем вы говорите, о чем?

— О самом главном, Танечка, — начал Поливанов. — Суд общественности.

— Да все ясно без всякого суда. Разве вам не ясно? Любому ясно, спросите кого хотите про Жмуркину заводь, это же душа города. — Она встала, тронула зачем-то конфорку, чайник, волосы ее свесились, затеняя блеск глаз. — Да, душа. Вот ты, Костик, ты где учился плавать? В Жмуркиной? Так ведь? И ты, Стась, — повернулась она к Рогинскому. — Костя, он еще молодой,

а чем это место для него станет лет через двадцать? Верно, тетя Варя?

— Не знаю, как нынче, — мягко и тихо сказала тетя Варя, — а мы молодыми там вечерами песни пели.

— И целоваться учились. — Костик прыснул своим словам. — До сих пор там учатся. Начальная школа любви.

— И, между прочим, заповедник детства, — осторожно произнес Рогинский, — для нынешних ребят тоже, они там и первую рыбку вылавливают, и первый раз в реку входят.

Тучкова кинула на него благодарный взгляд.

Все-таки какой-то особой силой обладали ее глаза. Лосева она полоснула сейчас мимоходом, и словно бы холодная тень упала на него.

— Заповедник, это правильно. Заповедник детства, там сохраняются воспоминания.

Лосев ел ржаную кокорку, запивал чаем, кивал головой, не то чтобы согласно, но и не перечая. Он думал, что купальни, которые построили за пристанью, так и не прижились, ребятня по-прежнему полощется в Жмуркиной заводи. А вот когда Жмуркину заводь займет филиал, то купальни окажутся в самый раз, и все поймут, как предусмотрительно занял Лосев там участок, добился денег на расчистку берега.

— ...Должно ведь что-то в городе остаться от прежнего, — говорила Тучкова. — Как старая вещь в квартире, тут не художественная ценность даже, а воспоминания, дорого как память.

— Как история, материальной культуры памятник, — сказал Рогинский. — Тот же дом Кислых.

— Постарался бы ты, Сереженька, — робко сказала тетя Варя. Он вспомнил, как она стригла его однажды, подровняла ножницами челочку под бокс.

— Ах, тетя Варя. — Он улыбнулся ей одной. — Все это прекрасно — душа, заповедник. Но в инстанции с такими причинами не пойдешь. — Он даже развеселился, представив физиономию Уварова. — Это за столом, на фоне самовара и всякой древности звучит, а придешь в кабинет — предъявляй конкретно.

— Но если вы все это понимаете, так почему же они не поймут... — напряженно составляя фразу, сказала Тучкова.

— Потому что я вырос тут... — резко сказал Лосев. — Это мое. А для них это чужое. Слыхали Каменева? Вы

думаете, что если вы мне душу растравите, значит, дело выиграно? А как я там дальше буду расплевываться, неважно, не ваша забота. Вы свое дело сделали, забили тревогу.

Поливанов сердито застучал ложкой.

— Ты это брось! Валить на нас! Ты благодарить нас должен. Мы ж тебе помочь хотим. Я что, у тебя на жалованье? Я за свои хлопоты ни денег, ни доброго слова не имею, твои чинуши меня вздорным стариком обзывают.

— Чем же вы мне помочь хотите? — спросил Лосев.

— Письмо написать. Хочешь — в область, хочешь — в Москву. Как скажешь. Подписи соберем. Депутатов, передовиков, старых коммунистов...

У Лосева щеки надулись, бровь поднялась, такое смешное ребячье выражение появлялось на лице его в минуты самые напряженные. Поливанов, конечно, испытывал, но чем черт не шутит, со старика всякое станет. Коллективное письмо, да еще с ведома руководителя города, можно сказать, с благословения. Подбил, вместо того, чтобы самому поставить вопрос перед инстанциями... Спросят за это, и правильно сделают.

— Пишите, ваше право, — сказал он и нагнулся, погладил кота, что ластился у ног. — А когда-то был у вас сибирский.

— Ангорский, — сказала тетя Варя.

— Да, ангорский... Только думаю, что письмо может все испортить. Аргументы у вас несерьезные. Опровергнут, и вопрос будет снят.

Поливанов продолжал наступать.

— Значит, в аргументах все дело? А я думаю, в желании! Ребром надо ставить, наверх идти, не бояться!

Мягкость Лосева его обманула. Казалось, на Лосева можно жать, он уступал, оправдывался, он был просто-душен, покладист. Еще бы немного, — но тут Поливанов натолкнулся точно на камень. Это была твердость и сила, которую Лосев проявлял неохотно.

Вздыхая, как бы щадя их, Лосев приоткрыл всего лишь краешек, чтобы они увидели, сколько за этим еще всякого прочего, которое цепляется одно за другое, целая корневая сеть. Прекрасно, дом не сносить, Жмуркину заводь не трогать. А что прикажете делать со стройкой? Переносить? А куда? Где подобрать площадку? Любые перемещения, между прочим, нуждаются в расчетах. Подъездные пути, коммуникация, общий

генплан развития. А как на новом месте здание впишется в профиль города? Мало того, тем, кто утверждал в области, — им ошибку надо признавать. А в чем ошибка? Просьба трудящихся? А другим трудящимся наплевать, им ближе на работу ходить...

Глаза Тучковой наполнились сочувствием. Костик заслушался, непроизвольно кивая каждому доводу.

— Вот и поручи своим спецам, — громко, бесцеремонно прервал Поливанов. — Пусть подготовят аргументы. Ты-то сам для себя в принципе решил? — Он подождал чуть-чуть, не для того, чтобы Лосев ответил. — А если решил, тогда выкладывай им на стол свои козыри! Тогда ты драться обязан, ни с чем не считаясь. Ни с какими неприятностями! Легкого пути тут нет.

И сразу из глаз Тучковой любопытство схлынуло. Обнажилась отчаянность, та самая, какая была в том разговоре с Каменевым...

— Болтовня! — жестко и резко сказал Лосев. — Не борьба нужна, а доводы. Аргументы не готовят. Их ищут, или они есть, или их нет. Честное дело надо честно решать... Эх вы, я-то думал, вы тут подготовили...

Все же он не стал с ними откровенничать. Не мог он сообщать тонкости отношений со строителями, с Уваровым; а еще была у него привычка следить за своими словами, взвешивать их, не говорить лишнего. То, что он годами упорно воспитывал в себе... Казалось бы, чего проще признаться, что он сам еще не решил, какой линии ему держаться, а не решил он потому... Впрочем, он и сам себе не хотел признаваться.

— Очень вы нынче принципиальный человек, Юрий Емельянович, — сказал Лосев, подчеркнув слово «нынче», но Поливанов не отозвался. — Со мной вы принципиальный. И задаром. Вот чем хвалитесь. Денег за вашу принципиальность вам не платят? Так? А мне, значит, платят. И я должен следовать вашему примеру уже в вышестоящих кабинетах. А если я вашему другому примеру последую?.. — Он хмыкнул, откинулся на спинку стула. — Стану принципиальным по выходе на пенсию?

— Ишь, огрызается. Сдачи дает, — с неожиданным благодушием удивился Поливанов.

— А как же... Одно дело сочувствовать, жалеть, другое — решать. Мало ли что бы мне хотелось. Я бы стадион хотел построить... Есть еще такие вещи, как бюджет, как план, как занятость населения. При всем

уважении к вашей деятельности, друзья-товарищи, для вас это, так сказать, — хобби. Вы, Юрий Емельянович, ради удовольствия этими изысканиями занимаетесь. Но прежде, насколько помню, со-о-всем другим занимались. Так ведь?

Поливанов не ответил. Неужто и в прежние годы он был таким же страшным кощею, и тогда в нем был какой-то подвох, и тогда он подкалывал Лосева и представлял его в смешном виде?

— Совсем иными делами увлекались, — повторил Лосев.

Он остановился, затянул паузу, чтобы все заметили, как Поливанов уклоняется от вызова.

Взгляды их столкнулись. Из темных впадин глаза Поливанова взблеснули и спрятались. Чувствовал ли Поливанов опасность?

— Давай, давай, не робей, — сказал Поливанов.

— Церковь Владимирская, самый драгоценный памятник в округе. Так? — Лосев отпил глоток чая. — Четырнадцатый век и всякое такое. Помните, как ее в клуб превратили, потом начисто перестроили, обкорнали. Сперва послали ходатайство в Москву, Калинин, чтобы, значит, закрыть церковь, потом, не дожидаясь разрешения, устроили антирелигиозный костер на площади. В каком это году было? Я, извините, тут никак, поскольку до моего рождения. А что там жгли? Иконостас со всеми иконами, деревянные врата, все резное, редкой работы, иконы, говорят, были большой художественной ценности... В огонь бросали также древние божественные книги из этого же храма. Библиотека была замечательная, поскольку туда перенесли монастырские бумаги, когда монастырь прикрыли. — Лосев посмотрел на Костика. — Книги были там семнадцатого века, может и шестнадцатого, так профессора считают. А роспись, между прочим, была единственная.

— Откуда это известно? — недоверчиво спросил Костик.

— Эксперты обследовали. Заключение дали, что восстановить невозможно. Мы восстановить хотели, была у нас такая мечта... На суд общественности мы, правда, не выносили, вече не собирали.

Он обращался сейчас к одному Костику, тот мучительно морщил лоб, переводил глаза то на Поливанова, то на Лосева, пытаясь понять, что происходит.

— Ну и что? К чему вы это? — враждебно спросил он Лосева.

— А вы как-нибудь расспросите Юрия Емельяновича... Говорят, Юрий Емельянович, что вас просили: «Оставьте, не жгите ихнее оборудование. Закройте церковь, но жечь для чего?»

— Мало ли что говорят! — Тучкова руки раскинула, как бы прикрывая Поливанова. — Зачем вы про это? Разве это что-нибудь меняет? Что ж вы переводите на другого...

Тут Поливанов грохнул набалдашником палки по столу, да так, что ножи подпрыгнули, тарелки зазвенели, что-то упало.

— Не нуждаюсь! Сам оборонюсь! Молчи, Татьяна. Ты что меня защищаешь? От кого? От него? — Голос его срывался, переходя на хрип, на визг, словно сук попал под пилу. Опираясь на палку, поднялся, стал высоким, выше, чем раньше, и глаза высветились, побелели от ярости. Он стоял над Лосевым, словно занесенный огромный колун. Жахнет и рассечет пополам; в этот момент давние легенды про этого человека ожили.

— Не ему меня разоблачать! Меня на фуфу не возьмешь! Маловато для Поливанова. Мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот папаша твой мог бы мне предъявить... Он, можно сказать, пострадал за свои идеи. У него идеи были. А у тебя какие идеи? У тебя сведения! Улики! Ха-ха, улики на Поливанова! Я-то гадал, думал, какой он, мой черед, грянет? Вот он, оказывается, — Серега Лосев! Эх ты, побирушка, насобирали щепок. Из них похлебки не сваришь. Да и на них не сваришь. Хоть и много их было. Я ведь все могу на себя взять. Я один остался и за всех отвечу. Да, так все и было. Слышите вы, правильно он изложил! Вполне у тебя добросовестные осведомители, Лосев. А вот сообщили они тебе, что дальше было? А? Шустрые они у тебя, да не умные. Они меня могли бы и сильнее принизить. При тебе ведь, или нет, ты отбыл уже, я ходить стал, выпрашивать у старух церковные книги, иконы, бумаги старые. С того костра они тогда кое-чего вытягивали, спасли от огня. Книжки, они плохо горят. Ходил, тридцать лет прошло, ходил по старым пням, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо: такой-растакой — сам жег, а теперь сам же просишь. Я винулся. Дурак, говорю, молодой был, не понимал. Я, комиссар Полива-

нов, я перед этими религиозными старухами каялся! Как блудный сын. Одни тешились, другие прощали, иконы давали, книги. Вот видишь, стоят обгорелые. Перед старухами каялся. А перед тобою и не подумаю. Ты, душа моя, из костра ничего не вытащил. Ни из одного костра... Какое ты право имеешь мне счет предъявлять? Ты что думаешь, вот, мол, какие варвары были. Стыдишься за нас?

Он поднял над Лосевым огромную костлявую руку с палкой, но Лосев смотрел в той же задумчивости, не шелохнулся, не отвел глаз.

— Знаю, осуждаете нас, отрещиваетесь. Но, может, для того, моего, времени мы по-другому и не могли? Через огонь только и надо добывать истину новой жизни. Мне и теперь снится, как у того костра Алиса Андреевна, учительница моя, за руку меня хватала, потом на колени повалилась, при всех, не постеснялась.

— Юрочка, не надо! — тихо, еле слышно, простонала Варвара Емельяновна, тетя Варя, сестра Поливанова. — Ах, нельзя ему, Сергей Степанович, зачем вы его расстраиваете? Танечка, ты хоть скажи.

— Молчи, Варька!

Тучкова обняла ее, прижала голову ее к себе.

— Я ничего не боюсь! Я своей жизни не боюсь! — кричал Поливанов.

— Да прекратите же вы, Сергей Степанович... вы его убиваете, — проговорила Таня. — Слышите?

Лосев сидел каменно, не отводя глаз от Поливанова.

— ...Учительница любимая слезы лила, просила, умоляла не трогать чудотворную икону Владимира. На художественную ценность напирала. Чуть ли не кисти Феофана Грека. Не жечь чтобы. Чтобы отдать в музей, куда угодно, да только не в костер. На Луначарского ссылалась. На Покровского, который, между прочим, приезжал тогда в губернию, комиссарил у нас. Я отверг. Все ее слезы отверг. Дурман, объяснял я ей, и есть дурман, кто бы его ни писал. Сама же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Ах, какая это икона была! Мне порой снится, как я ее с маху в огонь и как Алиса Андреевна кричит. Эти у меня иконы — мелочь по сравнению с той. Ну, естественно, чудотворная, это тоже подначивало. У них у всех вера была, а мы свою веру противопоставляли, демонстрировали храбрость, безбожье! Да, своя вера у меня была. И теперь есть! Пусть другая, а есть. Я всегда с верой жил. А ты?.. Перед

Алисой Андреевной мне стыдно — признаюсь, перед тобою — нет. Не тебе судить меня. Какое право у тебя? Ты на готовенькое явился...

Хорошо, что Костик подхватил его. Лицо его покрылось большими каплями пота, лишилось последних красок, он пошатнулся, опустился в кресло. Надежда Николаевна быстро накапала в рюмочку каких-то капель, поднесла. Поливанов глотнул не замечая. Взгляд его остановился, ушел куда-то внутрь. Стало тихо. Все молчали, как бы прислушиваясь, и Поливанов прислушивался.

Глазницы его опустели, словно бы смерть открылась в этой пустоте. Что минуту назад казалось таким важным, что вызывало его гнев, что требовало борьбы, защиты — сдунуло, как пыль, — чья-то правота, память о Жмурине, дом Кислых, упрек Лосева... И мнение людей, и воспоминания, и Алиса Андреевна, все такие огромные сроки — двадцать, пятьдесят лет, все оказывалось одинаково мелким перед небытием, перед той пропастью, куда тащила его смерть.

Надежда Николаевна взяла его за руку, кивнула всем, и все заговорили, стараясь не смотреть на Поливанова, словно было неприлично замечать то ужасное, что происходило рядом. Они изображали непонимание. Только снизили голоса, как бы специально, чтобы не мешать Поливанову прислушиваться... Если б это была боль, если б он кричал, они могли бы что-то делать. Но в том-то и дело, что они не могли ничем помочь, им оставалось вести себя так, словно ничего не происходит. Единственным их средством была ложь. Против лжи смерть ничего не могла. Они лгали, притворяясь, что ее нет, что они не догадываются об ее работе.

Рогинский показывал Лосеву гибкую продолговатую книгу — французский каталог, — открыл на заложенной странице. Знакомая Лосеву фотография картины была неровно обведена чернилами, и сбоку было написано «Астахов А. Г. 1887 г.» — и дальше какой-то номер выскоблен ножичком. Узнав, что каталог Лосев видел у вдовы Астахова, Рогинский выразил разочарование. К сожалению, никаких других примечательностей по дому Кислых не найдено. Нет сведений о посещениях этого дома какими-либо выдающимися деятелями литературы или искусства. Между тем именно на это рассчитывал Лосев. Судя по каталогу, о картине Поливанову было давно известно. А вот откуда и каким образом

попал сюда каталог, об этом не знали ни Рогинский, ни Тучкова. Тетя Варя, посматривая на Поливанова, вспомнила, что, кажись, прислали книгу ему из-за границы. Кто? Да, наверное, Лиза Кислых, другому некому, младшая дочь Кислых, прислала уж после войны. При чем тут Лиза Кислых — про это тетя Варя отвечать не стала, а вот Астахова, как выяснилось из расспросов Лосева, — видела, дома у него была, но об этом пусть лучше Юрий Емельянович расскажет.

Поливанов смотрел на сестру откуда-то издалека. Он переводил глаза с одного на другого, стараясь вернуться в их разговор, и не мог. Искал какую-то отгадку в их лицах, в движениях губ. О чем они? О чем можно говорить? О чем стоит говорить, волноваться?

...Он рисковал жизнью много раз и не боялся смерти. Но сейчас с ним происходило совершенно другое. Не было ни поединка, ни борьбы. Было умирание. Все внутри опустошалось, все теряло значение, не за что было зацепиться. Не все ли равно, что будет после него, если его самого не будет, и не будет уже никогда. Он смотрел на них с ненавистью и тоской.

— Вы не сердитесь на него, — шепнула Тучкова.

— Он сам завел.

— Вы как школьник, — усмехнулась она. — «Он первый». А он потому, что обиделся на вас.

— За что?

— Да потому, что вы все это, — она обвела головой стол, папки, мебель, — считаете хобби. А у него мечта — музей создать. Для музея он дом Кислых наметил, все туда готовил. А теперь...

Она смотрела на него, ожидая, но Лосев ничего не сказал, отломил себе кусок сотов, ложкой поднял оттуда тягучий мед.

Соты располагались правильным узором, будто их штамповала машина. Чудно́ было представить, что их сделали неразумные пчелы. Лосев разглядывал это геометрическое изделие и думал о том, что и тысячу лет назад соты имели такую же форму и никакой, значит, архитектуры и смены стилей у пчел не существует, что, может, происходит оттого, что пчелы доверились природе и она выбрала им самую совершенную форму для

этого материала, для их организма. Строят себе и строят, не завися от моды. И ведь так строят, что лучше не придумаешь.

Улучив момент, Надежда Николаевна сказала Лосеву с упреком:

— Вот кто святой человек. Как он страдает.

— Почему святой, он же атеист, коммунист, — устало и тупо возразил Лосев.

На это она иронично пыхнула папироской.

— Что с того, разве коммунист не может быть святым? Вы Евангелие, конечно, не читали?.. А жаль. Вы бы знали, что покающийся грешник дороже праведника. Он же каялся вам. Разве вы не поняли?

Лосев буркнул упрямо:

— Не разрушал бы, и каяться не пришлось бы.

На него смотрели как на виноватого, они все остались на стороне Поливанова. Возвращаясь домой, он вспоминал выстуженные глаза Тучковой, как она сухо попрощалась, даже Рогинский и тот остался разочарованным.

Мысленно он проверял себя — вроде бы держался правильно, говорил убедительно, доказательно, а в результате он почему-то виноват и перед ними, и перед Поливановым. В чем же его вина? В том, что он здоров, что он начальник, что он ничего не обещает и хочет быть честным? Но хуже всего, что и сам чувствовал себя как бы в чем-то уличенным.

Вообще-то Лосев жил, не оглядываясь на прожитое, не было к тому повода и потребности не было. Жил набегающим днем, делами, которых всегда невпроворот, поэтому и не имел сколько-нибудь ясного мнения, что же это все прожитое было — сцепление случайностей, которые образовывались из мешанины жизни и бросали его то вверх, то вниз и в прочие стороны, либо же среди этого хаоса имелась какая-то идея. Слепая ли игра обстоятельств и настроений его несла или он сам участвовал в создании своей судьбы?

А тут оглянулся и удивился, какие петли и зигзаги он выделял. Из отдаления некоторые поступки выглядели несусветными, загадочными. Особенно же поразило его теперь, спустя годы, первое его выдвижение, то, чем обозначено было начало его нынешнего пути.

По каким-то неведомым соображениям, скорее всего по недоразумению, приезжее начальство попало на его

участок мелиоративных работ. У него ничего подготовлено не было, и, как водится, один из трактористов был пьян, на костре из ветоши ребята коптили угря, словом — трудовые будни, и вдруг кавалькада машин с милицейской мигалкой впереди. Начальство было крупное, объяснения им давал главный инженер управления, а Лосев только отвечал на конкретные вопросы. Задавал их молодой красавец в кожаном пальто, главный инженер лепил ему черт знает какую липу, а он кивал с умным видом, так что одно удовольствие было его дурачить. Лосев улыбался. И когда заговорил приезжий, он тоже улыбнулся совершенно неуместно. Улыбка эта привлекла внимание седенького невзрачного человека, который, оказывается, и был тут самым большим начальством. «Неужели и вы так думаете?» — обратился он к Лосеву, и Лосеву вдруг стало стыдно за весь этот спектакль.

В тот год Лосев кончил заочный гидротехнический, превратился из техника в инженера. По словам того же главного инженера, из него, как и из всякого заочника, получился инженер куцый: «Тот заочник хорош, у кого есть комплекс неполноценности, а у тебя, Лосев, никаких комплексов!» Заочный, очный — разницы для Лосева не было, важно, что он получил диплом и чувствовал теперь свое равноправие. Поэтому и заговорил. Что он при этом думал — что начальство стремится знать истину? Что оно любит, когда его поправляют? Неизвестно. Некоторые, например, считали, что он хотел обратить на себя внимание. С другой стороны, делал он это слишком простодушно и невыгодно для себя.

Зачем осушать болота, говорил он, если старые земли не ремонтируем, лучше восстановить дренаж. Зачем строить агрогород с пятиэтажными домами?.. Москвич в кожаном пальто напомнил про устранение разницы между городом и деревней. «А зачем ее устранять?» — распалился Лосев. «Что, у нас земли мало?» Его стали дергать за пиджак, но тут седенький, с плоско стертым личиком простуженно сказал: «Продолжайте, молодой человек, если у вас есть что сказать». Лосев рассердился: «Конечно, есть», и стал говорить все то самое, о чем говорили все — и мелиораторы, и строители. Про пятиэтажную дешевизну, которой подкреплял себя приезжий, так об этом еще Пушкин Александр Сергеевич предупреждал на примере попа, который гонялся за дешевизной и был проучен Балдой... Он строчил, как

из автомата. Откуда что бралось, не заботился о последствиях, не замечал знаков, какие подавали ему районные начальники и Поливанов, который тогда был при должности.

Вечером его позвали к Фигуровскому, тому седенькому москвичу, который был самый главный.

Не в пример районному начальству, он обращался на «вы», задавал странные вопросы и все что-то высматривал полинялыми глазками. Вопросы были такие: что нравится в людях? За что надо увольнять с работы? Какие недостатки у новых грейдеров?

В те годы Лосев имел еще пухлые щеки, веснушки, легкомысленную стрижку под бокс, из кармашка пиджака у него торчала логарифмическая линейка, для понта, и тем не менее в этой неистребимой провинциальности, в этом оробелом наглеце Фигуровский что-то высмотрел, что-то он вылутил из самоуверенных его ответов-суждений и вдруг, проглотив какие-то гомеопатические порошки, Фигуровский предложил пойти работать к нему в министерство, в Москву.

Следует отметить, что никакого ошеломления Лосев не выказал, он и бровью не повел.

— Спасибо, конечно, но по какому такому случаю? — осведомился он с некоторой подозрительностью, чем окончательно восхитил Фигуровского.

— Мне нужны отчаянные, благоразумных и умеренных хватает, а отчаянных недобор, — сказал Фигуровский.

«Отчаянный» у него звучало не похвалой, не порицанием, а как служебное качество. Министерство для Лосева было то желто-белое здание с зеленой крышей, что возвышалось над стенами Кремля, — он служил в армии, участвовал в параде на Красной площади, и сквозь синий выхлоп газов со своего водительского места он смотрел на это здание, на боковые трибуны. Его поразило, сколько есть людей, которые имели право стоять здесь. А не пора ли и мне, сказал он тогда, рога-то трубят, секундомер-то включен. И, сидя перед Фигуровским, он увидел то желтое здание под зеленой крышей, трибуны, Красную площадь, услышал, как запели рога, как хлопнули паруса, зачерпнув ветра, и синие птицы вспорхнули, задевая его крыльями.

— Отчаянность — это еще не работа, — сказал он.

— Вы что, не хотите продвигаться?

— Хочу. Только мне прежде вес набрать надо. С одним рублем на базар не пойдешь, — и он улыбнулся Фигуровскому, а улыбка у него была тогда больше лица. Хмель победы кружил его голову.

— Вы рассуждаете недальновидно. И не так скромно, как кажется, — сказал Фигуровский. — Это у вас от возраста. Вы полагаете, в аппарате нужны опытные и заслуженные. Они есть. Но им надо добавлять щепотку безрассудства.

На стертом, плоском лице проступили тонкие морщины, они вычерчивали ум властный, ироничный; обозначился нос с тонкими подвижными ноздрями, стала видна осанка, значительность, напоминающая старинные портреты. В молчании черты эти прятались, уходили куда-то вглубь, оставляя невзрачность, похожую на защитную окраску.

До поры до времени Фигуровский любил пребывать в тени. В нем уживались осторожность и непримиримость. Несколько раз он сидел, его выпускали, посылали руководить большими предприятиями, до следующего конфликта. В самых сложных обстоятельствах он оставался щепетильно порядочным. О нем передавали истории странные, неправдоподобные — как он послал в следственный отдел своему арестованному заместителю телеграмму, поздравляя его с пятидесятилетием и перечисляя его заслуги. Как на совещании строителей, когда Сталин подал реплику, что стахановцы превышают проектные мощности, поправляя инженеров, ответил, что это плохие инженеры, если их могут поправлять рабочие. Он был бесстрашен, говорили, что по нему можно было ориентироваться, как по Полярной звезде. Но зато в него можно было целиться и бить наверняка, как в неподвижную цель.

Все это Лосев узнал позже, сейчас же он беспечно отверг предложение Фигуровского; он отказался, не заботясь о будущем, уверенный, что подобных предложений будет немало.

Знал он или не знал о неприятностях, которые ожидали его сразу же, за дверью? В блеклых, стариковских глазах Фигуровского загорелся интерес. Нерасчетливое поведение этого парня вызывало любопытство и уважение.

Уважение Лосев почувствовал — и это был один из сладостных моментов его жизни. Никогда впоследствии он не жалел о своем отказе.

На прощание Фигуровский сказал:

— Старайтесь впредь сочувствовать тому, против кого вы выступаете.

Фразу эту Лосев запомнил, хотя понял ее много позже.

Спустя месяц его назначили заведующим стройотделом, а через год он стал заместителем председателя горисполкома.

Когда он прощался со своими мелиораторами, его опечалили слова бригадира: «Теперь тебе, Серега, больше не тянуть рычаги, землю не нюхать, водичку не угадывать. Отклеился ты. У тебя теперь не заработок, а жалованье пойдет. Придется вверх тянуться тебе, чтобы место под солнцем иметь».

Он долго сидел на берегу, опустив руку в бегучую воду, перебирая пальцами ее струистые пряди.

Жаль было расставаться с гидравликой, прекрасной наукой о капризах воды, о ее нраве и буйстве. Не было ничего проще воды и ничего прихотливей ее, ее завихрений, воронок, ее подземных царств с невидимыми реками, озерами. Она была такой разной, вода родников, канав, озер, живительная внешняя вода — не то что снеговая, иная, чем кислая вода болот или тяжелая вода оврагов. У каждой реки свой вкус, свой нрав, неподатливый расчетам, лучше угадываемый чутьем, на ощупь, на язык, на лик местности, на запах травы. Он умел чувствовать воду. Была б его воля, он стал бы смотрителем реки, хранителем реки, он ухаживал бы за рекой, за ее подземными родственниками, не позволял бы ее грязнить, сливать туда пакость.

ГЛАВА 8

Секретарша передала, что звонили от Поливанова, просили Лосева зайти. «Некогда», — буркнул Лосев. Через два дня принесли записку, где Поливанов собственноручно просил навестить не откладывая: «...ибо здоровьишко мое прохудилось вконец, хочу же сообщить тебе кое-что полезное, пока языком могу ворочать, не то промывчу, подобно Петру Первому, невесть что, оставив вас всех в полном неведении, на меня же не обижайся, лучше в обиде ходить, чем в обидчиках...»

Написано было славянской вязью, шутейно, на старинной гербовой бумаге, и Лосев подумал, что все же

в городе у них такой Поливанов один, умрет он — и ничего уже похожего никогда не будет и не повторится.

Все равно идти не хотелось. Догадывался, зачем зовут. Представлял, что Поливанов потребует заверений насчет музея, обязательно про свое завещание, про наследство, опять про дом Кислых заведет. Но не пойти было нельзя. Почему нельзя отказать Поливанову, почему последняя воля человека, уходящего из жизни, — закон, этого Лосев не знал, но в этом законе он вырос, никогда над ним не задумывался и, как бы ни противился, нарушить его не мог.

Он застал Поливанова в саду, на скамейке, перед беседкой. Поливанов выглядел на этот раз лучше, щеки его порозовели, был он подстрижен, крепкий запах одеколона словно придавал ему бодрость. Лосев был даже как-то разочарован, словно его обманули. Сидел Поливанов лицом к солнышку, в старых высоких калошах, защитный ватник на плечах. Лосева он усадил напротив себя на плетеный стул, в тень, и сразу же заговорил, как бы боясь, что Лосев уйдет. В прошлый раз нервы помешали, сорвался, унесло их обоих, не рассчитал, не привык больным себя чувствовать, врачи просят силы беречь, а для чего? Говорил быстро, стараясь скорее кончить о болезни, о смерти, но опять натыкался на безответные вопросы. От этого сердился, увязал еще сильнее, потом выругался, закрыл глаза, замолчал, откинул голову. На морщинистом кадыке блестели невыбритые седые волосы. Какая-то зеленая букашечка ползла между ними.

Лосев украдкой посмотрел на часы. Можно было тихонько подняться, пройти в дом, к тете Варе, пусть старик отдыхает, заеду, мол, в следующий раз, как-нибудь... На неподвижном лице Поливанова лежала сквозящая тень соломенной шляпы, старомодной шляпы с черной ленточкой. Такая же шляпа была когда-то у отца. До войны носили такие шляпы.

Об отце Лосев вспоминал редко. С детства привык к тому, что все родные считали отца человеком пустым, неудачником, и мать страдала от него и часто плакала. Туманные идеи отца, его философствования вызывали опасения, в чем там суть — никто не допытывался, но понимали, что не то, не то. В райкоме комсомола предупреждали Лосева насчет идейной путаницы у отца

и поповщины. Потом отец запил, его перестали всерьез принимать, да и Поливанов брал его под защиту. Пока еще отец с ними жил, Поливанов выговаривал отцу за сына и Сергея предупреждал: не давай себе мозги засорять...

Поливанов открыл глаза и сказал:

— Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. Скажи, Серега, почему помирать неохота? Ведь все равно придется, закон, а бунтую. Не дожил я до жизненной усталости. У меня голова кипит. Я бы мог... самая у меня спелость. Несправедливо это. Почему кончаться жизнь должна, если я не хочу? Все думаю, как бы задержаться. Как бы схитрить. Думаю — если секреты свои выложу, тогда — конец? Тогда не за что зацепиться. А если придержусь? То хлоп, и не успею, так и окочурюсь. Опять же, думаю, рассказать все, о чем молчал, поделиться — а с кем? — Он посмотрел в небо, на солнце. — Серега, можешь ты дать мне выступить? Уважь напоследок. погоди, не отвечай, я тебе за это — не пожалеешь. Я тебе все, чего хочешь. Все отдам. Хочешь, у меня есть тетрадка с записями твоего отца, Степана Иустиновича? Я у него брал почитать, да не отдал. Нарочно не отдал. Хочешь? А за это устрой, чтобы я выступил. По радио. Чтобы включили повсюду репродукторы, как Первого мая. И чтоб весь город слышал. Ты не бойся, ничего вредного от меня быть не может. Я лично про себя хочу. Все равно как на юбилее. Дали бы на юбилее мне слово? Можешь сделать мне такое одолжение сейчас, ни с кем не согласовывая?

— Отчего же, вполне, только как-то обставить это надо. К дате какой-нибудь...

Поливанов наклонился, всматриваясь в глаза Лосева.

— Врешь. Отговориться хочешь. Знаешь, что у меня сейчас одна дата...

— Бросьте, Юрий Емельянович, вы всех нас переживете.

— Врачи тоже мне говорят... Может, не брешут.

Взгляд его скользил неувовимо, Лосев никак не мог сверить свое ощущение: притворяется Поливанов, знает он о смертельной своей болезни, цепляется за врачебную ложь? Не раз позже Лосев пытался понять, что это было? Все кругом Поливанова делали вид, что он выздоравливает, строили планы с ним насчет музея, и он сам охотно участвовал в этом обмане. Кто кого утешал?

А может, так и надо было? Может, так было легче? Может, так человек продлевает жизнь?

— У меня речь продумана. Я бы изложил, как все было. Без снисхождения. Кушайте. Поперхнулись бы. А потом зато бы проняло. Как доставалось. Конечно, теперь не тот интерес. Это ведь про родителей. Про дедов. У вас нынче свои тенета. Моя команда не дождалась. Тебе вот неинтересно?

— Почему же, — сказал Лосев, — можно прислать сюда с магнитофоном корреспондента. Запишут. Потом пустят по радио.

Поливанов помолчал, посмотрел свою руку на свет.

— Дай честное слово.

— Даю.

— Вот и опять врешь. Потому что любая шмакодявка может тебя застопорить. Скажут: кому это надо?.. А ведь кому-то это надо. Для кого-то же это было. Тебе неинтересно, вижу. Сидишь тут, потому что боишься проклятия моего. Не бойся, тетрадь отцову я так отдам. Задаром. Позови Варьку... Нельзя, душа моя, откладывать, ничего уже нельзя откладывать. Я всегда думал, что успею сделать что нужно. Привык, каждый день солнышко вставало, я умывался, брился, все повторялось, знал, что и завтра будет то же. Ан нет. Ничего не повторяется, слышь, Серега, ничего! — Он сердито уставился на Варю, которая появилась с полотенцем через плечо. — Ты чего? Я же приказал никого. Ах да... папку ему принеси, где написано «Лосев». Приготовлена она. Иди. — Он посмотрел ей вслед. — Вот Варька, тоже кричал на нее, замуж не пустил, все думал — потом займусь, устрою, подыщу... Завтра, завтра, а где оно? Думал, что успею поразмышлять, зачем жил, как жил. Соображения свои все откладывал. Мне ведь и сказать-то на площади нечего. Копил, копил, а заглянуть внутрь — и нет ничего, труха. Истлело, ничего не осталось. Сразу надо было. Хорошего дела нельзя откладывать. Не думал я о смерти. Словно бы бессмертен. Ты разве к смерти готовишься? Тоже живешь ровно бессмертен. Это у всех нынче. Как болезнь. Боимся готовиться. Поскольку там ничего нет, то боимся подумать. Мы, безбожники, верим в бессмертие свое, а верующие, те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Понимаешь, как вывихнулось. — Он придвинулся на край скамейки, схватил Лосева за руку своей влажной холодной рукой. — Нехорошо ведь будет, а? Стыдно, а?

— Что стыдно?

— Если я в откровенность пущусь. Выходит, пока здоров был — помалкивал, таился. Подумают, что боялся, стыдился. Теперь вот заговорил, когда уже все ни-почем. Это разве человека достойно? И ведь не докажешь, не объяснишь, что не от страха молчал и не от страха заговорил. Нет, не буду. Как жил, так и пусть идет до конца, не поддамся. Не буду причащаться у тебя, да ты и не поп.

— И правильно, что не будете, — сказал Лосев. — Исповедь для тех, кто в бога верит. Они как бы очистку в космос производят, удаляют всякий мусор... Расскажут — и вроде как переложат на другого. В данном случае на бога. А если не на кого? Это от трусости, Юрий Емельянович. Может, лучше вам врача хорошего?

На врача Поливанов плечом дернул, а на остальное сказал:

— Шути, шути, думаешь, она далеко? И с богом не так просто. Ох, скоро, Серега, вспомнишь меня. Жизнь короче, чем тебе кажется. Глянешь однажды — никого кругом своих нет...

Папка, что принесла тетя Варя, была старая, затрепанная, с красной надписью «Уездный народный суд». Надпись перечеркнута, под ней химическим карандашом красиво выведено: «Лосев Степан Иустинovich».

Поливанов, сердито дергая тесемки, развязал, вытащил тонкую ученическую тетрадку, под ней листки. Прочитал верхний, сунул в карман.

— Это тебе ни к чему... Бери, считай, что ничего не должен.

— А корреспондента прислать?

— Освобождаю.

— Чего ж так?

— Передумал. Поздно, душа моя. Да и с какой стати переиначивать. Все правильно было. Ты не оглядывался на свою жизнь. А когда оглядываться станешь — увидишь, что она не бессмысленна. Она в итоге узор какой-то выведет. А нам, Серега, только под конец виден он. И то... Если следить, Серега, то она все время знаки подает, жизнь-то. Чувствовать только надо. А у нас все закупорено. Алиса Андреевна тогда прокляла меня. Я посмеялся. Известное дело — пережитки прошлого. Простил. Хотя мог бы за такие выпады... Я почему давеча осердился на тебя? Потому что не умеешь ты

вникнуть. К примеру, мог я за это проклятие ей припомнить. А я, когда помирала, прощения ходил просить. Простила. Понимаешь — она простила! Это мне знак был!.. Причащали ее... Церковность это, но все же, готовили человека к смерти. Уважали прожитое. А теперь зубы заговаривают, отвлекают, чтобы на ходу спрыгнуть, почему так?..

Из дома слышались голоса, среди них высокий голос Тучковой, и Лосев захотел уйти, встал, чтобы распрощаться, однако никуда не двинулся, остался стоять, раскрыл тетрадку.

Почерк у отца был мелкий, печатно-ровный, Лосеву вспомнилось, что тетрадок таких было множество, писал их отец по ночам, на кухне, густо дымя махоркой.

Страницы были исписаны сверху донизу, и поля исписаны, и синяя обложка была исписана. Лосев не читал, перелистывал; он стоял у кресла и, когда подошла Тучкова, сказал:

— Вот вызвал меня Юрий Емельянович, выступить хотел по радио.

Поливанов сдвинул лохматые седые брови.

— Зачем ты? Я ж тебе сказал, что передумал. Отменяется. Представление отменяется. Уходите. А ты чего явилась? Я просил не пускать ко мне. Ступайте оба.

Лосев нахмурился, но Таня расхохоталась как ни в чем не бывало, опустилась в кресло и стала рассказывать про экскурсию, которую только что провела. Лосев удивился бесстрашию, с каким она своевольничала, не обращала внимания на грубости Поливанова, его окрики.

Таня жаловалась, что опять донимали ее расспросами, зачем Астахов приезжал сюда, сколько жил он тут и чем его привлек этот дом.

— Между прочим, картину у нас на выставку просят. В Ленинград. Бумага пришла. На октябрь месяц. Как вы скажете, Сергей Степанович? — Она запрокинула к нему голову так, что солнце высветило ее глаза и рот полураскрытый, влажно-розовую его глубину. — Я без вашего разрешения не могу.

— Ишь ты, — сказал Поливанов. — Хозяин! Попечитель искусств нашей главдыры...

— Юрий Емельянович? — строго сказала Таня. — Картину-то кто привез?

— Известно кто, всем известно... Может, и мне прикажешь ему поклон бить? — Он стал смотреть вниз и вдруг вздернулся. — Не дожدهшься!

— Я вас хотела попросить, Сергей Степанович, давайте свозим Юрия Емельяновича, картину покажем ему, а?

— Конечно, обязательно, — обрадовался Лосев.

— Ты бы хоть меня спросила... Не поеду я.

— Почему? — удивилась Таня.

— Тебя на свете не было, когда я видел ее.

— Здесь видели? — спросил Лосев. — При Астахове?

— Хотя бы при нем... Считай, сорок лет прошло, — удивился Поливанов. — Все равно не хочу! — Он помолчал с вызовом. — Между прочим, ты, Татьяна, преклоняешься перед Серегой, а картину эту спас я!

— От чего спасли? — воскликнула Таня.

— Мы ведь не только разрушали. Мы еще и спасали.

Таня обеспокоенно передвинула кресло так, чтобы оказаться между ними, она опасалась новой стычки, накинулась на Поливанова с расспросами. Он отвечать не торопился.

— Если б не я, не было бы этой картины в России.

— Почему ж вы раньше молчали? Как это было? А Ольгу Серафимовну вы знали?

На фразу Поливанова Лосев недоверчиво пожал плечами. Недоверие лучше всего заставляет выкладываться. Не следует показывать своего интереса. Не веришь, слушать неохота — это-то и подстрекает рассказчика. Поэтому Поливанов обращался к Лосеву, его хотел поразить тем, как Астахов приезжал в Лыков в тридцать шестом или тридцать восьмом году по особому делу. И до этого Астахов бывал где-то поблизости, в двадцатых годах, можно уточнить. Все можно уточнить, лишь бы знать, что именно, лишь бы иметь зацепочку. В этот его приезд Поливанов и познакомился с ним. Мужчина был видный, однако безалаберный, поведения неизъяснимого, мог во время ответственного разговора, неприятного для него разговора, отключиться и рисовать на бумаге собеседника. Расстраивался и рисовал. Расстраивался, в частности, из-за этой картины. Взялся он за нее по причинам несерьезным, даже неумным для того времени, да еще и в секрете держать не умел. Впрочем, секретов от него, Поливанова, быть не могло.

Бескровные губы растянулись, придав лицу выражение неприятно-упорное, так что Лосеву припомнились давние раскаты каких-то жестоких и романтических историй, которые донеслись к Лосеву обрывками, а Тучковой, поди, и вовсе не достигли.

В молодые годы Лосева Поливанов с кем-то боролся, выступал страстно, смело, чем и привлекал молодежь. С чем и с кем они боролись? Теперь забылось. Помнится, как под водительством Поливанова сменили название кинотеатра «Форум» на «Подъем» и ресторана «Олимпия» — на «Волна». Так и остался «Подъем» до нынешнего дня.

Незаметно возник Костя, оранжевая рубашка с английскими надписями, медный браслет на руке. Присел поодаль на корточки, слушал Поливанова с грустью. Лосев подумал, что все окружение Поливанова, издерганное его капризами, придавленное его властью, все они после смерти Поливанова разъединятся, заживут каждый по себе и как о чем-то хорошем будут вспоминать свои споры, возню со старыми бумагами, приходы в этот дом, где обитала эта яростная сила, тяжкая, злая, возвышенная, умная и ни на что не похожая, идущая наперекор, вызывающая раздражение, досаду, непривычные мысли.

Глядя на Костика, Лосеву тоже стало жаль исчезающей поливановской жизни. В чадающем, догорающем этом огарке был памятный Лосеву жар поколения, которое начинало революцию. Никого из них почти не осталось в городе. Разве что Вахрамеев, молчаливый старичок, который упрямо вывешивал на балконе красный флаг в День Парижской коммуны. Они бились с мировой буржуазией — здесь, в Лыкове, они вели классовую борьбу, непримиримую, кровавую, ожидая коммунизма через пять, десять лет, они прислушивались и слышали, явственно слышали раскаты революции пролетариев всего мира.

С ними было трудно и утомительно, они были грубо прямолинейны, самоуверенны, они не считались с законами, для них не существовало «можно» и «нельзя», они признавали «надо» и «не надо», с точки зрения всей партии или всего трудящегося человечества.

Голос Тучковой вернул его внимание.

— При чем тут Лиза Кислых?

— Сказывали, что-то было у них.

— Вот это да! Роман? Любовь? У кого бы узнать.

— Мало ли ахинею какую несут.

— Это очень важно, чтобы понять его творчество. И нашу картину. Тогда многое прояснится. Может, у них произошло что-то трагическое. Астахов красавец был. И талант!— с гордостью сказала Тучкова.

— Да вокруг нее таких красавцев, как твой Астахов, было что комаров под вечер. Головы она кружить умела. Подождет и смеется. Знал я все ее пожары.

— Это откуда же?— не вытерпел Лосев, чем-то заинтересовавшись.

Поливанов посмотрел на него, взгляд его загустел.

— Услыхал? Отцом родным не зацепить было, так хоть тут...

— Юрий Емельянович!— сказала Тучкова.— Зачем вы... Ну что вы себя переворачиваете... Вы же не такой.

— Такой, такой! Лучше такой, чем никакой. Я ведь для них уже никакой. Нет меня. Медаль юбилейную кому только не давали. А Поливанов что, не достоин? Не наградили. Забыли.

С прошлого года, значит, лелеял свою обиду: обошли медалью. Людское тщеславие доставляло Лосеву, наверное, больше всего неприятностей. Но здесь поражаало другое: на краю могилы стоит человек, чует неземной ее холод и забыть не может про медаль, ни от чего отказаться не хочет. Как это соединяется в человеке?

Тучкова поднялась и стала рядом, опираясь на спинку кресла. Рука Тучковой легла на его руку. Уступая теплу ее руки, Лосев сказал:

— За такие сокровища, какие вы тут собрали, вам, Юрий Емельянович, орден надо, а не медаль. Мы исторический музей сделаем. Всех привлечем. Лучший в области!

— Где ты его сделаешь?— с тоской спросил Поливанов.

— Да здесь.

— Разве здесь уместить? Да и гнилой этот дом.

— Новый построим. По проекту.

— Зачем строить,— сказал Поливанов.— Лучше дома Кислых не выстроишь. Серега, коль моя просьба ничто, в память отца твоего отдай дом под музей.

— Может быть, все может быть,— сказал Лосев.— Постараемся.

Он вдруг воспламенился, разжег и остальных, как это он умел. Портрет Поливанова будет висеть у входа. Основатель музея. И вся история создания будет изло-

жена. Как Поливанов собирал коллекцию, материалы. Архивное помещение будет. Библиотека. Диорама...

— Можно макет города изготовить. Середина прошлого века,— покраснев, сказал Костик нахальным голосом.— Все материалы собраны.

— И обязательно, чтобы в музее были вещи прошлого,— сказала Тучкова и сняла свою руку.— Глиняная посуда, лампы, вывески, ухваты. Чтобы люди разницу жизни видели. Необязательно хорошую, и плохую разницу пусть видят...

— Свистульки, гребни деревянные,— добавил Костя.

— Шляпы, трости! — Лосев тоже подхватил эту игру.

— Чернильницы, бритвы!

— Гамаши!

— Гамаки!

— Календари!

— Вывески, меню, открытки,— сказал Лосев.— Кстати, открытки подберите мне, старые, я договорился с Каменевым, отпечатаем набор сувенирный, буклет.

— Почтовые ящики, литографии,— сказала Таня.— А что, она красивая была?

Поливанов прищурился на солнце.

— Коса у нее была до полу. А волосы такие, как клены осенью.

Костик выразительно присвистнул.

— Мы все ходили влюбленные в нее,— говорил Поливанов.— А чего скрывать. Валяйте, спрашивайте. На все отвечу. Эй, зови Варьку, зови всех,— закричал он слабым, но еще по-старому властным криком.— Налетайте! Раздаю! Кому мыльца, кому шильца, кому рыбью доху!

На крыльце появилась тетя Варя, за ней какая-то старуха. Выцветшие глаза их смотрели без осуждения, без любопытства. Когда-то они о многом захотели бы спросить Поливанова, но все давно отгорело. Сейчас им важнее представлялся его покой, только в покое можно было наслаждаться теплом этого чистого неба, запахами цветов, трав, гудением шмелей... Это была та благодать, которая давалась человеку под конец жизни, и они не понимали, чего мечется Поливанов, вместо того чтобы вкушать покой и красоту, какие предлагал ему этот мир. А Поливанов притоптывал галошей, дергался, требовал соседей, народу, народу ему хотелось. Костя готов был бежать, звать. Лосев чуть подтолкнул Тучкову —

ну, спрашивайте, чего же вы, вам же это по делу надо, и она попросила рассказать, каким образом Поливанов спас картину Астахова.

— За границу, за рубеж хотел отправить ее твой Астахов, вот и пришлось мне останавливать его.

Отвечал Поливанов обрадованно и все хотел еще вопросов про других людей, про времена нэпа, про пятилетку, когда пустили первый электровоз и обвинили путейцев вредителями, но Тучкова упорно возвращала его к Астахову — куда за границу послать картину? К кому? Зачем?

— Да в утешение Лизе Кислых. В подарочек. На память о родных местах. Она в эмиграции ностальгией мучилась. А Астахов пожаловал к нам зарисовать. У них связь поддерживалась. Навестил, будучи в командировке.

Может, на их лицах он что-то заметил, потому что вдруг погасил угрожающий голос, сказал, оправдываясь:

— По нынешним временам, конечно, это ничто, а тогда учитывалось строго.

Он не помнил, что за выставка была, с которой ездил Астахов, и зачем, помнил он другое — что бабка у Лизы Кислых была француженка, где-то они там, во Франции, домик имели, братья Мозжухины к ним ходили, артисты были такие известные, потом в эмиграции оказались. Не следовало Астахову туда соваться.

— А если Астахов любил ее, как можно запретить?

— Ты, Татьяна, рассуждаешь ровно моя жена, покойница. Мало ли кто кого любил. Тут, душа моя, выбирай. А выбрал — все.

Тучкова слушала его с недоумением.

— Что значит выбирать?

— А то: либо с нами, либо с врагами, то есть белоэмигрантами.

— При чем тут белоэмигранты! — воскликнула Тучкова. — Мог он подарить свою картину, вы понимаете, свою собственную, женщине... которую любил. Какое ваше было дело?

— В тех наших схватках ты, Татьяна, дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество нашим врагам. Строго? Так и время строгое было.

Поливанов отбивал ее наскоки играючи, радовался своей силе, видимо не ждал, что сумеет так просто. Шляпу сдвинул на затылок, покраснелся, с возбуж-

денным нетерпением оглядывался вокруг и особенно на Лосева, жаждал чем-то поразить его холодную недоверчивость. Уверенные ответы Поливанова совершенно сбивали Таню с толку, к тому же Лосев никак не приходил на помощь, словно бы и не замечал ее немого призыва; напряжение было в его позе, в наклоне головы, словно помимо того, что говорил Поливанов, слышалось ему что-то другое, плохо различимое.

— Что ж вы меня про главное не спросите,— сказал вдруг Поливанов,— как удалось мне...

— И так ясно, чего спрашивать,— прерывая его, сказал Лосев, при этом быстро с силою засунул в карман свернутую тетрадь.

— Да что тебе ясно, что именно?— с напором потребовал Поливанов: может, рассчитывал, что Лосев отступит, смутится.

Однако Лосев ответил равнодушно, уводя взгляд в сторону:

— Сообщили куда положено, ему и отменили командировку, так ведь делалось.

— Ишь ты, как у тебя просто!— воскликнул Поливанов, обижаясь и торжествуя.— Да сделай я так, от него пух и перья полетели бы.

Из его слов выглянуло время — раскаленное, опасное, когда приходилось взвешивать каждое выражение, тем более в бумагах. Возвращался к тому времени Поливанов с удовольствием, как к пережитым с честью битвам, там были такие сложности, о которых все позабыли, понятия не имеют, но Лосев перебил его, чуть морщась, словно придавливая окурок, попросил лучше рассказать, как картина во французский каталог попала.

— Почему ж это лучше?— вскинулся было Поливанов, взгляд его, однако, загорелся, неуловимо тонкая усмешка прошла по губам.— Мне каталог этот Астахов преподнес. Так сказать, в пику. Я ведь посетил в Москве его мастерскую. Но я ему простил...

Тучкова вдруг повторила высоким голосом:

— *Вы простили!*

— Преподнес и выставил меня. Да, простил я его, что с него взять. Критиковали его в то время уже крепко. Он на личную почву перенес. А картину, наверно, иностранцам показывал, они и пересняли.

— Значит, из-за всей этой истории у него начались неприятности? — тем же высоким бесцветным голосом спросила Тучкова.

— Я его предупреждал: уступи, введи какую-нибудь современность.

— И за то, что он вам не уступил... — Тучкова вскочила, сделала несколько шагов прочь, повернулась, песок визгливо скрипнул под каблуками. — Да как вы решились, Юрий Емельянович, подумайте, что вы могли ему советовать, такому художнику, его только слушать надо было, запоминать, ведь вам такое счастье выпало...

— Погодите, Таня, — сказал Лосев. — Все нормально. Зритель свое мнение может высказать. Значит, посоветовали ввести приметы современности.

— Ну там трактора, допустим, пионеры, не помню уж.

— Пионеры... — повторил Лосев. — Юрий Емельянович, а был я тогда, то есть мог я видеть Астахова?

— А почему нет? Астахов сидел на берегу, работал, мальчишки там вертелись. К примеру, отец твой определенно там *болтался*.

Лицо Лосева мгновенно затвердело, словечко это хлестануло его неожиданно больно, он-то знал, что оно сорвалось не случайно, а потому, что тогда было прилеплено к отцу.

Тучкова посмотрела на него, улыбнулась:

— Не могу представить вас мальчишкой.

Улыбка появилась нечаянно, но все равно он был благодарен за эту поддержку.

— Ты, Танюша, напрасно меня... Я был выше личных счетов, — говорил Поливанов. Белые лепестки жасмина кружились в воздухе, слетали на ватник Поливанова, на соломенную его шляпу. — Астахов это не понимал. Он сводил на личное. А у меня к нему что? У меня принципы! Я не для себя. Меня идея толкала. До этого мы с ним вполне дружески. На рыбалку ездили. Он меня научил шашлыки из осетра делать, — и Поливанов, прикрыв глаза, стал описывать, как пели песни с Астаховым, бас был у Астахова не сильный, но почти на две октавы. Сам он косолапый, широкий, лохматый, как леший.

Подробности эти Тучкова подхватывала жадно, боясь пропустить, спугнуть. Кремневый характер у старика, удивлялся Лосев, столько знал про Астахова

и словом никому до этой минуты, даже Тучковой, своей любимице, не обмолвился, не похвастался.

— При таких отношениях — тем более нельзя было... на него... — вдруг пересохшим от молчания голосом произнес Костя.

О нем как-то позабыли. Он сидел на корточках, свесив длинные руки в медных браслетах, покачивался взад-вперед, лицо у него стало неприятно-надменное.

— Что нельзя было? — грозно спросил Поливанов.

Костя прищурился, не ответил.

— Ты молчи, — сказал Поливанов. — Ты понять должен стараться. У тебя своего направления нет, как ты можешь судить, ты спрашивай, вникай.

— Но это же не ответ, Юрий Емельянович, — тихо и серьезно сказала Тучкова.

— А ты, вникающая, знай, что Астахов, несмотря на свой талант, человек был отсталый от классовой борьбы. Либерал. Хуже нет либералов. Чистить и чистить ему мозги следовало. К примеру, высказывался против индустриализации, против автомобильного транспорта. Я ему прощал как художнику. Шутка сказать. С ним и в Москве нянчились, опекали его... А других за это... Эх, никогда вы нашего времени не поймете!

— Не любили вы его, — с какой-то сокровенной настойчивостью проговорила Тучкова.

— А за что его любить я должен? Чем он помогал нашей жизни? Нашей реконструкции?

Тучкова присела перед Поливановым, взяла его за руку движением горячим, сочувственным.

— Ну при чем тут реконструкция? Вы ревновали! Сознайтесь — вы из ревности? Из ревности можно на что угодно пойти. — Умоляющая горячность ее была чрезмерной, с каким-то нервным упорством она настаивала, выпрашивала подтверждения.

Поливанов погладил Танину руку, покачал головой. Белые лепестки посыпались с его шляпы. Он походил сейчас на кроткого старца, вразумляющего неразумную паству, да так, чтобы бережно, чтобы не огорчить, не опечалить.

— Тут, если хочешь, душа моя, наоборот получилось! Я в Москве в мастерской его первое, что увидел, — портрет Лизы! Открыто висел. Какой портрет! Не боялся он, значит. Не отрекся. Достоин уважения. Верно? За то, что не прятал любовь свою. По-мужски. Нет, благородство, оно действует независимо на всех. Я вам так

скажу: если благородство не действует, значит, у человека нет ничего внутри. Значит, сгнило все, значит, по-донок. Вот правду взять. Какое действие правда оказывает? Пашков, например, отец Петьки Пашкова, он стрелял в меня! Кому это надо знать сейчас? Если правду вам изложить всю, как есть, про твоего отца, про тебя тоже, про этого, ишь, сидит, раскачивается. Полез-на она или вред от нее? Почему люди правду человеку в глаза не говорят? Так и проживет он, не узнав, что они думают. Вот я — так и не знаю, какой мой образ среди людей сложился. Никто мне никогда не сказал. Боя-лись? Конторщики твои думают, например, что я склочник, такое они имеют впечатление. Верно? Мо-жет, я у них злодей? А я и не узнаю...

Говорил он задумчиво, но было в словах его и неко-торое предупреждение, впрочем пренебрежительное.

Солнце припекало. Поливанов снял шляпу, помахал ею.

— Все отвлекаюсь. Много хочется сказать, сколько прожито... Молчал, молчал, а теперь не успеть. Про что ты вела? Ах да, на ревность ты гнула. Нет, душа моя, не ревность, а жалость. Слабый он человек, Астахов, вы-рвать не мог ее из сердца. Вот и отравил себя.

— Так почему он вырвать должен был? — восклик-нула Тучкова.

— А я почему должен был? А? Так надо было, душа моя. Как уехала — всё! Иначе бы запутался, а надо бы-ло выполнять долг свой. Недаром поется — отряхнуть его прах с наших ног. Нельзя старого было оставлять в душе. Отряхнуть! Мне труднее было. У него таких ро-манов много, да я и не сравниваюсь. А вот выгнал он меня как полный враг. Вытолкал меня. Сунул каталог, обозвал и пожалуйста вон. Меня, конечно, не вытолка-ешь. Но я простил. Я бы мог его... Обозленный он уже был. Я до личного не опускался, я не позволял себе. Я его по идейным мотивам застопорил.

— Вы оба были влюблены в нее, в этом все дело! — произнесла Тучкова настойчиво и громко, слишком громко.

— Жила б она, допустим, в Москве, я бы ревновал. Может, вся моя жизнь по-другому бы пошла. А так она была для меня уже чуждый человек. Женился я. Ко-нечно, Елизавета уехала девчонкой, она ни при чем. В войну, говорят, вела себя правильно...

— Вот видите, — мстительно обрадовалась Тучкова. — Может, Астахов чувствовал. Художники чувствуют лучше нас с вами. Нет, нет, Юрий Емельянович, вы не должны сегодня так рассуждать, ведь это ужасно!

— ...Наглядная диалектика истории, — не слушая ее, размышлял Поливанов. — Все меняется! Тогда что же, если все меняется, а, Сергей? Вчера считалось плохо, сегодня — хорошо? — Он обеспокоенно смотрел на Лосева. — Вчера — борьба, сегодня считают, что это было разрушение, разорение? Пересматривают. Историю! Но ведь жизнь-то не переиграешь. А историю эту кто делал? Я! Значит, и меня по другой расценке пустят. Жизнь мою, а?

Таня поднялась. Загорелое лицо ее стало бледнеть.

— А его жизнь? — вдруг закричала она. Какая-то ветка мешала ей, она рванула ее так, что в кустах затрещало, ломаясь. — Может, это из-за вас подвергся он, все беды у него из-за вас пошли?

Поливанов сидел неподвижно. Солнце высветило седой пух на его голове, сияние окружило его серебристым нимбом. Он слушал Таню с печальным вниманием.

— Несправедлива ты. Как специалистка понимать должна, что его бы и без меня подвергли. Не в русле он. Прежде всего он сам себя поперек поставил.

Тучкова головой замотала несогласно, кулаки сжала, отвергая, отталкивая, зажмурилась, слышать не желая.

— Вы-то какое право имели? Вы! Я про вас понять хочу. О вас речь! — Она прорывалась сквозь его отрешенность. — Картина-то астаховская была, его собственная, он послать хотел свое, и не кому-нибудь. Откуда ж вы себе такое право взяли? Кто разрешил вам, боже мой, да почему вы своей вины не чувствуете?

— А ты, душа моя, по результатам проверь. Пусть по закону я не прав. Но в главном-то оправдалось. Можно сказать, для вас же, для тебя, душа моя, старался, — из груди его вырвался хриплый больной смешок.

Костик свистнул, остренько, по-птичьи, с каким-то наглым значением. Плечи Тучковой опустились, она, не глядя, словно слепая, стала отступать, толкнулась плечом о Лосева, так что ему передалась мелкая дрожь ее тела. Он приобнял ее, успокаивая, но наспех, поглощенный своим интересом, спросил:

— Вы, значит, Юрий Емельянович, считаете, что все так и должно было быть? Все, значит, оправдалось?

Поливанов оскалился на него желтыми редкими зубами.

— О моих поступках не страдай. Свои займай. — И тотчас встревоженно вернулся к Тучковой. — Тебе, Татьяна, спасибо, что обо мне беспокоишься. О моей душе. Только напрасно стыдишься за меня. Если разобратся — ты экскурсии водишь, картину показываешь, хвалишься — какая ценность! Достояние! Люби и изучай родной край! Правильно говорю? А где было бы это достояние, если бы Поливанов был бы слюнтяем? Если бы он не был таким твердокаменным, таким непримиримым? Таким самодуром, как ты выводишь меня? Злодеем? Я всех вас спрашиваю, где картинка эта была бы? Тю-тю! Что молчите? А вы как думали, задаром вам все досталось? — Он лупил их без злости, учил для остротки, вколачивал в них свою правоту.

— Вы полагали, что я должен мерси-пардон, что раз революция справедливая, так все по-благородному совершалось. Прощения просим, господа ласковые, но не получалось. Мы свои ручки испачкали. Да-с. Мы дерьма нахлебались. За все плачено. Ой как плачено!

Он встал, вытянулся во весь свой рост, а росту в нем хватало, благодаря худобе он казался еще выше, выкинул вперед обе руки.

— Этими руками я Патриаршую рощу рубил. Людей вывел. Приказано было. И тех, кто протестовал, я вот так, — он как белье выкрутил. — А потом меня же к ответу призвали. Думаете, это как?.. Я за все душой платил. Между прочим, отец твой, Серега, тоже расплатился. А вы, наследники, брезгуете. Знать не желаете. Почему же так! Вы теперь владельцы. Бесплатно ничего не бывает. Подарочек, он тоже происхождение имеет. Вы не бойтесь знать что почем. — Он закашлялся свистяще, гулко, глаза его выпучились, согнулся, но и сквозь кашель продолжал выкрикивать: — Я вам не то еще могу... Знаете, как Пашков застрелился?

Таня зажала уши руками, съежилась.

— Не хо-о-очу! Не надо!

— Ты что это, Татьяна? — Поливанов вытер слезящиеся глаза, словно очнулся. — Ну не буду, не буду. Это Сергей меня растравил. Ну брось.

Он шагнул к ней, она отступила, он к ней, она от него. И еще отошла. И еще. Слезы катились по ее щекам, туманя стекла очков.

— Я, Юрий Емельянович, больше не буду у вас, — проговорила она. — Вы простите, но я не могу.

Заскрипел песок. Потом звякнуло кольцо, хлопнула калитка.

— Татьяна! — закричал Поливанов. — Вернись!.. Костяка, сейчас же верни ее. Бегом!

Костя поднялся, покачался на затекших ногах.

— Как сказал один поэт: очарованья ранние прекрасны, очарованья ранами опасны. Я тоже пойду, Юрий Емельянович. Окончательного решения я пока не принимаю.

Поливанов схватил его за плечо, оттолкнул с отвращением.

— Придурок!

Рыжий кот спрыгнул с беседки. Янтарные глаза его сонно мерцали. Он выгнулся, зевнул и пошел вслед за Костей. На крыльце никого не было, может, и давно — Лосев не заметил. Стояла безветренная жара. Воскресная полуденная тишина окружала сад. Поливанов взялся за спинку кресла.

— Ушли. Почему? — Он дико смотрел на Лосева. — Ты понимаешь?

— Я понимаю, — сказал Лосев.

— Все из-за тебя, — сказал Поливанов. — Принизить меня хотел. Мешаю я, славу твою забираю. Авторитет твой подрываю. Ничего. Вернутся. Столько лет ходили... Разве я их плохому учил?

— Они не вернутся, — сказал Лосев.

Поливанов наставил на него вытянутый дрожащий палец.

— Лишить меня хочешь последнего. Тех, кому я... За что? Пришел и разорил. Я тебе открыться хотел, всем вам. А вы... Ох, просчитаешься, Серега. Я ведь еще успею тебе отплатить. Сожгу все. А? И повешусь перед горисполкомом? И напишу, что ты удавил меня! Ты! — И он внезапно захохотал, гремя, колыхаясь всем телом.

ГЛАВА 9

Тетради в косую линейку отец брал у Сергея. Не у старшей сестры, а именно у Сергея. Это он помнил. А перо имел свое, толстую вечную ручку и специальный пузырек синих чернил, имел свое мраморное пресс-папье, свои химические карандаши, перочинный нож со

многими лезвиями. Все пряталось от детей в фибровом чемоданчике, где хранились шпоры, значки, грамоты, справки, бритвенный прибор «жилетт», прищеп для галстука, лупа, запонки, письма. Пока отец был на войне, мать перевязала чемодан веревками, поставила на шкаф и никто не смел до него дотрагиваться.

От этой розовой тетрадки хотелось вспомнить того отца, но все равно вспоминался отец последних лет, пьяно-рыдающий, заросший, в длинном резиновом макинтоше...

Отец жил тогда отдельно, ходил с палкой и авоськой.

Вспоминался отец занудный, который изводил мать попреками за то, что не уехали в Питер, к дядьке, директору трампарка. Или за то, что какие-то редкие книги сменяла в войну на свинину.

Когда-то, во времена розовых тетрадок в косую линейку, был отец тихий, в соломенной шляпе, это он купил матери в подарок дамский велосипед с радужной сеткой.

Отец сидел на корме баркаса и рулил. Был он подпоясан тонким кавказским ремешком с металлическими висюльками. На груди у него был какой-то почетный значок. Куда ж они плыли? Наверное, в Гороховское, на праздники, к родным. Отец пел «По морям, по волнам», и мать ему подпевала.

Еще помнилось, как отец работал в Доме культуры и как разрешил Сергею провести ребят в кино. После сеанса он посадил их в комнате администратора и долго рассказывал о происхождении Солнца согласно теории Отто Шмидта. Показал портрет Шмидта с черной бородой, такой большой, что, казалось, Шмидт присутствовал при появлении Солнца и видел, как это все было.

Странно — Шмидт помнился, а лицо отца молодого никак не вспомнить. Вместо молодого появлялся тот, пьяненький, беззубый. Ни одной фотографии отца не осталось, мать изорвала, выбросила в тот день, когда отец ушел: «Песня вся, больше петь нельзя!»

Сергей всегда был на стороне матери. Он считал ее самой красивой, самой смелой, честной и не понимал, как можно было уйти от нее. Мать и плавать умела, и в волейбол играла, ловко ездила на велосипеде, ездила на работу в Заготсырье, возила их обоих в школу на багажнике, на зависть всем.

Возненавидел он отца, не рассуждая, безо всякого снисхождения к фронтовым его заслугам. Впрочем,

с войны отец вернулся всего с одной медалькой и золотой нашивкой ранения.

А эта тетрадь была довоенная. Отец писал, сидя на кухне. Матовый абажурчик, стол дощатый с черными подпалинами, плита, белым изразцом обложенная... Все видел, отца увидеть не мог.

«...Совесть дает себя знать при нарушении, а вот душа, она и при чистой совести может тосковать и куда-то стремиться. Душа — это совсем иное».

Почерк вспомнился. Рука отца вспомнилась — в рыжих волосах, с расплюснутыми короткими ногтями. Сильная, цепкая, он ведь по специальности судовым механиком был.

В соседней комнате спала старшая сестра Глаша. Наверняка она знала, почему отец ушел и как все было. Странно, что никогда он не спрашивал сестру, избегая заговаривать об отце. Если честно признаться, он стеснялся отца. Стыдился его. Не столько даже запоев отцовских, сколько зауми его, какой-то неловко блаженной, с дребезжанием слабого голоса. Не было в нем ничего волевого, сильного духом, геройского, к чему тянулся тогда Сергей, да и все его сверстники. А под конец жизни отец и вовсе напоминал старуху — из тех, что сидят у церкви. Может, что-то и было, может, они, дети, были несправедливы к нему? Лосев подумал, что сестре уже больше лет, чем было матери, и она целиком будет на маминой стороне, опять всколыхнется больное, мстительное, потому что и в судьбе сестры тоже случилось похожее. У них, у всех Лосевых, после сорока лет какой-то поворот в личной жизни происходит.

«...Раз есть жизнь, есть и душа. И дерево, и муха, и камень, и реки живут своей жизнью. Человек не исключение. Душа есть не у предметов, а у природных образований. Поэтому ни одно из них до сих пор до конца не разгадано. И в смысле устройства, и в смысле происхождения. Ни облако, ни трава, ни божья коровка. Душа ведь отличается от сознания. Почему же всем, кроме человека, отказывать в душе?»

«...Жаворонок поет от счастья. Но более возможно, что для счастья. Действия эти сильно разные. Если для счастья, то опять же вопрос — для своего или для счастья окружающего мира? Полагаю, что последнее, то есть для красоты. Например, река наша, Плясва, журчит оттого так приятно, что производится это ради всеобщей красоты и есть нормальное выражение реки.

А звуки обвала и как ломается дерево — неприятны, даже ужасны, потому что означают бедствие природы. Эти факты говорят нам, что естественное существование всех предметов выявляется через красоту. Красота каждого существа есть вклад в общую пользу природы. Не случайно все нормальное развитие в природе так красиво».

Он удивился — неужели это писал его отец? Почему-то это казалось совсем не глупым. Кое-что даже симпатичным, иногда вроде соответствовало некоторым смутным размышлениям самого Лосева, по крайней мере какое-то согласие он находил.

Было, конечно, и потешное: «Ночь надо использовать для повышения сознательности граждан, наполнить содержанием сны, которые могут служить просвещению и развитию любознательности. Ночь это не перерыв жизни. Ночная жизнь имеет свой смысл».

Над некоторыми записями он задумывался:

«Для самого же организма красота есть признак души. Мертвый некрасив — душа ушла. Если б мы могли издали увидеть земной шар, то и он оказался бы красивым. Потому что земной шар — существо тоже живое. Разница та, что у него другое время жизни. Миллиарды лет. Поэтому его существование нам плохо различимо. А вот камень ему соучастник».

Мысли показались знакомыми. Что-то похожее отец рассказывал. И даже делал опыты над цветами — с одними разговаривал ласково, с другими строго, и эти росли хуже. Вспомнилось, как он смеялся над этими отцовскими измышлениями. Он снова перечитывал написанные мелким округлым почерком слова и не находил в них ничего вредного, тем более позорного:

«Что касается утверждения, которому учат в школе моих детей, что человек — царь природы, то это насквозь монархическое учение, которое я опровергал учителю Сивулину. В природе не может быть главных существ. В ней царит равноправие. Она как пряжа, где все переплетено, главной нити нет, они только вместе составляют рисунок и прочность. Природа была до человека и, следовательно, может обойтись без человека, так же как без льва, без орла, без всяких этих царей. А появились они для пользы, чем-то они нужны друг другу, так же, как нужен комар и муравей. Человек тоже для чего-то полезен, но, в отличие от других существ, он еще не узнал, для чего он, поскольку он по-

явился недавно. Самомнение мешало ему выяснить. Человек все старается узнать про других, на что они могут сгодиться ему, человеку. А про себя не изучает — зачем он природе? Смысл жизни мы ищем как цари, считаем себя царями природы, поэтому и не находим. Какой есть смысл у червяка: делать землю и служить пищей для птиц и рыб. И для человека природа определила свое назначение, которое и есть смысл его жизни».

Вот о чем интересно было бы поговорить. Послушать бы во всех подробностях. Трудно было представить, что человек, который это писал, и есть его отец, тощий, слабосильный, со смешным отчеством, которое, похабно коверкая, выкрикивал ему вдогонку Пашка Скородумов. А потом тот же Пашка на стене Дома культуры нарисовал отца с бородой не то под Шмидта, не то под Циолковского, с рюмкой на голове, и стишок пакостный...

Чернила выцвели, бумага пожелтела, истоньшала. Тетрадка стала как старинный документ. Но стоило ему подумать, что это писал отец, как все становилось сомнительным, выражения были ненаучные, неизвестно — то ли придуманные, то ли давно известные, отвергнутые. Имели они какую-нибудь ценность или были досужим утешением самоучки-неудачника? Посоветоваться было не с кем. Ученых друзей у Лосева не было, да и опасался услышать смешки. Все же пьяным вздором быть это не могло. Лосев достаточно верил себе.

«...Живем мы в бедности. Получаем на карточки кило сахару в месяц. Это на всю семью. Ордер на пару бо-тинок. На электричество — лимит. Пережгли лишку — отключат. Всюду очереди. Приедешь в область, так там в очереди сутками стоят. Несмотря на эти трудности, мы имеем идею будущей справедливой жизни и можем осуществлять ее в творчестве. Пока есть идея, все терпимо. Благодаря идее лишения смысл имеют. Бедность сносить несложно. Куда хуже сносить злобу и неправду. К сожалению, сквозь них происходит движение к прекрасному устройству. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Прежде всего мы настроились видеть врагов. Между тем ненависть — чувство вторичное, оно должно рождаться от любви. Товарищ А. Богданов сказал, что ненависть к угнетателям и капиталистам может появляться вследствие нашего сочувствия и любви к угнетенным. То есть на первом месте должна пребывать любовь и от нее уже и гнев и ненависть».

Чем дальше он читал, тем сильнее забирала его охота поговорить насчет всего этого. Вот когда она пришла, пора послушать отца.

Он чувствовал стыд перед отцом и виноватость, хотя в чем именно, не мог до конца разобраться.

Зачем все это записывал отец? Для чего, для кого? Кому назначались тетрадки, которых было много и которые давно затерялись, кроме этой случайно прихваченной Поливановым? Будь то дневник, Лосев еще кое-как объяснил бы себе, но это не трактат, не сочинение, так, отдельные мысли, какой смысл их было собирать? Но Лосев почему-то радовался, не находя пользы в такой работе, и это было странно, потому что во всякой работе, во всяком действии предусматривалась польза или цель, и большей частью самые простые.

Он напрягал свою память, закрывал глаза, вслушивался... Какие-то слова произносила мать в те дни разрыва, и отец тоже что-то говорил, объяснял. Или оправдывался? И когда потом приходил отец, опять что-то говорил. Но что именно — не разобрать. Уже не слышно.

«Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переиначил, стены покривил, изломал. Я спрашиваю — зачем? Он отвечает: нарочно, специально усилил все изломы от утреннего света, чтобы зритель поразился. Не преувеличь он, так, по его словам, чудеса заревого, восходного света остались бы незамеченными. И архитектура бы не выявилась. Но задаю вопрос — правда куда делась? А в ответ он спрашивает: красиво получилось? Допустим, красиво. А раз красиво, значит, правда. Но ведь и ложь красивая бывает. Так ведь не ложь, возражает он, — потому что дом лучше узнать можно, душу его приоткрыл, эта красота приближает к душе, то есть к истине.

Художник, он, если настоящий, то — провидец. Через него можно связаться с природой...»

О самом Астахове дальше ни слова. Вместо отвлеченных рассуждений хотелось прочесть про их знакомство с Астаховым, и про самого отца, и про детей, то есть про Сергея, про сестер, какие они были, какими отец видел их в разные годы...

«Разум существует и в ягоде, и в жуке, потому что устройство их, от самых мелких молекул до полного очертания, весьма умно. Задача коммунистических ученых обнаружить этот разум, наладить с ним связь. Тог-

да можно будет не насильничая войти в честный союз и дружбу со всеми предметами природы и получить от этого разумность действия пролетарской диктатуры».

Лосев улыбался, вздыхая, затверделая его неприязнь плавилась. Жизнь отца наполнялась каким-то содержанием. Жалкое его поведение, казалось, происходило от непризнанности бедного мечтателя. Оправдания, конечно, не было, но все отцу уже было чем спорить, чем защищаться. По этим запискам Лосев не мог понять, получилось ли что-нибудь у отца из его опытов на огороде.

За год до его смерти отец с той женщиной переехали в Псков. Потом, слышал, и оттуда она уехала. Женщина эта единственная, кто верил в отца. Может, о ней знала тетка Аня, жена дяди Феди, но она уже совсем плоха, да еще крестная Катя... Родни вроде много, отцовской и маминой, а спросить, выяснить не у кого, удивительное дело — жил человек, недавно жил, у всех на виду, не таился, сам рвался рассказать, а умер — и, оказывается, тайна сплошная. И узнать невозможно.

Обратиться к Поливанову? Мысль об этом почему-то не приходила ему в голову. Он больше думал насчет крестной, представляя сразу же, как та занудит, что не пришел на именины и рождество пропустил, и напомним насчет Раисы — пора поставить ее старшим инженером.

Вдруг он вспомнил, как старуха кричала, подняв его в воздух: «Сын твой отречется от тебя!» Старуха была черная с белыми волосами, он рыдал и бился в ее огромных руках, а внизу стоял бледный, угрюмый отец и почему-то не отнимал его и не прогонял эту старуху. Прибежала мать, выхватила его: «Ребенок-то при чем, детей не впутывай». «А мои дети при чем, — закричала старуха, — куда он моих детей услад! Ирод!»

Старуху увели, потом отец сказал, что сдали ее в милицию, что она из раскулаченных, что он сжалился над ней по старости и, видать, зря, кулака ничего не исправит. А еще через несколько дней старуху нашли у их дома припорошенную снегом. Между ног была у нее зажата холщовая торба. Лежала она скорчившись, как младенец. Отец купил гроб и похоронил ее, заставил всю семью провожать ее на кладбище и над могилой произнес стихи о материнстве. Сергей потом еще долго допытывался у матери: что делает там старуха в земле?

История эта суставчато-соединенная не выцветала, не туманилась с годами. Отпечаталась и осталась с кис-

лым запахом травяной лепешки, что вывалилась из торбы, с санками его, Серегинными, на которых повез отец труп. Многого он не понимал, и оттого еще страшнее было, по ночам плакал, выкрикивал, всю ту зиму проболел, школу пропустил. И от кладбища с тех пор притиснутый тайный страх остался.

Выплыла, закачалась в ночных окнах поливановская усмешечка, отдельно от желто-воскового лица, от колких зрачков. Это когда говорили о кладбищах. Может, тоже припомнил ту старуху и камень, поставленный отцом. У Поливанова ничего зря не бывает.

«...Детям — образование, специальность дадут. А как научить их видеть красоту? Поскольку религии нет, то воспитание любви и красоты остается через природу и искусство. У нас на провинцию искусства не хватает. Природы же — наоборот, сколько угодно. Детям я и стараюсь ее показывать. Но мать боится воспитания в красоте, потому что красота — источник слабости. Я бы с ними странствовать пошел. Как Сковорода».

«В человеке время идет болезненно, не так спокойно, как в дереве или рыбе».

Лосев перелистал несколько страниц. Отвлеченные рассуждения усыпляли. Когда-нибудь на досуге он перечтет их повнимательней, может, что-то и вычитает.

Застарелая враждебность к отцу снова всколыхнулась в нем: мать, тяжело дыша, прибежала с работы — и на огород — таскать воду, топить печку, мешки картошки тянула на тачке, а отец, философ, красоту высматривал, свои умствования заносил в тетрадь, время в нем, видите ли, шло болезненно, искал, не где подзаработать, не как детей прокормить, — душу в камне он разыскивал. Все эти умничания, как бы ни были они забавны, неожиданны, все это не занятие для мужчины. Какая может быть польза философствовать, Лосев никогда не видел в этом практического смысла. Что они сделали конкретно, толкователи, утешители, которые придумывали всевозможные учения, и теории, и объяснения? Люди так же страдали, так же искали справедливости, так же умирали. Веками громоздились философские системы, не отменяя друг друга, не уходя в прошлое, пристраивались, лепились, вспухали, пребывая где-то в безопасной дали от подлинных человеческих забот, никак не пересекаясь с той жизнью, какая происходила в Лыкове, ничем не облегчая забот матери.

От живописи было хоть удовольствие и красота, а от отцовских утопий?

Дальше шли страницы, написанные карандашом. Почерк стал бегучим, неразборчивым, карандаш бледный. Лосев перевернул страницу и еще, и готов был бросить тетрадь, но в глаза бросились знакомые фамилии: сперва Пашков, потом Шурпинов.

«...думал, что из лжи ничего нельзя создать, потому что ложь есть ничто. Оказывается, еще как можно. Ложь не ничто, потому что ложь переходит в страх... Мы шли к рынку. Уж какие мы закадычники, а он мне ни гугу, ни словечка. А в городе уже все знали. На третий день застрелился Гоша. Все делают вид, что произошел несчастный случай — чистил человек ружье и нечаянно выстрелил. Лицемерие? Зато похороны с оркестром, зато семье пенсию. Лицемерие? Зато квартиру казенную оставят детишкам. Квартиру оставят — зато никто ни слова, почему Гоша Пашков ушел из жизни. И я, можно сказать, лучший друг, молчал на кладбище, молчал на поминках, ни звука не издал. Потому что врать не мог, а правда моя не нужна. Да и сам Гоша, значит, не хотел, если никакой записки не оставил и все изобразил, как будто собирался на охоту.

Люди кончают с собою от... Нет, причины нет, хотел написать — от страха, но не то. Не одна причина, а множество сложиться должны в понимании того, что жизнь не получилась. Так рвут письмо, которое начато не так, так гончар мнет... Не получилось. Какое-то ощущение, что начать надо по-другому. Взыскательность, если угодно. Природа не против самоубийства в том случае, когда это не приносит урона. Мать, у которой маленькие дети, не кончает с собой, инстинкт не позволит ей, запретит. Ребенок тоже не может — запрещено, — он способен еще многое переносить.

Гоша Пашков понижение свое считал катастрофой. Для него служба была источником всех забот и радостей. Дом был местом, где поспать, душу отвести, рассказать, как он выступил, кого куда перемещают. Жена, теща, тетки, мать, все жили его служебными делами, его заготовками, его планами, его цифрами. Гоша не был карьеристом, хотя он хотел продвигаться. Он знал, что должен продвигаться, как продвигался все эти годы. Он был предан Поливанову, один из самых его верных людей, интересы Поливанова были его интересами, и ясно...

...Валентина встретила нас у рынка, бросилась к Гоше, и во весь голос про несправедливость, какую с ним учинили. Факт, что Поливанов виноват, не кто иной; при всем честном народе она молотила своего супруга, товарища Поливанова, нисколько не стесняясь. Мне стыдно стало, потому что я, например, все эти дни стеснялся посочувствовать своему другу и плел ему посторонние темы, отвлекал его думы от горестного углубления.

А для него, между прочим, катастрофа расширялась. Шурпинов сразу стал доказывать, что по линии продзаготовок был хаос, гнилой либерализм. Как водится, прежде всего надо доказать, что до него все было плохо. Чем хуже, тем лучше...

Жизнь для Гоши имела смысл, когда он мог двигаться вверх, а тут все оборвалось. Теперь предстояло только падать. Катиться вниз, все ниже и ниже, потому что Шурпинов его будет конать. А если вниз, то какой же смысл так жить, сходя на нет, на дерьмо, как он выразился.

За что? Почему Поливанов снял его? Никаких поводов Пашков не давал. А снял. Вот что мучило, и грызло, и терзало Гошу. Притом ничего плохого про Поливанова слышать не хотел.

Продолжал ходить в ту же столовую пиво пить, в те же часы. Хотя претерпевал при этом унижения. С ним уже здоровались не так. Были и такие, что отворачивались. Поскольку он в опале. Ведь у нас стоит понизить — и сразу как чумной. Может, оно и не так было, да Гоша бдительно вычислял каждый кивок, каждое «здрате».

Гоша Пашков единственный был человек, которому я мог признаться, что я сказал Поливанову про того художника. Я полагал, что чужая беда утешит, но он и тут Поливанова взял под защиту — мол, Шурпинов на его месте раздул бы целое дело, а Поливанов, можно сказать, чутко подошел к этому художнику. Типичное это сопоставление навело на мысль, что назначение Шурпинова для того и производилось, чтобы на его фоне Поливанов выглядел лучше, шире, умнее. А Гоша Пашков такого фона не давал, поскольку был добрым и отзывчивым человеком.

...в моем поступке идейность, я же видел в этом страх. Один лишь страх. Чего я боялся, сам не знаю, потому что если конкретно поставить перед пригово-

ром — год тюрьмы, два года — не боюсь. Стреляли во время облавы на зеленых — ничего, выполнял, не боялся. На медведя ходили с Гошей. Когда из берлоги поднимали — я стоял спокойно.

После того, как мы Валентину встретили, на следующий день, в воскресенье, я зашел к Поливановым. Валентина, избитая, плакала и ругалась. Сам дрова колот во дворе. Я подошел, он полено выбирал, в колоде топор торчал, я выдернул лопасть, подкинул топор в руке и занес на него. Поливанов сразу понял, мог убежать, крикнуть кого, но по гордости своей не разрешил себе. Заигрывать со мною тоже не стал. Но испугался. Стоял, и незаметно было, дышит или нет. Я тоже, наверное, был хорош, потому что чувствовал, как лицо — щеки, лоб — все стало холодным. Мог потребовать, чтобы Гошу перевели в область или на курсы услали, чтоб как-то выручить мужика. И чтобы художнику перестал он препятствовать. Мне ничего не стоило опустить на него топор. Поднять и опустить. Хруст представил, почувствовал хруст костяной, легкий, через топорище...

Мне было все нипочем. От топорища, от тяжести этой вдруг смелость меня обуяла, ровно и не было никаких страхов. От водки, сколько ни выпьешь, такого не бывает. Полное высвобождение. Я ровно, как заучил заранее, приказал прощения у жены просить тотчас, при мне. Он не удержался, спросил: мне-то какое дело? Я ему объяснять не стал, скомандовал голосом, невозможным, несбыточным, о котором всегда мечтал, — кожу на голове покалывало так, что чувствовал каждый волос. Поливанов исполнил, как я сказал. И силы мои ушли, схлынули. Вспотел, ни о чем другом и не попросил. Воткнул топор и ушел. Испытал полное очищение. Будто возродился, камень скинул. От страха своего хоть на момент избавился, мерзкого, вонючего, до сих пор помню, как я весь сопрел, когда Поливанов наседавал на меня, и запах пота, не мой запах, а чья-то чужая пакостная вонь. Откуда страх такой во мне? Я его, естественно, преодолеть хотел. И возликовал, когда случай открылся мне через топор. Потому что после того страха презирал я себя. От утешений художника был только срам на душе. Ведь не боялся же я на груздевских банкетов ходить в двадцать пятом, когда вскочил я к ним на телегу и двоих взял, привез в штаб. С тем же Юркой Поливановым об заклад на бревне в ледоход наперегонки плыли. Не боялся, значит. Почему же страху во мне

столько скопилось? Какого он происхождения? Постоянно живу с ним, словно с болезнью. Туда не пойдешь, того не скажи. Стены в клубе расписать... Вроде красиво, а боюсь. Мало ли чего... Плакатами завесить и литографиями куда спокойней.

Гоша не только в себя стрелял, в меня тоже. Когда гроб мы опускали на полотенцах, Поливанов с Шурпиновым и с Митей, братом Гошиным, увидел я внизу Гошу моего, хромоногую, скособоченную, и вдруг пронзило меня, что все четверо мы убивали, ведь это я тогда про Гошу позабыл, хотя ради него шел к Поливанову. И про художника, то есть про себя, во искупление своего греха, тоже ни звука. Забыл?

...с орденом своим, с браунингом в кармане стоял передо мной бледный, не шевелясь. Почему же тогда я увильнул?

Эх да мех — и смех и грех, про себя забыл, про Гошу забыл, только про Валентину помнил. А она с кладбища шла, слезы Юре своему вытирала и на поминках вся иззаботилась, охраняя здоровье его».

Дальше было не то стерто, не то записано с такой бледностью, что ни одной фразы разобрать до конца было нельзя.

ГЛАВА 10

Улицы были влажны, пустынные, полны той утренней нетронутой свежести, какая скапливается за ночь в маленьком городке, окруженном полями. Возвращаются запахи покосов, трав, пласвинских поим.

Густой туман лежал безветренными пластами. Деревья стояли недвижно. Слабый перестук доносился от хлебозавода. В той же стороне перекликнулись два молодых петушка. Город спал. На базаре спали облезлые ничейные псы. На пустых цинковых прилавках свернулась каплями роса. Туман спал над рекой. Лосев остановился на мосту. Алая макушка солнца вылезала из Патриаршей рощи. Восход был яркий, красноватый, из тех лет, когда они мальчишками бежали в рощу смотреть, откуда берется солнце. Из поколения в поколение лыковские мальчишки искали солнце в Патриаршей роще. Сколько восходов минуло с тех пор.

Солнце не слепило. На тусклую поверхность его можно было смотреть, и само оно как бы разглядывало землю, еще не начатый день, который предстояло катить и катить до другого края земли. С моста виделось далеко. Крыши, крытые дранкой, серебристо светились живым светом, какого не хватало серому слепому шиферу. В новом доме напротив почти на всех этажах в зеленых ящиках навстречу солнцу повернулись цветы. Дом, украшенный цветами, занавесками, выглядел еще новее. От жилого духа он похорошел. Понизу он был облицован коричневой плиткой. Лучше же всего украшали дом балконные решетки художественного литья, сделанные после долгих хлопот. Дом был гордостью Лосева. Таких красавцев еще десяток — и город преобразился бы. За этот дом Лосеву два года назад подвесили выговор, но выговор давно сняли, а дом остался и стоит, лучшее утешение при подобного рода неприятностях. Лосев любовался им, и на душе у него теплело. Если бы его спросили, какая главная забота его жизни, или дело, или даже хотение, он не задумываясь бы ответил: иметь лишний вот такой дом. Буквально — *лишний*. Чтоб в кабинете у него под стеклом висели ключи от пустых квартир *лишнего* незаселенного дома. Приезжает семья или какой специалист — получайте, пожалуйста, квартиру!

Повсюду в работе он натыкался на проклятую жилищную проблему. Нехватка жилья мучила его каждодневно, неотвязно: и строительство, и материалы, и просьбы, и большая часть людей, которые шли к нему на прием, — все связано было с жильем. Люди ждали квартир, комнат по нескольку лет, очередь никак не убывала. Это было какое-то проклятье. Дома строились один за другим, старые деревянные сносили, а на их месте появлялись — и все быстрее — железобетонные, сборные. Стеновозы тащили и тащили готовые секции... Иногда удавалось рывком очередь укоротить, а затем она опять нарастала, как какая-то гидра. Лосев был в отчаянье. Ни в одном городе так не размножались, как в Лыкове. Хуже того — лыковцы мгновенно вырастали. Все эти только что родившиеся соседские пацаны и девчонки сразу брились, красились, и тотчас же женились, и садились у него в приемной, пузатые скорбные мадонны и усатые верзилы, и уже просили квартиру. Он приходил в ужас от их скороспелости и плодовитости. Со всех сторон на него наседали внеочередники, у каж-

дого были обстоятельства срочные, катастрофические, единственные. После приема он чувствовал себя изможденным. На него кричали, ему устраивали истерики, тихо плакали, как только его не честили, какими желчными словами. На него смотрели с мольбой, приносили к нему детей, ему стучали по столу костылями. Его изнуряло собственное бессилие, невозможность помочь, когда помочь было необходимо. Больной туберкулезом, которого надо изолировать от детей... Аварийное состояние кровли в старом деревянном бараке... Свекор пристаёт, дерется, сил больше нет, не дадите, повешусь, не шучу, увидите, что повешусь, жить так больше не могу... Муж развелся и привел к себе другую женщину, и все в той же комнате, где дети и старики родители... Он успокаивал, обещал, начинал что-то выкраивать, но являлся, например, главный врач роддома, того самого, который строился, и заявлял, что ему предлагают отличное место на Урале, в новом городке, отдельный коттедж и прочее, но он готов остаться, если ему дадут трехкомнатную квартиру. Что было делать? Это был отличный врач, его нельзя было отпускать. Лосеву кричали, что его врач шантажист, хапуга, что он не смеет, но все было пустое, хочешь не хочешь, приходилось давать трехкомнатную — и все рушилось, все расчеты, обещания, все шло прахом. Он и сам готов был озлиться на врача, но за что? Двое сыновей и жена — почему им отказать от коттеджа, с какой стати? Потом шла коллективная жалоба на председателя горисполкома, который не выполняет обещание, улучшает жилищные условия кому-то, за счет очередников, за счет инвалидов войны... Жалобу рассматривали, его вызывали, его предупреждали — как же ты мог, да это же нарушение, да надо было... И он слушал, и соглашался, и обещал учесть, и ему все же записывали, потому что не отреагировать было нельзя.

Он замечал, как портятся люди от долгой тесноты и скученности, постоянно раздражаясь от общей кухни, общего умывальника, невозможности уединиться. В сне его иногда мучили кошмары — вспученные людьми деревянные дома, крыши приподнимаются, шевелятся, доски трещат. Из окон выпархивают дети, в дверях висят жильцы, как в переполненном трамвае...

Как ни странно, отказывать порой бывало легче, чем давать. Случалась короткая вспышка радости, когда кто-то из страждущих наконец получал, но сколько пе-

ред этим он изводил себя и свой аппарат, требуя установить все за и против, почему этому, а не тому, и кому нужнее; он жаждал взвесить на непостижимо точных весах справедливости то, что невозможно взвесить — болезни, ссоры, или что хуже: плесенная сырость стен, или темнота полуподвалов, или холод из щелей временной кладки; всякий раз его озадачивал неразрешимый выбор — старики, которые под конец жизни заслужили дожить спокойно, в сухой просторной квартире, или же молодые, которые устают на работе, которым когда же, если не сейчас, наслаждаться... Беда в том, что знал он их всех — и стариков, и молодых, — город был слишком мал.

Бывали дни, когда он впадал в мрачность — ему казалось, что он кругом виноват, он не мог пробить ассигнования, не мог столкнуться с домостроительным комбинатом, не мог найти плотников.

Нет, из всех желаний, из всех чудес мира он выбрал бы только *лишний* дом, построенный впрок, с опережением, — сказочный, неразменный рубль. Когда-нибудь в Лыкове появится такой дом. Сбудется его мечта — для какого-нибудь другого мэра.

В конце моста у фонаря стоял незнакомый лохматый парень в нейлоновой стеганке. Шея его была повязана шарфом.

— Дай закурить, — сказал он.

— Так не просят, — сказал Лосев, глядя на него в упор. — Дайте, пожалуйста! — И прошел мимо.

Тропка повела его над косогором, вдоль сараев, огородов, дощатых нужников, курятников, железных гаражей. Кусты жимолости отряхивали на него крупную росу. Один за другим на крутизну выдвигались старые дома, бывшие особнячки, украшенные резьбой, за ними и поновее кирпичные одноэтажные дома с мезонинчиками, с парадным ходом. Началась набережная, мощенная булыгой, тополя, сирень. Были тут совсем старенькие усадьбы, вычурные, с верандами, застекленными цветными треугольничками, дома с башенками, балкончиками, фигурными окнами, ставнями. Всякий раз Лосев мысленно отбирал и реставрировал самые красивые, красил белым с голубым, кофейным с желтым, так, чтобы выделить резьбу, выступы, крыши перекрывал железом. Дома у него становились такими нарядными, как на старых открытках, что он насмотрелся у Поливанова. Уцелели еще дома, чем-то знаменитые; вкрап-

ленные то там, то тут, они удерживали городскую старину. Из них складывалась привычная физиономия города, знаменитый вид с реки. Он наслаждался воображаемой их реставрацией, хотя знал, что они обречены. На их месте в планах были обозначены корпуса четырехэтажек и опорный точечный девятиэтажный дом.

А эти поочередно, участок за участком, снесут, соскребут в кучу бульдозерами и покидают экскаваторами на самосвалы. Ворох бревенчатого ломья, крошево кирпича, пыльного мусора — малая куча останется от этого дома, от всех его комнат, лесенок, от ночных скрипов, зимнего тепла, зарубок на дверных косяках, от чердаков, печей, крылечек, скамеек... Он сам рос в таком доме, любил его отдельность, приноровленность к семье всеми закутками, чуланами, подоконниками. Чердак, где годами скапливалось ненужное барахло, — ребячья отрада, чердак с запахами лука, яблок, малины, что сушили здесь каждую осень, запахами березовых веников, старых журналов, запасных обоев... С толстой от пыли паутиной, похожей на серую байку. Погреб-подвал с клепками старых бочек, что-то там капает, скребется, лежит кафель запасной для печей... Дом, не изба. У городского дома всегда долгая история, сменные хозяева... К примеру, у них в доме проживал священник Никандр, от него остались в чулане лампадки темно-синего стекла и большой пресс неизвестного назначения. А после войны объявилась сестра священника и стала искать в саду закопанные когда-то отцом Никандром летописи. Все дома эти имели личность, у каждого была своя история, по дому был виден вкус хозяина, его старания.

Лосев и любил эти дома, и не любил. Сколько крови перепортили ему хозяева этого, черепичного, пока наконец заставил их убрать сараюшки, что портили весь вид. А рядом, за домом отставного полковника, вместо забора колючая проволока была натянута в четыре нитки. Никакие уговоры не действовали. Лосев просил похорошему, и через военкома, и стыдил при всех — такими препятствиями на фронте от фашистов защищались! А полковник в ответ — вот когда вы обеспечите воспитательную работу среди молодежи, чтобы не лазили за смородой, тогда можете требовать... С помощью милиции пришлось действовать. Потом больше года объяснялся по его жалобам.

Хочешь не хочешь, жизнь склоняла на многоэтажные дома, — и быстрее, и дешевле, и хлопот меньше, но иногда Лосев, не скрывая, сокрушался.

...Войлочные тапки отсырели. Вышел в них во двор Лосев под утро, измаянный бессонной комариной ночью. Постоял, постоял и, не заметив, в тапках пошагал по улице, влекомый рассветными красками.

Теперь, скинув тапки, он шел босиком. Росяной холод обжигал ступни. По первому солнышку да по земле — шлепать и шлепать, благо никто не докучает здоровканьем, расспросами, любопытными взглядами.

Слышал кожей хвою, мягкую, всегда тепловатую, шишки, камушки, щекотно-колкую траву. Как давно это было — босиком по берегу. Или нет — как давно этого не было.

Неужели эта тишина, наполненная розовым светом, это быстро растущее солнце, эта красота творится каждое утро? Пока он спит, происходят утренние зори, восходы; из года в год все это великолепное действие совершалось без него. Он начисто забыл о том, что каждое утро устраивает восход. И все это будет продолжаться, когда Лосева уже не станет. Так же, как не существует нынешнего утра для его матери. Совершенно явственно увидел он свое отсутствие в свежем утреннем мире, этот сверкающий от росы город без него. Его город, занятый уже иными заботами. Жилой дом у почты станет обыкновенным домом, обычными станут и дефицитные сейчас коричневые плитки и решетки балконные.

Лосеву, конечно, хотелось, чтобы его помнили, но для этого, он считал, надо быть творцом, например художником, архитектором. А городничий — лицо нетворящее. Но тут ему припомнился Иван Жмурин, и снова он испытал симпатию к этому незнакомому человеку. Лосев словно бы ощутил его присутствие в сохраненной красоте города, в стройной Успенской церкви, в парке с длинным изгибистым прудом... Вот ведь помнят Жмурина, несколько человек, а помнят, и он, Лосев, сегодня через эту красоту вспомнил. Вполне возможно, что Жмурин ходил спозаранок этой же тропкой, мечтал так же о своем городе.

Курочников, у которого Лосев принимал дела, выпивоха, «обещалкин», тоже ведь оставил после себя память — спортивную школу, богато оборудованную, и впервые Лосев помянул покойничка добром.

По солнечному языку, что выгнулся поперек песчаного откоса, Лосев спустился к Жмуркиной заводи. Сетчатые тени пронизывали воду. Чугунная тумба стояла в матовых горошках росы. Лосев закатал брюки, вошел в воду. Холод жиганул по ногам, но спустя минуту каким-то образом образовалась теплынь. И песок под ногами стал теплым. Стая мальков метнулась в сторону. Он шагнул за ними, пальцы ноги стукнулись о каменный порожек, и сразу припомнился этот гребенчатый отрог, что наискось спускался в глубину. Отсюда, нырнув, ползли по дну, цепляясь за каменную гребенку, кто дальше уползет. Клали для отметины белую гальку.

Глядя на большие белые ноги свои, изуродованные обувью, на кривые пальцы с темными толстыми ногтями, Лосев увидел в этой воде те свои маленькие ноги, загорелые, с прозрачно-мягкими ноготками, с пяткой круглой и такой крепкой и черной, что мать оттирала ее в тазу пемзой. Вечер, горячая вода в зеленом тазу, ее большие быстрые руки...

Наверху, над головой, шевельнулось. Спиною друг к другу, на иве сидели двое мальчишек; тот, что лицом к Лосеву, в цветастой рубашоночке, держал свежесрезанное удилище. Глаза его вперились в поплавок. Отсветы воды бежали по его неподвижному лицу. Босые ноги свесились. Это были те самые ноги, которые привиделись Лосеву — с розовой подошвой, с маленькими пальчиками. Все было то же самое — и утро, и удилище, и ветви ивы, только жилка была капроновая, банка с червями была коричнево-лакированной, из-под кофе. А окуньки и уклейки те же, так же надеты были на прут.

Тихо подняться в полутьме. Кусок хлеба с треугольником плавленого сыра... Или плавленый сыр позже, а тогда с луком, картошкой... Между прочим, детские их рыбалки были подспорьем матери в те карточные годы.

Не сохранись это место — и не вспомнить бы.

Косые стволы света били в дом Кислых, надламывали ребра, дробили стены на блестящие осколки, сдвигали углы. «Эффект утреннего освещения», — вспомнилась фраза Тучковой. Следовательно, приходила она утречком на берег сверяться. И Астахов тоже высмотрел этот час. Пришлось, значит, ему понаблюдать. Ночевал он тут, или как это у художников делается?

И отец тут бывал. Оказывается, они были знакомы, о чем-то тут говорили. И Поливанов... Что-то между ни-

ми тремя произошло? Было неприятно, что отец вмешан. Ему вспомнились листки, которые Поливанов вынул и запрятал.

Вода бежала, струилась, он чувствовал кожей ее ток, она была такой же, как тогда: казалось, ничто не отделяет его от тех детских лет, казалось, он может чувствовать и воспринимать все так же, как тот мальчик, Серега Лосев. Он вспомнил, как дочь его Ната в пять лет плакала, что не хочет расти. Вспомнил недетскую горечь и страх в ее голосе. Если б можно было оставаться в детстве... Как хорошо ему было в мальчишестве. Как быстро мог он все решить, всем все сказать, как легко тогда между собой знакомились, как просто было обращаться к любому с вопросами...

Он ополоснул пальцы, сунул в рот, свистнул. Вместо свиста вырвался хриловатый шип. Подогнув язык, попробовал было иначе, пробовал и так и этак, свиста не получалось. Разучился? А был уверен, что этому нельзя разучиться, как грамоте, как плаванию. Глупо вроде, а сердце екнуло. Наверху в ветвях засмеялись. От упрямства сунул еще раз пальцы, и вдруг сам собой полился чистый, сильный свист, каким он умел оглушать, всех пересвистывать. Может, и нет той силы, но все же свистелось. Он поддал воду ногой, брызги полетели далеко, закатанные штанины намокли, он не обращал внимания, шел по глубине, ликуя от этой недозволенности. Брызнул на ребят, запустил галькой по натянутой гладкой воде.

Серебряная уклейка блеснула в воздухе, поднялась на крючке. Наверху завозились. Лосев вышел из воды, сел на лавочку, вытянул к солнцу мокрые ноги, всего себя подставил под тепло.

Туман дотаивал, вода ожила, заблестела, не вся сразу, а полосами. Туман отлетел как сон — и заводь открылась в невинном покое, ясная до малейшей малости. Пыльца, соринки плыли на тугой струе. На сером валуне под ивой обозначилась каждая трещинка. Старый валун искрился, хитро посверкивал. Длинноносый кулик вскочил на него и серьезно посмотрел на Лосева. В кустах ольшаника среди полной неподвижности один листок почему-то трепетал, бился. Куда ни глядел Лосев, глаз его обнаруживал утаенную мелкую жизнь, которая происходила внутри крупной жизни. От этого каждый предмет становился еще красивей.

Река текла и текла, прозрачно коричневая у берега, темнеющая вглубь, текла из знакомых ему болот, с Вереста, с Дрябьи, с Утополя. Лосев мысленно видел сейчас реку и далеко вниз, до самого озера, у Васькиного Носа, длинного мыса, где отдыхали перелетные утки и где впадала, разбегаясь протоками, рукавами, Плясва. Туда когда-то утекла вода его детства, там она покоилась в густых тростниках и осоках.

Ему увиделась долгая дорога реки с крутыми оленьими обрывами, затоками лесобиржи, пойменными лугами, где устраивали гулянья в День авиации. За Патриаршей рощей Плясва сужалась, пенилась желтой подсыхающей пеной и потом шла, отдыхая, тихим плесом. Принимала притоки, лесную Залозку и бестолковую, ни с того ни с сего исчезающую речку Тулебля. Если не считать короткого истока, где Плясва журчала детским ручейком, то всю свою дорогу она трудилась. Тащила лодки, сплавляла лес, плоты, поила деревни, растила рыбу, утят, гусей, лягушек — бесчисленную живность. От Плясвы всегда только брали — ее мягкую воду, ее траву, высокую, жесткую, брали раков, окуней, налимов, линей, к устью брали и сомов, а всякую мелочь без счета. Ставили сети, мережи, брали на метлы камыш, брали у нее песок, глину, обирали с берегов гальку длястроек. Мыли в ней лошадей, машины, поили коров, стирали белье, мочили лен, шерсть. Лили в нее любую грязь, сливали бензин, солярку, масла, банную воду, негодные кислоты, обрат, кидали бутылки, что ни пади...

На ней рос город, ею кормился, поился, ею богател. Но и в голову не приходило отблагодарить ее. Никто ее не чистил, рыбы не разводили. Речники заботились о своих пароходах, ставили бакены, а о ней самой не думали, хозяина у нее не было.

Перед ним возник прозрачный, блекло раскрашенный проект Ивана Жмурина и нынешний. Они соединились толчком, внезапно, так, что Лосев вздрогнул, засмеялся, ясно увидев, как филиал можно сместить вниз, к Патриаршей роще, — и тогда центр города повернется лицом к реке, без разрывов. Смотрелся бы спуск к заводу с домом Кислых на фоне новых домов. Панорама города впервые улеглась, как бы вошла в пазы, все сцепилось убедительно и естественно, хоть сразу отдавай архитекторам...

Река взглянула на него ярко-коричневыми глазами Тучковой. Взглянула доверчиво, распахнуто, так, что отразились каленое от восхода небо, полегшая ива, мальчики...

Может, и в самом деле была душа у этой реки? И у заводи, у камня?

Чем больше он смотрел, тем больше видел; новые подробности проступали ему навстречу. Он погружался в этот неспешный мир скрытой красоты, какая складывалась из всех малостей, когда можно любоваться и камнем, и простым листком, и отмелью. Все это давно стало частью его самого, может потому он и не замечал этой красоты, как не замечал чуда своего сердца, чуда ушедшего детства, чуда каждодневной жизни.

Протарахтел мотоцикл. Вдали зарокотала моторка, рыбаки потянулись с озера.

Пора было подниматься, идти, возвращаться во взрослое свое состояние, к Сергею Степановичу Лосеву, облачиться в его костюм, заниматься его нерешенными делами, звонками, бумагами, произносить его словечки... С каким трудом заставлял он этого плечистого дядечку каждое утро делать несколько приседаний, потом надо было его брить, смачивать волосы какой-то польской жидкостью, а лицо немецким лосьоном, надевать белую сорочку, франтоватый московский галстук в косую полоску, туфли на толстой подошве, похлопать его по карманам — ручка здесь, записная книжка, удостоверение, брать папку с бумагами. Озабоченного этого дядечку, который уже принимает седуксен, пломбирует зубы, ежедневно просматривает четыре газеты, бюллетень, сводки; звонит, отвечает на звонки, надписывает резолюции, принимает посетителей, проводит совещания, встречает делегацию, плюс депутаты, вызовы, аварии, составление бумаг... Всегда ему некогда, стесняется съесть на улице мороженое, в кино его не вытащишь. Скучно с ним. Не бывает, чтобы он просто шатался по городу, трепался с приятелями. На охоту он ехал ради столичных гостей, всюду он выискивал нужных для города людей... О чем с ним говорить? Чем с ним можно заняться? Бегать разучился, по деревьям не лазает, мяч не гоняет, ничего не мастерит. Неужели это он, Серега Лосев?

Обычно Лосев приступал к новому дню с нетерпением, даже азартом. Сегодня же нетерпения не было, была почему-то грусть и неохота покидать это место.

В доме Кислых заговорило радио. Распахнулось окно. Кулик убежал, подрагивая хвостиком.

Вдруг в глаза Лосеву бросился маленький белый колышек. Он торчал между ивой и серым валуном, выставился напоказ желто-белый, как обломок кости. Вид его был Лосеву неприятен, напомнив, как когда-то в разодранной мотором руке он увидел пугающе белое и понял, что это его собственная кость.

И тотчас за этим колышком полезли из земли другие. Белыми тычками они зарябили до самого дома Кислых и дальше сворачивали под углом, очерчивали, отмеряли, замыкая какой-то контур. Лосев отлично знал, что это все означает, но притворился, что не знает, он не желал понимать. Хотя успел с тоской и страхом подумать: «Уже!» Только это слово мелькнуло где-то в глубине, но он сделал вид, что его не слышал.

Вверх, на откос, он поднялся по теплой, нагретой стежке, по изволоку, как говорили прежде.

Поверху, обгоняя его, пробежало несколько человек в тренировочных костюмах, последним бежал в цветастых трусиках мастер с кожевенного завода. Он оглянулся, кивнул Лосеву красным своим, потным лицом. Лосев и понятия не имел, что столько народу бегают по утрам.

— Это хорошо, это хорошо, — напевал он.

А, собственно, чего он боялся? Да-да, нет-нет! Чего тянуть! Подумаешь — колышки, — подначивал он себя. Мокрые штаны шлепали по коленям. Он засунул пальцы в рот и свистнул вслед бегунам. Снова получилось. Он гордился своим умением. Все его опасения, расчеты, все, что казалось столь neodолимым, все упростилось — в самом деле, что ему грозит в самом крайнем случае? Ну упрекнут, ну откажут, да разве это важно, важнее попробовать сохранить участок. Все-таки проект, который привиделся ему, стоит того. Жаль, если он останется несбыточным, как у Ивана Жмурина. Конечно, хорошо было бы отстоять заводь, чтобы было куда приходить, видеть поднимающееся солнце и как меняются краски, как ало-красное тает, блекнет, насыщается золотом, тени укорачиваются и матовый горох росы съезживается на листьях. Обидно мало таких минут выпадает в жизни, по крайней мере у него было их немного, и это неправильно.

А не получится, не выйдет — ну что ж, к нему претензий быть не может. Он попытался. «Попытка не

пытка, а спрос не беда», а попадет ему — тоже неплохо: все знать будут, за что пострадал. Та же Тучкова — поймут, сочувствовать будут...

Он почувствовал себя решительно, бодро, не стесняясь, шел босиком, ощущал, как ловко ступают его ноги, перекатываются с пятки на носок, и как слаженно срабатывают там все мышцы, косточки, жилки. Так бы всегда, рано вставать, бегать, смотреть красоту, ничего не бояться, думать то, что советует душа, проверять себя восходом и птицами... И до того Лосеву было сейчас свободно и ясно, что он пожалел отца, когда-то жившего здесь утаенно, в опасениях и страхах.

Так бы он и следовал до дому, если бы, подняв голову, не встретил взгляд из-под надвинутого серого платка.

Глаза следили за ним хмуро, с упорным, злым выражением. Женщина кивнула, буркнула что-то неразборчиво; Лосев машинально ответил. Пройдя несколько шагов, он сообразил, обернулся. Женщина спускалась вниз, к мосткам, держа большую корзину с бельем. Брезентовая куртка скрывала ее фигуру, обычно затянутую в темный костюмчик, а на пышных ее волосах всегда была шляпка, кепочка, что-то такое симпатичное. Здоровалась она всегда с радостью, открываясь навстречу своей мягкой улыбкой. Была она некрасивая, от этого застенчивая, но у себя в библиотеке чувствовала себя уверенней, и он еще мальчиком с каким-то стыдным удовольствием смотрел, как она двигается среди тесных стеллажей библиотеки, задевая их грудью. У него была тогда влюбленность и такая, что однажды взял и полил чернилами ее столик. Поступка этого он сейчас совершенно не понимал, но помнил, как он торопился читать книгу, чтобы скорее снова прийти в библиотеку. С годами фигура ее стала тяжелой, угловатой, но произошло это постепенно, и Лосев до сих пор различал в ней застенчивую некрасивую девицу. Была она с Украины, муж ее, подводник, погиб под конец войны, и она так и осталась здесь. Теперь Любовь Вадимовна заведовала Городской библиотекой, оформляла всякие выставки, снабжала литературой. Несколько месяцев назад она прислала по почте заявление о прибавке зарплаты. Лосев сразу отметил, что сама не зашла, хотя не раз приходила по чужим делам, и он принялся было хлопотать, пока не выяснилось, что для этого надо либо найти персональную ставку, либо переводить библиоте-

ку в повышенную категорию. Областное начальство попросило отложить вопрос — и он отложил, мало ли приходилось откладывать. Сейчас он вспомнил, что с тех пор он добился уже нескольких прибавок, а с Любовью Вадимовной все откладывал, зная, что от нее никакой кляузности не произойдет, слишком она деликатна для этого. Что ни говори, получалось, что прежде всего удовлетворял он тех настырных, нахрапистых, кляузных, которых не уважали, но от которых могли быть неприятности. Однажды она подала заявление на садовый участок и то страдала, мучилась, овечьевытянутое лицо ее пылало, голос затих так, что не разобрать было, чего она бормочет. Таким отказывать легко, они все понимают, они готовы вникнуть во все трудности. Да и куда она денется. Она была из тех активистов, которые преданы городу и работе так, что их можно и не поощрять, и думается о них в последнюю очередь. Как Лосев ни пытался изменить дурацкое это правило, оказывалось, что все-таки квартиру надо дать такому-то, потому что в ответ на его жалобы звонили из области, а за другого боялись, что он запьет, а прибавку надо было прорабу, который грозился уйти на завод... И почти всякий раз люди, подобные Любви Вадимовне, отодвигались...

Она не успела потушить свой взгляд, он застал ее врасплох, но в том-то и штука, что она не смутилась, не отвела глаз, она преспокойно продолжала смотреть на него с тем же холодным, несвойственным ей выражением. Можно было подумать, что это враждебность. Но откуда, за что? Да и нельзя было представить себе Любовь Вадимовну враждебно настроенной... Недавно еще он встретил ее в горкоме, и они, как всегда, поздоровались и улыбнулись.

Он смотрел сверху, как она опустилась на колени на мокрых мостках и полощет белье. В городе все давно уже сдавали белье в прачечную. По крайней мере, большую часть жителей новая механическая прачечная успешно обслуживала, его злило то, что Любовь Вадимовна, заведующая, депутат, полощется тут, как простые бабы сто лет назад.

Чертыхаясь, он стал спускаться к ней. Враждебность Любви Вадимовны задела его. Он хотел услышать от нее — в чем дело, чтобы сказала, произнесла. Какие-то две женщины остановились, заговорили с ней. Она распрямилась, увидела Лосева, идущего к ней, но

виду не подала. Лосев замедлил шаг, выжидая. Неужто Любовь Вадимовна знает, почему он не попросил за нее у Каменева? Никто этого не мог знать, но Лосев думал о том, что раз она знает, то расспросы его будут фальшивы и Любовь Вадимовна уличит его во лжи. При всех уличит, сама смутится, она всегда смущается, когда говорит с начальством, и все равно уличит, ввернет при этом какое-нибудь надменное «напрасно вы...». Представив это, Лосев остановился. Он привык к тому, что в городе его ловят, иные хватают прямо за рукав, заглядывают в глаза, ищут его внимания. С какой стати он должен объясняться, оправдываться? Чего она себе воображает, замшелая эта коза? Он руганул ее еще крепче, но и это не помогло. Ощущение вины не проходило. И уйти он не мог, и подойти не мог. Стоял в мокрых закатанных штанах, тапки под мышкой, небритый, сопящий, по-бычьему тупо уставясь перед собою. С каждой секундой положение его становилось глупее. Уши его горели. В каком виде ты возвращаешь книжку, Сергей Лосев! И сам-то хорош, погляди на себя... Если б она произнесла что-либо подобное. Как когда-то. Подумал, как это непоправимо. Ничего не могло вернуться. Мимолетные наплывы детства ничего не значили, он семидесятикилограммовый мужик, а Любовь Вадимовна пожилая, сморщенная...

Она не отвернулась, не занялась своим бельем, не опустила глаза. Без жалости она продолжала смотреть на него, и обе женщины также смотрели, как он неуклюже попятился, отступил, повернулся, взгляды их жгли ему спину.

Дома перед зеркалом, когда он брился, фразы одна другой ловчее приходили ему на ум. От этого он только пуще злился, не на себя, на нее. Лучше бы она его изругала, накинулась бы на него при этих бабах, совестила, грозила. Куда лучше, чем колючая эта гордость, самолюбие этих вроде бы зависимых, безвластных, но мнящих о себе интеллигентов. Такое утро ему повредило. Как он ни берег это утро, все же попала отравка.

В его биографии можно найти несколько несостоявшихся вариантов жизни. У каждого человека есть позади случай, когда он мог выбрать иную профессию, сойтись с другой женщиной, жить в другом месте. У Лосева еще в школе была возможность пойти по музыкальной

части. Он хорошо играл на гитаре, отец уговаривал его учиться дальше, тем более что имелись кое-какие связи через культпросветработу. Вместо этого Лосев поехал в Ленинград в университет сдавать на физический факультет. Он решил стать атомщиком. Только потому, что это было модно. Конечно, он провалился, не мог решить ни одной задачи. Неудача его обескуражила, и в отместку себе он поступил водопроводчиком в жилконтору. Работа была грязной и легкой, денежной и жалкой, потому что то не было прокладок, то переходников, надо было побираться, врать, выпивать, халтурить, обирать жильцов, которые, между прочим, считали его простаком, опекали как неиспорченного, добросовестного провинциала. С тех пор научился пользоваться своей открытой физиономией, огромной улыбкой, детской нескладностью.

Слава привлекала его больше денег. Это было не тщеславие, скорее честолюбие. В армии он служил в танковых частях и был лучшим механиком-водителем. Не просто отличником, а именно *лучшим*. Его хотели направить в офицерское училище. Все шло к тому, чтобы он стал кадровым офицером и двигался бы по военной линии. Повздорив со своим лейтенантом и сидя на губе, Лосев вычислил, что, когда он окончит училище, его лейтенант станет майором, а он всего лишь лейтенантом и опять вынужден будет тянуться перед ним и выслушивать его идиотские придирки. В училище он не пошел. Армия лишилась, по его словам, *лучшего* генерала.

Самолюбие, самомнение, то есть характер? Или же судьба, замаскированная случайностью? В последний момент его всегда что-то останавливало, какая-то осечка, запятая, не давая уклониться от жизненного пути, о существовании которого он не подозревал.

Председатель исполкома Конюхов, человек больной, пьющий, втолковывал Лосеву, своему заму, золотое правило, проверенное всей его номенклатурной жизнью: «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать». Лосев воспринял это правило в другую сторону. Чем больше он делал, тем больше дел наваливалось на него. И ему это нравилось. Ему все было мало. Новая должность давала власть, а власть открывала возможность действовать: не обсуждать, не критиковать других, не сетовать — самому работать. Он взялся за ремонт магазинов, возобновил прокладку канализации,

заложил еще три жилых дома, для этого понадобилось навести порядок с грузовым транспортом; выяснилось, что машинам нужна ремонтная база, что требовало прокладки кабеля, строительства трансформаторной подстанции; не хватило песка — пришлось заняться карьером, прокладывать туда дорогу... Дела налипали, как снежный ком. Он не отступал, он не представлял себе, что может столько работать. Его выручал нюх на неполадки — странная способность — он появлялся на стройплощадке как раз тогда, когда кончался цемент или прораб подавал заявление об уходе. Стоило тронуть, потряхнуть городское хозяйство, как все стало расползаться, трещать, повсюду обнаруживались прорехи: изнасилась котельная, не хватало мощности водопроводу. Вдруг пришли в аварийное состояние общежитие и дома на главной улице. Выяснилось, что в конторах днем никого нет, телефоны работают плохо, машинистки безграмотны, приказы теряются. Долгое время он избегал кого-либо снимать и наказывать. «Ни вы, ни я не знаем, какой вы работник, — твердил он каждому. — Потому что вы еще не работали по-настоящему. Может быть, вы гений. Поработайте, станет ясно». От его слов никто не возьмется за работу, — это он понимал, — их могут заставить работать только обстоятельства. «А обстоятельства создам я. Вот тогда выяснится, на что вы годитесь». До тех пор пока он крутил ручку, они работали. Это был его «ручной труд», сами они не запускались, ему понадобились годы, чтобы научиться находить у людей свои моторчики.

То был, может, наивысший взлет его жизни. Счастьем было полагать, что все зависит от него, что он может обеспечить людей жильем, благоустроить город, привести в дома воду, канализацию, тепло. Ощущение могущества переполняло его, могущество возможностей: хватит у него сил, энергии — и все будет, все появится.

Утверждали, что Лосев такой потому, что у него есть рука в Москве, ему хорошо, он может себе позволить. Фигуровский, конечно, способствовал первоначальному, так сказать, выявлению, первоначальному толчку, но скорее всего Лосев все равно выбрался бы на эту стезю, ибо способности его как нельзя лучше подходили для этой должности.

Что было бы, если бы... — извечный вопрос, который, к сожалению, нельзя проверить ни в одной человеческой судьбе. Никакого опыта нельзя провести, ни вычислить,

ни доказать, — мы только то, что получилось, мы не можем узнать, что могло из нас быть, если бы...

Катастрофа произошла непредвиденно, как и положено катастрофе. Сигналы, конечно, были. Задним числом Лосев вспоминал — Конюхов его неоднократно предупреждал: «Не рви постромки! Куда мчишься, ноги переломаешь». Он был философ: «Личность не должна форсировать ход развития. Все, что следует, произойдет само собою. Зачем надрываться и перенапрягать систему?..» И далее шли более конкретные предупреждения. Но Лосев только посмеивался. Он вмешивался в распределение жилплощади, защищая интересы своих строителей, он прижал торговых работников за разбазаривание стройматериалов и отказывался посылать койкому строителей на квартиру — белить, оклеивать, он не давал фанеры, плиток — словом, совершал всякие принципиальные поступки, которые мало помогают реальным отношениям и не положены заместителю председателя.

На него написали несколько анонимных писем, с цифрами, датами, фамилиями, обвиняли в нарушениях финансовой дисциплины, самоуправстве, нехороших разговорах в адрес начальства. На письма отреагировали быстро, все покатилося по отлаженной схеме: прибыла комиссия, документы оказались подготовленными, свидетели давали нужные показания, нарушения были найдены и дело двинулось в путь-дорогу.

Никаких мер Лосев не принимал, с комиссией объяснялся высокомерно; считал ниже своего достоинства опровергать анонимки, искать защитников, ехать в область протестовать.

К тому же Конюхов успокаивал, благодушно и уверенно подмигивая, как будто что-то знал: только не сутись, разберутся, всякая суета роняет престиж.

В разгар всех этих дел Лосева вызвали в Москву. На какое-то малозначительное совещание, но вызвали категорически. После совещания Фигуровский повез Лосева к себе. Оказалось, он прослышал лыковские дела и хотел составить свое мнение. Расспрашивал придирчиво — и про Конюхова, и про остальных сотрудников, что-то сопоставлял, щурился, прицокивал, пока не убедился, что нарушения обыкновенные, неизбежные у каждого руководителя, который хочет строить, а не рапортовать. Нарушения эти можно и не заметить, можно за них получить выговор, а можно и передать

дело прокурору. Все зависит от *местной обстановки*... Где-то тут находился больной пунктик Лосева, и Фигуровский безжалостно, как врач, нащупывал, надавливал, вызывал яростный крик — и прекрасно, что к прокурору! Если уж на то пошло, Лосев хотел пойти на суд, он жаждал публичности, открытого боя.

Обстановка меж тем складывалась неприятная, не в пример Конюхову Фигуровский придавал делу серьезное значение. Кстати, Конюховым тоже не следует обольщаться, потому что именно Конюхов, когда его запросили, согласился с анонимками.

Появлению комиссии предшествовали всякого рода переговоры, о которых Лосев не подозревал. И все это какими-то сложными ходами было связано с самим Фигуровским, положение которого в очередной раз пошатнулось. Надвинулась новая опала, и то ли хотели Лосева подверстать — вот, мол, кого Фигуровский рекомендовал, то ли в Лыкове узнали, что защищать Лосева никому...

Лосев не понимал, кому он мешал. На каком основании на него ополчились? Он работал, и больше ничего. Вся вина его в том, что он много работал.

Они сидели на кухне большой неуютной квартиры, обставленной казенной на вид мебелью. Пили чай, составленный Фигуровским из зверобоя, малины, березовых почек и каких-то еще трав, смешанных в точной пропорции. Чай был душистый и острый. На столе лежали сушки и маринованные миноги. Ничего другого хозяин не нашел. На кухню заглядывали какие-то седые старики и старушки, все коротко стриженные, все с простуженными голосами, похожие на Фигуровского.

Дома Фигуровский, без пиджака, в потертой кроличьей безрукавке, в черных валенках, нисколько не потерял своей значимости. То, что он говорил на кухне, было не менее весомо, чем то, что произносилось в его огромном кабинете в окружении телефонов, селекторов, референтов, помощников. В любой обстановке он оставался большим человеком. В этом было его отличие от других, которые Лосева всегда изумляли, — после снятия или ухода на пенсию куда девались их мудрость, уверенность, знания?

Фигуровский рассказывал, как на охоте застрелили у него сеттера, талантливейшую собаку, чемпиона, любого подранка вытаскивал, и вот взяли и лупанули ему дробью в голову, когда плыл с уткой. Какая тут логика?

Люди поступают не по логике. Лосев школьно мыслит, если он располагает человека по законам симметрии: всякое зло должно иметь основание, зло, допустим, уравновешиваться выгодой, добро — славой, каждый поступок должен быть чем-то обусловлен, всему должна быть причина, и тому подобные прописи. На самом-то деле люди творят черт знает что безо всяких мотивов. Никакой симметрии. Может, мир движется и развивается этой асимметрией. От нарушения логики и происходит прогресс, хотя что такое прогресс, Фигуровский определить затруднялся.

От малопонятных, отвлеченных рассуждений Фигуровский вдруг переходил к нелепостям лосевского поведения, превращал его достоинства в недостатки, простодушие в глупость, правдолюбие в склочность. Бездельника Конюхова следовало давно обезвредить, выставить его перед начальством как пьяницу, доказать, что нельзя такого держать; уволить и снять его дружок, его опору. Лосеву надо это было делать сразу, пока новому человеку разрешают подбирать кадры. Привлечь молодых, тех, кто хочет работать — они были бы обязаны Лосеву, они составили бы его преторианскую гвардию. Старые кадры всегда недовольны новыми руководителями. Надо было не только хорошо работать, но и показывать свою работу, уметь преподносить ее, а то получилось, что ее приписал себе тот же Конюхов и другие. Лосеву не доставало цинизма, честолюбие его было примитивно, оно все уходило в работу, от него разило честностью, так что это могло отворотить не только Конюховых.

Почему-то Фигуровский считал себя ответственным за судьбу этого парня, так быстро спавшего с лица. Густые тени лежали у Лосева под глазами, с того последнего их свидания он резко изменился, он был поражен несправедливостью, ранен ею и готов был натворить непоправимые вещи.

Фигуровский убеждал, что добро и честность должны действовать умно, применять силу, хитрость, уметь бороться, иначе любой проходимец может загубить самое лучшее дело. Пусть чувствуют, что получают сдачи. Все эти карьеристы, завистники, корыстолюбцы, всякие жулики, деяги, которым, возможно, помешал Лосев или которые еще будут возникать на его пути, они нахальны и трусливы. Они боятся света, действуют подлыми методами, и с ними незачем стесняться, можно

пользоваться любыми случаями, чтобы убрать клеветника или кляузника. Да, приходится ради этого миловаться не с тем, с кем хочешь, идти на компромисс. В реальной жизни не сохранишь стерильности. Если хочешь сделать серьезное, нужное дело, то изволь быть и гибким, и жестоким. Чтобы получить фонды вовремя, надо создать хорошие отношения, а чтобы их создать, надо завоевать расположение, иметь связи, кому-то помогать, от кого-то требовать...

Примеры, которые он приводил, вызывали у Лосева тоску и протест.

— Не могу я так. Не умею, не хочу! Какое же это добро, если кулаками? — Лосев повертел свои большие кулаки. — Я ведь изувечить могу... Что же получится?

— А то, что строить будут больше больниц и домов. Качественно и в срок. А вы как думали? Об этом не любят у нас говорить, но без этого не обойтись. Не считаться с этим — ханжество. Пока что реальность такова... Никуда не денетесь. Придется и вам всем этим заниматься. Иначе вы будете беззащитны.

Фигуровский говорил твердо, но взгляд его был печален.

— Завидую я вам... — вдруг сказал он. — Все-таки это счастье — не понимать подлости. Когда-то я тоже не понимал... — Понимать — значит снижаться. Угадывать ходы всяких пакостников — занятие унижительное. Втягиваешься... И сам становишься иногда вровень. Но что делать, если я вижу их маневры...

Теперь не установить, какую роль сыграли советы Фигуровского в последующей работе Лосева на Севере. Помогли они, или же сама жизнь заставила его действовать иначе. Но от встреч с Фигуровским запомнились не советы, а этот вечер на кухне, старый щербатый рот, мягкие руки в коричневых пятнах, то отцовское, чего, видимо, не хватало Лосеву. Неумолимое течение, что — хочешь не хочешь — отдаляет сына от отца, когда-то все же прибывает к отцовскому берегу, но там уже никого нет.

На какой-то миг приоткрылось Лосеву то, что молодым несвойственно — ощущение вины за то, что он будет жить еще долго после Фигуровского, за молодость, которая вытеснила старого строителя из жизни. Опала Фигуровского, беда, что надвигалась на него тогда, несколько не занимала Лосева, так поглощен он был своими напастями. Казалось естественным, что старик за-

нимается им, что его, Лосева, неприятности сейчас самые насущные.

Уже потом, на Севере, Лосев не раз думал, как Фигуровскому, наверное, было тяжело от того, что не мог помочь, остановить, пересмотреть, прислать новую комиссию... К тому времени вопрос о Фигуровском был решен, он был бессилен, его самого посылали на строительство северных портов — должность, в которой он когда-то уже пребывал.

Странно, что тогда, на кухне, не испытывая стыда за свой эгоизм, Лосев вдруг был затоплен чувством благодарной нежности, ему захотелось поцеловать старика, так же, как когда-то он целовал отца, зарыться в угол плеча и шеи и коснуться губами колючей кожи. Конечно, он этого себе не позволил. Но соленая жгучесть того желания запомнилась. И надолго. Запоминается не происходящее, которое непрерывно соскальзывает в черноту, ничего не оставляя. Важно, что при этом подумается, оно и останется, и запомнится благодаря вспыхнувшему в тот момент восторгу, сравнению, мысли, что соединится со слезой, со страхом... Всего лишь случайные наплывы чувств окажутся прочнее происходящего.

Единственное, на что у Фигуровского хватило власти, это взять Лосева с собою на Север. От предложения этого Лосев отказался. Чем безнадежнее представлялось возвращение в Лыков и предстоящие разбирательства, расследование, объяснительные записки, оправдания, обиды, ложь — все, во что он будет погружен, — чем безнадежнее, тем лучше. Он переступил за предел ожесточения, и, чтобы остановить его, Фигуровскому пришлось пойти на поклон к человеку, которого он презирал. Человек этот был рад, что именно Фигуровский посидел у него в приемной, а потом в кабинете и выслушал кое-что... Подробности того унижительного визита прояснились позже, а пока что Лосев был приказом направлен на Север на стройку, категоричность указания исключала всякие споры, сам же Фигуровский в последнюю минуту был направлен на юг, в торгпредство одной азиатской страны.

Лосев вернулся в Лыков через шесть лет, с женой и дочерью. К тому времени Конюхов и его компания были давно сняты, судимы и, что Лосева удивило, о них мало кто помнил. Фамилии их с трудом вспоминали,

даже в аппарате райисполкома морщили лоб, задумывались — у нас ли Конюхов работал, кем был?..

Принято представлять биографию человека в виде пути, который он преодолевает. Но будь то путь с препятствиями, путь наверх, к вершине, путь с остановками, возвратами — все одно это упрощение, фальшивая модель, которой пытаются придать жизни осмысленность, некоторую наглядную идею. Модель, придуманная скорее проводниками, чем философами. Во всяком случае, наш герой никуда не шел, не огибал, не карабкался на высоты, с коих открывались новые дали. На Севере он работал так же, как и в Лыкове, — много, не всегда удачно, считал, как и все кругом него, работу смыслом существования, постройку целью своей обримой жизни, выполнение плана — своей честью. Двигался не он, а время, и вовсе не вперед и не вверх, и не обязательно развиваясь, — двигалось оно скорее по кругу, как стрелки часов. Время вращалось вокруг Лосева, описывая свой заколдованный круг, свой предел, за который Лосеву лишь иногда удавалось вырваться.

Внешне он огрубел, прокалился, ушло все лишнее, втянулись щеки, проступила кость, похудел и налился тяжестью, по характеру же стал мягче, улыбчивей, много оглушительно смеялся, был приятно нетороплив и прост. Но за всем этим чувствовалась хватка и продуманность. Он все время приобретал сторонников, но не друзей. Впрочем, о дружбе он и не заботился, не спешил возобновлять прежние приятельства.

Когда его избрали председателем горисполкома, все сочли это естественным. Конюхова забыли, а его помнили — помнили автобазу, дома построенные, дорогу помнили. Вскоре убедились, что, кроме работы, Лосев умеет еще и требовать; каким-то образом, без всяких скандалов, он сумел избавиться от бездельников и горлохватов, а тех, кто пробовал жаловаться, он вызывал к себе, и они уходили притихшие и напуганные.

Будучи в Москве, он узнал, что Фигуровский приехал, вышел на пенсию. Лосев отправился к нему на дачу. Встреча была трогательной. Все эти годы, как оказалось, Фигуровский издали следил за его работой, передвижениями, знал, что Лосев отказался от новой стройки с высокой должностью, он одобрил возвращение в Лыков, был по всем статьям доволен Лосевым, оглядывал его горделиво, как свое открытие.

Сам он изменился неузнаваемо. Стал маленьким, легким, белым; довольство, несколько отрешенное, окружало его сияющим облаком. Движения его были не сдержанно-законченные, а плавные, напоминая Лосеву тополиный пух, плавающий в теплом воздухе. Счастливое и свободное это парение было и в глазах Фигуровского.

Лосев пытался рассказать ему про свою новую исполкомовскую работу, но старик слушал пренебрежительно, не скрывая скуки. Былые страсти казались суетой, он смотрел на них свысока, ему не терпелось показать Лосеву кормушки для птиц, которые он сам мастерил на участке, скворечники разных типов — то было настоящее дело, истинная польза, которую должен приносить человек — строить для других. Строить — утверждал он — делать табуретки, тарелки, растить яблоны — то есть очевидно-полезные вещи, только они оправдывают жизнь, все остальное спорно, большей частью труха, самообман. В его уверенности Лосев чувствовал обидную к себе жалость. Было такое впечатление, что старик занят больше, чем раньше, торопится наверстать упущенное, что подошла самая цветущая пора его жизни. Лосев уехал растерянный. Это было последнее их свидание. Спустя несколько лет Лосев разыскал на Новодевичьем кладбище могилу Фигуровского с пышным, могучим надгробием, как и на соседних могилах. Черный куб полированного камня имел сверху цилиндр, на котором был высечен барельеф. Медальный профиль изображал Выдающегося, Известного, Вписавшего, Незабываемого, Под руководством которого, Неутомимого... — в полном соответствии с некрологом. Лосев долго стоял, вспоминая свои встречи с этим человеком, и никак не мог сложить из них цельный образ. Смущало, что в каждой Фигуровский в чем-то оказывался не прав и в чем-то, очень важном, был прав — и всякий раз по-другому. И все это не имело отношения к этому барельефу, на который он тоже имел право, потому что Фигуровский был и таким.

В полированной черноте камня отражалось небо, зеленые ветви, темная фигура Лосева и тополиный пух, что неся над ним, над барельефом, над всем кладбищем.

Он вспомнил, как в последнюю встречу на даче он хотел помочь Фигуровскому наладить водопровод и как Фигуровский отказался. «Я не позволю вам раскви-

таться. И вы не позволяйте. Пусть вам делают добро, не мешайте людям делать добро и не старайтесь сразу отплатить. Добро обладает одной особенностью. Зло, причиненное вам, вы можете простить, забыть. А доброе дело ни простить, ни отомстить нельзя».

После смерти Фигуровского Лосев перенес свою привязанность на родственника жены, старого юриста Аркадия Матвеевича. Фигуровский когда-то учил его, как пользоваться своей силой. Аркадий Матвеевич поучал скорее, как пользоваться слабостью, любовью, что-то в этом роде. В чем-то они были схожи, но Аркадий Матвеевич был постоянной, он не менялся с годами, в нем была уютность обжитого, привычного характера.

ГЛАВА 11

Голос начальника милиции приблизился, видимо он говорил прямо в трубку, значит, звонил не из своего кабинета. Лосев отвечал недовольно; не знает он никакого Анисимова, мало ли кто ссылагается, каждый нарушитель может сослаться, как можно принимать это всерьез. Послышался сдержанный вздох, и тем же ровным голосом начальник милиции сказал, что раз так, меры будут немедленно приняты, условия работы обеспечены и Анисимов будет удален. На всякий случай проверяя, он добавил: Анисимов Константин, потом добавил — девятнадцати лет... Что бы ни случилось, Николай Никитич докладывал успокаивающе-медленно. Перед Лосевым возникла могучая его фигура, скуластое малоподвижное лицо, где если что и менялось, то в азиатски скошенных темных глазах. И тогда с этим следовало считаться. Начальник милиции редко ошибался. Сообразив, кто такой Анисимов, и все поняв, Лосев подумал, что раз Николай Никитич позвонил, то не зря. Некоторое время Лосев молчал, потом ответил, что едет, на что Николай Никитич посоветовал для быстроты воспользоваться дежурным милицейским «козликом», который направлен к исполкому.

Лосев спустился вниз. Желто-синий милицейский газик тарахтел у подъезда. Лосев сел, и шофер, не спрашивая, рванул на площадь, далее напрямик под кирпич, к мосту.

Лосев держался за скобу и думал, что Николай Никитич с самого начала был уверен, что он, Лосев, поедет,

все было решено заранее и предусмотрено, так что, хотя Лосев вроде руководитель, на самом деле во многих случаях он подчиненный, им руководят его подчиненные, так называемый аппарат, — и противиться этому бесполезно. Любопытно тут другое — насколько хорошо они изучили его и умеют ли они играть на его характере...

Стоял августовский полдень, душный, безветренно-парный, некуда было деться от знойного воздуха, от раскаленного блеска.

Внизу, у Жмуркиной заводи, у обреза слепящей воды толпились люди, доносились голоса, бегали ребятишки, брызгаясь и вопя от возбуждения. Начальник милиции встретил Лосева на спуске, вытянулся, хотя был он не в форме, а в сереньком в клетку костюме, в цветастенькой рубашке, в сандалетах, бесстрастно-официальным тоном доложил обстановку — гражданин Анисимов применял физическую силу, мешает геодезистам производить на местности съемку. В действиях своих ссылается на заверения инстанции в лице председателя горисполкома. Несмотря на просьбы, покинуть место происшествия отказывается.

Лосев выслушал его молча, кивнул и, сопровождаемый им и милицейским шофером, пошел туда, в густоту толпы, которая охотно расступилась перед ним.

У полеглой ивы, как бы прикрывая ее собой, стоял Костя Анисимов, руки он раскинул по стволу, словно Христос на распятые, губы его были рассечены, подбородок окровавлен, был он весь растерзан, пестрая иностранная рубашка его разорвана...

Лосев шел не торопясь, размеренно, круглые зеленые его глаза все и всех ощупывали, подмечали. Возле Анисимова стоял милиционер, отгораживая его от плечистого лысоватого мужчины в синей спецовке. Мужчина был Лосеву незнаком, его держали за руки. Однако при виде Лосева отпустили, и он вытер потное лицо, поднял с земли кепочку. Тут же на песке валялись пила, рейка, колья, стояла тренога с нивелиром, лежала сумка... Ни о чем не расспрашивая, Лосев представился, протянул мужчине руку. Сделал он это по всем правилам, с той любезностью, с какой принимал почетные делегации у себя в горисполкоме.

— Рычков Евгений, — пересилив себя, мужчина пожал протянутую руку. Крик и ругань клокотали в его горле, а ему надо было еще сообщить, что он старший

техник стройуправления номер такой-то. Не отпуская его руки, Лосев поинтересовался, что за съемка, если колышки уже вбиты и все размечено, и слушал объяснения, и опять задавал вопросы, вникая в работу старшего техника и двух его помощников, которых тоже попросил представить. Его методичность сдерживала всех, как будто каждое действие его было подчинено какой-то ему известной цели. Рычков нетерпеливо выкрикнул — не проверку ли им учиняют, — и демонстративно протянул командировочное удостоверение, которое Лосев взял и долго подробно читал вплоть до подписи Грищенко — начальника управления. Когда Лосев поднял голову, лицо его выражало приветливость и участие.

— Все правильно, — сказал он.

— Вот видите! — угрожающе и торжествующе сказал Рычков, и все зашумели, придвинулись ближе.

Лосев взглянул на Костика, и Костик, давно ожидающий этого, потянулся к нему, но встретил взгляд зеркально-холодный, сник, отступил, прижался к дереву.

— Вы осторожней, он не в себе, — предупредил милиционер.

Из толпы откликнулись.

— Довели человека.

— Кто кого довел — вопрос!

— Люди делали что положено, а он...

— Пилить-то зачем?

— Значит, мешает.

Перекрывая говор, Рычков объяснил:

— Я бы его пополам перешиб, товарищ Лосев, так ведь он за вас прячется, дескать, вы запретили, вы обещали... Он у нас пилу вырвал, руку поранил моему мастеру. Вы посмотрите! — Голос его быстро набирал силу. Заступив дорогу Лосеву, Рычков вытолкнул мастера, коротконогого, в красных кедах, похожего на утку, и тот с готовностью поднял перетянутую платком руку.

— Безобразие, — сказал Лосев.

— А милиция ваша пребывает на позиции невмешательства, — воодушевленно сказал мастер.

В толпе отозвались неодобрительно.

— Замотал, будто прострелили.

— Спилить-сломать — это они мастаки!

— Пилила — рану получила!..

Рычков шагнул к Анисимову, закричал:

— Вы посмотрите на него!

Бледное лицо Костика было в поту. Солнце било ему в глаза. Он пригнулся, в правой руке его очутился камень, большой зеленоватый голыш.

— Брось камень,— сказал из-за плеча Лосева Николай Никитич,— сейчас же брось!

Костик дернулся, видно было, как он хотел разжать губы и не мог. Мелкая дрожь колотила его; он скрестил руки на груди, пытаясь принять позу небрежную и как-то скрыть дрожь.

— Если вы, товарищ Лосев, на самом деле запрещаете, то, пожалуйста, надпишите,— официальным тоном произнес Рычков.— Наше дело небольшое. Мы сообщим начальству, разбирайтесь сами. А травмы получать от хулиганов, извините...

Второй помощник Рыčkова, молоденький, аккуратный, в темных очках, вышел вперед:

— Лично я все равно этого не оставлю! Он не имел права нас оскорблять, мы исполняли долг, мы отличники соревнования.

— Он их мафией назвал,— пояснил кто-то, смеясь.— И террористами.

— Сам тоже хорош,— сказала какая-то женщина.— Браслеты носит, словно девка.

На обоих запястьях у Костика блестели медные широкие браслеты, и волосы у него были длинные, да еще голубые джинсы, вытертые добела на коленях, с медными заклепками, облохмаченные понизу,— все выглядело вызывающе, не в его пользу.

— Что же ты? Разве так можно?— успокаивающе сказал Лосев.

Костик опустил руки, камень вывалился.

— Поглядите сюда. Вот...— Он отстранился и открыл свежий надпил на самом взгорье ствола.

Лосев подошел, провел пальцем по распилу. Влажные опилки посыпались на песок. Старая ива склонилась над водой, образуя не прямой наклон, а делая выгиб, так что параллельно воде шла стволом, на ней сидели по несколько человек, и кора была тут обтерта, и были вырезаны разные инициалы. Пилить ее стали, видимо, с простым расчетом, чтобы ива упала в реку, пилили в рост, не под корень, а наверху у перегиба. Надрезать успели неглубоко, но в покорном склоне ствола появилась вдруг обреченность.

— Так они ж ее пилили!— удивился женский голос.

— А ты думала. Она им поперек проекта лежит. Главное ихнее препятствие, — и, не стесняясь начальства, кто-то хмельно пустил матюжком.

— Дерево жалеете, а человека? — закричал молодой помощник Рычкова.

Рядом с Лосевым девочка сказал:

— Мама, зачем они ее пилят?

— Надо, значит, — безразлично отозвалась женщина.

— Они меня не слушали, Сергей Степанович, они б ее спилили. Я их по-хорошему просил, я случайно увидал. А они, они нарочно торопились, скорей, нахрапом хотели. Я им слово давал — подождите... Ребят никого не было, я тогда не позволил, решил оборонять. Как угодно, чтобы вас вызвали... — Костик спешил и все искал взгляда Лосева, всматривался в глаза его, твердые блестящие, где не было ничего, совсем ничего, только скользил ледовый блеск.

— Не хо-о-очу-у! — вдруг плаксиво заголосила та же девочка. — Плохая ты, плохая, — и обеими руками стала отбиваться от матери.

От ее крика Костик вздрогнул, вытянулся, все в нем натянулось, зазвенело, а в лице задрожало, забилось, как флаг на ветру.

— Не пущу никого. Не дам! Не позволю! — закричал он. — Уйдите!

Лосев нахмурился, поднял руку, оборвал крик голосом, который слышен был при любом шуме.

— Тихо! Ты какое право имеешь тут хозяйничать? Ты кто такой? А? Кто тебе разрешил?

Костик смотрел на него оторопев.

— Сергей Степанович, да как же вы так говорите? Вы же сами...

— Что я сам? — тотчас сшиб его Лосев. — Что? Ишь нашел спину. Спрятаться хочешь! Эх ты, герой, разве так вопросы надо решать. Никто не позволял тебе с камнем на людей кидаться. Самовольничать мы тут не позволим! — Он говорил голосом, не оставляющим сомнений, для сведения не только Костика.

— Слыхали? Я так и знал, — обрадовался Рычков. Мастер в красных кедах завертелся, хлопнул себя по бедрам, восхищенно удивляясь.

— Значит, брехун он! Ну, артист! Ах ты японский бог, лепил нам, выступал тут, словно и в самом деле. Чуть не объехал, жулье. Ну, лепила! Ну, бандюга!

Радость его была потешной, кое-кто заулыбался.

Костик вынул платок, приложил к разбитой губе, бесчувственно обвел всех глазами.

— Эх вы... Ну что вы за люди! Они тут все перерубят, загадят, а вам хоть бы что, на все согласны. Ребенок, он плачет, он жалеет, а вы! Ничего вам не надо. Ничего не жаль. Пустые души. Лишь бы пожрать да выпить. На что вам красота? Разве вы ее защитите?.. Быдло вы. Идите, паситесь...

Неизвестно почему все молча, даже сочувственно слушали его пробитый всхлипами голос, смотрели на бледное презрительно искривленное лицо. Первым опомнился Рычков.

— Он еще обзывается! Подонок! Да ты прощения должен просить,— разлапистой своей ручищей он схватил Костика за отвороты рубашки, притянул, пригибая к земле, однако Костик отчаянным движением вывернулся, рубашка затрещала, нырнул куда-то вниз к камню. Рычков опередил его, носком сапога отбросил голыш и тут же следом ногой дал так, что Костик перегнулся, схватясь за живот.

— Я тебе покажу быдло,— бешено выдохнул Рычков.

Начальник милиции устремился в расклин между ними, но Лосев движением плеча помешал ему. Это было слабозаметное движение. Лосев чуть заступил, преграждая дорогу, и начальник милиции остановился, не понимая, в чем дело.

— Да за что же его, господи,— страдающе охнул женский голос. Никто не двигался, все стояли, удержанные неподвижностью Лосева, понимая, что он чего-то ожидает.

Анисимов распрямился, шатаясь двинулся на Рычкова, рубаха свисала, разорванная наискось, глаза его сумасшедше опрокинулись. Рычков снова на этот раз рассчитанным ударом, грохнул его на землю.

— Нокаут,— заметил кто-то.

Вот тут Лосев покачал головой.

— Зачем же вы драку затеяли, товарищ Рычков? Рукам волю давать нельзя. Так изувечить можно. Теперь вас обоих привлекать надо. Николай Никитич, возьмите их за нарушение порядка. Безобразие. Вы что себе думаете? Почему о производстве работ не поставили в известность исполком? Тем более о порубке деревьев.

— Они ж на нашей территории! — крикнул Рычков. Лосев угрожающе поднял палец.

— Вашей территории нет. Есть территория города, — он кивнул начальнику милиции. — Оба хороши. Протокол составьте, и дать обоим сколько положено. Ишь распустились.

— По пятнашке, — подсказал кто-то с облегчением.

Рычков что-то стал возражать, но Николай Никитич легонько напомнил о своей силе, придвинул его к милиционеру, и тот повел обоих к машине.

Встав на ступеньку, Анисимов обернулся, поискал Лосева, встретил прямой безучастный взгляд его зеленых глаз.

Ребятишки побежали в воду. На песке поодаль лежала женщина в купальнике, рядом с ней возился голый малыш. Женщина перевернулась на спину, раскинула руки. Толпа разошлась. Знойная тишина возвращалась на Жмуркину заводь. Словно ничего и не было, ничего не произошло и не могло произойти с этой лениво-беспечной рекой, заводью, зеленью...

Что важно — так это информировать первому. Кто первее, тот правее. Запоздаешь — и тогда доказывай, что ты не верблюд, потому что уже сообщили, что ты верблюд, и тебе остается оправдываться и *переубеждать*. А все, что *пере*, — то плохо. Нет, нет, сообщать надо первому, прав ты или виноват, все равно сообщай первый. На своих собственных синяках да шишках Лосев усвоил правило это как одно из самых что ни на есть... Кроме того, добавлялось тут и другое, более тонкое преимущество, которое Лосев обеспечивал, сразу же позвонив в область Грищенко. Рассказал про драку, учиненную Рычковым на месте работ, не возмущался, не употреблял сильных выражений, Лосев даже выгораживал Рычкова за кой-какие грубости. Грищенко изумился — Рычков? Что он — выпивши был? Узнав, что трезвый («В том-то и дело, что не выпивши», — посочувствовал Лосев), Грищенко недоверчиво закричал — за столько лет ни в чем таком замечен не был... Лосев милосердно оправдывал Рычкова — сорвался парень, бывает, хотя с такими кулаками изувечить мог... Считай, пятнадцать суток это удовольствие обойдется. Грищенко заныл, застонал, нельзя ли как-то помочь, выручить? А как поможешь, ведь все видели, он и начальства не постеснялся... Конечно, Лосев не собирался раздувать эту историю, так и быть — попробует угово-

рить милицию отпустить Рычкова, но при условии, чтобы и духу его не было, чтобы немедленно убрался из города со своей группой, иначе разговоров не оберешься. Грищенко обрадовался.

Всегда надо действовать так, чтобы человек (в данном случае Грищенко) рад был сделать то, что ты предлагаешь, чтобы обрадовался — будто ты ему услугу оказываешь.

Обрадоваться-то он обрадовался, да тут же заскулил, как от зубной боли: кем заменить Рычкова, людей нет, работы задержатся. И на всякий случай продолжал давить — мог бы Лосев вникнуть в его беды, как-никак строят-то для города... Лосев прервал его причитания, заметив, что задержка, она не всегда во вред идет.

— Это как понимать? — спросил Грищенко.

Неизвестно чему веселясь, Лосев сказал:

— Немедленно, срочно... А срочное дело еще проверить надо, какое оно срочное.

— А как ты проверяешь?

— Откладываю. Отложу и посмотрю, станет ли оно от этого более срочным.

— Ну и что?

— Многие дела, сам знаешь, совсем отпадают, как и не было...

Грищенко охотно посмеялся. К сожалению, у строителей так не получается.

Шутка Лосева его насторожила — выходит, Лосев не заинтересован в стройке?.. И Лосев тоже почувствовал свою оплошку, оба, однако, и виду не подали.

К вечеру Рычкова отпустили, передали ему указание управляющего, и он уехал с ночным поездом, вместе с подручными. Поскольку ходатайствовал за него, кроме товарища Грищенко, еще и сам Сергей Степанович Лосев, то протокол Рычков подписал без возражений. Судя по всему, он был доволен, что дело так быстро уладилось.

ГЛАВА 12

В шесть часов вечера, когда исполком опустел и коридоры стали гулкими, а двери скрипучими, начальник милиции привел Анисимова в кабинет председателя. Войдя в кабинет, Николай Никитич отпустил руку Анисимова и доложил, что гражданина такого-то доставил.

Вытянулся во весь свой исполинский рост, щелкнул каблуками. Теперь он был в милицейской капитанской своей форме, в фуражке. Сизые брюки стояли твердо, безукоризненно, как эсминцы, был Николай Никитич, как он выражался, при полном свистке и строго официален.

— Спасибо,— сказал Лосев.— Но почему же *доставили*, я просил *пригласить товарища* Анисимова.

— Потому что *нарушитель* отказался к вам явиться,— отчеканил Николай Никитич.— Пригласить! Они и понятия такого не знают. Только силу признают,— в голосе его угадывалось неодобрение в адрес самого Лосева.

Со стороны Анисимова раздался смешок. Покачиваясь на носках, он разглядывал капитана, разглядывал всего, сверху донизу, как слона в клетке или жирафа. Бледное лицо его было умыто, губа залеплена пластырем, но он не мог ни кривить ее, ни презрительно выпячивать, он лишь щурился.

— Не слишком ли вы упрощаете свою службу, дуся?

— Вот, слышали?— Николай Никитич с силой одернул мундир.— Несмотря на предупреждения, что позволяет себе. Не беспокойся, Анисимов, мы с тобой еще встретимся, ой как встретимся!

За последние часы Анисимов допек начальника милиции всем — своими фразочками, стихами и особенно идиотским этим словечком — дуся. При подчиненных — дуся! Уж на что Николай Никитич слыл уравновешенным, а тут не выдержал...

Впрочем, что значит не выдержал. Не отхлестаешь, не встряхнешь даже. Не выдержал — значит, ушел на лестницу, сделал три приседания, помахал руками, охладил сердце. Развязные манеры этого парня ликвидировали всякое сочувствие. Нахальная манера говорить нараспев. Масленный блеск его длинных волос, медные браслеты. Словечки ядовитые,— и придраться нельзя, и в протокол занести неудобно. Образ Анисимова стал ясен еще у Жмуркиной заводи, когда выяснилось, что Лосев не запрещал работ, что ссылка на Лосева — обман. Прошлая характеристика задержанного не отмечала никаких заслуг. С производства ушел. Играл в ресторанном оркестре, халтурил на съемках в приезжей киногруппе, сейчас работал в охотничьих мастерских, в общем и целом — без корней парень. Следовало вкатить ему, поскольку случай выпал, погонять на

уборку мусора, создать ему трудовую психологию. Вместо этого приходится отпускать, да еще за ручку вести к председателю.

Составляя протокол, Николай Никитич восстанавливал последовательность событий. Он вспомнил, как Лосев плечом придержал его. Умышленно остановил. Но зачем? Непонятно. Отсюда произошло дальнейшее развитие конфликта и нанесение побоев. Рычкова — того можно понять. Рычков человек трудовой, не сравнить с этим лоботрясом. Рычкова, по просьбе Лосева, капитан отпустил охотно, при этом Лосев насчет Анисимова ни словом не обмолвился, потом же вдруг позвонил и сказал, чего, мол, парня держать, раз сказали «а», надо говорить и «б». На это Николай Никитич возразил, что «а» не равно «б». Анисимов первый нарушил, явился зачинщиком скандала, опозорил город, ввел всех в заблуждение, злоупотребив именем председателя горсовета... Николаю Никитичу показалось, что на том конце провода отключились, такое там было молчание, потом Лосев задышал, весело сказал, что никаких претензий к Анисимову он не имеет. И как бы утешая начальника милиции, добавил, что парень действовал из патриотических побуждений, без всякой корысти.

Именно этот неуместный веселый тон расстроил Николая Никитича, он чувствовал, что совершенно перестает понимать Лосева. Как будто дело в корысти. Хулиганство большей частью — действие не мотивированное и, можно сказать, бескорыстное. Патриотизма же у Анисимова капитан и вовсе не хотел признавать. Нельзя, чтобы любой обалдуй вмешивался в дела начальства, произносил речи оскорбительного и даже ненужного направления. Тем более в присутствии главных властей.

Николай Никитич многое бы мог возразить Лосеву, но все его возражения соединились в один кроткий вздох, он не в состоянии был отказать этому человеку.

Когда Николай Никитич переодевался, от злости и досады спина его чесалась в самых недоступных местах. Мундир должен был вернуть уверенность. Мундир стягивал грудь и не позволял отводить глаза.

Душа противилась просто так отпустить Анисимова, хоть как-то следовало его помять, показать ему, что он есть и куда он катится. В дежурной, при всех, Николай Никитич вполне вежливо и в то же время уничижительно обрисовал Анисимову малополезное его сущест-

вание, лишенное стремления учиться, расти. Анисимов, слушая, чистил ногти. Нечем было зацепить, прошибить его, все доводы капитана соскальзывали с него, и даже на иронию по поводу Жмуркиной заводи не реагировал! Николай Никитич разобрал всю несостоятельность его как защитника пейзажа. Да какой там пейзаж, для пьяниц там пейзаж, один из неблагополучных участков города, там распивают спиртные напитки, картежные игры ведут. Слава богу, что постройка филиала ликвидирует этот очаг.

— Святая простота, — нараспев сказал Анисимов, — разве от этого меньше станут пить? Разве пьют потому, что есть где выпить?

Но тут-то Николай Никитич был хозяином положения. Борьба с пьянством была его главной идеей. Он и в Лыков-то согласился поехать, чтобы провести эксперимент по искоренению пьянства.

Ненависть к пьянству появилась у него с детства, с отцовской смерти, когда мать на похоронах взяла с него клятву никогда не брать в рот водки. Он бился с зеленым змием неистово, пользуясь всеми возможностями милицейской службы. Год яростных усилий дал ничтожный результат. Иногда по субботам Николаю Никитичу казалось, что весь город шатается, бормочет, пьяно рыгает, пучит багровые глаза. Он свирепел и совершал немало лишнего, и не будь Лосева — ему пришлось бы плохо. После долгих стараний он добивался закрытия какого-нибудь ларька, где торговали «бормотухой», «чернилами» и прочей плодово-ягодной отравой. Через несколько дней появлялся другой ларек, такой же фанерный полутемный сарайчик с несколькими высокими столиками... Несмотря на запреты, штрафы, водкой торговали в воскресенье, продавали на праздниках, ее можно было достать рано утром и в полночь. Каким-то образом молочные буфеты вдруг превращались в распивочные, вино появлялось в столовых, в кафе, в кинотеатре, его продавали повсюду. На механическом, в больнице воровали спирт, из деревень везли самогон, варили брагу...

Единственный, кто поддерживал начальника милиции, не давал падать духом в этой неравной борьбе, был Лосев, хотя сам он давно отступился и не стеснялся признать свое бессилие.

В городе побаивались начальника милиции, непомерной его силы, азиатской невозмутимости и ярости.

Никто не представлял, что неокрепшая душа его искала вожатого и жадно прилепилась к лосевской устремленной натуре, уверовав в нее. Что означала его вера — трудно сказать; видимо, ему казалось, что Лосев знает, что делает и что надо делать. Какая-то целительная уверенность исходила от председателя.

Поначалу можно было подумать, что Анисимов внимательно слушает проект оздоровления нравственности населения, нахальная его усмешка растаяла, но через некоторое время Николай Никитич услышал пение. Не разжимая губ, Анисимов пел, все явственнее, песенку о бумажном солдатице.

Он переделать мир хотел,
Чтоб был счастливым каждый,
А сам на ниточке висел —
Ведь был солдат бумажный.

Неизвестно, может, он давно начал свое пение. Николаю Никитичу хотелось взять за шиворот этого мозгляка, поднять и повертеть над головой. Или выкинуть в окошко. Или связать из рук и ног узелок на память... Он запрятал за спину свои огромные ручки, сцепил пальцы. Но тут он нашел достойный ответ.

— Ты себя не видишь, Анисимов, — сказал он. — А между прочим, бумажный солдатик к твоему образу куда больше подходит. Ты на ниточке висишь.

— Вы дуся! — сказал Анисимов и к Лосеву идти категорически отказался.

Ну что ж, это подтверждало мнение Николая Никитича. Неблагодарность свойственна наиболее низкому уровню души. Что можно ждать от человека, не умеющего оценить добро и заботу, ему оказанную. От неблагодарности и заводятся в душе гниль и мерзость.

Этим Анисимова удалось пронять. Николай Никитич даже не ожидал, что Анисимов так взорвется. Забегал, затрясся весь. Закричал, что нет такого закона вести к человеку, с которым он не желает разговаривать. Слова Николая Никитича про то, что Лосев хлопотал за него и вызволил, еще хуже взбесили Анисимова. Совершенно вне себя он кричал, что Лосев обманщик, лицемер, фарисей, что Лосев только по наружности праведник и тем отвратительней его предательская сущность.

Такое про Лосева невозможно было слышать, это была клевета, свинство, да еще в присутствии посторон-

них людей. Николай Никитич попытался дать отпор, опровергнуть. В чем Лосев обманщик? В том, что приказал наказывать по всей строгости, а теперь хлопочет, просит освободить? В этом обман? В этом? Он тоже сорвался в крик, вернее в окрик, потому что выдержки не потерял, а лишь когда Анисимов ногами затопал, завопил, что согласен сидеть в тюрьме, пусть его судят, не нужно ему никаких милостей, плевал он... тут Николай Никитич взял его и тряхнул так, что Анисимов вскрикнул и затих. Начальник милиции удивился себе, никогда он не позволял себе подобного. При своей силе он легко мог переломить ребра этому мозгляку. Долго он не мог успокоиться от оскорблений и всякой пакости, какую накричал Анисимов, счастье, что Анисимов шел за ним как миленький, ни звука не проронив.

Николай Никитич не стал, конечно, излагать в кабинете председателя все обстоятельства привода, но Лосев сразу разобрался.

— Вы не обижайтесь на него, Николай Никитич, — сказал он. — У Анисимова комплекс. Он завидует вашей силе и, как всякий слабый человек, хочет чем-то уравниваться. С помощью хотя бы прозвищ. Прием не самый благородный.

Анисимов сунул пальцы в карманы джинсов и стал разглядывать Лосева с упорным интересом.

Если б не просьба Лосева, начальник милиции не оставил бы его наедине с этим психом. В поведении Анисимова имелся какой-то секрет, да и Сергей Степанович тоже действовал несколько странно, нелогично. Однако выглядел он вполне уверенно, и это успокоило начальника милиции.

По выходе в сквере он заметил двух женщин. Одну из них, учительницу Тучкову, он знал. Они смотрели на него и шептались.

На приглашение садиться Костик не ответил. Он так и остался стоять посреди кабинета.

— Обиделся, значит? Примитивно. Обиделся на то, что я не поддержал, не оценил твоего героического порыва. Не стал плечом к плечу, защищать грудью... Вместо этого отправил тебя в милицию. Теперь ты себя жалеешь, а всех нас презираешь. Как ты выразился — пустые души? Быдло? Вот это уже оскорбление. А заметил, что поддержки тебе не было и сердиться на тебя

тоже не стали? Вот что любопытно. Не сумел ты пробудить народного чувства. Они виноваты или ты? Ты на кого их поднимал? На хулиганов? То-то. На работяг поднимал, которые приехали дело делать.

Лосев ходил по кабинету мимо Анисимова вправо, влево, но Костик не поворачивался к нему. Он стоял матово-бледный, тонкий, с завидно впалым животом, длинные волосы придавали его узкому лицу печаль и отрешенность. То, что раньше Лосева раздражало, стало симпатичным.

— Тебе что. Раз ты прав, ты позволяешь себе драться, кричать, от меня требовать. Ну, допустим, ты себе душу облегчил, дальше что? Руки раскинул, готов на все. Так? А это, может, самое простое. А фанаберию свою перешагнуть не можешь.

Костик молчал.

Лосев зашел с другого бока, посмотрел.

— Ладно. Видно, я в тебе ошибся. Самолюбие для тебя важнее дела. Главное — показать свою обиду на меня. А все остальное несущественно. И то, за что дрался. Рисовал я себе тигра, а получилась дворняжка.

Костик дернулся.

— Я тоже... ошибся. В вас ошибся.

Лосев отмахнулся, повел плечом, мол, отговорка.

— Вы меня при всех выставили лжецом.

— Ну и что? — спокойно спросил Лосев.

— Как что?.. Рычков меня при всех подонком называл. Вам это ничто. А я не могу. Я лично не желаю. Я... я, между прочим, так ждал вас. Я готов был стоять там насмерть. — В голосе его вскипели слезы, но он пересилил себя, посмотрел на Лосева с ненавистью. — А вы... Это называется предательством.

— И в результате?

— Что в результате?

— В результате-то что мы имеем? Что мы приобрели на сегодняшний и завтрашний день?

— Не понимаю, — сбился и как-то растерялся Костик.

— В том-то и штука, что не понимаешь, а судишь. А имеем мы в результате остановку работ на заводи. Ясно? Не пилят. Так ведь?

Костик задумчиво посмотрел на Лосева, затем, придя к какому-то выводу, сказал, обращаясь не к Лосеву, а к каким-то иным, незримым слушателям:

— Все так. А я дурак. Чего я ввязался? Да какое мне дело? Пилите, ломайте, какое дело поэту мирному до вас? До феньки мне ваша музыка. У нас своя музыка, — и вдруг с таким же отчуждением, холодным лицом сложил руки лодочкой, замычал, затрубил в них саксофоном, каблуками в такт отбил чечеточную дробь.

— Губа болит. А то бы я вам исполнил Бена Гудвина. Что касается прочего — больше не буду, дяденька. Уничтожайте, беспрепятственно. Стройте филиалы, аэровокзалы, танцплощадки...

Лосев присел боком на край стола, поболтал ногой.

— Крайность твоя от неумения думать. Мечешься ты. Конечно, красиво взойти на баррикаду, ровно парижский коммунары. Но только они перед этим боролись. За Жмуркину заводь тоже бороться надо. Варианты найти, подсчитать, убедить, бумаги писать, шапку ломать, хитрить, между прочим. И самолюбием своим поступаться. Телегу поперек не толкают. — Лосев направил взгляд в угол наверх, к тем же незримым слушателям. — А мне скажут: ты куда смотрел, о чем думал, ты для чего поставлен? Общий, так сказать смысл, конкретно же выражения могут быть малоприличные... — Лосев хмыкнул. — Твой Рычков — это еще детский сад!.. Итак, умываешь свои музыкальные руки? Наша репутация пострадала. Будем читать стихи, не станем более тратить себя на быдло. Мы слишком чистенькие, это не для нас — в дерьме копать. — Лосев вспомнил Любовь Вадимовну и рассердился. — Вы все такие, вы ничего знать не желаете, никаких обстоятельств, каждый только себя видит...

Костик смотрел задумчиво, как бы раздумывая не над его словами, а над другими более важными вещами, о которых Лосев не говорил.

— Так что насчет предательства — не знаю, кто кого предал, — усиливая тоном свои слова, сказал Лосев. — Когда люди трусят или увиливают, они придумывают себе прекрасные оправдания.

Слова его достигли, пробились, однако получилось не совсем то, что он полагал: Костик расцвел маленькой победной улыбочкой.

— А вы знаете, Сергей Степанович, вы мне сейчас Юрия Емельяновича напомнили, примерно он нам то же самое приводил про Астахова, — и Костик, повеселев, прошелся по кабинету.

— При чем тут Поливанов? Это ты брось...

— У Юрия Емельяновича тоже цель оправдывает средства. Так? Вы его на этом самом и раскурочили.

Произнес это Костик на ходу, не глядя на Лосева, остановился у окна и, поглядев на улицу, с треском растворил его. Рамой смахнуло дохлых мух, запахло горелым маслом из столовой, тошнотворным запахом, от которого у Лосева ломило виски.

— Ты чего хозяйничаешь? — сказал Лосев. — Закрой окно.

Костик не ответил, он свесился вниз, кому-то свистнул и помахал рукой. Лосев подошел, из-за его плеча увидел в сквере на скамейке двух женщин. Одна, в брюках, в клетчатой куртке, была Тучкова. Внизу настаивались сумерки, и Лосев скорее угадал ее, чем увидел. Оттого, что угадал, — обрадовался. Изнутри обдало теплом. Так же, как тогда, когда она позвонила. Он тогда сам поднял трубку и услышал ее голос. У него сидели контролеры из народного контроля, и вместо того чтобы переключить телефон на секретаря, он взял трубку, хотя видел, что звонят из города. Никогда он не позволял себе отвлекаться, а тут поднял трубку, будто ждал этого звонка. Пластмассовая трубка нагрелась. Он сжал ее — она запульсировала. Голос приблизился, слышно было, как язык ее касается зубов, нёба, вспомнилась запрокинутая голова и влажная глубина полураскрытого рта. Они не виделись с тех пор, как она убежала от Поливанова; казалось, он не думал о ней, а почему-то теплом дохнуло и внутри замерло. Контролеры ожидали, понятия не имея, что с ним творится. Вполне можно было попросить ее зайти, но он не сделал этого, пообещал уладить дело с Анисимовым, не договорясь даже, чтобы она перезвонила.

Высокая тонкая девушка крикнула Костику, скоро ли он.

— Сейчас, — ответил Костик, повернулся к Лосеву. — Я могу идти?

Фигура Лосева открылась. Тучкова увидела его и помахала. Так же, как она до этого махнула Костику. Он пытался представить себе, как видятся он и Костик оттуда, из сквера, вдвоем, в прямоугольнике освещенного окна. Ему хотелось продлить это мгновение.

— Можешь идти, — сказал он.

— А, собственно, зачем вы меня вызывали?

Лосев вспомнил, как хотелось ему завоевать этого парня, поскольку он понимал, что все будет передано

Тучковой, весь их разговор. Вероятно, втайне он хотел как-то оправдаться и никак не рассчитывал встретить такую ожесточенную враждебность, он был уверен, что Костик сразу поймет и поблагодарит...

— Теперь это не имеет значения, — сказал Лосев. — Если ты не видишь разницы с Поливановым, то, значит, я ошибся. Извини, пожалуйста, показалось.

— И освободить меня, значит, не стоило?

Лосев вынул из кармана шоколадку, отломил дольку:

— Хочешь?

— Нет.

Лосев бросил дольку себе в рот.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать.

— Ого! А я думал — семнадцать... Ты меня с Поливановым соединил. Может, что-то и есть в твоём замечании. Но не то, нет, не то... Если хочешь что-то сделать — приходится чем-то поступаться. Не будешь гнаться — не выпрямишься. Ты видел, как овца, — чтобы ягненок накормить, она на колени становится. Я про практическую жизнь. И мера тут — совесть. Абсолютно чистых средств не бывает. Вот тебе пришлось ударить Рычкова. Во имя, так сказать, высшей цели. А это как, морально? Он-то в чем виноват? И ты небось не извинился перед ним. А если б ты посильнее был?.. Недавно я в «Комсомолке» читал, что добро, мол, должно быть с кулаками. Ты как считаешь?

— А вы как думаете, ребята? — приторно передразнил кого-то Костик. — А я, знаете, что думаю? Если человек всегда прав, если он поступает, как положено правилами и инструкциями, то зачем ему совесть? Ладно, я не так действовал, а вы сами, вы решили бороться? — Он вдруг взгляделся в Лосева остро, по-детски все понимающими глазами.

— Ну ты наглец! — изумился Лосев. — Может, ты с меня доказательства потребуешь? Ну ты позволяешь себе.

— Вы не ответили. Вы сами, для себя, решили?

У Лосева кожа натянулась на скулах, вокруг глаз заморщилось в прищуре безжалостном, в такие минуты он разил безошибочно. Он не стал кричать, грозиться, от злости сам собою нашелся тон, который подействовал на Костика болезненно. Тон был жалостливый и небрежный, как будто он в лупу разглядывал бу-

кашку. Какое право у Анисимова есть поучать, советить, кто он такой, что из себя представляет? Жучку бездомную, которая может всех облаять и за любым побегать? На чем он настаивает? В итоге получился портрет никчемного пижона, языкатого самолюбца, способного на вспышки, а не на реальное дело. Недоросль, которому ничего нельзя доверять... Он знал, что несправедлив, он видел, как глаза Костика поплыли слезой, как он стиснул зубы. И вдруг Лосев понял, что все, больше откладывать нельзя, что щель между отъездом Рычкова и приездом новой группы, эти несколько дней — единственная отсрочка, которая дается ему.

— Какого черта ты полез! Мало они тебе надавали! — заключил он без всякой связи и с силой захлопнул окно. — Ладно, шагай, тебя ждут, хватит.

Они были еще в сквере, все трое, когда Лосев вышел на подъезд. Пришлось подойти.

— Сергей Степанович, спасибо вам, большое спасибо, — сказала Тучкова и посмотрела на Лосева с тем своим восхищением, которое смущало его. И та, вторая, длинная, худая девушка, поблагодарила его. Потом они обе посмотрели на Костика.

— Что надо сказать? — весело и просительно сказала Тучкова.

Костик взял у девушки сигарету, затянулся.

— Пусть он вас благодарит, Татьяна Леонтьевна, — сказал Лосев.

— Зачем ты его просила? — сказал Костик. — На кой черт. Лучше бы я отсидел. Не хочу я от него подачек.

— Замолчи! — сказала Тучкова. — Ты просто свинья. Ты дурак или свинья.

— Татьяна Леонтьевна, он не свинья, я знаю, — сказала девушка.

— Простите, Сергей Степанович, — сказала Тучкова.

— Он такой же, как и Поливанов, — сказал Костик. — Зря ты просишь прощения. Они все одинаковы.

— Логично, — сказал Лосев. — Все, кто ему делал добро, все одинаковы. Счастливо. Всего хорошего.

— Нет уж, минуточку, задержитесь, — сказал Костик. — Я неблагодарный. Ваш начальник милиции тоже попрекал меня. Типично для милицейского мышления. Молодежь должна благодарить. Поливанов считает, что все мы должны благодарить его. Как же — он

спас картину. Может, он жизнь Астахову спас. Вас, Сергей Степанович, тоже надо благодарить. Сергей Степанович объяснил мне, какие ему приходится муки терпеть. Тайные, скрытые от мира слезы, заметь, Таня. Ты погоди. Я не знаю, зачем он меня освободил. Не знаю, зачем меня задержали. У него на все расчеты. Они ничего зря не делают. Они всегда имеют в виду высшую цель. Мы только не знаем какую. У Поливанова, у того идея была... А здесь... Что бы со мною ни делали, — это во имя цели, это я должен усвоить и должен быть благодарен, что меня употребляют как хотят. Спасибо, что меня посадили, что объявили подонком, спасибо, что освободили. Ура Сергею Степановичу! Да здравствует наш освободитель, наш предводитель!

Лосев был уязвлен. Обида жгла его, ворочалась, ища выхода. Он шел, смиряя шаг, жажда на чем-то отыграться, разрядиться. Вместо этого ему приходилось то и дело здороваться, кому-то отвечать. Вымученная улыбка не могла согнать с его лица угрюмство. Он шел тяжело, медленно, забываясь, сжимал и разжимал кулаки, бормотал, морщась от горечи. Вечер был теплый. Главная улица была полна народу. Лосев мог бы свернуть в переулки, но он почему-то шел напрямик. Перед ним оказался бородач, который, взяв его за плечо, стал что-то горячо доказывать. Лосев смотрел на него хмуро, пока не сообразил, что это Пантюхов, капитан буксира, депутат горсовета; заставил себя слушать, тем более что Пантюхов говорит действительно дельную вещь, но от того, что нельзя было отмахнуться, а надо было поддерживать, соглашаться, от этого Лосеву становилось досадней. Как все глупо получилось, он-то надеялся вместе с Анисимовым посмеяться над тем, как обхитрил Грищенко, добился отсрочки... Вместо этого ему пришлось выслушать оскорбления. За что? Как будто ему удовольствие хитрить, вывертываться, куда легче податься, получить пару синяков и отсидеть в милиции... Никому объяснить нельзя, никого не введешь во все эти сложности служебной жизни, тот, кто не хлебнул этого, — не поймет.

Хотел он прикинуть свой проект, что да как, но, видно, не успеть. Поздно. Отсрочка нынешняя годится только для крайности, а крайность эта — как повезет: то ли согнется, то ли обломится.

Особенно его убивало то, что произошло это в присутствии Тучковой. Самолюбие не позволяло ему защищаться, опровергать наглеца. Но неужели Тучкова не поняла? Неужели она не почувствовала несправедливость? Почему-то ему казалось, что она должна бросить Костика, оставить, побегать, догнать его, Лосева, именно должна, должна была почувствовать, как ему тяжело.

Он мысленно внушал ей и тотчас же смеялся над глупыми своими надеждами. Кому какое дело до его переживаний? И парень говорил честно, как думал, как понимал, так и говорил. Мальчик имел право обижаться. Теперь Лосев понял, как такой же жгучий ком обиды распирает Анисимова.

— Вы молодцы, — с тоской сказал он Пантюхову. — Вы молодцы, ставьте вопрос на сессии.

Он свернул на Горную улицу, где было безлюдно, ветрено, фонари начинали зажигаться, они разгорались толчками, словно раздуваемые ветром. Листья летели из-под ног, мчались, обгоняя, чиркая по земле, их несло много, еще зеленых, но уже опавших. Липы мотались не в лад, наверху шумело сильным неровным шелестом. Был тот печальный час позднего лета, когда вдруг доносятся запахи осени, дождей, увядания.

Лосев поднимался в гору совсем медленно, всем телом слыша усталость прошедшего дня. Голова давила на плечи, руки свисали, набрякшие весом, он ощущал даже тяжесть волос.

...Те зимы, когда мальчишками они катались здесь на санках, неслись вниз до самой реки. Назад в гору бежали наперегонки, обливаясь потом, пыхтя и ликуя от своего изнеможения. Усталость была как отдых.

Услышал позади себя шаги, его догоняли, но он не поверил, не обернулся.

Тучкова взяла его под руку, он продолжал так же медленно идти. Головы не повернул. Таня почти висела на нем, переводя дыхание.

Не надо было спрашивать, как она нашла его, откуда она узнала, что он свернул на Горную, ничего этого не стоило касаться, Лосев только чувствовал горячую тяжесть ее тела и как там толчками стучало ее сердце.

«Значит... значит вы не поверили ему, верно, не поверили?» — твердил он благодарно, твердил не вслух, про себя, потому что вслух он не мог ничего произнести.

Если бы он заговорил, черт знает, что вырвалось бы у него.

Хорошо, что он сдержался, придавил свои чувства. Подавить признательность — это труднее, чем подавить гнев. А что, как дал бы себе волю? Что бы он наговорил, куда бы понесло.

Впервые, однако, хваленая его сдержанность не обрадовала. Сколько было в жизни Лосева таких вот остановленных порывов. Куда они могли повести, в какие несостоявшиеся жизни? Лосев и вообразить их не мог. Подобные порывы появлялись в последние годы все реже. Чем Лосев, как человек деловой, был доволен. Постепенно он привык подчиняться другому, не теряющему головы Лосеву, что появлялся в нем в подобные минуты, останавливал, подсказывал, что положено, а чего не следует делать... Лосев признавал его власть и только сейчас, по крайней мере так ему казалось, почувствовал, как он недоволен, связан.

Тучкова между тем бранила Костика. Доказывала, как Костик глуп, не прав, не умеет понимать людей, какой он нетерпимый, ограниченный в чувствах своих человек, поэтому не умеет любить, душевный инвалид, калека... Слова ее утешали. Обида таяла. При чем тут любовь, Лосев не уловил, но сейчас это было не важно, важно, что Тучкова переживала за него, негодовала, осуждала Костика.

Она все еще не могла отдышаться. Лицо ее влажно блестело. Он радовался ее словам и не верил — а что как она говорит затем, чтобы успокоить. На самом же деле она по-прежнему расположена к Костику, они заодно и останутся друзьями... Довольно грубо он высказал все это.

От удивления губы ее округлились колечком, она вдруг тихо рассмеялась.

С этой минуты Тучкова обрела какое-то преимущество. Хоть и сбиваясь с дыхания, она по-учительски четко объясняла, что у Костика нет родных и она заботится о нем, тем более теперь, когда дело дошло до милиции, что у Костика трудный характер, который может завести далеко. Выросши без отца, Костик прилепился к Поливанову, внимал ему, гордился домом поливановским. Полгода он готовил модель предреволюционного Лыкова, пока что на бумаге, в ортогональной проекции. Когда *все это* случилось, он переживал *ужасно*, «лодка оказалась бумажной, мрамор картоном...». В тот

день Лосев, оказывается, всем им нанес удар, и непоправимый. Он тронул одну ветку, а закачались десять. И она, Тучкова, тоже была в отчаянье, а Костик, тот напился и сжег свою работу. Принес ее к Поливанову и у него в саду сжег. Он максималист, все делает истово, с Поливанова он перенес свои чувства, влюбленность, на Лосева, притом еще в отместку Поливанову и с вызовом всему белу свету...

Призналась, что отчасти сама виновата, что внушила Костику, что Лосев — идеал руководителя, человек чести и долга, настоящий патриот города... Она повторяла эти определения, нисколько не стесняясь, не иронизируя, как если бы речь шла о каком-то герое; когда Лосев попробовал возразить, она повысила голос, привела в пример катер, который водники подарили школе, на самом деле это Лосев их заставил, это всем известно. Она вдруг загорячилась и стала выкладывать другие случаи: про какую-то уборщицу и про козу, случаи, на чисто позабытые Лосевым, так же как история с катером... Оборвав себя, Тучкова вернулась к Костику, торопясь разъяснить, как после школы он пошел работать аккумуляторщиком, как в мастерских считался передовиком и ему предложили выступить с почином, дали ему речь готовую и обращение в газету подписать. Костик захотел что-то свое вставить, нашелся кретин, который не позволил, Костик вспылil, отказался от почина, причем со скандалом, тоже дураком, короче говоря, ему не простили, он уволился. Не заупрямился бы, и ходил бы нынче в знатных новаторах. А так все наперекося пошло-поехало, еле выправляться стал. Максималист он крайний. Либо — либо, никаких слабостей не признает. Она заглянула Лосеву в лицо, потрясла растопыренными пальцами — ну что с ним делать, что делать? Беда Костика в том, что он не желает понимать, как все непросто. Лично она ни на минуту не сомневалась, что Лосев делает что в его силах и сделает, не смотря ни на какие препятствия. Неколебимая вера была в ее словах, она словно бы самого Лосева убеждала. Что там произошло между Костиком и Лосевым в кабинете, она не представляла, но что бы ни было, она была на стороне Лосева, он не мог поступить плохо, она готова была оправдывать его, отвергая любые сомнения.

— От такой веры, Таня, тоже трудно, — сказал Лосев, впервые назвав ее по имени.

— Почему?

Лосев удрученно поскреб затылок.

— Наваливаете на меня столько, что не снести мне.

— Простите, я не хотела, тогда я не знаю...

Плечом он почувствовал, как она обвьяла.

Между редкими фонарями провисала темнота, там располагались рамы освещенных окон, с занавесками, цветами, накрытыми столами.

Лосев взял ее под руку, покосился по сторонам. Еще несколько дней назад он мог бы не стесняясь идти с Тучковой вот так хоть по главной улице, и никто ничего бы не подумал. Мало ли кого он брал под руку. Он сам никогда этого не замечал. В этом, наверное, все и дело. Журавлев, его зам, тот и ухом бы не повел, обнимался бы, если ему надо, все привыкли, что у него вечные романы, или, как он называет, «гули-гуленьки». Никто не удивился бы, застав Журавлева в кабинете с какой-нибудь девицей. От Морщихина все ждали анекдотов, Тимофеева имела право пустить матом. Горшков мог время от времени являться под хмельком. Но попробовал бы тот же Журавлев выматюгаться или хватануть стопку в рабочее время — все бы возмутились. Что касается Лосева, то он мог сесть пить чай с уборщицами или плясать на чьей-то свадьбе, мог процитировать какое-нибудь изречение, мог хватить кулаком по столу, заорать, выбежать из своего кабинета, хлопнув дверью, — такое ему прощали, знали, что он хоть и вспыльчивый, но отходчивый, после срыва он первый шел мириться, умел загладить шуткой или другим по его усмотрению способом. Но ухаживания, прогулки в темноте — ему не разрешались.

— Господи, как бы я хотела помочь вам! — воскликнула Таня, по-своему истолковав его вздох. — Если бы я что-нибудь могла, я бы все сделала!

Глаза ее блистали в темноте отчаяньем и восторгом. Потом он вспоминал этот момент, как ему захотелось ее поцеловать и как в этот же момент у него появилась неприятная настороженность — что она имела в виду своими словами? Зачем она так, а вдруг ей что-то нужно. Как ни постыдна была эта мысль, он не мог заглушить ее; тот, другой Лосев, печально ждал, когда Тучкова обратится с какой-нибудь просьбой и станет ясно, ради чего она старалась.

Лимонная долька луны осветила небо. Множество крупных звезд повсюду поблескивали, мерцали, шевелились, точно мокрая листва.

Голос Тучковой звенел, переливался, она словно бежала, увлекая за собой Лосева, спешила, пока они вдвоем, пока длится случайное их свидание. Она рассказывала про директрису, про своих учеников, какие у нее с нового года пойдут интересные уроки, как ребята воспринимают астаховскую картину, тут заслуга и директрисы, с которой можно спорить, и ссориться, и добиваться своего, потому что в основе своей она прекрасный человек; оказывается, у директрисы муж слепнет, и она с ним ездит на рыбалку, читает ему книги, пишет за него отчеты, а завгороно, у которого ее муж работает, делает вид, что ничего этого знать не знает, освобождает его от лишней писанины.

Люди в ее рассказах хорошели, становились лучше, чем Лосев их знал. Чистякова, которую Лосев не то чтобы побаивался, но избегал, гибкая, бесшумно возникающая в самые неподходящие моменты, с ее вкрадчиво-коварными расспросами, у Тани превращалась в веселую модницу, которая любила кроить всем лыковским дамам кофточки. А та стриженная врачиха Надежда Николаевна, что лечила Поливанова, просто святая женщина, живет в коммунальной квартире и уже шесть лет убирает за всех жильцов коридоры, переднюю, кухню, уборную... Разговор каким-то образом коснулся Рогинского, и Таня с горячностью стала описывать, какой он знающий, работающий, честный, и тут же виновато призналась, что не может перебороть себя — скучно с ним.

Лосев чуть было не сказал: а зачем вам перебарывать себя? Однако не стал вмешиваться, обычная непререкаемость, с какой он советовал, учил и которая нравилась людям и без которой было нельзя, сейчас не годилась. Каждое его слово Таня принимала как истину. Любое замечание она могла принять, исполнить, от ее готовности, от доверчивости приходилось держаться настороже.

— Вот соорудил, — сказал он и провел пальцами по толстым прутьям чугунной ограды парка. Во тьме на крошечном фоне плотной листвы эта огромная решетка умудрилась чернеть. — Денег ухлопали... Зачем? Мое произведение. Дурак дураком, а вы говорите.

Тучкова засмеялась, и от ее смеха стало хорошо, и Лосев, как в холодную воду бултыхнув, принялся рассказывать про все еще томящую его встречу с Любовью Вадимовной на берегу. Признался в том, что попросил Каменева о прибавке для нее, отлично знал, что

тот откажет, потому что обратился, уже выпросив все для роддома, исчерпав все лимиты каменевской уступчивости, откладывал, откладывал и выложил про Любовь Вадимовну чисто для успокоения своей совести, чтобы отговориться можно было. За ее счет, так сказать, делал приобретения... Бессовестная политика. Он не давал себе увертываться. Ожесточенно он расправлялся с тем, другим Лосевым и получал горькое удовлетворение.

— Но в чем же дело, все это прекрасно! — воскликнула Тучкова.

Он не понимал ее радости.

— Подошли бы к ней и признались бы, как было. Ведь вы почему направились к ней? Да потому что вас совесть повела. Рассказали бы, Любовь Вадимовна и утешилась бы. Поняла бы, почему вы, что не даром, что ради стоящего дела...

— Задним числом, значит, оправдываться?

— Не звонить же вам при Каменеве к ней за разрешением.

— Да почему ж она должна вникать?

— Нет, не умеете вы с людьми говорить.

— Я не умею?

— Пропесочить умеете, доказать, отстоять, а вот поделиться, сказать, что у вас на душе, — не умеете.

— Да с какой стати я должен душу свою открывать?

— Вам-то люди открывают. К вам приходят, делятся. А вы себя только по делам цените, сделали — значит, хороший, не сделали — плохой. Так нельзя.

Она выговаривала ему с забавной убежденностью, так рубила ладонью, что Лосев развеселился. Черт знает, как у этих молодых все получается просто. Они умели находить решения естественные, может непригодные для жизни, зато свободные, и сами они свободные...

Время от времени Таня строго спрашивала:

— Вы понимаете?

Он поддакивал, удивляясь и радуясь ее смелости. Ему запомнилось, как она сказала:

— Прекрасно, что вы мучаетесь и все это чувствуете. Вы сами не понимаете, как это великолепно!

— Что ж тут хорошего... — пробурчал Лосев.

Но она засмеялась, ничего больше не объясняя.

К Тучковой приехала сестра с мужем. Он был московский журналист, она показала ему астаховскую картину, и он загорелся написать о ней. Может быть,

Лосев согласится зайти, познакомиться с ним? Но Лосев поблагодарил. Как-нибудь в другой раз. Лосев протянул руку, прощаясь, и тут произошло неожиданное: Тучкова взяла его руку обеими руками, прижалась к ней щекой и быстро поцеловала в ладонь. Горячая ее щека, холодный нос, сухие губы — все ощутилось одновременно. Лосев замер. Очнулся он, когда Тучковой не было, а он шел назад, ноги его переступали, внутри же все замерло в неподвижности, и только там, в самой глубине, где рождаются мысли и чувства, что-то происходило.

ГЛАВА 13

Дела складывались удачно. Довольно удачно. Потому что никогда не бывает, чтобы все удалось проверить. На это и расчета нет. Готовишь вопросы всегда с запасом. В облторге он опоздал — холодильную установку отдали в новый сельский универмаг, зато договорился о партии детской одежды и польской мебели. У железнодорожников включил в план реконструкцию вокзала, еще обещали привокзальную площадь привести в порядок. Тут повезло крупно. Лосев зашел, когда искали подходящий адрес. Случайно, из обрывков фраз уловил он суть разговора, вмешался — и в самый раз. Со штатами тоже уладил без потерь. А все равно радости не было.

Из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, для каждого заготовлен листок в специальном блокноте. Что не забыть в финансовом отделе, что в промышленном. А в папке заготовлены отпечатанные бумаги, чтобы в случае согласия тут же закрепить, чтобы было на чем резолюцию поставить. Это основа. Их немало — основ, первейших правил для всяких хлопот. Нельзя сразу: здрасте, вы почему деньги урезали на телефонизацию? Надо сперва просто пообщаться, как с давними знакомыми. У всех семьи, заботы. Особенно он был внимателен к женщинам. В них была какая-то материнская отзывчивость к его заштатному, маленькому, невидному городку. Он похвалил новую прическу Наталии Николаевны, отметил, что все девочки в отделе загорели, а у Ани появились дивные расписные бусы. Каждая сотрудница была для него, кроме всего прочего, еще и женщина. У себя, в Лыкове, он не мог себе этого позволить. Здесь, в области, к нему возвращался мужской

интерес, что-то включалось, и он начинал видеть их подобранные в тон кофточки, шарфики, сумочки; тщательно проверенные перед зеркалом, обсужденные краски губ, век, волос — то, что составляет азарт, игру женской жизни независимо от возраста. Женщины отлично чувствовали в нем непритворный интерес к себе, то есть к их нарядам, то есть опять-таки к себе. Мнение Лосева о платьях, о прическах, то, как он это замечал и оценивал, было дороже обычных подношений в виде конфет или духов, какими одаривали исполкомовских «барышень» командировочные. Поддерживать отношения нельзя подарками, учил Лосев своих работников. Отношения надо вести постоянно, а не от просьбы к просьбе.

— Ты чего ровно бы не в себе? — спросила Наталия Николаевна, несмотря на все его шутки и смех.

Они сидели за стеклянной перегородкой. Красиво уложенные кудряшки делали ее курносое личико кукольным. Многих кукольность эта и смешливость обманывали. К перегородке был приклеен портрет артиста Тихонова и фотография четырнадцатилетнего сына. Загорелась лампочка на селекторе. Наталия Николаевна покосилась на нее.

— Начальство, — сказала она. — Обойдутся. Ну давай выкладывай.

Слушать она умела. Она воспринимала каждое слово, и все то, что было между словами, все его недомолвки и вздохи.

Он сказал, что надо бы перенести строительство филиала. На другую площадку. Вниз по реке. Примерно на километр, даже меньше, тоже в черте города. Рассказал почему. Вкратце упомянул о картине, но сохранить Жмуркину заводь надо было ради ее собственной красоты.

По ее лицу он понял, насколько трудное это дело. Она могла судить, ибо строительство филиала финансируется как первоочередное. Перенос означает изменение проекта, задержку, удорожание... Впрочем, она внимательно посмотрела на него, по этой линии не безнадежно, удорожание, оно на руку строителям; как ни парадоксально, но многие хотят удорожания.

Она поверила сразу, не тому, что он сказал, а тому, что ему это надо. Только спросила для верности:

— Ты можешь отступить от этого дела?

— Нет, не могу.

— Тогда тебе нужны другие мотивировки.

Светло-желтые кудряшки ее лежали неподвижно и твердо, точно отлакированная деревянная резьба.

Она слушала его рассуждения о пейзаже без улыбки и без удивления, но слова ее означали, что нажимать на это не следовало, тем более у Уварова. А без него не обойтись. Она это ясно дала понять, не называя его. Больше они об этом не говорили. Про деньги на телефонизацию он не напоминал, но Наталия сама тут же распорядилась восстановить прежние ассигнования. В знак благодарности он приколот к перегородке рядом с Тихоновым цветную фотографию астаховской картины, одну из тех, что сделал директор леспромхоза.

Он заставил себя быть довольным и беспечным. Да-да, нет-нет, его удрученный вид мог только осложнить дело. Он давно заметил, что чем меньше показываешь свою заинтересованность в каком-либо вопросе, тем легче он решается.

Пашков встретился в коридоре. Еще издали узналась его высокая плоская фигура без шеи, с напосаженными волосами. Поздоровались настороженно, от пожатия холодной костистой руки у Лосева привычно напряглось внутри. Пашков это почувствовал, по бледному плоскому лицу его косо скатилась усмешечка. Давняя эта усмешечка с детских лет действовала на Лосева, как будто Пашков знал о нем что-то нехорошее. В другой раз Лосев бы подколот его, но тут стерпел, взял под руку, настроил себя на сердечность. Почему нет, отцы дружили, да еще как, а сыновья зачем-то враждуют. Лосев стал рассказывать о том, что вычитал в отцовских записях.

Зашли в кабинетик Пашкова, хозяин достал из шкафчика бутылку французского коньяка, прием совершался по высшему классу. Небрежно плеснул в пузатые коньячные рюмочки. Звонили телефоны, их стояло штук пять, не считая селектора. Пашков, в одной руке рюмка, другой жонглировал трубками, бросал кому-то односложно-холодно, кивая Лосеву, продолжай, мол, не обращай внимания. Не понять было по его белому плоскому лицу, впервые он слышал про самоубийство Георгия Васильевича Пашкова, знал ли что раньше. Иногда взглядывал на Лосева быстро, в упор, словно наставляя объектив.

— Папаша твой, значит, мемуары писал? Писатель! Ну как, хорош коньячок? — И похохотал, поигрывая в пальцах рюмкой.

Когда Петька Пашков, нагулявшись по свету, вернулся домой, пришел в горсовет к Лосеву проситься на какую-нибудь, на любую работу, Лосев прежде всего видел эти когтистые лапы, которыми тот хватал их, пацанов, за волосы и тыкал лицом в свои босые ноги. Заставлял их привязывать друг друга к дереву и расстреливать, учил писать всякие пакости на стенах. И вот Петька Пашков стоял перед ним, заискивал и в страхе ожидал решения. Лосев устроил его в орготдел. Работал Пашков плохо, на него жаловались, он угрожал, похвалялся дружбой с Лосевым. Долгое время Лосев терпел. Боялся сделать ему замечание. Никого не боялся, а Пашкова боялся. Встречаясь, Пашков стискивал руку своей когтистой лапой так, что Лосев кривился от боли, и тогда Пашков торжествующе похохатывал, норовил схватить Лосева за руки при людях, чтобы все видели, как Лосев корчится. Лосев купил теннисный мяч, силовой и весь отпуск, как мальчишка, ожесточенно жамкал мяч, упражнял пальцы, работал с ракеткой, вертел железную палку. Когда после отпуска встретились, Лосев спокойно протянул руку, принял пожатие не уступив, сказал: «Что-то чахнуть ты стал, Петр Георгиевич», и через несколько дней накричал на Пашкова грубо, зло, окончательно освобождаясь от его власти. Вскоре выдался случай спровадить Пашкова на какие-то курсы, после устроить так, чтобы оттуда взяли его в областной аппарат.

Попав в облисполком, Пашков расцвел быстро, прослыл крутым и нужным работником, годным там, где надо было требовать, нажимать, отказывать. Все же для Лосева было неожиданным назначение его помощником Уварова — должность невидная, теневая, однако влиятельная. Неожиданно это было и неприятно. Получалось, что в Лыкове его недооценивали. Пашков с обычной своей косой усмешечкой повсюду намекал, что в Лыкове он мешал кой-кому... На новой должности появилась в нем заносчивость, говорить стал тихо, медленно, и движения тоже замедлились. Новая его жена была москвичка, она преподавала английский, и Пашков ходил одетый строго, чисто, вставлял всякие словечки — дринк, вери матч, бай-бай; Уварова он называл — май чиф.

Все чаще стали возникать у Лосева недоразумения, неудачи, в которых он чувствовал когтистую лапу Петьки Пашкова.

Иметь Пашкова врагом было неразумно, да и с чего они должны враждовать, чего не поделили. Земляки, лыковцы, отцы которых закадычные друзья. Лосев, рассказывая про старую школьную тетрадь отца, расстрогался, заметил, как поредел, вылез рыжеватый чуб Петьки Пашкова, увидел металлические зубы его, подумал, что, может, они оба сейчас стали похожи на своих отцов.

Пашков бросил на стол красную пачку «Мальборо», сладко задымил.

— Самоубийство? Хм... Это доказать надо. Про моего папаню достаточно известно, про его заслуги. Мало ли что твоему показалось. Он ведь у тебя был запьянцовским мужичонкой. И вообще, ты прости меня, папаня твой... — Он повертел пальцем у виска, похохотал. — Ты ведь и сам считал, что он того... а?

Лосев глаз не поднял, смотрел на рюмку.

— Насчет моего папани... Пора бы улицу его именем в Лыкове назвать. Вот о чем бы тебе подумать... — и когда Лосев не отозвался, добавил: — Но у вас там другие страсти.

— Какие же?

— Художнички, музейчики... На Каменева работаете? Или ты сам на его место прицелился?

Лосев прижмурил глаза, будто рассмеялся, ничего не сказал, стерпел. Пашков прихлопнул трубку городского телефона не отвечая и сказал тихо, медленно:

— Дешевое местечко.хлопотное. Слиняешь быстро. Меценатом, значит, сделался? Слыхали. А Поливанов о тебе плохо отзывается. Сигналит, телегу грузит. — Он смотрел в упор на Лосева, испытывая его, проглотит ли и это, и Лосев проглотил это, кивая удрученно; надо же, Поливанов, какая жалость, вроде бы заодно с ним хотели сохранить Жмуркину заводь, ту самую, которую Петька Пашков проныривал, чемпионил среди всех огольцов.

— Что ты мне все про детство, — сказал Пашков. — Растрогать хочешь? Не понимаешь ты, что разное у нас детство... Но ничего, Пашков пробился, Пашкова не затопчешь. И тебе не удалось придавить меня. Силенок не хватило. Хотя ты свою ручку тренировал, — он откинулся назад, захохотал, да так, что и Лосев засмеялся.

Так, посмеиваясь, и ушел, не позволив себе ответить. Ни единого крепкого словечка не мог себе разрешить. Терпеть и глотать вроде Лосев привык, но нынче почему-то было не вмоготу, и обидно, что никто этого не видит и никому не расскажешь, да и как передать этот разговор с Пашковым, разве тот же Анисимов поймет? Тучкова и та не поймет, сколько дерьма всякого нахлебаться пришлось, а между прочим, не ради себя. Добро бы за показатели какие хлопотали, а то ради Жмуркиной заводи, отвлеченности какой-то, пропади она пропадом.

Приезжая в область, Лосев большей частью испытывал хмельную радость высвобождения. Походка становилась легкой, руки болтались размашистей, хохотал громче, вспоминались анекдоты. Никому здесь не было до него дела. Он мог идти без пиджака, рубашку навывпуск, мог тащить авоську с апельсинами... Можно было поглазеть на витрины, зайти в магазин потолкаться, как все люди, заглянуть на рынок, а то и в рюмочную. Славное это заведение — запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко. Осенью в Лыкове откроют две такие рюмочные, между прочим, лучшее средство борьбы с пьянством, не сравнить с безобразными фанерными павильонами, где спаивают людей «бормотухой».

Нынче, выйдя из облисполкома, он ни на что не смотрел, никуда не отвлекался. Логически он мог доказать себе, что незачем раньше времени мучиться, что все, что возможно, он сделает, а дальше от него не зависит, выше головы не прыгнешь и тому подобное. Но доказательства не помогали, логика не действовала, его томило чувство то ли вины, то ли ошибки, которую он совершает.

За два дня дела зарезные удалось решить, причем не выходя на большое начальство. Лучше всего было иметь дело со средним звеном, даже с «низшим персоналом». И начальству тоже нравится, когда его не ставят в тупик, не отвлекают, не обременяют. Подчиненные сами решать особо серьезного не могли, но всякое решение зависело от них — от замзавов, от инженеров, плановиков, экономистов; они могли загробить, задробить, утопить, спустить в песок, не довести до дела; к ним в итоге попадала любая бумага с долгожданной резолюцией, они увязывали, вносили в графы, обеспечивали, согла-

совывали, советовали. Они могли в срок подать бумагу, подтвердить в нужный момент, в минуту сомнения, подтолкнуть начальство...

Правда, наставник Лосева, его советчик и родственник Аркадий Матвеевич не разделял его увлечения.

— Столоначальники и прочие трудящиеся клерки годятся для облегчения работы, однако карьере твою определяют другие. Тебе надо больше в высших сферах околачиваться. Ты по своему внешнему виду, по хватке и энергии душевной годишься для областного руководства и двигай туда, пока не перезрел. Цинизма бы тебе поднабраться.

У Аркадия Матвеевича голос был зычный, бархатистый.

— Наденька, счастье мое, свет очей моих, утоли нас! — возгласил он с порога рюмочной, и все обернулись к нему, забавляясь его фигурой и манерою, какой он говорил на публику.

Наденька налила им по пятьдесят граммов. «Моя норма», — предупредил Аркадий Матвеевич, и они отошли в угол.

— Рад тебя видеть, Сереженька, — он троекратно приложился щекой к щеке, чуть преувеличенно, но, несомненно, искренне. — Как славно видеть хорошего человека, да еще холодная водочка и этот бутерброд с килькой, согласись, что если ощутить все это как благо, то можно считать сей миг счастьем!

От него пахло одеколоном, был он идеально выбрит, тонкие седые усики подстрижены волосок к волоску, вид он имел барственный, носил кольцо с печаткой, и из кармашка несколько старомодно зауженного пиджака торчал уголок сиреневого платочка в тон галстуку.

— Каждый деятель должен иметь свой образ, — поучал он Лосева. — Образ — это впечатление, личина в лучшем случае, если угодно. Образ должен быть броским, симпатичным, удобным для владельца. Тебе, Сереженька, надо найти свой образ. Допустим — надежный мужик, упорный, скупой на слова. Или увлеченный энтузиаст, генератор идей. А может, тебе подойдет — простак, доверчивый работяга, честный и прямой? Великая вещь — найти себе образ. Возьми, к примеру... — Он наклонился, шепнул: — Уваров. Ясный всем образ. Точный, неутомимый, как робот... Или возьми меня. — Он возвысил голос, зная, что его слуша-

ют: — Я как бы олицетворяю образ российского интеллигента. Зверь, чудом уцелевший. Этим и любопытен.

Лосев рассмеялся и подумал, что так оно, пожалуй, и есть, старомодный в своей галантности, велеречивый, широко образованный, умница; обидно было, что относились к нему несерьезно, снисходительно.

Служил Аркадий Матвеевич юристом в юридическом отделе облисполкома. Несмотря на скромную должность, его часто вызывали наверх советоваться по делам щекотливым, требующим психологического расчета, тонкого понимания высших инстанций. Ему поручали готовить туда деликатные бумаги, объяснительные записки. При чем Аркадий Матвеевич в Москву не выезжал, никаких связей в центре не имел. Трудно сказать, откуда он черпал свои прогнозы и такое предвидение поведения начальства. Похоже было, что, читая какой-нибудь приказ, присланный свыше, он, словно графолог, по почерку изучал характер. Хотя вместо почерка перед ним была машинопись, ксерокопия, ротапринт.

Несколько раз ему предлагали повышение, он отказывался. Этого не понимали, стали относиться уже с меньшим уважением, свысока.

...Стукнулись стопочками, чтобы зазвенело, выпили. И короткий чистый звон, и жгучий холодок водки были отмечены Аркадием Матвеевичем. Он умел любоваться каждым малым удовольствием жизни, находить их повсюду. Вышли на улицу, постояли, как всегда стоят мужчины у рюмочных и пивных, жалея расставаться.

Пронзительно скрипнули тормоза. Черная «Волга» остановилась у поребрика. Приоткрыв дверцу, высунулся мужчина в светло-сером костюме, кудрявый, румяный, счастливо-самодовольный. Он повернулся к ним, громко, с укором заговорил:

— Так-то ты, Аркадий Матвеевич, выполняешь. Я же просил срочно, мне ее завтра посылать, — и он поманил Аркадия Матвеевича пальцем.

Осанистая фигура Аркадия Матвеевича съежилась, сократилась, бочком он подошел, согнулся, Лосев последовал за ним.

Мужчина осадил его взглядом выпуклых светлых глаз. — Вы идите, гражданин, вас не касается... А тебя, Аркадий Матвеевич, я прошу... Нашел время развлекаться. Смотри, если подведешь меня. Я тебе оказал доверие. Так дело не пойдет. Я думал, ты человек ответственный.

— Напрасно беспокоитесь, товарищ Сечихин, завтра к утру статья будет готова, — лоб и щеки Аркадия Матвеевича неровно покраснели, он оглянулся на Лосева и покраснел сильнее, конфузливо вздрагивающая улыбка его как бы извинялась за этого человека и за себя. Улыбка эта резанула Лосева больнее всего. Он ударил ладонью о горячую крышу машины, и сильно, так что железо барабанно ухнуло.

— Почему вы себе позволяете тыкать человека, который старше вас? И пальчиком подзываете! Встать не удосужились!

Сечихин вылез, встал, опираясь на открытую дверцу. Оставил одну ногу в машине. Мгновенно посуровел, щеки его надулись, вся его спесивость, новенькая, неистраченная, устремилась на Лосева.

— Вы не вмешивайтесь, вы идите себе, гражданин, — сказал он со спокойной угрозой, — давай двигай, не то хлопот не оберешься.

— Невоспитанные начальники — наша большая беда, — громогласно сказал Лосев, — от них во все стороны хамство распространяется. Что же вы, Аркадий Матвеевич, позволяете или вы так уж провинились?

Неподалеку стояли трое дружинников с красными повязками и поглядывали в их сторону. Лосев знал, что ему ничего не будет, он даже предвкушал момент, когда он вытащит свое удостоверение и все сразу переменится. Видимо, Сечихин тоже что-то почувствовал в его уверенности, потому что дружинников не позвал, а требовательно, командно, все еще свысока спросил Аркадия Матвеевича:

— Это кто такой?

Аркадий Матвеевич наклонился к нему, прошептал, мучительно краснея. Сечихин осмотрел Лосева уже по-другому, благожелательно, и сам стал обретать симпатичность оттого, что признал Лосева *своим парнем*.

— Как же, прослышаны, очень приятно, давайте знакомиться, я новый начальник облплана, Сечихин Павел Павлович, — он протянул руку, но Лосев заложил руки за спину, покачался на носках.

— Что это вам должен написать Аркадий Матвеевич? — и вдруг догадался. — Может, статью? По случаю вступления в должность?

— Статья в основном составлена, — деликатно и смущенно возразил Аркадий Матвеевич. — Я обещал в смысле литературном.

— Знаем, надо начать и кончить, всего-то, иначе бы они не беспокоились. В наилучшем виде хотят предстать. Ваши мысли, Аркадий Матвеевич, — их подпись. И все в полном восторге — ах, какой у нас начальник, какая культура, какой слог! Владеет пером, и сам хорош! Вы бы, Аркадий Матвеевич, ему еще манеры ваши передали, ему бы цены не было. Представляете — волку, да еще крылья! — Лосев дал волю своему голосу, если б он еще знал, какое невыносимое выражение у него на лице сейчас, но он и так наслаждался безоглядным своим гневом. — Вы, я вижу, не стесняетесь, товарищ новый начальник. Кричите, требуете. А ведь Аркадий Матвеевич не подчиненный ваш, вам бы просить его и кланяться.

— Кто кричит? Вы сами кричите.

Аркадий Матвеевич затревожился.

— Будет тебе, Сережа, я виноват, я обещал человеку.

— Неважно. Он права не имеет так себя вести. И вам, Аркадий Матвеевич, не стоит ему писать.

— Да чего особенного случилось, Аркадий Матвеевич? Мы уж как-нибудь сами разберемся, верно? Вы просто выпили лишку, товарищ Лосев, перебрали, бывает, — и Сечихин примирительно похлопал Лосева по рукаву. — Давайте лучше я вас подвезу, куда вам?

Солнце светило ему в глаза, никакого смущения не было в их прозрачной выпуклости. Они просвечивали насквозь невозмутимым довольством.

— А то давайте ко мне заедем? Наверняка собирались в облплан.

— Хватит с меня и этого знакомства.

— Напрасно вы. Все равно придется побывать, никуда от нас не денетесь. — Смеясь, он забрался в машину, опустил на сиденье. — Жду, Аркадий Матвеевич, жду, голубчик!

«Волга», взвизгнув от лишней скорости, умчалась.

Некоторое время они стояли молча, глядя в разные стороны.

— Простите, Аркадий Матвеевич, может, я чем испортил?

Фигура Аркадия Матвеевича постепенно обретала прежнюю величавость, расправились плечи, голова поднялась.

— Ах, Сережа, мне-то ничего не будет, я гнуться умею. Кто гнется, тот выпрямляется. А ты вот накинул-

ся, не разобравшись. Ты от него зависишь по всем статьям.

Но Лосев приобнял Аркадия Матвеевича, прижал от полноты чувств.

— Нет, каков экземпляр!

Он не желал думать ни о каких последствиях, гнев освободил его от всяких осмотрительных соображений. Счастливое это чувство уцелело в нем до вечера, когда он сидел у Аркадия Матвеевича в высоком его вольтеровском кресле, наслаждаясь покоем и умной беседой. Не саднило, не отзывалось горечью, как бывало после того, как он сорвет гнев на подчиненных.

Стены крохотной холостяцкой квартиры Аркадия Матвеевича состояли из стеллажей, так что корешки книг пестрели вместо обоев. Тут были сочинения философов, начиная от Платона, книги о войне, мемуары военачальников и история России. Мало кто знал, что Аркадий Матвеевич воевал командиром батареи в противотанковом полку. Под Ржевом он попал в плен и после войны долго пребывал где-то на Севере. Чем он только не занимался в долгой своей жизни — был мраморщиком, рисовал этикетки, обучал слепых, работал на звероферме, конструировал детские игрушки, были у него даже статьи, от которых никакой радости и почета не произошло — одна статья о немецком влиянии на русскую администрацию, вторая об истории русской реакции и мракобесия.

Кресло, обитое вишневым бархатом, уютно вбирало тело. Книги стояли под рукой, выдвижной торшер светил прямо на страницы. Спокойные вечера, наполненные чтением, представлялись Лосеву. Желанное, непривычное счастье. Кант, Сенека, Шопенгауэр — он перебирал эти полужнакомые имена, вряд ли когда-нибудь удастся прочитать их. Раскрыл книгу наугад, там были жирно подчеркнуты строки:

«Человек есть цель сама по себе, то есть никогда никем (даже богом) не может быть использован только как средство».

У Аркадия Матвеевича постоянно гостил кто-нибудь из родных, нынче жил у него племянник Валерик, высокий молчаливый парень, мастер ОТК, у которого дома происходил ремонт, вот он и жил у дяди.

Ужинали в кухне. Аркадий Матвеевич приготовил картофельную запеканку с мясом и грибами, коронный его номер. Лосев нахваливал и запеканку, и самого Ар-

кадия Матвеевича, человека обширных способностей, который, однако, позволяет себя эксплуатировать...

— Ты прости, Сережа, только я напишу ему статью, как обещал, — сказал Аркадий Матвеевич, не поднимая глаз.

Лосев рассердился. Хотя пришел он к Аркадию Матвеевичу по делу — посоветоваться о визите к Уварову, как да что говорить, — но тут готов был вскочить, уйти, так возмутили его слова Аркадия Матвеевича — эта трусость, приниженность. С какой стати вы обязаны работать на этого гуся?

— Вы не добро делаете, а наоборот — поощряете невежд, создаете дутые авторитеты.

— Просят люди, — оправдывался Аркадий Матвеевич. — Не все такие, как Сечихин. И он, знаешь, забавный парень. Умеет перемножить в уме семизначные цифры.

— Кому это сейчас нужно?

— Да, конечно, теперь не нужно. Но когда-то, наверное, ему пригодилось.

— Если бы вы не писали им, то они бы сами должны были писать. Чего вы боитесь отказать?

— Страх у меня нет, — сказал Аркадий Матвеевич. — Я весь страх свой на войне оставил. И зависимости нет. Я в любой момент могу на пенсию. Между прочим, пенсионеры — самый независимый народ.

— Оставьте вы его, — попросил Валерик.

Но Лосев уже завелся. В такие моменты остановить его было невозможно.

Аркадий Матвеевич поднял предупреждающе руку, перстень-печатка блеснул золотым лучом, запахнул стеганный свой халат с достоинством и даже некоторой гордостью.

— Резон у меня, Сережа, кое-какой имеется... Я редко кому отказываю. И статьи пишу, и речи пишу. С охотой пишу. Мне тоже хочется высказаться, а своей трибуны нет. Какие-то мыслишки бродят. Куда их пристроить... Пусть люди произносят, печатают. Все-таки даром не пропадет. Кое-что вычеркнут, кое-что останется. То одному, то другому прилеплю. Когда человек их присвоит, то совсем хорошо. Одно дело — повторять чужие мысли, другое — присваивать их. Присвоенное становится убеждением.

— Вы и сами могли бы произносить, сколько раз вам предлагали повышение.

— Не хочу. Скажешь — не логично. Но не хочу. Иметь подчиненных — значит быть несвободным. А мне моя духовная жизнь дорога. Я сибарит... — Он слегка красовался, поигрывал голосом, как своим перстнем. — Чувство достоинства, оно, думаешь, в том, чтобы на хамство отвечать хамством? На крик — криком? Тут руководствоваться надо совестью. Перед ней не уронить себя ни злобой, ни холопством. Я лично воспитывать силой не могу. Вот ты молодец, ты умеешь с ними разговаривать, а я теряюсь. Я могу возражать, когда меня слушают с охотой. — Он вздохнул, пригорюнился. — Невоспитанность действительно бедствие наше. Вот я Сечихину об этом вставить в речь хочу.

— Волка учить блеять овцой, — пробурчал Лосев.

Много лет он пользовался советами Аркадия Матвеевича, обсуждал с ним лыковские дела, выяснял, как, когда выйти с просьбой, вопросом, как бумагу написать. Услуги Аркадия Матвеевича принимались сами собой, в порядке родственных отношений. Собственно, родственником Аркадий Матвеевич приходился Антонине, жене Лосева, однако и после отъезда Антонины отношения сохранились, Аркадий Матвеевич остался так же участлив, и Лосев приписывал это их собственной дружбе.

Ему не приходило в голову, что, в сущности, он только получал от Аркадия Матвеевича. Он возмутился бы, если б ему сказали, что он поступает ненамного лучше Сечихина, разве что действует почтительней. Почтительность, казалось, все возмещала, но недаром древние китайцы считали, что почтительность появляется после утраты справедливости. Впрочем, как знать, может, и через Лосева ухитрялся Аркадий Матвеевич высказывать свои идеи. Например, когда они совместно пробивали строительство роддома. Да и сама идея нового роддома оформилась здесь. Так что вполне возможно, что Аркадий Матвеевич при его щепетильности считал, что пользуется Лосевым, эксплуатирует его для своих идей.

У себя в Лыкове Лосев не вспоминал Аркадия Матвеевича. Пока не открывалась очередная нужда. Впрочем, никто не задавался вопросом, чего ради старается для них этот старик. Тот же Сечихин все возмущение Лосева счел хмельной вздорностью, так он и поспешил оповестить всех в тот же день, обедая в облисполкоме.

Сам Аркадий Матвеевич был рад, когда Лосев прибегал к его помощи, тем более в нынешнем деле, куда более возвышенном, чем обычные малопочтенные тяжбы, отписки или даже доклады, где хочешь не хочешь, а многое не вызывало у Аркадия Матвеевича вдохновения.

Затея со Жмуркиной заводью нравилась ему романтичностью и своей безнадежностью. Привлекало его взаимодействие натуры с изображением, красота этого места, открытая картиной. Сам Аркадий Матвеевич в Лыкове был давно и место это вспомнил главным образом по рассказу Лосева да по фотографиям, которые Лосев разложил перед ним. Для воображения Аркадия Матвеевича больше и не надо было — воображение, считал он, может хорошо работать, когда материала не хватает. Воображение, вероятно, создало ему пейзаж столь прекрасный, что Лосев слушал его с интересом, особенно когда Аркадий Матвеевич стал развивать теорию, что именно в центре города следует сохранить природную красоту, те непредвиденные сочетания, которые пластуются исторически, составляют физиономию города. Архитекторы случайностей создать не могут. Умысел всегда беднее счастливого случая. Город должен иметь интимные уголки, паузы, как бы поэтические ниши, где может рождаться поэзия. Городу это нужнее, чем деревне. Образ Петербурга создавали Трезини, Растрелли, Захаров. Но, кроме них, еще и Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок. У Москвы есть свои поэты. Тбилиси, Рига, Одесса рождали свою поэзию. Спрашивается — новые расчерченные кварталы, удобные, продуманные и одинаковые — будут они порождать своих поэтов? А если мы будем добивать старое, то к чему мы придем? Мы загубим среду обитания.

— То есть? — спросил Лосев.

— Старый город — это не отдельные здания. Мы спорим про отдельные дома — имеют они ценность или нет. А есть еще среда старого города. Дух его. Вещь невоспроизводимая. Результат накопления легенд, стилей, истории. Мы занялись охраной природной среды. Воздух там, животные. А еще среда культуры, красоты, накопления в каждом городе, старый центр, особенно когда его окружили новостройки.

Лосеву нравились эти мысли, он старался запомнить их, чтобы привести на ближайшей сессии и привлечь новых сторонников.

Для Уварова такие рассуждения вряд ли годились. А выходить предстояло на Уварова, все замыкалось на нем, все остальные варианты Лосев исчерпал. Попробовал он уломать Грищенко, побывал у проектировщиков, никто из них не возражал, но и поддерживать его не желали. Для них история с Жмуркиной заводью была безразлична. Хотя Лосев шел к ним с эскизами и некоторыми выкладками. Перенести стройку можно было ниже по реке на километр, на участок того же типа. Туда и железная дорога ближе, и участок просторнее, будет куда расширяться, и строителям можно не жаться... Все так, соглашались с ним, и все же пусть Уваров нам скажет, мы сами *входить* не будем.

Аркадий Матвеевич советовал с Уваровым не хитрить, выложить ему все как есть, и про картину не скрывать, потому что, если Уваров что-то слышал, получится некрасиво. Следует продумать последовательность разговора. Аркадий Матвеевич всегда предпочитал выкладывать дела в определенном порядке. Обговорили, как мотивировать просьбу. Речь пойдет о материи эфемерной, непривычной, Аркадий Матвеевич советовал перевести ее в категории хотя бы газетного порядка. Минимум *отсебятины*. Допустим: «Участок, обладающий эстетической и историко-художественной ценностью и помогающий художественному воспитанию школьников». Некоторое время он, как старый часовщик в лупу, разглядывал эту формулу, заменял отдельные ее части, пока не получилось такое: «Участок, имеющий историко-художественную ценность для города, а также для эстетической науки и эстетического воспитания молодежи».

— Ты не морщись, Сережа, — сказал Аркадий Матвеевич. — Ты примерь на себя... Скажет тебе начальник вашего клуба, что хочет он начать пробуждение добрых чувств твоих горожан, затрагивая их лирические струны, — куда ты его пошлешь? А если он предложит включиться в мероприятие по пушкинской поэзии под лозунгом «Что чувства добрые я лирой пробуждал», то, пожалуйста, готовьте смету. Так?

Далее Аркадий Матвеевич просил не поддаваться соблазну уговоров. Люди, когда хотят убедить кого-нибудь принять их точку зрения, слишком много говорят сами. Лучше дать возможность высказаться собеседнику. Правда, Уварова уговорить нелегко. Уваров любит слушать и, пока слушает, составляет мнение, готовит ре-

шение. Аркадий Матвеевич напомнил «метод Сократа»: строить беседу так, чтобы получать один за другим утвердительные ответы и тем самым приучать собеседника соглашаться. Хорошо было бы уговорить Уварова, чтобы он высказался о надеждах и планах, которые он связывал с филиалом и с самой фирмой ЭВМ, да беда в том, что Уваров молчун, не в пример другим начальникам он предпочитает слушать, для него собеседник, даже в неслужебной обстановке, — прежде всего источник полезной информации. Он не типичен, ибо, как правило, человек после сорока лет предпочитает хороших слушателей. Умение слушать — редкая способность и высоко ценится. Гораздо чаще стремятся перебить и начать говорить о себе (на этом месте Лосев поймал себя на подобном желании), не дожидаясь, пока собеседник кончит, потому что собеседник, разумеется, не настолько умен, как вы... А надо наоборот, надо понять, что человек, с которым вы разговариваете, заинтересован в своих делах, в своей мозоли куда больше, чем в ваших проблемах. Если уж вести разговор, то следует говорить о том, что занимает самого Уварова, например цифры, статистика, он ценит людей, которые умеют отвечать точными данными — в кубометрах, рублях, тоннах...

Обговорили прочие детали, например, что на прием записаться лучше на конец дня, когда не подпирают следующие посетители.

По словам Аркадия Матвеевича, ум делал Уварова высокомерным, одиноким и в то же время как умный человек, он скрывал свой ум, пользуясь административными штампами. «Как это точно», — думал Лосев, удивляясь, почему он сам не мог этого определить, хотя Уварова знал давно.

Племянник Аркадия Матвеевича не переставал удивляться — справедливое, ясное дело, а сколько приготовлений, сложностей.

— Потому что это *разговор*, — пояснил Аркадий Матвеевич. — Справедливость у каждого своя, словом «справедливость» размахивать опасно, собеседник твой немедленно в амбицию, и не сдвинуть. Разговор — это шахматная партия. К ней мастер загодя собирается. Но одно ты предполагаешь, а другое партнер. Так и у нас. Мы сейчас мозгуем, как нам поступать, и не берем в расчет, какие контроверзы может учинить он. А о неприятностях надо заблаговременно заботиться.

Тут-то Валерик, до сих пор почтительно внимающий, человек малозаметный, малословный, стал наливать пунцовым цветом злости и возмущения и выругался. Продолжая ругаться, он показывал Лосеву эту жалкую, полутемную, сырую, окно в стенку, комнатуху, в которой проживал его всезнающий дядя, — стопки книг, затиснутых под диван, цветущие мохнатой плесенью книги, от которых некуда было деваться. Это и есть результат дядиной учености? Два стареньких костюма, повешенных прямо на стеллаже и прикрытых от пыли целлофаном. Шкафа платяного не было, некуда его поставить, белье лежало в чемодане. Не было ни ковра, ни телевизора, ни проигрывателя — ничего существенного, «соответственно запросам культурного человека». Без стеснения разоблачал он убожество дядино быта и сравнивал со своей двухкомнатной квартирой, где сейчас идет ремонт, обклеивают ее финскими обоями, в ванной ставят голубой кафель и сушилку... При этом он знать не знал никаких философов и языков, был лишь мастер ОТК, а жил лучше, культурнее и получал больше, и никто на него голоса повысит не смел. Торжество раздувало его впалую грудь, обтянутую желтенькой цветистой рубашкой, застегнутой у горла на белую пуговку. За что он должен уважать своего дядюшку? — вот вопрос, который он ставил. Дядюшка все уговаривал его учиться, попрекал, что годы уходят, что останется без образования, и что же получилось? Кто выиграл? Хорош бы он был, если бы послушался. Чего стоят все хитрости и умничания, если человек не может себе обеспечить холодильника, полного продуктов? Презрение его словно бы светило, окружало его фиолетовым коронирующим свечением. Они сейчас стали похожи — дядя и племянник, у Валерика воплощение враждебности и презрения, у Аркадия Матвеевича — воплощение терпения и кротости, а лицо было одно, один род, который когда-то расщепился, избрав разные дороги. И Антонина, бывшая жена Лосева, принадлежала к их корню, ее-то черты Лосев и узнавал прежде всего в этих двоих. Неприязнь и терпение соединились в холоде ее красивого лица. Последний год перед ее отъездом терпение ее невозможно было нарушить никакими выходками, оно резиново тянулось в любую сторону, при этом враждебность ее оставалась неизменно ровной. Только иногда, в крайние минуты, в воздухе

начинало потрескивать это фиолетово-угрожающее свечение.

Воспоминание об Антонине впервые не причинило боли, оно проплыло облаком, далеким, безразличным, скользнуло бегучей тенью...

Валерик обращался прежде всего к Лосеву. Домогался ответа от этого практичного, цепкоглазого, себе на уме начальника, причем не из малых. Валерия раздражала уважительность, с какой Лосев поглощал советы ничего, в сущности, не достигшего старика. Солидные же вопросы, выдвинутые Валериком, — не обсуждались. И то, и другое было несправедливо, сбивало с толку.

Аркадий Матвеевич покорно признавал резон Валерика, говорил же совсем о другом.

— ...Стоит оглянуться назад — бог ты мой, сколько упущено, сколько я сам себе бед устроил. Собственная жизнь — прекрасный учебник. Читать его не хотим. Про других читаем... Собственное прошлое изучать неохота, историю своей души... И тела... Судьба? В старости судьба оказывается лишь историей учиненных нами глупостей.

Он подошел и смиренно погладил племянника по голове.

Один Лосев, и тот случайно, знал, какие под его словами покоятся давно затонувшие печали. Дети, которые у него могли быть. Двое, трое детей. Та женщина покорно уничтожала их одного за другим, аборт за аборт, а последнего ребенка отказалась уничтожить и ушла. Та женщина умерла, дочь ее выросла, у нее большая семья. Дочь не знала, что она его дочь, и никогда не узнает. Она выросла как дочь другого человека... Портрет той женщины висел рядом с фотографией отца Аркадия Матвеевича — врача царской армии.

Он знал, как обращаться с другими людьми, и не умел обращаться с собой, со своей судьбой, мог предусмотреть чужие ошибки и не мог предусмотреть свои.

Он знал, как добиваться, хлопотать, вести переговоры, и ничего не мог сделать для себя. У него в этих случаях пропадало всякое умение, предусмотрительность, знание психологии. Иногда на торжественные заседания девятого мая он надевал ордена и медали, и все поражались — откуда у него их столько? Его сажали в президиум, подносили ему гвоздики, но через несколько дней никто уже не верил, что этот книжник, барственный старомодный чудаков командовал, стрелял,

носил вместо берета каску... Он и сам, надев ордена, чувствовал себя смущенно, не знал, как держаться; его жесты и словечки не соответствовали героическим наградам, и он виновато съеживался и торопился уйти.

Между тем прежняя бледность вернулась к племяннику. Валерий пригладил свои волосы и погрузился в молчаливое неодобрение. Теперь оно было более прочным и угрюмым. Лосевым он был разочарован и обижен. Лосев вместо ответа посмеивался и пуще восхищался советами Аркадия Матвеевича и милым ему интеллигентным духом этого обиталища. А что такое интеллигентность, объяснить не сумел. Говорил только, что у него самого этого нет и не будет — хоть коврами завесь, хоть книгами завали, а все не то. И не понять было — то ли он попрекает Валерика, то ли завидует. А потом принялся показывать китайские тени на стене. Изображал гусей, собак, коров и радовался ловкости своих пальцев.

Аркадий Матвеевич смеялся, он забыл, что сам когда-то научил Лосева, а его когда-то научил на Севере японец, который, впрочем, на самом деле был китайцем и содержал в Харбине ресторанчик, где когда-то собирались русские эмигранты.

Вдруг он затих, всматриваясь в лицо Лосева, опечалился, поднялся, кутаясь в заношенный халат, сказал встревоженно:

— Боюсь я. Зря я тебя настроил.

— Вот тебе и раз. Это почему?

— Не ходи к нему, — сказал Аркадий Матвеевич, продолжая вглядываться в Лосева. — Не надо тебе. Ничего не получится. Не станет он... Зачем ему встrevать. Ему придется куда-то ехать, просить, ему скажут, что ж вы раньше смотрели? Могут не сказать, но *могут сказать* — вечная ваша опаска. Для чего это ему?

— Для дела. Я ж ему докажу. Если сумею. Тут от меня зависит.

— Если докажешь, так еще хуже будет. Потому что все равно ему придется перешагнуть... Ему опровергать тебя придется. Для убедительности он еще воткнет тебе. Ты при своем характере не простишь ему, и пойдет...

— По крайней мере совесть моя будет спокойна.

Аркадий Матвеевич пригладил тонкие серебристые свои усики.

— Совесть можно успокоить и дешевле... Если она покою хочет. Но боюсь, Сережа, все это эфир, невесомость, материя, недоступная измерению.

Внушительности не получилось. Он вздыхал, помаргивал печально.

— Старый я дурень. Идеалист я. Мотылек. Ты, Валерик, прав. В наше время требуются реальные вещи. Выгода, которую можно подсчитать и показать. Как финские обои. А я морочил тебе голову, Сереженька, не рискуй ты, прошу тебя...

Впервые Лосеву вспомнилась тесная передняя у Ольги Серафимовны, как они стояли перед картиной и то вещее предупреждение ее, произнесенное глуховатым нездешним голосом.

Лосев встряхнулся, отгоняя от себя дурное предчувствие, и стал успокаивать Аркадия Матвеевича с самым беспечным видом. В конце концов, об чем речь? Ну откажут, ну выговор дадут, выговор — не туберкулез; если уж на то пошло, то Лосев никогда не держался за свое место. Ни сна, ни отдыха измученной душе от мелких, нудных забот, которым нет конца. Что у него в голове сейчас — люк сломанный увидел, — не забыть.

Тут не было притворства, он бранил свою работу от души, считал, что нет ее хуже — отвечаешь за все, а можешь так мало, и все над тобою хозяева.

Говорил, говорил, стараясь успокоить не только Аркадия Матвеевича, но и себя.

ГЛАВА 14

Парень был полужнакомый, из района, приехал на областное совещание дорожников. Доброта так и лучилась с его пышущего румянцем лица, медали на нем блестели, все на нем сияло начищенное, выскобленное. Увидев в вестибюле гостиницы Лосева, он кинулся к нему как к родному, затряс руку и сразу предложил зайти в бар, тут же на втором этаже, добавить. Добавить Лосеву хотелось. Именно прибавить к своему состоянию грамм сто, не больше. Может, Лосев и дрогнул бы, но вспомнил, какой завтра предстоит день трудный — визит к Уварову. В этот момент в толпе у дверей в ресторан, откуда неслась музыка, мелькнуло что-то знакомое. Он сообразил, что это Тучкова, когда она уже исчезла. Она была в вечернем длинном темно-зеленом платье,

шла с какой-то компанией. Почему она здесь? Не показалось ли ему? Парень тем временем рассказывал, как он третий день в городе, наглядеться не может, давно тут не был, какая реконструкция во всем... Чего-то он еще строчил быстро, взхлеб. Лосев не слушал, а услышал про неразгаданные сны и про то, как ему снится марксизм.

— Марксизм? Это как же? — заинтересовался Лосев. — В виде чего?

Парень засмеялся совсем по-детски и объяснил, что снится в виде счастья; руками двигал, изображал, наверное вспоминал свои сны, и Лосев подумал, что если вспоминал — значит, видел, а может, и сейчас мысленно видит.

— Везет тебе, — сказал Лосев.

Пройти в ресторан он не решился.

— Везет, — согласился парень, — я везучий, хочешь моей везухи половину? Даю!

— Спасибо, да только мне половинка ни к чему. Мне много надо, чтобы крупно повезло.

Где-то из ночи ему услышался перестук надвигавшегося завтрашнего дня: тревожное предчувствие снова шевельнулось, но он придавил его. Когда-то он был похож на этого парня и сияющие глаза его фортуны то и дело откликались ему своим теплом. Он узнавал ее среди встречных женщин, он слышал запах ее духов, шелест ее платья. Он был уверен, что она неотступно следит за ним, заботится, выручает — Судьба, Звезда, Фортуна. Потом он потерял ее.

Засыпая у себя в номере, он попробовал припомнить, как это получилось, куда она делась. Виделась ему при этом женщина в зеленом длинном платье, темная волна волос падала ей на глаза... Он знал, что это не та. Ту он не потерял, а забросил. С тех пор как стал выдвигаться, он уже не ловил ее взгляда, не благодарил ее... У него все складывалось логично, согласно его заслугам, достижениям, выполнению заданий, он не зависел от судьбы или удачи, он в них не нуждался, он считал, что он обязан самому себе, своей работоспособности и умению делать...

В семнадцать ноль пять Лосев вошел в приемную, поздоровался с Александрой Андреевной. Он специально пришел пораньше поболтать с ней. Она работала

в исполкоме в этой приемной пятнадцать лет, помнила Лосева мелиоратором, в полушубке и валенках с калошами. С тех пор сохранял он к ней то же уважительное отношение, так же, входя, здоровался за руку, сообщал лыковские новости, рассказывал, что за дела у него к начальнику. За высокой обитой дверью кабинета люди менялись, Александра Андреевна оставалась, и он приходил не только к ним, но и к ней. Часто, будучи в исполкоме, заглядывал просто к ней, провести ее, и она это ценила.

В семнадцать пятнадцать голос Уварова в селекторе произнес: «Сергей Степанович, пожалуйста». Тут же дверь отворилась и из кабинета вышел Сечихин. Он поздоровался с Лосевым радушно, как бы обрадованно, но не протягивая руки.

— Как головка? — спросил он, подмигивая.

Лосев вяло усмехнулся в тон ему и тоже подмигнул. Зачем он это сделал, он и сам не понимал. Думал, что возненавидел, что с трибуны еще скажет про сечихинское хамство, и вот ничего, оказывается, не осталось, разрядилось, ушло, и будет здороваться, как ни в чем не бывало.

— И что же, приняли ее? — спросил он окончание истории, которую рассказывала Александра Андреевна про свою дочь. Александра Андреевна заторопилась, поглядывая на селектор, Лосев же слушал спокойно, раздумывая над тем, что Тучкова, та не слушала бы про дочь, а выложила бы про Жмуркину заводь Александре Андреевне и всем другим секретаршам и машинисткам, кому угодно, без различия должностей.

С этой досадной мыслью он вошел в кабинет Уварова, и непредвиденное это чувство помешало ему.

Хорошо, что имелся план разговора, продуманный Аркадием Матвеевичем. Сперва об одной давней просьбе Уварова — подключить дом отдыха строителей к городской электросети. Просьба была несрочная, дом отдыха второй год питался по временке и еще бы мог подождать. Перед отъездом Лосев вызвал энергетиков, они упирались, они всячески вынуждали строителей возвести коробку подстанции, но Лосев поднажал и заставил их выкроить мощность и подключить дом отдыха без всяких условий.

Уваров одобрительно кивнул. Мягкие округлые морщины на его одутловатом бледном лице чуть раз-

двинулись. Уяснил, что все это время Лосев помнил его просьбу, хотя Уваров ни разу не повторил ее.

Уваров откинулся на спинку кресла, позволяя себе расслабиться. Он был старше Лосева года на два, но с тех пор, как переместился в этот кабинет, различие увеличилось, и в последнее время Лосев воспринимал его как человека значительно старшего по возрасту.

Коротко обстриженная, лобастая голова Уварова подвижно сидела на поджаром крепконогом теле, хорошо приспособленном к хождениям по стройплощадкам, шатким лесам, езде по глинистым проселкам на вездеходах, к спускам в каменные карьеры, многочасовому вышагиванию по цеховым пролетам, эстакадам, путям... В нем не было ничего лишнего, движения его были чуть замедленны, но точны.

Говорил он короткими фразами, без междометий, криканий, без туманных или общих слов, которые понимай как хочешь.

Слегка затемненные очки мешали видеть выражение его глаз, стекла скрадывали оттенки, оставалось лишь бесстрастное внимание, устремленное на собеседника. С ним было приятно иметь дело и опасно. Не в пример своему предшественнику, он не тянул, не уклонялся от ответа, было замечено, что он старается решить вопрос по возможности сразу и окончательно. Если он откладывал на неделю, то ровно через неделю он звонил и говорил да или нет. Работоспособностью он обладал неслыханной, приезжая в Лыков, после целого дня хождений, совещаний, вечером у себя в номере он просматривал бумаги, изучал сводки, диктовал письма. Он ввел копировальные аппараты, на которых, между прочим, иногда приказывал размножать для всеобщего сведения безграмотные докладные некоторых работников, собственноручно подчеркивал ошибки и нелепости. Первым в области он стал работать с диктофоном, первым научился пользоваться карманным компьютером, который купил, будучи в Штатах.

— Значит, дом отдыха можно подключать к городской сети,— для проверки повторил Уваров и тут же включил селектор, передал это в отдел. Снял очки, потер глаза:— Спасибо тебе,— глаза у него были водянистые, холодные.— Дальше.

Второе дело было о новых машинах для дорожников. В последний момент выделенные машины область пере-

дала на строительство автомагистрали. Лосев, будто ни о чем не зная, напомнил обещание Уварова.

— Обещал, — подтвердил Уваров. — Мне тоже обещали, однако отобрали. Автострада не местного значения, ты что, не знаешь? — Некоторое подозрение сквозило в его вопросе. Лосев был на хорошем счету, а хорошему руководителю полагается знать обстановку и выдвигать требования реальные.

Однако уклониться Уварову не удалось, дело обстояло сложнее. В свое время, пообещав машины, Уваров попросил дать дорожникам склады у пристани, поскольку часть магистрали пройдет по Лыковскому району в пяти километрах от города. Лосев помог, предоставил, что, между прочим, было ему не просто, и на сессии исполкома сказал о дорожных машинах, катках, асфальтоукладчиках, грейдерах. Вдвое больше улиц можно будет заасфальтировать.

— Да-а, влип я, — уныло сказал Лосев, напомнив все это. — Понадеялся. Привык, что раз с вами уговорено, — все равно что в кармане.

Грубоватый прием, но по правилам, честный: он смотрел на Уварова без осуждения, с покорностью обманутого подчиненного.

— Хорошо хоть, на вас не ссылался, — добавил Лосев. — Имени не назвал.

Уварову должно было быть неловко.

— Что делать, — сказал он. — Одно начальство предполагает, а другое располагает.

Лосев не ответил. Он захлопнул папку и удрученно молчал. Пауза затягивалась. Лосеву надо было, чтобы Уваров заговорил первый. Он мог сказать: «Всё у тебя?» Или свое: «Дальше». Но Уваров все же захотел загладить неловкость.

— Роддом у тебя отличный. Мне докладывали. Молодцы вы. Как там с койками, пробили?

Насчет коек Лосеву еще предстояли хлопоты. Тем не менее он сказал без интереса:

— С койками сами дождем.

Возникло новое молчание. Лосев все еще сидел, опустив голову.

Когда-то, придя сюда с завода, Уваров, принимая посетителей, демонстративно включал секундомер. Толстая луковица старого спортивного секундомера лежала на столе и звонко тикала. Многие возмущались. Уварову осторожно указали, что это не помогает, а ме-

шает, угнетает людей, вместо выигрыша времени получается черт знает что. Секундомер исчез, но какое-то тиканье в кабинете Уварова осталось.

Лосев смотрел на носки своих новых туфель.

— Может, что еще надо? — примирительно спросил Уваров. Формально вопрос относился к роддому. Добиться такого вопроса от Уварова было победой, редкой удачей. Уваров почти никогда не позволял себе такого невыгодного жеста.

Фактически можно было попросить помимо коек, то есть спецкровать, машину для вывоза мусора или автобус. Деньги на освещение. Штатную единицу инженера. Пионерский стадион. Чутье подсказывало ему готовность Уварова дать, и дать с лихвой, не тот человек Уваров, чтобы оставаться в долгу.

Можно было закинуть насчет прохудившегося моста, о котором давно шли хлопоты.

А крыши!..

При мысли о крышах сразу же заломило в затылке. От одной мысли про крики, скандалы, просьбы, какие были и какие ждали его к осени. Из-за какой-нибудь сотни листов железа. Всюду текло, всюду надо было менять, все срочно, все аварийно, не хватало железа, не хватало шифера, сантехники, труб...

Начальники служб, замы, измученные бесконечными прорехами изношенного городского хозяйства, если б они узнали, что он откажется от такой счастливой возможности получить... Что никому из них ничего не отколется, они б ему не простили.

Уваров ждал. Пока что Лосев вынудил его отступить на эту невыгодную позицию, и больше нельзя было медлить. Перед Уваровым лежал большой открытый на чистой странице блокнот, сверху крупным расплуснутым почерком «Лосев 18/8», и лежала черная парковочная ручка, до которой Уваров еще не дотронулся.

Если затея со Жмуркиной заводью сорвется, тогда Лосев останется у разбитого корыта. Но мысль об этом лишь укрепляла его решимость. Другое его останавливало. В последнюю минуту ему вспомнилась Любовь Вадимовна, в куртке, враждебный ее взгляд из-за надвинутого платка. Вместо железа или машины для мусора он сейчас мог попросить повысить оклад библиотекарям, перевести библиотеку в другую категорию, ходатайство об этом лежало у него в папке. Конечно, Уварову легче было дать машину, дать деньги на стадион, чем

увеличить оклад лыковской библиотекарше на каких-нибудь двадцать рублей в месяц. Но Лосев знал и то, что сейчас Уваров пошел бы на это. Но знал Лосев и другое, что нельзя ни на что отвлекаться, что если он хочет выиграть бой за Жмуркину заводь, он должен пожертвовать всеми другими своими просьбами и бить в одну точку. Было стыдно перед Любовью Вадимовной, именно перед ней, как будто она заранее знала об этой минуте, когда он снова переступит через нее.

Из-за нее Лосев и сбился. Ему бы не сразу, порциями: «Да вот хотел насчет филиала», запинаясь: «На другое место его перетащить», — как бы безо всякого желания, вынужденно: «Советовались мы...» Так, чтобы Уваров сам вытягивал и чтобы не оборвал неторопливо: «Ближе к сути».

Вместо этого Лосев разом, с разбегу, изложил все подряд, правда без вводных, которых Уваров терпеть не мог и сразу обрывал: «Вы с середины попробуйте, авось пойдем».

О самой картине сказал кратко, как о явлении известном в истории искусства; в связи с картиной горожане просят сохранить Жмуркину заводь — традиционное излюбленное место, народ настаивает, были даже случаи открытого возмущения, так что нельзя ли, учитывая эстетическую ценность... и прочее, согласно формуле Аркадия Матвеевича.

— Перенести? Чего ж ты раньше думал?

Вопрос был неизбежный. Лосевым предусмотренный. Со дня согласования прошло два года. Это раз. Много изменилось. Обстоятельства меняются быстро, не так ли?.. Прежнее место застройки оказалось неудачным, ничего страшного, город дает такое же, еще лучше. Это два.

— За такие сюрпризы кто-то отвечать должен.

И к этому Лосев был готов. Если это ошибка, то прежде всего его самого, Лосева, никого другого.

— Да при чем тут ты... — с какой-то излишней досадой перебил его Уваров, задумался на мгновение, но больше ничего не сказал и пробарабанил по столу.

— За все надо платить, — сказал Лосев.

— Это верно, да цена-то подскочила, — усмешливо ответил Уваров и посмотрел на Лосева с интересом. — Ты что же выговор просишь, приносишь себя на алтарь?.. Ну что ж, выговор не судимость. Был выговор, и нет выговора, — он тянул, проясняя для себя ситуа-

цию.— У нас выговоры дают иногда для покрытия расходов. Получил выговор и чувствуешь себя в расчете. Грехи отпущены. Епитимья наложена.

Улыбка молодила Уварова, улыбался он редко, большинство дел не нуждалось в улыбке. Да и сейчас улыбался он не Лосеву, а своей мысли, на Лосева же он был сердит, правда какой-то неопасной сердитостью, которая позволяла продолжать разговор.

— Ты зря набиваешься, Сергей Степанович. Выговор тебе сейчас ни к чему.

— Выговор всегда ни к чему,— подождав, ответил Лосев, не поняв, что имел в виду Уваров, а понимая лишь, что Уваров начинает вести свой разговор. Тогда он сказал:

— Наседают на меня. Народ недоволен. Могут начать писать. И вам, и выше.

— Такая, значит, причина,— сказал Уваров весело.— А ты им разъясняй. Не надо сразу лапки кверху. Свое мнение надо уметь отстаивать, и не только перед начальством, а и перед народом.

— Я ведь не согласен был с самого начала.

— Был не согласен, стал согласен.

— Подчинился.

— Или согласился? Убедили? Теперь уже не восстановишь. Часто ты меняешь свою точку зрения.

— Речь не обо мне. Что я могу людям разъяснить? Кругом шумят об охране природы, об охране памятников. Спрашивают, почему не хлопчете? Поливанова знаете?

Уваров кивнул.

— Вот он... Когда Каменев приезжал, его тоже атаковали, он на вас откинул да на меня. Я-то на вас ссылаться не могу.

— Правильно,— сказал Уваров.— Начальство надо защищать грудью. А твоя-то позиция какова?

— Я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.

— А филиал? О филиале ты думаешь? Ты понимаешь, что такое филиал такой фирмы для тебя, для города, для всей области? Ты что, забыл, как мы боролись за этот филиал, сколько претендентов было? Филиал для тебя опора. Выход на важнейшую отрасль! На ведущие министерства! Отчисления! Да ты лучшее место должен им выделить. Ты в этом предприятии заинтересован больше всех! Мы бы нашли, кому отдать, любой район у тебя оторвет...

— Я за филиал, разве я против...

Лосев встал, зайдя за стол, развернул перед Уваровым заготовленную схему, стал пояснять, показывая выгоды нового участка.

— Что там за дом стоит у твоей заводи, напомним, — попросил Уваров.

Лосев и это предусмотрел, достал из папки цветные фотографии Жмуркиной заводи, что сделал директор леспромхоза. Фотографию картины он оставил в конверте, но Уваров цепко высмотрел ее и стал рассматривать на вытянутых руках, сличая.

Поразился.

Хмыкнул от удивления.

Лосев стоял не шевелясь.

— Занятно, — сказал Уваров. — Что-то тут есть. Конечно, городить из-за этого сыр-бор не стоит. Представляешь, сколько пейзажей написано, разве их все сохранишь... А так — любопытно...

— Да у нас-то он один, пейзаж, — не выдержал Лосев.

— И филиал у тебя один. И возможность у тебя одна, — строго отозвался Уваров. — Ты знаешь, что значит задержать начало строительства? Со всеми ассигнованиями, планами. А задержка при переносе обязательно будет. Для обоснования нужны чрезвычайные обстоятельства...

— Дмитрий Иванович...

— Пейзаж как пейзаж, не вижу я тут проблемы. Чего ты расстраиваешься? Если дом этот с медной крышей имеет историческую ценность — перенесем его. Это не вопрос. Есть такая необходимость?

— Не в этом дело, не в доме...

— Ну видишь, значит, не имеет ценности. Все дело для тебя в средствах! Базу надо иметь. Промышленность. Будет у тебя промышленность, будут отчисления, сможешь эстетику наводить. Базис, базис заводи! Искусство хорошо смотрится тогда, когда у людей жизнь устроена. Нам с тобой удобства для людей надо делать. Вот ты роддом построил, это нужней картинной галереи...

— Роддомы в Москве еще лучше. Кто у меня жить останется, если красоты не будет? Нам свое преимущество надо иметь. За деньги не все купишь. Средства у меня будут, а Жмуркиной заводи не будет. Да и сколько она стоит...

— Между прочим, это вопрос, сколько она стоит! — заинтересовался Уваров, прерывая Лосева. Мягкий свой голос он редко напрягал, уверенный, что его услышат. — При сегодняшней технике, дай мне средства — я тебе любой пейзаж построю. И рощи будут, и горы с водопадами, не Кавказские, конечно, так, наши, среднерусские. Моря строим, так что реки, ручейки и заводи за просто.

С годами Лосеву все больше нравился Уваров. Стиль его работы был прост и в то же время практически недостижим. Были случаи, когда Уваров ошибался, но и тогда он успевал увидеть свою ошибку раньше других и первым анализировал ее, если, конечно, в этом была необходимость. От него передавалось ощущение хозяина, то есть здравого смысла, с понятной для всех заботой о выгоде для области, для людей, с подсчетом каждой копейки, с присмотром, с размахом... Все это носило отпечаток личности Уварова, деловой, суховатой, нещадной к пустым обещаниям, к лести, к лжи. Сегодня впервые Лосев слышал от Уварова какие-то общие размышления, и Лосеву приятно было это доверие, и сами мысли Уварова увлекали, внушая Лосеву лестную веру в собственное могущество.

Колонны оранжевых экскаваторов, бульдозеров с блестящими ножами, краны, самосвалы, бетоновозы, тягачи... Рычащие колонны, окутанные угарно-синеватым дымком, могли двинуться по указанию Уварова, сносить, воздвигать, — за его словами стояла реальная сила.

— ...Красота. — Уваров помахал фотографиями перед собою. — А ты можешь показать мне — в чем тут красота?

Лосев пожал плечами.

— Красоту чувствовать надо.

— Вот и неверно, — сказал Уваров спокойно. — Нам на экскурсии в Ленинграде архитектурные ансамбли показывали. Точно показывали, где тут красота, в каких пропорциях, какое решение у автора... Показали, и я увидел. Без них не увидел бы. А цены на картины как, по-твоему, назначают? Можно, следовательно, определить, сколько в каждой красоты и таланта? Я не про ваши картины, я в международном масштабе. Так что ты не позволяй себя сбивать этими разговорчиками. Ты всегда требуй доказательств...

В это время приоткрылась дверь и в кабинет вошел Пашков. Бесшумно двигаясь, он подошел к Уварову с другой стороны и, раскрыв папку, положил перед Уваровым какую-то срочную бумагу. Затем он кивнул Лосеву, посмотрел на разложенные фотографии и понимающе улыбнулся. Надписав резолюции, Уваров захлопнул папку, Пашков взял папку, придвинул на прежнее место сдвинутые фотографии.

— Знакомые места,— сказал он.

Уваров взглянул на него, привлеченный его тоном, что-то означающим.

— Да, да, ведь ты же отсюда... Вот Сергей Степанович хлопочет за Жмуркину заводь. Готов перенести филиал, лишь бы не трогать эту красоту.

Пашков посмотрел на Лосева, глаза его весело сузились, и тяжелое, отвисшее книзу лицо обрело памятное Лосеву с детства торжествующее выражение мучителя.

— Да какая там красота? Нашли что беречь. Слышали — покровитель искусства. Филиал из-за этого сдвигать? — Он засмеялся нелепости этой мысли, затем добавил протяжно: — Не знаю, ой не знаю.

— За что ж вы так, Петр Георгиевич, не любите родные места свои? — сказал Лосев.

— Все это прошлое, Сергей Степанович, надо о будущем заботиться, чтобы до вашего медвежьего угла дошла научно-техническая революция.

— Пршлое тоже забывать не стоит,— сказал Уваров.— Но ведь все можно подсчитать. И красоту, и пользу ее. Мне жалуются, что лес в Ерыгине рубят. А я говорю: подсчитайте. Мне сегодня нужен лес для мебельной фабрики. Немедленно. За эти три года я столько получу, что смогу посадить вдвое больше леса, и все леса привести в порядок. Возмещу все порубки. Если они эту Жмуркину заводь не могут тебе доказать, подсчитать убытки, можешь послать их подальше.

Почему-то он упорно выводил Лосева как бы за скобки, был непонятно терпелив, не торопил, посматривал выжидающе, как бы приглашая Лосева высказаться до конца.

— За филиал тебе обеими руками надо держаться. И никому не позволяй противопоставлять интересы города интересам стройки. Производство не химическое, от него ни дыма, ни грязи. Мы охрану среды учитываем. Современное здание в центре украсит город. Снос дома строители компенсируют. Город получит метраж в но-

вом благоустроенном доме. Если недостаточно — добавим. Что еще? Как у вас используется эта заводь?

Пашков не удержался, нарушил этикет.

— Центр по ковырянию в носу! Используют только для точения ляс!

Уваров продолжал смотреть на Лосева.

Давнее желание шевельнулось у Лосева, как всегда пугая и забавляя своей доступностью, желание, которое появлялось посреди какого-нибудь бесцельного совещания: встать на четвереньки и, подвывая, побежать по проходу. Лосев забавлялся, представляя, как растеряется председатель. Добежать до дверей, встать и откланяться. Нашлись бы приятели, которые, может быть, поняли бы его. Было порой ощущение, что сидишь на заседании, которое идет второй, третий год, люди смеются, уходят на пенсию, а здесь звучат те же требования и те же возражения... Побежать, куснув по дороге Пашкова за икру. Он улыбнулся, представив себе его вскрик, а вот реакцию Уварова представить не мог.

— А между прочим, надо иметь такое местечко в центре, ничего плохого в этом нет,— сказал он с вызовом.

Пашков захохотал над его словами, затем сказал с видом величайшего убеждения в преданности:

— Глупость это все; абсолютно и безусловно правильно, что современное здание в этом месте украсит город.

Получилось у него приторно и грубо, но Уваров кивнул: слышал, что народ говорит?

Допустить при Пашкове свое поражение Лосев не мог.

— Нет, не безусловно,— с силой, резко сказал он, глядя прямо на Пашкова и чувствуя холодок в груди.— Тебе, конечно, спорить не приходится, Петр Георгиевич, не положено, а я уж поспорю...— Он замолчал, потому что Уваров поднялся, прошелся вдоль желтого полированного стола заседаний, похлопывая рукой спинки стульев. Потом пошел быстрее, крупно зашагал из конца в конец, и они молча следили за ним.

— Так, так,— сказал он, как будто что-то подсчитал, остановился, ни на кого не глядя.— Вы свободны.

Лосев не двинулся, а Пашков подобрался, прижал папку к бедру, шел он медленно, в дверях обернулся, ожидая чего-то. Уваров, однако, ничего не сказал. Когда они остались вдвоем, Лосев оробел. Понял, что все, ко-

нец, ничего не вышло. Он наклонился над столом, собрал фотографии. Итак, при помощи Пашкова его доби-ли, бесславно и тихо. В результате он ничего не достиг, вообще ничего, остался у разбитого корыта; вспомнил он о Любви Вадимовне и скривился от досады на себя. Фотографии показались блеклыми, краски неестествен-ными. Вчера Аркадий Матвеевич восхищался ими, здесь же, в кабинете Уварова, они не выглядели, что-то в них исчезло. Речка, заводь, дом — все стало обыкновенным, ничем не лучше тех, что печатают в «Огоньке», что ви-сят на выставках, в музеях, сотни и тысячи пейзажей.

— Фотография, конечно, не передает,— пробурчал он.

— Что? — не расслышал Уваров.

Лосев ничего не ответил, положил фотографии в конверт. Паркеровская ручка так и лежала на откры-той незаполненной странице. Лосев повел пальцем по желтой полированной столешнице, по изгибам древес-ных узоров, они сгущались и разрежались, сходились и расходились. Он стоял молча, забыв об Уварове, уста-вясь в стол, соображая, что это те же годовые кольца, и все эти красивые линии — итоги прожитых лет. Он подумал об этом безрадостно, снова вспомнил про Лю-бовь Вадимовну, про потный, липкий свой стыд на бе-регу перед ней.

— Нет, так нельзя! — вдруг сказал Лосев, подняв голову и еще смелее повторил: — Нельзя!

То, что он не позволял себе в разговорах у Полива-нова и в горисполкоме, и с Анисимовым, все, что скопи-лось, — все вдруг безудержно хлынуло, понеслось без всякого порядка, и его самого закрутило, повлекло так, что он не слышал себя, только чувствовал, как дрожало в глубине горла. Никогда еще он не произносил таких слов, совершенно непривычных слов для него и для это-го кабинета. Когда-то от Тучковой он слышал, что бес-полезно передавать картину словами, невозможно было рассказать про то рассветное утро, туман над Плясвой, босые ноги мальчишки-удильщика... Но ему было на-плевать, что невозможно, он рассказывал, он видел, как на одутловатом лице Уварова поднялись брови, и не об-ратил на это внимания, ни на какие движения его лица, он не боялся Уварова, он ничего сейчас не боялся, он взмыл, освобождаясь от своих расчетов и уловок.

Резиновый моторчик раскручивался, пропеллер вер-телся быстрее, быстрее, наступил миг, когда модель

надо было отпускать, она оставалась одна в воздухе и летела, летела, а они бежали за ней, подняв головы. Так и у него — слова срывались, и он бежал за ними, поэтому он сравнил талант художника с самолетом; живопись помогает увидеть природу иначе, открывает красоту, как открывается земля с самолета в совершенно иной, беззащитной красоте. Он говорил о проекте Ивана Жмурина, какой привлекательный можно сделать из Лыкова городок русской старины, провинциального быта, не изгонять этот быт, не уничтожать его, а сохранить...

Сохранить порядок домов на набережной, за ними встанут новые дома. Пристань, павильоны, играет духовой оркестр, сияет медная крыша кисловского дома. Висят старые вывески. Мастерские, где шорники шьют упряжь, в кузне куют крюки, ручки, бондари делают бочонки, кадушки, свистульки, все изделия тут же продаются.

Отчаяние воодушевило его и вызвало сладостное чувство неразумности. То, что он говорил, уже не могло помочь делу, разве что окончательно испортить, все это было сыро, непродуманно. Не мудрено, что он запутался, сбился, он же не привык говорить без плана, а тут у него не было подготовлено, было лишь счастье выговориться, душу отвести.

Пропадай моя телега!..

Давно Уваров должен был его прервать, вместо этого слушал бесстрастно.

А Лосеву все было нипочем. Он вспомнил Костика с его чечеткой и рассмеялся.

Брови Уварова сдвинулись; он тихо сказал:

— Далеко ты зашел. Когда это ты успел...

От этого тихого предостережения тот, прежний, Лосев опомнился, с тоской подумал: «Что я говорю? Зачем?..» Понял, что все идет к концу, и это придало ему новую храбрость.

— А что, не прав я? — с дерзостью сказал он. — Из нашего города можно сделать отличный туристский центр. Это тоже наша индустрия. Население занять в сфере обслуживания, восстановим Петровскую крепость, поставим пушки, рядом будет мотель. Затраты окупят себя быстро, знаете когда?

Появилась Александра Андреевна, поставила поднос с кофе и печеньем. Налила в чашечки. Как и когда ее

вызвал Уваров, Лосев не заметил, понял лишь, что, значит, еще есть какое-то время.

Уваров прохаживался с чашечкой в руках, пил маленькими глотками. Одутловатое лицо его с высоко поднятыми бровями смотрело откуда-то издалека, недоступно и без отклика. Слова Лосева падали в пустоту, не вызывая ни противодействия, ни сочувствия. Но его слушали. Микрофон был включен.

— Это что, у тебя обговорено с горкомом?

— Нет. Я вам первому... решился.

Сглотнул приторную сладость этой фразы. И подивился неожиданной своей чувствительности. Не такое ведь произносил.

Идею же свою Лосев вынашивал давно и кое с кем проверял. В план следующей пятилетки включил гостиницу. Заказал прикинуть проект кемпинга. Автобусную линию уже подготовил. Запроектировал три маленьких ресторанчика. Один уже построил. Уварову до времени не открывался, боялся, чтобы тот не поломал своей логикой.

— Разве не нужен нам для молодежи, для истории древний русский городок? С которого Россия начиналась, подлинный, сохраненный! Вы говорите — все можно подсчитать. Давайте подсчитаем. Вы в Суздале были? А в Тырнове? А в Угличе? Видели, какая потребность у народа... Единственное, о чем вас прошу...

Уваров вскинул брови.

— ...это согласиться со мной!

Наконец-то он заставил Уварова усмехнуться.

Темно-коричневый костюм сидел на Уварове без морщинки, как влитой. Белая рубашка с черным галстуком и черные туфли с желтизной, все в тон, подогнано, как форма, никаких особых примет. Кто выбирал ему этот костюм — жена? Кто она? О чем они говорят дома? Никто ничего не знал об Уварове. Известно было, что он не пьет, не играет в преферанс, не ходит на рыбалку, на охоту, то есть отвергает обычный набор номенклатурных радостей. Многие считали его идеалом современного руководителя. Подражать ему Лосев не пробовал, но часто им любовался. Всегда одинаково энергичный, готовый к действию, он был как электрический ток и так же, как ток, опасен.

— Фантазер ты, — сказал Уваров. — Вот уж не ожидал. Хорошо, что у тебя это сочетается с делом. Втихаря, значит, вынашивал свою голубую мечту. Правильно.

Но знаешь, не для тебя этот вариант. На культуре, на туризме не выдвинешься. Не ведущая это линия. Слава, может, и будет, а движения не будет, — голос у него был мягкий, говорил он с паузами, но прерывать его никто бы не рискнул. — Поэт... В молодости стихи писал? Признайся — писал. Неизбежно... А не кажется ли тебе, что слишком много развелось у нас поэтов? И художников. Пишут, пишут, ничем другим не занимаются, а кормить их надо. Требуют корму. Между прочим, за народный счет, поскольку не окупают себя. Убыточны. Сто художников на наш город. Зачем? Свои областные поэты. У нас и лучших московских читать не успевают. Каменев расплодил, как будто в этом культура. Как же, сто художников — показатель? А людей дела — не хватает, — вены на висках его взбухли, вокруг глаз сморщилось, состарилось. — От чего мы больше всего теряем? Мне говорят: пьянство, воровство, халтура. Не это главное. Главное — не хватает деловых людей. Мешают им. Не верят... Сбиваем друг друга с толку показателями. Работаем плохо, а показатели хорошие. Как мы плохо работаем! Разучились работать. Не можем ничего сделать, не переделывая. Дорожники, я ж их за руку схватил — битум экономят! Вчера был у глуховцев. Кофточки выпускают — срам! Покупатели жалуются. Собрал, стыдить начал. Обижаются. У нас на предприятии передовики, маяки... Передовики есть, а кофточку надеть нельзя. Не решаемся людям в лицо сказать — лентяи, халтурщики, за что деньги получаете! — Он каменно бил ребром ладони по столу, в глаза ему было невозможно смотреть. — У нас хнычут: хозяина нет. В Америке, думаешь, хозяина кто-нибудь видел? Я в отеле спрашивал. Какой хозяин? У них хозяин — компания, сто отелей, безличность. Но у них деловые люди командуют. Культ дела! Непрерывно подсчитывают — выгодно-невыгодно. А мы расчетливых людей презираем. Меня один писака компьютером назвал. Заклеймил, — откуда-то в руках Уварова появилась маленькая коробка компьютера, пальцы побежали по кнопкам, загорелись цифры красного неона. — Да, я компьютер! Ну и что! Чем это плохо? Если бы люди работали, как этот компьютер — четко, честно, надежно, — думаешь, плохо бы было? В машину человек вкладывает свою мечту о совершенстве, согласен? Нет, ты согласен? — властно потребовал Уваров, перегибаясь

к Лосеву через стол, в движении его были какое-то беспокойство и неуверенность.

Лосев вдруг подумал, что Уваров одинок. Подумал так потому, что и сам последнее время испытывал одиночество, друзья-приятели куда-то исчезали — одни из самолюбия требовали, чтобы он звонил первый, проявлял знаки внимания, он забывал, они обижались; другие начинали его эксплуатировать, чего-то просить, устраивать через него. Постепенно он становился одинок. Одиночество освобождало, приносило независимость.

— ...Зато художников разводим, дармоедов, захребетников! Здоровые мужики с карандашиками сидят, а на стройках людей нет...

— При чем тут художники? — не выдержал Лосев. — Это вы зря.

Уваров ничего не ответил, пробарабанил пальцами по столу, сбившиеся его короткие рыжеватые волосы улеглись сами собою, воротничок рубашки выпрямился, разгладился, обычное высокомерное выражение вернулось к нему, отделив его от Лосева, от всего, о чем они говорили. Мягким, ровным голосом он сообщил, что хочет взять Лосева к себе, заместителем, первым замом.

Лосев мгновенно вспотел, почувствовал, как прилипла рубашка на спине, пот выступил на лбу. Было стыдно перед Уваровым, но он ничего не мог поделать с собой. Слишком это было внезапно, и слишком долго он этого ждал. Слушок вился давно, его спрашивали и в Лыкове, и в области, он отшучивался, уверял, что не собирается в аппарат. Однако с ним самим никто из начальства разговора не вел. Последнее время слухи прекратились, и стало неприятно, ничего не было, а неприятно, томило, что кто-то там наверху, может, отверг его кандидатуру. Не пришелся. Разонравился. За что? Кому? Самое лучшее уверять, что не хочешь в аппарат. В любом случае выгодно — судьбу не дразнишь, и люди уважают, и страхуешься от разочарований.

И вот оно свершилось, раз Уваров сказал — значит, все, поспело, согласовано.

— Спасибо. — Лосев облизнул губы. — Не знаю, как сумею. Фантазии у меня... Машины во мне мало.

— Появится. В тебе есть другое... — Он повернул двумя пальцами, как поворачивают ключ зажигания, и прицокнул... — Фантазии у тебя завелись оттого, что засиделся. Тесно там тебе стало.

В стеклах книжных шкафов отражался заоконный вид на город; телевизионная башня, площадь, многоэтажный корпус химкомбината, стекла дробили вид на куски, повторяли. Над шкафом висела карта области: кудлатое зеленое облако, на край которого черным кружком закатился Лыков, городок с ноготок, домотканый, деревянный, с петухами и садами-огородами.

Отсюда можно будет больше сделать для Лыкова, и с мостом, и с Петровской крепостью. Легче решать вопрос об освоении местного серого туфа — дивного стройматериала. Вся область, со всеми районами, вся эта карта будет висеть в его новом кабинете. Целое государство. С мстительным удовольствием подумалось о Пашкове, как тот будет стоять перед ним, прижимая папку. И сразу мысль его перескочила на Сечихина, как он позвонит и скажет — вы, Сечихин, хотели, чтобы я к вам зашел, но, извините, времени у меня нет, уж придется вам явиться, и в кабинете будет сидеть Аркадий Матвеевич... Так что, честно говоря, в первые минуты Лосев думал не столько о деле, сколько тешил¹ свое самолюбие мстительными этими картинками. И тут же представил он себе новую квартиру, просторную, с лоджией, и широкая лестница, и лифт.

— Дело не в должности, сделать можно больше — вот что дорого. Верно? — с проницательностью спросил Уваров, склонив голову, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри лосевского организма. — И перспективы. Движение. Мы сами не знаем своих возможностей.

Каждая фраза тут, каждое слово имели значение. Перспектива — это вообще. Но дальше шло «движение», значит, не вообще перспектива, а в связи с движением, то есть передвижкой. И предыдущие уваровские слова тоже напомнились, высветились. Про выговор, например, ясно, что выговор помешал бы назначению Лосева, в момент назначения любая случайность может помешать. Удивительно, как его разглагольствования не отвратили Уварова, ужас, что он тут наворотил, — картина! пейзаж! — с какой горячностью. Не мудрено, если б Уваров передумал, зачем ему такой вздорный зам; так Лосев никогда бы и не узнал, чего он лишился. Прояснились и прочие извивы разговора и почему Уваров терпел, не спешил закончить прием. До сих пор Лосеву казалось, что разговор вел он, добиваясь своего, теперь ясно, что Уварову спор насчет Жмуркиной заводи был

нужен, чтобы проверить, прояснить своего будущего зама.

Лосеву нравилось думать, что Уваров, как человек выдающийся, хотел иметь заместителем не бессловесного исполнителя, а работника с выдумкой, мыслящего, способного и подсказать, и понять идею своего начальника. Талантливый руководитель не боится брать себе способных замов. В подборе подчиненных полезно соблюдать правило — с одной стороны, оставаться умнее их и способнее, с другой — не оказаться среди дураков и карьеристов.

Уваров накрыл рукой руку Лосева.

— Знал бы ты, как мне трудно. Ничего не получается. Бьемся, бьемся... — Рука его была неожиданно горячей. Он вздохнул, вздох этот прервался сквозь все заборы, из самых глубин. Лосеву услышалось, как там, скрытая от всех, жила и страдала уваровская душа. Его охватило чувство понимания, дружбы, согласия, порывало признаться, что на него, Лосева, тоже нападает отчаянье от того, что никто не хочет работать, сколько раз он убеждался, что и сам по-настоящему не умеет... Но он понимал, что Уварову не нужны утешения. И тот, деловой, все учитывающий Лосев указал, что не следует ему соваться со своими переживаниями, лучше, используя настроение, намекнуть, что теперь неудобно возвращаться в Лыков с пустыми руками. Вместо Жмуркиной заводи хотя бы автобусы и железо, и Уваров согласился, не торгуясь; как бы заодно с ним Лосев впервые рассматривал нужды своего города со стороны. Только в вопросе о ставке библиотекаря он заспорил. Понимал, что просьба его не к месту, никак не соответствует ходу разговора и сейчас слишком хлопотно будет Уварову пробить пересмотр ставок. Не нужно было настаивать, чувствовал, что и без того Уваров дает, что может, и было самому тяжело, когда Уваров поморщился, согласился.

— А ты настойчивый мужик, — сказал Уваров, прощаясь.

Из приемной Лосев специально свернул в коридорчик мимо кабинета Пашкова, мечтая встретить его сейчас, ничего не сказать, только улыбнуться, чуть подмигнуть, ручкой помахать... Он даже приоткрыл дверь, но в кабинете никого не было. Все равно, неважно, он

плыл над ковравыми дорожками коридора, в груди у него тенькало, пело, как будто там бежало, распевая невесть что, его мальчишество.

ГЛАВА 15

П и с ь м о п е р в о е

7 августа 1936 г.

Прелесть моя, Елизавета Авдеевна! Наконец-то завязалась моя работа. Вторая неделя кончается, как пребываю я у Ваших пенатов. И наконец пошло, покатилося, и все опять стало прекрасно. У меня от работы зависит и настроение, и зрение, и цвет лица, и даже рост. По первому взгляду, как я Вам писал, понравилось мне тут — устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках на лавках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляние в саду. Затем меня в местном отеле, то бишь в Доме крестьянина, лишили отдельного номера по случаю приезда начальства и определили в нормальном общежитии. Что было отчасти любопытно. Среди сокоечников были уполномоченные, замученные бумагами, до поздней ночи они переписывали формы, линовали, графили под копирку. Графят в нашем отечестве неслыханное количество бумаги. Я не удержался, набросал несколько рук, сильных, ловких, которые вместо топоров, лопат держали карандаши. Двое колхозников приехали. Передовики. Маются. Еще во вкус не вошли, неловко: за что, мол, платят деньги, за что талоны выдали бесплатные на питание? Один из Журневки, может, помните, деревня на Плясве? Он впервые в жизни летом в городе очутился. По привычке вскакивает на заре, выходит в подштаниках во двор, стоит — не знает, куда себя девать. Я и его нарисовал, с тоской в глазах и смущением. Не понимает, что же произошло, — он просто работал, как привык у себя в единоличности, как земля требует, и вдруг, пожалуйста — передовик, чуть ли не герой. По чистоте души чувствует себя как самозванец. А сам коричневый, волосы белые — как негатив, на руке браслет цыганский, цыганка подарила, снимать не велела. В главной моей работе меж тем был полный захлоп. Между прочим, из-за Вас. Впрочем, все, что приключает-

ется в этом городке, все связано с Вами — тем оно и сладко, тем оно и горько.

Надобно заметить, что от пленера я отвык, однако, не зная этого, принялся весьма лихо, и все получилось само собою, ловко и быстро, так что и осмыслить ничего не успел. Я ведь как — если можно не думать — не думаю. Нынче — не мыслю, значит существую. Гляжу, готово — песок, сходни, Ваша фигурка в том белом платье, вышитом красными цветами, какое было на Вас в Сестрорецке, когда Вы гостили у Сологубов перед отъездом в Париж, помните? Потом Брюсов пожаловал и мой незабвенный друг и учитель Яков Иванович. Пекли картошку, плясали, все ухаживали за Вами, и Вы читали Лермонтова. Воспоминаниям предаваться не желаю, остерегаюсь расстроить Вас, хотел лишь платье напомнить. Не знаю, помнят ли женщины свои платья, хотя бы победоносные платья? То Ваше платье и трава сразу выписались, позади кусты и Ваш дом. Но столько света вобрала Ваша светлость, что дом сразу потерялся. А Вы ведь просили дом, со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не Ваш портрет. Вы-то свою тоску по отчим местам хотели утишить предметностью. Чтобы возвращаться через мою картину домой. Вы-то мечтали у себя в Париже дом лыковский иметь перед глазами... «такой, как тогда!»

Все это я припомнил, очнулся и оборвал на полпути. Потому что сам не подозревал, что, вместо того чтобы писать картину для Вас, писал ее для себя, пытаюсь через нее вернуться к Вам, в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними — в наши с Вами парижские дни. У этого холста столкнулась Ваша тоска с моей тоской. Для любого постороннего, кроме нас с Вами, это глупое, бессмысленное единоборство. Мне же было куда как мучительно. Тем не менее я решился расстаться с Вашей фигурой. Уверял себя, что жертва, которую я приношу, — она Вам приятна. Тут один местный начальник, некий Поливанов, заинтересовался моей работой или моей особой, не знаю. Тем более что выгляжу я для здешних мест подозрительно — по совету милейшего Бруни нарядился я в холщовую блузу, мятую шляпу, в полном соответствии с представлением о художниках. Мне б еще длинные волосы, да не успел отрастить. Поливанов, человек просвещенный, по наряду признал во мне художника и самолично посетил меня на натуре. Фигура Ваша уже обозначилась, и он стал допытывать-

ся — кто такая? Я представил Вас как игру воображения, как персонаж, лица не имеющий. К тому же физиономия Ваша в тени, так, один намек. Когда ж я замазал эту картину, Поливанов изумился. Я ничего не объяснял. Мне и без него было тошно. Если бы хоть картина была кончена, а то ведь на половине бросил, знал, что получалось, знал, где пусто, где синего надо прибавить, знал, что кусты пробить надо солнцем, тогда тень от Вашей фигуры станет легче. Меня этот тип спрашивает — почему нельзя было картину кончить, а потом другую сделать. Одно, мол, другому не мешало. В том-то и дело, отвечаю, что мешало. Я ведь потом бы не сумел снова дом в отдельности писать, желание исчерпалось бы. Это я точно почувствовал, но объяснить Поливанову, затянутому во френч, в хромовые сапоги, не мог. Он спрашивает — как допрашивает. Все на нем мягкое, а *скрипит*, будто под френчем ремни, пряжки, портупей. Ах, Лиза, какая мука была расставаться с Вами, словно бы убийство совершал. Более всего потому, что незавершенная работа. Недописанное уничтожать труднее всего, с недописанным расстаться сил нет. Помните Бальзака «Неведомый шедевр»? Лучшее, что сочинено про нашу сволочную профессию. Картина доделанная, она отпадает словно лист осенний, словно струп. Я знать не знаю, куда проданы некоторые мои картины с выставок. Где они висят, у кого... Мне и дела нет. А тут — замазал Вас и впал в траур. Все постыло, все вызывало отвращение, и запах красок, и жара, и этот засиженный мухами населенный пункт. Людишки шныряют взад-вперед, парусиновые портфели тащат с места на место, бумаги строчат, мужикам работать мешают. То церковь станут приспособлять, под что — неизвестно; главное — купола убрать. Часовню снесут, вместо нее построят трибуны фанерные. И городишко Ваш увиделся мне тараканьей дырой, от которой на весь район исходят глупость и суета... В унылости я уходил по берегу, далеко в поля. Оттуда все выглядело нелепым нагромождением, чирьем среди зеленой телесной плавности земли. Видно было, как человек далек от красоты, как бежит ее. Думалось — зачем люди с этого простора сбились в кучу, стиснулись в домишки. Строенные на одну семью, они сейчас превратились в коммуналки, в каждой комнате по семье, от тесноты грязь, злость, скандалы. Так я бродил, отвергая все, пустой и смутный, как мой измазюканный холст.

Представьте, что Поливанов, которого я изругал обидными словами, проявил неожиданное участие и устроил меня на квартиру к одной чистенькой безмолвной старушке, в тихий старинный особняк. Там запущенный яблоневый сад, в саду лягушки. В доме парадное зальце. Рояль. Комплекты «Нивы» и «Огонька». На стенах литографии — страдания бедного Иова. Висят рядышком две лампы: электрическая и, про запас, керосиновая. Уселся я в качалку, тишина, где-то поскрипывает, пахнет сухими травками, покоем, который настоялся десятилетиями. И такая благодать сошла на меня. Я понял вдруг, что настоящая картина, как стихотворение, должна посвящаться кому-то, она должна адрес иметь. Мне счастье выпало, что есть человек, который ждет моей картины. Ведь от этого вся работа моя смысл обретает. И какой? Чего мне еще надо? Об этом же только мечтать можно. Не жертва тут, а любовь. Мне, дураку, дали возможность любовь свою выразить, другого такого случая, может, и не дождусь. И, поняв это, поверите ли, еле утра дождался. Побежал выбирать точку и выбрал — с другого берега стал писать, так, чтобы была река, а не с улицы, где многое заслонил бы сад. От реки и движение воздуха, и небо отражается. А мне обязательно надо больше неба. Я и так, и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть, весь воздух в этот час движется. Вариантов я перебрал уйму, но это одно удовольствие было, как по лестнице взбегал. В эти утра открыл для себя чрезвычайной важности вещь, что воздух красками движется! Не теплом, не ветром, которого не видно, а движение происходит красками. При восходе они бегут сверху вниз и ощутимо колышут воздух, особенно над водой. Секрет этот чисто ремесленный. Вам он ни к чему, я же в восторге. Медная крыша Вашего дома покрыта зеленью такой кислой, которую не знаю, как сделать. Добиться такого зеленого цвета — значит, Елизавета Авдеевна, решить важнейшую для меня сейчас проблему! Вот-с! А дом Ваш презанятный. Взялся я за него, и вновь почувствовал своеобразное дарование Якова Ивановича; постепенно перед мною возник начальный его замысел, сквозь все недоделки и огрехи, замысел пробивался ко мне своей недоовоплощенной гармонией. Талантливая архитектура не безразлична к цвету, дом Ваш помогает мне выбирать краски. Дом этот помогали ему сочинять дивные наши художники — и Лентулов Аристарх,

и Машков, а однажды затащили Владимира Короленко, это мне рассказывал Яков Иванович, поэтому-то Короленко, а потом и А. А. Богданов, и Луначарский хоронились у вашего батюшки, Яков Иванович им устраивал это убежище...

Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал Вашу фигуру, слои ее краски, и касался Вашего платья, Вашего лица, оглаживал, наслаждаясь; Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Закрашенное Ваше изображение, замурованное — оно внутри дома осталось. Вы остались там за занавескою окна, на втором этаже, куда я Вас поселил, стояли и смотрели на меня. Заспанная, в длинной ночной сорочке, босая...

Тут один мужичонка, который прибил к мне, спросил, чего это я вскрикиваю и смеюсь? Я попробовал было объяснить ему, но раздумал и закончил вполне серьезно, что ощутил память местности, что река, воздух помнят, как тут раньше стояла гора... Он выслушал меня с полным доверием и через день принес геологическую книгу, из которой можно считать, что тысячи лет назад здесь были известковые горы, что-то в этом роде. Из чего я убедился, что вера горы движет.

Он занятный балабол, самодур, причем уходит в такие материи, про которые никто у нас ныне не задумывается. Например, о душе, какая имеется у камня, у дерева, у озера, и как общаться с этими душами. Маленький, колючий, как кактус, с тихим быстрым голоском, и звать его Степан Иустинovich. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Ах, Лиза, все это сообщаю Вам, чтобы не скулить от тоски. Не в Ленинграде, не в Москве, именно здесь тоска по Вас накинута на меня, здесь она хранилась, ждала меня. В тех городах я занят другими работами и чувствами, здесь же существуете Вы одна, и все, что есть здесь, все как бы принадлежит Вам. Я все время думаю — а этого Вы знали? А здесь Вы ходили? Смотрю на новые здания — вот этого она не видела.

Мне не больно оттого, что у Вас там тоже пылают свои страсти, что Вас уводят, расхватывают другие люди, что каждый вечер они могут видеть Ваши глаза, это все неважно, моего они не возьмут, то, что я открыл в Вас, этого им не найти, меня гнетет, что это, наше, глохнет, зарастает и во мне, и в Вас, в нас обоих.

Степан Иустинovich вдруг сказал мне, что картина напомнила ему Кислых и младшую дочь Лизу. Вот какая мистика! И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался — похвастался, что картину пишу для Вас.

Вечером он (Лосев его фамилия — может, помните?) повел меня смотреть концерт в Доме культуры. Потом были танцы. Под немислимое трио — два баяна и разбитое пианино — шаркало, топталось пятьдесят пар. На замызганном лузгой дощатом полу.

Стою, наблюдаю и обращаю внимание на одну пару. Парень в рубашечке с отложным воротничком, их называют у нас апаш, сутулый, красный, неуклюжий, и она в ситцевом платье с косыночкой, тоненькая, стебелек с большущими глазами наверху. От его неумелости все их толкают, и сам он партнерше на баретки ее наступает. Она губу закусит, потом снова засияет, шепчет ему, учит. Он вспотел, мокрый, измучился, выпустить ее боится, еще больше боится, что вот-вот она ему сделает атанде. Потому что он лица ее не видит, потому что он весь устремлен на свои ноги: куда их девать, куда их ставить. Тут я вспомнил себя, свои страдания, ведь у меня краугольная мечта жизни была — научиться вальсировать. Живопись — ерунда, сама в руки лезла, а вот от того, что танцевать не умел, чувствовал себя в юности малоценной, бездарной личностью. Мастеровой, чушка — где я мог вальсу научиться? Всю жизнь так и не мог девицу прокрутить, господи, знали бы Вы, сколько мук и унижений вызывало это. Трагедия моя была. Смотрел я на этого парня и грустил, и радовался. Этот научится. Не то что я. У него свой танцевальный зал имеется, они тут хозяева, они видят не затоптанный пол, а зал, огромный, сияющий огнями; и музыка, и огни — все для них. Может, это справедливо! Революция пролетариата, она, между прочим, для этого и совершалась. И правильность революции, знаете, чем измеряется? Больше стало счастья или меньше. Глядя на танцы, хотя это всего лишь легкомыслие, на лица Ваших лыковских пролетариев, я подумал: а что, как больше стало счастья!

Как бывает: в одном букете цветы и щепки. Танцевальный зал и на стенах плакаты: «Даешь авиацию!», «Подписывайтесь на заем!», «Долой неграмотность!»

Я говорю Лосеву: не лучше ли картины повесить, что-нибудь танцевальное, вроде малявинского «Вихря», можно и Матисса репродукции, в конце концов можно про наших летчиков, покорителей Арктики. Насторожился — а идея какая? Да чтобы весело было, красиво. Нет, говорит, не стоит уводить молодежь от актуальных задач и борьбы. Вот Вам и мыслитель.

Поливанов повез меня на рыбалку, я намекнул, чтобы взять с собой Лосева, — замяли. Не их уровня Диоген, должность не та. Уха была чудесная, костер и монологи Поливанова: не любит он философии, ненужная вещь, живопись другое дело, а еще превыше ценит памятники, а также марши и песни.

При всей моей тоске я бы не хотел, Лиза, чтобы Вы были сейчас здесь. Скучаю, тянусь к Вам, до слез хочется увидеть Вас, вспоминаю плечи Ваши, руки, вкус Ваших щек, а спроси меня, согласен ли я на Ваше появление здесь, — нет, откажусь. Потому что работа моя смысл теряет, не кончу ее. Оттого, что не хватает Вас, я заново ощутил Вас, осмыслил. Благодаря этому мне в картине многого удалось добиться. Причем на пленере, от которого я давно отказался. Работать на натуре считалось у нас занятием устарелым, наивным, однако не знаю, удалось бы мне в мастерской так столкнуть живую зелень с зеленью окисленной крыши, чтобы в металле как бы душа очнулась? Нет, нет, без натуры можно впасть в схематизм, натура обогащает. Обратите внимание на облупленную штукатурку. Я ее не ради точности оставил. Обнажился красный кирпич, и открылась плоть дома, массивная и уязвимая. Суть вещей можно передать, нарушив, сдвинув, поколебав их форму. А кто это мне подсказал? Утренний туман! Он обобщил. Как я хочу, чтобы Вы поскорее это увидели в картине. Понравится ли Вам? Боюсь, боюсь... Теперь самые муки и страхи ожидания начнутся. Представляю ее в Вашей спальне или в столовой. За окнами парк Сен-Клу, кажется, и какая-то фабричка, и шоссе, забитое машинами, виллы над Сеной, а на стене Лыков, плоты на Плясве, тихое утро с росой, лопухами, шлепаньем белья о воду...

Низко Вам кланяюсь, пребываю и вздыхаю

Ваш Астахов.

П и с ь м о в т о р о е

11 августа 1936 г.

Ах, Лиза, Лиза, как все изменилось, каких глупостей я натворил, непоправимых, ничем не вызванных...

Стыдно, противно пересказывать Вам. За один вечер, недуманно-негаданно, как огнем обхватило. В субботу, под вечер, только мы наладились с моей старушкой чай пить, является Поливанов с женой и сестрой. По дороге из бани зашли, якобы навестить. С вениками, распаренные, Поливанов водочки принес, все честь честью, по лучшим правилам. Говорим о том о сем, естественно и про картину. Просит показать. Я ставлю ее. Любуются. Поливанов спрашивает, вполне благодушно — где лозунг, что на стене был? Действительно, два дня назад повесили, как раз на мою стену, кумачовый лозунг во всю длину. Я Вам, кажется, писал, что Поливанов выделил мне в помощь клубного работника, Лосева Степана Иустиновича. Так вот мы с ним перевесили кумач на уличный фасад, ибо от кумача у меня резь в глазах. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить, он разрежет картину, он не вяжется по цвету, все краски опрокинет, с таким трудом я уравновесил их, объясняю, что есть законы ритма, сочетаний и всякое такое. Поливанов тоже мне объясняет, что у пролетарского искусства свои законы. Надо боевое, иначе будет понято неправильно. То есть как неправильно? — лезу я на рожон. Он повел головой предупреждая, до сих пор не знаю, капкан он специально ставил либо же по хорошему предостерегал. Но это я сейчас соображаю, а тогда, как бульдог, вцепился: что значит неправильно, будьте любезны, объяснитесь. Пожалуйста, говорит, скажут, что вы нарочно избегаете примет энтузиазма современности. Боже ты мой, да разве в кумаче дело, как можно так примитивно представлять, если его, Поливанова, голым в бане нарисовать, без его портупей и значков, значит, он просто будет человек — не советский, значит, все советское осталось в предбаннике? Словом, я его не стеснялся выставить голеньким. Он мне, можно сказать, наступил на ту самую мозоль, что

осталась от наших споров в АХРРе двадцатых годов. Сколько мы тогда таких суждений наслышались. Зацепил я его, да еще при его дамах, он-то привел их похвастать меценатством своим. И вот он, озлясь да еще хватив стопку, произнес Ваше имя. Избегаете, говорит, расстраивать бывшую владелицу, Елизавету Авдеевну, революционным пейзажем? Занимаетесь, говорит, реставрацией прошлого?.. Желаете потрафить наследнице?.. При Вашем имени дом на картине отозвался, не считите меня за неврастеника, занавеска в окне вздрогнула, тень Ваша метнулась. Они все видели. То есть в письме это выглядит мистикой, но в ту минуту обнаружилось для всех несомненно... Бесполезно было отрицать. Да и стыдно. Словно отречься от Вас. Я и не стал. Однако покраснел. Словно застали нас с Вами врасплох.

Рубил он меня наотмашь — мол, ясно теперь, почему дом Кислых я рисовал. Ничего достойнее не нашел в городе, где бурно строится новая жизнь, где ломают старый уклад. На эмиграцию, значит, работаю. Не своему народу, советскому, хочу понравиться, а Ваше расположение себе ищу. Вашу похвалу. И тут вlepил про буржуазное влияние, это на меня которое идет, следовательно, через связь с эмиграцией! Повел на самое пекло. Однако супруга его с этого опасного курса сбила. Плечистая, грудастая, все у нее выпирает через край, она, не стесняясь, подколола — мало ли что у товарища художника за чувство, тебе-то, Поливанов, какая забота, может, у них с барышней дореволюционные переживания с этим местом связаны, зачем им твои лозунги. На что Поливанов встал и закатил беспощадную речь о том, что наше пролетарское искусство должно каждой картиной агитировать. Одно из двух — или я за старое, или за новое. Современность — значит, и кумач, и, между прочим, грузовик, что стоит у дома, он тоже не изображен. Вместо черт социализма художник увидел облупленную штукатурку. В лучшем случае у него аполитичный пейзаж. Если ж посылать на Запад, то посылать надо наше искусство, пламенное, участвующее в классовой борьбе! А моя картина — на радость буржуям! Тоска о прошлом!

Речь держал словно с трибуны. Глаза полыхали, рука то выбрасывалась, то отсекала, то сжималась в кулак,

ничего не скажешь, хорош, лицо горящее, как пожар! Я даже несколько жестов попробовал ухватить. Да, еще он сказал, что, когда надо, могу же я и для народа работать, известно, какой я сделал портрет передовика-колхозника из Журневки, его выставят в области, о нем в газете будут писать. Это меня возмутило. Мало того, что ни черта в живописи не смыслит, ничего, кроме сходства, не увидел в том портрете, так он меня еще в двоедушии обвиняет. Как будто я картину Вашу для народа писал бы иначе. А я утверждаю, что точно так же писал бы. И вообще, что это значит — писать специально для народа? Хуже? Проще? Ведь лучше, чем я написал ее, я не смог бы! Разбитая, грязная полуторка в моем пейзаже не может быть приметой новой, советской жизни. Неужели зритель не видит, как много выражает обнаженный кирпич? При чем тут разруха? Разрухой будет кумач, потому что он разрушит картину, обезобразит ее, так же как он фактически обезобразит дом. Я лучше Поливанова вижу, где красота и в чем красота. Никто, кроме меня, не может знать, что нужно в картине, как нужно писать. Только немногие профессионалы, Грабарь например, решается указывать *как*. Когда мы с Петровым-Водкиным оформляли годовщину Октября в Ленинграде, никто не указывал нам, где прибавить кумача. Видеть надо уметь, не смотреть, а видеть, а чтобы видеть, вкус надо развитой иметь. На эти слова Поливанов обиделся непримиримо. Как это у него вкуса нет. Он ведь считает, что раз у него власть есть, так и вкус есть. Какая ж идея вашей картины? — спрашивает Поливанов. Я говорю — посмотрите, одно окно слепнет от восхода, а в другом еще тускло, а дом не из прямых линий, а все изломы, знаете, как предмет, когда наполовину опущен в воду, в другую среду... Но в чем же тут идея? — настаивает Поливанов. И я понял, что все мои слова — рикошетом. Ему надо четко сформулировать, а я не могу словами выразить. Он почувствовал и наступает. Почему дом так скособочен? Какая ж тут правда? Что штукатурка облупилась, так это случайность, мы тут завтра замажем — и окажется у вас неправда. Озлился он оттого, что не понял моих объяснений. Не стоило ему объяснять. Лучше просто руками развести, не знаю, мол, так получилось, тогда и спора не будет, усмехнется Поливанов под мазилой неумелым: что с него взять.

С разбегу я ляпнул еще про эту разбитую полуторку, которую писать — только позорить город. Глупость ляпнул — а что бы Вы подумали, — подействовало! Принимаю, говорит, это предложение конкретное. Но примирения быть не могло, разлад определился окончательно. Прощаясь, Поливанов предупредил, что напрасно я упрямлюсь из-за ерунды. Мы, говорит, конечно, провинция, захолустье, так ведь даже Москва из-за грошовой свечки сгорела. Картина в таком виде за границу не попадет. Проводил я их, погулял по саду, вернулся, уже стол был прибран, посуда вымыта, все чисто, как и не было ничего, и бедный Иов на стене по-прежнему ищет в небесах веру во Всемогущество. Старушка моя посмотрела на меня, прошелестела — не связывайся с Каином, умучает... Да я и сам не хочу связываться. Но уступить не могу. Кроме лозунга, требует и штукатурку замазать, и машину пририсовать.

Невозможно. И кому уступить? Поливанову? Он сам не ведает, что творит. Ради Вас уступить? Не верю, что примете такую уступку. Это другое дело. Серьезное. Можно призадуматься. Потому что я отнюдь не вольный сын эфира, не гнушаюсь заказы исполнять, героев пятилетки с удовольствием писал, могу того же Поливанова и его супругу изобразить за приличные деньги. Правда, при условии, что писать-то я их буду по-астаховски. Всего-то-навсего, но в этом весь смысл моего существования заключен. Художников много и было, и есть, я же, Астахов Алексей Гаврилович, один, и такого никогда нигде больше не будет. Факт моего появления на земле есть чудо из чудес. Стою я перед своей картиной и думаю — если бы меня на свете не было, никто не нарисовал бы Ваш дом так. По-другому — пожалуйста, моя же картина — единственное создание. Это мир, сотворенный таким, каким я, Астахов А. Г., пожелал из моей любви к Вам. Поэтому и изменить его я не могу, любви изменять не могу. Подумаешь, одна картина, скажет иной. Так ведь и Вы у меня одна. Сколько женщин было, а Вы одна... Ах, Лиза, буду вывески писать, плакаты делать, а ее не стану портить. Рука не поднимается. Не могу. Несколько раз ночью вставал, примеривался. Компромисса искал. Нет его. Если прикоснусь, отвечать придется перед Творцом, а не перед Поливановым. Я человек не религиозный,

помните, мы спорили о боге, для меня Творец — таинственная сила, то понуждение, что заставляет меня писать. Заставляет, и при этом освобождает. Когда я пишу, я свободен как никогда, я сам — господь бог, ничто не властно надо мною, я творю мир таким, какой мне нравится. Вот он предо мною. Глядя на него, я почувствовал, *как* я смертен. Больше других. Умру я полно, непоправимо. Навсегда. Так, как я пишу, уже никто писать не будет. Я в своей манере — вершина. Пусть не великая, но завершение. И мои картины понадобятся, если я останусь самым собою. У нас в России художник должен жить долго, тогда дожить можно до всего, и импрессионистов признают, и мирискусников. И нами тоже гордиться будут. Тут старая, как человек, проблема перед каждым встает: поступишь — получишь при жизни славу, деньги; сохрани себя, стой на своем — тогда терпи и хулу, и бедность, в будущем признают тебя и воздадут, и останешься. Казалось бы, просто. А как представишь, что, не уступив, я, может, Вас не увижу, тут и призадумашься. Нет, это было бы слишком. Надеюсь, Москва не сгорит от поливановской свечки, не станут там считаться с лыковскими ревнителями. И командировку, обещанную мне, Керженцев не отменит. Ведь мы должны поехать с выставкой в пользу антифашистов, куда я дал свои лучшие работы. Когда-то я мог в Париже остаться. Теперь уж поздно. Я не осуждаю ни Добужинского, ни Бенуа, бывает — им завидую, но для себя судьбы их не мыслю. Вы скажете — живописцу все равно, где березки малевать. Все так, березки, они в Бургундии те же березки, и женщины всюду одинаково хороши. А у нас еще Поливанов попросит на березку флаг повесить. Но здешняя березка у меня чувство вызывает, я писать ее буду с какой-то нравственной идеей. Что-то я через нее объявить желаю, тому же Поливанову и супруге его. А в Парижах мне, кроме Вас, обращаться не к кому. Не думайте, Елизавета Авдеевна, что тем самым я Вас упрекаю, нисколько, мне лишь печально, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал: звезды общие, небо над нами одно, надо мною, и над Вами, и над Поливановым, и жизнь такая коротенькая, зачем же столько преград...

Утро сегодня пасмурное, пошел я на берег к полудню. Лозунг опять привесили, полуторку новенькую пригнали, грузовик амовский. Сверкает. На переднем

плане! Ультиматум! Представил, как тысячи их, рычащих, воняющих, с наглыми мордами радиаторов, будут настигать нас повсюду. Эх, я бы написал ее во всем самоварном блеске, от которого и речка, и местность оробели. Но это другая картина. Появляется тут мой Диоген — Лосев, пьяненький, кепка набок, хватает мои кисти и норовит себя измазать. Тут я соображаю, откуда Поливанов — Каин мог узнать про Вас, я же одному-единственному человеку открылся — этому Диогену. Спрашиваю его, он тотчас признается. Да как же ты мог? Зачем тебе? Сам, говорит, не знаю, боюсь я Поливанова! Маленький, бескостный, мотается в моих руках, моргает, носом шмыгает, капелька под носом висит. Жалко его, но я сам ведь ненамного лучше его. Немалую честность надо иметь — признать свой страх! Между прочим, он сказал Поливанову, что я, стало быть, самолично надумал преподнести Вам сей презент. Схитрил перед ним. Краюшку зажал, остаток совести своей спасал. За эту краюшку и простил я его, чтобы не терзался. Тем более что сам я виноват — нечего было откровенничать. Распустил язык — вот и хлебаю. Однако мой Диоген отверг прощение, я, говорит, ничтожество, тварь, меня прощать — значит, разрешать мне снова! Смотрю я на его капельку — и грустно, и смешно, но что-то укрепилось во мне, и запел во весь голос: «Смело, товарищи, в ногу!» Вместе пели. Хотя никакой я не боец и не желаю быть борцом. Я на холсте борюсь, а заставляют еще и вокруг него... Борьба стала обязательной частью таланта. Выигрывает ли от этого талант — вот в чем вопрос. Все так серьезно, мне же серьезность вредна, у меня от нее брюхо болит. Будь Вы здесь сейчас, мы с Вами лазали бы по крышам местных обывателей и расписывали крыши цветами. Какая красота сверху, с самолета! Потом в дар Вашему городу изготовил бы я дюжину вывесок, огромных, жестяных — для парикмахерских, булочных, пошивочных, чтобы было все весело — купидончики, козлы, барбосы... В моих мечтах я из всех известных мне женщин больше всего люблю иметь дело с Вами. С Вами всегда получается складно. А еще писал бы с Вас всякие игривые картинки, коврики клеенчатые, и Вы бы продавали их на базаре. Так бы мы и жили. Ровно в двенадцать Вы выходите на базар, а там уже очередь из представителей музеев, клубов, отделов культуры и просто мужчин, влюбленных в Вас, во все Ваши прелести... Ах, Лиза, Лиза, по-

молитесь за меня, больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю — и наказанием, потому что поддаться унынию — значит оторваться от Вас.

Неужели Вы не увидите моей картины, Вашей картины? Не может того быть!

Лосев полагает, что упрямство мое осложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию... Но это ерунда... Послезавтра поезд в Москву, и все, все.

Говорят, Поливанов мальчишкой дрался тут из-за Вас с каким-то Брусницыным?

Примите уверения в преданности от недостойного Вас холстомаза Алексея Астахова.

Целую Вашу ладонь.

ГЛАВА 17

Давно скрылись последние редкие огни и началась избавленная от всякого света огромная тьма. Автобус, пофыркивая, покачиваясь, все дальше забираясь в черно-беззвездное нутро ночи. Сквозь оконные щели, свистя, врывался вольный воздух, принося просторы голых полей, тепло ближних рощ, пыль проселков. В самом же автобусе устойчиво пахло яблоками от зашитых корзин, что стояли в проходе.

Тучкова сидела у окна. Вскоре, как выехали, она притулилась в кресле, задремала.

В автобусе все дремали, только Лосеву не спалось. Стоило закрыть глаза — и все случившееся улетучивалось, он переставал понимать, где явь, где сон, едет он или это ему снится. Он открывал глаза и убеждался, что Таня рядом и шаткий свет фар вытягивает из мрака шоссе́нную дорогу...

Стекло присыпало мелким дождем. Капли взблескивали при дальних зарницах. Гроза близилась. Автобус шел ей навстречу. Грома не было слышно, видно было, как содрогалась ночь и сабельные взмахи полосовали небо. Оно появлялось на мгновение, подброшенное вспышкой, и рушилось на землю... От лиловых озарений с той стороны на стекле появлялось отражение Таниного лица, и Лосев видел себя. Лица возникали из темноты и снова терялись в ее глуши. Близкая молния разрубила небо, ударила рядом. Таня вздрогнула, открыла глаза.

При виде Лосева там колыхнулось недоумение. Лосев смутился.

— Вы не боитесь грозы?.. — спросил он первое попавшееся.

— Боюсь.

Она долго смотрела в окно и вдруг стала читать стихи:

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там, на высоте.

Последние строки она прочла так, что и гроза, и то, что они вдвоем в автобусе едут невесть куда, все, что происходило между ними, стало не сцеплением случайностей и желаний, а таинственным делом, которое решалось не ими...

Впервые Лосев мог разглядеть ее лицо во всех подробностях. Гладкую коричневую волну волос на лбу, щеки ее, блеск губ. Он обнаружил, что она красива. Черты лица ее, невидные, с незаметными бровями, внезапно соединились в одно, освещенное изнутри сердечностью. Несмотря на резкий загар, на большие очки, несмотря на модную стрижку, было в ней что-то несовременное: высокая шея придавала ей величавость, как на старинных портретах, а может быть, впечатление это шло от прямодушного взгляда ее ярких глаз, от того, что жизнь ее души вся отражалась на лице, она не могла ни хитрить, ни обманывать, она вся была беззащитно открыта. *Не могла — или не желала.*

— Хорошо, что вы не спрашиваете, чьи это стихи. Я так не люблю. Им неважно, что за стихи, им прежде всего — чьи. И в музее они не картину смотрят, а дощечку под ней — как называется.

Забарабанило в стекла, загрохотало, Лосев взял Таню за руку. Было страшно и весело. «А, будь что будет», — в который раз подумал Лосев, отгоняя от себя тоску и страх предстоящего разговора и наслаждаясь этой минутой, этой длинной ночной поездкой.

Таня ни о чем не спрашивала. Еще там, на лестнице, Лосев обещал ей все рассказать. Про свой разговор с Уваровым. Она смотрела на него, чувствуя, что опре-

делилось что-то важное насчет Жмуркиной заводи. Она ни слова не говорила, ни одного вопроса не задала, возможно, знать не знала, что он только что был у Уварова, она просто смотрела на него во все глаза, ища в нем радость или же, наоборот,— огорчение. И вот тогда-то, выставив самонадеянную улыбку, он пригласил ее поехать куда-нибудь, сегодня, сейчас же, на субботу и воскресенье. Куда? Да все равно куда, лишь бы подалее, за пределы области. Его напористая уверенность исключала сомнения, вопросы, она должна была согласиться, и тотчас все обстоятельства стали складываться как нельзя удачнее, одно к одному, без малейших зазоров, не давая Тане опомниться. Такси выбегало им навстречу, и Танины дела мгновенно и счастливо уладились, и они успели на дальний рейс, и в кассе случайно оказалось последних два билета. Лосев взял их до конца, до городка с незнакомым эстонским названием. Автобус приходил туда в полдень. С той минуты, как он вышел от Уварова, все должно было получаться, такая наступила полоса. Остановка и опять навес, крытый прозрачным пластиком, высокий фонарь, тени, голоса. Входили и выходили заспанные пассажиры. Были остановки большие, и тогда они с Таней спрыгивали поразмяться, шли вперед по шоссе, в крошечность, где спал невидимый городок, лаяли собаки, что-то шуршало и шевелилось. Потянулись неизвестные названия соседней области, и сразу Лосеву стало свободнее, все, что было связано с Уваровым, отдалилось, и он стал погружаться в мерное это движение по ночной дороге, мягкое покачивание, дрему на высоком подголовнике. Однажды они остановились у моста. Внизу бледно и широко светила река. Несло дымком костра. Гроза осталась позади. Было тихо, попискивала какая-то пичуга. Что за мост и что за река, они не знали. Тут шла своя жизнь, которую они никогда не узнают и которая понятия не имеет о них. Так же, как жизнь этой сонной пичуги, как вообще жизнь птиц, что живут рядом и никакого дела им нет до жизни людей... Всякие непривычные мысли плыли в теплой непроглядности этой ночи. Они ехали уже месяцы. Время от времени Лосев брал Таню за руку, ему было этого достаточно. Кроме того, с ним все время было воспоминание о том, как тогда, в Лыкове, она поцеловала его руку. Поступок этот продолжал удивлять и тревожить.

— Что с вами? — вдруг спросила Тучкова. — Вас что-то мучает?

В автобусе сладко спали, надвинув кепки, платки, привалясь друг к дружке.

Была сплошная чернота, но Лосев знал, что Таня смотрит на него выжидающим взглядом, как там, на лестнице.

Он столкнулся с ней внезапно, сбегая вниз, каким-то образом она выросла у него на пути; сперва, в самое первое мгновение, он принял ее появление как знак удачи; в голубеньком коротком платье она вытянулась на мраморной лестнице, словно приветствуя его. Он просиял, но Тучкова не ответила на его улыбку, она даже чуть отстранилась, как будто его улыбка мешала разглядеть то, что нужно. Он полон был своим назначением. Никто еще не подозревал — все эти люди, что спешили мимо них с папками, с портфелями, с сумками, дежурные вахтеры, женщина в газетном киоске, шоферы в прокуренной застекленной диспетчерской — никто из них не догадывался. Вскоре все они будут знать его, он будет в числе тех нескольких людей, которых знают все в этом городе, во всей области. И Тучкова тоже не представляла, она была поглощена своей Жмуркиной заводью. Мысль о заводи была Лосеву неприятна. На минуту он замялся. По его характеру ему проще было вывалить все разом, но из-за этого назначения ему надо было изложить последовательно, чтобы Тучкова поняла, почему так получилось, что он не отступился от Жмуркиной заводи и не променял ее, тут совсем другое, куда сложнее, надо ей не торопясь растолковать... Когда они спешили через площадь, Лосев краем глаза увидел в сквере Аркадия Матвеевича, который сидел на скамейке с газетой. Аркадий Матвеевич в этот самый миг уткнулся в газету, он мог так сделать по своей деликатности. И Лосев тоже заслонился Тучковой, как щитом, они бежали к такси, и, лишь сидя в машине, Лосев подумал, что Аркадий Матвеевич, возможно, все эти часы его поджидал, переживая и волнуясь за исход разговора; впрочем, Лосев подумал и тут же забыл, захваченный горячкой нежданной поездки. Надо было заскочить в гостиницу за портфелем, потом Тане взять у подруги свой чемоданчик.

Сейчас, в ночной тишине, Лосев не понимал, как он мог пробежать мимо Аркадия Матвеевича, было стыдно,

и он решил утром дать старику телеграмму: все хорошо, спасибо, — что-нибудь в этом роде.

— Нет, нет, все прекрасно, — ответил он Тане, но с этой минуты он понял, что она наблюдает за ним.

И сразу ночь пошла на убыль.

Темнота таяла. В прежней невидимости проступали тени, сгустки недавней черноты. Она разбавилась до синевы и становилась все жиже, земля и небо разделились, откуда-то сочился свет, с ним появилась мглистость, и стали обозначаться мелькающие вдоль дороги кусты и строения.

И вдруг свет текучий, дрожащий повалил быстро, отовсюду, особенно много его поднималось снизу, с края неба, он прибывал, как наводнение, затопляя поля и рассветные городки, что мелькали за окном.

Тихие, спящие, бесстрастно высвеченные со всеми своими почернелыми бараками, фанерными киосками, деревянными домами, обитыми вагонкой, глухими заборами, типовым розовым универмагом, в точности таким же, как в следующем городке. Новые дома из серых плит, стоящие один за другим, и между ними чахлые посадки, привязанные к палкам. И частный сектор — домики, садики, сарайчики, водоразборные колонки, провинциальное захолустье. Где — тем не менее — несмотря на — вместе с тем — бурлит Новое — живут общей жизнью — не хуже, чем в столицах — зато Свежий Воздух, близость к Земле и Природе — люди не так отчуждены... Потому что в столицах они даже не знают соседей по дому. На самом деле они, в столицах, некультурны. Мы, провинциалы, приезжая туда, больше бываем в музеях, театрах и на концертах. Провинция сейчас не та, а та, которая та, она, может, и не в провинции, во всяком случае, не у нас...

Он ревниво отделял свой Лыков от этой безликой, кичливой глухомани.

Однажды поодаль от шоссе проплыл прекрасный, как мираж, поселок каменных коттеджей, островерхих, крытых красной черепицей, отделанных металлом, пластиком. Улочки, выложенные желтой плиткой, — то, о чем мечтал Лосев. Такое могло позволить себе какое-нибудь мощное предприятие, и даже эту башню, зубчатую, высокую, непонятного назначения. Лосев поставил бы ее в начале набережной, как маяк. Он отбирал себе самые красивые коттеджи, с цветниками, поливалками, без заборов и без дворов. Он строил из разноцветных

кубиков город, он забирал в Лыков лучшее, что видел по дороге — висячие мостики, скамейки из дубовых обожженных плах, голубой шатер кинотеатра. Это была отрадная игра, за которой он не заметил, как заснул, голова замоталась и наконец примостилась на плече Тучковой, которая тоже, сладко посапывая, спала, чуть улыбаясь во сне.

В этом сне они летали. Они умели летать без всяких крыльев, просто, когда хотели, поднимались над землей и плыли, могли висеть, могли мчаться... Они садились на крыши, на вершины деревьев, на башни, они могли заглядывать в чужие окна, оказаться на любом этаже, могли ходить по карнизам. Единственное, что мешало им, — это провода. Густая сеть проводов мешала им выбраться к чистому небу. Опаснее всего были электрические линии, бесчисленные трамвайные, троллейбусные оголенные провода и воздушки высокого напряжения. Какие-то люди бежали по земле, грозили, какая-то была там история, но какая именно, Лосев забыл. Во что бы то ни стало они должны были выбраться и пролететь к горам, укрытым густой зеленью. Горы казались мягкими, мохнатыми. Там было сухо и тепло. Каждый солнечный просвет использовался, каждый лучик, все, что обронено, вся золотая мелочь, что упала на землю, все подбирала трава.

...Привычный детский сон, счастливый, сказочный и в то же время чем-то неприятный.

Автобус двинулся дальше, а они сошли вместе с бабами, что везли на базар яблоки. Город был большой, незнакомый. Утренние троллейбусы шли переполненные. На бульваре они осмотрели фонтан, вечный огонь с красивым памятником героям гражданской войны и отправились в гостиницу. Лосев предполагал снять два люкса, двухкомнатных, вроде того, что достался однажды ему с товарищами в Москве — гостиная с роялем, буфет, где стоял сервиз, телевизор, два телефона, ему хотелось поразить Таню.

У входа в гостиницу, на дверях висело любовно сделанное объявление: «К сожалению, свободных мест нет». Администраторша, тяжелая расплывшаяся женщина, даже головы не подняла. Текст объявления освобождал ее от вежливости. Последние годы Лосев привык к тому, что номер для него всегда был, он приезжал по делу, на совещания, на конференцию, фамилия его значилась в каких-то списках, заявках. Раньше бывало,

что они с Антониной путешествовали, ездили в Калинин, в Осташков, в Псков, еще куда-то, без всякой брони. Но все равно, им давали номер. Было у него такое свойство, что-то в словах и манере говорить и, наверное, в лице появлялось, что самые неприступные администраторы молча вздыхали и протягивали анкетку. Даже в Москве он водил таким образом Антонину во МХАТ и в «Современник». Он и сам не знал, как это у него получалось. Сейчас свойство это пропало. Он стоял у окошечка, все еще надеясь, но не появлялось ни голоса, ни слов, и он почувствовал свое ничтожество. Администратор так и не взглянула на него. Наконец он решился показать удостоверение. Впечатления оно не произвело. Все же ему пообещали к вечеру койку в общежитии. Вид у него был униженный, Тучкова зевала и посмеивалась. На мгновение поездка потеряла смысл, затея стала нелепой, нестерпимо хотелось помыться, прилечь, вытянуться хотя бы на четверть часа.

Он нашел в себе силы улыбнуться Тане — в конце концов, так даже интереснее. Мальчишкой он был бы рад — бездомность сулила приключения. Они отправились в буфет. Там была лишь жареная рыба с непронизносимым названием. Пока Лосев расправлялся с очередной океанской диковиной, какие появлялись время от времени в самых разных заведениях отечества, Таня куда-то исчезла. Кофе ее остыл. Она могла и не вернуться, их ничего не связывало, кроме того, невероятного, в Лыкове, когда она поцеловала его в ладонь. Сейчас трудно было представить, что она способна была на такое. Наконец она появилась, сообщила, что к вечеру тетя Зина номер обещала, пока же вещи можно оставить в гардеробе у дяди Леши. Тетя Зина была не родственница, не администратор, обыкновенная дежурная по этажу. Кроме того официального механизма, которым обычно пользовался Лосев, существовал другой, тоже слаженный механизм, Лосев вдруг вспылil, решил звонить в горисполком и обличить безобразие. Успокоить его удалось, лишь когда Таня рассказала, что то же самое происходит и в Лыкове, надо строить новые гостиницы и сказать спасибо тете Зине, а не подводить ее.

Это были два огромных дня. Время это составило отдельную жизнь, почти не связанную ни с прошлой, ни с будущей жизнями каждого из них. Обычно два дня проскакивали почти не приметно. Здесь же все было крупно, важно. Холмистые улочки, сбегające к озеру.

Большой курорт, где вечером играла музыка. Рыбацкие сейнеры. Рынок, собор, ресторан, кладбище... Лосева тут никто не знал, никому не было дела до этой пары — мужчина в шерстяной рубашке и молодая женщина в голубеньком платице, с курткой через плечо. Они потерялись среди туристов, курортников, спортсменов — участников водных соревнований. Они могли ходить в обнимку, могли растянуться на шезлонгах над озером, лежать на дощатых причалах, грызть орехи. Разумеется, кафе, столовые, закусочные были переполнены, всюду стояли очереди. Единственное, чего было вдоволь, — мороженого. Внезапно набегал дождь — короткий и шумный. Желтые потоки неслись по улицам к озеру. Можно было сесть на корточки, строить запруды, пускать по каменным стокам щепки, спичечные коробки. Лосев вспомнил себя совсем маленьким, взрослые были далеко наверху, а самым интересным было то, что происходило на земле — ползущие жуки, черви, лужи, осколки стекла... Удивление кольнуло его в самое сердце — каким образом так быстро проделан был путь оттуда, снизу, в эту взрослость? И почему он не остался там, у земли, возиться с жуками, строить плотины?

Два волшебных дня, ничего предусмотренного, все врасплох. Если что портило их — предстоящий разговор. Между ним и Тучковой притаилось ожидание. Она ждала, когда он расскажет ей, ради этого она поехала. Она ни о чем не спрашивала, но иногда он замечал ее взгляд, испытующий, заполненный ожиданием, где не оставалось места прежним восторгам и робости.

Собор предстал из-за поворота внезапно, скрытый до этого новыми многоэтажными корпусами. Белый, вытянутый вверх, он от соседства новых домов несколько не потерял своей громадности. По мере приближения он становился внушительней. Сквер, некогда окружавший его, был залит асфальтом и присоединен к площади. Колокольня ехвила пустыми пролетами. Купола были изуродованы грязно-зеленой краской. Вплотную к паперти стояли грузовики и автобусы. Стоило, однако, подняться к белым его стенам — и все другое отстранялось, вышина нарастала, уходила в синеву, нависала оттуда каменной тяжестью. Человек становился маленьким, слабым.

Тесаные плиты паперти кое-где покосились, приоткрыв могучую кладку. Неохватные колонны давили своей массивностью, вблизи все выявляло вес, нерасчет-

ливую прочность, хотя, может, тут был расчет на впечатление незыблемости, вечности.

Дверь собора была открыта.

— Зайдем, — предложила Таня.

Лосев зачем-то посмотрел на часы.

Не ожидая его, она поднялась по ступеням мимо инвалида с выставленной культей, мимо двух цыганок.

Некоторое время он стоял на паперти. Молодая цыганка подмигнула ему: «Одно сердце в камень, другое в пламень».

Сдернув кепку, вошел через низенькую дверь.

Дохнуло прохладой, внутри собор казался еще выше. Нижнее полутемное пространство лучилось рубиновыми, синими огнями лампад, несильных электрических ламп. Зыбкое, подвижное пламя отражалось золотом иконостаса, серебряными подсвечниками, окладами, игра огней наполняла воздух. А наверху, под голубым куполом, скрещивались широкие лучи солнца.

Шла служба. Где-то у алтаря пел невидимый хор. Лосев огляделся, ища Таню. Народу было немного, больше старики, старухи, несколько любопытных.

Голоса женские звучали затеряннно, и от малосильности их возникла жалость, даже трогательность.

Никогда раньше Лосев не бывал в действующих соборах, таких больших, да еще во время службы. В Казанском соборе в Ленинграде он был и в кремлевских соборах, но то были музеи, у себя, в лыковской церквушке, все выглядело мелко и несерьезно.

То, что творилось у алтаря, появление, входы и уходы одетых в белое прислужников, дьякон, помахивающий кадилом, шествие молодых священников в парчовых ризах, было ему откуда-то известно, он вспомнил ощущение жесткой золотой нити шитья и вспомнил слово «стихарь» — так называлась какая-то часть их одежды. Еще вспомнилось — клирос... Неизвестно откуда всплывали слова, которых он никогда не употреблял, казалось не знал и не мог знать...

В боковом притворе у высокого подсвечника он высмотрел Таню, она перешептывалась с какой-то старушкой, помогла ей поставить тонкую рыжую свечку.

Он подошел, Таня шепнула ему, что сегодня служит сам митрополит, и показала на сутулого старичка в высокой шапке с вышитым крестом. Митрополит двигался по проходу, сопровождаемый священниками. Таня взя-

ла Лосева за руку и подвела ближе к проходу, устланному ковровой дорожкой.

Несмотря на приезд митрополита, народу не прибывало. Митрополит с трудом влачил тяжелое облачение. Когда он проходил, видно было маленькое умное личико над тускло-золотым шитьем его ризы. У прислужника, что нес свечу, руки были пухлые, женственные. Митрополит что-то брезгливо выговорил дьякону насчет воды. Лицо у дьякона было больное, безнадежное. От плохих свечек пахло тухлым, от старух шел тряпичный запах старости, кадильница в руках дьякона не могла разогнать эти запахи, чувствовалось, что митрополиту неинтересно служить старикам и старухам, которые плохо слышат и плохо слушают. Митрополит поглядывал на Таню, на Лосева, выделив их двоих, особенно же Таню.

— ...поклонение отцу, и сыну, и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков!..

Лосев смотрел на молодых священников, не понимая, зачем они тратят свою жизнь на обман, ежедневно участвуют в подобных представлениях.

Снова запел хор. Смиренные и грустные голоса поднимались к высокому куполу, уходили в синеву, разрисованную ангелами и облаками.

Простая мелодия казалась когда-то слышанной и волновала, как может волновать неясное воспоминание о чем-то давнем, навсегда избытом. Чувство это соседствовало с плохими мыслями о священниках, и становилось жалко всех этих людей, и Поливанова, и тетю Варю, и Аркадия Матвеевича, всех уходящих.

Он покосился на Таню, плечи их соприкоснулись, Таня внизу взяла его за руку, они стояли вытянувшись, соединенные музыкой этого бедного хора, малопонятными словами. Царские врата, резные с малиновым бархатом, открылись, там опять произошло движение, мягкие старушечьи фигурки опустились на колени, слышался сухой молитвенный шепот, все закрестились, что-то приговаривая, и снова крестились. Было таинственно и хорошо стоять и чувствовать горячую Танину руку.

Голоса уходили все выше, не жалуясь, не скорбя, они поднимались над землею, над этой брэнностью, исполненные пусть тщетной, но надежды...

Все-таки что-то во всем этом было: в прикопченных тельного золота ликах, в гулком небесном своде, в мыс-

лях о короткой своей жизни и о том, что же будет после нее.

Повседневная горячка, в которой жил Лосев, бумаги, заботы не оставляли места таким размышлениям, и люди кругом Лосева не ведали состояния подобной отрешенности. Разве что изредка нечто похожее настигало их на природе, вроде того рассветного, красноперого утра на Жмуркиной заводи, но то было скорее любование и наслаждение.

«Неужели они верят? — думал он. — Нет, они надеются, а не верят, потому что ведь там ничего нет, это уже ясно, но если ничего нет, тогда что же взамен?» Мысли его были путаны и непривычны. Думал он о том, как быстро проходит его жизнь и хорошо бы жить по-медленнее, для этого нужны такие минуты, чтобы покинуть свою обычность и оглянуться. Думал он и о своей смерти, которая виделась ему в облике Поливанова. Высокая, костистая, она перетряхивала палкой годы, заполненные словами, суетой, хитростями, и оставалось так мало того, что имело смысл.

Он вдруг увидел мокрый след на Таниной щеке. Отчего она плакала? Было ли жалко ей старенького митрополита и старенького бессильного бога, который выглядел, наверное, так же устало от непосильных своих нош. А может, ее охватило совсем другое чувство? Если все это обман, откуда тогда это чувство?

«Зачем откладывать, надо рассказать сейчас же, — подумал он, — да, это неприятно, но я откладываю не потому, что придется ее огорчить, а потому, что мне самому неприятно. Почему же мне неприятно?»

Таня, не снеснясь, вытерла пальцами глаза.

— Как хорошо. Не верю, а хорошо. Тайна есть. И какая-то важная...

Служба кончилась. Таня не уходила, удерживала Лосева, смотрела, как пустел собор, кто-то темный ходил, гасил свечи. Оставались красные робкие огоньки лампад.

— Я ведь тоже молилась с ними. А чему — не знаю. А вы?

— Я? — Лосев хмыкнул. — Нет, я не верю, — решительно сказал он. — И им я не верю, что они верят.

— Почему же? У них как раз чистая и бескорыстная вера. Мы вот считаем их темными, а они нас жалеют. Они считают нас несчастными. Это потому, что мы не можем поверить вот так, бескорыстно. Нам подавай че-

го-то взамен. Будете бегать — спасетесь от инфаркта. Будете отличником — поступите в институт. Ты мне, я тебе. За так ничего не бывает.

Рядом в темноте хихикнули.

— Ха, полагаете, у нас по-другому? — веселым певучим голосом спросил кто-то. — Эх вы, интеллигенты! Модно в церковь ходить! И верю, и не верю, и оппозиция — и безопасно. Приятно здесь утешение найти. — И опять нежно захихикал.

В тени колонны обозначилась узкая головка на длинной шее, а затем и весь человек в потертой кожи летной куртке, коротконогий, носатый, похожий на гнома, с яростно-черными красивыми глазами. Лосев взял Таню под руку.

— Нехорошо. Вы привечать должны в храм входящего, а вы отворачиваете. Какой же вы верующий?

Мужчина взмахнул локтями, как крыльями.

— Случайный вопрос поставили и угадали: какой я верующий? В этом суть! Поскольку верить можно и в сатану, и в кукушку. Я, извините, обратился к вашей... — он чуть запнулся, — случайно услышал, как она про бескорыстие, в самую больку попала. Да здесь самая отъявленная корысть и угнездилась. Христос изгонял торгашей из храма, а они вернулись оттуда... — и мужчина кивнул в сторону алтаря, но вдруг съежился и исчез за колонной.

Таня дернула плечом, и они пошли к выходу.

На паперти им ударило солнце в глаза. Кричали воробы. По каменным плитам скакала девочка. Мужчина в летной куртке вышел за ними. Белое лицо его на свету показалось Лосеву знакомым.

— Вы небось решили, что я алчных попов разоблачать собираюсь. Ошибаетесь. Я сам на эти денежки существую.

Лосев узнал прислужника, который помогал митрополиту.

— На меня епитимью наложили, — он оглянулся, — пребываю как ослушник. За это самое.

Лосев весело щелкнул себя по горлу, подмигнул.

Мужчина покачал головой:

— Вот и нет. Духовные лица, по-вашему, либо пьяницы, либо жулики. Другого не понимаете. — Он обиженно махнул рукой, повернулся, собираясь назад в собор.

— Пожалуйста, погодите,— сказала Таня.— За что вас наказали?

Он буркнул с издевкой, то ли над собой, то ли над Таней:

— Как ересиарха.

— Как?— переспросил Лосев.

— От слова «еретик», «ересь»,— торопливо пояснила Таня.— А в чем ересь у вас?

Мужчина подозрительно уперся в нее угольно-блистающими глазами.

— Интересуетесь?.. Обвиняют, что учение свое выдвинул.

— Учение?

— Да какое там учение,— не учение, а мучение. Не дали как следует углубиться. Мне вообще запрещено излагать.

Он долго отнекивался, то страдая их, то прикидываясь дурачком, пугливо оглядываясь, уверял, что никакого в наши дни нового учения быть не может, все всем известно, человек не развивается, человек пребывает... Что, любопытно диковинкой угоститься, духовную потеху устроить?.. На его выпады Таня не обижалась и Лосеву не позволяла, терпела весело и упрямо, и вскоре Илья Самсонович — так его звали — смирился, пригласил к себе, и вот они уже сидят в его узкой, как коридор, белой пустой комнатке.

На столе лежали огурцы, зеленый лук, хлеб, появилось пиво. Но пиво почти не пили, казалось неуместным. У себя в комнате Илья Самсонович стал приветливей. Он скинул куртку, уродливая его фигура имела что-то верблюжье. Уродство, однако, почти исчезало, когда он говорил,— глаза его горели черным огнем, белозубый рот соответствовал чистому голосу, который шел оттуда. Весело он жонглировал словами, не заботясь, подхватят их или же они безответно упадут, разлетятся на блестящие осколки.

— У меня вся биография движется от сомнений. Другие боятся сомнений. Засомневаются и от религии отпадут. Я обратным ходом, я в атеизме усомнился. Категоричны атеисты. Доводы у них куцые, неглубокие. Бога нет, потому что в Библии противоречия. Потому что в небе не обнаружено. И всякое такое. А я всерьез стал искать — откуда следует, что нет его? А как начнешь сомневаться — так пойдет-покатится. Стоит раз усомниться — и полезут отовсюду несообразности.— Он

ходил по комнате, вскидывая локтями, но тут вдруг задержался перед Лосевым. — Вы учтите. Не допускайте его, не то пошатнется и сгинет ваше благополучие. Дух отрицания, дух сомнения! Берегитесь его! Он стронет и невесть куда потащит тебя, захочешь назад, да не сможешь.

Слова его почему-то задели Лосева.

— Все брать под сомнение и не надо. Если во всем сомневаться, то ни верить нельзя, ни действовать.

Рука Тани легла ему на колено, и Лосев замолчал, взял огурец. Было приятно уступить, подчиниться, делать то, что ей хочется. Можно было расслабиться, интересно было просто послушать этого чудака.

Илья Самсонович наклонился к Тане, шепнул заговорщицки:

— Слыхали? Говорит, верить будет невозможно! Боятся неверия. Значит, тоже дошел.

— До чего дошел?

— До того... Карл Маркс говорил — сомневайся во всем. Так что я в этом смысле больше вашего марксист. Хочешь прийти к богу — откажись от бога. Откажешься, и через сомнения придешь... Вы книгу Иова читали?

— Нет, не читала.

— Как же так, важнейшая книга Библии.

— Обязательно прочитаю, — сказала Таня, — но вы лучше про вашу ересь...

— Да вы напрасно надеетесь, не вероотступник я. Я за укрепление веры. Вот результат моих сомнений... Пришел я к тому, что необходимо поменять назначением ад и рай, — он замолчал, взял стакан пива, отпил бережно глоточек, точно чаю горячего.

— То есть как поменять... зачем? — спросила Таня, ошеломленно следя за ним.

— Для достижения подлинного бескорыстия. Вы в соборе упомянули, что у них чистая молитва. Ох, заглянули бы вы внутрь к ним. Страх и сделка. Пусть во очищение, пусть морально, но если в высшем смысле, то это же торговля. Приходят договориться. Я тебе, господи, ты мне. Я тебе веру, хвалу, ты мне — прощение и вечное блаженство. Сделка с оплатой на небесах. Я на земле буду соблюдать, значит попаду в рай, а буду жрать, хапать, распутничать — тогда мне гореть и страдать. Значит, все на страхе основано... Кнут и пряник? Не согласен. Унизительно! — Он выпрямился, руку поднял, стал выше, звучный голос его закачал-

ся нараспев, сам же смотрел на них усмешливо. — Отныне считаю божественным и справедливым отправлять в ад праведников! Им — муки обещать. Не огненные, с котлами кипящими, им — муки несправедливости! За добро — шиш! То есть не воздавать. Ты добро, а тебе, — и он повертел перед Лосевым кукишем. — Отныне и присно не воздастся! А? Что, не нравится? — И, оскалив замечательно белые зубы, захохотал, ликуя и любуясь произведенным впечатлением.

— Так это же бесчеловечно!

Илья Самсонович присел перед ней на корточки, заглянул ей в глаза.

— Вы же атеистка? И все равно — не по душе, верно? А для верующего и вовсе.

— Зачем вам это, в чем смысл? — нетерпеливо прервала его Таня.

— Чтобы обнаружить. Неужели не поняли? Человека надо обнаружить! В этом двуногом хищнике, обжирающем землю. Пора узнать, кто мы есть. — Илья Самсонович вскочил, повернулся к Лосеву, схватил его за руку в совершенной запальчивости. — Кто мы? Барышники или же вложено в нас что-то божественное? А может, один голый расчет? Ведь если только расчет, то мы машины, мы только разуму подчиняемся... Как узнать? Возьмем и удалим всякую выгоду. Не оставим никакой надежды. И тем, кто живет на земле в грехах, в алчности, тем тоже не будет надежды на покаяние, потому что они будут и там пребывать в вечном раю и изобилии. Очищающего страдания не будет. Никому не воздастся! Без вознаграждений, без премий. Праведник блаженства не увидит, грешник покаяния не получит. Моим начальникам тоже куда как не понравилось.

Глаза Тани расширились, темный румянец затопил лицо.

— Потому что несправедливо! Вы хотите бога сделать совсем несправедливым.

— А-а! Это мне сразу объявили. Однако наша жизнь тоже не поощряет добрых и честных. Это как — справедливо? Нет, тут справедливостью ничего не выяснить. Для проверки давайте отнимем у всех утешение и страх возмездия и посмотрим, что станет с человеком. Тут все и выяснится. Тут вы и ахнете. Зашныряете. А некуда! Куда ни кинь — добро осуждено. И деться ему некуда. Кто посмеет быть справедливым? — В упоении он вскинул руки, затряс ими. — Кто осмелится на

доброту? А уж призывать-то, проповедовать что будете? Невозможно! Никаких к тому прав у наших попов не будет. И обнаружится. Все, все выяснится. Все мы друг перед дружкой выявимся. Все человечество оголится!

В углу, в маленьком киоте дрожало крохотное бесцветное пламя.

На стене висело длинное анатомическое изображение человека с обнаженными красными пучками мышц, открытый живот, с извивами лиловых и желтых кишок, ветвистые трубы сосудов и кости. Рядом висел портрет Льва Толстого. Стояла железная кровать, заправленная серым одеялом, на одеяле дремал тощий кот. Иногда он приоткрывал глаза и смотрел на Лосева золотыми глазами с черной щелью. Голоса Ильи Самсоновича и Тани сшибались. Таня приводила в пример святых, называла их по именам, говорила про Швейцера, про революционеров. Коротким движением откидывала тяжелую волну волос, и они снова спадали, затемняя блеск ее глаз. Лосев не вмешивался. Он радовался своей свободе. Пеннистая волна спора обдавала его, но он не позволял ей подхватить, унести. Приятно было следить за усилиями Таниного ума.

Среди мишуры богословских цитат она отыскивала интересные ей собственные размышления Ильи Самсоновича. Помогало ей то, что она разбиралась в библейских сюжетах, хотя и сетовала на свое невежество, считая, что каждый культурный человек, особенно любитель искусства, должен такие вещи знать. Было заметно, как Илья Самсонович расцвел от ее интереса и уже не грубил, не отмахивался, старался убедить отчаянной своей ересью.

— Но разве вас не пугает, что люди хуже станут от такой идеи? — спросила она.

— Нет хуже нынешнего безверия. Посмотрите, что делается. Вы лучше спросите — как с верой будет? Вот в чем вопрос! Где ныне праведники, новые святые? Всех старых святых придется пересмотреть. Среди них такие, что лишь о вечном своем блаженстве пеклись. Отказывали себе во всем, чтобы там все иметь по первому классу. Самые чистые и те втайне рай себе зарабатывали. Два пишут, один в уме. Да не в них дело. Главное — узнать, есть ли в нас душа. Вот я и хочу из человека выгоду выпарить, удалить, посмотреть, что же в остатке. Если ничего — тогда конец. Тогда всякая надежда и доброта кончается. Никаких сказок. Сила, хитрость

и выгода! Кончится святая ложь, и откроется взорам человек в неприкрытой своей корысти, и мы ужаснемся!

Таня призадумалась. То, что она могла принимать этот разговор всерьез, удивило и развеселило Лосева, он стал спрашивать, каким образом будет произведена перестановка ада и рая, есть ли у Ильи Самсоновича проект реконструкции и как отнесется к замене кадров господь бог.

Они шуток не приняли, смотрели без улыбки, затуманенно.

— Вы знаете, что за праздник сегодня? — спросил Илья Самсонович. — Преображение!

И стал говорить о великом знаке, заключенном в этом дне, как свидетельстве грядущего возведения человечества на высшую ступень бытия. Трое учеников увидели в этот день на горе Иисуса, излучающего сияние, поняли, кто перед ними, а потом все исчезло, они спустились вниз и снова их окружили люди в своей суете и лукавстве, и словно и не было ничего...

Видно было, что верил он искренне в то, что это когда-то так и было, события эти волновали его до слез. Он невольно заражал своим чувством.

Впервые в жизни религия, к которой Лосев относился свысока, как к безобидному старушечьему утешению, предстала в своем опасном очаровании.

Таня вдруг сказала:

— Ошибка у вас, Илья Самсонович.

— Какая? Ты покажи.

— Позабыли вы одно чувство. Есть у людей, кроме выгоды и пользы... Вы говорите, праведников нет. А матери? Вы про свою мать вспомните. — Илья Самсонович дернулся, хотел что-то сказать, но не сказал. — А жены? Любая женщина любящая, она может все человечество вытащить и спасти ради любви! Вы ей чем угодно грозите на том свете за эту любовь — ее не испугаешь. Жгите ее, в котлы ваши кидайте — она от любви не отступится и спасет... Вы знаете, моя мать что сделала? Она брата моего... он в сорок первом родился, в Ленинграде, потом блокада началась, ему годика не было, он кричит, есть хочет, а у нее ни молока, ни крошки хлеба нет, так она — вену себе надрезала и ему руку прикладывала, он пососет кровь ее и утихнет, заснет, тем и спасла его. Любовь — вот вся ее выгода. Что ей ад или рай. Я потому так, что та же кровь во мне, ее кровь, я поэтому знаю...

Она подняла голову, вытянулась, что-то приоткрылось в ней, дохнуло жаром таким, что Лосев внутренне отпрянул. Где-то там бушевало пламя, что-то плавилось и сгорало.

Илья Самсонович, сморкаясь, восторженно поклонился низко, жидкие волосы его легли на пол.

— Твоя правда! Твоя! До чего права... — Он распрямился, утер рукою нос, глаза, изумленно показал Лосеву на Таню. — Смотри, сама дошла... Я-то из тьмы. Меня никто не любил. Мать из интерната брать не хотела. Кляла меня! — Он сглотнул подступившую горечь. — Я не через любовь добрался, я из отчаянья. Но она-то через любовь, — восхищенно перебил он себя. — Женская любовь это особица, это инстинкт. А вот когда кроме нее объявятся... Будут люди, что не убоятся! Будут!.. И станут добро творить, зная, что потерпят. Выгоду переступят ради совести своей. Потому что захотят душу оживить. Они всей церкви нынешней вызов бросят. Они-то и оправдают всех нас. Люди кругом, может, готовы взлететь душой, ищут, за что бы на костер взойти. Дайте им, скажите им...

Пот катился по его бледному узкому лицу. Таким он и запомнился и остался в памяти — нелепая его, толстая книзу фигура и угольно сверкающие глаза.

Довольно долго они шли в молчании, потом Таня сердито сказала:

— Не то... А хорош, потому что ищет.

Через несколько шагов она снова сказала:

— Нет, не то, опять не то, — и тут же усмехнулась. — Как моя Нонна, утром подойдет к зеркалу, посмотрит на себя и вздохнет — опять не то.

Со всех сторон она пытала жизнь, что-то ища, кидаясь прежде всего к необычному, запретному. И город этот она пробовала с такой жадностью, что Лосев заразился ее аппетитом.

С каким-то облегчением устремились они в павильон игровых автоматов. Там все было просто: выстрел, попадание, вспыхивает свет, падает самолет, выскакивает очко. Лосев стрелял безошибочно, восхищая местных мальчишек.

Ресторан над озером был переполнен. Обслуживали иностранцев и спортсменов.

— А мы просто голодные люди,— грустно сказала Таня.

Лосев взял ее под руку, прошел мимо швейцара с тем властным лицом, когда его не могли остановить, швейцар даже поздоровался. В зале Лосев обратился к старшему официанту и с той же непреклонностью попросил посадить их, ничего не объясняя, но уже знал, что не откажут. Так и было. Старший извинился, что отдельного столика нет и посадил к какой-то паре.

Над головами крутились легкие конструкции из медных лепестков. Таня радовалась, как ребенок, в ресторанах она бывала считанные разы, в таком шикарном — впервые, на ее учительскую зарплату не разгуляешься.

За столом сидели усатый задумчивый грузин и с ним блондинка, сочная, пышная. Блондинка покровительственно улыбалась, слушая Танины восторги, и поглядывала на Лосева влажно-синими глазами с загнутыми толстыми черными ресницами. Когда-то Лосеву нравились такие гладкие, ухоженные кошки, с ними было просто, он знал наперед все, что она скажет, знал весь вечер, который они провели бы, до самого конца.

Таня рядом с ней сильно проигрывала. Невольно сравнивая, Лосев видел, насколько ему труднее с этой странной девушкой, с которой нельзя ничего предугадать.

Казалось, бесцветная, скромная, а было в ней то глубоко запрятанное, никак не показывающее себя превосходство... Нет, не ума, ума Лосеву своего хватало,— тонкости, что ли? Развитого вкуса? Интеллигентности? Но Лосев не любил этого слова, применял его больше пренебрежительно, и все же сейчас другого слова не находил. Он вдруг иначе увидел ее поведение с Каменевым, и то, как она поцеловала руку, и уход ее от Поливанова, все эти резкие движения ее души. И даже во внешности ее Лосев находил превосходство естественности: куда милее были ее некрашенные ногти, чистые губы, матово-природный блеск ее коричневых, выгоревших сверху волос. Оттого что никто кругом, кроме него, этого не видел, не представлял, а все видели лишь одежду в дешевенькое платье невзрачную, очкастую девушку, от этого сердце его затопило нежностью, она была его открытием, и тем трогательнее и краше казалась ему.

Отрешенность, задумчивость сменялись вдруг у нее детским любопытством, жадностью, восторгом, бесцеремонностью.

Она не стесняясь восхищалась красной икрой, шашлыком на шампурах, горячими лепешками. Откровенность ее умилила официанта, он поставил водку в металлическое ведро со льдом, тарелки принес подогреты, чем окончательно потряс Таню. Лосев сиял. Лосев чувствовал свое могущество и щедрость. Ему хотелось осчастливить всех. Он начал с соседей — подняв рюмку, он провозгласил тост во славу красоты блондинки, красоты, независимой от моды, губительной для мужчин всех времен и народов, и, выяснив, что она работает медсестрой в яслях, доказал, что это самая ответственная и благородная специальность. Характер человека формируется в первые три года жизни, следовательно, она лепит своими пухлыми сильными руками Человека, она скульптор, она художник, она тра-та-та... Он загнал себя на такую вершину, откуда не просто было спуститься к ее спутнику. Впрочем, и грузину он соорудил неплохой венок из скромности и обаяния. Похвалил радушие грузинского народа, культуру его застолья, его музыкальность. Он был в ударе. Он чувствовал, что Таня любит его. Compliments его отличались не лестью, а скорее наблюдательностью. В который раз он убеждался, что поднять человека, сделать лучше, можно, показав ему, что в нем есть хорошего. Что мешало ему пользоваться этим в своей работе? Почему он рассказывал людям про их достоинства только на юбилеях или провожая на пенсию?..

Постепенно он становился тем Серегой Лосевым, который мог болтать, трепаться, не заботясь, как это будет истолковано, он возвращался к себе от того С. С. Лосева, который в служебном кабинете взвешивает каждое слово.

Выпили немного, Таня ела шашлык, сверкая зубами, хищно, весело, пальцы ее блестели, но все шло ей, все получалось мило, и грузин, зараженный ее непосредственностью, показывал, как надо есть зелень, они смеялись, когда вдруг Лосев увидел за дальним столиком человека, которого узнал не сразу, а узнав, обомлел.

— Что с вами? — тихо спросила Таня.

Не отводя глаз от *того мужчины*, Лосев похлопал Таню по руке, а сам поднялся и пошел.

Седеющие волосы, подстриженные впереди челкой, а позади курчавая грива, толстогубый рот — зубр, форменный зубр, грузный, большой, каким образом у Лосева хватило тогда сил поднять, донести его до дверей и швырнуть на лестницу. Сейчас, глядя на него, Лосев не мог представить, как все произошло. Кажется, они оба при этом не произнесли ни слова. Антонина застыла у буфета с рюмками в руке, она была в халатике на голое тело, а *этот* был в майке и мокрый от пота. Когда Лосев вернулся, Антонина наливала себе коньяк, рюмку за рюмкой, и выпивала, запрокидывая голову. Рюмки были тещины, синего стекла с золотым ободком. А коньяк был КВ, красные буквы на желтой наклейке, такой же, что стоял сейчас на столике *этого*. Рядом с ним сидела сухонькая старушка в черной соломенной шляпке и двое мальчиков-близнецов, лет по пятнадцати. Сидела еще спиной к Лосеву молодая женщина с распущенными волосами. Она была в брюках, перетянутая широким поясом. Лосеву захотелось, чтобы это была Антонина. Но у этой волосы были гладкие и плечи шире. Они ели, чему-то смеялись. Вдруг *этот* увидел Лосева, перестал жевать, улыбка сползла с его лица, повисла в углах толстых губ. Странно, что он сразу узнал Лосева. Они больше не виделись, и Лосев так и не узнал ни его имени, ни кто он, откуда, ничего не спрашивал, ждал, что Антонина станет оправдываться, сама расскажет. Должна же была она что-то объяснить. Но она молчала. С того дня она замолчала, сперва вообще ничего не отвечала. Закаменела. Потом — да, нет. В Лыков вернулись — да, нет. Лежала ночью — каменная, не шевельнется, не вздохнет. Когда он входил в дом, у нее стекленели глаза. Вечерами в доме наступало молчание. Он разговаривал с дочкой, и она разговаривала с дочкой... Ничего он не понял, почему это произошло. Был момент, когда он готов был простить ее. Он застал ее на кухне, у раковины, с тарелкой в руке. Лилась вода, брызгала ей в лицо, она не двигалась, точно в столбняке, уставясь перед собой. Давно не крашенные ее волосы, черно-пегие, обвисли. По бледному лицу стекали капли. Жалость шевельнулась у Лосева, вызывая боль. Озлился на себя, но тут же, оправдывая эту жалость, вспомнил бездетную и яростную Катьку, с которой и после свадьбы продолжал встречаться в Москве, и недавнюю историю в санатории с лазанием через балкон, с глупыми записочками. Раньше это существовало само по себе,

отдельно от его семейной жизни. Но разобраться, так ведь это было то же самое. Какое же он право имеет, чем он лучше?

Он подошел к Антонине, взял ее за руку, холодную, мокрую, слезы перехватили ему горло. Она рванулась прочь, выдернула руку, стала с отвращением вытирать ее о передник. И такая непримиримость была на ее лице, что он схватил ее за волосы, накрутил их на кулак, принялся мотать ее голову из стороны в сторону, с размахом.

Не помнил себя, если б она закричала, он избил бы ее, изувечил, красная пелена застлала ему глаза, кровь так колотила в виски, что голоса своего он не слышал, знал, что называет ее потаскухой, кричал, какая она грязная сука, дрянь. Ни звука не вырвал у нее. От собственных слов, от ее ненавидящего молчания чувствовал себя таким униженным, что крайним усилием, каким-то последним страхом вынырнул из этого безумия, отбросил ее, убежал.

Было стыдно, отвратительно, страшно. Но по крайней мере все разрядилось, и, в сущности, на этом супружество их кончилось. Все равно, если бы он ей и простил, они не смогли бы жить вместе.

Теща пыталась беспристрастно разобраться, допытывалась у них, что произошло. Лосев пожимал плечами, пусть Антонина расскажет. Не хотел ни обвинять, ни доказывать, лишь бы не появлялась перед глазами та сцена в Ленинграде. Как Антонина все это преподнесла мамаше, он не знал. Семья отдалилась. Была работа, спасительная работа, ничего другого, все остальное остановилось, застыло. Дома было безмолвно, как в спящем королевстве. На самом деле дома что-то происходило. Скрыто или явно всегда что-то происходит. Незаметно он превращался в виноватого. Вдруг обнаружилось, что Антонине сочувствуют, ее утешают. Собственная тетка осуждала его, не зная никаких обстоятельств. Он заметил, что дочь сторонится его, в ответ на упреки она с детской дерзостью спросила, почему он разлюбил маму. Вот как все повернулось — *он разлюбил*. Покраснев, он пробовал объяснить, что у них с мамой разные взгляды, с возрастом дочь разберется, мала еще, — словом, жевал какую-то кашу, щадя Антонину и спасая эту десятилетнюю девочку от правды. Какой правды? Он сам не знал правды. Антонина определила дочь в ленинградскую музыкальную школу, хотя ника-

кими особыми способностями Наташа не отличалась, но было решено, что девочке так будет лучше. Антонина ездила к ней в Ленинград, оставаясь там подолгу, и наконец совсем переехала к своей мамочке, в ту ленинградскую квартиру, где все произошло, где когда-то справляли многолюдную свадьбу. Считалось, что Антонина помогает маме и занимается дочкой. Таким образом, все было соблюдено без суда, развода, скандала, всех это устраивало, и однажды Лосев обнаружил, что его тоже устраивает эта фальшивая семья, иначе произошли бы неприятности по службе, начальство вынуждено было бы как-то реагировать, таков был неписанный порядок. Немало таких мнимых семей существовало среди лыковской и областной номенклатуры. Бывая в этих домах, Лосев делал вид, что ни о чем не знает, и относился с сочувствием к хозяевам, стойко несущим свой крест. Зачем? Ради чего это делается? — он никогда не задумывался. И даже сам, страдая от необходимости лгать и притворяться, считал, что делает нужное, кому-то и зачем-то дело.

Теперь все они за тем столиком смотрели на Лосева и что-то спрашивали *этого*. Что-то он им пробормотал, краски уходили с его лица, он весь напряжился. Сомнения у Лосева исчезли, это был он. Невероятно, немислимо, все было подстроено, как во сне.

Мальчики были длинноволосые, в красных свитерочках, в глазах их, устремленных на Лосева, светилось приветливое любопытство. *Этот* поднялся и пошел навстречу Лосеву, продолжая держать в руке вилку. Был он выше, плечистей Лосева, косой шрам белел на шее. Лосев удивился выбору Антонины — почему *этого*, почему именно с ним? Прежней злобы Лосев не испытывал и не понимал, почему он *должен* подойти, наговорить этому человеку оскорблений, может ударить, и это будет правильно, и этот человек станет в ответ выкрикивать какие-то гадости и потом будет чего-то врать, оправдываться перед своими близкими, и тоже будет считать, что так и должно было быть.

Старушка поспешно вынимала изо рта рыбы косточки, мальчики перестали смеяться.

Этот успел сделать несколько шагов навстречу Лосеву, они сошлись поодаль от столика у площадки для танцев.

— Послушайте, что вы ко мне имеете?— сказал он невнятно.— Я-то тут при чем?

Взяв *его* под руку, Лосев повел в середину пустого танцевального круга. При мысли о том, что когда-то он мог приподнять этого зубра, Лосев улыбнулся. На круге блестел паркет, все смотрели на них.

— Прямо как на ринге,— сказал Лосев.

Этот мучительно покраснел.

— Прошу вас, давайте не здесь,— пробормотал он.— Спустимся вниз... Где хотите... У меня тут сыновья, мать.

Сердце у Лосева забилося ровнее. Он смотрел на его маслянистые толстые губы, на зеленую укропину, прилипшую к потному подбородку, хотел пожалеть этого человека, но не находил в себе ни жалости, ни доброты. Равно как и гнева. Пусто было и холодно. В таком состоянии драться хорошо. Ударить в этот подбородок с прилипшей зеленой веточкой. И испортить этот прекрасный единственный день? Испортить себе и Тане, которой невозможно будет ничего объяснить.

При мысли о Тане все взбунтовалось против непонятной силы, которая командовала им. С какой стати он должен драться? Согласно каким правилам? Честь? Побить и восстановить свою честь? Глупо. Перед кем он обязан? Перед Антониной? Перед этим типом? Плевать на них!

Сунув кулак в карман, он сказал:

— Ладно, ничего мне от вас не надо, топайте к своей тарелке.

— Позвольте,— наконец он проглотил и произнес звучно и глупо,— зачем же вы подходили?

— Не в вас дело. Вы по-прежнему достойны мордобоя. Да вот потерял я охоту. Надо бы стукнуть, а неинтересно. Опоздали вы, на один день опоздали.

Он вытер губы, спросил недоуменно:

— То есть в каком смысле?..— Но тут же обмяк, вздохнул с шумом, облегченно, решил, что, может, обойдется, даже глаза на мгновение прикрыл.— Имейте в виду, за хулиганство в общественном месте с вас спросят. Мне-то что, а вам...

Лосев понял, что не ударит *его*.

— Ладно,— сказал он.— Не мельтешите.

— И правильно. Чего нам делить-то. Какие тут могут быть претензии.

Что-то непостижимое было в том, как неуловимо легко менялся этот человек.

— Мы, мужики, можем понять друг друга. Наше дело мужское... Я на вас не в обиде, и вы ко мне, если здраво смотреть на вещи...

Он быстро обретал уверенность, даже убежденность. Что же в нем такое, должно же в нем что-то быть? — повторял Лосев вопросы, которыми когда-то пытал себя.

— Да плевать мне на вас, — вдруг отмахнулся Лосев и почувствовал, что это правда, что старые болячки сохли, под ними затянулось, заросло, хоть кожа еще блестит тонко-чувствительная.

На них переставали смотреть, они замолчали, потеряв нить разговора.

— А вы полысели, — сказал Лосев.

— Да, да, у меня это от аллергии... — рассеянно объяснил *этот*. — Послушайте, а что я своим скажу?.. — вдруг обеспокоился он.

— Что-нибудь придумаете.

— Нет, вы на меня не взваливайте. Ваш был почин, так что давайте подойдемте, я представлю вас, скажу, вместе служили в армии, а? Опрокинем по одной. Вы тут с кем? Впрочем, пардон, это неважно... В самом деле, подсядьте на три минутки.

— Ну зачем же мне пить с вами? Это уж совсем нехорошо... — сказал Лосев и с интересом спросил: — Послушайте, и как это вам не стыдно? Передо мной ладно, а вот перед своими, мы подойдем, чокнемся — и вам не будет совестно?

— Ишь ты, этикой щеголяете. Ханжество это. Откуда вам известно, что стыдно, а что не стыдно? — И *он* вдруг нагловато, с намеком подмигнул. — Поздравляю, как говорится, пожар Москвы немало способствовал украшению, — большое тело его мягко заколыхалось от смеха. — Стыдно, когда с нашей казенной моралью мы судим других, а не себя. Да, секс, — так разве нормальные люди должны жить как прикованные навечно друг к другу?

— Все верно, — сказал Лосев. — Но почему вы так испугались?

— Потому, что сыновья наблюдают. А вы, значит, не притворяетесь? — *Он* придвинулся, задышал в лицо Лосеву. — Пойдемте, я вашим дамочкам изложу про наше знакомство. Вашей блондиночке... То-то же! Мы одним

миром мазаны, и некому нас стыдить. Ты, чем ты лучше меня? Тем, что вас никто не накрыл!

От него остро запахло потом, запах этот Лосев вспомнил, руки у него заломило, он вздохнул, с каким наслаждением вломил бы сейчас этому типу, но тут же представил сцену в милиции, а затем физиономию Уварова и понял, что ничего такого он делать не станет, что руки у него связаны и весь он связан-перевязан.

Когда он вернулся, грузин рассказывал анекдот, Таня наклонилась к Лосеву и, ни о чем не спросив, сказала:

— Наверно, так лучше.

— Может, и лучше, да больно погано, — признался Лосев, не удивляясь, как если бы она все слышала и знала.

Еще недавно, год назад он просыпался по ночам, перебирая каждое словечко, сказанное Антониной, пытаюсь понять, что произошло; самолюбие его страдало. Нанесенная рана казалась неизлечимой. Тогда он все отдал бы, чтобы узнать причину, более всего его возмущала не измена Антонины, а ее уверенность в праве на такую измену. Так он ничего и не узнал. И вот сейчас, когда он мог спросить, оказалось, что ему это уже не надо. Он смотрел на Таню, довольный своей выдержкой, почти позабыв о когда-то томивших его вопросах. К чему были долгие его страдания, зачем он так себя мучил, если все это почти бесследно изгладилось?

...Млеющий от тепла и покоя долгий день привел их в универмаг, где Таня с мгновенной женской зоркостью высмотрела кружевную голландскую кофточку, примерила ее и долго, не в силах снять, и так и этак рассматривала себя в зеркало. Глаза ее затуманились. В зеркальной глубине отразился не затоптанный торговый зал, а нечто праздничное, так она медленно поворачивалась, кому-то отвечала, чуть приседая, принимая приглашение. Подняла правую руку чисто уже по-учительски, как бы к доске, проверяя, не тянет ли.

Наблюдая издали, Лосев удивился себе: он не испытывал нетерпения. Примерка не была перерывом, она входила в щедрую длину дня. День блистал, переливался гранями каждого мгновения, каждого *теперь*. И следующего за ним. Лосев сделал важное открытие: если отдельно рассматривать сиюминутность жизни, если

погрузиться в нее, тогда открывается равноправие каждой крупинки жизни, всего, что происходит. Во всем блистает драгоценность жизни. Примеривание кофточки — не пустяк, не подготовка к будущему, оно само по себе радость. Какой же тут пустяк, если обнова — удовольствие, обновление и риск, и переход в иную оболочку, и надежды... Жизнь вся может состоять из таких чудес, которые надо уметь видеть. Теперь, когда он открыл эту истину, он уверился, что будет жить иначе. Он не понимал, что само по себе знание этой истины мало что дает человеку.

ГЛАВА 18

Проснулся Лосев оттого, что кто-то его позвал. Он открыл глаза, прислушался. Было светло. На высоком лепном потолке шевелились солнечные разводы. Очнулся его слух, тело еще плыло во сне. Памятью слуха он пробовал узнать голос, который его позвал. Показалось, что это была мать. Он не удивился тому, что она жива. Он потянулся ногами, распрямив их до сладкой ломоты, ожидая, когда мама наклонится над ним, щеко-ча тонкими волосами, носом и приговаривая: «Серешка, Серешка, готова картошка», станет тихонько стаскивать одеяло, а он будет мычать и зарываться обратно в накопленное тепло постели, защищая самые лакомые остатки сна. Мать уходила на кухню, изображая сердитость, там звякала бутылка с подсолнечным маслом, доносился парок вареной картошки, дрема прореживалась, утекала, но была еще нега, тающие картины ночных снов, ощущение материнского ожидания, ее улыбки, там на кухне, вся детскость его детства собиралась в эти блаженные, теплейшие, растянутые до предела минуты просыпания.

...Ветер хлопал мокрой тяжестью простынь. Мать поднималась на цыпочки, вешала белье на веревку. Красные наволочки бились, захваченные прищепками. Мать вытягивалась, как на старой фотографии, где она была в шелковом платье с кружевным воротничком, он помнил скрипучесть полосатого шелка. Он плакал, уткнувшись ей в шелковые колени. Ныл горько и долго, а сам смотрел, как просвечивает шелк синим светом... В воде, рядом с поплавком, отражался не он, а Петька Пашков, отражение его оторвалось, поплыло, никак не

зацепить его было удочкой, Лосев наклонился, ива под ним затрещала, это трещал распил, края его расходились, пропасть надо было перескочить, мать звала его, ствол наклонялся все ближе к воде. В глубине пропасти на высоком вольтеровском кресле сидела Ольга Серафимовна, она была голая, как на рисунках, с большими грудями. Слова, сказанные ею, ошеломили, обидели его, и он окончательно проснулся.

Он лежал на диване в большом гостиничном номере. Смутно представилось, как поздно вечером они вернулись в гостиницу, ноги гудели, глаза слипались, прошлая бессонная ночь и длинный день вконец сморили их и первого Лосева; каким образом они распределились, как он разделся, лег — он не помнил. Он снова хотел заснуть, но мысль болезненная, резкая, произнесенная еще во сне Ольгой Серафимовной, мешала ему. Состояла она в том, что с момента встречи с Таней на лестнице он так ничего и не сообщил про разговор с Уваровым. Явно оттягивал. В чем тут дело? Как будто он боится. Но чего? Разве он в чем-то не прав? Телеграмму Аркадию Матвеевичу он вчера так и не дал. Это он объяснял тем, что не мог придумать текст: надо написать, что ничего не получилось, что с Жмуркиной заводью отказали. В то же время следовало сообщить, что, несмотря на отказ, ничего плохого не последовало, наоборот, его повышают. Однако обе эти вещи он не мог соединить. Как только он их соединял, возникало что-то неприятное. В чем тут дело, он избегал об этом думать. С ртутной легкостью сам от себя выскальзывал, никак было не ухватить. Человек он был не слабовольный, мог заставить себя сказать и сделать все, что надо. Работа его требовала постоянных усилий воли, — приходилось принуждать людей говорить не то, что хочешь, приказывать, брать на себя ответственность, решать, отказывать — Лосев заставлял себя все это делать и делал, не считаясь со своими настроениями, поэтому и считал себя волевым человеком. Время от времени ему нравилось проверить свою волю. С молодых лет это осталось, он вдруг не разрешал себе есть, ни крошки, день, два, приказывал медленно входить под ледяной душ или, например, молча смотреть в глаза какому-нибудь крикуну, пока тот не отводил взгляда.

— Вы спите? — тихо спросил он.

Кровать, на которой лежала Таня, стояла под прямым углом к его дивану, так что он не видел ее, слышал ее дыхание.

Таня отозвалась не сразу, голос со сна был хриловатый, чуть напряженный:

— С добрым утром.

Прозвучало так доверчиво-близко, что он не решился приподняться. Лежал, улыбаясь. Нежность баюкала его. Давно подавленная, казалось, уничтоженная потребность открыться другому человеку ожила в нем. Признаться Тане было легче, чем признаться себе.

— У меня всю память отшибло, лежу вспоминаю, чего это вам хотел рассказать? Как отец мой приговаривал: не о том речь, кого сечь, а где он?

Начал он, балагурия. Так было легче. Простецу все к лицу, где умный призадумается, простак перемахнет за так.

С шуточками изложил подготовку похода своего к Уварову, как советовался, сторонников вербовал, стратегию разработал. Разговор шел, как сражение, долго бились они, и Лосев проиграл. Это Поливанову чудится, что до сих пор можно криком да нахрапом брать. Сегодня, при всеобщем наивысшем образовании, убеждай расчетами, цифрами. Уваров имел свои аргументы, к тому же Уварова подпирала необходимость государственная, мотивы, которые снизу не видны. Можно было бы еще побороться, если б Пашков ножку не подставил. Про Пашкова Лосев выдал не стесняясь — пусть в Лыкове знают, как пакостит землячок. Короче говоря, Уварова склонить не удалось, не достало доводов.

Таня молчала. В лосевском рассказе вместо горечи поражения была неловкость. Чего-то он недоговаривал. Подождав, она сказала, что, может, Уварову надо было показать в натуре и Жмуркину заводь, и картину? Подействовало же это на Каменева. На любого это действует. Искусство, оно действует вопреки расчетам. На одного сильнее, на другого меньше, но все равно.

— ...должно было в душе его что-то откликнуться!

Слышно было, как она приподнялась на локте. Так, по крайней мере, он представил.

В словах ее слышался упрек. Не тот, которого Лосев втайне остерегался, а другой, наивный, школьный — будто к Уварову можно найти психологический ход. Ответить ей было просто, почти приятно: не имеет Ува-

ров психологии, не поедет Уваров смотреть никакую картину, до фени ему картины, Уваров, он другой; надо знать его отношение к живописи, для него наша картина одна доука. Не смягчая, Лосев передал мнение Уварова о художниках. Кстати, и о прочих деятелях искусства. Как правило, Лосев не позволял ссылаться на частные высказывания начальства. Никогда никому не разбалтывал. Не полагалось. Люди ни под каким секретом не удержат, обязательно похвастанутся своей осведомленностью, да еще исказят, и поползет... Но тут Лосев разоткровенничался; счел себя вправе, поскольку и Уварову высказал свое несогласие. Не хотел, чтобы Таня строила себе иллюзии.

Она выпрыгнула из постели, как была, в длинной ночной рубашке, забегала по номеру. Босые ноги стучали по ковру глухо, на линолеуме — шлепая...

— Ваш Уваров — чудовище! Ну как вы с таким дуболомом... — Она не находила слов, наэлектризованная гневом, искры летели от нее. — Называется — руководитель. Тот не может руководить, кто не понимает искусства! Целые народы исчезали из истории, потому что у них не было искусства! Им нечего было оставить потомкам. Не ценишь искусства — уходи! Сколько мы теряем из-за таких начальников, у них одни проценты да кубометры. Душу-то этим не согреть! Душа от этого сохнет...

Лосев и любовался ее пылом, и успокаивал, напоминая о нехватке жилья, о первоочередных простейших нуждах человеческих. Самые что ни на есть ходячие фразы употреблял, а получилось, словно бензину в огонь плеснул.

— Сколько можно! При чем тут жилье? Все заслоняются жильем! Чуть что — квартира! Автомобиль! А у молодых, соответственно, цветной телевизор — цветничок! Маги! Джинсы! Моторки! Вот на что работает ваш Уваров. Это он признает, поощряет! А куда ехать на этом автомобиле? Неужели вы тоже к этому сводите человека? Я учу детей, чтобы они живопись ставили выше автомобиля. Да, да, противопоставляю! Искусство это бог. Отнимите у меня музыку, мне и квартиры вашей не надо. Что я буду там делать? Водку жрать, хоккей смотреть? От этого души зарастают. И человека нет. План вы выполните, а зачем? Вы смеялись над Ильей Самсоновичем, а Уваров бедней его. Я могу ему в лицо

сказать! Я понимаю, вы зависите от него, вам приходится терпеть его...

Щеки ее смутно заалели, она была сейчас как никогда хороша, но в ее словах начались крайности, которых Лосев не терпел. О каком искусстве она говорит, когда у людей нет элементарных условий, детских садов не хватает?.. Человеку одинокому рассуждать легче, чем семейному. Когда пять человек в одной комнате толкнутся — не до музыки, и стихи тут не помогут...

— У нас любителей искусства все больше, а работников... Музыку слушают, книжки читают. И что толку? Думаете, от этого лучше относятся к работе?

— Думаю, — в запале подтвердила Таня.

— Если бы.

— А музыку не для этого пишут! — спохватилась она.

— Пока пишут, кому-то надо строить, кому-то уголь возить. Так вот. Уваров работник! Таких мало. На таких хозяйство наше держится. Заводы работать должны, согласны?

— Художник, к вашему сведению, тоже завод.

— Ха!

— Да, завод, вырабатывающий счастье!.. Так сказал Маяковский, — добавила она.

Лосеву следовало бы остановиться, перевести разговор в шутку, но она задела его больное место.

— Где это сказано, что каждый обязан любить ваших художников? Почему вы требуете от Уварова — ах стихи, ах музыка! Ему не до них, так нельзя!

— Нет, лзя! Раз он руководитель, он не имеет права, искусство, по-вашему, только для материально обеспеченных?

Они кричали, не слушая друг друга.

Через несколько часов, улыбаясь, они вспомнят начало этого утра, когда они лежали голова к голове, она на кровати, он на диване, запальчиво опровергали, спорили — о чем? — сердились всерьез, ничего не замечая, оставаясь слепыми.

Лосев успел привыкнуть к ее восхищению. Сейчас он удивился, встретив ее несогласие. Не поверил. Повысил голос, не помогло, он натолкнулся на упорство. Между тем она поносила человека, у которого Лосев учился, которого чтил. Что она понимала в деловых людях, в руководителях? Что она, они, обыватели, потребители, знали об их жизни, где так мало возможностей

и так много обязанностей? Знала ли она, как приходится им ловчить, химичить, нарушать, в любую минуту его могут спросить, каким образом у него израсходовано в полтора раза больше цемента, чем отпущено по фондам? Привлечь могут. Все эти интеллигенты, особенно от искусства, относились к ним, деловым людям, с тайным предубеждением. В лучшем случае терпели и никогда не чтили. Никогда. И в прежние времена деловых людей в России изображали обязательно несимпатичными; не то чтобы реакционеры, пошехонцы какие-нибудь старались, господа литераторы высмеивали, выводили на манер обломовского Штольца. И Лесков сюда добавлял, и Чехов, и Тургенев — каждый деловых людей, предпринимателей, бездушными делал, человеческое отнимал, видели в них представителей наступающего капитализма, а откладывалось это в сознании русского человека неприязнью к хозяйственным людям. Недавно как раз Лосев обсуждал с Аркадием Матвеевичем несправедливость эту... Вспомнив, как в сквере Аркадий Матвеевич закрылся газетой, Лосев разозлился и сообщил Тане, что получил предложение уйти первым замом к Уварову, работать с ним вместе, и ничего плохого, кстати говоря, в этом не видит.

Наступило молчание. Таня отошла к окну.

— Значит, вы уедете от нас... А вот я отказалась.

— От чего?

— Мне тоже предлагали. В музей перейти. Для этого и вызывали.

— Это, наверное, Каменев интригует.

— Не знаю. Научным сотрудником предлагали.

— Подбирается.

— К кому?

— Не к вам, — язвительно сказал Лосев. — Скорее к астаховской картине.

Она рассмеялась, не тому, что он сказал, а тому, как он это сказал.

Подняла руки, приглаживая разлохмаченные волосы, и от света окна рубашка ее стала прозрачной, внутри обозначилась голая ее фигура, высокая молодая грудь, длинные полные ноги.

Лосев сбился с мысли, и, еще не думая зачем, он встал, подошел к ней, но Таня отстранила его — «подождите».

Наморщив лоб, застыла, вдумываясь, словно вслушиваясь, и, наконец что-то найдя, похолодела лицом,

и твердо, убежденно стала доказывать, что Уваров *на- рочно* забирает Лосева к себе, чтобы легче прошло черное дело с Жмуркиной заводью. Ей все стало ясно, вся дьявольская механика этого коварного хода. В итоге на Лосева свалят вину, замарают его честное имя перед лыковцами, выставят так, что Лосев пошел на сделку, его купили повышением в должности. Уварову только и надо, лишь бы отвести от себя все упреки.

Пылая гневом, она разоблачала низкие замыслы Уварова, так истолковывала его слова, что Лосев прислушался. Злость помогала ей, злость часто делает людей проницательными. За преувеличенными ее страхами и подозрениями Лосеву увиделось, как будущий председатель горисполкома пожмет плечами: «Я тут ни при чем, товарищи, Жмуркину заводь взяли у нас по согласию Сергея Степановича, хотелось ему уважить своего шефа». И далее будет подмиг — сами, мол, понимаете, уступил в ответ на назначение... А то, как Лосев протестовал, хлопотал, бился — об этом не вспомнят. Останется одно — уважил шефа, и подмиг. Чего доброго, прилепится, потянется за ним запашок сделки. Можно убеждать себя, что плевать на сплетни с высокого дерева, поскольку он чист и знает, как было на самом деле. Однако все равно запахнет. Его могли ругать сухарем, невеждой, выскочкой, считали, что он заносится, хамит — разного по дороге цеплялось репья, — он внимания не обращал, на всякий чих не наздравствуешься. Но то, что касалось порядочности, Лосев воспринимал с чувствительностью повышенной. Характер у человека, считал он, может быть любой, а вот репутация должна быть незапятнанной. Когда кто-нибудь из его работников совершал поступок сомнительный, Лосев становился неумолим. Понятие порядочности было туманным, бесформенным, но каким-то образом понимали, что Лосев имел в виду, когда спрашивал, порядочный ли тот человек.

После истории с Антониной мир качнулся. Что-то подозрительное стало твориться вокруг его имени. Приторная жалость, вздохи, поднимались брови, отмалчивались, если говорили, то как-то смутно. Ему чудилось, что в городе узнали, слух расползается. Ни у кого, даже у своей сестры, Лосев не спрашивал, не проверял. Прав он или не прав, ничего не значило, важно было, что у него в семье что-то произошло.

Тогда он справился с собою, но собственная беда заставляла его призадуматься, многое перестало для него быть бесспорным, он обнаруживал противоречия там, где раньше все было так просто. С годами, казалось, все сложное должно было проясняться, а у него наоборот...

Если уж Таня про сделку упомянула, то другие, вроде Поливанова или Пашкова, наверняка это усмотрят и постараются расписать. Пока что Таня все валила на Уварова, но он понимал, что это прием, это нарочно. Вообще весь разговор стал неприятным, что-то открылось в Тане злое, какое-то давнее раздражение. И даже жалея Лосева, жалела она его свысока.

Ему вдруг стало грустно за них обоих.

Обхватив руками колени, сидел он на диване, в пижаме, расцвеченной желтыми полосками вроде тех, что были на обоях. Небритый. Неуклюжий. Нелепый рядом с Таней. Не знающий, что ответить.

Взять и отказаться от этой должности? Он вполне мог пойти и позвонить сейчас Уварову, сказать, что передумал, не хочет, отказаться — и точка. Отчетливо, с удовольствием слышал свой разговор отчаянного человека, которому все нипочем, ничего не жаль. Но следом кто-то показал ему диапозитив: стройка на берегу Плясвы — изрытый берег, штабеля плит, высокий железобетонный каркас нового здания над заводью. Был в этой картинке и сам Лосев. Его сопровождал новый председатель горисполкома, прорабы, инженеры, он что-то указывал, они записывали.

Видеть себя в роли первого зама было приятно, хотя была в этой картинке какая-то насмешечка: вертись не вертись, никуда не позвонишь, а все будет так.

Тут вспомнилось ему записанное в тетрадке отца про будущее, которое, возможно, существует заранее приготовленное. Как в поезде. Стоишь у окна и смотришь, как появляется платформа, девушка с рюкзаком. Будущее вдвигается в оконную раму. Оно ждет за краем окна уже готовое. Нам кажется, что оно возникло, а на самом деле мы доехали до него, то есть дожили. Оно давно было приготовлено там, впереди.

Вставили новый диапозитив, другую картинку, в которой ему предстоит очутиться — новоселье. Перевезет на новую квартиру сестру с племянником, сестра напечет пироги с капустой, с мясом, он пригласит Грищенко, Аркадия Матвеевича, Наталью. Пригласит и Уварова, да тот не придет, и все будут поздравлять Лосева

с повышением... Жизнь просматривалась вперед вплоть до мелких подробностей, как в сильный бинокль. Стоило подвернуть окуляры — и можно было увидеть его командировки в Москву, в Госплан, его новый кабинет, который он хорошо знал, потому что это был кабинет бывшего первого зама, ныне пенсионера, виделось, каким станет кабинет, когда стол переставят к окну и на подоконник поставят китайскую розу. Все было известно наперед. Например, в какой санаторий ему теперь будут давать путевку.

Предстоящая жизнь его была расписана, был нерушимый ее распорядок, выдавался с должностью.

Лосев вскочил. Эх, была б гитара, он сыграл бы, спел назло принуде, которая управляла им, лишая его всякого выбора. Сделать бы что-нибудь *такое*, ни с того ни с сего.

Но сколько он ни прислушивался к себе, ничего не возникало *такого, необязательного, непредусмотренного*; придумать, конечно, можно было, но это не то.

Он опустился на четвереньки, уставился на затоптанные разводы ковра. Пахло пылью. Пижама с желтыми полосками делала его похожим на ряженого тигра.

Год за годом он делал то, что положено, привык, окончательно привык. Неизвестно, что мешало ему нарушить, словно наткнулся на какую-то силу...

Неуклюже уселся на диван. Таня не поняла, но смотрела на него весело, готовая принять участие в игре. Он сидел печальный, поджав ноги.

— Ну и что же вы придумали? Как вы решили бороться? — спросила она.

Лосев не откликнулся. Тогда она посоветовала ехать в Москву хлопотать, можно еще успеть, во время экскурсий многие предлагали ей свою помощь — дочь одного министра, заместитель редактора московского журнала. Стоит бросить клич, и люди помогут.

— Я к ним обращусь, если вам неудобно. Мне удобно. Мне бояться нечего.

Неосмотрительные ее слова взорвали его:

— А мне тоже нечего бояться, к вашему сведению! Я к Уварову иду не ради карьеры! И не потому, что меня обкрутили. Я все понимаю, — он стукнул себя кулаком по колену. — И если я так делаю, значит, так надо!

Таня зябко съежилась, укрылась на кровати.

— ...Уважительная у меня причина! — говорил он победно. — Знаете, ради чего я иду?.. Хотите, скажу?

Хотя причина пришла ему в голову только что, но он верил, что существовала она и раньше, такая она была простая, убедительная. Заключалась она в проекте туристского центра, который он изложил Уварову и сейчас стал повторять Тане. Расписывал увлеченно, с пылом, свободней, чем в уваровском кабинете, как все надо устроить, возводил монастырские стены, реставрировал башенки, терема, золотил маковки церквей, малевал вывески, пока не вырос несколько пряничный, сочиненный из всех мечтаний, и ее, Таниных, в том числе, но подлинно старинный городок. Коммерчески выгодный — с трактирами, медовой брагой, с блинами и забытыми ремеслами вроде гончарных, берестяных, кузнечных и, конечно, изразцы на местных глинах, с цветной глазурью и красками большого огня. Реализовать такое поможет его новая должность. Оттуда, сверху, легче протолкнуть, средства изыскать. Ради этого и согласился он. Вот в чем его оправдание. Чем власти больше, тем скорее можно осуществить его план. Не ради себя он старался. Он готов был, если угодно, *перетерпеть* за такое благородное дело, *пострадать* от всяких сплетен...

Таня не перебивала, слушала внимательно.

— Теперь понятно? — спросил он.

Она опечаленно кивнула.

— Почему вы не согласны? Чем-то приходится жертвовать. В данном случае — Жмуркиной заводью. А вы как думали?..

Он увидел ее взгляд и рассердился:

— Ну не мог я отбить ее! Не мог! Невозможно было!

Таня покраснела, сказала пристыженно:

— Так-то так... Извините, но нехорошо, что это совпадает с вашей выгодой. Вы сами ничем не жертвуете. Я вам, конечно, верю, дивная идея, но она вас ведет наверх. Вы отдаете Жмуркину заводь, а получаете взамен... Это не совсем честно.

— Что нечестно? — растерянno спросил он.

— Ну, этот туристский центр, вы же из-за него меняетесь. А какое право у вас на такой обмен?

— Хорошо же вы обо мне думаете!

— Вы не виноваты, вам расставили ловушку, — холодно сказала Таня. — Вы попались на расчеты: столько-то пользы, столько-то вреда. Но вы же не станете ид-

ти против своей совести, Сергей Степаныч, пусть польза, выгода, пусть ради города — все равно не станете! — Она стиснула пальцы, глаза подняла, моля подтвердить, не зная, какие еще слова найти. — Вы давным-давно заслужили повышение, я рада за вас, честное слово! Но не так. Не уступая. Ведь можно еще бороться.

Он увидел, что она думает про него. Нашлась живая душа, которой важно то, что с ним происходит. Какое это счастье! В той машине деловой жизни, что крутила его столько лет, редко кто интересовался им самим, каждый занят был собою, своими переживаниями и каждый мечтал, чтобы кто-то другой вник в его заботы и чувства. За ее волнение он прощал неприятное в ее словах. Он смотрел на нее с нежностью, на побелелые в сгибах пальцы, на гладкую ее сверкающую шею, слушал ее теплый голос:

— Я помогу вам, вот увидите, это справедливое дело, с ним можно пойти куда угодно!

Потом он вспомнит ее слова, но тогда не обратил на них внимания, что она могла, эта пигалица? Наивный энтузиазм ее мог сколько угодно биться о стекло вежливо внимающих консультантов, референтов, помощников, молодых людей, готовых пойти навстречу, разобратся, выяснить, помочь, поскольку обратился рядовой труженик из провинции, готовых даже на звонок Пашкову: «Что у вас там?..» Слишком хорошо он знал этих вышколенных, увертливых ребят...

То, что смутно беспокоило Лосева во всей этой истории, теперь Таня произнесла вслух, она определила болезненное место, и с этой минуты Лосев стал ощущать дурное и стыдное в своем согласии. С любым другим Лосев перевел бы разговор на дело и там логически доказал бы правильность своего решения, никакого иного решения не существовало, в сущности Таня ничего другого и не могла подсказать. Совесть, душа... Все это для Лосева оставалось милым детским лепетом. Действовало скорее то, что Таня *выгораживала* его.

В мыслях его наступила путаница. Где-то проскакивал кликушеский голосок Ильи Самсоновича: «Дух сомнения! Беги его! Не допускай, стронешься — и невесть куда потащит!..» И он не хотел сомневаться...

Хмурые тени бродили по его лицу. Он не умел спорить с собой, он умел приказывать себе, делать выводы, взвешивать пользу и вред, подавлять ненужные колебания. Сейчас он перестал быть хозяином положения, то,

что происходило, происходило с ним самим, и он уже не мог ни подавить, ни взвесить...

— Бедный вы мой, — сказала она, тронутая его печалью. Глаза у них встретились, ударились друг о друга. Лосев облизнул пересохшие губы, и в этот момент Таня произнесла:

— Идите ко мне.

ГЛАВА 19

Зрение медленно возвращалось к нему.

И слух.

Он слышал стук своего сердца.

Оно билось, колотилось с размаху о грудную клетку. Рядом он слышал, как бьется ее сердце.

Только что они составляли одно целое, у них было одно сердце, они были единым существом, то, что было хорошо одному, то было хорошо и другому, каждый старался угадать желание другого, сделать другого счастливым. Любим своим изгибом тело старалось соединиться с другим телом. Казалось, ничто не могло отдалить их друг от друга. Они пребывали вдвоем на пустынной голой земле. На ней не осталось ни городов, ни рек. Остановились стрелки всех часов. Время кончилось. Ни звука не проникало к ним.

То, что их волновало, еле различалось с высоты. Маленькие, крохотные предметы — и эта заводь, и этот Уваров — ничего не стоили в сравнении со счастьем, которое они испытывали. Это был взрыв жизни, окончательная истра́та ее, состояние наибольшей полноты и наибольшего опустошения.

Горячие тела их лежали обессиленные, впитывая покой. Плечи, ноги еще соприкасались, но течение уже разносило их обоих. Они медленно всплывали, поднимались к свету. Разлука брезжила где-то наверху. Так бывало всегда. Близость, предельная, казалось, близость, и расхождение.

Опытность ее была неожиданной. Опытность и откровенность. Она не стеснялась ни в словах, ни в жестах, но Лосеву это нравилось и было жаль приходящего отчуждения.

Лицо Тани поднялось над ним, влажное и счастливое. Капельки пота блестели на верхней губе. Лосев разглядывал ее лицо, учился читать его.

Без очков зрачки ее стали большие, жгуче-черные. Только что в них распахнулось навывлет, насквозь, и вот уже в глубине появилось новое, ускользающее, непонятное.

Тело у нее было сильное, послушное. Оказалось, она была замужем, вышла на последнем курсе института. Через год разошлись. Скучно было с ним. И в постели скучно, несмотря на то, что видный был парень и спортивный. Рассказывала она без смущения, простыми словами, которые сперва казались грубоватыми, но после них все остальное становилось манерным. Зачем-то Лосев расспрашивал ее о том, что было, не сразу почувствовав ее неохоту.

Забудем клятвы, данные другим,
Запомним клятвы, данные друг другу.

Она знала много стихов, произносила их вместо ответа, иногда невпопад, хотя потом какой-то смысл появлялся. Стихи объясняли больше обычных слов. И подходили они к ним обоим поразительно ловко.

Какое счастье сон вдвоем —
Кто нам позволил это?

Лосев удивлялся количеству существующих на свете стихов обо всем том, что происходило между ними. Обозначить это словом «любовь» было неинтересно, оно обезличивало. Да и слова этого он опасался. Между ними возникали тонкие и разные чувства и душевные перемены, и только стихи могли как-то эти чувства уловить и назвать.

Серенький, морозящий денек прильнул к окну. Утро двигалось медленно. Они засыпали и просыпались под дозорный перестук капель у водостока. Старая гостиница имела толстые стены. От них возникал покой и защищенность. И двери в номере были массивные, и ручка на них была бронзовая, литая, тяжелая.

Они жили здесь долго, давным-давно, отделенные от всего мира. Иногда она будила его, шепча на ухо стихи или напевая своим теплым, замшевым голосом:

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди,—
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

Последние строчки она заставила его повторить и восхититься их красотой. Впервые после школы он

произносил стихи. Язык его ворочался неуклюже, теряя ритм, сбиваясь. Слыша свой голос, он усмехался. Уж больно необычны были для него слова, если бы кто-нибудь услышал его...

Она распахнула окно, стала, раскинув руки, в своей прозрачной рубашке. Позвала его, поддразнивая: убоится? И он пошел на эту детскую подначку, встал рядом с ней на виду улицы. Внизу шли воскресные люди, ели мороженое, несли арбузы, с неба прикрапывало, тонкие блески проносились мимо, соединяя их с небом и землей. Люди не смотрели на них, занятые делами собственной важности, хотя кто-то, конечно, видел их; этому обязательному соглядатаю Лосев показал язык...

В молодости, да и позже, начав работать в районе, Лосев гулял крепко и жадно. Девки любили не хмельное его веселье, а решительность. Считали его ходоком и тем не менее липли к нему. И никаких сплетен о нем не бродило, никого, кроме своих ребят, эти шашни не интересовали. Став начальством, он почувствовал, как все осложнилось. И женщины так просто не отвязывались, и все делалось известным. Дошло до того, что его вызвали, предупредили, и он себе раз навсегда запретил. Либо служить, либо гулять. А когда женился, надолго завязал. Во всяком случае, у себя в городе себе больше ничего не позволял, глаз даже не клал. Нельзя так нельзя. Власть и должность налагали свои ограничения. Лосев давно усвоил, что за все приходится платить. Правда, уезжая в отпуск, куда-нибудь на побережье, он не сторонился. Получалось это само собой, опять-таки без усилий с его стороны. Ни разу эти увлечения не захватывали его всерьез. Он вообще не очень представлял, для чего всерьез заниматься этим чувством. Женщины нравились ему разные, лишь бы фигура была хорошая. Есть мужчины, которые предпочитают красивое лицо, есть, которые ищут душу, и есть, которым прежде всего нужна хорошенькая фигурка. Лосев называл себя «фигуристом». Эта сторона существования была ясна, женщины были украшением жизни, источником радостей.

После разрыва с Антониной уверенность в себе пропала. Впервые женщины предстали существами сложными, опасными. Он перестал ценить свои краткие победы. Никакие это не были победы, в сущности, он ни-

когда не завоевал сердце женщины. Из того, что они ложились с ним в постель, не значило, что они любили его. Вполне возможно, не он, а они играли им, получали его, когда сами хотели, и оставляли... В Москве он еще раз убедился, что не понимает женщин. Произошло это с Галей, крымской его знакомой, рослой, чрезвычайно активной девицей, которая в первый же вечер после танцев, когда они остались вдвоем, предложила спуститься на пляж и купаться голыми. Она была кандидатом химических наук, лихая на язык, знающая все обо всем и обо всех, типично московская дамочка. Приехав зимой в Москву, он встретился с ней в гостинице, и она пригласила на завтра к себе. Он приехал, ни о чем не подозревая, она открыла дверь, чмокнула его в щеку, ввела в комнаты, где была какая-то пара и высокий блондин с доверчивым приятным лицом. Звали его Олег, оказалось, что он муж Гали. Она знакомила их, прикусив улыбку. У Лосева хватило выдержки не смутиться, даже на гитаре сыграл, завязал с Олегом разговор о причинах пьянства, поскольку Олег занимался психологией. У Олега на сей счет имелись остроумные идеи. Слушая его, Лосев казался себе провинциалом — и статью недопёка, и умом недотыка. Чего Галину завело, какого рожна ей не хватает? Снова и снова женская натура ставила его в тупик.

На следующий день она явилась к нему в гостиницу, как ни в чем не бывало, в новом парике. Лосев спросил, зачем ей понадобилось вчерашнее представление. Она рассмеялась: друг дома — всегда считалось пикантным, создавало остроту. Но у Лосева маячил Олег перед глазами и прикоснуться к ней он уже не мог.

— ...Сказать, с чего я стихи полюбила? В меня студент-практикант влюбился. Я тогда в десятый класс перешла. Он уроки истории у нас давал. Я была *той* девочкой. Теперь я это по-учительски понимаю. Трудновоспитуемой. У нас была компания будь здоров. Каждый вечер я с ними. Студент этот клеился ко мне с большой силой. Чем-то я его привлекала. Я ему говорю, достань мне жвачку или хипповую сумку — торбу — тогда посмотрим. Я прежде всего хотела наших мальчиков поразить. Приходит он к нам на торчок и, представляете, приносит мне цветы. Это смешно в той обстановке. Я озлилась, что мне с вашими цветами де-

лать, говорю, у нас цветов полный огород. Ну уж я над ним покуражилась, все ради публики старалась и выкинула их. А там, в букете, стихи были. После нашли. Хорошие стихи. Я читала и плакала. Никто больше мне цветов не дарил. Ученики только в день Восьмого марта приносят...

— Я тебя давно хотел спросить — почему ты заплакала, когда у меня в кабинете картину увидела?

— Ох, лучше не надо об этом.

— Не надо, так не надо...

— А ты что тогда подумал?

— Я, честно говоря, подумал — блажная. Нельзя из-за картины плакать.

— Я не от картины. Я над собой плакала... В училище я мечтала художником стать. Много писала. Меня хвалили. У меня было не хуже других. Я чувствовала, что все это не то, не то. Чего-то не хватает. Утешала себя — придет с возрастом, нужен опыт жизни, культура... В учительницы пошла, но все же втайне не теряла надежды. А когда увидела астаховскую картину, я все поняла. Ведь я этот вид сколько раз писала. Мои утешения, что учителя у меня были плохие, что мне что-то откроется, все рухнуло. Я *недостижимость* поняла. Всю разницу между посредственностью и настоящим талантом... Нет, нет, не бойся, это уже не слезы, так... Я рада, что так получилось. Астахов мне помог. У меня и раньше, как смотрю великую картину — тоска нападала. Счастье и одновременно тоска. И руки опускаются. Я часто думала об этом. Теперь поняла — это тоска от совершенства. Видишь, как ты мала. То, что зрело в тебе смутно, неосознанно, уже существует. Оно сделано. Твоя мечта. Твои сны. Значит, то несостоявшееся, то, не возросшее в тебе, — убито. Я сразу увидела, что вот так надо было написать дом Кислых, только так, это моя картина... Хотя что-то в ней кроме того еще есть, какой-то дополнительный секрет...

— Все-таки почему ты отказалась перейти в музей?

— А мне в школе сейчас хорошо. И экскурсии, и кружок. Я ребят люблю.

— Надо вперед смотреть. Так и будешь учительницей?

— Ты как моя мама.

— Ты про будущее думаешь?

— Не думаю, а мечтаю.

— О чем?

— Неважно... Пока мне хорошо, я не хочу ничего рассчитывать. Перестанет быть хорошо — уеду.

— У человека должна быть цель, идея жизни. Ведь ты учишь ребят идти вперед. Мне казалось, что работа в музее — это рост, перспектива.

Она потянулась, погладила себя по бедрам. Лосев что-то еще говорил про способности, а она, тихо смеясь, прижалась к нему.

— Выше этого ничего нет и не было, — затуманенно говорила она. — И быть не должно.

Самоуверенное «не должно» — поразило Лосева. Все его воспитание, вся привычность его суждений возмутились, и в то же время втайне, со сладким стыдом, он признавался себе, что да, так оно и есть...

Как ни крутись, личная жизнь для большинства людей, которых он знал, в конце концов была самым главным. И для него самого. Потому что жизнь, которую он вел после ухода Антонины, которая вся состояла из работы, была не жизнь, нельзя подобного требовать от других людей...

Как-то пришел к нему на прием инженер Пименов из промкомбината, просил комнату для дочери. Стал излагать, вдруг горло перехватило, чуть не разрыдался, выбежал, так и не договорив. Вечером Лосев зашел к нему домой, все-таки человек заслуженный, активист. Посидели, чай попили, вышли во двор, и Пименов рассказал. С дочерью у него отношения разладились. И раньше она росла диковатая, с людьми сходиться не умела, страдала от этого. С возрастом совсем замкнулась. На работе ее не выносят, но он-то чувствует, что внутри у нее душа живая, томится и чахнет, и гибнет, а высвободить ее нет возможности. Когда, из-за чего это получилось — он один знает. Его отцовская вина. Мать болела, все по больницам, а он дочкой не занимался, не до семьи было, каждую минуту общественной работе отдавал, семьей жертвовал. А зачем? Жена так и умерла в больнице, на чужих руках, навещал ее наспех, то актив, то комиссия... Зачем это все было? — допытывался у Лосева этот седеющий, с хорошо поставленным голосом, безотказный, аккуратно записывающий выступления на семинарах, на заседаниях... Лосев как мог утешил его, и с комнатой дочери помог, но после этого, слушая на каком-нибудь активе его горячее выступление, всегда испытывал неловкость.

— Какая ж у тебя личная жизнь?

— Бурная. Ребята. Я люблю возиться с ними. Потом родные. У нас семья большая. Потом сватаются ко мне... И вообще.

— Кто сватается?

— Да хоть бы Рогинский.

— Рогинский?.. И что ж ты?

— Он хороший, честный, но ему жена нужна для порядка, а не для любви... Мне любовь хочется испытать. Настоящую. Великую и вечную. Как по-вашему, была у Астахова такая любовь? Я кругом себя не могу обнаружить. У всех какая-то синтетика. Неужели я не в состоянии внушить такую любовь? Как по-вашему?

— Можешь, конечно, но лучше самой полюбить.

— Наконец-то получила указание... Еще бы сообщили, кого и как... А если я не умею? Эх, знали бы вы, какая гадость у меня на душе от замужества осталась. Нет уж.

— И что же?

— Погуляю еще годик и рожу сына. Или замуж выйду.

— За кого же?

— Может, за Рогинского. Может, еще за кого-нибудь... А может, за вас!

Лосев рассмеялся, но ничего не успел сказать.

— ...Нет, пожалуй, лучше за Рогинского. Вам я не нужна. Вам никто не нужен, вы все сами можете. А мне куда-то силы надо приложить, я бы столько могла... Рогинский меня к дому приключит, я ему сделаю, как он мечтает — первый дом в городе, в славянско-техасском стиле. Приемы с пирожками, виски. Смотрим телевизор, все по очереди говорят тосты... Или как теперь принято — *поднимают тосты*. Приезжие артисты и поэты расписываются в альбоме, а не то еще на скатерти, а завтра я вышиваю их высказывания.

— С чего ты взяла, что мне никто не нужен? Ты вообще про меня ничего не знаешь.

— Ошибаетесь. Во-первых, я у Поливанова спрашивала. У него на всех председателей собраны данные.

— Что же он про меня сказал?

— Он все перетолковал не так. Например, он считает вас карьеристом. Что вас побуждала с самого начала не смелость, а карьеризм. Но ведь так можно все переиначить. Если бы вы карьеристом были, ого, вы бы уже

далеко ушли... У вас другая, совсем другая погонялка. Знаете, чем дети от взрослых отличаются? Дети уверены, что они все могут... Им все подвластно. По-ихнему, можно всех победить, всего добиться, совершить любые подвиги. И никогда ничего не бывает поздно. Вот в вас это сохранилось.

— Если бы...

Он представил себе астаховскую картину; если бы туда вернуться, в мир, который когда-то принадлежал ему полностью. Откуда она узнала?.. С дальними странами, звездами, с неоткрытыми закоулками природы. Он был в нем и летчиком, и серым волком, и парусником, и волшебником.

— А я адрес знаю, где вы жили маленьким! Ходила от школы до вашего дома. Представила, как вы мальчишкой домой возвращались, в столярную заглядывали, палкой сшибали крапиву, трескали по железной ограде. Я этот народец хорошо понимаю. И вас через школьность поняла...

— Да зачем тебе это?

— Интересно... Я знала, что мы вместе будем.

Она откинула лохмы тяжелых своих волос, подставляя себя внезапной его настороженности. Что-то поймав в его глазах, сказала, подтверждая:

— Точно! Меня многие считают того... с приветом.

Чуть заметно подмигнула, Лосев принужденно рассмеялся. Милые странности ее поведения опасно накрепчились, он поразился тому, как легко можно все перетолковать.

— Вы пробовали долго, долго стоять перед астаховской картиной? Так, чтобы уйти в нее?

— Да, да.— Лосев обрадовался перемене разговора.— Было дело, я на выставке, когда второй раз пришел...— Он потеплел взглядом, вспоминая, и даже сконфузился.

— Верно, она заговорила? Один человек сказал, что к настоящим произведениям живописи надо относиться, как к высочайшим особам. Надо стоять перед ними и ждать, пока они удостоят заговорить с вами. Я тоже дождалась...

Что-то яростное, беспощадное и от этого еще более прекрасное появлялось из глубины ее лица. Она смотрела на него, видела и не видела. Что было перед ней

в эти минуты? Теперь он знал, какая она бывает, и знал, что всегда будет добиваться, чтобы ее лицо стало таким.

Иногда на нее накатывала грубость, даже непристойность, она подзадоривала его, так что Лосев хохотал и радовался своей силе, он и не подозревал в ней такой неутомимости.

Она оставалась свежей, он наслаждался нежным запахом ее волос, ее тела...

Они все знали, какой он, — и Таня, и Поливанов, и другие. Они приписывали ему добродетели и пороки, о которых он не задумывался. Был ли он тщеславным? Карьеристом? Наверное. Он замечал в себе и это. Она уверяла, что он чуткий, смелый, искренний. Но он находил в себе и злого, и хитрого, и равнодушного. Девушки в облисполкоме считали его веселым и добрым, а лыковские девушки сухарем и нелюбезным. Все зависело от обстоятельств. По-видимому, он мог быть каким требовалось. Какой он на самом деле? Может, никакой? Когда-то характеру хватало, но со временем он убедился, что характер иметь невыгодно. Качествами характера пользовались. Играли одно время его вспыльчивостью, пользовались и отходчивостью. Он стал сдерживать себя, заставляя себя быть строгим. Анализировал каждый срыв. Он делал себя таким, каким полагалось быть руководителю. Нравился ли он себе таким, сделанным? Он не задумывался над этим. Слыл он человеком с характером, во всяком случае — не бесхарактерным. Но какой именно характер преобладал у него? Поливанов чернил его, Таня рисовала его восторженно: отзывчивым и самоотверженным, у каждого был свой Лосев, несхожий с другими, сам же Лосев не мог никого из них поправить и сказать — на самом деле я такой, а не такой. Потому что неизвестно, что значило «на самом деле» и что значит быть самим собой, если он им не бывает. Он попробовал все это выложить Тане и привел несколько примеров из своей биографии. Но Таня, смеясь, отвергла его примеры, она видела сокровенную изнанку его поведения, в которой всегда было какое-то благородство или честность. Казалось, что все превратности его жизни, со взлетами, неудачами, разочарованиями, вся бестолковость, случайность — все она сумеет соединить в стройность, увидеть смысл...

Все, все за исключением разлуки, которая их ожидает. И обмена, как она назвала. Слово *обмен* было так близко к слову *обман*. Ни она, ни он не возвращались к этому. Глаза ее горели ровным коричневым светом. Рука ее лежала у него на голове, перебирала волосы, гладила, и он не заметил, как заснул. Однажды он вынырнул из темной дремы и увидел, что Таня сидит над ним, щеки ее мокры от слез, он хотел проснуться и не мог, она прикрыла ему глаза ладошкой, и он, вдыхая запах, который стал родным, снова забылся, приняв это за извив сна, который он видел и в котором тревоги их счастливо разрешились, все каким-то образом уладилось...

Вечером он проводил ее на вокзал. Она уезжала в Москву, к сестре, на остаток отпуска.

Сквозь порыжелую листву чисто и ярко светили фонари. Троллейбусы, машины мчались, разбрызгивая лужи. В вокзале былолюдно. Сколько Лосев себя помнил, на всех вокзалах было душно, пахло потом, скамейки были заняты спящими, сидели на чемоданах, ели, пили, бегали дети, всегда было переполнено, всегда казалось, что идет какое-то переселение.

Таня держала его под руку, они ходили по платформе вдоль поезда, у зеленых отмытых дождем вагонов стояли провожающие и те, кто уезжал, возбужденные, ошпаренные. Все ели мороженое, и Лосев тоже купил два стаканчика. В Москве Таня собиралась навестить Ольгу Серафимовну, посмотреть письма Астахова, может, найдется какой след и удастся понять секрет лыковской картины. У нее была мечта написать об астаховских пейзажах. Лосев просил передать привет Ольге Серафимовне, он будет рад принять ее в Лыкове, ежели она пожелает...

— Хотя... — Он вспомнил и вздохнул.

— То-то и оно, — сказала Таня и посмотрела на часы.

Припудренная, гладко причесанная, в глухом черном свитерочке, она показалась сейчас Лосеву далекой, недоступной. Невозможно было представить, что недавно она принадлежала ему.

— Приедет, а вас уже не будет, — добавила она строго.

Лосев удрученно кивнул. Последние минуты они стояли у вагона молча. Проводница смотрела на них, и Лосев отпустил Танину руку.

— Не огорчайтесь, я все устрою,— сказала она и поцеловала его в щеку. Запекшиеся губы ее прижались к его щеке и замерли. Было в этом долгом неподвижном прикосновении доверие, от которого у Лосева защемило сердце, она провела пальцем по щеке, стирая следы помады.

«Что же я стою, надо же сказать ей, обязательно надо, я не должен сомневаться, я ведь решил...» — твердил он и продолжал стоять со слабой улыбкой.

Поезд тронулся, он пошел, не отпуская ее глаз за двойным окном. Она еще ждала, он сделал веселое лицо, помахал рукой. Она смотрела серьезно, запоминаяще.

Красные огни растаяли в темноте, и на душе у него стало пусто, как на этой зашарпанной дощатой платформе. Лосев пошел в буфет, взял с какими-то двумя работягами бутылку портвейна, задумчиво пил свой стакан.

Что же будет? — спрашивал он себя. Он ничего не мог изменить. Когда она вернется, все будет совершенно, утверждено. Она посмотрит на него так, как смотрела на Поливанова, уходя.

— Напрасно ты выражаешься,— сказал ему один из алкашей.— Нельзя выпивку портить матерщиной. Выпивка выше этого.

ГЛАВА 20

Многие полагали, что Лосева с его хваткой, опытом вскоре возьмут вверх, в нем виделся работник большого масштаба. В Лыкове для него напряжения не хватает, вполне накала горит... Вероятно, так оно и было бы, если бы Лосев всегда делал то, что нужно было ему делать, если бы он следовал правилам, которые он выработал для себя, которым его учил Фигуровский, да и следующий опыт. Но, к сожалению, время от времени он почему-то срывался, поступал вопреки своим правилам, своей пользе, делал то, что ни в коем случае нельзя было делать, и нужды на то не было, а делал.

Во время приезда очередного начальника из министерства директор ресторана осведомился, что готовить на обед — шашлыки, плов, рагу?.. Перечислил, красуясь, пока Лосев не поинтересовался — откуда мясо? Город уже месяц сидел без мяса, выбрав свои лимиты. Все это Лосев тут же пояснил гостю. Директор

ресторана удовлетворенно засмеялся — о чем разговор, это не проблема для такого случая. У Лосева глаза металлически взблеснули, прыгающим голосом он приказал директору немедленно сдать мясо в детский сад, и раз он такой доставала, то впредь обеспечивать заводской детсад мясом. Пообедать же придется по-вегетариански, как и до сих пор обедали. Полагаясь на искусство повара. Он извинился перед гостем, и гость просил ни о чем не беспокоиться, похоже, что ему понравилась такая революционность. Однако на следующий же день Чистякова возмущенно упрекнула Лосева за бестактность, негостеприимство, назвала это копеечной принципиальностью. Дошло до области, откуда позвонили — что случилось? Посмеялись, но когда Лосев туда приехал, пожурили, мягко и настороженно.

Местные политики считали, что такие курбеты мешали его продвижению.

В другой раз, вспомнив, видимо, школьные годы, стал на гитаре играть, выступил на концерте самодеятельности. Ему аплодировали особенно бурно, и разговоров было множество. Начальство же пришло в смущение, повторяя формулу, брошенную Чистяковой, — «гонится за популярностью». Ладно, в районном масштабе, а что как, став областным начальником, он позволит себе выйти на сцену с гитарой?

Считалось, что город по числу больничных коек чуть ли не в передовых. Но что это были за койки! Главная больница помещалась в бывшем постоялом дворе. В палатах от сырости плесневели стены, флигели темные, весь день при электричестве. Когда Лосев хотел закрыть оба флигеля, ему доказали, что делать это нельзя, «закрыть» койки можно лишь с разрешения министра, а министр не разрешит, больница числится как образцовая, зачем ухудшать районные показатели, не только районные, но и областные. До него пытались этот вопрос пробить — не получилось, но Лосев вынес вопрос на исполком, привлек депутатов и показал, что больница никакая не передовая, а невозможная для пребывания. Молодежь сняла ему фильм, где были плесень и подтёки на стенах, вросшие в землю бывшие конюшни, холод в палатах — больные в пальто... Лосев с этим фильмом добрался до министра здравоохранения, пятьдесят коек были закрыты, и после этого удалось внести в план строительства новую больницу.

Конечно, он мог сорваться на этом деле, это был риск, он сам себе отрезал пути отступления, если б он вернулся ни с чем — ему пришлось бы уйти.

Время от времени что-то такое в нем взбрыкивалось, он и сам не понимал почему.

В остальном же он вел себя умно и расчетливо и многого добился. С помощью депутатов пересмотрел городские показатели. Выяснилось, что не у двадцати, а у всех тридцати пяти процентов населения нет водопровода, что посадочных мест в столовых и ресторанах меньше, чем числится, что на каждого жителя бытовых услуг приходится всего на двенадцать рублей. Город сполз на предпоследнее место в области. Правда обходилась дорого. Но зато, как говорил Лосев, она и стоила того. Горожанам нравилась его открытость, что он боролся с враньем, понимали, что простодушие его — прием, что на самом-то деле он себе на уме. Выше головы он не прыгал, действовал «в рамках» и, если чего не мог, признавался не без цинизма. Когда, допустим, его критиковали за загрязнение реки, он откровенно объяснял, что строить очистные сооружения ему невыгодно, потому что плана они не дают, план дают — дома. Нравилось и то, что был скуп на обещания, зря не сулил, умел отказывать сразу, без проволочек.

Последние годы он стал уставать от людей. Летом, в воскресные дни, он уходил далеко вверх по берегу Плясвы, в глухие камышовые заросли, туда, где Плясва сужалась до ручья, там были места с каменистыми берегами и отлогими плитами. Он подолгу сидел, опустив руку в воду. Нити воды местами запутывались, кончики пальцев скользили по вздутым узлам, выскивали тугие сплетения, клубки, над которыми вспыхивала пена. Большой частью нити струились ровно в своем *ламинарном* движении. Он вспоминал эти красивые термины из гидравлики — ламинарное, турбулентное движение...

Струи воды колыхались всем потоком. Рукопожатие воды всегда было дружеским, как бы ни сводило пальцы от холода. Слои воды были разной температуры, и это он тоже ощущал. Удочки лежали на берегу, он их брал с собою, чтобы избавиться от расспросов.

Вода успокаивала. Он начинал чувствовать, как устали мускулы лица. Что-то они изображали. Какое-то выражение. Невозможно было от него избавиться, содрать его.

Уставал он оттого, что работать становилось все труднее. Верхний слой работы он снял, теперь надо было зарываться глубже и глубже. Все больше времени уходило на то, чтобы кого-то убедить, уволить, отбиться от очередной перестройки, требовалось все больше отчетов, сводок, бумаг, иногда ему казалось, что люди работают все хуже, и у него все меньше было времени следить, проверять, заставлять переделывать...

Иногда он обнаруживал, что к нему относятся неприязненно только потому, что он начальник. На сессии в перерыве он подошел к Марии Завьяловой, закройщице швейной фабрики, женщине крупной, красивой.

Она стояла с подругами в длинном синем платье.

— Привет,— сказал Лосев,— как дела, Завьялова? Как жизнь молодая? Смотри, платье длинное надела. На сессии это необязательно.— Он засмеялся, и собеседницы Завьяловой засмеялись, она же стала почему-то серьезной. Лосев заметил это, но, не придав значения, продолжал прежним, покровительственно-хозяйским тоном, как до этого обращался к другим, как когда-то обращались к нему.— Ну, как с планом?

— Нормально.

— А на личном фронте?

Завьялова подняла брови и произнесла звонко:

— А как ваши дела, Лосев? Как у вас с супругой?

Он растерялся, а она с напором, наступая, продолжала:

— Не привыкли? Что касается платья, так я тоже могу... Разве идет розовенький галстук к черному костюму?..

Те же женщины прыснули искренне, невольно.

С трудом, кое-как, он вышел из положения, выставив свою огромную простецкую улыбку:

— Правильно!.. Вы молодец! Так мне и надо!..

Но когда Морщихин, зав. коммунальным отделом, стал возмущаться бестактностью Завьяловой, назвал это выпадом, добавил про ее предстоящий развод,— дело, недостойное звания депутата,— Лосев не одернул его.

Негодование Морщихина было приятно, успокаивало.

В отношениях с женщинами, особенно не старыми, интересными, какой бы ни шел разговор, у Лосева присутствовала какая-то добавочная, не мешающая делу игра, хоть самая малая, но все же она происходила. Не-

зависимо от его воли что-то проскальзывало из глаз в глаза. Завьялова же смотрела на него иначе, поэтому и не приняла его тона. Он для нее не существовал как мужчина, существовал исключительно как должностное лицо, как чиновник, не больше.

Такое существование было неприятным открытием, надо было привыкать к тому, что его воспринимают лишь служебно, в точно очерченных рамках, где есть свой юмор, своя фамильярность, и ничего за пределами. Он стал суше, не рисковал, все чаще превращая разговор в чисто деловое общение. И шутки его, байки, которые он умел преподносить, все больше вставлялись для дела.

...Бритва, чуть подвывая, срезала жесткую щетину на подбородке. Лосев следил в зеркале, как щеки становились гладкими и большой его тяжелый подбородок начинал блестеть. Он растирал лицо одеколоном, чтобы щипало и жгло, и в эти минуты ему всегда приходила мысль, что он только что брился. То есть вчера. Вчерашнее утро было только что. Сутки промелькнули незаметно, и вновь он оказывался у зеркала. Каждый раз он ужасался, что ничего не успел. Прошли те времена, когда он горделиво шествовал по городу, любуясь своим хозяйством. Ныне он повсюду натыкался на то, что не сумел, не успел сделать. Не смог построить овощехранилище с хорошей вентиляцией, получилось черт те что. В столовых летом не было зелени, никак было не заставить директоров. Любая мелочь требовала все больше энергии, а главное — времени, времени...

Отчасти он даже обрадовался, попав в больницу после спазма. Недели две он лежал неподвижно. Врачи спрашивали, не было ли у него нервного потрясения, он слабо мотал головой. Решили, что спазм от переутомления, много работал, два года без отпуска, ненормальный режим... Он не спорил. Никто не догадывался об истинной причине — ни врачи, никто в исполкоме. Хотя все произошло на виду, два месяца назад...

К нему никого не пускали. Ни записок, ни книг, ни радио, лежите и сосите лапу, как сказал пожилой невропатолог. Он лежал один, в маленькой палате, почему-то с зарешеченным окном. Стоило резко поднять голову — стены шатались, пол накренился и в голове переливалось тяжелое, как ртуть. Впервые он остался надолго наедине с собой. «Не думайте о делах» — но, кроме дел, он не знал, о чем думать. О себе он думать не

привык. К нему пытались пробиться все больше по служебным вопросам, сестра присылала пирожки. Лосев гадал — кто приходил навестить его просто так, по дружбе? Кроме военкома, про остальных думалось неуверенно. Последний год, до отъезда Антонины, они перестали звать к себе и сами ни к кому не ходили. Когда она уехала, Лосев не возобновил прежнее гостевание, рад был каждому спокойному одинокому вечеру.

Как ни избегал он думать, мысли его вновь и вновь возвращались к той аварии на хлебозаводе, которая произошла месяца два назад, в начале зимы. К Лосеву примчался директор Ширяев — авария, завод остановился! Ширяев путался, запинаясь от страха, пока не удалось выяснить, что ремонт, который он вызвался провести хозспособом, своими силами, провести не сумел, доложить побоялся, понадеялся на авось, и теперь что-то обвалилось, печи встали. К тому же он послал в область паническую телеграмму, что окончательно вывело Лосева из себя, Лосев пообещал отдать Ширяева под суд, он кричал на него, стараясь перекрыть плаксивый его скрипучий голос, и Журавлев тоже орал на Ширяева, на него кричали все, потому что он был виноват, потому что авария грозила городу бедой, потому что он держался глупо — бессмысленно твердил — «передоверился», свалил вину на мастеров... Ширяева тут же отстранили от работы, несколько суток Лосев провел на хлебозаводе, организуя ремонт, и в той горячке смерть Ширяева от инфаркта прошла незамеченной. Потом на прием к Лосеву пришла вдова Ширяева, рассказала, как, вернувшись из исполкома, муж лег на диван, накрыл лицо газетой, ничего не говорил, потом что-то закричал, она вбежала, а он уже не дышит. Она ни в чем не винила Лосева, рассказывая, как бы мирила Лосева с покойным. Грузная, рыхлая, она была похожа на Ширяева, стул под ней скрипел, напоминая пронзительный вопль Ширяева. Вспомнил Лосев свой безобразный крик. Зачем он орал на этого старого человека? Криком ничего нельзя было исправить, но в том-то и штука, что хотелось прежде всего выместить, наказать, сделать ему побольнее. И когда Ширяев схватился за сердце, — господи, да ведь он же схватился за сердце! — появилось злое удовлетворение, а, кажется, Журавлев крикнул: «Не прикидывайся!»

Понимали, что инфаркт был от расстройства, от того, что в исполкоме накричали, но никто не ставил это Ло-

севу в вину. Считалось, что Ширяеву не повезло, сердце оказалось слабеньким, накануне грипп перенес. Вдова пригласила Лосева на сороковины. Неожиданно для себя он заехал к Ширяевым раньше. Жили они в блочном доме, на первом этаже. В большой комнате занимались взрослые дети, в маленькой вдова писала открытки одиноквого содержания — сообщала о смерти мужа фронтовым его друзьям. Во время войны Ширяев служил оружейным техником, воевал, имел два ордена. На стене висел раскрашенный его фотопортрет в черных лентах. За стеклом розовощекий Ширяев выглядел лихо, самоуверенно, глядя на него, Лосев не чувствовал раскаяния. Диван, на котором умер Ширяев, был новенький. Лосев расспрашивал вдову — не говорил ли что Ширяев перед смертью. Наверное, если бы Ширяев пожаловался на него, Лосеву было бы легче. Ночью Лосев проснулся оттого, что стучали в дверь. Он встал, открыл дверь, никого не было. На завтра в кабинете, посреди дня, повторилось то же самое. Он заметил, что стал говорить тихо. Мысли его возвращались к тому дню — если бы он проявил сдержанность, Ширяев не умер бы? Следовательно, стоило чуть пожалеть этого человека, и все обошлось бы? Немного сочувствия к тому, против кого выступаешь, говорил Фигуровский. Теперь он понял эти слова...

Лежа в больнице, он думал о том, что выговоры, разносы, которые он устраивал у себя в кабинете, — как это смертельно опасно. Можно безнаказанно убивать людей — это его ужасало.

Больничные ночи длинные, бессонные. Слышно, как стонут, страдают люди, жизнь человеческая трепещет, словно пламя, задуваемое ветром, слабая и короткая. Лосев слушал, как билось его сердце, брал зеркальце и видел там человека с лицом болезненным, неприветливым, глаза испуганные, от этого подозрительные. Как только человек его замечал, он подбирался, разглаживался, появлялось уверенно-бодрое — все в порядке! В следующий раз человек в зеркале так просто не подавался, врасплох его уже застать было нельзя. Внутри того Лосева, которого видели все, был другой Лосев. Но большей частью этого другого Лосева нельзя было обнаружить, казалось, его не существует. Из глубины зеркальца его разглядывал взрослый мужчина... Неужели это он Серега Лосев, неужели его мама считала красавцем, счастливо терлась щекой о его лицо?

Он смотрел на себя не узнавая — какое отношение он имеет к этому человеку, почему он в больнице? Он изумлялся своей жизни, которая вынесла его именно сюда, на эту отмель, в эту палату.

Вечерами к нему проникал Матвей, городской забулдыга, которого Лосев давно грозился направить на принудление. Было ему под сорок лет, богатырского сложения, с печатью пьяницы на умном и безвольном лице. Страдал он какой-то костной болезнью и, кутаясь во фланелевый, мышинного цвета больничный халат, сидел в угол к батарее. Оттуда тихо и мечтательно развивал очередную свою идею всеобщего счастья.

— Ты зачем пьешь, Матвей? — спрашивал его Лосев, которого подобные проекты мало занимали.

— Пью? Чтобы выпить, — не задумываясь отвечал Матвей.

— А не работаешь почему?

— Чтобы не огорчаться.

Когда Матвея удавалось вывести из елейно-мечтательного состояния, он становился занятно едким.

— Не работаю?.. Потому что честный человек.

— Как это?

— Вы меня тунеядцем числите, а я почестнее ваших бюрократов. Что они у тебя делают? По телефонам болтают, по магазинам шмыгают. В рабочее время свои единоличные делишки обделывают. А я, между прочим, за свой счет бездельничаю, бесплатно для государства!

Однажды он признался, что считает себя виновником смерти жены, загубил ее и с того времени запил.

— Пью вместо покаяния. Заливаю совесть. Растолкуй мне, пожалуйста, — почему мы не каемся? Безобразничаем и не каемся?

— Кому каяться?

— Хоть бы людям другим. Встать перед ними и повиниться. Так, мол, и так, вор я, душегуб. Топчите меня, я человека замучил...

Это верно, он прав, думал Лосев, почему я не могу признаться, ведь виноват же я в смерти Ширяева, а не могу сказать это. Матвей может про жену свою, а я не смею, хотя бы так, как он...

Он вспоминал разные происшествия, какие происходили вокруг него, и с удивлением не мог найти случая, чтобы люди каялись оттого, что их замучила совесть, признались бы сами в злоупотреблениях, в том,

что грубы, злы, несправедливы... Как-то даже было смешно, странно представить такое.

— Вот ты призываешь меня к работе,— рассуждал Матвей.— Согласен. Но ты сперва мне растолкуй — для чего работать?

Выслушав Лосева, он разочарованно вздыхал. Подхалтурить, схватить шабашку, чтобы прокормиться, это он понимал. Сверх того — пустое.

— Люди разделяются на две графы. Одни при жизни все стараются получить. Им должность подавай, а не уважение. Все выше, все больше, хватай, снова живем. Другие хотят осчастливить других людей, им важно — что о них подумают. Осчастливить можно по-разному...

— Я в какой графе числюсь?

— Про тебя все вначале радовались — наконец-то повезло нам. Квартиры инвалидам войны распределил — думаешь, не знаем? Роддом и без тебя бы отгрохали. А жилье воякам — твоя единоличная заслуга. Не стал бы грудью — и цедили бы по квартирке в год. Другие и не дожили бы. Роль личности в истории, между прочим, велика.

— Ну, а теперь?

— Теперь, Сергей Степанович, вы на вторую роль отодвинуты. Возьмем наш парикмахерский салон. Раньше чистоту наводят — сегодня сам Лосев придет! Стараются холопские души, себя показать хотят. Сегодня, знаешь, перед кем мастер крутится? Больше, чем перед вами, начальниками? Перед директором гастронома! Ему специальную, голубую салфетку держат. Маникюр ему делают. Представляешь? Сейчас они, завмаги — первые люди. Все могут. Громадная власть у них.

Бывали дни, когда у Матвея обострялись боли в ногах, он кусал подушку, хрипел по-лошадиному, после этого приходил измученный, злой.

— Лежишь? Тебе-то что. У тебя и болезнь начальническая. Хорошо вам, начальникам. Все тебе приносят яблочки, компотики... Думаешь, это к тебе рвутся? Это они к начальнику идут.

— Почему же так? Ты, например, ко мне ходишь.

— Я человек отдельный. Я без правил живу. До конца, если вникнуть, так и я притягиваюсь твоею должностью. Лестно. Последний человек, можно сказать, самая отстающая личность имеет диспуты с головой города. На равных. Был бы ты рядовым — неизвестно,

тянуло бы меня... И врачи не вертелись бы так вокруг твоих спазмов...

— А ты как думал, — соглашался Лосев. — Отец города, к тому же хороший, заслуживает внимания. Ты, например, ничего обществу не даешь, никакой пользы, а требуешь к себе заботы одинаковой со мной.

— Ежели я никудышный, зачем со мной разговариваешь?

— Хороших людей я изучил, а ты явление непредусмотренное, побочный продукт нашего развития, к тому же злой, от тебя можно кое-что услышать.

— Ты меня, значит, к отходам причисляешь? Меня ценить надо, я независимый, я, может, самый свободный человек в твоём улье.

— Кому радость от твоей свободы?

Лосева разбирала досада при виде этого могучего тела, ума, силы, которые могли бы столько сотворить прекрасного. Что другое, кроме работы, может оправдать отпущенную человеку жизнь?

Работа была для Лосева мерилom человеческих достоинств. Человек прежде всего существо работающее. Кто не работает, тот не мыслит, человек без труда гниет. Лосев был убежден, что труд и лечит, и учит, и заставляет думать, и делает человека лучше. Когда-нибудь людей будут наказывать лишением работы. Приговаривать к ничегонеделанию.

Повсюду не хватало рабочих рук, надо было строить детские сады, ремонтировать дома, в этой же больнице не хватало санитарок, привозили больных из района — от этого городским жителям не хватало коек. Очистить пруды в парке... Засыпать овраг... Канализация за счет долевого участия предприятий... Эх, директора в Лыкове непробивные... Не умеют раздобыть средств ни для клубов, ни для жилья. Никакой инициативы, как будто всем все равно. Постоянно и больно он натыкался на беспорядок, на безобразничание таких, как Матвей, на тех, кто зачем-то ломал скамейки в парке, портил дорожку, бил фонари, на то, что не мог построить овощехранилище с современной вентиляцией, что не сумел достать битума дорожникам, не мог раздобыть городу толкового архитектора...

Он излагал Матвею свои исполкомовские заботы, проблемы, и Матвей на какое-то время заинтересовался, но Лосев понимал, что никуда работать Матвей не пойдет, не образумится. Сколько ни пытался Лосев, не мог

он передать Матвею свои чувства. Он понимал, что Матвей останется тем же забудыгой, так и растратит впустую свою жизнь. При этом сам так оценивать себя не будет — вот в чем фокус! Был ли к Матвею какой-нибудь ключ? Каждый человек секрет. Есть люди, которых вообще никто никогда не может отгадать. Ключ от них утерян. Другие раскрываются просто, но там внутри оказывается новый секрет...

Однажды в дреме, приоткрыв глаза, он увидел в дверях палаты Чистякову. Белый халат накинут был на плечи, она стояла в дверях, смотрела на него с выражением странным, несвойственным ей, он не сразу понял, что это было. Лоб ее, всегда хмуроватый, разгладился, стал высоким и чистым. Глаза потеплели, и слабый нежный свет скользил по лицу. Он вдруг понял, что подсматривает из-под смеженных век, и открыл глаза. Чистякова нахмурилась, мгновенно вернулась к обычной суровости. У нее здесь лежал брат, заглянула... Объяснения ее были строги, и, сухо пожелав выздоровления, она удалилась.

За окном бесшумно падал снег. Пушистая белизна покрывала крыши, заборы, ветки, всякую малость этого городка, затерянного среди снежных полей и лесов.

Лосев лежал, улыбался, вспоминал, как недавно обсуждали представление Завьяловой на орден и Чистякова выступила против, накануне она беседовала с Завьяловой, просила ее не разводиться, поскольку такое дело и надо писать характеристику: морально устойчивая в бытовом отношении. Лосев заметил на это: раз Завьялова отказалась от вашего предложения, она и есть морально устойчивая. Члены бюро поддержали его, а Чистякова обиделась, что-то прошипела... Человек есть загадка. И жизнь — загадка. Сколько таких городков раскинуто по России, в сущности, малый город и есть главный город страны, почему же Лыков милее ему любых других городов? Со всей своей неказистостью, бедностью. Сердце его томилось желанием сделать его краше, лучше, томилось любовью к людям, которые жили в нем...

ГЛАВА 21

Одним из первых вошел-влетел Морщихин, заведующий коммунальным отделом, как всегда гибко-упругий, блестящий, новенький, точно марка наклеенная,

докладывал отчетливо и весело, от него исходила приятная бодрость. И — готовность. И — «мы справимся». И — «положитесь на меня». И привлекающее к нему всех — «это не проблема!».

Лосев слушал его вполуха, смотрел, как пружинисто подрагивают его кудрявые волосы, и переживал Ленинград, встречу с дочкой, тот миг, когда она увидела его в гулком вестибюле, и то, как спустя час с лишним она уходила и обернулась в полутьме долгой подворотни, и он не мог разглядеть ее лица, но важно было, что она обернулась. Оба эти мига были совсем разные: первый, полный ожидания, страха, второй — печали. Помнились же они вместе, каким-то образом соединились...

В вестибюль доносились звуки роялей и скрипок. Он сидел там в ожидании, готовясь, и чем дольше ждал, тем больше страшился. Так страшился, что выходил, слонялся по Кировскому проспекту, длинному, прямому, парадно-торжественному. Музыкальная школа, где училась Наташа, помещалась в бывшем особняке Витте, председателя кабинета министров России. Когда-то Лосев прочел три синеньких тома воспоминаний Витте, человека способного, разностороннего и с болью за Россию. Было хорошо, что дом его переполнен музыкальными гаммами и упражнениями. Лосев ходил по проспекту до угла, сворачивал к голубой мечети и возвращался обратно в вестибюль. После отъезда Тани на него вдруг нахлынуло желание увидеть дочь. Желание не отпускало, как тревога, без раздумий он купил билет на Ленинград, ночью уже лежал в общем вагоне, на самой верхней багажной полке, как когда-то в молодости. Из Ленинграда позвонил в Лыков, предупредил, что задержится. Дела в Ленинграде имелись, утро проездил по учреждениям, а с часу дня томился возле школы.

День стоял осенний, весь в крапинах желтых, красных листьев, чаще всего кленовых, разлапистых. Над летящим шумным листопадом поднимался золотой шпиль Петропавловской крепости. В Ленинграде Лосев чувствовал себя стройнее и выше, хотя за последнее время в его любви к этому городу появился привкус обиды. Голубая керамика мечети зияла серыми щербинами. Стоило свернуть с проспекта — и появлялись дома облупленные, запущенные. Наметанный его глаз цепко подмечал давно не штукатуренные стены во дворах, переломанные узорчатые решетки, побитые кариакиды. Белые красавцы дома, любой из них был бы укра-

шением Лыкова, выглядели дряхлыми, опустившимися. Блокада и война наложили на них неизгладимый отпечаток. Странное дело, — в Москве Лосев любовался новизной, радовался виду реставрированных особняков, растущей красе города, в Ленинграде же виделось прежде всего — утраченное, приниженность его все еще прекрасных ансамблей. Наверное, потому и разлюбил он бывать в Ленинграде, особенно с тех пор, как здесь поселилась Антонина.

Наташа вытянулась, потемнела, он узнал ее не то чтобы не сразу, а с какой-то заминкой, она же, увидев его, сбилась с ноги, вот это-то мгновение и было самое страшное. Они оба замерли, он увидел свои глаза на ее лице, свой взгляд безжалостный и в то же время беспомощный, борение, из которого могло проистечь любое. Он не смел двинуться первый, сейчас все зависело от нее, впервые он зависел от своего ребенка...

Потом вдруг что-то треснуло, оборвалось, и она, как спущенная, помчалась на него, раскинув руки. Она летела, как когда-то, заведя его издали, неслась, не разбирая дороги: папа, папа! И сейчас громко, на весь вестибюль — папа! — так, чтобы подружки слышали, это он позже сообразил — папа! — повисла на шее, объясняла кому-то — это мой папа! — не спешила из вестибюля. Хорошо, что он оставил чемоданчик в камере хранения на вокзале, была с ним только пластиковая обложка с бумагами, как будто он зашел с работы, ничего особенного, все как у других, у нее тоже есть папа, еще молодой, крепкий, они идут рука за руку не торопясь, подкидывая ногой палые листья...

Какие саперы? Для чего саперы? Они приедут сегодня, ночным поездом. Для них плевать дело — взорвать такой домик, фукнут — как и не было. Морщихин заговорщицки щурил глаз, все подготовлено, занаряжено, к утру и следа не останется, вам нечего беспокоиться, Сергей Степанович, положитесь на меня, на рассвете самосвалы вывезут весь мусор, бульдозерами сровняем, как говорится, сожжем все корабли, и ищи ветра в поле... Вместо дома Кислых завтра будет ровная площадка... Он красовался своей расторопностью — все у него наготове, на старте: самосвалы, бульдозеры, экскаватор, — к утру — было иль не было, не докажешь, плачь не плачь, назад не родишь.

Словно в брешь ворвался обжигающий холод, выдувая тепло, накопленное Лосевым за эти счастливые дни.

— Чего решил такую горячку пороть? — справился он, как бы безразлично.

— Так будет лучше, — со значением сказал Морщихин.

— Почему же лучше?

— Да потому что с маху. И все само собою заглохнет.

— Что заглохнет?

— Не стоит вам вникать, Сергей Степанович, вас не было, вы не в курсе.

Очень настоятельно предостерегал он, с заботливостью неподдельной, за которую пользовался всеобщим расположением. Хлопотлив, энергичен, безотказен к любым поручениям, не гнушался с рабочими мусор вывозить, лез сам в канализационный люк исправлять, лишь бы Лосев не тревожился. Не то чтобы услужлив, а именно заботлив от расположения к Лосеву. Хотя и к другим тоже. Имелась, однако, в его облике какая-то несогласованность, и раньше Лосев ее смутно ощущал, сейчас же она особенно мешала, путала. Лосев продолжал спрашивать, Морщихин отвечал, успокаивая, заверяя, на все у него были причины, все было правильно.

— Кончай темнить, выкладывай, — вдруг сказал Лосев тоном, которого послушаться было нельзя, и Морщихин, вздыхая, сообщил про телеграмму в область от Поливанова с требованием сохранить дом Кислых, может, и не только в область, а и в Москву послал, еще намечалось письмо-протест, которое организует Рогинский, опять же вкупе с Поливановым, по линии Общества охраны памятников, хуже всего, что они подбили группу депутатов и те собираются обратиться официально с запросом, поставить на исполкоме вопрос против сноса дома... Пока Лосев был в отсутствии, слухи пошли, этот анархист и демагог Поливанов раскачал стихию, и страсти разыгрались.

— Не хотели мы вас вовлекать, я думал, вы в Ленинграде задержитесь и мы успеем рубануть.

Признавался с неохотой, еще надеясь как-то избавить Лосева, убереечь от подробностей, видимо, ядовитых, злых. Пухлые губы его кривились возмущенно, а вот глаза оставались холодными. Они не участвовали в этих признаниях, в движениях лица, бесстрастно следя за происходящим.

— Итак, вы решили ночью бабахнуть и таким образом разрешить все претензии? — выяснял Лосев.

— Вот именно. Поскольку положение критическое. Применить, так сказать, прессинг.

— Кто же это решил? Вы лично?

— Не один я... Мы с Чистяковой и с областью согласовали.

— Так, значит — и с областью.

— Подготовлено освещение участка, будет оцепление, представители воинской части объект уже осмотрели.

Наверное, и впрямь Лосеву лучше было не углубляться. Каждая подробность делала его сообщником. Морщихин выкладывал сведения неохотно, все порывался остановить Лосева, но глаза взирали безучастно, как будто Морщихин предусмотрел и эти вопросы, и свои ответы. Якобы уступая, он словно куда-то заманивал Лосева, шаг за шагом...

Был в Морщихине некий излишек уверенности. С кем он в области согласовал? Не следовало об этом спрашивать, зачем себе руки связывать.

И все же Лосев спросил. Не удержался.

Через стройуправление, то есть через заместителей Грищенко, вышли на военный округ, на инженерное управление, отдел снабжения... Морщихин насторожился, называл имена, но от сути уходил.

Вот и все. Подошло. К самому краю подтащило.

Лосев встал к окну, посмотрел наискось на тот берег, на медную крышу старого дома. Сквозь купы, подпаленные осенью, догорающую, отжитую листву светлая зелень патины казалась молодой и сильной. Зимой, в хмурые короткие дни зелень крыши выглядела еще ярче, снег не удерживался на крутых скатах и зеленое пятно украшало черно-белое однообразие города.

Вокруг дома было пусто. Ни души. И на берегу никого.

— Морщихин, а вам не жалко? — не оборачиваясь спросил Лосев.

Проследив его взгляд, Морщихин ответил с торжеством:

— Насчет крыши? Предусмотрено! А как же! Инженер обещал мне, что поднимет и спустит ее как на парашюте. Рядышком. В полной целости. У них всякие направленные взрывы — искусство! Я все обговорил, они гарантируют, — он любовался своею хозяйствен-

ностью. Еще бы, медные листы, цветной металл.— Скрепки они уже срезали, все подготовили.

Лосев пригнул голову, уши его побелели, он обернулся и пошел на Морщихина, впечатывая шаг:

— Ка-акие скрепки? Ка-ак срезали?— Он отшвырнул по дороге тяжелый стул так, что тот грохнулся о стену, завопил пронзительно-режущим голосом: — Кто разрешил? Воспользовались... О-отменить! Отставить!

Неслышно вошел Журавлев, заместитель Лосева, встал, прижав спиною дверь, чтобы кто-нибудь не заглянул в кабинет на этот остервенелый крик председателя. По опыту знал, что в такие минуты надо молчать и смотреть на Лосева, не успокаивать, смотреть и ждать. Морщихин тоже стоял, опустив руки, по стойке смирно, холодно-прозрачные глаза его смотрели невозмутимо.

— Слышал? Ты в курсе? Ты почему позволил хозяйничать?— накинулся Лосев на Журавлева и, не дожидаясь ответа, притопнул ногой.— Отменить! Все отменить! Саперов ваших, инженеров, всех к чертовой матери!.. Ясно?— Он вплотную подступил к Морщихину.— Отвечайте!

— Ясно,— отчеканил Морщихин с солдатской бравадой.

— Что ясно?

— К чертовой матери!— подсказал Журавлев.

— К чертовой матери,— повторил Морщихин.

— Отправляйтесь,— приказал Лосев, отошел к столу.

— По какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?— спросил Морщихин.

— А по той, что нечего нам тайком от людей, от наших депутатов, от исполкома действовать.

Морщихин повел бровями разочарованно, с некоторым презрением.

— Чего их бояться, Сергей Степанович? Тут характер проявить надо. Я же предлагал, я все беру на себя.

— Какого мы храбреца вырастили, Журавлев, все ему нипочем — ни народ, ни депутаты... Ихнее дело маленькое. Так по-вашему, Эдуард Павлович?

Морщихин улыбнулся, но глаза его не улыбались, как ни щурился, они сохраняли холодную тусклость.

— Зря вы, Сергей Степанович, на этих... оглядываетесь. С них спрашивать не станут. А нам все равно взрывать придется. Как ни вертись. Зачем откладывать?

— Я вам все сказал, Морщихин. Жаль, что вы не поняли. Идите и отмените. А самосвалы на картошку послать.

Морщихин покачал головой, как на капризного ребенка; никуда самосвалы не пошлешь, уже не предупредить, люди выйдут на ночную смену, кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер и всякую технику сняли с других объектов. И с военными ничего нельзя изменить, поздно, все через область делалось, с таким трудом организовывали, увязывали. Мягко и доказательно пресекал он всякую попытку Лосева нарушить безукоризненно разработанную операцию. Выходило, что ничего нельзя было ни аннулировать, ни отложить. Фитиль подожжен, как он выразился, не без щегольства, и надо отойти в сторону.

...Был момент, у ворот, когда он собирался пойти вместе с Наташей домой, просидеть с ней вечер, послушать, как она на пианино играет... Не мог отпустить ее.

Наташа висела у него на руке всей тяжестью, всем телом, которое он еще недавно мог подбросить, подкинуть вверх. Шла, напевая, без умолку рассказывала про школу, про то, как летом жила в лагере. Счастьем было слушать неумолчное ее верещание. Кожаные ее подметки звонко и чисто стучали по асфальту. В такт этому стуку в душе Лосева дробно забили барабаны, заиграли оркестры, гранитные парапеты набережной засверкали мелким блеском.

— Что с тобой? — спросила Наташа.

Счастье мешало ему ответить, он пригнул Наташу к себе. Поцеловал ее в голову. Потребность любви, что открылась в нем, не могла насытиться. Бежал веселый красный трамвай, и за ним, догоняя и кружась, неслись желтые листья. В саду мальчишки собирали желуди, и эти желуди, тугие, коричневого блеска, напомнили Танины глаза. Лосев приложил палец к закоптелой коре дуба и сделал отпечаток на театральной афише. «Дактилоскопия», — повторяла за ним Наташа и делала то же самое. За чугунной решеткой стоял маленький лаково-черный бюст Петра Первого.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн, —

стал читать Лосев вслух, удивляясь тому, откуда всплыли эти стихи.

— Пап, не надо, — взмолилась Наташа, но он не мог остановиться.

Показался их дом, Наташа замолчала. Они шли в молчании до самых ворот. Это было важное молчание, нужное им обоим.

У ворот они остановились, и тут произошел толчок, явственный толчок изнутри. «Останься!» Вернее: «Не спеши в Лыков! Задержись!» Именно это вспомнилось ему сейчас в том неясном подземном сигнале. Наташа поднялась на цыпочки, ткнулась губами в его щеку, и на него дохнуло ее детским запахом, памятным со времен, когда он купал ее в тазу. Фигурка ее в тени глубокой подворотни растаяла, потом вспыхнуло белое лицо — она обернулась, и его словно обдало теплой волной счастья. Все-таки у него была дочь. Несмотря ни на что. Он отец и не может не чувствовать себя отцом. А вот сыном чувствовал себя мало. Отца в нем больше, чем сына. Воспоминание о его отце прошло легкой жалостью, он сравнивал себя, мальчика, с Наташей и подумал, что свидание это будет ей помниться. И, забывая о том толчке, он попробовал представить, каким он представится Наташе, когда она будет совсем взрослой, а его уже не станет...

Мысль об Антонине остановила его... Как бы там ни было, Антонина существовала в его жизни, ресторанный встреча мало помогла. Он всегда будет связан с Антониной через дочь. Есть Наташа, и, значит, они всегда будут втроем, с кем бы он ни был. Впервые он признался себе, что на плечи Антонины легло все воспитание Наташи, все хлопоты, болезни, заботы. Но эта мысль об Антонине и помешала ему остаться.

Господи, почему он все-таки не прислушался к тому призыву! Вернулся бы завтра утречком, как и рассчитывали, и все было бы уже кончено, все решилось бы в Лыкове без него, сегодня ночью, и привет, потому что на нет и суда нет, ему осталось бы сердиться, кричать на Морщихина, на всех на них, сам он был бы чист и непричастен.

Лосев посмотрел на Журавлева, но тот ничем не мог помочь ему, смущенно пожал плечами, показывая, что трудно опровергнуть Морщихина, рад бы, да не знает как.

— Передоверил, отпихнулся,— сказал Лосев.— Драндулетом занимался. Вот что взорвать пора, так это твой драндулет.

Лицо у Журавлева стало распаренное, малиновое, как после бани. Он сидел верхом на стуле и неловко смеялся. Каждую свободную минуту он ковырялся в своей старой «Победе». Проедет день и потом неделю ремонтирует эту колымагу. Наверняка он обрадовался, что можно устраниваться, что Морщихин все взял на себя.

— Что будем делать?— спросил Лосев.

Никто ему не ответил.

— Так ведь все равно отменить заставлю,— сказал Лосев.

— Лично я ничего не могу отменить.— Морщихин развел руками.— Надо в область сообщать.

Он стоял посреди комнаты как бы в позе виноватого. Глаза его следили за Лосевым.

— К кому звонить?

— Придется к Пашкову.

— Значит, вы с ним вели переговоры?..— Лосев нажал кнопку селектора.— С Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым,— сказал он секретарше.

— К вам Анфилов,— сказала секретарша.

— Пусть войдет,— сказал Лосев.— Кто из депутатов будет, пусть входят.

Холодный тусклый взгляд Морщихина не отпускал его, возбуждая странную мысль, что и звонок к Пашкову был предусмотрен.

Вспомнилось, как Журавлев когда-то рассказывал со смехом про свой разговор: «И куда ты рвешься, Морщихин? Тот головой покачал: без полета, мол, живешь, Журавлев, без мечты, так и прокукуешь в микромире, а я, Эдуард Морщихин, во что бы то ни стало выйду на орбиту и не просто в начальники, а, запомни мои слова, интервью буду давать, ленточки разрезать на выставках. Увидишь меня по телевизору! Буду в аэропорту с представителем иностранной державы вдоль строя идти, и цветы пионеры будут вручать. И прошелся передо мной куриным шагом, представляешь, уже репетирует, сукин сын, готовится». Журавлев начал со смехом, а кончил нервно, возмущенный уверенностью Морщихина. Рассказ позабавил Лосева, не больше, а вот сейчас припомнился.

Вошел Анфилов, мастер с подстанции, начал про свои дела, но Лосев остановил его — садись и слушай.

В селекторе фонировало, попискивала подключенная даль, потом щелкнуло, голос секретарши сказал:

— Пашков у телефона.

Журавлев перегнулся через стол, тронул Лосева за рукав.

— Ты... не горячись.

Он никогда не обижался на Лосева, он был преданный, верный человек, но, к сожалению, Морщихин прав — вечный зам.

— Как можно, — сказал Лосев, — сам Пашков.

Он снял трубку, подбросил ее в руке. Взгляд его все еще не отпускал Журавлева. Добрый, порядочный, работающий, а на свое место Лосев порекомендовать его не посмеет, язык не повернется, так и останется замом. Он и не рвется, вот что плохо.

Все обеспокоенно смотрели, как вертелась в его руке трубка, светло-серая гантель с рыкающим в ней Пашковым...

Тем временем Лосев деловой, Лосев предусмотрительный, Лосев опытный соображал, как следует держаться с Пашковым. Кто затеял, заварил эту кашу? Сам Пашков? Тогда все проще, надо дать понять Пашкову, что ошибку еще можно исправить. Хуже, если команда идет от Уварова, тогда придется аккуратнее... Судя по всему, Морщихин уверен, что ничего не выйдет. Чем-то доволен, звонил к Пашкову... О чем-то они договорились. Придется помягче, пока не прояснится.

Но Лосев никакого внимания не обратил на предостережение «Его предусмотрительности», плечом чуть дернул, отмахнулся, заговорил властно, так же, как говорил с Морщихиным, единственное, что удалось, это вставить слово «помочь»: «Необходимо помочь отменить приезд взрывников», и то невыразительно, словно телефонограмму диктовал.

— Чье распоряжение? Да, мое, мое... Не будем мы делать такие вещи втихаря, обманывать людей... словно тать в ночи... Тем более... Вот я и говорю: тем более что есть заявления и телеграммы.

На это Пашков ответил жестко:

— Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. Наше дело пособить. Ты там сам у себя, я вижу, разобраться не можешь.

— Я разберусь, — пообещал Лосев. — За мной не залежится. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.

— Не понял.

— Что ты не понял?

— Ты что, откладываешь? На сколько?

— Это я сам решу.

— Ишь ты, какой удельный князь. Тебе, по-моему, ясно было у Уварова сказано.

— Уваров на месте?

— Нет, уехал, будет завтра.

— Так вот, я с Уваровым сам договорюсь.— Лосев посмотрел на Морщихина и сказал четко: — Вы же, Петр Георгиевич, запомните, вы не Уваров, разница есть между вами, и от его имени глупости вытворять не следует.

— Да ты что!..— рявкнул Пашков.— Ты что крутишь-вертишь. Ты думаешь, неизвестно, что ты с Грищенко хитрил-мудрил? Известно. Тоже соображаем. Ты мне лапшу не вешай! Хочешь взвалить все на чифа? Силой, мол, заставили. Целочкой остаться? Не выйдет!..

— Па-а-прашу не лезть не в свое дело! С каких это пор вы хозяйничаете над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Ясно?

— Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь! Сами, сами отсылайте их назад! Сами! Раз вы такой большой хозяин!

— Вот что, Пашков,— сказал Лосев тихо, совершенно непреклонным голосом, каким ему не положено было говорить с областью, тем более с Пашковым,— выполняйте и через час доложите мне.

В кабинете все замерли, выпрямились, не веря своим ушам, начиная понимать, что за этим стоит что-то необычное. И в трубке длилось молчание, которое все слышали.

— Ясно,— наконец сказал Пашков.— Ну что ж, вам отвечать. А что ж сказать военным?

— Можете сослаться на мое распоряжение.

— Ладно... Если успею,— добавил он с приглушенной угрозой.

— Успеете. Всё.— Лосев положил трубку. Ему хотелось прикрыть глаза, побыть одному, в тишине.

Натужно улыбаясь, он заставил себя оглядеть всех, без нервов, без особого торжества. Когда взгляд его остановился на Морщихине, тот вскинул обе руки вверх.

— Сдаюсь! Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович! Вот это прессинг! Прижали вы этого Пашкова.

Кто бы мог подумать, а? — И он захохотал, прикрыв холодные глаза, где не было никакой радости. Лосев изумился: ну и реакция у этого сукиного сына, и тем не менее не удержался, улыбнулся ему, даже с признательностью.

За Морщихиным, словно очнувшись, заговорили остальные, принялись хвалить Лосева, одобрять его решение, доказывали, что ни в коем случае нельзя было разрешать ночную акцию, получилось бы некрасиво, так поступают те, у кого совесть нечиста. Теперь же будет демократично и нравственно. Никто, однако, не спросил, как все-таки будет дальше. Всех занимала прежде всего схватка с Пашковым, ощущение победы. Как будто у Лосева имелся определенный план, согласно которому Лосев и действовал столь уверенно и бесстрашно. Директор леспромхоза с чувством пожал ему руку. Внезапное почтение, даже восхищение окружило Лосева, он и сам ощутил приятность своей безрассудности. Впрочем, не только безрассудности, но еще и прелесть новой власти, никому здесь пока не известной, не видной и от этого особо сладостной.

Тут же он заказал Москву, разговор с Орешниковым, тот в прошлом году проездом осмотрел место, выбранное для филиала. К Орешникову-то и боялся подступить Уваров. Обращаться к Орешникову через голову Уварова было не положено. Лосев делал тот шаг, после которого отступать было некуда, и, сделав этот шаг, испытал облегчение.

ГЛАВА 22

Никогда еще время в этом кабинете не двигалось так медленно. Оно растягивалось, разрывалось на мелкие события, а в промежутках останавливалось.

Пашков не звонил.

Люди входили, выходили, произносили слова, приносили бумаги, уносили бумаги, время же не шло. Оно застряло в этих стенах. Ни туда ни сюда — словно бы пробка образовалась.

И все люди вокруг Лосева словно бы с трудом продвигались сквозь плотную толщу, так замедленны были их движения, их слова.

Как и большинство людей, Лосев не задумывался над природой времени. С годами ему все больше не хва-

тало времени, ощущал он это не как нехватку его, а как обилие дел, все большую занятость. Иногда ему начинало казаться, что время несколько замедляло ход, иногда — что убыстряло. Иногда оно просто куда-то исчезало, обнаруживалась недостача нескольких часов, а то и дней. Зависело ли это от него самого и можно ли было повлиять на время своей жизни, то есть как-то увеличить его, — этого он не знал. Время было для негоместилищем всяких дел, а не временем его собственной жизни. Он никогда не вникал в эти вопросы, все это было философствование, бесплодное умствование, которое ничего не в состоянии изменить, ничем помочь, мудри не мудри, работа от этого ни на грош не продвинется.

В их прежнем доме, в кухне, над длинным некрашеным столом, тикали цветастые ходики с подвязанной гирей в виде медного цилиндра, из которого он как-то извлек целую кучу свинцовой дроби, дивные гладкие шарики графитового блеска, мягко плющимые под утюгом. Его высекли, на цилиндр потом подвешивали гайки, болты, стоило их чуть приподнять, и стук маятника смягчался и утихал. Время соединилось у него с тяжестью, его можно было взвесить, время было ощутимо, оно словно состояло из тяжелых дробинok.

Он не умел оторваться от сиюминутности, отстраниться, представить, как происходящее будет выглядеть через год-другой, и сейчас впервые ощутил свою ограниченность.

К нему обращались, как к победителю, Журавлев гордился им, никто не догадывался, что вскоре все может обернуться скандалом. Последняя фразочка Пашкова не выходила у Лосева из головы. Пашков был не из тех, кто легко сдается. Что-то он попытается предпринять. Если он кое-что почуял, все равно рискнет пакость устроить. Хоть и трус. Именно потому, что трус. Кому-нибудь доложит, постарается Уварова разыскать и преподнесет ему, все переиначив.

При мысли об Уварове победное ощущение померкло. Вас, товарищ Лосев, еще не утвердили, не оформили, и все может приостановиться, а то и вовсе... Рано пташечка запела. Пока что без резких движений следовало бы обойтись. Потерпеть, не высовываться. Как бы не лопнуло... Мысль об этом угнетала Лосева. Бояться он не боялся, тем не менее свербило унижительное беспокойство: а что там сейчас происходит? Что затевает Пашков? Разумеется, Морщихин побежал звонить от

себя Пашкову, выясняет, как быть, спешит вывести, понять, в чем тут секрет, сориентироваться. В любом случае Пашков для него человек нужный, такую заручку в области куда как полезно иметь.

С Орешниковым поговорить не удалось. Помощник выслушал, сказал, что доложит и в случае надобности сам соединит его с Корнеем Корнеевичем. А Пашков не звонил. Прошел час, прошло еще десять минут — Пашков не звонил. Заглянул Журавлев, спросить не посмел и по лицу Лосева ничего не определил, лицо у Лосева было озабоченно-деловое.

Обостренным своим чутьем Лосев ощущал растущее вокруг напряжение. Возможно, оно исходило от него самого и действовало на людей. Все чего-то ждали. Где-то там, в своем кабинетике, Пашков наверняка сидел и ждал, когда Лосев не вытерпит и позвонит. Времени, чтобы все отменить, оставалось в обрез. Несколько раз Лосев брался за трубку и клал ее назад. Он не знал, как выждать этот час, избавиться от неведенья. Что бы там ни было, но узнать, нет хуже, чем ждать...

Переборов себя, он отправился наискосок, через дорогу, в райвоенкомат.

На улице, оказывается, шел дождь, сильный, шумный. Город наполнился плеском. Звенели крыши, барабанило на площади по фанерной обшивке трибуны, зарисованной под мрамор. На тротуарах быстро росли лужи. Тротуары были только что заасфальтированы без наклона наружу, так что вода застаивалась у стен и люди бежали по мостовой. Мокрые пятна расползались по стенам. Дождь был как обличитель. Он влезал во все щели, выискивал вмятины, на все указывал, напоминал. Надвигалась осень, с ее извечными протечками, неготовностью отопления, жалобами, которые посыпятся, сколько бы к ней ни готовился. Лосев подумал об этом с тоской, как думал каждый год, но, может быть, все это будут уже не его заботы, не его...

На другой стороне улицы Лосев увидел начальника ремонтно-дорожной конторы Ивашкевича, окликнул его. Пока Лосев отчитывал за асфальтные работы, Ивашкевич ежился от дождя, приводил фантастические отговорки, которые проверить было невозможно. Единственное, чем Лосев мог его наказать, это держать под дождем, и он это делал без пощады.

...Лосев шел обычным своим шагом, и дождь обегал его плечи, голову. Лосев прыгал через кипящие лужи,

куда неслись вытянутой пулей капли, с мальчишества он помнил, наблюдая чуть не лежа на земле, как они входят в воду, как выныривают оттуда, сохраняя свою отдельность, не слитые с лужей.

Военком был в тире. В полном одиночестве военком стрелял из пистолета. Выстрелы оглушительно грохотали под низкими подвальными сводами. Свирепо прищурясь, военком поднимал руку и что-то произносил под звук выстрела.

— Кого стреляешь? — спросил Лосев.

— Разнообразную мерзость жизни.

— Например?

— Хапуг. Взятчиков. Доносчиков. Блатников.

— Истребил?

— Патронов мало.

— Ты мне город не опустоши.

— Хочешь? Отведешь душу — и стрессом меньше.

Рекомендую. — Он протянул Лосеву пистолет.

Военком, при своем колючем характере, отличался двумя качествами, высоко ценимыми Лосевым: он умел слушать и умел молчать. Ему можно было доверить любой секрет, никуда дальше это не уходило. Время от времени они отводили друг другу душу.

Теплая рубчатая рукоять пистолета удобно легла в ладонь. Сквозь сизо-задымленную даль тира смотрели черные зрачки мишеней. Поигрывая приятной тяжестью пистолета, Лосев рассказывал военкому про подготовленный взрыв, попросил связаться с военными, выяснить обстановку.

Военком согласно кивнул. Бритая голова его поскверкивала, массивная и шершавая, как абразивный камень.

— Хорошо, что ты решился, — сказал военком. — Силу надо применить. Силу. Раз есть что взорвать, сломать — не удержишь, это у нас обожают.

Лосев прицелился, выстрелил и, не глядя на мишень, приставил дуло себе к виску. Прикрыл глаза.

— Не балуй, — сказал военком. — У меня неприятности будут.

— Зато у меня кончатся. — Палец Лосева лежал на спусковом крючке. С манящей явственностью он ощутил всю малость расстояния между виском и гладким ласковым изгибом крючка. Легкость нажатия притягивала точно магнит. Было странно, что ничтожное движение могло прервать разгар жизни. И вместе с тем ма-

нило сделать это движение, заглянуть туда, за близкую занавеску тьмы.

С трудом он оторвал от себя пистолет, положил на барьер. С помощью пистолета все решить просто; военным хорошо: приказано, и никаких рассуждений. Он вспомнил ясность солдатской своей службы, вздохнул.

Военком не задавал лишних вопросов. Ему достаточно было понять, что Лосев нуждается в помощи, и, поняв это, он стал действовать, названивал по каким-то каналам своей спецсвязи, искал знакомых однополчан. Узнал, что в округе еще никакой отмены приказа не получили и инженерное управление то ли готовило своих ребят, то ли они уже выехали, уточнить не удалось. По неприятной улыбочке Лосева военком понял, что Лосев на этом не остановится, и пытался как-то образумить его, остановить, потому что Пашков явно провоцировал на скандал. Впрочем, Лосева не надо было успокаивать, он удивлял военкома своим спокойствием, даже некоторая медлительная плавность появилась в его движениях. Тут же из кабинета военкома он распорядился отправить в область Пашкову телефонограмму, подтверждая в ней отмену взрыва. Бумажка, что твоя броня,— подмигнул он военкому. Они договорились — в случае приезда взрывников военком лично встретит их и попробует уладить без актов и прочих претензий, примет их по всем нормам гостеприимства и завернет назад.

Зная щепетильность военкома, Лосев не представлял, как он организует подобный прием. Но военком, оказывается, рассчитывал на некоего Лапочку, умеющего проводить подобные мероприятия с блеском. Ужин, он же пикник, он же закусон с дороги, как хотите называйте, может быть проведен на квартире военкома, в клубе, в задней комнате ресторана, все будет дешево и красиво. Поэтому деньги, которые предложил Лосев, военком отверг. Деньги ничего не решали. Лапочка вообще, оказывается, презирал применение в своих операциях денежных знаков. От денег все зло и неприятности, утверждал он, отношения между людьми должны строиться не на деньгах, а на услугах. Обмениваться надо услугами, а не деньгами. Военком повторял его плутоватые рассуждения, и Лосев смеялся.

— Ничего не вижу смешного,— обижался военком.— Ты думаешь, он хапуга? Ничуть. Ему нравится ощущение власти. Он может то, что не могут старшие по

званию. Он достает большей частью не для себя: копирку — машинисткам, шипованную резину — водителям, путевку в Кисловодск — инвалидам. За это я должен посылать солдат чего-то разгружать, кому-то давать отсрочку, за какого-то ветерана просить без очереди. Иногда кажется, что я у него работаю. Черт знает что творится. Представляешь — Лапочка двигатель прогресса! Но незаменим! И не карьерист, как твой Морщихин.

Он стоял перед Лосевым, широкий, крепкий, излучая отрадное чувство надежности.

— Андрей, ты согласился бы пойти на мое место? — вдруг спросил Лосев. — Председателем?

Военком погладил его, как ребенка, по голове.

— Ни за какие коврижки.

Они посмотрели друг другу в глаза, но военком ничего не спросил. Лосев ткнул его в каменно твердое плечо.

— А жаль!

В это время позвонили из приемной Лосева, сообщили, что на телефоне Пашков. Лосев потянулся, зевнул и попросил передать, чтобы Пашков позвонил ему через четверть часа.

В вестибюле исполкома он столкнулся с Морщихиным и Рогинским. Полуобняв Рогинского за талию, Морщихин подталкивал его к выходу. Поля шляпы у Рогинского мокро обвисли, желтый плащ был дотемна вымочен дождем, вид у Рогинского был сконфуженный. При виде Лосева он рванулся к нему, но Морщихин крепенько придержал его и сам сквозь зубы представил его Лосеву как главу жалобщиков, явился от их имени и по поручению с протестами, никому не верит, повторяет слухи, в сущности распространяет...

Пока поднимались к Лосеву, Рогинский, заикаясь от волнения, отвергал обвинения Морщихина. Он делал это, сохраняя высокомерие образованного, воспитанного человека, вынужденного пускаться в оправдания, на хамство он отвечал презрительной учтивостью. Он никакой не жалобщик, проситель — да, и на то имеет право как председатель Общества охраны памятников, более того, обязан, *ибо* к нему обращаются члены правления. *Коли* на то пошло, товарищ Морщихин накануне заверил их, что вопрос рассматривается со всем *тщанием*, и вдруг стало известно, что сегодня ночью дом Кис-

лых снесут, чуть ли не взорвут, и на участке начнется строительство.

— Им стало известно! Откуда вам это стало известно? — въедался в него Морщихин. — Слыхали, Сергей Степанович, что делается! Свои источники информации!

Перед входом в кабинет Рогинский тщательно вытер ноги, снял шляпу, отряхнул, плащ скинул, приводя себя в порядок. Мокрые волосы облепили его бледный лоб. Он вынул гребенку, причесал, восстанавливая тщательно уложенную прядь, что маскировала плешивость, переходя в пышные длинные баки. Движения его были машинальны, его расстроило молчание Лосева, отсутствие поддержки. «Да погодите вы, разве в этом суть», — повторял он, страдальчески останавливая Морщихина, но Морщихин напирал все грубее: «Кто это ваш осведомитель, зачем вы его покрываете? Мы с ним разберемся! Давайте выкладывайте, а может, это вы сами, а?»

Рогинский, несколько теряясь, соглашался, что, возможно, и слухи, возможно, затем он и пришел в исполком к Морщихину, чтобы спросить.

Все трое как вошли — не селились. Лосев стоял за своим дубовым письменным столом, львиные морды скалились на пузатых тумбах — стол, который он отказался сменить, несмотря на все уговоры. Стоял, упираясь пальцами в зеленое сукно, и лицо его было так же неподвижно, как дубовые морды львов.

Но в этот момент он заинтересовался. Спросили? Что ответил на ваш вопрос Морщихин? Он выяснил это быстро, не дав Морщихину вмешаться. Разумеется, тот отпасовал на Лосева. «Этим вопросом теперь ведает сам шеф» — вот что сказал Морщихин, переадресовал на всякий случай, сказал, что Лосеву известны сигналы общественности и нечего поднимать волну и будоражить население. По тому, как Рогинский, комкая шляпу, подбирая слова, ясно было, что говорилось куда грубее, но Рогинский брезговал повторять эти слова.

— Та-а-ак, — протянул Лосев и улыбнулся улыбкой, в которой не было ничего веселого, прищурились глаза и обнаружились стиснутые зубы.

Хороший был случай уличить Морщихина, но не момент. Да и не всегда стоит полностью разоблачать человека, надо позволить ему как-то спасти свое достоинство.

— Сергей Степанович только что приехал, — сказал Морщихин, нервничая и не заботясь о логике. — Вы,

Рогинский, кого проверяете? Кого? Исполком? Он и вам, Сергей Степанович, не поверит, я знаю эту публику, видите, как уклоняется от прямого ответа. Кто вас накрутил?

— Да господи, что вы тут устраиваете, не все ли вам равно? Ну, пожалуйста, Юрий Емельянович Поливанов сказал, он выяснил насчет взрыва, я прошу, Сергей Степанович, сохранить антр ну, ради бога, к нему без претензий, он сейчас в критическом состоянии.

Вошла секретарша, молча пересекла весь кабинет, на ухо сказала что-то Лосеву, остановилась, ожидая ответа. Он заглянул на часы — прошло ровно два часа с тех пор, как он звонил Пашкову. Он поднял трубку.

С этого момента события стали происходить без промежутка, двинулись одно за другим, как лавина, которая наконец прорвалась, опрокинула, понеслась.

В ответ на *телефонограмму* (Пашков подчеркнул!) он связался с Уваровым, и Уваров подтвердил и велел передать Лосеву, что нечего откладывать и мудрить, машина запущена, и пусть действует. Дошло? Вот так-то, голуба! И нечего было орать и выпендриваться. Пашков грохотал не стесняясь, вымещая недавнюю свою оторопь. Бесполезно было спрашивать Пашкова, как связаться с Уваровым, все же Лосев спросил, для порядку, разумеется, Пашков не знал, где-то на линии Уваров, в пути, завтра к вечеру вернется. Судя по вызывающему тону Пашкова, Уваров не осадил его, не намекнул. Это кое-что значило. Не бывает у Уварова случайностей. Это слышалось как предупреждение: не зарывайся, Лосев, не обгоняй на повороте.

Секретарша не уходила, прибирала бумаги на столе. На ухо она сказала из-за Морщихина? Или Рогинского? Оба стояли в ожидании. Рогинский, тот ничего не понимал, а Морщихин учуял, прислушивался, оценивал каждое слово.

— Прояснилось тебе, Сергей Степанович? — настойчиво спросил Пашков.

— Более или менее.

— Ты не финти, если Уваров позвонит, что ему доложить? Чтобы больше никаких уверток?

Он загонял Лосева в тупик, он требовал капитуляции. Ссылаться было не на что, получено прямое указание, и все, конец. Лосев задумчиво смотрел на Рогинского. Неожиданная мысль осенила его.

— Не знаю, не знаю,— сказал он,— опоздал ты, надо было вовремя позвонить, не позвонил, пеняй на себя.

— Это не причина,— спокойно сказал Пашков.— Отказываешься выполнять? Так и сообщим.

— Ни в коем случае не отказываюсь. Я безоговорочно. Видишь ли, появились некоторые обстоятельства, так и передай...

Лосев положил трубку и, как бы продолжая прерванный разговор, спросил, что там с Поливановым. Рогинский сказал, что Поливанов лютует, возбужден, готов на крайние меры, убежден, что их дурачат, следует его как-то успокоить, удержать. На что Лосев пожал плечами: стоит ли удерживать? Он повторил, подчеркивая — почему Рогинский считает, что надо удерживать? Себя удерживает, других удерживает, а зачем? И без того кругом одни удержанные. Рогинский моргал не понимая. Морщихин попробовал было вмешаться, но Лосев предупреждающе поднял палец и предложил Рогинскому пройти, допустим, к Журавлеву и письменно изложить свое мнение как председателя Общества по охране памятников. Секретарша проводила его к Журавлеву, а Лосев спросил у Морщихина, что сделано для отмены взрыва. Морщихин изумился, он полагал, что все остается в силе, как было подготовлено. При этом он выразительно смотрел на телефон, и Лосев как бы рассеянно спросил, откуда Морщихин взял, что все остается в силе, и приказал на всякий случай выставить у дома Кислых милицейский пост, чтобы никого не допускать. Тогда Морщихин не выдержал: это ведь прямое нарушение приказа Уварова, самого Уварова, ведь Лосев слышал, что сейчас передал Пашков.

Лосев-то слышал, а вот откуда слышал Морщихин? Между прочим, ни имени, ни фамилии Пашкова ни разу Лосев не назвал. Проговорился Морщихин, проговорился... Деваться было некуда, Лосев его поймал, как говорится, с поличным. Прижимая руки к груди преданно и виновато, Морщихин подтвердил, что беспокоился, время идет, положенный час истек, и он не выдержал, сам позвонил Пашкову, тот и сказал про Уварова. В конце концов дела это не меняло, есть распоряжение Уварова, и Морщихин не понимал, как можно его нарушить...

В это время зашла Чистякова, за ней, с вопросом насчет Рогинского, Журавлев. Получилось нечто вроде

совещания. Морщихин продолжал настаивать, заявил, что не к чему поощрять Rogинского и ему подобных, гнать их надо, цыкнуть на них, чтобы воли не набирали, не думали о себе много, иначе работать невозможно будет. В любом случае, считал он, даже если, например, отменить, то не по их требованию, а по соображениям исполкомовским. Поливанов и прочие, они даже не депутаты, они не должны вмешиваться... Чистякова чуть поморщилась от его откровений, но в целом приняла его сторону. Во всяком случае, Поливанова следует приструнить, потому что он уже обком беспокоит и Москву. Все стали уговаривать Лосева, чтобы он подчинился Уварову и не упрямился, теперь, поскольку есть прямое указание Уварова, с него снимается ответственность. Государственная дисциплина, ничего не поделаешь, и Журавлев тоже готов был признать факт капитуляции. Податься некуда, жалеть потом будем, как водится... В случае чего будешь ссылаться на Уварова...

Но Лосев ссылаться ни на кого не хотел и Уварова подставлять не собирался, всю ответственность брал на себя. О чем шум? Взорвать никогда не поздно, Уварову он объяснит, что момент сейчас самый невыгодный... Оказалось, однако, что Пашков с Чистяковой переговорил, заручился ее поддержкой, всех обзвонил, нажимал, и настойчиво. Что им там приспичило? Капризы? А вернее всего, Пашков сводит свои личные счета...

Не все тут сходилось, но Лосев умел убеждать, с Чистяковой он был мил как никогда, а Морщихина предупредил, что звонков к Пашкову больше не потерпит. Подтвердил указание поставить милицейский пост. Журавлев сигнализировал ему глазами: есть срочное дело, но помешала Чистякова, отвела Лосева в сторону, тихо спросила, правда ли, что Лосев уходит первым замом к Уварову. Лосев неопределенно двинул бровями вверх-вниз. Чистякова понимающе кивнула и трижды на счастье постучала по подоконнику. Она изображала грусть Старого Верного Соратника. Она всегда что-то изображала. В ней жила актриса. По крайней мере с Лосевым она каждый раз принимала какую-то позу. Она была Старшим Другом, Воплощением Принципиальности, Волевой, Непримируемой Женщиной, которая мечтает быть Слабой... Она и впрямь работала много, добросовестно и переживала городские дела, может быть, острее всех. Поглаживая лацкан лосевского пиджака, она спросила то, что может спросить женщина:

«Зачем вы это затеяли?» А так как Лосев промолчал, ответила за него: «Не хотите, чтобы при вас?» Это она понимала, это объяснение ее бы удовлетворило, Лосеву ничего не стоило кивнуть, сделать маленькое движение, избавив себя от лишних разговоров, вместо этого он загорячился — ни при нем, ни после него, он вообще против сноса дома, он за перенос филиала в другое место и будет бороться за это всеми силами! Недоверчиво щури кошачьи глаза, Чистякова поиграла ключиком от кабинета, согласилась, поскольку дело сугубо исполнительское, Лосев хозяин... Мол, теперь мы не указчики, теперь он сам большой, и Лосеву стало стыдно, как будто он применил недозволенный прием.

Журавлев повел Лосева к себе в конец коридора. С Рогинским не получается, раскис, написал какую-то слезницу. Журавлев понимал, что Лосеву нужно возмущенное письмо, негодующее, категорическое. Вот это-то Журавлев и спешил уточнить. Лосев подтвердил. Чем больше таких протестов будет, тем лучше. Задание было ясное, и Журавлев воодушевился, круглая, щекастая его физиономия оживилась, он любил поручения конкретные и короткие, чтобы взяться и сделать зараз. Он так и сказал Лосеву: не беспокойся, я Рогинского готовлю, я из него сделаю наступательное оружие. Лосев чесал затылок, ерошил волосы, стал похож на куст. Не-е-ет, давить не следует, мало ли как дело повернется, узнают, что Журавлев обрабатывал Рогинского, нажимал, попадет, не стоит ему, должностному лицу, заниматься такими заговорами. Журавлев настаивал. Кому-то ведь надо, пусть лучше он, чем Лосев, с него спрос меньше.

— Как сказать. Со мной потруднее справиться, я все же в тяжелом весе. Хороший ты парень... По праздникам.

— То есть?

— Где ты раньше был? Куда смотрел? Позволил Морщихину хвост распустить.

— Я позволил? — Журавлев остановился посреди коридора, оттянул на себе ворот беленького свитерочка. — Я? Извини-подвинься. Морщихин продукт твоего производства. На твоей доброте этот фрукт вырос. Ты когда определился? Сегодня? Ну, вчера. До этого чего тянул? Все уклонялся, думал — обойдется? А впрочем, что ты думал, — никому не известно. Меня, твоего зама, — не посвящаешь. У тебя высшие соображения. Не-

ведомые простым служащим. Откуда я знал, как действовать?

— Я и сам не знал.

— Признался наконец.

— Ты привык, что у меня всегда готово решение. Приходишь и получаешь. Сам-то тоже мог высказаться. Твой город. Все это время ты меня осуждал или, наоборот, одобрял?

— Я тебя поддерживал и буду поддерживать.

— Я не про то. Что ты сам-то думал? Что-то не припомню твоих откровений.

— Сергей Степанович, ты сам меня учил не высказываться. Когда я пришел — к чему ты меня приучил? С начальством не спорить, с ним соглашаться надо. Начинай с похвалы, с одобрения... Не высказывайся, не лезь выступать, выискивать ошибки... вкалывай, и не задумывайся, и не сомневайся. Твои заповеди? Чего ж ты требуешь? Я не сомневался. «Делай как я!» — знаешь команду в танковых войсках. Я делал как ты.

— А теперь призадумался?

Журавлев подбоченился.

— Представь себе — нет! И не собираюсь. Считаю, в основном и целом ты прав был. Может, оно и лучше, что ты не посвящал меня в свои одинокие думы. Помнишь, мы гнали план по сдаче домов. Лишь бы приняли. Только бы сдать и выполнить план. Я тебе показывал, как трубы перекошены, а ты мне — не вникай и не огорчайся. И что в результате? В результате — ты был прав. Мы получили знамя, нам за это подкинули фондов, мы забили в титулы — мост, хлебопекарню. Потом и те трубы переложили...

Похвала была с горчинкой. От этого пухлого добряка, ухажера, любителя озорных частушек никак не ожидалось такого. Все годы Вася Журавлев был удобнейшим замом, возился с бессчетной писаниной, отчетами, умел отвечать на всякие письма, приказы. Кого другого, а его Лосев знал насквозь, и знать-то там было нечего, все прозрачно, как протертое стеклышко... Оказалось, не так-то он прост, чувствовалось, что в нем еще немало всякого; в который раз убеждался Лосев, что никогда нельзя помышлять, что знаешь человека, как говорила мать про отца — слаб да прост, а поднял хвост.

Жаль, что не договорили, Лосев торопился к Рогинскому, и вернуться к этому разговору им больше не пришлось.

Почерк у Рогинского был крупный, уверенный, учительский. По содержанию бумага получилась просительной, не было в ней настоятельности, возмущения, протеста, — мы категорически против и предупреждаем... — то, что вызывает у начальства неудобство, досаду. Растолковать, что от Рогинского требуется, было не легко. То ли он прикидывался, то ли не понимал намеков. Хотя время не терпело, Лосев не нажимал, дело было деликатное. Мало ли как повернется, Рогинский мог покатить на исполком, — мол, его заставили написать, мог отказаться от своего письма. При всей его напыщенности, в нем не чувствовалось надежности. Движения его вялого рта, уклончивый взгляд выдавали податливость. Лицо Рогинского покорно следовало выражению, с каким смотрел собеседник: строго — и он становился строгим, бодро — и он смотрел бодро, собственному его чувству не хватало сил пробиться.

Осторожно Лосев изложил, что требуется от письма. Рогинский завздохал. Он признался, что Поливанов также требовал от него писать резче, до этого Таня Тучкова уговаривала его, он отказывался, ссылаясь на то, что не хотел подставлять Лосева, пришлось бы жаловаться на него, между тем Лосев больше всех других печется о памятниках культуры. Поливанов назвал мотивы Рогинского подхалимскими. Тучкова рассердилась на Рогинского. Несмотря на давление, Рогинский не поддался. В итоге сам Лосев *имеет надобность* того же. Парадокс. К тому же еще на область требуется пальцем указывать, чуть ли не на самого Уварова *ополчиться*, нет уж, увольте!

Лосев совсем забыл, что между Таней и Рогинским что-то было. Интересно, как далеко зашло у них? Сразу бросилось в глаза, какое у него под затейливой прической неустойчивое лицо, взгляд слабый, искательный; стала раздражать вычурная его манера говорить, со вздохами и театральными жестами. Сила этой внезапной неприязни смутила Лосева. Он вспомнил, что Таня говорила про Рогинского, вспомнился номер в гостинице и *как* все это было. Взгляд его смягчился. Сознание своего превосходства внушало чуть ли не сочувствие. Бедный Рогинский, наверное, на что-то надеялся, мечтал... Бородка, пестрый шарфик, и все ни к чему.

В эти минуты Лосев возмещал унижение, причиненное ему когда-то Антониной. Рогинский понятия не имел о том, что на самом деле связывало их. Но, может, и Лосев чего-то не знал? Так же, как не имел он понятия о тайной жизни Антонины. И Антонина не знала о том, что у него было... Никто не знает, что о нем известно другим.

— Что вас смущает? — спросил Лосев. — Дело же правое, святое. Вы же сами возмущаетесь. Кому, как не вам, председателю Общества...

— Одно дело устно, другое на бумаге. Мне это может *повредить*.

Выбранное им слово рассмешило Лосева.

— Чему *повредить*, чему?

— У каждого свои планы, свои надежды, — самолюбиво сказал Рогинский. — У вас свои масштабы, у меня свои. Я не вы, я не защищен ответственной должностью. Да и что значит мое письмо? Ничего оно не изменит. Все предопределено. В наше время действия отдельного человека ничего не могут изменить. — Он обрадованно ухватился за эту мысль. — Вы же сами знаете, срабатывает система, независимая от нас, как солнечная система.

— Вы просто боитесь.

Рогинский покачал головой, так же, как Лосев, укоризненно и так же свысока.

— Да, боюсь. Пусть будет так. Не хочу связываться.

— Кого боитесь?

— Не знаю. *Их* боюсь. Просто боюсь. — Все-таки он покраснел и засмеялся быстренько, приниженно, напомнив Лосеву этим смехом главного инженера на Севере, которого перевели за что-то из Москвы. Обычно он встречал Лосева скороговоркой: «Как вы ко двору-придворью в добром здоровье? — И хохотнет быстренько: — Надолго ли приехали?» Чтобы ответить не успели ему, а глазки сияют от восторга, и говорит, говорит, вертится на стуле — и все приятное, все милое, лишь бы увернуться и не сделать ничего, не подписать, потом протянет руку, а она у него вся мокрая от пота, такого страху он натерпелся за это время, и сразу заметно становится, какая задница у него — огромная, рыхлая, задница-бегемот, задница сама по себе... У него этот страх с пред-

военных годов засел, а у Рогинского, молодого человека, откуда?

Кабинет у Журавлева был темноватый, окнами во двор, днем горела настольная лампа. Под ее светом на столе лежали руки Рогинского, тонкие, суетливые, на каждом мизинце длинный ноготь. Он сплетал и расплетал пальцы, вид у него был несчастный.

— Со мной тоже бывает, — мягко сказал Лосев. — Но это надо преодолеть. Иначе пакостно будет, сами себя не уважать станете.

— Хорошо, преодолею, напишу. А потом что будет? На этом ведь не кончится, потом все и начнется: что там скажут, как отнесутся. Возьмут и вызовут! Снова, значит, преодолевать? Вам-то что, лишь бы заполучить от меня... Нет, Сергей Степанович, не втягивайте меня, я не борец. Вы борец, а я нет! И не обязан! — Он изнывал от брезгливой гримасы Лосева. Чайный стакан в просторном подстаканнике мелко позвякивал на столе. Заглушая предательский звук дрожи, Рогинский повысил голос: — У меня в армии шесть прыжков парашютных было! Прыгал, хоть бы что. Без страха. Что вы хотите, я лекции читаю, я все исполню, что требуется. Почему вы так? Знаете, у каждого свои слабости.

Таких, как Рогинский, легко было брать нахрапом, на испуг. Страх проще всего вышибать другим страхом, пригрозить, что его с председателей снимут за беспринципность, — да мало ли чем.

В глубине души Лосев рад был, если б Рогинский взбунтовался, не подчинился, вышел бы, хлопнув дверью.

Но нужно было получить бумагу. Важно было заполучить бумагу, категоричную, на которую можно опереться, и тут нечего было стесняться.

Вместо этого он сказал:

— Не хотите — не надо. Так оно и лучше. Вы мудрый человек, Рогинский. Тишком да бочком, да в полном согласии...

Ему надоело уговаривать Рогинского и вся эта маета, эта чертова морока, — изворачиваться, уговаривать, рассчитывать.

— К едрене фене! Идите вы туда-то и туда-то! Что мне, больше всех надо? — Он через стол крепко взял Рогинского за отвороты куртки, сказал свистяще, с наслаждением: — И не пишите! Пусть взрывают. Пусть сносят. Морщихин прав. Вы лишь проформы ради. Ин-

теллигенция! Покровители культуры! Болтуны, мудозвоны! Мне-то что, я сделал, что мог.

Как будто сбрасывал с себя тяжесть, распрямился, плечами повел с таким нескрываемым удовлетворением, что Рогинский рот приоткрыл.

— Сегодня ночью бабахнут — и привет! Помните, у Поливанова все меня уговаривали? Вы тоже. А что я вам ответил? Так оно и вышло. Ладно, извините нас, что помытарили вас.

— Вы это серьезно? — спросил Рогинский.

— Еще как серьезно. — Лосев любовался его растерянностью. — Вам *повредит*, а мне тем более. Выхожу из боя. Мне сейчас с Уваровым ссориться вовсе не с руки.

— Почему?

Слушая его, Рогинский нахмурился, непримиримо, по-судейски свел брови, точно как Лосев.

— Вы, Сергей Степанович, идете на компромисс... Должность, карьера — все понятно, но согласитесь, что ваше решение уязвимо, с точки зрения совести.

— Шут с ней, с совестью. Успокоим ее чем-нибудь другим.

Напыщенность вдруг слетела с Рогинского, он прерывисто вздохнул.

— Погодите, а если... я напишу... как вы предлагали?

— Стоит ли?.. Зачем вам новые страхи?

Рогинский прислушался и вдруг с каким-то тоскливым беспокойством сказал:

— Поливанов проклянет меня.

И снова, торопясь, заговорил о Поливанове; впоследствии Лосев не раз задумывался — почему именно в эту минуту?

— Не отговаривайте меня, я обязан от имени Общества, — настаивал Рогинский все более горячо. — Что мне могут сделать? Дом Кислых нужен для музея. В этом доме бывал Короленко, я показывал материалы Морщихину, нет, нет, Сергей Степанович, коли взялись, надо идти до конца.

Решительно придвинул бумагу. Лосев молчал. Рогинский щелкнул шариковой ручкой и начал писать. Лосев смотрел, как его крупная белая рука все быстрее скользила по бумаге.

Внезапно Рогинский поднял голову, сказал застенчиво и серьезно:

— Когда-то надо совершить поступок. Что-то такое... Выпал такой случай, может, другого не выпадет. Как по-вашему?

— Да, это вы хорошо сказали.— Лосев улыбнулся ему, все прощая.— Может, другого и не выпадет... Я не буду вам мешать.

Осторожно притворив дверь, Лосев вышел в коридор. Он шел, все еще улыбаясь, когда на пути у него вырос Николай Никитич и тихо доложил:

— Поливанову плохо. Похоже, что помирает. На улице Бакунина. Затеял шествие, форменный скандал. На улице лежит. Трогать нельзя...

ГЛАВА 23

У палисадника двухэтажного деревянного дома на улице Бакунина, не доходя квартала до Жмуркиной заводи, на широкой лавке лежал Поливанов, обратив к вечереющему небу свое лицо. Ступни его свисали не уминаясь, черные туфли были почему-то расшнурованы, и концы шнурков болтались. Верхние пуговицы защитного кителя расстегнуты, на бортах кителя блестели ордена, медали, с краю стояла прислоненная палка, под голову подложена фуражка.

За последние недели Поливанов еще больше исхудал, стал длиннее, и сейчас на лавке лежал огромный его остов, торчал нос, торчал кадык, выпирали челюсти, лицо опустело, не осталось на нем ни страданий, ни застенчивого прислушивания к себе. Проступило что-то прежнее, памятное Лосеву с юности, но едва обозначилось, словно не успело, прихваченное смертью.

Начальника милиции Лосев послал за главным врачом, зашел к Журавлеву предупредить. Журавлев уже знал, но не придавал этому особого значения. Машины, как всегда, на месте не оказалось. Всю дорогу Лосев бежал, неизвестно, что его гнало, как будто к умершему можно опоздать.

Люди стояли кучками, искоса поглядывая в сторону лавки, где на коленях перед трупом плакала сестра Поливанова. При виде Лосева тихий разговор замолкал, шикали друг на друга, провожали его глазами.

Надежда Николаевна, друг поливановского дома, хлопотала над покойным, не выпуская изо рта изжеванной погасшей папиросы.

— Как же так, отчего он? Почему здесь? — спрашивал Лосев. Все вопросы были глупые, не надо было их задавать.

— Да вот торопился, — сказала Надежда Николаевна и, подняв голову, добавила, глядя на Лосева, со злостью: — По вашей милости.

Лосев не ответил. С того момента, как Николай Никитич ошеломил его вестью о Поливанове, Лосеву стало очевидно, что все, что произошло, каким-то роковым, несчастным образом связано с ним, Лосевым, и сейчас все внимание его устремилось к тому, что всегда было Поливановым и еще не воспринималось как мертвое. Варя обнимала брата, медали и ордена на его груди позвякивали.

Тело было безмолвно, но отлетевшая жизнь витала еще где-то рядом. Лосев не отводил глаз от лица Поливанова, потрясенный не смертью, а тем, что не застал Поливанова в живых, что Поливанов исчез, и навсегда, и невозможно его вернуть, невозможно ему сказать...

Появился Журавлев, происходило какое-то движение, оказалось, что машина неотложной помощи поехала по привычке к дому Поливановых.

— Девять градусов сейчас, — сказал кто-то, — а ночью обещали четыре.

За спиной Лосева шушукались. Упрек Надежды Николаевны был всеми услышан, его передавали, растолковывали, одни посматривали на Лосева с укором, другие как бы проверяя. Он чувствовал, что за ним наблюдают, холодное внимание оцепило его полукругом, перед ним же лежал человек, который должен был его выслушать и сказать: «Молодец, Серега!» — и обнять его, и все поняли бы... Но Поливанов куда-то скрылся, ускользнул, вместо него остался окоченелый *предмет*. Лосев знал, что Поливанов умирает, что болезнь его неизлечима, но знание это нисколько не помогало теперь, когда он, тот Поливанов, которого он любил, не любил, боялся, чтил, Поливанов хитрый, умный, мелкий, могучий, Поливанов, который был всегда, со дня рождения Лосева, этот Поливанов навсегда исчез.

Перед Лосевым вдруг разверзлось *небытие*. Оно было как насмешка. Оно смеялось поливановским голосом, свистя, задыхаясь, как это было в последнюю их встречу.

Лосев смотрел с тоской на большой остроносый профиль над оскалом длинных зубов. Ему было жаль Поливанова, а еще больше себя, потому что Поливанов ушел в самую решающую минуту, словно нарочно.

Только что Поливанов был во всем гневном, со всеми своими тайнами, угрозами, силой, и вдруг ничего не стало. Не насмешка ли? Куда ж исчезло то, что было Поливановым? Отлетело? Но тогда оно есть, оно просто летит, так же, как куда-то летит миллионы лет свет умершей звезды. Но в том-то и беда, что и этого нет... Он вдруг почувствовал в себе дальний холодок смерти, еле слышное приближение конца, увидел себя, свое твердое тело, людей, занятых после первых минут горя уже мыслями о том, где положить покойника, когда хоронить, и нынешняя жизнь накренилась, потеряла значение. Если все должно кончиться этим — любая сила, любая правда, неправда одинаково исчезают, — разве это не насмешка? Все кругом зашаталось, не за что было ухватиться. И новое назначение, и возня с Жмуркиной заводью — все лишилось смысла. Зачем страдал, бежал сюда Поливанов, если в итоге — тело, вытянутое на широкой лавке у палисадника, которое никогда уже ничего не узнает? Тот же конец будет и у Пашкова, и у Лосева. И даже Наташа, даже Таня, которые заплачут над ним, как плачет сейчас тетя Варя, не смогут сохранить память, потому что они тоже умрут и это *ничто* поглотит всякий след. Пусть это закон природы, но для чего этот закон, какой в нем умысел?

Миг этот ничего не открывал Лосеву, с таким сознанием жить было нельзя, и, когда он обернулся, встретил взгляды людей, в которых не было сочувствия, все вернулось к прежнему существованию, к тем мелким смыслам, которые позволяли не задумываться о главном, о том, что он только что увидел.

Обстоятельства смерти Поливанова выяснялись постепенно, вплоть до дня похорон, и на похоронах еще всплывали некоторые подробности.

Что заставило его выйти из дому, не дождавшись Рогинского? Они условились, что Рогинский или позвонит, а скорее всего вернется от Лосева и сообщит ответ. Между тем Рогинский, занятый разговором с Лосевым и писанием бумаги, не успел позвонить, был какой-то

другой звонок, как говорила тетя Варя, после чего Поливанов страшно возбудился и потребовал свой парадный китель. То есть сперва он хотел идти так, как был, в шерстяной кофте, накинув ватник, но потом передумал, заставил Варю достать из шкафа китель. Последнее время он редко вставал, уж и в сад не выходил, совсем ослабел, но эти два дня названивал по телефону, что стоял у его дивана, строчил письма, телеграммы отправлял. А тут, откуда силы взялись, он встал, чистую рубашку сам надел, сам полез в нижние ящики стола, стал вынимать бумаги, складывать в сумку. Бумаги эти были — военный билет, удостоверение батальонного комиссара, какие-то старые справки, наградные грамоты, именные часы. Все это он сложил в обшарпанную полевую сумку, где лежал его именной браунинг.

Надежда Николаевна и Варя пробовали его остановить, уговаривали дождаться Рогинского, он только пуще разъярился. Стучал палкой, кричал нехорошее про Лосева, про Уварова. Заявил, что идет оборонять дом Кислых, там *бесчинствуют*, он стрелять будет. Дорога от его дома была не близкая, женщины шли за ним. Поначалу Поливанов двигался бодро, удивляя их, даже радуя своей силой. Палкой стучал в окна, знакомым кричал, что шпана громит дом Кислых, а *жулики* ночью взрывать его хотят! Люди не сразу понимали, о ком речь. За ним уже следовали мальчишки и любопытные. Надежда Николаевна полагала, что у него ажитация, хотела ему укол сделать, шприц с собой взяла, но он не дался, палкой пригрозил. Жулики, террористы, вредители — были и более сильные выражения в адрес Лосева и его «хунты». Уварова он называл подстрекателем, известной стала фраза его про Серегу-иуду, продавшего родной город за тридцать сребреников. Многие воспринимали это как пьяный бред. Перед выходом Поливанов выпил рюмку настойки для бодрости. Надежда Николаевна не давала, но тут Варя вдруг ослушалась и сама налила брату рюмку. Так что от него припахивало. Загулял старик напоследок.

Примерно у базарной площади голос Поливанова пресекся, движения замедлились, свободной рукой стал хвататься за стены, Варя подставила ему плечо, сперва он оттолкнул ее, потом ухватился. У канцелярского магазина присел на ступеньку, передохнул, весь в поту.

Уговоров не слушал. Старики, к тому времени набралось несколько его приспешников, подняли его, провели через мост, и дальше не по лестнице, а прямо по дороге в гору шел он, поддерживаемый стариком Ипатьевым, лодочником и инвалидом войны Гурьяновым. Взбирался, ругаясь, кляня свои ноги, свою немощь, всех врачей, старика Ипатьева, какого-то недобитого инженера Татарчука за этот подъем; пот лил с него, колени подгибались, прислонился к стене, не мог стоять, сползал на землю. Остановить его было невозможно. Пробовали его усадить. Он, рыча и сквернословя, начинал ползти по мостовой через лужи, во что бы то ни стало хотел добраться к дому Кислых. Любым способом. Он умолял Ипатьева, обещал ему денег, лишь бы дотащили. Какие-то курсанты вызвались на руках пронести его, подняли, он обнял их за шеи и запрокинулся, чуть было не уронили его. Надежда Николаевна заставила уложить его на ту самую лавку. Не дошли до дома Кислых метров полтора.

Откуда он знал, что в это время дом Кислых громили? Несколько дружков Кости Анисимова добивали камнями стекла, били внутри кафель, пока не подоспела милиция; их попросту разогнали, как просил Лосев, и выставили у дома двух милиционеров. Поливанов уверял всех, что отлежится и дойдет, чуть передохнуть надо, и, замороженные его настойчивостью, этим всплеском сил, все, даже Надежда Николаевна, поверили, что доберется. «Расстрелять!» — бормотал он. С лавки он уже подняться не мог. Заплакал от бессилия, все просил не трогать, не увозить, оставить в покое. Некоторое время лежал молча, лицом вверх, потом подозвал сестру, сказал: «Варька, помираю я. Не дошел. Вот где пришлось. Здесь в нас стреляли. Бандюги...»

Надежда Николаевна засуежилась со шприцем, но Поливанов отмахнулся, чтоб не мешала, смотрел на Варю, как слезы бегут по сморщенным ее щекам, взял ее за руку: «Это хорошо, что ты тут, одна ты осталась, Варька, прости меня... — задрожал губами, — не успел я, не успел», больше ничего не сказал, сложил руки, смотрел на небо с перламутровыми тучками, словно что-то выискивал. Надежда Николаевна наклонилась над ним, сказала, что сейчас «скорая» приедет, домой отвезут, все будет хорошо, он чуть скосил глаза на нее, прошептал что-то.

...Пришло точное ощущение смерти, внутри у Поливанова что-то обмерло, как бы лопнуло, и жизнь стала устремляться, высыпаться в эту прореху. Он пытался заткнуть, но все разлезалось, как прохудившаяся мешковина. Замелькали лица давно забытые, ушедших людей, которых никто уже, кроме него, не помнил, какие-то бабы раздетые, на соломе, крынка горячего молока, которую он опрокинул, ошпарив братика, заиграла гармонь, застучали шары в бильярдной, приезжий из Москвы, маленький, беззубый, кричал на него и засовывал ему в ноздрю дуло нагана... События, казалось, навсегда исчезнувшие, мчались мимо него, сыпались вперемешку, навалом, все быстрее, грузовик подпрыгивал, куда-то мчался по морозному проселку. Поливанов стоял в кузове с питерцами и солдатами, когда по ним полоснул пулемет, застрочило, толчками, ударами, а он стоял.

Дизентерийных ребятишек тащил на себе, перетаскивал их, как кошка, в горком, где было тепло и вода была. Все боялись, а он таскал, в нижнем зале госпиталь открыли. Своих у него никогда не было, нянчился с чужими, при детдоме устроил того же Петьку Пашкова, поднял, и Сереге Лосеву помог, будь он неладен... Недавняя ярость растаяла, отдалилась, и увидел он Серегу Лосева совсем малым, в белой рубашечке, как он влезал на Поливанова, карабкался по нему, как по дереву... Было все легче, воздух подхватил его, утягивал ввысь, увидел свою жизнь, враз всю, до последнего дня, громадный изжитый век, в котором было много работы, много крику, смеха, две войны, много наговорено, выпито, была кровь, были женщины, он увидел обеих своих жен, ту, первую, лицо которой он давно хотел вспомнить и не мог, она все путалась с Настей, второй женой, а сейчас он увидел, как та, первая, лежала в красном гробу, видел, как она расчесывала длинные свои волосы, все узрелось ему одновременно с его друзьями Гошей Пашковым, Степкой Лосевым, с Шустовым, впутался к чему-то доктор Цандер, врачебное имущество которого они конфисковали и тащили в больницу, он видел себя молодого, в ремнях, и не понимал, как это он мог делать и не пожалеть старика Цандера. Вся эта разная жизнь принадлежала ему, и никак было не соединить ее в одно. Ночные совещания, задушенные табачным ды-

мом, доклады, аплодисменты, все то, что когда-то так ценилось, теперь отделялось, сгинывало, не причиняя ни боли, ни тоски. Были и другие радости, были загулы, слезы, обман, была ложь, было горе; которое он причинял, люди, которые его боялись, ненавидели. На какой-то момент он пожалел Варю, девочку в жидких косичках, некрасивую его сестру, но жалость эта была мимолетной, потому что жизнь Вари тоже была кончена и она скоро должна была последовать за ним. На войнах про смерть не думалось. Впервые стал думать про нее, заболев, представлял себе, как будет умирать, как страшно будет. Самым страшным ему казались последние минуты ухода. При мысли о том, что ему предстоит умирать, он испытывал ужас. Но то, что происходило сейчас, было не страшно, это было не умирание, а исчезновение жизни, становилось ее все меньше, боль таяла, тело его пропадало, он не чувствовал под собою жесткость доски.

Старики, что стояли кругом него, были безобразны. Куда лучше были умершие. Они были молодые. Свежие лица их возникали среди морщинистых, беззубых, мутноглазых своих одногодков... Какие-то женщины смешливые, грудастые. Когда-то они волновали, казались счастьем, все эти бабы, девицы, барышни, которые потом куда-то бесследно исчезали. Вспомнилась Лиза Кислых, как он вытащил ее из реки и на руках понес к середине плота. С нее текла вода. Лиза всхлипывала, прижималась к нему, ее чуть не убило, зажало между бревнами двухрядных гонок. Вытаскивая, он порвал черный ее полосатый купальник. Он увидел себя молодого, сильного, с рыжеватой шевелюрой, голого до пояса, в мокрых штанах из чертовой кожи, закатанных до колен. Июльский раскаленный этот день и следующие несколько дней, шалых от поцелуев и коротких прижиманий в пахучей вечерней тьме, дохнули на Поливанова неслабеющим жаром. Плескала рыба, пахло смолистым дымом из дегтярной. На губах горел соленый вкус ее ранки, вкус плеча, они лежали на липких от живицы плотах, смотрели друг на друга. Плоты плыли мимо садов, откосов, где кружили привязанные к кольям грязно-белые козы. Неотступно гудели матово-серые хрустящие слепни. Тяжелые мокрые волосы ее лежали на его руке. Сквозь разорванный купальник смугло све-

тилось ее тело. Лиза положила ему на глаза свою руку... На базарной площади каждый день шумели митинги против Временного правительства. Солдаты люблинского учебного полка сшибали с оград чугунных двуглавых орлов. Повсюду клеили желтые, лиловые листовки. Солнце пробивалось сквозь Лизину ладошку. Ему было восемнадцать, а Лизе, наверное, шестнадцать лет. Никогда больше он не был так счастлив, мокрая ее ладонь лежала на его глазах, просвечивая розовым пульсирующим светом.

Только-только это было — и, глядь, пора на погост. Как оно так проскочило? Кого спросить, кто ответит? Люди, что топчутся над ним, принялись бы лгать, они не поняли бы, почему именно то юное, мимолетное выделилось из промелькнувшей жизни. Они все стояли на другой стороне. Скрипучие звуки их голосов были неприятны, где-то играло радио, мелодия тоже была неприятна. Ему хотелось слышать, как переливается, журчит вода между счаленных бревен.

Розовый свет стал разгораться сильнее, теплая влажная ладонь Лизы лежала на глазах, жизнь была, большая, долгая, а не хватило ерунды, малости, чтобы понять...

ГЛАВА 24

Кончина Поливанова взбудоражила город. Обстоятельства его смерти обрастали слухами. Ожили полузабытые легенды поливановской биографии, соединились с историей предсмертных часов, происшествием загадочным, скандальным, которое все толковали по-разному, и так и этак склоняя имя Лосева.

Смерть всегда привлекала внимание людей. Особенно момент расставания с жизнью. Последнее слово, желание, жест, любые подробности разглядывают пристально, словно через них можно разгадать тайну ухода... Человек то же самое в обычной жизни говорил — на это внимания не обращали, а при смерти оно, то же самое, обрело значительность: вдруг что-то открылось умирающему?

Никто не подозревал, в каком недоумении умер Поливанов. Говорили, что он стремился во что бы то ни

стало добратся до дома Кислых, для того чтобы защитить, отстоять этот дом. От кого? Прежде всего от властей местных, от Лосева, имя которого он прямо выкрикивал, ругал не стесняясь.

О Поливанове за последние годы в городе подзабыли, как забывают всех бывших. Не все знали, жив он или нет, теперь же смерть как бы оживила его, начиналось новое существование Ю. Е. Поливанова — Защитника Справедливости, Патриота Города, Выдающегося Земляка. Неважно, что факты не сходились, никто не считался с противоречиями.

«Народ хочет иметь своего героя», — пояснил Лосеву военком. Он явился утром доложить, что благополучно отправил саперов назад. Голова у него трещала, и он вовсе не был склонен заниматься утешительством.

— Подорвал старик тебе репутацию. Именно потому, что безупречная она, поэтому и обиделся народишко на тебя. А Поливанова жалеют, нравится, что он взбунтовался против тебя. Неважно, что он был вздорный, склочный старик, сам много разрушил... А умер красиво, и смерть эту не переспоришь. Ты можешь завоевывать переходящие знамена, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями, а все равно таким героем тебя не сочтут... Чем тебе еще помочь?

Телефон со вчерашнего вечера у Лосева не умолкал. Не было возможности заниматься делами. Звонили то из области, то из Москвы — из Союза художников, из Министерства культуры, какие-то девицы из Радиокомитета, — куда только Поливанов ни разослал телеграмм с просьбой помочь, спасти, бог знает чего он там нагородил.

Столичные защитники негодовали, грозили Лосеву, объясняли ему про Астахова, старину, архитектуру, он обещал, аккуратно записывал, кто звонил, откуда; наиболее настойчивых адресовал в обком, в облисполком. Звонки, так же как и ответные телеграммы, которые шли на его имя, копия Поливанову, устраивали Лосева, были, что называется, на руку. Девица из Радиокомитета назвала его пошехонцем. Слушая ее надменный московский выговор, отменно вежливый и бесконечно презирующий его провинциальную тупость, Лосев припомнил девицу на выставке, и тон, и словечки были схожи.

Позвонил генерал Фомин, к нему дошло через Седых о смерти Поливанова при трагических обстоятельствах; не дослушав ответа Лосева, он сам стал рассказывать, как Поливанов поднял на защиту памятников старины ветеранов войны и революции, повел их и пал, поскольку сердце не выдержало. Из слов его возникал Герой, Павший на поле боя.

Образ этот Фомину был дороже тех фактов, что сообщал Лосев; судя по всему, Фомин уже гордился Поливановым и осуждал Лосева, обещал приехать на похороны, выступить, забыв, что прежде терпеть Поливанова не мог.

Лосев был со всеми неистощимо любезен и терпелив. Казалось, его невозможно вывести из себя. Секретарша принесла кипяток, и он приготовил кофе военному и себе. Кофе у него получался с белой ароматной пеной, он кидал туда крупинку соли и прикрывал на несколько секунд крышкой.

— Ты знаешь, кто может быть героем? — рассуждал военком. — Тот, кто пострадал за свою идею. Или за веру. Идея должна быть симпатичной. Желательно еще поразить воображение. Тебя героем не сделают, потому что не видно, как ты пострадал. Никто не видит, сколько ты хлебаешь. Ты для всех преуспевающий. А Поливанов, хотя двигала им тщеславная мыслишка сохранить дом Кислых под музей и чтоб его портрет висел, он героем станет. Потому что претерпел. Народишко наш любить кого-то хочет. Ищем, кому бы любовь свою отдать. Не дальнему дяде, а местному желательно. Как своих святых имели наши деды...

Лосев маленькими глотками пил горячий кофе. Голова его прояснилась. Глядя на него, военком завидовал его выносливости.

— Я не знаю, на что ты рассчитываешь, — сказал он. — Я знаю одно — ты не должен из-за этой штуки рисковать. Шут с ней. Ты городу нужнее, чем все заводи. Усек?

— Дороже, дешевле... Что у тебя за ценник?

— Но это так.

Лосев вспомнил Таню.

— Видишь ли, кроме этой штуки и города, есть еще я, Сергей Лосев.

— И что из этого следует?

— А то, что охота быть в ладу со своей... ну, словом — с самим собой.

Усталость поднавалилась к вечеру, когда надо было идти на конференцию работников культуры. То была не обычная рабочая усталость — он устал ждать, его изнурила какая-то злая тоска ожидания. Сидеть пришлось в президиуме, в первом ряду, под сотнями глаз. Лицо его стягивала гримаса приветливости, словно засохшая мыльная пена. Он пробовал слушать выступавших, убеждался в ненужности этого совещания. Оно было не нужно ни тем, кто сидел в зале, ни организаторам. Оно принадлежало к тем бесчисленным совещаниям, слетам, конференциям, на которых ничего не обсуждается, не решается, проводят их неизвестно зачем, для отчета неизвестно кому, то красные следопыты, то руководители спортивных коллективов, то дружинники, заготовители, садоводы, книголюбы, строители... Юпитеры слепили ему глаза. В перерыве фотографы щелкали затворами. Его ставили в центр, его просили беседовать. Тоска одиночества росла в нем. К каждому он должен проявлять внимание, сочувствие, каждого помнить по имени-отчеству («Ибо нет для человека ничего приятней своего имени»), слушать про тех, кого ему представляли («Ибо человек жаждет, чтобы о нем знали, особенно *наверху*»), кивать, удивляться, поздравлять. «Беседуйте, беседуйте!» — просили фотографы. Рядом с ним оказалась Любовь Вадимовна. Наконец-то он мог сообщить ей, что, кажется, удалось добиться прибавки, к сожалению, затянулось, но что поделаешь — раньше не получалось. Все улыбались для коллективного художественного портрета одной большой коллективной улыбкой. И Любовь Вадимовна тоже улыбалась общей улыбкой и при этом сказала ему:

— Спасибо вам, Сергей Степанович. Мне теперь не нужно.

— Почему? Как так не нужно?

— Говорите, говорите, — сказал фотограф, — не наклоняйте головы.

— Мне тогда приходилось... Платить сиделке... Я не могла. Теперь все. Теперь мама умерла. И ничего мне не надо.

Асфальт кончился, пошел мягкий, бесшумный проселок, огни стали низкими, редкими, дальше тянулись темные поля, шоссе, по которому, слепя фарами, мчались машины, огибая городок. Можно было выйти на

шоссе, проголосовать, забраться в кузов и ехать, ехать на юг... Оставить все, не спрашивая разрешения, не объясняя, уйти. Фотограф отщелкал, все делали вид, что не слушают их разговор, но никто не расходился. Лосев ничего не знал про ее мать, ей бы в заявлении написать. «Зачем? Ведь все равно *раньше бы не получилось*. У вас другие, более важные вопросы». Он сказал, что хлопотал не только за Любовь Вадимовну, а и за остальных сотрудников. Но это ее нисколько не устыдило. Гладко зачесанная на пробор, в черном костюме, она была строга, недоступна, как будто он снова был школьником. В ней не было обиды. Она просто объясняла Лосеву, что он сделал. «Вы, Сергей Степанович, на первое место ставите интересы коллектива, потом интересы отдельного человека. А для меня жизнь матери была дороже всего на свете. Всех ваших коллективов. Если бы я рабочей на заводе вкалывала, я бы перешла туда, где больше платят. А из библиотеки мне уйти некуда. Библиотекарь. Подождет. Хотя бы позвонили мне, сказали — не выходит, Любовь Вадимовна, перебейтесь какое-то время. Ах, Сергей Степанович, так ведь мало надо нам... Конечно, вам не до этого. Тем более что от нас ничего не зависит, от нас ни дохода, ни плана...»

Грубить она не могла, не умела. Но грустная вежливость ее зазвучала убийственно. Он стоял за перильцами библиотеки в суконном перелицованном пальто, слушая ее советы, что читать... С. С. Лосев взял Любовь Вадимовну под руку. Он провел ее в буфет. Он провел ее в зал, он скрылся в своем великолепном осточертевшем убежище — кающийся простак, затырканый, но славный мужик. Ехать на юг, наниматься по дороге в рыбацкие артели. Ехать на юг, догоняя лето, которое миновало неизвестно когда. Всю жизнь он мечтал поехать на Каспий, пожить у моря под Красноводском, под Астраханью. Почему там — и сам не знал. Выходить в море на сейнерах. Староват для матроса, да небось и там людей не хватает. Руки, ноги есть, головой можно к любой работе пристать. Кающийся простак, миляга наш председатель, отец города, которого можно огорошить, с которым можно поспорить, что может быть приятнее такого начальника-демократа. А что может быть лучше свободы — посмотреть мир, пока не навалились немощи, поболтаться по краю моря и земли, под солнышком...

Дом был освещен, разноцветные стекла веранды светились изнутри зыбкими непривычно-желтыми огнями. Присмотревшись, Лосев увидел свечи, множество свечей. Он стоял перед домом Поливанова. Неизвестно, как он очутился здесь. В доме ходили люди; двери, окна открыты, хотя на улице было холодно.

Лосев стоял в тени, у штакетника, хотелось войти, но не мог, пожалуй, это был единственный дом в Лыкове, куда он не мог войти.

Городские руководители были разгневаны тем, что Поливанов выкинул перед смертью. Дискредитировал себя и других. Особенно возмутили Чистякову выпады против Лосева и Уварова. Действия Поливанова лишали его права на внимание. Никакие прошлые заслуги не искупали его выходки по отношению к руководству. Глаза Чистяковой непримиримо сузились, в своем возмущении она была искренна, она не понимала Лосева, которого оскорбили столь незаслуженно, а он хлопотал насчет венков и оркестра. К тому же выяснилось, что Поливанов нес с собой браунинг, события могли принять трагический оборот. Ажитированное состояние несколько не оправдывает. Может, следует, кстати, проявить принципиальность и закончить вопрос с Жмуркиной заводью, речей не тратить по-пустому, как писал поэт Иван Андреевич Крылов, где надо власть употребить. Но тут ей стали возражать некоторые члены бюро. Лосев же молчал, не откликнулся, сидел грыз спичку. Под глазами у него была синева, он упорно думал о чем-то своем, и Чистякова, и остальные заметили в нем неприятную отчужденность.

Тяжелые звезды висели над яблонями. Из сада пахло грибной сыростью. Желтые мотыльки вылетали на свет и скрывались в лиловой бархатной тьме. В дверях появилась женская фигура, спустилась по ступеням крыльца, пыхнула папироской. Слабо высветило красным лицо Надежды Николаевны.

— Господи, — сказала она, подняв голову к холодному небу, — упокой его душу!

Штакетник скрипнул под Лосевым. Он кашлянул... Надежда Николаевна подошла, вгляделась:

— А, это вы, — она тонкой струйкой выпустила дым. — Совесть мучает?

— За что? — спросил Лосев.

— Потому что он из-за вас.

— Ну что вы говорите. Вы же врач.

— Считаете, что он все равно должен был умереть. Так мы все должны умереть. Вы через тридцать лет, я через год, сроки безразличны. Именно как врач, я привыкла бороться за каждый день жизни. Если его лишили нескольких дней, это уже преступление.

Жестокость ее слов было как раз то, в чем он сейчас нуждался.

— А может, так легче. Вроде как на ходу. Ведь он боялся умереть. Смерть у него получилась красивой.

— Вы отлучили от него молодых. Последнюю мольбу не удовлетворили — дом Кислых отдали. Обездолили его, чего ж тут красивого. Это вам не простится, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятный.

— Нет, в другом моя вина. Это вы с горя. Я бы и сам хотел знать, в чем виноват.

Надежда Николаевна вдруг судорожно, хрипло всхлипнула.

— Знаете, что он напоследок сказал? Я наклонилась, а он шепнул: «Глупые мы были». К чему это? А? Увидел он что-нибудь за углом? Почему глупые?

— Боюсь, что там, за углом, пусто. Одна астрономия, — возразил он с печалью, смутившей его самого. — Самому надо вину искать. Кто прав, кто виноват — как узнать? — сказал он, думая о Любви Вадимовне.

Надежда Николаевна докурила, по-мужски придавила окурок ногой.

— Для этого человеку дается такой орган, как совесть. Вы, конечно, простите меня.

— А почему я вас должен прощать. Почему?

— Я к тому, — смутилась Надежда Николаевна, — что люди раньше как-то не задумывались над своей совестью. Общей она была, что ли, одна на всех? Как Поливанов говорил — каков век, таков и человек. Не надо было мне при всех вам... возводить на вас. Извините меня. Ведь если по-честному, он любил вас...

Желтые мотыльки появлялись из тьмы сада и вновь исчезали. Жизнь их была коротка и непонятна, как это появление, так же, в сущности, коротка, как и жизнь человека, потому что по сравнению с его нежизнью это всего лишь миг. Лосеву хотелось сравнивать себя и всех людей с этими мотыльками и мошкаррой, что вилась под

фонарем. Какие у них могут быть идеи жизни, какого мошкаринного будущего они должны добиваться, когда к утру их не станет. Порхать так, а не иначе? А чем они, в сущности, отличаются от человечества? Разум? При чем тут разум, если судьба их одинакова с нашей: что несколько часов, то и несколько десятилетий. Судьба — это выше разума, любой разум отступает перед абсурдностью смерти. Мысли эти были печальны и приятны, куда приятней, чем мысль о том, что извинилась Надежда Николаевна ему лично, никто про это не узнает, и сам он не раз обижал публично, а извинялся лично.

ГЛАВА 25

Париж. Сентябрь

Алешенька!..

Так я Вас много лет мысленно называю, дорогой Алексей Гаврилович! Наконец решилась буквами изобразить мое обращение. Только что отметили мне пятьдесят лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу не стесняясь признаваться во всем, все женские запреты сняты. Господи — пятьдесят! Никогда не думала, что доживу до такого. Здесь-то никто не знает, что на самом-то деле мне больше. Один вы, дорогой друг, можете знать это. Письмо пересылаю Вам с okazji, ничего, ничегошеньки не зная о Вас — где Вы, что с Вами, как выжили Вы в этой страшной войне. То, что войну Вы пережили, это известно мне, читала в газетах в 1947 году про Ваш юбилей, а в 1948 году Вам за что-то опять попало, и у нас про это сообщили. Верю, что Вы живы, сегодня видела Вас во сне, веселым, так взволновалась, что решила не откладывая написать, тем более оказия подходящая.

Прежде всего еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил. Я дважды закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Пришел день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось... Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я, но я, когда смотрела, я не себя видела, а Вас! Вы себя тоже написали. Видела Вас громадного, мужикастого, ручищи сильные, золотым волосом поросшие, рукава чесучовые закатаны.

А в другой раз коломьянковая рубаха была на Вас. Вы оставались тем же, я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с этим портретом отношения установились: я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, которая встречается с Вами, сопровождает Вас, приходит в Москве к Бруни, к Вам, и мы заходим за Гавриловыми и все к Вахтанговым... Довольно! Перебирать бисер прошлого — запрещено! Внутри я не изменилась — такая же хохотушка, как и была. Несколько лет назад меня еще уговаривали, что я выгляжу не хуже, чем на портрете. А до того — что даже лучше, по-другому. Я не спорила. Пускай лучше, но *по-другому*. Они не понимали, что это нарисована та, русская моя жизнь. Кроме портрета, у нас висела большая картина Мстислава Добужинского, он подарил — Москва, — и несколько рисунков Александра Бенуа. Все это в сравнение с Вашим портретом не идет, и сам Добужинский признавался. Они ко мне ходят смотреть. Впрочем, все это было давно.

У Вас образовалась слава, имя Ваше известно не только среди русских эмигрантов, но и среди французских художников. Я собрала несколько книг, где пишут о Вас, и фотографии приводят, и мой портрет печатают. Мне, конечно, лестно, реклама, цена портрета повышается... Стоп! И опять не о том, слишком большой кусок жизни прошел, столько было, отчего же мелочь пустяшная приходит на ум, а так, чтобы о главном, оценить не умею, да и боюсь. Очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет и не было. У меня своя жизнь шла, бурная; была, как Вы знаете, семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия, все было, и сейчас есть радости. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла, язык помню, преподаю, перевожу. В России, почитай, те, кого знала, поумирали, погибли, все там у Вас изменилось, улицы по-другому называются. Панелей нет. Церквей нет. Магазинов частных нет... Старой моей России осталось мало. Она для меня в Вас сосредоточилась. И еще в Лыкове. Говорят, фашисты туда не дошли.

Я вдруг поняла, как Вы меня могли любить. Если бы не эта разлука. Подумала после тех нескольких дней, что Вы пробыли в Париже. И потом, когда Вы прислали

через несколько лет мой портрет, взамен дома нашего, — еще раз подумала. Но несмело, нерешительно. И вот сейчас поняла. Поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть. Может, ныне оно уже отцвело бы, мы прожили бы его, истратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, что была предназначена Вам, ни на что другое я не сумела ее истратить.

Раз в месяц еду я на кладбище св. Женевиевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, цветы, аллейки, по ним гуляют русские. Старики и старушки — неподалеку русский дом призрения, оттуда идут гулять среди милых могил. Церквушка для отпевания, расписанная, между прочим, Альбертом Бенуа. Не так давно хоронили мы тут нашу славу Ивана Алексеевича Бунина, затем и супругу его, Веру Николаевну. В один год с Буниным отпели и нашего Николая Николаевича Евреинова, похоронены здесь и братья Мозжухины, Александр и Иван, Надя Тэффи, и художник, которого Вы, наверное, знали, Дмитрий Стеллецкий. Вообще, как говорила мама, — здесь что ни имя, то прибыль Европе. Мировая культура многим обязана нашим. Таким людям, как Бахметьев, Чичибабин, Тимошенко, Ипатьев, Зворыкин, — классики и корифеи в разной электронике и других науках. Лежат здесь, конечно, и малопочтенные деятели разных союзов и организаций: дроздовцы, марковцы, колчаковцы и прочие оголтелые. И эпитафии у них тоже оголтелые. Хотя сейчас хожу и их жалею. Многие среди них, заблудшие, одураченные, так и умерли, боясь посмотреть правде в глаза.

Я купила себе место рядом с мамой, если приедете в Париж, а меня уже не будет, стало быть, приходите сюда. Все может быть, я часто повторяю Пушкина: «Вот так и мы, мой друг, предполагаем жить, а, глядь, умрем». Видно, мне уж не свидеться с родными местами. Несправедливо. Еще несправедливей, что мы с Вами не могли больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл от этого? Мы с Вами, Алешенька, попались под самое колесо Истории, прокатилось оно ободом по нашим судьбам, переломало косточки... Я ведь и писать Вам боялась, чтобы как-то не повредить

и без того сложную Вашу жизнь. Так хотела узнать о пребывании Вашем в Лыкове, когда Вы писали наш дом. Я никак не надеялась. Когда мне привезли фотокарточку с Вашей картины, боже, какая это была радость. Стало быть, поехали, сделали, ради меня поехали, спасибо Вам. И эту благодарность свою побоялась послать. Потом передавала через дипломатов и через Ваших советских. Зато я, когда портрет на выставку давала, оговорила, чтоб в каталог поместили фотографию лыковской картины, будто она была на выставке, ее фотография висела там, рядом с ларионовскими пейзажами, я рассудила, что Вам приятно будет.

Какая коротенькая оказалась жизнь. И какое большое место заняла в ней разлука с Вами. Почему нынче все, что было после юности, после отъезда, — сгинуло, и осталась только русская юность и я, смотрящая на нее с другого берега? А между нами река, та вода утекла, унесла все, что было, что соединяло, что происходило эти десятилетия, ничего не осталось, а есть тот берег, где я сбегая к Плясве, к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотях лежала, и есть этот берег мой, на котором кончается мое путешествие.

С тех пор как Вы были у меня, я сменила много квартир, та стала мне не по карману, живу, однако, в том же районе, под окнамиBloшиный рынок, летом я с племянницей уезжаю на юг, там у меня дачка — крохотный домик с цветником. С детьми вижусь редко, шлем друг другу открытки, сообщая главным образом о здоровье. Существование обыкновенное, от которого ничего не останется. Разве что портрет. Он висит в частной галерее мадам Л. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает, эгоистично скрывать его от глаз людских. Расставание было нелегким. Стена стала пустой, и квартирка моя превратилась в обычную мещанскую обитель. Дети недовольны, сын подыскал американского коллекционера русской живописи, он давал вдвое больше, чем музей, но я не могу отослать ее за океан, видите ли, не могу отказать себе в удовольствии изредка заходить в галерею и садиться в этом зале. Служители меня знают, один «торгует» мной, показывает исподтишка посетителям «натуру», присоединяя к этому какую-то сентиментальную легенду. Но большей частью мне никто не мешает. Я пробую

угадать, что люди думают, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о том, кого он нарисовал. А если говорят о нарисованной девушке, то представляют ее все по-разному и почти никто не думает о ее судьбе. Иногда спорят — чему я там смеюсь? Красивая я или хорошенькая? Мною молодой интересовались иначе, никто в меня так не вглядывался, не изучал мои черты. Рассказать бы им, что Вы написали его по памяти, если не считать нескольких набросков, что сделали Вы в Париже, не так ли? Меня на свете не станет, а перед портретом все так же будут останавливаться, смотреть мне в лицо, каждый день, десятки, может, сотни лет. Стоит подумать об этом — голова кружится. А знаете, Алешенька, внутри я не постарела, в душе не появились морщины, суставы ума не скрипят, по крайней мере — пока. Душа разве что загустела. Старость — это когда кругом все молодые. Молодые становятся еще моложе. Парни не замечают меня. Недавно еще нахальные, они стали дурашливыми мальчишками. Я нравлюсь солидным вдовцам и почему-то преподавателям колледжей.

Однажды в галерее я видела Андре Мальро, известного нашего писателя. Он заинтересовался портретом, ему что-то объяснили, я смутилась и тихонько вышла из зала. Потом я прочла у него фразу, которая меня поразила: «Художник не копирует мир, а соперничает с ним». Вы помните Чекрыгина? Он попал под поезд и не успел написать фреску «Восстание и Вознесение», о переселении человека в космос. Он тоже соперничал. И Вы. Но если соперничали, то изобразили не меня, а ту, которой хотели меня видеть, ту, о которой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу Вас, и люди, которые смотрят, они больше говорят о Вас, они тоже Вас видят во мне.

А я... я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть, как она. Чего-то, может, получалось.

Письмо мое настолько запоздало, что не должно досадовать Вас. Оно не для ответа, оно всего лишь весточка из Вашей молодости, которую, надеюсь, всегда приятно вспомнить. Странно, что ныне Вы больше значите для меня, чем когда Вы были рядом.

Благодарю Вас вновь и вновь.

Ваша *Лиза Кислых*.

Давно в Лыкове не было таких похорон. Длинная процессия тянулась через город. Шли медленно, потому что много было старых людей. Генерал Фомин сказал: «Правильно, что пешком идем. По-человечески. А то в Москве у нас провожающие на машинах». Играл духовой оркестр. Фомин шел в сизой генеральской шинели, держал под руку тетю Варю. Видно было, какие они старенькие. Приехали военные отставники в мешковатых просторных мундирах, из Москвы несколько друзей Поливанова, бывшие лыковские, бывшие однополчане, бывшие сослуживцы по наркомату продовольствия. Одни знали Поливанова бравым артиллеристом, другие уполномоченным в кожанке, который носился на пролетке по деревням. Одни знали его жестоким, беспощадным, другие беспечным заводилой. У третьих он сохранился в памяти как мечтатель, обуреваемый революционными замыслами создать международные кооперативы, что-то в этом роде. У каждого был свой Поливанов, и было бы трудно сложить из их описаний одного цельного человека.

Денек был серенький, слезливый. Дождь не собрался, но мостовые и стены влажно блестели. Оркестр играл «Варяга», и генерал Фомин вспоминал вслух слова старой песни: «...последний парад наступает» — и сморкался, не стесняясь своих слез. На кладбище выступили от старых большевиков, от фронтовых друзей, выступил Фомин, вспоминал, как Поливанов послал его в летную школу, как Поливанов прилетел на самолете в Лыков и лыковцы впервые увидели у себя аэроплан и катались на нем. Тогда определилась военная судьба Фомина.

После него в круг вышел Лосев. Появление его было неожиданно. «Позвольте мне», — сказал он и, не дожидаясь разрешения, нарушив предусмотренный распорядок, заговорил. В толпе прошло движение, зашикали, но голос у Лосева был сильный, привычный.

Лосев не собирался идти на похороны, тем более выступать. Но когда услышал из кабинета звуки духового оркестра, ухающие глухие удары барабана, то работать больше не мог. Он позвонил Чистяковой, предупредил, что все же пойдет на кладбище. «Но мы же договори-

лись», — сказала Чистякова, ее удивила эта непоследовательность, что значит — как частное лицо? Он не может быть частным лицом, во всех смыслах ему не следует присутствовать. «Ты и без того себе много напортил», — прорвалось у нее с неожиданным участием.

Он шел в задних рядах, затерянный в толпе, подавленный скорбной силой траурного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

Роковая борьба — он шел и думал о том, как точно жизнь человеческая определяется этими двумя словами — борьба и рок. Человек обречен, несмотря на борьбу, дело его, может, и победит, сам же он падет в этой борьбе... И лучше, когда в борьбе... Он вспоминал Поливанова прошлых лет. Всегда старого и всегда богатыря, которому, казалось, сноса не будет. Сколько он себя помнил, всегда был Поливанов. Поливанов был обязательной принадлежностью города, как Предтеченские ворота, Поливанов был частью его, лосевской, жизни. Облик молодого отца, недосказанные истории их молодости, первых пятилеток и первых колхозов, мальчишка Серега Лосев, каким он себя не помнил, каким видел его Поливанов, все это исчезло навсегда, умерло, оркестр оплакивал и его, Лосева, его родителей, погибшие сцены его детства.

На панихиде Лосева выжали вперед, к раскрытой могиле, где на козлах стоял в бумажных кружевах гроб без крышки.

Начал он вызывающе, несвойственно панихидным речам. На него смотрели хмуро, некоторые из приезжих с любопытством, покачивали головой — оправдаться хочет, что ли?

Уже после выступления Лосев объяснил Чистяковой, что, взвесив, он решил, что нельзя не произнести прощальных слов от города, которому Поливанов столько сделал хорошего. Вся долгая жизнь Поливанова была отдана революции, работе, людям, дети которых стояли здесь. Неправильно судить человека по последней ошибке, она не может весь свет застить.

На самом деле Лосев ничего не взвешивал, он подошел к гробу и вдруг услышал свой голос: «Дядя Юра!», огромные руки подбросили его... И он заговорил об этой жизни, путаной, счастливой, азартной, боевой... Время

сейчас, что ли, такое — больше видны огрехи того же Поливанова, кого обидели, где погубили впустую людей, где зря разрушили. Но было и другое, было. Почему-то невидное теперь. Сколько школ настроили, сколько знаний дали. Газета в районе выходит. Кто ее наладил, кто типографию привез? Тех касс наборных давно нет, но с них начиналось, с тех призывов... Последние годы и Лосев считал его брюзгливым, ограниченным человеком. Но имел ли он право судить его, не судя себя? У Поливанова была мечта, он жил не щадя себя во имя прекрасной идеи. И не было в нем равнодушия. Никогда... Может, в наивности сила и преимущество поливановского поколения. Оно не повторится. Оно выплавлено революцией, оно уходит. Невольно он сравнивал их с собой, сейчас перед раскрытой сырой песчаной могилой он видел не приобретения, а потери.

Слушали хмуро, сочувствия своим словам он не ощутил. Он понял, что все ищут в его словах оправданий и, что бы он ни сказал, будут считать, что он оправдывается. И тогда, не умалчивая обстоятельств смерти Поливанова, заговорил напрямую, о чем шептались: Поливанов хочет сохранить для музея дом Кислых, по-своему, из последних сил боролся за это, и правильно делал, надо такой музей создать. В минувшие годы Поливанов много собрал экспонатов, теперь дело за городом. Жаль, что при жизни Поливанова не сделали такой музей.

— Надорвался... погиб, добиваясь, — отозвался кто-то позади Лосева.

— Лучшего здания для нашего музея не придумаешь, — продолжал Лосев и твердо сказал ни с кем не согласованное, не обговоренное: — Следует сохранить этот дом для музея, это будет лучшая память Юрию Емельяновичу.

— Правильно! — разгоряченно крикнул кто-то, нарушая торжественность панихиды.

— ...это будет по-хозяйски, по-человечески, — все тверже говорил Лосев. — Раз мы так считаем, мы с вами, хозяева города, то так и будет!

Перед ним с обнаженными головами стояли среди черных мраморных крестов, красных пирамидок, у посеребренных оград люди, которых он знал, коренные лыковцы, которые выросли здесь, у которых родные ле-

жали здесь же, которые когда-то и его придут хоронить сюда. Поколения лыковцев, которые стали землею России, вот и Поливанов тоже. Немного меньше, немного дольше, все равно мало, слишком мало отпущено человеку. Что-то у него разладилось с ними. Но он знал, что это надо перетерпеть. Без злости и обиды. Лучше в обиженных ходить, чем в обидчиках, вспомнились ему слова Поливанова.

Если б он сумел им сказать о самом главном. О короткой вспышке человеческой жизни, о шатком мостике между вечностью, пока тебя не было, и вечностью, когда тебя не станет! О том, что человеку дается на короткий срок немало,— эта земля, этот родной город, близкие, работа, любовь, как со всем этим обращаться?

Что-то слабо озарилось на миг, мелькнуло Лосеву во тьме, в которую он заглянул. Но он не мог понять, что это было, не мог выразить это словами, но что-то было, ощущение сокровенного смысла, которое появилось и исчезло.

Срываясь на вой, заголосила тетя Варя, за ней женщины. Стали подходить прощаться с покойным. В это время где-то позади, в толпе произошло движение, кто-то пробивался, и вдруг Лосев увидел перед собой Таню. Всхлипывая, она склонилась к гробу, поцеловала то холодное, твердое, что было когда-то Поливановым, слезы бежали по ее щекам, по шее, и в то же время, когда она отошла, и это поразило Лосева, лицо ее неприлично светилось счастьем. Она смотрела на Лосева, плакала и сияла. Невозможное это соединение счастья и горя было странным, потому что оба эти чувства пылали в ней с полной силой. Слезы вскипали в глазах и скорбных, и восторженных, она сжимала руки у груди, одновременно в тоске, в ужасе от перестука молотков, заколачивающих крышку гроба, и в радостном нетерпении, что клокотало и прорывалось в ней.

ГЛАВА 27

Прежде чем они остались на кладбище вдвоем, могильный холм был обшлепан лопатами, обложен цветами, тяжелыми венками, траурные ленты были расправлены, и наступили те неловкие минуты, когда ничего больше сделать для покойного было нельзя, и живые стали расходиться.

Таня и Лосев стояли рядом. Она еще ничего не успела сказать, сияла, устремленная к нему своей непонятной радостью. Подошел Рогинский, вид у него был торжественно-траурный, черное пальто, черный шарф, зонтик с загнутой ручкой висел на руке. Опустив глаза, он пригласил Таню на поминки в дом Поливановых.

— Почему меня, а Сергея Степановича? — удивилась Таня.

У Лосева неподвижная усмешка повисла на губах. Он смотрел на Рогинского, который, не поднимая глаз, сказал со значением:

— Я думаю, что Сергей Степанович все равно отказался бы.

— Это почему? — несколько рассеянно спросила Таня.

Рогинский поднял глаза на Лосева и снова опустил. Лосев сказал, что все равно он не сумел бы; ему и в самом деле предстояло ехать к Уварову, важно было прибыть сегодня и доложиться.

На это Рогинский тонко улыбнулся, взял Таню за руку, с какой-то особой настойчивостью отделяя ее от Лосева и торопя. Таня не двинулась, она даже нахмурилась на Рогинского, сказала, что ей надо поговорить с Лосевым, а там видно будет. Рогинский вызвался подождать. Таня отняла руку, она сама, сама найдет дорогу. Сказала резко и так откровенно нетерпеливо, что Рогинский растерялся.

— Напрасно ты, я только, чтобы не поставить в положение бестактности...

Таня неприятно прищурилась.

— Оставь нас. Неужели непонятно, что ты мешаешь.

Тон ее был невыносим. Рогинский снял шляпу. Узкий лоб пересекала красная полоса, стало видно, как он бледен. Он оглядел их с выразительностью, которая должна была предостеречь их.

— Я считал что все сплетни поскольку вы Сергей Степанович зачем ей позволять она безрассудна наглядно видно не ведает что творит я не могу не вмешиваться затронуты обе судьбы моя и ее вы подвергаете всеобщему, — он говорил без знаков препинания, сперва ровно, потом все быстрее.

— Простите, Рогинский, я не понимаю, о чем вы, — устало и безразлично сказал Лосев. — И не хочу понимать.

Одной рукой Рогинский оперся о ближний каменный крест, другой оперся о зонтик, выставив ногу, поза получилась театральной, и заговорил он иначе:

— Не хотите? Почему же так? Неприемные часы? Когда уговорить меня надо было — не жалели времени? Теперь я не нужен, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

— Какой мавр? — тупо спросил Лосев.

Рогинский принужденно рассмеялся.

— Представьте, был такой дурачок. Использовали его и выставили. Жертва доверчивости. Я тоже, я ведь поверил вам. И преодолел. Теперь не боюсь. Знаю, что попомнится мне, но не боюсь! Хватит!

— Вот и хорошо, — сказал Лосев. — Только мне сейчас не до вашего мавра и не до вас. Да и не место здесь.

— У свежей могилы? — подхватил Рогинский. — Вот вы Тане и напомните. Стыдно. Как можно так, сразу же *предаться*...

— Кончай, — оборвала его Таня. — Будешь потом жалеть.

— Признаю, у меня глупое положение. Можно смеяться... Вы оба сейчас против меня. Но вы, Сергей Степанович, в ответе. За все! На вас падет! Поливанов предупреждал, что вы вскружите ей голову. Вы пользуетесь своим преимуществом. У нас с вами неравные возможности. За вами, конечно, сила.

— Сергей Степанович тут ни при чем! Это я, я сама! — Она взяла Лосева под руку, прижалась к нему.

Презрительная улыбка Рогинского не удержалась, лицо искривилось, он загородил им дорогу.

— А вы... вы, Сергей Степанович, не имели права. На его могиле выступать! С вашей стороны это кощунство! Это вы довели Поливанова. Все из-за вас. И Таня ушла от него. Это тоже его убило... Ваше выступление, если в истинном свете, — оно... вам нужно только... для репутации. В силу чего вы наобещали над гробом? Ты, Таня, думаешь, у него порыв? Как бы не так. Он наверх идет! Зачем ты ему? А вашей карьере, Сергей Степанович, она тоже помешает. Она, по сути, вас презирает. Она вам не нужна. У вас семья, — он обращался то

к Тане, то к Лосеву, выпаливая фразы, от которых сам приходил в ужас, правильные, рисованно-валетные черты лица его сбились, при этом он еще косился по сторонам, боясь привлечь чье-нибудь внимание.

Последние провожающие покидали кладбище. Издали могло показаться, что они мирно беседуют втроем, черный зонтик покачивался на руке Рогинского. Лосев спокойно кивал на его слова, и Таня стояла тоже на удивление спокойно. Разве что мелко притоптывала каблуком.

— Ох, как мне сейчас не до тебя, — сказала она. — А ты шибко стал смелый; раз так — слушай. И запомни. Раз навсегда. У нас с тобой ничего не будет. Никогда. Что бы ты ни делал. Не потому что есть Сергей Степанович, а потому что ты мне скучен. Ты мне ясен, со всеми твоими поворотами. Я сквозь тебя свою жизнь до этого кладбища вижу. Хватит.

Она унижала Рогинского без гнева, спокойно. Лосеву стало жаль его, вдруг увиделось, как эта кроткая, милая, сияющая женщина могла быть беспощадной, надменность ее проступила в высоко поднятой голове, во взгляде.

— Все кончилось, Стась. Помнишь, как я тебя просила помочь мне? Вот тогда и кончилось.

— Таня...

— Уйди. Уйди, а то я не постесняюсь, я еще кое-что выложу.

Он пошел, но, сделав несколько шагов, остановился.

— Странно. Боялся и что-то имел. А теперь не боюсь, и нет ничего. Непонятно... — Плечи его поникли, он поднял руку, стал смотреть на рисунок ладони, сказал тихо, ни к кому не обращаясь: — Что же мне теперь делать? — обвел их глазами, слепыми от недоумения. Лицо его остановилось и погасло. В нем не осталось никаких чувств, он подождал и зашагал к воротам прямой, с зонтиком на согнутой руке, как заведенный.

После его ухода Таня провела пальцами по лицу, словно умываясь, и вдруг без перехода обняла Лосева, сплела руки у него на шее, повисла, прильнув всем телом.

— Бедный мой, — проговорила она, лаская глазами его осунувшееся, почерневшее лицо.

Лосев нахмурился, попробовал снять ее руки, она не позволила, еще крепче прижалась.

— ...Любить не умеет и ревновать не умеет. Прости, это из-за меня, никогда не думала, что он решится.

Она засмеялась, и смех этот вдруг неприятно поразил его неуместностью. Таня продолжала смеяться, переносица ее сморщилась, нос вздернулся, теперь уже счастье, ничем не сдерживаемое, вырвалось наружу.

— Ну его, размазня! Я-то уговаривала его написать эту статью. Он заблажил — ах, да ох, да что с нами делают! Слава богу, что без него обошлись!

— Какую статью? — спросил Лосев.

— Да эту самую! Ты что, не знаешь? Я думала, что вам звонили, они в область звонили, проверяли, уточняли чего-то, они с Пашковым говорили, он тебе не передал? Значит, ты до сих пор не знаешь? — Она удивлялась и смотрела на него с еще большим восторгом. — Выходит, ты сам решил? Я-то думала, что ты узнал, а это ты сам не позволил, помешал Уварову, какой ты молодец! — Она подпрыгнула, поцеловала его, она была сейчас самым счастливым человеком на свете. — Ты отчаянный. Все висело на волоске, верно? Ты, значит, сам им запретил, вступил с ними в бой, только на себя надеясь?

Радость ее так кипела, что Лосев не придавал значения ее словам. Впервые за эти дни блеснул просвет, нежная впадина ее похвал, если бы можно принять эту отраду без расспросов.

— ...теперь все позади, теперь они убедятся!

— Теперь-то самое сложное и начнется, — сказал он, думая про Уварова.

Пока они говорили, Таня рылась в большой желтой своей сумке. Наконец она нашла сложенный много раз пухлый газетный лист, развернула его, это была верстка статьи, озаглавленной большими черными буквами: «Беречь красоту».

Глаза Лосева небрежно скользнули, отметив знакомый шрифт центральной «Правды», споткнулись, выхватив фамилию Астахова, рядом Уваров, метнулись назад — Лыков... Жмуркина заводь... — заторопился ухватить суть, долго не мог связать, снова возвращался, еще не веря, опять перескакивал.

В статье приводились примеры ненужных, непродуманных перестроек, реконструкций, губительных для городских пейзажей. В результате нарушались, исчеза-

ли знаменитые драгоценные архитектурные ансамбли, которые складывались столетиями. В числе других примеров довольно подробно автор разбирал угрозу, которая нависла над заповедным уголком центра старинного города Лыкова, где Жмуркину заводь отвели под строительство филиала фирмы вычислительных машин. Городские организации ныне спохватились и хлопочут, предлагая другое место. Но они не в силах переубедить некоторых товарищей. Вот тут упоминался Уваров, с психологией в этом смысле типичной: не признает красоты, без тени сомнения готов пожертвовать ею во имя сиюминутных целей. Деловой азарт мешает таким руководителям понять, «как дорог бывает традиционный городской центр, особенно теперь, когда нас окружило море новостроек», мимоходом автор ссылаясь на художников, они точно выделяют поэтические центры города, источники романтики, как это сделал, например, Астахов в том же Лыкове. Далее шло о том, что у нас немало сделано за последние годы для сохранения памятников старины, надо научиться так же беречь красоту традиционного городского пейзажа, как делают, например, ленинградцы, сохраняя нетронутым Невский проспект, который, кстати, ценится горожанами как *место пребывания, для того, чтобы «пошататься», «поглазеть»* — «...это необходимо горожанину, — по утверждению психологов, — не меньше, чем любые формы отдыха».

В другое время Лосев вскрикивал бы — а я что говорил! ...а ты! — торжествовал бы от того, как совпадало прочитанное с его собственным мнением, как подтверждались мысли Аркадия Матвеевича, все это исполнило бы гордостью, сейчас же соскальзывало стороной, он и себя не слышал, и не слушал, как Таня рассказывала свои злоключения, каким образом она уговорила мужа сестры, который давно собирал материал и все не решался, приезжал в Лыков, смотрел картину, и наконец отказ Уварова подтолкнул его, то есть это она, Таня, всполошила их в Москве, но тут начались, конечно, трудности... Позднее ухищрениями памяти Лосев попыбует восстановить ее рассказ, у него всплывет что-то про завогделом и собственного корреспондента, которые поначалу хотели смягчить, про какую-то стенограмму выступления Уварова, — бессвязные клочья зацепившихся фраз.

Единственное, что он успел тогда спросить: можно ли задержать статью, поскольку это верстка?..

— Нет, нет, это в сегодняшнем номере стояло, он уже вышел,— победно ответила Таня, ничего не чувствуя в его голосе.

— Как вышел?

Его словно подбросило.

— Что ты наделала! Почему Уваров, почему один Уваров? А где я? Что он подумает?

Счастье еще переполняло Таню и не могло исчезнуть разом, столько его было, оно кружило ее, мешая понять, что происходит.

— Но я же говорила вам, Сергей Степанович, и про газету говорила, я говорила, что помогу,— она спешила разъяснить, торопилась, уверенная еще, что это какое-то недоразумение.

Лицо ее, высмугленное солнцем, ласково блестело, и крепкие зубы ее блестели, и губы блестели, все в ней цвело, пылало, вскипало соком здоровья, и это Лосеву прибавило злости.

— Да кто тебя просил мне помогать? Зачем мне это!— вскричал он.— Чего ты влезла? Думаешь, это помощь?— Он скомкал газетный лист, швырнул на землю, притоптал ногами.— Я сам, без тебя... Что со мной будет, ты подумала? Стыдно-то как! Да, да! Из-за тебя! Тебе плевать на меня...

Передряги этих дней, все, что скапливалось, что предстояло выслушать от Уварова, опасения, смерть Поливанова, попреки, сплетни — все навалилось, захлестнуло болью, он чувствовал, как внутри трещат, ломаются какие-то перегородки, руки его затряслись, он уже не мог сладить с собой, повернулся, пошел, сослепу натываясь на печальную тесноту могил, ударяясь о камень раскинутых крестов, шел, боясь остановиться. Постыдные необъяснимые слезы настигали его, душили. Будь он один, заплакал бы, зарыдал в голос, чтобы как-то снять эту острую боль под левым соском. Так бывают инфаркты, мелькнуло будто со стороны, обреченно, и он поразился тому, как нельзя ничего предотвратить, даже под страхом смерти, нельзя себя успокоить, взять в руки. А на него продолжало рушиться... Открылось, зачем Уваров вызвал его так срочно, и то, что он отказался немедленно выехать, выглядело теперь иначе, да что

этот отказ, а остальные поступки? Все они приобрели иной, некрасивый смысл. Все будет истолковано как непорядочное. И вдруг его ослепила мысль: «Она обо мне не думала!..» Мысль эта стала расти, заслоняя все остальное. «Не думала, что будет со мной, не думала!..» У нее свой интерес, он, Лосев, был для нее орудием, она его использовала, для этого все делалось, как сказал Рогинский — «увлеклась картиной, борьбой...», ничего другого, он только что видел, какой она может быть жестокой.

Позади, в шелесте палых листьев, слышались шаги. Таня следовала за ним по пятам.

— Оставь меня, уходи, — бросил он, не оборачиваясь.

Внутри у него померкло, только звенела дрожащая, натянутая до предела струна.

Слабея, он опустился на голубенькую скамеечку у пирамидки, сваренной из железных трубок.

Что ни надгробье, то либо родные, либо соседи, знакомые, здесь лежали те, кто держал его на руках, кормил, угощал... Что-то пребывало в нем от каждого, что-то безымянное, стертые, как надписи на крестах, на сером камне, поросшем мхом. Подумалось — а что как это — могила Гоши Пашкова? И сидел здесь его, Лосева, отец, плакал, над смертью дружка своего. Как знать, может, и впрямь у камня этого есть память... Студеный сквознячок поддувал из каждой могилы.

Мать лежала где-то неподалеку. И Поливанов. Отшумели речи, звуки оркестра, и началось новое существование Поливанова, мудро и гнусно уравненного смертью со всеми остальными лыковцами.

Вечность утешала серенькой тишиной кладбища, щебетом синиц, поздними осенними цветами.

Строго и упрямо Таня стояла поодаль, и, ощутив момент, когда отхлынуло, отпустило Лосева, она произнесла с осторожностью медицинской сестры:

— Ничего, все образуется. Они не посмеют. — Помолчала, убитым голосом продолжила: — Я скажу, что это я сама, вы же меня отговаривали. Это же так и было, — уговаривая, сказала она. — Я же не послушалась, при чем тут вы.

— Все равно узнают. Тот же Рогинский скажет, твой Рогинский.

Наконец он отозвался, и она ухватила за его слова, в надежде, что он о ней тревожится.

— Так ведь на самом деле это я все. А мне-то что, мне терять нечего, то есть я ничего из себя не представляю, — говорила она, путаясь и торопясь, — в конце концов я в музей уйду, я думаю, что это облегчит тебе, ведь статья принципиальное значение имеет для того, что ты задумал...

Он вдруг увидел надпись на красном обелиске, рядом — «Ширяев» — это поразило его, как примета. Он повернулся к Тане, боль вернулась.

— Тебе, может, терять нечего, а мне есть что. По-твоему, я благодарить должен? Как меня осчастливили! Раз такая распрекрасная статья, не надо мне никакого назначения. А если я не хочу отказываться? Почему ты мною распоряжаешься? Нравится красоваться? — Снова он неся черт знает куда, уже не в силах остановиться. — А я... знаешь, кто я? Вот лежит здесь Ширяев... — Его било изнутри.

— Ну ты идиот, — хлестко сказала Таня. — Не думала, что ты такой идиот!

Он сник, позволил взять себя за руку, повести домой. На них оглядывались. Лосев брел, никого не видя, не здороваясь, почерневший, словно обугленный.

Дома никого не было, сестра с племянником ушли на поминки. Тучкова дала ему валерианку, уложила, позвонила по его просьбе в гараж, чтобы машина была готова через час, не раньше.

Она сделала чай, поила его. Он пришел в себя, извинился. Но все это было как-то вяло, притушенно.

— Ты слыхала, — бормотал он, — я не имел права выступать. Думаешь, это Рогинский? Многие так думают, я видел, как они смотрели.

— Пусть смотрят. А ты сказал, что хотел. По совести. Это выше всяких соображений.

— Но ведь ты со мною не согласна.

— Не будем.

— Нет, я вижу.

— Да, не согласна.

— Почему?

— Потому что смерть прощения не приносит. Я не могу простить зло, какое Подиванов причинил, — она облизнула губы.

Он сел на диван.

— А ты жестока, — сказал он.

Все было плохо. Даже Рогинскому не сумел ответить. А что он мог ему сказать? Он не желал ни оправдываться, ни отзываться на разговоры, которые пошли по городу, появление статьи в «Правде» и то припишут Поливанову, и тем более будут обвинять Лосева, и перед Уваровым тоже стыдно, куда ни кинь, везде клин, везде плохо.

Они молча сидели у окна, ожидая машину, так же молча вышли на лестницу.

Машина шла сквозь вечеряющие пустые поля, позади догорал закат, у водителя громко играло радио, ухал ударник. Лосев сел позади, чтобы водитель не мог его видеть. Кружились золотистые поля, рощи, озера, каждый куст здесь был знаком, каждый проселок исхожен, и неизменность эта вселяла покой. Сердце еще болело, он слушал, как медленно отступает боль. Вновь проступили строки газетной статьи, мысленно он перечитывал их. Статья могла значить одно — что все оттяжки, ухищрения, которые он применял, все, что он отодвигал, все теперь решилось. Жмуркина заводь спасена. Значит, все было не зря, не напрасно, действия его получали как бы оправдание. Перед Уваровым было, конечно, неудобно, но, думая об Уварове, о предстоящем разговоре, Лосев думал все спокойнее, жалея не себя, а Уварова, все меньше понимал, чего, собственно говоря, на него так накатило на кладбище? Что случилось? Чего он взбеленился на Таню? Слова хорошего не сказал. Но и от этого он не испытывал стыда, была лишь печаль, была усталость, и хотелось быть свободным от всего, как эти осенние поля, сжатые, скошенные, отдыхающие, позабытые. Он подумал, что для встречи с Уваровым так оно и лучше.

ГЛАВА 28

Дежурный по исполкому, молодой, болезненного вида инспектор из отдела сельского хозяйства, пил чай с бутербродами и решал шахматную задачу. Голос его воспроизвел интонацию Уварова, строгую и машинно-ровную, с такой точностью, что Лосев улыбнулся.

— Похоже. У тебя талант.

Было без четверти девять вечера. Лосеву надо было отправляться в аэропорт. Уваров встречал начальство из Москвы, самолет задерживался по метеоусловиям, и Уваров распорядился, чтобы Лосев, не заезжая в гостиницу, ехал к нему, в аэропорт.

Лосев отлил из чашки дежурного чаю в стакан, глотнул, споласкивая пересохшее горло, кивнул на «Правду», лежащую на столе.

— Читал?

— Без Лосева тут не обошлось. Ладненько, мы его выявим, — произнес дежурный голосом Пашкова, — мы его растолкуем.

— Тебе бы в филармонию, выступал бы, как Андроников.

— А сельское хозяйство?

— Давал бы концерты труженикам села.

— Имитация — это не искусство, это всего лишь тень.

Он опять кому-то подражал, но кому, Лосев не знал. Ехать в аэропорт не хотелось, Лосев попробовал сослаться на отсутствие бензина, но, как всегда, у Уварова все было предусмотрено, исполкомовская машина ждала внизу, черная «Волга» с радиотелефоном, желтыми фарами, она неслась посреди улицы, не снижая скорости на поворотах, с визгом, как в приключенческих фильмах.

В депутатской комнате перед телевизором сидел Уваров в окружении нескольких человек, среди которых были Грищенко, Сечихин, Пащенко, директор НИИ — симпатичный усач, недавно избранный в члены-корреспонденты. Передавали соревнования тяжелоатлетов. Штанга поднималась в воздух высоко или невысоко и бухалась на помост. Опять поднималась и опять падала.

Уваров, не отрываясь от экрана, кивнул.

— Успел, — сказал он без одобрения. — Везет тебе. Ну что ж, до прилета начальства... — он взглянул на часы, — у нас есть почти час.

— Ого, а вы говорите везет. — Лосев вздохнул, но Уваров шутки не принял, и никто не улыбнулся. Все с любопытством разглядывали Лосева, словно видели его впервые. Один Грищенко незаметно подмигнул, поднял пальцем кончик носа — не вешай, мол!

Уваров накинул короткий синий плащ, пахнуло одеколоном, коротко стриженные волосы его блестели, был он особенно подтянут, четок.

— Пройдемся.

На летном поле, как на всех аэродромах, было ветрено. Аллеи низких огней пунктиром уходили вдаль, гроздя прожекторов вырезали из тьмы косые объемы света.

— Ты про статью знал? — спросил Уваров без предисловий.

— Не знал, но все равно получилось нехорошо.

Лосев был доволен, что разговор начался сразу по существу. Не дожидаясь вопросов, он сформулировал сам, почему нехорошо — потому что статья обошла его, Лосева, ответственность. В ответе же он был с того дня, когда выбирал место. Что касается взрыва дома Кислых, то наперед, не ожидая вопросов, он признался Уварову в сомнениях после их последнего разговора. Неприятно ему тогда стало, вроде отступные принял, нет, не Уваров их давал, сам Лосев как бы предал Жмуркину заводь. А почему? Вот то-то и оно. Получалась сделка со своей совестью. Никуда не денешься. Постепенно стыд и проел. Рассуждения свои излагал он несколько смущаясь, слишком отвлеченно звучали они для разговора с Уваровым, и действительно Уваров, нарушив свое правило, раздраженно прервал его:

— Совесть обычно предъявляют, когда нет конкретных оправданий. Не понимаю я этого. Честность понимаю, ее можно проверить. Правда — неправда, полезно — вредно, приятно — неприятно, все понимаю, а совесть — эфир, бесконтрольное состояние.

Само уваровское предложение, от которого тогда Лосев затрепетал, оно как? Оно, разумеется, остается и приятным, и честным. Тогда, спрашивается, почему же сомнения, на каком основании? Можно подумать, что Уваров подговаривал его на сделку. Лосев чувствовал, что это самое обидное, болезненное место. И тем не менее Лосев продолжал со всей откровенностью, ничего не обходя, чтобы Уваров знал о его взглядах, прежде чем брать его в замы. Говорил, ничего не смягчая. Но Уварову не взгляды были важны, тем более переживания. Поведение человека, считал он, зависит главным образом от двух вещей: первое — от обстоятельств и вто-

рое — от должности, которая тоже многое диктует. По должности своей Лосев удовлетворял главным требованиям Уварова: был работягой, дисциплинирован и честен. Поэтому Уварову хотелось прежде всего уточнить обстоятельства, и, более не давая Лосеву уклоняться, он задавал вопрос за вопросом, требуя точных ответов. О Поливанове, о Морщихине, о том, что же все-таки сообщал Лосев в газету, передавал ли кому содержание их последнего разговора? Дело в том, что в статье чувствуется, что автору известны некоторые подробности именно этого разговора.

Лосев удрученно признался, что рассказывал, разумеется, не как материал для газеты.

— Кому же?

— С моей стороны было неосмотрительно, бестактно.

— А все-таки?

Какая-то нотка в его голосе насторожила Лосева, жаль, что в темноте лица уваровского не было видно.

— Других выгораживаешь? Благородный. Почему же на меня тебе плевать?

Лосев смутился, никогда не слышал он от Уварова грубостей.

— Виноват, — сказал Лосев. — Мой зад, ваш ремень!

— А что мне с твоего зада, вместо своего не подставляю, — с сердцем сказал Уваров. — Ты вот говоришь, что не знал про статью, почему же предупреждал меня, что собираются писать?

— Ходили разговоры. Меня предупреждали.

— Кто?

— Поливанов, например.

Уваров ехидно фыркнул.

— На Поливанова не вали. Он ни при чем. А вот как понять твои действия? Ты знать не знал про статью, а приехав откуда-то, сразу отменил снос дома. Да еще с таким напором. Кричал на Пашкова.

Объяснения у Лосева были подготовлены, выложил их одно за другим, вплоть до смерти Поливанова — вот какая обстановка складывалась в городе, другого решения у него не было, поступал по своему разумению, поскольку личную ответственность несет.

Намек подействовал, Уваров отступил, признал, что Лосев хозяин, что он обязан учитывать местные обстоя-

тельства, никто не покушается на его права, ему решать — обычное учтивое предисловие, после которого у него следовало — «но я бы на твоём месте... (воздержался, не торопился, подумал, учел...)».

— Значит, ты не знал про статью. Не знал и не организовывал. Ну что ж, я тебе верю... — Помолчал, заполнив паузу невидимой усмешкой, как будто что-то ему было известно про Лосева. — Но ты *вдохновил* на нее. Что, не так?

Лосев оторопел, не нашелся с ответом.

— Чужими руками действовал, а теперь отказываешься: я не я и хата не моя?

Изворот был унижающий, все явилось куда некрасивей, чем предполагал Лосев, и брезгливость в голосе Уварова звучала оправданно, вот что было стыдно.

— Не хотел я, мне вовсе не нужна была эта статья, — с чувством сказал Лосев. — Я бы и без нее... Вот вы про совесть, а тайком взрывать — это как? Это же стыдоба!

— Безнравственно?

— Да, безнравственно, — повторил Лосев, укрепляясь.

— О нравственности печешься, а глупость совершаешь. От глупости ведь больше вреда, Сергей Степанович. За безнравственные поступки мы с тобой расплатимся на том свете, а за глупость на этом.

— В чем же моя глупость?

— В том, что ты меня подвел. Мне без разницы, где будет филиал. Мне важно, чтобы он *был*. Ничего я к твоей заводи не имею. Что я, против красоты? Чушь это. Хотя могу сказать, где угодно, и тому же Орешникову, которого мы встречаем, что не до этого нам сейчас. Никого не беспокоит, что мы церкви, надо не надо, повсюду восстанавливаем. Строителей нет, материалов нет; а на церкви — пожалуйста. Мне на твой роддом было труднее средства выделить, чем на реставрацию собора. Надоело мне это увлечение. Да и если уж пользоваться твоим словарем — безнравственное это дело, безбожное...

Говорил он с болью, и Лосев понимал эту боль и, сочувствуя ему, спорить не стал. К Лыкову это, конечно, не относилось, в Лыкове ничего еще не восстановили...

— ...Я-то после разговора с тобой уверился в тебе, подтвердил Орешникову, что все о'кей, к стройке при-

ступаем. Между прочим, у меня репутация человека слова. Я считал, что и на тебя можно полагаться. Теперь выходит, я Орешникова подвел. Может, и он кого повыше подвел. Такое не прощают.

— Вы-то что могли, это я вас подвел.

— Они со мной дело имеют.

— А может, статья, она как раз кстати? — с надеждой спросил Лосев. — Показывает, почему тянули, сопротивлялись, что мешало.

— Она кстати, — Уваров горько крикнул. — Кой-кому! Мне лично критика в центральной печати сейчас совсем некстати, все испортит! Все задуманное, все планы. Вроде бы ерунда, а многое может погореть!... Знал бы ты... — Он остановился, отвернулся. — Сколько готовил... Эх, руки у меня связаны. Тебе-то известно, какой у нас тут кавардак, задыхаюсь я от бесхозяйственности, смотреть тошно! Лосев, Лосев, не ожидал я от тебя, с какой угодно стороны готов был, но не с твоей.

Зашагал тяжело, вбивая ногой вес свой в бетонные плиты, в весь их многотонный массив, пронизанный железной решеткой арматуры. Бетонная плита и шов, плита и шов. Вся земля была надежно укрыта глухой их толщей.

— Тебя что толкнуло? Тщеславие? Боюсь, что так. Надеялся оставить о себе долгую память, благодарность граждан, и тому подобное. К сожалению, Сергей Степанович, помнят лишь того, кто наверх идет. Недавно я в Москве посетил одного деятеля. Искал, искал, где его кабинет, никто не знает. Еле нашел. Комнатушка. Не повернуться. Там его портрет не уместится. Тот самый, который я на демонстрации нес. Представляешь? — Встреча эта, видимо, впечатлила его. — Нет, слава, почет, память — все это суета. Порядок бы навести, вот что хочется. Теперь неизвестно, что будет, что состоится...

— Разрешите я Орешникову проясню, как все было.

— Нет уж. Я не привык подчиненных подставлять.

— Зачем вы меня вызывали, Дмитрий Иванович?

— Такие вопросы задавать не положено.

— В новой-то должности, на правах будущего зама, мне должно иногда позволяться, — не удержался Лосев и даже подмигнул.

Молчание наступило мгновенно, словно Лосев замкнул накоротко, и все выключилось.

— Позвольте тогда мне по существу спросить кое-что?— спросил Лосев.

— Попробуй.

— Если бы я не стал возражать Пашкову и разрешил бы взорвать, как бы сейчас это выглядело?

— Выглядело бы как обычная строительная площадка.

— А мы с вами? Получилось бы неудобно...— Лосев говорил задумчиво, как бы выискивая след.

— Для кого неудобно?— Некоторое напряжение прозвучало в голосе Уварова, и Лосев вспомнил замечание Тани.

— Не следовало Пашкову так настаивать.

— Почему же?— не сразу спросил Уваров.

— Потому что он настаивал *после* звонка из газеты.

— Откуда тебе известно? Держал связь с газетой?

— Нет, мне сегодня сказали.

— Сегодня?— Уваров невесело рассмеялся, словно бы о чем-то знал.— Допустим, после звонка, что это меняет?

— А хорошо ли это?

— Ты специалист по нравственности, ты и оценивай. Дальше что?

— Выполни я требование Пашкова, вину свалили бы на городские власти. Лично на меня. Вышло бы, что мы и общественность обманули, и газету.

— Логично,— неожиданно согласился Уваров.— Теперь бы спрашивали с тебя, точнее с твоих людей, с Морщихина или кто там у тебя. И получили бы взыскания.

— И я получил бы.

— Наверное,— подтвердил Уваров.— Помнится, ты соглашался на это. Сейчас бы я тебя преподнес Орешникову как такого-сякого. Я бы к тебе меры принял. Ты знаешь, меры всегда должны быть приняты. Теперь же и дело не сделано, и под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше весит, чем твое. От него круги дальше идут. Тебе самому полезнее, чтобы я был чист. В твоих это интересах. Цинично? Нисколько. Я ведь знаю себе цену, и ты знаешь. Мои возможности — это и твои возможности. Что, не так? Зачем же ты рискнул? В чем смысл был твоего расчета? Думаю, что твоя победа, Сергей Степанович, в общем и целом

нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Плохо ты сосчитал. Ты ввел в расчеты переживания. Оперировать же надо фактами и цифрами, они для всех людей одинаковы. Это у Каменева — вкусы, мода, искусство, а у нас с тобой — наука.

Лосев вдруг поймал себя на том, что привычно кивает, и рассмеялся.

— Нет, нет, человека подсчитать невозможно, — удивленный своим весельем, сказал он. — Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. И я не учел. И в себе, и в... — но вместо «вас» он сказал — «других».

— У нас с тобой разные ошибки, — холодно ответил Уваров. — Человек устройство сложное, известно, что он может против своей пользы пойти. Но ненадолго. Надо не настроение учитывать, а обстоятельства. Обстоятельства, они сильнее нас, они заставят. Думаю, что ты из тех людей, которым ошибка прибавляет ума... А что же в себе не учел?

— Еще не знаю. Я еще думаю над этим, Дмитрий Иванович. Как по-вашему, Пашков действовал по своей инициативе?

Не доходя до полосы света, Уваров остановился в темноте, фигура его в синем плаще растворилась, осталось только слабо белеющее лицо. Он ответил не сразу, с некоторым усилием:

— Инициатива-то была его... Его заверения, его уверенность. Но, конечно, принимал решения я, и ты не дипломатничай, ты знаешь это...

Уваров цедил сквозь зубы, никто его не заставлял, он мог обойти, уклониться, цыкнуть на Лосева, на неразлично белеющем его лице угадывалась страдальческая гримаса. То чувство виновности, с которым ехал сюда Лосев, и чувство несогласия, раздражения, которые наплывали на него во время разговора, все сейчас разрешилось жалостью. Было удивительно, что он, Лосев, мог жалеть этого всегда сильного, непогрешимого, неуязвимого человека. Постепенно нехитрый замысел Пашкова прояснялся. Считая, что в запасе, до выхода статьи, есть еще несколько дней, предполагал он дом снести и сообщить в газету: так, мол, и так, не уследили, строители свершили свое дело вместе с городскими властями, поэтому в статье исправить надо и акценты переставить. Что-то в этом роде он затеял, чтобы в ре-

зультате Уваров сдержал свое слово перед Орешниковым, и уж если пострадает, то за исполнительность...

Подробности комбинаций, затеянных Пашковым, почему-то перестали интересовать Лосева, ему стало скучно.

Он смотрел, как взлетали самолеты, отправляясь в разные стороны неба. Созвездия поглощали их, мир был огромен, и Лосев радовался тому, что он может видеть и понимать эту огромность. Неожиданная мысль кольнула его: не будь статьи, как бы он вел себя сейчас перед Уваровым? Настаивал бы на своем? Хватило бы духу? Ему казалось, что хватило бы, он ощущал в себе какую-то новую неизвестную ему силу, спокойствие, чуть ли не превосходство над Уваровым, и было досадно, что он не может проверить себя. Вновь сердито подумал о Тане, о непрошеной ее помощи.

Со стороны аэровокзала динамик, хрипя, объявил прибытие московского самолета. Отделяясь от звездного неба, мигая красными огнями, на посадку шел самолет, на полосе он засеребрился, выделился из тьмы, и, словно выждав этот момент, Уваров заговорил о том, что Орешников, очевидно, будет решать о переносе места строительства. Не в интересах дела, а из-за статьи. Поскольку поступило указание. Он дал понять, что лучше в этой ситуации — действовать единодушно, это полезно в будущей стройке, и городу, — личные разногласия можно отложить.

Прежде чем подошли встречающие, Уваров распрямился, поправил галстук, видно собрался внутренне. Напряжение у Лосева схлынуло, он украдкой зевнул, потянулся, и это не ускользнуло от Уварова.

— А тебя что, не волнует? — спросил он, следя, как подадут к самолету трап. — Почему?

— Не знаю, — сказал Лосев и удивился сам. Он удивился тому, что за этот час так и не выяснил, будет ли он замом, что решил Уваров, как сложатся их отношения, и не старался выяснить; то, что было для него так важно, поблекло, отодвинулось, и важным стало совсем иное... Он хотел как-то пояснить это Уварову, но тот властно оборвал его, уже недоступный для споров и признаний.

Лосев не обиделся, наблюдал, как Уваров вел себя с Орешниковым, так же ровно, с достоинством, как и обычно, без всякой суеты, искательства.

Никто не упоминал про статью, ругали погоду, Орешников шутил, говорил мурлыча, маслено блистая лысиной, впрочем, это никого не обманывало, известна была его манера соглашаться, поддакивать, рассказывать байки, и вдруг — цоп — ухватить то самое, ту болячку, ту опасность, которую не замечали или которую скрывали.

ГЛАВА 29

С утра Уваров уехал с Орешниковым на предприятия и приказал Лосеву не отлучаться из облисполкома. Лосев сидел у Аркадия Матвеевича.

— ...своевременная, нужная статья. Не понимаю, зачем ты крадешь у себя праздник? — приговаривал Аркадий Матвеевич, продолжая писать. — Радоваться должен. Праздников не так много в жизни. Я лично рад за тебя. Никто тебя не тронет, ты пойми механику выдвижения: Уваров уже рекомендовал тебя, высказался, ему теперь невозможно и неловко бить отбой, да и за что? Он не из тех, кто мстит за ошибки, он понимает, что ты не от зла к нему, что это не интрига. Другое дело, что ты ему, может, повредил, ему кое-что, говорят, светило впереди. Слишком он умен, поэтому нелегко ему. Боятся его. Опасен. А скрывать ум не хочет, гордость мешает. Но это не беда, а слабость его в другом — ум у него слишком трезвый...

Отставив на вытянутой руке законченное письмо, он полюбовался, прищелкнул языком:

— Законы российские свирепы. Единственное, что умеряет их неукоснительность и безотложность — это неисполнение!

После обеда Лосев звонил в Лыков. По словам Журавлева, статье в городе обрадовались. То, что полтора года назад обсуждалось на исполкоме и казалось естественным: дать под строительство филиала Жмуркину завод, снести дом Кислых, сейчас предстояло явным уроном городу, все обнаружили, что это место наиболее красивое в центре, да и дом — украшение, жалко сносить его, дом крепкий и, как выразился Анфилов, «виртуозный». Картина Астахова того не сделала, что сделали несколько строк в газете. В райкоме были довольны, что все обошлось, похвалили военкома, при этом большинство приписывало появление статьи уси-

лиям Поливанова вопреки Лосеву и прочим... Последнее Журавлев преподнес с горькой иронией над людской несправедливостью, он-то был уверен, что все случилось благодаря Лосеву, в том числе и статья, и жаждал подтверждения этого. Но Лосев ничего ему на это не стал разъяснять, велел на всякий случай порядок навести у заводи и на главной улице, и опять ничего не пояснил. Когда положил трубку, ему вдруг вспомнилась Ольга Серафимовна, темное предсказание ее, он спустился вниз, в почтовое отделение, и отправил телеграмму: «Дорогая Ольга Серафимовна, еще раз спасибо за ваш щедрый дар, всегда помним о вас с удовольствием» — и подписался полным титулом.

Вечером Лосева пригласили на ужин к Уваровым. За столом, кроме хозяина с женой, был Орешников, Грищенко и две дочери уваровских, толстенские двойняшки, похожие на мать, черноволосую округлую украинку. К Лосеву она относилась подчеркнуто гостеприимно, стараясь скрыть свою неприязнь, видимо считала его виновником неприятностей мужа.

Ели, пили, произносили тосты и при этом смотрели по телевизору футбол. Разговор порхал пустяковый, незначащий, как бы случайно выяснилось, что утром, спозаранок, поедут в Лыков решать вопрос с филиалом, заодно и с мостом, оттуда уже на строительство шоссе. В работе Орешников не уступал Уварову, без усталости ездил, ходил, выслушивал, осматривал, потом до ночи диктовал, возился с бумагами, готовил письма, отчеты.

Лосев вопросительно посмотрел на Уварова, но тот увел глаза. Грищенко сыпал анекдотами, незаметно подливал себе в рюмку нарзан.

Квартира Уварова сияла чистотой, не наведенной к приходу гостей, а той надежной опрятностью, какая образуется от каждодневных тщательных уборок. Любая вещь тут знала свое место, книжные шкафы были заставлены сочинениями классиков и роскошными изданиями по искусству. В соседней комнате, на длинном узком столе, лежали газеты, журналы, чем-то напоминающая служебный кабинет Уварова, все блестело, как хорошо смазанная машина, было продумано, подчинено уваровскому отдыху, уваровской работе, и жена, и шестнадцатилетние дочери его казались тоже продолжением работы.

Дочери пели дуэтом песни из кинофильмов. Орешников растроганно подпевал, незабудочно-голубенькие его глазки увлажнились.

Ведь здесь мое осталось сердце,—
А как на свете без него прожить?

Скорбный свет озарял девичьи лица. Уваров тихо сказал, что Пашков предупредит, чтобы в городе подготовились, Лосеву надо будет по дороге проинформировать Орешникова, в частности о Поливанове. Орешников недоволен, жалобы Поливанова попали куда-то наверх, и хорошо бы настроение это переменить, показать, что в городе порядок. Он спросил насчет дома Кислых. Лосев сказал, что у дома сейчас вид неважный, но стекла вставили, почистили, здание, кстати, пойдет под музей. Не надейся, остановил его Уваров,— он собирался передать дом филиалу: для управления, для конструкторов, словом, он рассчитывал этим подарком как-то загладить конфликт. Они разговаривали, не глядя друг на друга, как бы следя за песней, за футболом, перекидывались словно бы незначащими словечками.

— Но я обещал перед всем народом, на похоронах.

— Поторопился,— жестко сказал Уваров.

— Может быть, но так получилось.

— Попробуй язычка,— сказал Уваров,— копченый.

— Нет уж, пожалуйста, я перед вами виноват, но тут мне податься некуда, если вы будете настаивать, Дмитрий Иванович, то как я буду выглядеть, хоть подавай в отставку,— сказал Лосев.

Уваров улыбнулся:

— У нас в отставку не подают.

— И напрасно,— сказал Лосев с твердостью, которую никогда не позволял себе в разговоре с Уваровым.

Незабудочьи глаза Орешникова прошлись по ним.

— Недавно любопытный у меня произошел разговор,— громко начал Уваров.— Приезжала ко мне одна ленинградка-химик. Она заводами искусственных белков занимается. Десять лет пробивала эту идею. Здоровье на этом потеряла. Два тома переписки своей показала. Куда только не добиралась, десятки комиссий работали, совещания, статьи в газетах, двух начальников главков сняли, один от нее инсульт получил. В итоге добились. Рассказывает мне, глаза сияют, сама изможденная, руки трясутся, типичный фанат. Но умница. И дело полезное. А все-таки послушал я и спраши-

ваю: что было бы, если б вы не боролись, сама по себе идея ваша пробилась бы? Подумала она и честно говорит — наверняка пробилась бы. Когда? Года на два, говорит, позже. И вот я думаю: столько она людей от дела отрывала, такую сумятицу вносила, сама эти годы потеряла, оправдано ли это? В каждом деле есть своя инерционность, свой период, зачем насилие применять? Был ли смысл в стараниях, в кипении этой особы?

Задача была, как сказал Орешников, не в один вопрос, из тех, что и ответа точного не имеют и всех задевают, да еще был в ней и некоторый намек, к Лосеву относящийся.

В квартире Уварова и на завтра в Лыкове время от времени Лосев чувствовал на себе незабудочный взгляд и никак не отзывался, присутствие Орешникова не вызывало у него напряжения, он не прислушивался, не ловил каждое слово, жест, не следил за собой, и это чувство свободы удивляло и радовало. Давно прошли те времена, когда Лосев судил о людях по их должности. Орешников, маленький, лысый, был похож на гнома. Слыл он службистом, но, кажется, неплохо разбирался в людях, действовал не торопясь, осторожно, привлекал мягкостью, говорливостью и был приятно сентиментален. Ему сразу понравился этот городок с его игрой заросших лопухами улочек, спусков к реке, дощатыми заборами и полеглими на них яблонями. Орешников родился в такой же старинной провинции — в Старой Руссе, которая была сожжена, разбита в войну, и теперь, увидев лыковский гостинный двор с рядами, которые еще сохранили названия — пряничный, квасной, кожевенный, он вспомнил довоенный старорусский гостинный двор и прослезился.

— Провинциальные наши городки, помяните мое слово, станут дороги своей провинциальностью. Стремиться сюда будут, в эту тишь, в малолюдьё.

Слушали его почтительно, и Журавлев удивился, почему Лосев не подхватил любимую тему.

Новую площадку для филиала Лосев показывал, ни на чем не настаивая, позволил Грищенко бранить ее, жаловаться на грунты, на узкие подъезды, на растянутые коммуникации. Он не возражал, тактика Грищенко была ему понятна, так же как и одобрительное молчание Уварова: видите, почему мы настаивали на пре-

жнем месте? Так же как и понятно было, что все делается для Орешникова, для которого, как и для Грищенко, вопрос о переносе сюда строительства был решен. Не возражал Лосев и когда Орешников предложил чуть сдвинуть пятно застройки к Предтеченским воротам. Полуразваленные ворота, которые Орешников, подумав, неожиданно-негаданно разрешил восстановить за счет филиала, что вызвало восторги Журавлева и Чистяковой и причитания Грищенко: «Кому блин, кому клин, кому просто шиш!»

И это Лосев понимал — Орешников приехал, уточнил, следовательно, меры приняты, лично подобрал новое место, наилучший выход из положения: и товарищей подправили, и посчитались с ними, восстановление же Предтеченских ворот — серьезный ответ на статью — учли критику, ответили делом. Понимая все это, Лосев мог бы проявить радость от нечаянного счастливого приобретения, поблагодарить, показать, как умно это и кстати — реставрированные ворота украсят западный район города и помогут быстрее снести скособоченные, барачного типа дома тридцатых годов. Глядишь, и получил бы добро, он же оставался озабочен, рассеянно утешал Грищенко: «Ты же понимаешь, ты должен понять».

— Ты должен понять и реставрировать! — обращался Грищенко к себе, смиренно склоняя лохматую свою голову. — То есть тебя, Грищенко, надо повесить, и ты должен понять, как это необходимо. Если тебя повесить, то нам полегчает. Пойми, Грищенко, ты человек разумный, широкий, давай свою шею, ты же знаешь, как мы тебя ценим...

Все смеялись, громче других Сечихин, которому накануне попало. Причина льстивых слов и улыбок Сечихина была Лосеву так удручающе ясна, словно Сечихин был прозрачен: видно насквозь было любое движение его душевного механизма. И милые уловки Грищенко, его хитрости — тоже Лосеву были ясны и не доставляли того удовольствия борьбы, как прежде.

В школе произошла заминка, не могли найти Тучкову, Журавлев не приметно шепнул об этом Лосеву.

— Как же так? Как же так? — повторил Лосев, чему-то тревожась.

Он подошел к Уварову и Орешникову, извинился, учительницу-экскурсовода еще не нашли...

— Татьяну Леонтьевну? — спросил Уваров. — Не будем ее ждать, не стоит, Сергей Степанович сам сообщит не хуже.

То, что Уваров знал ее имя-отчество и произнес их сразу, словно думал о ней, было неожиданно, Лосев покраснел, как застигнутый врасплох. Он видел, что все смотрят на него с острым интересом, и ничего не мог поделать с собой. Некоторое время картину разглядывали молча, тактично выжидая мнения Орешникова. Он не спешил, жмурился, мурлыкал свое загадочное «хурды-мурды», потом спросил неожиданно:

— Ну-с, как вам? — И каверзно подмигнул Лосеву.

— Я-то думал, солидное полотно, — не удержался Сечихин.

— Да-с, размеры подкачали, это вы точно подметили, — сказал Орешников так, что все засмеялись. — Эх, Лосев, Лосев, что ж вы раньше не доложили, это же редкостный ансамбль!

Лосев посмотрел в незабудочно-чистые глаза Орешникова.

— Это теперь она вам нравится, — произнес он без вызова, грустно, но все равно вышло дерзко.

— У тебя нет оснований так говорить, — строго сказал Уваров.

Но Орешников миролюбиво рассмеялся.

— Кто его знает, может, и есть. Попытался следовало.

— Пытался, — сказал Лосев. — Звонил вам в Москву. Не соединяют, не положено.

— Это бывает. Все равно не оправдание, — грозно перебил себя Орешников, но, не встретив ни согласия, ни уступчивости у Лосева, перешел на тон, не сулящий ничего хорошего. Все вытянулись, замерли, стараясь в эти минуты ничем не привлечь внимания.

— Куда же товарищи смотрели? Ждали, пока газета подправит? Сами не могли разобраться? В результате стройку затягиваем. Придется ответить за это. Да разве допустимо в наше время замахиваться на художественные ценности! Красоту в наших городах создавали и отбирали великими трудами, и не от жиру, как полагают некоторые товарищи! Красоту такую беречь надо. Это богатство, это, между прочим, — валюта! Работаем плохо! Руки заняты. В ладоши хлопаем!

Проговорив в таком духе, Орешников так же внезапно успокоился и любезно попросил Лосева рассказать про картину.

...Утренний свет, движение воздуха над водой, движение красок, игра теней, переходы зеленого цвета. Кусок кирпичной стены — как открытая рана, как плоть дома. Краски — это они движут воздух. Астахов соединил деревья, реку с причудливым этим домом в одно целое, создал гармонию природы и фантазии человека.

Повторяя фразы Тучковой, он ощущал приятный их вкус, движение ее губ. В глубине картины, из темной зелени блесело ее лицо. Оно вдруг задрожало, и он увидел ее там, на кладбище, и себя в бешенстве, обуянного злостью. Все же он несправедливо обошелся с нею. За что? Почему? Прошло всего два дня, и он уже перестал понимать себя. Но думал он об этом спокойно, как о накладке, какая бывает в служебных отношениях.

Пора было кончать пояснения, он безошибочно почувствовал этот момент, но продолжал, жалея расставаться с Таней.

Мельком отметил незрячее лицо Сечихина и скуку приезжих помощников Орешникова, которым был неинтересен этот бедный городок, в котором ничего нельзя ни купить, ни увидеть. Но и Лосеву они были безразличны, даже приятно было заставить их слушать и стоять перед картиной и заодно и Пашкова, и Уварова, чтобы смотрели, изображая внимание, интерес...

Нарушив этикет, то есть не дожидаясь начальства, Грищенко простонал изумленно:

— Хорошо рассказываешь.

И все стали нахваливать картину, понравился и весь вид на заводь. Поскольку с переносом стройки определилось, никто не осторожничал, Грищенко проявил себя знатоком архитектуры, показал, какой отличный силуэт имеет дом Кислых, если же его отремонтировать — засияет, как бриллиант. Один лишь Уваров отмалчивался и на вопрос Орешникова ответил сдержанно, что пейзаж как пейзаж ничего особенного. Почему-то эта непреклонность Лосеву была симпатична.

— Счастье ваше, что не снесли, — сказал Орешников. — Как так получилось?

— Затянули, — сказал Уваров.

— Поливанов писал, что взорвать хотели.— Орешников вдруг повернулся к Лосеву.— Правда это?

— Было дело.

— Кто же хотел?

— Мы хотели. Мы и раздумали,— не отводя глаз, ответил Лосев.

— Не ухватишь его,— сказал Орешников Уварову.

— За это и ценим,— сказал Уваров, и набрякшее усталостью, малоподвижное лицо его разгладилось, повеселело, напряженную фигуру отпустило.

— Дом этот, натурально, город хочет под музей использовать,— как бы между прочим проинформировал Лосев.

— А у нас, натурально, на него другие виды,— опережая ответ Орешникова, предупредил Уваров. И Грищенко бурно поддержал его, ибо нацелился взять дом для своего треста, но, избегая спора, Уваров ловко свернул в сторону, к слабому, как он считал, пунктику Лосева, к его заслугам, как он предложил здесь выставить картину, добавьте к тому же, что он и приобрел ее, поведайте нам, Сергей Степанович, занятная, говорят, историйка. И Лосев в тон ему изложил историйку позанятней, ровно анекдот, что и требовалось. В конце же, без перехода, Лосев огорошил всех вопросом о начальнике, который дает слово, обещает, заверяет и не держит слова, на попятный идет. Не порядочней ли уйти, подать в отставку? Не похоже было, что он на кого-то намекал, но было неприятно.

Все продолжали улыбаться ему той же улыбкой, что слушали его историю.

— Да кто же уходит?— Грищенко пожал плечами.— Этак никого из нас не останется.

— А уходили,— резко сказал Лосев, не принимая их улыбок.— Есть ведь законы чести. Или нет их?

Резкость его и серьезность казались неуместными.

— Честь, когда деньги есть, я говорил Сергею Степановичу,— примирительно сказал Уваров, приканчивая это нарушение программы.

Лосеву готовы были простить этот неудачный выпад, но он продолжал упорствовать, наивное простодушие исчезло, во взгляде, которым он смотрел сразу на всех, была какая-то упорная мысль. Что-то отделяло его от всех.

Голубенькие глаза Орешникова точно высветили обоих — Уварова и Лосева.

— Разногласия? — осведомился он. — Полезная штука, хотя и редкая, а?

— Разногласия, — сказал Лосев.

— У нас бывает, как у плохих купцов, — продолжал Орешников, — честь честью, а дело делом. Это зря. Честь и в деле, и в слове надо соблюдать.

Голос его доносился к Лосеву все слабее, словно Лосева куда-то относило все дальше и дальше.

— ...Но я думаю, Уваров соблюдает?

— Соблюдает, — повторил Лосев безразлично. — Все ради дела. А дело ради чего?

— Ишь ты, не боится правду в глаза резать. Поэтому в замы его берешь?

Орешников внимательно смотрел, как Уваров смеется, потом спросил как бы невзначай:

— А что, Сергей Степанович, пойдете начальником строительства?..

— Зачем ему? — опережая Лосева, спросил Уваров. — Это не повышение.

— Мало ли что. Вы имейте, Сергей Степанович, в виду.

— Спасибо, дело хорошее.

— Что так? — спросил Уваров.

— Лучше так, чем так и сяк, — проговорил Лосев словно издалека.

Никто не принял его слов всерьез, показались они необдуманными, и сам Лосев вспомнил о них позже, когда жизнь его так неожиданно изменилась, хотя на самом деле ничего неожиданного в этом не было.

ГЛАВА 30

Однажды летом, возвращаясь с юга на машине вместе с приятелями, Бадин, сбросив скорость у поста ГАИ, увидел на указателе надпись «Лыков — 60 км» и стрелку влево. До свертыша он ехал медленно, припоминая, откуда он знает это название, а вспомнив, предложил заехать в Лыков. Молодые приятели его — бородатый реставратор и аспирантка-историк, услышав про картину Астахова, охотно согласились. Все они были поклонниками Астахова, к тому же вспомнили еще и статью в «Правде».

Дорогой Бадин рассказывал про забавный визит председателя лыковского горисполкома к вдове Астахова, живо изобразил Лосева, так что все увидели этого напористого, хитроватого и цепкого мужичка, в котором тем не менее был некий «художественный слух», как выразился Бадин; рассказал он и про учительницу Тучкову, которая приезжала позже к покойной Ольге Серафимовне.

С холмов, на которые взлетали дороги, Лыков казался неказистым по сравнению с расписными Печорами, куда они только что заезжали, уж не говоря об Угличе и Суздале. Городок этот, Лыков, несколько попорчен был беспорядочной застройкой, новыми, скучными корпусами производственных зданий, которые стояли на берегу у въезда в город. Тем не менее прежний его облик — крепостной, козий, кружевной — сохранился. Было в нем что-то собственное, отдельное. Много определял красивый и лихой изгиб реки, крутая излучина, на которой разместилась старая часть города. Обрывистые песчано-зеленые берега и широкая заводь. Сверху были видны остатки земляного вала с огородами на нем, поодаль белый собор и за ним высокая роща.

День был ветреный — разлохмаченный, то набегал мелкий дождь, то выглядывало солнце. На большой площади по разбитому асфальту бродили огромные вороны, стоял памятник Бакунину, сооруженный, по определению Бадина, в первые годы революции. Приезжие приткнули машину на переполненную стоянку и отправились наугад к горисполкому. По дороге они сворачивали на тихие улочки, любясь старыми особняками, со знанием дела отмечали искусную каменную кладку, узоры наличников, ставней, парадные крылечки. Они не спрашивали дорогу, наслаждаясь незнакомостью, сюрпризами, которые ожидали их за поворотом. Чаще им приходилось бывать в городках знаменитых, приготовленных для осмотров и посещений. В Лыкове такой готовности не было. Он занят был своей жизнью, не думая о гостях, не заботясь о впечатлении, и жизнь эта, порой неприглядная, привлекала своей независимостью. Они с улыбкой обнаруживали чучела на огородах, старые уличные колодцы с воротом. На одном из новых домов Бадин заметил по-настоящему художественные балконные решетки.

Аспирантка сделала несколько снимков. Они посмеялись над бетонным памятником в сквере — милая аллегория бетонных воинов, пушек и железных рельсов.

У сквера стояло розовое трехэтажное здание с флагом. Они вошли, поднялись наверх в приемную председателя. Секретарше Бадин не представился по фамилии, а просил доложить председателю, что проездом из Москвы к нему знакомые Ольги Серафимовны Астаховой. И хотя в приемной сидел народ, было понятно, что их не могут не принять, им ничего не надо было от председателя, все понимали, что если им сейчас откажут — они повернутся и уйдут без всяких претензий. В их куртках, мягких узконосых сапожках, в рубашках, казалось бы самых обыкновенных, было то, что отделяло их от местных. И в их подчеркнутой вежливости и уверенности — это была столичность.

В кабинете председателя за длинным столом сидело несколько человек, навстречу Бадину поднялся незнакомый молодой человек в морковной рубашке, кудрявый, с упругой улыбкой на твердо-румяных щеках.

Бадин оглядел его без интереса, потом оглядел остальных.

— Извините, я имел в виду товарища Лосева.

— Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него.

— Ах ты, незадача какая, простите, это к вам не относится. — И Бадин недовольно почесал щеку мундштуком трубки. — Я-то решил наконец воспользоваться его приглашением... — Он по всем правилам представился, и представил своих спутников, и объяснил цель приезда. Произвело впечатление не столько неопределенное звание Бадина — доктор наук, искусствовед, сколько его холодная невозмутимость, трубка, его внешность — резкие неподвижные черты индейца, вождя краснокожих. Взгляд председателя горисполкома был задумчив, в нем отразились размышления человека, который ничего не делает зря. Решив для себя задачу, он заговорил радушно, предложил садиться, назвал себя — Морщихин Эдуард Павлович.

— О чем речь, — приговаривал он. — Мы рады таким гостям, как обещано, так и примем. — Оскал его белых зубов блеснул остро и приветливо, светло-серые глаза смотрели холодно. — В этом направлении у нас есть что

показать и есть что посмотреть.— И быстро, привычно набросал им программу пребывания: сперва музей, новый, недавно открытый, затем картину Астахова, затем общий обзор города, обед, раскопки археологов, в конце желательно встречу с работниками культуры.

Бадин поблагодарил, к сожалению, времени мало, интересовала его прежде всего работа Астахова.

— Работа, известно, шедевр,— сказал Морщихин с гордостью.— Но для этого нужно в музее побывать, вы уж мне поверьте, она у нас завязана в единый комплекс. Музей у нас богатый, не пожалеете.

— Если завязана, давайте не будем нарушать,— сказала аспирантка со смешком, различимым только ее спутникам.

Морщихин подвел их к окну, показал влево, на том берегу реки виден был свежеевыкрашенный двухэтажный, с мезонином дом под медной крышей.

— Позвольте, не этот ли дом изображен на картине Астахова?— не очень уверенно спросил Бадин.

— Узнали? Он самый. Там и помещается наш музей. Недавно открытие было. С него начнете. Дом-то какой красавец стал!

— Дом конца прошлого века,— сказала аспирантка. Морщихин одобрительно кивнул ей:

— Правильно, девушка, эпоху всего можно определить по стилю. Дом является достопримечательностью. Принадлежал он некоему Кислых,— и Морщихин стал рассказывать историю дома.

— Кислых?— проговорил Бадин.— Где-то я слышал эту фамилию.

— В «Правде» читали. Не иначе,— подсказал Морщихин.— Упомянут он в статье. Борьба за него была. Еле удалось отстоять.

— А что такое?— спросил реставратор.

— Снести хотели. Знаете, как у нас бывает.

Реставратор и аспирантка заахали. Дом показался им еще краше. Бадин молча посасывал потухшую трубку.

— Досталось нам, хлебнули!— сокрушенно вспоминал Морщихин.— Что поделаешь, тут себя жалеть не приходится. Искусство принадлежит народу, и мы должны его беречь. А оно, в свою очередь, в качестве картины Астахова помогло нам сохранить пейзаж. Руко-

водство города много делает, чтобы сберечь красоту и для искусства создать условия. Специальных средств нам не выделяют, мы, как видите, своими силами, как умеем.

Его деловитость производила приятное впечатление: тут же сам позвонил в музей, выделил сопровождающего, заведомо культуры, преподнес гостям наборы цветных открыток — виды города с дарственными надписями, взял обещание, что Бадин сделает развернутую запись в книге отзывов.

Желтые, прокуренные зубы Бадина задумчиво грызли мундштук. Он отмалчивался, чего-то ожидая, и Морщихин, словно добиваясь его одобрения, не отпускал приезжих, рассказывал о реконструкции, о реставрации памятников старины.

— Есть у нас задумка сделать наш город туристским центром. Привлечь туристов не церквами, как другие, а российскими ремеслами. Показать хочу, чем славились наши предки. У нас ведь юфть делали, чучельники были... Кроме того, Лыков — город научно-технической революции. У нас расширяется филиал фирмы электронно-вычислительных машин. — Глаза его оставались холодными, тусклыми.

Бадин бесчувственно посапывал пустой трубкой.

Прощаясь, Бадин спросил, где теперь Лосев.

Возникла пауза. Морщихин пригладил кудрявость своих пегих редющих волос.

— На строительстве у нас работал, теперь куда-то уехал. Откровенно говоря, оно и лучше. Для оздоровления обстановки. С инстанциями не сумел наладить отношения, отражалось это на делах города. Кроме того, в моральном вопросе он авторитет подорвал... Такое у нас мнение, — внушительно заключил он. По его суровости можно было понять, как осуждает он Лосева и не хотел бы продолжать эту тему. — В нашем положении нужна скромность, приходится все согласовывать, а не характер свой показывать.

На этой фразе, поскольку аспирантка фотографировала его рядом с Бадиным, он принял позу — руку ладонью вверх плавно двинул вперед, лицо повернул вполоборота к объективу.

Завотделом культуры проводил их вниз, там поручил строго-настрого своему инспектору, тот повел их

в музей, так же строго сдал на попечение экскурсоводу, молодой девичке с распущенными волосами, и отправился по своим делам.

К их удивлению, этот никому не известный музей оказался интересным. Если не считать обязательных краеведческих каменных топоров, чучел лисиц и зайцев и образцов продукции, остальное занимали история и предметы быта. Экспозиция была веселой, яркой — на капроновых нитях свисали старые вывески — булочной с золоченым кренделем, трактир братьев Пильщиков, земская управа, врач по внутренним болезням доктор Х. Цандер. Стоял старинный громоздкий почтовый ящик. Лежали дореволюционные гимназические тетради, и тетрадки двадцатых годов — с флагами, фигурами рабочего и крестьянина, и тетради времен первых пятилеток. В тетрадях были диктовки тех лет. Была посуда, самая дешевая, которая нигде не сохранялась, — рюмки из мутного пузырчатого стекла, тарелка с надписью: «Украдено из столовой райпотребсоюза». Висел генеральный план развития города, сделанный в 1810 году, после пожара. Изображение потешных огней, учиненных в честь приезда наследника. Старые семейные портреты. Фотографии набережной Плясы времен 1907 года, сплошь застроенной лабазами, складами. Проект этой набережной. Висел фальшивый безмен — из тех, с какими ездили по окрестным деревням перекупщики, выменивая лен. Удостоверения первого революционного хорового общества. Продовольственные карточки. Экскурсовод в знак внимания запустила музыкальный ящик — «симфониетту», которая исполнила марш «Прощание славянки». Музей имел большую коллекцию открыток, плакатов, пасхальных яиц — стеклянных, фарфоровых, деревянных; детские расписные грабли — как пояснила девица — для привлечения детей к тяжелому крестьянскому труду. Тут же был ловко сплетенный из бересты мячик — игрушка, не виденная Бадиным, имелись первые радиоприемники, портрет О. Ю. Шмидта с дарственной надписью местному Дому культуры.

Среди образцов продукции города были и утраченные ремесла, вроде горшков, крынок, и были новые — действующие компьютеры.

В историческом отделе среди фотографий они обратили внимание на фотографию некоего Жмурина, доре-

волюционного градоначальника, экскурсовод показала также фотопортрет основателя музея Ю. Е. Поливанова и материалы, связанные с его революционной деятельностью.

Среди разных мандатов и значков был карандашный рисунок на обрывке рисовой бумаги — Поливанов в профиль, сбоку была женская головка и затылок черта.

— Чей это рисунок? — заинтересовался Бадин.

— Автор неизвестен. Из личного архива Поливанова, мы дополнили им иконографический материал, — виновато сказала девушка.

Рядом висела групповая фотография: Поливанов в центре и кругом несколько молодых людей в галифе, в косоворотках.

— Это кто? — спросил Бадин.

— Рядом с ним Пашков Георгий Васильевич, революционер. У нас названа его именем улица, а этого я не знаю, мы еще не всех выяснили. Кстати говоря, нами установлено, что Поливанов был знаком с художником Астаховым, который приезжал в город примерно в 1936 году и написал свою известную картину «У реки», которую вы увидите. Картина была подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой. Вот ее портрет и копии с нескольких рисунков художника.

— Послушайте, милая девушка, — сказал Бадин, — все это прекрасно, а почему же вы не сообщаете, что раздобыл картину городу ваш бывший мэр — Лосев?

Девушка усмехнулась снисходительно, впрочем с полным уважением к приезжим:

— Лосев? Не знаю, какие у вас основания. На обороте картины есть надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной Астаховой: «В дар городу Лыкову».

— Но при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?

— У нас таких сведений нет. Да какое это имеет значение? — с досадой сказала она, но тотчас приветливо улыбнулась Бадину матово накрашенными губами. Она объяснила, что текст ее экскурсии утвержден специальной комиссией под руководством Эдуарда Павловича, если у товарищей есть какие-нибудь материалы, то можно обратиться к заведующему музеем.

— А где он, Лосев?

— Не знаю, это вы у старожилов спросите.

На улице разгулялось горячее лето. Пахло цветущей липой. Они обошли дом со стороны реки. Там стояли чугунные кнехты. Песчаные отмели были чисты, река блестела, нежилась на солнце. У черного хода, в жарком затишке, так же нежился мужчина в тельняшке, лежал, угретый солнцем, раскинув могучие руки.

— Дядя Матвей, тут товарищ интересуется Лосевым, вы знали его?

Матвей привстал, осмотрел их разомлевшими светлыми глазами.

— Про Сергея Степановича?

— Они из Москвы, реставраторы.

— Реставрировать — это у нас могут, — сказал Матвей. — Делать не умеют, а реставрировать могут. Было б что.

— Диоген, — сказал реставратор. — Главный философ города!

Матвей зевнул, прислонился к стенке.

— Обиделся? Хоть ты и реставратор, но не имеешь подхода. Нетерпелив. Я про Лосева все могу. У нас с ним сколько разных дискуссий было. Он меня признавал. Самостоятельный был начальник.

— Что же с ним стало? — спросил Бадин.

— Человек из легенды! Вот он кто! От своей должности добровольно отказался. Повышение ему предлагали. Не принял. Такую власть давали — не взял!

— Это почему?

— То-то и оно! Значит, произошел у него переворот событий. А если все взвесить — загадка. Задуматься надо бы, да некому.

— А теперь где он?

— Филиал строил. Потом уехал. Исчез с поля зрения. Но я полагаю, что он вернется.

— Почему же?

Матвей прищурился на солнце и сказал с загадочностью:

— Ситуация жизни потребует такой личности!

Пешком прошли они через мост к школе. На мосту постояли. Река текла внизу, обнимая город плавной дугой, видная далеко. За городом начиналась набравшая цвет нежная зелень полей, перелесков, под солнцем

блестело новое шоссе, и над всем большое, вздутое теплым ветром, синее небо.

В школе, на первом этаже, была выделена специальная комната, с отдельным ходом. В комнате выставались лучшие работы юных художников, висели фотографии из жизни Астахова и в простенке картина. Взяв указку, экскурсовод показывала соответствие картины с натурой. Все обрадованно занялись сличением, каким всегда занимались впервые пришедшие сюда.

— ...потому сходство не буквально фотографическое, а художественное. Полная безмятежность пейзажа похожа на счастливое воспоминание детства. Мирно, спокойно течет река, осененная зеленью. Все напоено воздухом. Художник сознательно заостряет контуры дома Кислых, в этот период для него характерны поиски новых средств выразительности. Решения его спорны, страдают субъективизмом, тем не менее в этой картине он достиг...

— Милая девушка, — мягко прервал ее Бадин, — моя старая статья в вашем исполнении выигрывает, но все равно я вижу, насколько она стала плоха. Не пользуйтесь ею, пожалуйста.

Она подняла на него длинные, толсто крашенные ресницы.

— Я не знала, что это вы. Нам ведь дают методичку... А вот наш директор!

Тоненький паренек в синей спецовке поставил стремянку («Карниз надо приделать для занавески»), представился («Исполняющий обязанности директора») — Анисимов Константин Дмитриевич. Был он сдержан и очень серьезен.

Услышав фамилию Бадина, он несколько оживился.

— Мне о вас рассказывала... Тучкова.

— Это та, что к Астаховой приезжала? Учительница, маленькая такая? Да, да. — Бадин вынул трубку, они помолчали, улыбаясь друг другу с внезапной симпатией.

— Погодите, она ведь здешняя?

— Она переехала в Белоруссию, — сказал Анисимов.

— Экая досада. И Лосева нет. Вы его знали?

Анисимов молча кивнул.

— Вам известно, как эта картина к вам в город попала? Я как раз был свидетелем.

— Известно, — остановил его Анисимов. — Тучкова все записала, почему, например, вы не хотели продавать картину и как Ольга Серафимовна ради Лосева... — он произносил быстро, тихо, так что Бадин разбирал. — У нас хорошие фонды. Про Лосева подробно записано. Знать-то мы знаем...

Бадин довольно похлюпал трубкой, ему нравилось то, что недоговорил этот парень.

Разглядывая в открытое окно дом Кислых, реставратор поскребывал бородку, доказывал, что дом окрашен слишком грубо, краски не подобраны и нарушают...

— Обещали, что к концу лета выцветет.

— А иву зачем спилили? Торчит огрызком.

— Надломилась она весной, — пояснил Анисимов. — Ствол надпилен был.

Реставратор покачал головой и прицокнул, выражая осуждение невежеству.

— Эх вы, способы есть стволы укреплять. Надо бы такие вещи знать. Элементарно. Такую ценную деталь нарушили. Дом отстояли, а дерево профукали! Упущение.

— Брось ты цепляться, — воскликнула аспирантка. — Все равно это чудо. Дом — прелесть! Силуэт смело как сделан, а крыша! Ваш Морщихин молодец, сохранил подлинное украшение.

— Нам повезло, — с гордостью сказала девушка-экскурсовод, — он много музею делает, он понимает в искусстве.

— Да, да, — согласилась аспирантка. — В такой глуши люди могут оценить сложную живопись, мало того, наладить ее взаимодействие со средой.

Наступил момент, когда Бадин перестал слышать, что говорили вокруг. Картина забрала его. Так происходило всегда перед настоящей живописью. Терпеливо он дождался толчка. Бывало, что *это* настигало плавно, словно раскрывался занавес. Оставалась только картина и он. Хорошую картину недостаточно знать, время от времени ее надо смотреть. Эту картину Астахова он знал давно. Но за это время с ней что-то произошло. Здесь, в Лыкове, она стала иной. Конечно, было поучительно сличать картину с натурой. Определить расхождение — что художник изменил, зачем подчеркнул кирпичное пятно на стене, как написал медную крышу

и слепящие окна, сохранив их форму... Бадин привычно анализировал детали, где что понадобилось художнику уравновесить, столкнуть, но это не помогало понять того жара и печали, которые исходили от картины. И раньше он выделял ее из астаховских пейзажей. Теперь же он ощутил скрытую силу картины, каждый мазок, линия были вызваны чувством, которые Бадин не умел определить. Кислых... Лиза Кислых... Ему вспомнилось, что фамилию эту упоминала Тучкова в своем рассказе о женщине, которую любил художник. Может, любовь?.. — спрашивал он себя. Одна природа не может так взволновать художника, думал он, и ему вспомнилось, как потрясла его когда-то картина Эль Греко «Вид на Толедо», как он ходил на выставку, простаивал перед ней не в состоянии разобратся, чем достигнуто чувство тоски и тревоги. Какая-то магия была в этом пейзаже. Картина мучила его, и он снова приходил, чтобы испытать смятение и отчаяние от вида этого яростного темно-синего неба, холмов, взбаламученного синего города.

В прошлом году Бадин был в Толедо, смотрел с холма на сонный светло-желтый, разомлелый от жары город, с приплюснутыми домами, собором. Панорама раскинулась та же, что и на картине, в точности. Она вызвала разочарование и скуку.

В астаховском пейзаже художник повторил подробности натуры, с дотошностью, ему несвойственной, — и флюгер, и кнехты, имелось все, но сдвинутое, надломанное, чуть незнакомое. Кроме мастерства, было другое, чем-то еще затягивала картина, Бадин начал ощущать таинственное живое тепло этого создания, живущего собственной жизнью живого существа. За то время, что он не видел ее, картина словно поздоровела, окрепла, стала ярче. Не так, как бывает после реставрации, не краски посвежели, а берег, дом, река — все открылось в своем значении. Бадин захотел представить себе отношения Астахова с этой Лизой Кислых, что это была за любовь. Но он слишком мало знал. Он подумал, как мало известны истории создания великих полотен, редко мы знаем, что в жизни художника вызвало их появление.

В левой стороне картины, под ивой, в ее солнечной пятнистой сени, над водой показалось лицо. Он вгляделся: в глубине, у берега он различил купающегося

мальчика. У Бадина была чисто профессиональная зрительная память, он готов бы поклясться, что раньше *этого* в картине не было. На всякий случай он подошел, проверяя поверхность полотна, нет ли там свежих мазков, мало ли... вновь отошел, выбирая наилучшее освещение, и явственно увидел голову мальчика. Это был маленький мальчик, он плыл, тело его смутно светилось в коричневой текучей воде. Казалось, что он-то и придавал жизнь этому безлюдному пейзажу. Мелкая рябь расходилась от него по застылой утренней воде, подернутой туманом, он должен был вот-вот выплыть из тени... Наверное, все же это игра света, уговаривал себя Бадин, но понимал, что это не объяснение, потому что, как бы ни ложился свет, он продолжал видеть плывущего мальчика.

Повести

I

Можно доказать совершенно точно, что все произошло случайно. Кузьмин остановился только для того, чтобы пропустить людей, запрудивших дорогу. Они выпрыгивали из автобусов, которые подходили один за другим, бежали наперерез через тротуар. Они торопились под бетонный козырек подъезда. Падал крупный, тяжелый снег, и многие из них были одеты легко и были без шапок.

Если бы Кузьмин шел по другой стороне улицы, ничего не случилось бы. Конечно, событие, которое должно было произойти, когда-нибудь дошло, добралось бы до него в виде слуха, забавной истории...

Итак, он стоял, безучастно провожая глазами этих людей, поскольку ему предстояло идти еще изрядный кусок до станции метро и лишняя минута, хоть и под мокрым снегом, ничего не значила.

Вот тут-то, находясь в этом устало-тупом состоянии, он почувствовал, что на него смотрят. Почувствовал не сразу, а так, будто его окликнули, сперва тихо, потом громче. Он оглянулся, поискал глазами и увидел наверху, на ступенях подъезда, среди спин и затылков, повернутое к нему женское лицо. Сквозь снежную кисею можно было различить только накрашенные губы на белом лице, черты без подробностей, так сказать общий вид. Женщина кивнула ему, успокоенная тем, что он заметил ее, кто-то заслонил ее, и еще кто-то, и она неразличимо слилась с толпой, текущей в стеклянную светлую глубину дверей.

Некоторое время Кузьмин еще стоял, зябко упрятав голову в плечи. Не то чтобы он взволновался, — в его годы, да еще после тяжелого рабочего дня, подобные штучки мало действуют, — просто он попытался сообразить, кто бы это мог быть. Что-то полузабытое, *возмож-*

ное угадывалось в ее лице. Не стертый годами остаток, слишком малый для узнавания, и все же чем-то беспокойный.

Вскинув руку, он посмотрел на часы, скорее всего даже не уяснив себе, который час. Что-то мешало ему двигаться дальше. Неожиданно для себя он вдруг повернулся, поднялся по ступеням, вместе с другими прошел в гардероб, разделся и направился в холл.

У барьера, перед двумя мужчинами с зелеными повязками на рукавах, он очнулся, удивляясь себе, остановился, нарушая течение беспрепятственно входящих, и естественно, что молоденький контролер с русой бородкой, выставив руку, спросил у него билет.

— Мне надо тут... — начал Кузьмин, не зная, как объяснить. Он полез за удостоверением своего монтажного треста, почему-то уверенный, что его пропустят.

Второй контролер, бритый, узкоглазый, непонятно усмехнулся, сказал: «Ну что вы, пожалуйста» — и несколько раз кивнул, не то уважительно, не то иронично. И Кузьмин прошел.

В холле было тепло, тесно от многолюдного кишения. Ярко горели, переливались большие хрустальные люстры. Вспыхивали блицы фотографов, верещали кинокамеры. Подхваченный общим потоком, Кузьмин куда-то двигался мелким шагом, пытаясь с высоты своего роста высмотреть ту женщину. Вскоре его вынесло к столикам, за которыми раздавали программы и регистрировали. Кузьмин взял программу, назвал свою фамилию девушке, которая сидела под буквами «И — М». Сделал он это машинально и тут же засмеялся, увидев, как палец девушки заскользил по списку, — было бы забавно, если бы он там оказался.

— Минуточку, — девушка взяла другой список, написанный от руки. — Все в порядке, — и поставила крестик против фамилии Кузьмина, последней в столбце.

Он наклонился, стал рассматривать чей-то округлый спокойный почерк: «Кузьмин П. В.». И рядом крестик как тайный знак.

— Это вы писали?

— Что-то неправильно? — поинтересовалась девушка.

У нее было кукольное личико с круглыми матовыми щеками, и на них круглый аккуратный румянец.

— И давно вы этим занимаетесь? — Кузьмин чертил в воздухе замысловатую фигуру.

Девушка сразу стала холодна и невозмутима, как полярный день.

— Вы телепат? Прекрасно, мне как раз нужны младшие телепаты, — пояснил Кузьмин. — Пойдете?

— Блокнот, значок получили? — терпеливо, без улыбки спросила она.

— Это мне ни к чему. Вы мне лучше скажите, где та женщина, которую я ищу!

Девушка пожала плечами, не принимая шутку. Кузьмин вздохнул, ему было жаль девиц такого сорта, — они загадочно взирали на всех с недоступной высоты и боялись оттуда спуститься.

«Господи, ну почему они не могут по-простому? — подумала девушка, глядя вслед Кузьмину. — Если он хочет познакомиться, так бы и сказал».

Он ей понравился. Он был похож на Жана Габена. Старейший, спокойный и непонятный. Несмотря на заношенный костюм его, с оттопыренными карманами. Несмотря на клетчатую желтую ковбойку, что явно не соответствовала всем этим белоснежным рубашкам, голубоватым рубашкам, рубашкам в тонкую полоску, галстукам широким, цветастым, узеньким, уже выходящим из моды, но все-таки модным. Что-то в нем было. Жаль, что он не обернулся.

Женщин в этой толпе было мало. Медлительно-грузный Кузьмин осторожно двигался сквозь толчею, обходя бурливые группы иностранцев, где знакомились, обменивались визитными карточками и кто-то кого-то узнавал, а кого-то представляли. Маленькие японцы широко и неподвижно улыбались и подолгу раскланивались, наклоняясь всем корпусом. Попадались ему индусы с нежными длинными лицами, плечистые шведы, а может, ирландцы, болгары, черноволосые, веселые, он их сразу узнавал. У всех на лацканах блестели эмалированные значки какого-то конгресса математиков. Про конгресс Кузьмин вычитал из программки и сейчас, методично проглядывая всех этих людей, он невольно выискивал в них что-то общее, свойственное математикам, какую-то особенность, может быть некоторую от-

влеченность, рассеянность, приметы иной жизни, иных страстей, нечто значительное, нездешнее.

Однако особой отвлеченности он не замечал. Вся эта публика держалась свободно, громко смеялась, чувствовалось, что все они так или иначе знают друг друга. Среди них Кузьмин невольно выделялся своей непричастностью. Он это чувствовал. Все бегающие, скользящие, ищущие глаза, натыкаясь на него, вопросительно запинались. Дело тут было не в костюме, не подходящем к этой парадной обстановке. Потому что были тут и молодые люди в затасканных свитерах, и небрежно одетые американцы в вельветовых штанах. Нет, дело было, наверное, в том, что Кузьмин не мог скрыть напряженности. Он ждал продолжения событий. Судя по всему, происшествие должно было как-то развиваться. Он был готов к тому, что сейчас что-то произойдет, и сам не замечал, как шаг его стал пружинисто-настороженным.

Курили беспощадно. Дым сигарет, ароматных американских сигарет с отдушкой, и крепкий дым сигар раздражали Кузьмина. Спустя два года, после всех мучений, ему впервые нестерпимо захотелось закурить. Он сглотнул слюну и выругался. Еще эти объятия и поцелуи. Кузьмин попробовал представить целующимися своих монтажников, и от этой нелепой картины красно обветренное лицо его скривилось. Встречный негр белозубо оскалился, но Кузьмин сразу же понял, что это не ему, а кому-то за его спиной. Он стал сердиться. В этом шумном толповерчении его словно потеряли. Самое глупое было бы, если бы так все и кончилось и он протолкался бы здесь и ушел ни с чем.

Всем своим опытом он знал, что самое лучшее сейчас отправиться домой. Ничего *такого* быть не могло. Но тут же он почувствовал, что какая-то сила мешает ему это сделать.

Мимо него, окруженный французами, прошествовал лысый длинноголовый старичок. Это был не кто иной, как Лаптев, профессор Лаптев. Он сохранился почти в точности, разве что заостренел и несколько усох туловищем. Прикрытые морщинистыми веками желтые глаза его были неподвижны, как у ящерицы. Когда Кузьмин попал в их поле зрения, они едва заметно вздрогнули. Узнать его Лаптев не мог, по крайней мере вот так, с ходу. Но у Кузьмина почему-то все замерло внутри. «Надо же... вот тебе и на...» — бормотал Кузьмин, глядя

ему вслед. Ему вдруг начало казаться, что и кроме Лаптева здесь есть люди, которых он когда-то видел, даже знал. Ни разу ему не приходилось бывать на подобных конгрессах. Тем не менее во всем этом было что-то известное.

За колоннами работал буфет. Кузьмин ощутил голод, накопленный за день работы, и направился к стойке. Перед ним уступчиво раздвигались. Может, принимали его за дежурного коменданта или местного монтера — словом, за персонал. Он и не собирался без очереди, но уступчивость эта его обидела, и, нарочно приговаривая «вы уж позвольте», он вклинился к прилавку.

На длинных блюдах лежали маленькие, ромбиками нарезанные, бутербродики с черной и красной икрой и желтой розочкой масла. И семга тут была толстая, сочно-розовая, с лимонными дольками. И рыбное заливное. Осетрина или судак. Этих математиков неплохо обеспечивали. Кузьмин без стеснения набрал себе полный поднос, взял бутылку воды. Настроение его сразу поднялось. Он любил поесть.

Сидя за столиком, он ощутил свое преимущество — не его разглядывают, а он разглядывает... Заливной судак был хорош. Кузьмин запил нарзаном и пришел к выводу, что такая еда все оправдывает. Выигрывает тот, кто терпеливее, а пока можно наслаждаться тем, что есть. Перед ним, как на сцене, шествовала пестрая причудливая процессия: трудолюбивые худосочные очкарики, изможденные ревнивой гонкой за еще каким-нибудь интегралом; аккуратные, ухоженные старички, бывшие корифеи, авторы толстых монографий и некогда решенных задач; уверенные в себе оппоненты и рецензенты; молодые бородатые гении, еще мало успевшие, но обуреваемые и исполненные вызова; солидные, преуспевающие доценты, доктора всесторонне развитые, любители музыки, лодочных походов, детективов и альпинизма. Они надписывали оттиски своих статей и преподносили их молодым членкорам...

Никогда еще ему не приходилось видеть сразу столько математиков. Невозможно было даже представить себе такое их количество, собранное вместе, а уж тем более понять, зачем их столько и что они делают. Это было то же самое, как если бы он попал, например, на конгресс дирижеров или укротителей. Тысяча дирижеров... В глубине души его сохранилось детски почтительное отношение к специальности математика как

к необыкновенной и редкой, потому что люди, способные всю жизнь вычислять, возиться с понятиями неведущественными, неосязательными, со знаками и линиями, должны иметь головы, устроенные иначе, чем у обыкновенных людей.

— О, кого я вижу! — обрадованно пропел кто-то над Кузьминым. Это был молодой, гибко-тонкий пружинистый, смутно знакомый Кузьмину инженер-расчетчик из Управления, с фамилией на «бу» или «бы» — никак не вспомнить. — Какими судьбами вы здесь, вот не ожидал... — Фраза повисла неоконченная, стало ясно, что он забыл имя-отчество Кузьмина, а по фамилии назвать не решился. Потому что если по фамилии, то надо было приставить «товарищ» — «товарищ Кузьмин», что уж звучало неприлично, поскольку Кузьмин был не просто старше его, но принадлежал к начальству.

— Случайно я тут, случайно, — успокоил его Кузьмин. — А вы?

— Я-то не случайно, я делегат, — и на песочном в крупную клетку пиджаке его блеснул эмалированный значок. — Я ведь соискатель. А вы как думали!

— Никак я не думал, — сказал Кузьмин. — Не успел.

Инженер рассмеялся, соглашаясь на подобную шутку. Значок его казался больше и ярче других значков.

— Разрешите к вам? — И, не дожидаясь ответа, позвал: — Витя! Давай сюда. Виктор Анчибадзе, — пояснил он. — Звезда первой величины, слава грузинской школы.

Округлый, мохнато-черный, похожий на шмеля Витя, нагруженный тарелками, поздоровался с Кузьминым без особого интереса и увлеченно продолжал прочей-то доклад, называя инженера Сандриком.

Говорили они непонятно, было заметно, что Сандрик красуется перед Кузьминым этим особым языком посвященных.

— Проблема разрешения разрешима с одним аргументным местом, — звучно произносил он, и крепкие зубы его впивались в бело-розовую ветчину.

— Вы уж нас простите, — перекинулся он к Кузьмину с улыбкой, — у нас, математиков, все не как у людей. Для постороннего это, наверное, дико. Меня вот сегодня венгры атаковали. Они по-нашему ни бум-бум, я по-ихнему с той же силой. И что вы думаете? Потолковали за милую душу... — А зубы его работали, и руки,

и глаза, и то и дело он вскакивал, кому-то приветственно махал, здоровался, не прерывая разговора ни с Анчибадзе, ни с Кузьминым. — ...Наша наука — естественная научная наука. Госпожа всех наук! У нас что сумел, то и сделал, ни от чего не зависишь. Только от этого! — И он энергично постучал себя по лбу.

Бахвальство его начинало раздражать Кузьмина.

— Значит, госпожа, а я-то думал, вы помощники.

— Пусть не госпожа, пусть служанка, пожалуйста, — нетерпеливо и обрадованно подхватил Сандрик. — Только служанки бывают разные. Есть такие, что несут сзади шлейф, а есть и другие, что несут впереди факел. Понятно? — И он от удовольствия даже прижмурился.

Особенно нахально прозвучало у него вот это «понятно?». Никогда в Управлении он не посмел бы в таком тоне разговаривать с Кузьминым.

— Служанка с факелом — это нужнее госпожи. А? — поддразнивая, сказал Анчибадзе. — А если без факела? Еще лучше. В темноте вообще не разобрать, who is who¹. А? — И он засмеялся озорно, с подмигом.

Кузьмин почувствовал себя старым, вернее, устаревшим для таких игр. Да и слишком неравны были силы.

— Хорошо бы к такой закуси стопаря опрокинуть, — вдруг сказал он.

Анчибадзе выкатил на него пылко-черные глаза, усваивая этот поворот, и одобрил:

— Годится, Сандрик!

Не успел Кузьмин проследить, что откуда, как перед каждым стоял бумажный стаканчик с коньяком.

— Поехали, — сказал Кузьмин и выпил без особой охоты.

— Вы на какую секцию идете? — спросил Анчибадзе.

Кузьмин сделал загадочное лицо:

— У меня здесь совсем иная миссия.

На мгновение ему удалось вызвать их интерес. Но тут же Сандрик зашептал с восторгом:

— Перитти! Гениальный мужик! Глава миланской школы.

Кузьмин и не повернулся. Плевал он на этого Перитти. Маленькие голубоватые его глазки, устремленные на Сандрика, медленно темнели.

¹ Кто есть кто (англ.).

— Между прочим, как у вас с пересчетом пускателей? — спросил он.

Сандрик дернул плечом.

— Нашли, что называется, время и место.

— А все же? — чуть поднажал Кузьмин.

— Вы, значит, сюда приехали выяснять насчет пускателей? — Сандрик обиженно хохотнул и сказал с некоторой злорадной скорбью: — Боюсь, что наши мужи отказались пересчитывать. Увы!..

Кузьмин так и полагал, что откажутся. Хоть и обязаны. Знают, черти, что нет у него времени добиваться. Монтажникам всегда некогда качать права. У них сроки сдачи. И без того съеденные строителями, нарушенные поставщиками. Всякий раз его прижимают к стенке...

— Эх вы, какие из вас факельщики, — сказал Кузьмин в сердцах. — Халдеи вы. Вам лишь бы защититься, степень схватить.

Сандрик покраснел.

— А вы как думаете? — озлился он. — Неужели вам за столько лет не обрыдло: коммутаторы — аккумуляторы, сердечники — наконечники... Господи, как вспомнишь, так вздрогнешь. Чем занимаемся, а? Нет уж... Да, да, скорей бы защита, и привет! Чао!

...Наконечников недосылали второй месяц. Из-за этого пустяка фронт работ перекосило, график рухнул. На каждом объекте повторялось, в сущности, одно и то же. То наконечники, то муфты, то пускатели... «У нас серьезные неприятности бывают только из-за пустяков», — говорил Кузьмин. Годы тратили на эти пустяки. Это Сандрик довольно метко ударил в больное место: «сердечники — наконечники». Набор повседневных забот Кузьмина прозвучал у этого мотылька так пренебрежительно, так убого, что Кузьмину стало себя жалко. Он вспомнил было недавнюю премию за компоновку распреустройства. Провозился почти год, пока ему удалось ужать эти ящики на двадцать сантиметров. Но что значили его старания, его премия для этих пижонов, занятых вопросами Вечными и Всемирными? Да что там — Вселенскими! Что для них проблема железной воронки, которую надо затиснуть под разъединитель? Их мир свободен от бракованного кабеля, от загулявшего сварщика, от инспектора Стройбанка...

— Конечно, отвлеченными материями куда как приятнее заниматься. И доходней. Семгой кормят. Да только пользы от вас...

— Ну, это вы зря, из отвлеченных материй самые практические вещи выходят,— назидательно поправил Сандрик.— Возьмите Эйнштейна...

— Не надо Эйнштейна. Чуть что — Эйнштейн,— неожиданно буркнул Анчибадзе.— Оставь, пожалуйста, его в покое. Ты собственной жизнью пользуйся.

Сандрик словно поскользнулся, он не ожидал удара с этой стороны.

— Витя... чудака, Эйнштейна я ж для доходчивости... А себя что ж приводить... Какая у меня жизнь? Если хочешь знать — нет у меня жизни. Я для них знаешь кто? — Он вскочил, наставил палец на Кузьмина.— Карьерист! Человек, который хочет остепениться. Такой-сякой, ищет легкой жизни. А вы спросите — почему ты, Зубаткин, хочешь уйти? — И он с чувством ударил себя в грудь.— Да потому что надоело. Никому мои способности в этой конторе не нужны. В прошлом году толкнули мы идею одну по сетям. И что? А ничего! Под сукно. Кабеля, говорит, нет. Талант у нас не нужен. У нас исполнители нужны.

Палец его указывал на некие высшие сферы, которые умотали их проект, задробили, спустили в песок, и в то же время ввинчивался в Кузьмина, который олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителей этого идиотского порядка, когда, экономя на куске кабеля, выбрасывают миллионы киловатт-часов.

А Кузьмин вспомнил, как управляющий метался, добывая этот кусок, чтобы пустить готовый химкомбинат... «На бумаге легко резвиться! — кричал управляющий. — Идей много, а я сейчас все идеи отдаю за тысячу метров кабеля!..» И Кузьмин понимал его лучше, чем этих грамотеев вроде Сандрика. Они считали управляющего консерватором, Кузьмина это смешило — в сущности, если разобратся, ему, Кузьмину, никогда не приходилось встречать настоящего консерватора. Если руководитель держался за старое, значит, его вынуждал план, лимиты, премиальные — словом, какие-то серьезные обстоятельства. Когда ему удавалось побороть эти обстоятельства, он считался новатором. Кузьмин и сам бывал и тем и другим; чтобы протолкнуть новое, приходилось обычно так или иначе нарушать инструкции, правила, а это не всегда хотелось.

Объяснять все это было бесполезно.

Зубаткин — чистоплюй, Кузьмин давно раскусил эту публику: сидят, пьют черный кофе в баре напротив Управления, щеголяют друг перед дружкой своей принципиальностью и культурой и, конечно, уличают начальство в невежестве. Им что, они не отвечают за пуск объектов, им не приходится крутиться между местными властями и министерством, улаживать отношения с поставщиками, унижаться перед банком...

Кузьмин дожевал последний бутербродик, раздавил языком последнюю икринку, вздохнул:

— Да разве вас, математиков, не ценят? Икра всех цветов. Сиди, вычисляй. Машины купили...

— Вот именно, — вычисляй и не рыпайся, — не ми-
рясь, наскакивал Зубаткин. — Куда я могу выдвинуться? Хоть семь пядей во лбу. Пока место не освободится, жди. Какая у меня перспектива? А тут, по крайней мере, кандидатская. Докторская. Есть движение. Честное соревнование. Горлом тут не возьмешь. Здесь, в науке, решают знания и способности... Так ведь?

В молодости Кузьмин и сам твердил примерно то же, а теперь он от молодых слышал эту песню — выдвинуться, скорее, скорее.

Служит в расчетном отделе некий Саша Зубаткин, молоденький инженер, тот самый, что в школе быстрее всех решал задачки, первым руку тянул, на олимпиаде районной небось грамоту получил. В институте тоже шутя и играя экзамены сдавал. Мечтал науку перевернуть, а направили его в трест.

И вот день за днем просиживает он в комнате 118, заставленной столами и кульманами, подсчитывает те же нагрузки-перегрузки, строит кривые. И никаких теорий и проблем. Требуется сдать вовремя расчеты, аккуратно оформить, завизировать. Сатиновые нарукавники. Бланки слева, скрепки справа. В верхнем ящике таблицы, в нижнем — полотенце с мыльницей. Чем меньше в тебе ума выступает, тем спокойнее. У этого Зубаткина главная мечта — выбратся, пока не засосало. Как угодно, но выбратся в науку. Он убежден, что там, в науке, он развернется, там он расправит крылышки и воспарит.

Кузьмин вообразил себя на месте Зубаткина и проникся даже некоторым сочувствием. Во всяком случае, раздражение снял. Это у него был такой прием — вместо того чтобы распаляться, попробовать понять,

в чем правда у другого, потому что Кузьмин убедился, что и у противника бывает всегда какая-то своя правда.

— Не творческая работа — это не работа, — сказал Кузьмин, — это служба, человек рожден для творчества, и тэдэ, и тэпэ, ох, как я вас понимаю, тем более что и почета за службу не дожدهшься, и деньгами обижают. А от творческой работы удовольствие. — И тем же при-
творно-сочувственным тоном продолжал: — Пусть другие себе вкалывают, корячатся, какие-то бедолаги ведь должны и с бумажками возиться, и арифмометр крутить, и наконецники паять. Кому что на роду написано. Белая кость и черная. Инженер — это еще не человек: человек, по-вашему, начинается с кандидата наук.

Кузьмин посмотрел на Анчибадзе, и это было правильно — Анчибадзе решительно присоединился к нему:

— Совершенно заслуженно вы обвиняете: научные степени для некоторых как дворянское звание. Пожаловано навечно.

— Вот именно. Мы ученые! А какой ученый — неважно. Хоть сопливенький, но свой, свое сословие.

Сандрик, пощелкивая длинным ногтем мизинца, милостиво улыбался. Что бы Кузьмин ни говорил, как бы он ни был убедителен, ничего это не может изменить, — он, Зубаткин, молод, он талантлив, перед ним будущее, и, значит, он прав.

Превосходство это бесило Кузьмина:

— ...которые гонятся за диссертацией, я их не осуждаю, им действительно иногда утвердиться надо. Мне другие отвратны. Те, кто на таланте играют. Раз они талантливы, им все можно, все прощается. Мерзавец, подонок — это неважно, важно, что он талант. Он уравнение решил!

— Чего это вы так разгневались? — неуживимо удивился Зубаткин, но вдруг посерьезнел, что-то зацепило его. — Ах да, понятно... Посредственностью командовать удобнее, она послушна, она поперек не пойдет, не то что талант. Тот, кто талантлив, тот критикует, у того свои мысли, мнения, он себе цену знает. Если уж на то пошло — да, ему можно прощать! Следовало бы прощать! Потому что талантливый человек, он ради творческих своих достижений жизнь кладет!

Кузьмин переглянулся с Анчибадзе взглядом соумышленника, хмыкнул.

— ...Тот, кто не хлебнул этого творческого дела, тому никогда не понять,— с вызовом сказал Зубаткин.

Короткие седеющие волосы Кузьмина свалились на лоб, брови нависли, чем-то напоминал он сейчас усталого зубра.

— Ведь ценны результаты... — подождав, сказал Зубаткин. — Вот Яша Колесов жену с детишками бросил, типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем!

— Ну и что! — закричал Анчибадзе. — Его это не извиняет. С ускорителем не он, так Малышев дошел бы. У них группа — будь здоров. А то, что он — сукин сын, это для меня решает.

О каком Колесове они спорят, Кузьмин не знал. Ему стало скучно. Сколько их перебывало у Кузьмина, таких вот молодых, заносчивых, всезнающих, обо всем имеющих категорические суждения...

— Да, все относительно, — сказал он невпопад на обращенный к нему вопрос. — Лет десять назад, на Урале, я предложил трансформаторы подвешивать. Бился, доказывал. А потом меня начальником строительства назначили...

Две девушки в коротеньких юбочках прошли мимо, не оглянувшись.

— И что? — спросил Анчибадзе.

— Ничего. Отклонил эту идею.

Анчибадзе выгнул толстые брови, захохотал.

Прозвенел звонок. За соседним столом поднялся седокудрый, величественный, типичный профессор.

— Шеф отплывает, — сказал Анчибадзе. — Нам пора.

— Это Несвицкий, Петр Митрофанович, — хвастливо сообщил Зубаткин. — Слыхали?

— Несвицкий? — удивился Кузьмин, и перед ним возник моложавый красавец оратор, артист. Лекции его походили на спектакль... Каждый раз он появлялся в новом костюме или хотя бы в новом галстуке. Он любил рассказывать исторические анекдоты, вставлять французские словечки. Первокурсников он пленял нацело. С той поры к Кузьмину и привязалось его легкомысленное «ла-ла-л».

Тот Несвицкий возник и слился с этим стариком, исчез в нем. А если б Зубаткин не назвал его фамилии... Сколько вот так же проходит других людей, с которыми

он когда-то учился, дружил, которые учили его, — людей, тщательно заgrimированных временем.

— Я поначалу пойду к автоматчикам, — сказал Анчибадзе.

— А я послушаю Нурматыча.

Они встали.

— Встретимся... в перерыве, — вежливо и безразлично сказал Зубаткин, уже улыбаясь кому-то.

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

Он сидел, размышляя о том, что если бы его кто-то искал, то уже мог найти...

Когда-то он мечтал стать разведчиком. Он воспитывал в себе невозмутимость, наблюдательность и хладнокровие. Кроме того, в разное время он собирался стать историком, шофером, артистом, математиком, охотником. Он хорошо стрелял, изучал римскую историю, играл в драмкружке. Наверное, он мог быть и неплохим разведчиком. Он, например, чувствовал, когда на него смотрели. Или когда о нем говорили.

Буфет опустел. Теперь к Кузьмину свободно можно было подойти. Никто на него не смотрел. Никто за ним не следил. О нем забыли. Он нащупал в кармане номерок от пальто, вытащил, демонстративно повертел им, встал и направился в гардероб. Никто его не остановил. Увидев телефон-автомат, он позвонил домой. Трубку взял младший.

— Ну, как вы там? — спросил Кузьмин.

— Нормально. Ты скоро?

— Меня никто не спрашивал?

— Нет. Папа, разве на юге бывает полярное сияние?

— Бывает, — сказал Кузьмин. — Все бывает. Вот что, тут у меня одно совещание, — он почему-то понизил голос, — я задержусь.

В трубке что-то крикнула Надя, видимо из кухни.

— Мама спрашивает, ты кушал?

— Очень даже, — сказал Кузьмин.

За регистрационным столиком стоял тот бритый контролер, в руках у него были списки. Он разговаривал с девушкой, и оба они смотрели через пустое фойе на Кузьмина. Он видел, как движутся их губы. Если бы он был глухонемой, он бы мог разобрать, о чем они говорят. Кузьмин улыбнулся — получалось, что, если бы он был глухонемой, он лучше бы слышал...

Он был полон нерешительности, однако со стороны движения его казались обдуманнными и единственными.

Зачем-то он поднялся на второй этаж и пошел по коридору, вдоль строя высоких, крашенных под дуб дверей. На каждой двери белела приклепленная картонка с наименованием секции. Прочитав название, Кузьмин осторожно приоткрывал дверь, сквозь щель видны были задние ряды аудитории. За длинными столами сидели старые и молодые, где редко, где густо, где царила тишина, где переговаривались, не слушая докладчика. Твердое лицо Кузьмина обмякло, как бы расплавилось, ему приятно было вот так идти вдоль дверей, вдыхать душноватый запах аудиторий, приятны были обрывки фраз лекторов, развешенные таблицы, пустынность коридора и его робость опоздавшего. Его забавлял этот студенческий невытравимый страх, теперь уже не страшный, а все страх.

«Оптимальные процессы», — прочел он на картонке. Постоял, чем-то зацепившись. Он понятия не имел, почему он выбрал именно эту секцию. Никогда впоследствии он не мог объяснить внутреннего толчка, который заставил его войти. Виновато пробрался в задний ряд, уселся и стал слушать. У протертой коричневой доски докладывал молоденький узбек. Кузьмин полистал программку: Нурматов. Вспомнил, что слышал эту фамилию от Сандрика, поискал глазами и впереди себя увидел гибкую спину Зубаткина, кругленькую просвечивающую на макушке плешь. Возможно, сам Зубаткин не знал про эту лысинку...

Слушали Нурматова внимательно, один Кузьмин ничего не понимал. Глаза слипались. Очнулся от собственного всхрапа, испуганно оглянулся, покашлял, выпрямился, уставился на исписанную доску. Когда-то у них в группе был парень, который умел спать с открытыми глазами. Сидел, тараща глаза на доску, изображал само внимание, при этом сладко спал. Однажды, после лекции, они его не разбудили, так и оставили...

Кузьмин глубоко вздохнул, стараясь выбраться из вязкой сонливости; ему бы уйти, вместо этого он напрягся, стараясь что-то понять, прислушался к резкому акценту докладчика.

В прошлом году Кузьмин почти месяц провел в Бухаре, на комбинате, налаживая там электрохозяйство. Жил он у мечети Колян. Во дворе мечети помещалось медресе, там была натянута сетка, и будущие муллы неплохо играли в волейбол. По вечерам приходили братья Усмановы. Пили чай и разбирали схемы. Млад-

ший восхищал Кузьмина своими способностями. Кузьмин уговаривал его идти учиться. Усманов медленно качал головой — зачем учиться? Диплом? Зачем диплом? Иметь диплом — значит, привязать себя на всю жизнь к одной специальности. Одна жена, одна специальность, одна работа... Зачем? Ведь жизнь тоже одна... Кузьмина веселила вольность его суждений. Стены мечетей и минареты были выложены фигурным кирпичом. Рисунок орнамента не повторялся, и в то же время в этом разнообразии существовал ритм, скрытый геометрический закон гармонии. Свобода художника тоже подчинялась каким-то законам... Солнце слепило глаза. Они сидели в лодке и играли в карты. На носу покачивалась женщина, лицо завешено, она грызла сухарик. Неприятный был звук, а ноги у женщины были темные, как доска... Это хрустел мел под рукой Нурматова. А лодку укачивало, и вода прибывала, теплая, зеленая, полная рыб, спины у них были гибкие, острые, как у Сандрика...

Кузьмин вздрогнул, открыл глаза. Что-то произошло. Нурматов писал на доске, все его слушали, вроде ничего не изменилось, и тем не менее что-то случилось: Кузьмина как током продернуло, и сон пропал начисто. Он выпрямился, и тут он снова услышал свою фамилию. Он понял, что слышит ее *снова*, второй раз: «...применим вывод Кузьмина для общего случая». У Кузьмина обмерло внутри, как это бывало во сне, когда он падал, погибал... Он подумал, что еще спит, то есть ему снится, что он проснулся, на самом же деле он спит.

— ...функция получается кусочно-непрерывной... Задачу об условном минимуме можно свести к задаче о безусловном минимуме...

На плохо вытертой доске появлялись белые значки, крошился мел, стеклянно царапал. Кузьмин закрыл глаза, снова открыл и удивился тому, как он попал сюда, зачем он сидит здесь и мается.

Он воровато оглянулся. Никто на него не смотрел. Тогда он несколько успокоился — мало ли на свете Кузьминых. При чем тут он? Теперь его даже подмывало спросить, что это за штука «безусловный минимум функционала». Как все начисто забылось! Он был уверен, что когда-то знал, слышал это выражение. На доске было несколько уравнений, они тоже что-то напоминали...

Он прислушивался к себе, пытаясь почувствовать хоть что-то, что должно было ему подсказать... Наклонился к соседу:

— На что это он ссылается? Что за вывод?

— Вот, сверху написано... Вообще-то, немножко рискованное обобщение.

— Вот именно,— подтвердил Кузьмин.— А как он назвал уравнение?

— Кузьмина... Он же в начале приводил.

Фамилия прозвучала отчужденно. Нечто академичное и хорошо всем известное. Невозможно было представить себе, что это о нем так... И прекрасно, и слава богу, просто совпадение, успокаивал он себя, потому что не могло такого быть, не должно. Да и откуда Нурматов мог узнать про тот злосчастный доклад? Но тут память вытолкнула из тьмы какие-то «Труды института» в серой мохнатой обложке. Работа была напечатана среди прочих докладов и был скандал. Это Лазарев ее пробил. Да, да, Лазарев, занудный старичок-моховичок, вечный доцент: «Я вас прошу, в смысле умоляю», «Нам, скобарям, Пирсон не указ». Так вот откуда критерии Пирсона, и еще Бейесовы критерии, «бесовы»... Они невпопад посыпались, все эти имена. И ощущение духоты того каменно-раскаленного городского лета, и пустое общежитие, и голые окна, завешенные от солнца газетами, и газетами заклеенный коридор, потому что шел ремонт, побелка... В словах Нурматова что-то забрезжило, белевые знаки на доске стали четче. Кузьмин еще ничего не понимал, но глухо издали подступал смутный смысл, как если бы среди тарабарщины донеслось что-то по-славянски. Но все это не обрадовало, а наоборот, ужаснуло его.

Стало быть, тот позор не забыт, снова выплыло, это о нем, раскопали, нашли... Он еще надеялся на какое-то чудо, но знал, что все сходится, они сходились к этой доске с разных сторон: тот молоденький Кузьмин, студент пятого курса, в отцовском офицерском кителе с дырочками от орденов, не знающий, что такое усталость, и этот, нынешний. И Несвицкий, который, наверное, помнит, и, может, еще другие...

С утра он уходил в Публичку. Брал словарь и французские журналы. А потом журналы уже не помогали, надо было карабкаться самому. Ах, как его заело. За-

дача, которую дал Лазарев, давно была решена, но она упиралась в другую, а та — в критерии для всех электродвигателей. К ночи он возвращался пешком на Лесной, и во сне он продолжал соображать, вернее, томился. До сих пор математика давалась ему так легко, что он не понимал, как у него может что-то не получиться. А тут все застопорило. Время остановилось. Выключилось. Тело его продолжало механически питаться, ходить, что-то делать... Идея была сумасшедшая, он знал, что это полный бред, а может, не знал, может, это потом, когда его раздолбали, ему стало казаться, что он знал. Теперь уже не восстановить, во всяком случае, он не убоился. Тогда он ни черта не боялся. Сила его была, как говорил Лазарев, в невежестве, он не следовал никаким определенным принципам. «Интуиция! — восхищался Лазарев. — Пусть не вполне... Пусть абсурдно! Вас не пугает абсурд! Ваше преимущество, что вы думаете около!» Лазарев суетился вокруг него, гонял, нахваливал, обещал сенсацию. «Думает около» — это Кузьмин запомнил. Все думали напрямую, а он около. Лазарев нагнетал азарт, подкручивал, Кузьмин подал свою работу на конкурс, выступил с докладом на институтской конференции. Аудитория была переполнена. Одни ждали триумфа, другие скандала. Если б не его самоуверенность, его бы покритиковали, доказали бы, что он подзагнул, и все, но тут ему учинили форменный разгром. По-видимому, он держался невыносимо нахально, — чего стоило его замечание в адрес такого корифея, как Пирсон. Он включал Пирсона как частный случай. Конечно, это не могло не раздражать. Сам Лаптев возмутился. Он высек Кузьмина, как мальчишку. Убедительно. Лихо. Под общий хохот. Интуиция выглядела беспомощным лепетом. Это был полный провал. На Лазарева было жалко смотреть. И без того его не любили, Кузьмин понял, что связался с неудачником. Мысленно он свалил все на Лазарева и махнул рукой на эту работу. Жаль только, что лето пропало. Мог уехать на Днепрогэс с ребятами, с Надей. Она отправилась ведь назло ему. С самого начала она не верила в эту затею, не верила и в Лазарева и в способности Кузьмина: «Тоже мне Чебышев!»

Ему важно было доказать ей, получить первую премию. Чтобы вышла многотиражка со статьей о нем и его портретом. Надя пришла на конференцию, вся группа

их пожаловала, она сидела наверху, и Кузьмин, взойдя на кафедру, сразу отыскал ее и, докладывая, торжественно посматривал на нее: загорелая, довольная собой, а он бледный, исхудалый, измученный наукой, — все должно произойти весьма поучительно. Слушая аплодисменты и похвалы, она пристыженно опустит голову, он подойдет и напомним про Чебышева, нет, лучше он в заключительном слове поблагодарит тех, кто верил в него, и назовет и ее, Надежду Маслакову, ибо своим неверием она тоже помогла ему. Вот какие у него были планы... А когда все это затрещало и посыпалось, он уже не видел ее, он ни разу не решился взглянуть в ту сторону и не знал, смеялась ли она вместе со всеми, аплодировала ли Лаптеву...

В последующие два часа жизнь была закончена, потеряла смысл и цель, он решил бросить институт, уехать матросом в Мурманск, шахтером в Донбасс, оставить письмо, исполненное смирения. Горе побежденному: он бездарность. Где нет ничего, там нет ничего. Он просил забыть его. Несколько лет он работал простым матросом, похоронив свое будущее... Он опустил, запил... Нет, он держался мужественно, скромно, и... Что было бы дальше — неизвестно, поскольку в общежитие явилась Надя и судьбу его пришлось переделывать заново. А тут еще мешали носки, которые сушились на батарее, и он пытался незаметно спрятать их. Выяснилось, что можно никуда не ехать... Вот дипломный проект у него подзапущен, это действительно, и надо нагонять. Надя взялась помочь ему. Она хорошо чертила. Допоздна они просиживали в дипломантской, потом бежали в гастроном, покупали копчушки. С математикой было покончено. Эта наука не для него.

Прекрасно устроена человеческая память, все неприятное удаётся напрочь забыть, сохраняется милая ерунда — носки, копчушки... Без забывания нельзя. Забывание — это здоровье памяти. И он постарался поскорее забыть эту историю...

Нурматову задавали вопросы. Рыжеусый француз, выбежав к доске, застучал пальцем, заверещал, несколько раз выпалив «Ку-у-сьмин» с прононсом и буквой «с», так что фамилия вспыхнула латинским шрифтом, загорелась неоновой рекламой...

За председательским столиком Несвицкий односложно переводил — пересказывал самую суть французской речи, отделяя разными улыбками свое мнение, и про Кузьмина тоже проницательно усмехнулся. Ясно, что Несвицкий все знает, сейчас он с усмешечкой покажет пальцем на Кузьмина — и начнется...

Давний молодой стыд охватил Кузьмина, как будто предстояло пережить все сначала, — сейчас это было бы еще тяжелее, чем тогда. Он хотел встать, выйти — и не двинулся с места. Оцепенев, он смотрел, как Нурматов наступал на француза, выкрикивая:

— ...Простите, не решает, а позволяет решать! *Позволяет!*

Это они говорили о методе Кузьмина.

Кажется, Кузьмин начинал понимать, что происходит нечто обратное, совсем иное, чем двадцать с лишним лет назад. Он не верил себе, внутри стало холодно и пусто, не было ни радости, ни удивления, только щекам было жарко.

Взгляд Несвицкого почему-то остановился на нем. Может быть, Кузьмин открыл рот, или приподнялся, или еще что.

— Пожалуйста, у вас вопрос?

— Нет... то есть да.

К нему обернулись. И Зубаткин обернулся.

— Эта работа... Кузьмина опубликована? — спросил он, слегка запнувшись на фамилии, все еще надеясь на какую-то ошибку, путаницу.

— Конечно. В Трудах Политехнического института. — Нурматов назвал год, выпуск.

— Спасибо, — сказал Кузьмин.

Он сел. «Ах, так твою перетак», — бесчувственно повторял он, больше ничего не слушая.

Когда объявили перерыв и слушатели потянулись в коридор, Нурматов остановил Кузьмина, протянул фотокопию статьи.

— Простите, это вы интересовались?... Вот, пожалуйста. Теперь многие на нее ссылаются. После того как я запустил ее на орбиту. — Нурматов посмеялся над своей хвастливостью. — Я тоже случайно обнаружил ее. Кое-что устарело, есть и ляпы, но сама идея — вполне.

— Я посмотрю. Разрешите?

Он прошелся по коридору за поворот, в застекленный сверху донизу эркер. Там было прохладно и тихо. Статья на твердой фотобумаге выглядела неузнаваемо.

Сборник Кузьмин давно потерял при своих частых переездах и сейчас недоверчиво смотрел на длинные выкладки, недоумевая, как он мог когда-то во всем этом разбираться.

«Функция правдоподобия...» — *Правдоподобия* — что бы это могло значить?

«Исследовать хи-квадрат нет оснований». Откуда он мог знать, есть основания или нет их? Сколько уверенности! Он с уважением погладил холодный глянец, перевернул страницу, собственные знания изумляли его.

Он как бы разделился и не мог совместить того мальчишку Кузьмина с собою, то есть всерьез отнестись к тому сосунку.

Вот они, критерии... Господи, неужели он все это написал своей рукой и мог вычислять, решать? А сейчас ничего, ни бум-бум. Грустное зрелище. Кроме фамилии, ничего общего не осталось. Только фамилия их и связывает.

— А я вас ищу,— раздался за спиной голос Зубаткина.

Мышцы Кузьмина напряглись, он ответил не оборачиваясь:

— Знаю, что ищете, поэтому и укрылся.

Сбитый с заготовленной фразы, Сандрик потоптался, но не ушел.

— Ага, знаете!.. — Он зашел сбоку, чтобы видеть лицо Кузьмина. — Интересуетесь статьей?.. А как вам доклад Нурматова? Произвел?

— А я в этом ничего не смыслю.

— Так, так,— весело приплюсовал Зубаткин к чему-то. — Значит, не смыслите? И все это случайность?

— Что именно?

— Да все это... так сказать, совпадение. Надо же! Какое стечение случайностей.

— Бывает,— осторожно сказал Кузьмин.

— Не понимаю, передо мной-то вы зачем? — задумчиво спросил Зубаткин.

Кузьмин помахал перед собою оттиском, обдувая лицо, потом, подозрительно оглянувшись, спросил:

— А вам он известен, вы разве знаете?

Зубаткин невозмутимо кивнул и, тоже понизив голос, сказал:

— Догадываюсь... Очевидно, это ваш брат?

— Почему же брат? — вырвалось у Кузьмина. — А может, это я?

Тогда Зубаткин отступил, чтобы увидеть Кузьмина полностью, не только лицо, но и руки с оттиском статьи, и ноги в рабочих ботинках, заляпанных цементом, и, как бы сличив его с некоторым образцом, Зубаткин успокоился.

— Нет, не вы... — Зубаткин рассмеялся. — Какой же вы математик!

— Значит, не похож?

— Извините... — Зубаткин развел руками. — Но разве вас это обижает? Не должно обижать. А? Да и сами вы сказали, что ничего не смыслите в этом.

— Мало ли что сказал...

Кузьмин отвернулся — кто бы мог предположить, что недоверие Зубаткина так уязвит его.

— Ого! Настаиваете, что вы и есть этот... Забавное допущение, — и в подтверждение Зубаткин энергично потер руки. — Понимаю. Примеряете как бы на себя корону, и как — нравится? То-то же! Все хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности и тому подобной фигне. Да, да, фигне. Мне, например, неважно, кто этот Кузьмин, *неважно!* — подчеркнул Зубаткин. — А важно, что он сделал! — И громко прищелкнул пальцами, как бы окончательно изобличая Кузьмина.

Большая голова Кузьмина согласно кивала, но вдруг он, будто вспомнив, округлил голубые свои глаза и сказал тихо:

— А инициалы-то сходятся.

— То есть как?

— Видите «пэ»? И я «пэ» — Павел Витальевич.

— Да, да, Павел Витальевич, — обрадовался, вспомнив, Зубаткин. — Точно, Павел Витальевич. Но как же так?.. Мало ли... Нет, не представляю. Позвольте, это же какая-то ерунда, — бормотал он, все более растерянно глядя на Кузьмина, как будто тот поднимался в воздух, превращался в дракона, становился двухголовым.

— Фантазии у вас маловато, — грустно сказал Кузьмин. — Я так и думал: чего-то вам не хватает.

Он вздохнул и пошел назад, к аудитории, Зубаткин за ним, ошеломленно и молча, не смея отстать, не в силах оторваться.

У дверей аудитории стояли Нурматов, Несвицкий и еще двое. При виде Кузьмина они замолчали. Он замедлил шаг, и Зубаткин тоже замедлил шаг.

— Спасибо,— сказал Кузьмин и протянул Нурматову оттиск.

Теперь они разглядывали его со всех сторон, эти четверо спереди и Зубаткин сзади.

— По критериям у Кузьмина это единственная работа,— произнес Нурматов, как бы приглашая его высказаться.

Кузьмин молчал. Что бы он ни ответил, все могло оказаться странным, глупым после того, как Зубаткин скажет: «А вот и автор, познакомьтесь». Со страхом и восторгом. Или с недоверием: «Павел Витальевич утверждает, что он и есть тот самый Кузьмин». На это Кузьмин пожмет плечами: да, было дело. Конечно, сначала никто не поверит, но он и не станет доказывать, скажет — спросите у Лаптева. И оставит их в полной загадочности. Уйдет, не отвечая на расспросы... Дальше было неясно, виделся только этот первый страшно-сладостный миг общего изумления, своего торжества, пристыженность Зубаткина, безмолвная сцена и свой уход...

— ...Больше я ничего не нашел,— говорил Нурматов.— Жаль, что он бросил этим заниматься.

— Где он теперь?— спросил кто-то.

Сбоку, над плечом Нурматова, поднялось лицо Зубаткина, в глазах его гудело пламя, как в прожекторах.

— Не знаю,— сказал Нурматов.

Кузьмин приготовился. Наступило самое время вмешаться Зубаткину. Самый невыгодный, самый эффектный момент. Но Зубаткин прищурился, сочные губы его сжались в тонкую задумчивую полоску. Он решил выждать. Он уперся глазами в Кузьмина, как бы требуя, понуждая его самого открыться, то есть назваться.

Кузьмин молчал.

Не то чтобы раздумывал или колебался, нисколько. Он понимал, что ему придется признаться. Нет, тут было другое: он вдруг ощутил приятный вкус этих последних мгновений и поигрывал ими.

Как будто он держал палец на кнопке. Такое же острое и сладостное чувство приходило перед пуском нового цеха или агрегата, когда напряженные месяцы монтажа и наладки, вся эта канитель, безалаберщина, из которой, казалось, не выбраться, наконец завершается вот этим нажатием кнопки, и сейчас лязгнут пускатели, загорятся лампочки, взвоют моторы, и цех впервые оживет, задвигается. Все глаза устремлялись к его

пальцу, к этому последнему движению, с которого начнется существование всего организма станков, соединенных кабелем, щитами, наступит летосчисление работы цеха, с горячкой планов, срочных заказов, авралов и прочими страстями производственной жизни, уже неизвестной монтажникам. Всякий раз было весело и чуть страшновато, хотя, вообще-то, уже привычно.

Сейчас же приятнее было не нажимать эту кнопку, а тянуть. Растягивать эти нити, пока он стоит перед всеми и никто не догадывается, что это и есть тот самый Кузьмин. Даже Зубаткин еще не верит. Можно признаться, а можно и не признаваться, остаться в неизвестности,— он был хозяин, и он смаковал чувство своей власти.

Сойдясь глазами с Зубаткиным, он через его удивление ощутил на своем лице явно неуместное выражение удовольствия.

— Посмотрите, что он пишет,— продолжал Нурматов, отыскав нужную страницу, и, подняв палец, прочел:— *«Есть основания считать возможным построить общую теорию таких систем»*. Каково? А? Он почти дошел до минимального критерия. Уже тогда. Значит, у него была идея...

— Написать все можно,— сказал Зубаткин.— А что он имел в виду?

...Бог ты мой, да разве можно вспомнить, что он имел в виду. Какие мысли тогда бродили в его голове? Может, и были какие-нибудь прикидки, соображения, а может, и прихвастнул для авторитетности. Он вдруг сообразил, что тот Кузьмин способен на подвох, и придется отвечать за него,— с какой стати? Тот, молодой Кузьмин, увиделся ему человеком ненадежным, опасным, с ним можно было влипнуть в неприятную историю...

— Э-э, нет, Зубаткин, у истоков всегда виднее,— напевно сказал Несвицкий.— Возьмите Ферма. Это же нонсенс! Сидел, читал старика Диофанта и писал всякие примечания на полях, в том числе свою формулу, и сбоку нацарапал, что для доказательства, мол, нет места. Действительно, на полях не развернешься. И вот оттого, что не было у него под рукой листка бумаги, триста лет бьемся с его теоремой, ищем доказательство. И так и этак. Милая история? А если он и в самом деле знал?..

Красивые легенды эти Кузьмин помнил со студенческих лет. И про Римана, который открыл свойства ка-

ких-то функций, хотя открывать вроде бы не мог, потому что должен был использовать для этого принципы, неизвестные в его время. «Такое возможно только в математике,— как любил говорить Несвицкий,— ибо эта наука выше всякого здравого смысла».

— С Ферма не спросишь,— сказал Зубаткин.— А вот Кузьмин, почему бы не запросить его?— И сделал многозначительную паузу.

— Ты что же думаешь...— начал Нурматов, но в это время Несвицкий поднял ладонь:

— Кузьмин... Кузьмин... Подождите, Зубаткин, я же знал его...— Он закрыл глаза.— Ну, конечно, мы с ним однажды в Крыму... ла-ла-ла... Он же у Курчатова был.— Несвицкий открыл глаза, заулыбался.— Петь он любил. Как же, знал я его. Остроумнейший человек. Умер. От лейкемии. Да, да, вспоминаю. Мне говорили. Чуть ли не дважды лауреат, но засекречен. Все они были засекречены.

«Да вы что...— чуть не выкрикнул Кузьмин, но почувствовал, как неизъяснимое облегчение охватило его.— И черт с ними, не буду поправлять, как идет, так пусть и идет, умер, и ладно...» Все правильно. Хорошо, что он не признался. Первым делом бы в него вцепились: какие такие общие принципы вы имели в виду? Какие критерии, объясните, пожалуйста, Павел Витальевич? Красиво бы он выглядел — собственной работы не пересказать. Дурак дураком, голова решетом. Этим ребятам только на зуб попади, они сделают из него анекдотик. Они его распишут: живой мамонт, чучело математика...

— Зачем же вы меня разыгрывали?— на ухо сказал ему Зубаткин.— А я-то почти поверил...— Он двигался вслед за Кузьминым, но почему-то шагов его не было слышно, только притушенный голос шуршал в ухо:— Но я не такой лопух. А поверил потому, что странное выражение у вас появилось. И сейчас вот, когда Несвицкий говорил, тоже вы не соответствовали. Верно? Что-то тут не то. Павел Витальевич, вы, кажется, Политехнический кончали? В эти же годы? Кто-то мне говорил...

— Было дело,— рассеянно подтвердил Кузьмин, продолжая идти.

— Тогда вы должны были его знать.

— Кого?

— Ха-ха. Тезку вашего. Полного тезку. Инициалы ведь совпадают. Согласитесь, это редкостный случай.

— Да мало ли у меня однофамильцев. Может, и знал.

— Не понимаю... Ну, хорошо, но зачем вы морочили меня? Вы же солидный человек.

— Послушайте, Зубаткин, как вы считаете, Нурматов правильно оценивает, в общем и целом?

Они отошли далеко и стояли сейчас одни перед лестничной площадкой.

Зубаткин ответил не сразу.

— В общем и целом... — Он остановился размышляюще, как над шахматной партией. — Прикидываете, значит, ценность работы? Ну что ж, допустим, в общем и целом Нурматов прав, что тогда?

— А если он того — преувеличивает! Увлекся? Перехватил...

— Не думаю. Все же вы имеете дело с точными науками.

— Мало ли... Не такие, как Нурматов, ошибались. Академики ошибались.

— Видите ли, Павел Витальевич, я примерно этой областью занимаюсь, так что мне сподручнее судить, чем вам, — заостренно-обиженным голосом проговорил Зубаткин. — Если бы вы разбирались, я показал бы вам, что вообще это может стать новым направлением. И плодотворнейшим! Не стало, но может!

— Надо же! — И глаза Кузьмина полузакрылись. Откуда-то издалика горячая, ярко-синяя волна накатила, подняла его, закружила в пенистом шипящем водовороте.

— Что с вами? — спросил Зубаткин.

Кузьмин слабо улыбнулся, еле различая Зубаткина с высоты, куда его несло и несло...

— Ах, Зубаткин, Зубаткин! — крикнул он. — Хотите... я вам отпуск дополнительный устрою? Хотите, подарю вам чего-нибудь... Ну, что вы хотите?

— Отпуск годится, — сказал Зубаткин. — А все-таки, в чем дело? Кто такой Кузьмин?

— Вот чудак, да я, кто же еще!..

— Нет, я про того, настоящего Кузьмина.

— Что значит настоящего? — Кузьмин поморщился, не хотелось ему сердиться. — А я кто, по-твоему? Он настоящий, а я, выходит, не то, подделка, чучело? Так ты меня представляешь?

— Зачем же... Если вы настаиваете... — как можно мягче уступил Зубаткин и пожал плечами. — Пожалуй-ста, что ж вы, давайте объявитесь. Это даже интересно. Учитывая, что сейчас все накинутся на работу Кузьмина, расклюют, каждый кому не лень. Вам самое время предстать, выйти, так сказать, из небытия.

Глупейшая огромная улыбка распирала Кузьмина, не было никаких сил удержаться.

— Вот именно из небытия, а ты как полагал? Ведь это все равно, что найти родных, ребенка? Ведь все оказалось... — Ему хотелось растормошить этого Зубаткина, обнять. — Мы с тобой сейчас возьмем и жахнем! Слушай, а что, если и вправду все это хозяйство застолбить? Развить как положено, дополнить и пустить в ход. На кафедре, может, сохранился полный текст... И чтоб никто! Ведь автор имеет право, верно? Все ахнут... представляешь?!. — Он мечтательно парил на своей солнечно-голубой вышине. — Как по-твоему, на сколько эта работа тянет?

— То есть в каком смысле? А-а! Вас интересует научная степень? — подыгрывая, спросил Зубаткин. — Проценты желаете получить с капитала? Ну что ж, вполне можно докторскую присвоить. Без защиты. Гонорис кауза!

— Докторская... — Кузьмин тихо засмеялся. — Ох ты, гонорис. Молодец! Ай да мы! Вот вам всем! — Он счастливо прижмурился, затряс поднятыми кулаками.

Зубаткин опасливо попятился, а Кузьмин прыгал, наступая на него, и смеялся. Ему бы опуститься на четвереньки, побежать по коридору, показывая язык всем этим профессорам, доцентам, оппонентам. Знай наших!..

— Кончайте! — озлился Зубаткин. — Чушь это, чушь, не верю я!

— Да я сам не верю! — счастливо пропел Кузьмин.

— Есть и другие имена на «пэ»: Петр, например, Пахом!

— Прокофий, Пров, — смеясь подкидывал Кузьмин. — Прохор, Пилат!

Смех этот еще больше обидел Зубаткина, шея его вытянулась, он приподнялся на цыпочки, весь натянулся, чтобы стать вровень с Кузьминым, и голос его пронзительно взвился, задрожал:

— Разрешите тогда спросить вас: куда ж это все делось, если вы настоящий? Где оно? Где он, ваш талант?

Почему ж это вы не пользуетесь им? Отказались? Да разве это возможно! Нет уж, Павел Витальевич, если б это так было, то это преступление. Хуже. Безнравственно! Бессовестно это! За это я не знаю что...

— Ишь ты, хватил, — изумился Кузьмин.

— Потому что человек не имеет права! Перед людьми, перед обществом не имеет права! Да я и не поверю! — Что-то в нем задрожало. — Найти такое!.. Эх, я бы... Я ведь первый начал эту тему. Раньше всех! А меня обогнали. Потому что я ведь после работы мог... Урывками. Теперь вот Нурматов лидирует. Что же мне теперь? Думаете, в диссертации дело? Защита — это нехитро. Защищают все. Хочешь не хочешь — заставят, раз ты в аспирантуре числишься. А мне этого не надо! — Он приблизил лицо к нему. — Я хотел *достигнуть!* Сделать! Иначе какой смысл... — Он сорвался на отчаяние, маленький нос вспотел, плечи пиджака обвисли. — Вы, значит, могли, а я... Не верю я вам. Что бы вы мне ни доказывали! Почему ж вы забросили? Никогда не поверю! Все это насочинили, — попробовал усмехнуться, прикрыться издевкой. — Впрочем, вы не стесняйтесь. Я идеалист. Я не пример. Мало ли у нас докторов так, на фу-фу. Они в математике смыслят не больше вашего. Важно хорошо оформить! Чтобы чин чином. Внешность у вас солидная, биография — я надеюсь... Производственникам сейчас зеленая улица...

Бедный Кузьмин, как хотелось ему сберечь свое праздничное настроение. Никак не мог взять в толк, с чего накинулся на него этот парень, чего он винтом извертелся, готовый укусить. В слова его Кузьмин и не старался вникать — злость и гадость, — и было жаль себя: за что его так? И это в то время, как ликующая душа его готова всех одарить, обласкать...

— Ну чего ты, успокойся, — просительно сказал Кузьмин. — Не суди и не судим будешь. Вот как ты определяешь, что нравственно? Что у тебя, таблицы есть? Или формулы? Нурматов обогнал, — ты считаешь, что он воспользовался ситуацией. Допустим. А если ты теперь воспользуешься, чтобы его обогнать? Это как будет считаться? Нравственно? Потому что «мое отдай»? При чем тут математика? Ведь не ради математики вы гонитесь. Кто первый. Кто больше... А если автор претендует на свое, кровное? Если у автора тоже имелись уважительные обстоятельства, по которым он, бедняга, прервал работу... — И Кузьмин, выбравшись на главную

дорогу, возликовал и засиял благодушием. — Тогда как быть? Как? Тогда ты должен помочь ему, автору, восстановиться в правах — это дело святое!

— Какому автору?

— Ему. — Кузьмин выразительно подмигнул. — Мо-ему тезке, тому самому, которого Несвицкий хотел причислить к почившим.

Шутливый тон помогал Кузьмину уклоняться от зубаткинских расспросов, отвечать не отвечая. Слова его обрели неожиданную двусмысленность, от которой у него самого кружилась голова. Правда вдруг становилась неуловимой, события теряли определенность...

— А вы сами разве уверены, что Несвицкий ошибся? — спросил Зубаткин и прикрыл глаза. — Может, все же того Кузьмина в наличии не имеется? Он — миф?

Неуверенная его усмешка высветила темную расщелину, которая отделяла нынешнего Кузьмина от молодого его тезки. Не расщелину — пропасть между этими двумя разными людьми; ныне ничего не связывало их, кроме имени. Кузьмин мало что помнил о том молодом авторе, ничего не знал из того, что знал тот, он не был продолжением молодого, они существовали совершенно раздельно, независимо, они были чужие. Где он, тот Кузьмин? Умер? От него ничего не осталось, он начисто исчез, и не это ли имел в виду Зубаткин, и не потому ли и сам Кузьмин применял словечко «автор», невольно отдаляя себя от того Кузьмина? Так было легче освоиться с ним...

— Я до сих пор не уверен, что это был я, — признался Кузьмин.

— Я тоже, — иронически согласился Зубаткин, и Кузьмин почувствовал, что его откровенность выглядит для Зубаткина неубедительно. Но если бы даже ему удалось убедить Зубаткина, приводя подробности, свидетельства, то произошло бы обратное — уважение пропало бы. Сейчас интерес и уважение происходили у Зубаткина от тайны; этого самонадеянного, заносчивого парня, не считавшегося ни с какими авторитетами, волновала тайна Кузьмина, и сам Кузьмин чувствовал, что обладает властью. В руках его оказалась особая власть, не похожая на ту, какую он имел, — власть без должности, без прав, даже без знания... И тем не менее это власть, видно, как гипнотически она действует на Зубаткина, — он говорит и говорит, замороженно открывая Кузьмину план монографии, где будет история вопроса,

статья Кузьмина, комментарий к ней... Лиловый оптический блеск появляется в его глазах, он еще поеживается, словно входя в холодную воду, но остановиться не может: планы, планы... целая серия статей... привлечь группу молодых...

Примерно где-то здесь Кузьмин отключился. Он увидел Лаптева. Держась за перила, Лаптев поднимался по лестнице. Через каждые две ступеньки Лаптев останавливался перевести дыхание, можно было подумать, что он не решается приблизиться к Кузьмину, что он вот-вот передумает...

Появление Лаптева показалось Кузьмину знаменательным: именно в этот момент — стечение обстоятельств фатальное, перст судьбы, ее указующий знак...

Между тем, приди Лаптев минут на десять позже, Зубаткин успел бы сделать одно заманчивое предложение, и тогда Кузьмин наверняка затащил бы его к себе домой обговорить все это, ибо Кузьмин был человек деятельный и понимал, что такие дела лучше не откладывать. А дома, в кабинете у Кузьмина, где они сидели бы, висела застекленная фотография — танк «тридцатьчетверка», и на нем ребята в шлемах. Зубаткин сразу приметил бы ее, потому что точно такая же фотография хранилась у него в альбоме. Посредине капитан Виталий Сергеевич Кузьмин, кругом его рота, а тот, на башне, свесил ноги, щекастый, — это механик-водитель Вася Зубаткин, и младший Зубаткин обязательно вспомнил бы тут рассказ отца, как комроты Кузьмин спас их машину при переправе через Лугу. Их отцы, молодые, белозубые, смотрели бы на них с летнего короткого привала 1944 года на окраине какой-то деревни... Под взглядом этим, конечно, весь разговор пошел бы иначе.

Но показался Лаптев, и ничего этого не произошло.

На фотографии, что висела у Кузьмина, щекастый паренек так и остался безвестным вместе с другими безымянными танкистами вокруг отца. Зубаткин тоже никогда не сроднил того капитана Кузьмина с этим. Дети не соединились через отцов. Случайность не произошла.

Появление Лаптева осталось для Кузьмина счастливой случайностью, и он понятия не имел, что другая, не менее поразительная случайность напрасно поджидала его на следующем перекрестке.

— Мне пора,— сказал Кузьмин.

— Но как же, а обсуждение?

— Вы идите... идите.

— Невозможно, Павел Витальевич. Сейчас самое серьезное начнется,— и Зубаткин, подбадривая, взял Кузьмина под руку.— Вам нельзя уходить. Мало ли что... в любом случае...

— В каком любом? Да плевал я,— сказал Кузьмин, следя за Лаптевым.— Не смыслю я ничего в этих вещах. Слушай, друг, отцепись ты!— скомандовал он Зубаткину голосом, каким сшибал самых забубенных монтажников.

Первое чувство было — обида. «Вельможа и хамло,— успокаивал себя Зубаткин,— бурбон и свинья. Типичная свинья».

Шел, оскорбленно вздернув голову, нижняя губа выпятилась, хорошо, что никто не встретился, он готов был взорваться, заплакать, натворить черт знает что.

— Мурло...— сказал он.— Всегда так: хочешь сделать человеку лучше, а тебе за это...

До самой аудитории он спиной, затылком старался чувствовать, смотрит ему вслед Кузьмин или нет. Он ждал, что Кузьмин опомнится, позовет, догонит. И, войдя в аудиторию, сев, Зубаткин еще поглядывал на дверь. То, что Кузьмин не появился, было нелепо. Беспочвенно оборванная история лишилась всякого смысла. Словно он находился в каком-то угарном чаду, и теперь, когда чад рассеивался, увиделось, что не было во всем этом никакой логики, а сплошная несообразность. Зубаткин же любил во всем находить логику и считал, что все подчиняется логике. Нормальное человеческое поведение, поступки высокие, чистые, подлые, любые поступки имели причины и мотивы. И, как правило, самые что ни на есть ясные, элементарные причины, которые можно предусмотреть, даже вычислить. Разумный человек — существо логическое. Только глупость нелогична.

Свою жизнь Саша Зубаткин также строил по законам разума, а это было, между прочим, нравственно. То, что разумно, то всегда нравственно. Поэтому поступать надо разумно, не поддаваясь эмоциям.

Вот он, Александр Зубаткин, обладал немалыми математическими способностями и, следовательно, имел

полное право идти в науку, и прежде многих других. Талант разрешал ему добиваться своего, он действовал во имя своего таланта, он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах. Он имел всяческое право использовать этого Кузьмина, вопрос заключался лишь в том — настоящий ли это Кузьмин. Сомнений хватало. Настоящий Кузьмин не стал бы уходить с обсуждения, настоящий Кузьмин должен был бы воспользоваться согласием Зубаткина, он принял бы помощь Зубаткина... Да и вообще, разве мог этот технарь, администратор быть ученым такого калибра, как Кузьмин, облик которого по ходу обсуждения становился как бы все академичнее. Слушая, как Нурматов ловко отбивал наскоки француза, как Анчибадзе ссылался на Коши, на Виноградова и прочих Учителей, Зубаткин чувствовал, как оба эти Кузьмина расходятся все дальше и совместить их в одном человеке становится все труднее.

Этот инженер-монтажник явно не понимал ни черта, стоило вспомнить, как он вглядывался в текст статьи, губы шевелились, словно у малограмотного, еле разбирал незнакомые слова.

Но что же тогда означало то безумное блеяние, тот хохот счастливца?

Одно мешало другому, не складывалось, как будто Кузьмин нарочно сбивал с толку, петлял.

В аудитории было душно, Зубаткин словно со стороны увидел бледные, устремленные на доску лица этих людей из разных городов и стран, соединившихся сейчас в один мозг... Старые, молодые, известные, начинающие — они не различались, они сливались в общем усилии добыть истину. Глядя на них сочувственно и почему-то с грустью, Зубаткин чувствовал обиду еще и за них. Поступок Кузьмина ни за что ни про что оскорблял всех этих людей. Как будто Кузьмин высмеял жизнь каждого из них, обреченную на мучительные долгие поиски, на бесконечные переборы вариантов, на вычисления, которые заводят в тупик или отталкивают своим уродством. Это жизнь всеобщего непонимания, жизнь глухонемых, потому что окружающие никогда не понимают, чем же занимаются эти люди, да и сами они никогда не могут объяснить неспециалистам свои муче-

ния или заставить их восторгаться красотой какой-нибудь теоремы.

Настоящий математик не мог бы позволить себе такое. Хотя крупному математику позволено многое. Кроме одного: не позволено ему забросить свой талант, в таком случае он лишается всех льгот...

Можно ли представить Виктора Анчибадзе вне математики? Где-нибудь на рыбацком сейнере — рыбаком, врачом, машинистом? Никакая специальность не належала на него, невозможно было даже вообразить, о чем говорил бы Виктор, как он держался бы...

Так же, как не хватало фантазии представить Кузьмина у этой доски...

Зубаткин попробовал перевести все на более привычный язык. Допустим, имеются Кузьмин-прим и Кузьмин-два. Между ними существует некоторая система отношений. Например, такая, какая имеется между актером и сыгранным им в кино героем. А может, более сложная. Известно, однако, что оба они заинтересованы в реализации своей работы. Ни тот ни другой, очевидно, реализовать ее не могли. И не могут, не в состоянии. Кто из них кто, в данном случае неважно, тут существенно, чтобы кто-то поднял архивы, прояснил возможности, занялся бы этим делом, имеющим большие перспективы. То, над чем он раздумывал в диссертации, вдруг соединилось с той практической частью работы Кузьмина, которой почему-то пренебрег Нурматов. А ведь это было важно, — не варианты уравнений и разные изящные построения, а условия устойчивости крупных энергосистем, сложных регуляторов на быстродействующих аппаратах... Инженерство его давало себя знать, и он все яснее ощущал огромные возможности, которые тут открывались. Ощутил первый, первый после Кузьмина, который в те годы, когда писал, наверное, и не мог осознать всего значения. Зубаткину нравилось так думать. Перед ним появилась идея, которой он мог служить бескорыстно, отказавшись от собственной славы, всего лишь как человек, развивающий идеи некоего Кузьмина, его уполномоченный представитель, опекун его осиротелой, брошенной идеи. Зубаткин сам не понимал, почему его так взволновала, воодушевила эта возможность и несомненно таинственно-романтическая судьба того Кузьмина.

Надо было выступить.

Никто не нападал на Кузьмина, но обсуждение увело всех куда-то в сторону отвлеченных изысканий. Построения становились все более вычурными и бесплодными.

Зубаткину пужны были сторонники. Он начал неловко, однако реплики Нурматова воспламенили его. Он возразил и вдруг понял, что наступила решающая минута его жизни. Только от него самого зависело большое дело. Мало быть ученым, надо уметь отстаивать свое убеждение. С каждым словом он освобождался от желания оглянуться на Несвицкого, на Нурматова, он говорил уже не для них, он говорил для тех немногих, кто пойдет за ним. Он вдруг уверился в этом, — не могло так получиться, что он останется в одиночестве, что справедливость этого дела не найдет защитников.

Его уверенность произвела впечатление. Сырые, не очень четкие замечания тем не менее ошеломляли неожиданным своим поворотом, смелостью и даже ожесточением.

Когда он сел на место, Анчибадзе тихонько спросил его:

— Чего это ты так навалился на Нурматыча? Ты же сам сомневался в некоторых вещах.

— А теперь не сомневаюсь.

— У тебя кое-что бездоказательно.

— Сейчас важно не знать, а чувствовать.

Получалось все же нехорошо, они оба обещали Нурматову поддержать в случае чего, да и работа была приличная. Анчибадзе решил выступить, загладить. Но Зубаткин сказал:

— Не надо. Поверь мне — не надо.

И такая убежденность, даже значительность исходила от него, что Анчибадзе послушался. И не только Анчибадзе, все остальные, выступая, почему-то посматривали на Зубаткина, обращались к нему.

Он сидел выпрямившись, хмурый, глаза его смотрели куда-то вдаль, сквозь стену.

Несвицкий, заключаая, вдруг, в нарушение всех правил, обратился к Зубаткину: вы ничего не хотите добавить? На что Зубаткин, не сразу, отвергающе повел головой. При этом Несвицкий сконфузился, не понимая, зачем он это спросил.

Недавно еще Зубаткин был горд, что допущен сюда, что сидит как равный среди всех этих князей и лордов математики, а теперь он знал лучше других, что надо,

что не надо, что из этого должно последовать, и обязан был их направлять и поправлять. У него было право посвященного, поэтому самого его перемена не очень-то удивила.

Когда началось следующее сообщение, Зубаткин и Анчибадзе вышли.

— Послушай, дорогой, что случилось? — спросил Анчибадзе.

— Знаешь, может, я и перегнул кое в чем, но иначе нельзя, не должно быть никаких сомнений... — горячо сказал Зубаткин. — Есть возможность сейчас двинуть большое дело. Представь себе, что Кузьмин жив, под его руководством начинается специальная работа по устойчивости сложных систем. А? Энергетика! Космические аппараты! Тут государственно надо подходить...

В нем быстро зрела непреклонность человека, единственно знающего, что надо делать. Ему было жалко Нурматова, но другого выхода не было, необходимо всячески наращивать авторитет Кузьмина опять же ради дела. Значение этого дела Зубаткин понимал все яснее, и пояись тут Кузьмин, и тот должен был подчиниться ему, тем более что это совпадало с его интересами. Ради него же делается.

— Меня из-за Нурматыча будут корить... — Зубаткин ударил себя в грудь. — Думаешь, легко? А что поделаешь. Мы ведь и в самом деле живем для чего? Для науки. Выжимаем весь мозг, себя не щадим. Раз так, могу я не деликатничать, если это надо для дела? Могу я личным пожертвовать, даже, если хочешь, своей дружбой? Ведь не Нурматов жертвовал, а я. Он меня поносить будет, а я буду перед ним извиняться... — Ему стало жаль себя: придется многое отложить, пожертвовать многим, но он подумал об этом мельком и даже с легкостью, сейчас надо было уговорить Анчибадзе включиться в эту работу.

Напор его, как ни странно, действовал. Анчибадзе вдруг заинтересовался. Зубаткин, который привык к превосходству Анчибадзе, почувствовал свою силу. Он слышал свой громкий голос, слова, набегающие легко, быстро, и, мельком удивляясь себе, он подумал, что с этого момента все изменится. Когда у человека появилась сформулированная идея, он способен одолеть любое сопротивление, любое препятствие...

Кузьмин спускался по беломраморной лестнице навстречу Лаптеву. Ноги его ступали по-кошачьи легко, пружиня на носках, почти пританцовывая, и белые крылья расходились за его спиной. Ему ничего не стоило взлететь, он ничего не весил. Лестница вибрировала под его легкими шагами, и балки вопили, он надвигался на Лаптева из мрака забвения, как рок, неотвратимый и грозный, как божья кара, как десница карающая...

Можно ли было подумать, что спустя десятилетия судьба разыграет такой пасьянс и выпадет эта сладостная возможность... А может, все это и не так уж случайно, может, судьба терпеливо подстерегала этот миг, который должен был наступить. Как это у классиков: судьбы свершится приговор.

Он подумал, что все же существует возмездие, некая справедливость, заменяющая господа бога, поскольку тот не способен уже действовать в наших условиях.

Обсуждение, монографии, Зубаткин, аплодисменты — ничто не могло удержать его от встречи с Лаптевым. Именно сейчас, в этот наилучший, наивыгоднейший момент.

Он засмеялся и неожиданно для себя по-студенчески выпалил:

— Здравствуйте, Алексей Владимыч!

Лаптев остановился, навел на Кузьмина желтые плоские глаза.

— Знаю, что знаю, а не вспомнить.

— Кузьмин, — и спустился на ступеньку, чтоб не возвышаться над стариком.

— Так, так, — не вздрогнул, не смутился Лаптев. Желтые глаза его застыли, как у ящерицы на солнце.

— Я из Политехнического, Кузьмин. Я был в семинаре у Лазарева.

— А-а, у Льва Ивановича. Как же, — слабо оживился Лаптев. — До сих пор его задачки рекомендую. А вообще-то, дрянцо был человечешко... — Бледные губы его неодобрительно поджались.

Кузьмин тоже нахмурился, вспомнив, как Лазарева выставляли на пенсию после выхода сборника. Он был составителем и, несмотря на запрещение Лаптева, самовольно протолкнул кузьминскую работу. К этому прицепились и выставили.

С разных сторон они как бы рассматривали Лазарева.

— Вы где ж теперь? — осведомился Лаптев. Чувствовалось, что он не узнал Кузьмина.

— Я? На производстве. Коммутаторы, аккумуляторы... — сказал Кузьмин с укором. Вот, мол, по вашей милости, Алексей Владимыч. Вы меня туда толкнули. Знаете, я кто? Я ваша ошибочка. Заблуждение ваше, грех ваш.

Лаптев собирался кончать этот пустой разговор, но странный, затаенно-опасный тон Кузьмина остановил его.

— Плохо, когда тебя знают, а ты никого. Когда-то, в молодости, было наоборот. — Лицо его младенчески сморщилось, то ли перед смехом, то ли в печали. — И тоже казалось, что плохо...

Забывчивость старика портила ожидаемый эффект. Но Кузьмин все еще надеялся: «ах!..» — и внезапная бледность, и испуг, и «не может быть! нет, нет!». Видно, взрыватель заржавел. Ничего не получалось. Склероз вполне мог наглухо замуровать прошлое, так что туда и не пробиться. Время, подумал Кузьмин, подставило ловушку. Время, оно бесследно не проходит. Он-то полагал, что если в нем, Кузьмине, Павле Витальевиче, сохранился под всеми слоями тот костлявый паренек, прутик с нахальной щербатой ухмылкой, то все узнают, переполошатся. Ан не тут-то было. Время со счетов не сбрасывается, это только так говорится: «Будто и не было двадцати годов».

— ...Живых-то математиков больше, чем умерших, — дошли до него слова Лаптева. — И не математиков. То есть вообще за наукой приписанных живет сейчас на земле больше, чем всех ученых, что жили до нас. За все эпохи...

— То есть как это? — досадливо спросил Кузьмин.

— Очень просто. Вы прикиньте... — привычно учительски предложил Лаптев и подождал. Ему и раньше нравилось озадачить слушателей и замереть. Сочинит какую-нибудь задачку на сообразительность, подкинет для игры ума и любителю, и все его лекции были начинены головоломками, в которых застревало большинство студентов.

Снова Кузьмин следил за скрюченным пальцем, рисующим в воздухе экспоненту, снова чувствовал, как это просто, если заклесть нутро смысла, самый смысл

смысла, тогда проще пареной репы. Нет, не ухватить, почему же не дается, чертов старик, опять выставил его болваном. Опять Кузьмин стоял перед ним тем же дураком, глазами хлопает, уши висят. Уже поседел, соли в позвоночнике, а все стоит, ответа ищет. Двадцать с лишним лет прошло. Целая жизнь. Неужели столько? Когда ж они прошли, когда успели промелькнуть? Ведь вот он, Лаптев, и вот я, Кузьмин, и я все так же, с тем же чувством стою перед ним... Как же я, тот самый студент, мог сохраниться внутри себя? Сейчас я и есть этот студент, а другого Кузьмина, который вырос за эти годы, — его нет, он снаружи, где-то извне.

И непонятно, зачем нужен этот выросший Кузьмин, почему его нельзя сбросить и остаться только тому, молодому. Но старый Кузьмин нисколько не обижался, даже был умилен, что, впрочем, не мешало ему заметить, как Лаптев ловко извернулся, подсунул эту задачку, а при чем тут эта задачка, на кой она сдалась...

— Но ничего, ничего, — приговаривал он без особого смысла. — Сейчас не тот расклад, другие козыри... — И вдруг в голове щелкнуло, точно выключателем, и Кузьмин просиял:

— Факт. Живых-то больше. Ясное дело!

Своим ходом дошел. Сам, без подсказки. Не заросло. Ай да Кузьмин, ай да Лаптев-старичок! Молодцы. Злыдень Лаптев еще скрипит извилинами! Кузьмин еле сдержался, чтоб не подмигнуть ему. Какой там склероз, этот старикан в полном порядке.

«Все же Лаптев — это школа! — подумал Кузьмин. — Это фирма!» То, что он прослушал курс у Лаптева, кое-что весит. Тогда никто не придавал значения, а нынче стало котироваться, «Лаптев» звучит как «классик», «корифей»!

— А я, Алексей Владимыч, теперь, в некотором роде, известный математик, — со смехом подсунул Кузьмин. — Я тот самый Кузьмин! Слыхали! Ку-зь-ми-н! — повторил он, как глухому. — Помните, я выступал с докладом, а вы меня опровергли?

Ничто не изменилось в плоско-желтых глазах. Стекло отражалась в них лестница, колонны, фигура Кузьмина и высокие огни светильников.

— Кузьмин! — упрямо повторил он, стараясь докричаться сквозь десятилетия. Не может быть, чтобы Лаптев забыл. Придуривается. — Кузьмин, Кузьмин, не однофамилец, а тот, кого вы так лихо разделали: «По-

чему плюс, почему не минус и не топор с рукавичкой?» Как все смеялись...

А если в том и фокус, что был лишь блеск разгрома, а самого Кузьмина для Лаптева тогда не существовало? Для других Кузьмин *был*, когда-то *был* такой, а для Лаптева его *и не было*, никогда *не было*.

Ясно — Лаптев *не хочет* вспоминать! Зачем ему *про это* вспоминать!

Придется. Напомним. Голова у него, слава богу, работает.

— Сейчас там, на секции, все цитируют Кузьмина, — сказал он, — ту самую мою работу, — он попробовал повторить кое-какие термины из доклада Нурматова. Язык с трудом выговаривал полузабытые громоздкие слова.

Вспомнилась еще одна фразочка Лаптева: «Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики, чем математика от Кузьмина».

А получилось, что математика от Кузьмина не пострадала, наоборот, а от Лаптева пострадала, и Кузьмин незаслуженно пострадал. Лаптев, можно сказать, нанес урон... Вот как все повернулось.

Ему вспомнился другой перевертыш в его жизни.

То мартовское пронзительно солнечное утро на берегу Енисея, когда на стройку приехал новый управляющий трестом. Кузьмин работал там начальником участка. За полтора года, с тех пор как его сняли с управляющего, его переводили с должности на должность, всякий раз понижая, пока он не докатился до этой отдаленной стройки, где трест третий год вел монтаж электрооборудования. До упора дошел, дальше было некуда. Новый управляющий обходил площадку, сопровождаемый свитой. Ему представили Кузьмина и дошептали при этом «тот самый», что-то в этом роде. На красивом тонком лице нового управляющего не отразилось никакого любопытства. Голубые глаза сквозили так же холодно и открыто. Осматривая распредустройство, он ровно выговаривал Кузьмину, как перед этим выговаривал прорабу соседнего участка и как сам Кузьмин два года назад выговаривал другому прорабу. Приезд этот ничего не мог изменить, все, что требовал управляющий, Кузьмин знал лучше него и давно бы сделал, если бы можно было. Жаль было потраченного впустую

дня. Свита, те, кто не знал Кузьмина, молодые начальники спортивного вида, с внимательно-прицельными глазами, изготовленными как перед прыжком, не замечали Кузьмина. Он был вне игры, битая фигура, они не знали его и не интересовались. «Поднажмете? Договорились?» — сказал новый управляющий, спрашивая и в то же время не спрашивая, потому что ответ мог быть один: солдатский четкий, а главное — бодрый, — в том-то и состоял смысл этого разговора, чтобы подвинтить, подстегнуть и придать бодрости. И Кузьмин со стыдом вспомнил, как сам он после всех жалоб и просьб начальников участков заключал свои посещения такими же пустыми словечками. Через нового управляющего он увидел себя и вместо ответа неуместно рассмеялся, что сбilo всю церемонию и повело за собою следующие изменения его судьбы.

Как волшебнo все перевернулось. Не с той долгой, полной превратностей службы, какой он занимался всю жизнь, а перевернулось с забытым началом, когда Лаптев выговаривал ему, высмеивал, гарцевал, а теперь Кузьмин может выговаривать о том же самом Лаптеву, поучать его, разоблачать все его увертки и требовать ответа. Фортуна весьма поучительно, подстроила, поменяла местами. Вознесла мгновенно и ослепительно. Даже, можно сказать, без всяких стараний с его стороны. Чаще всего с ним бывало наоборот. Сверху вниз он летел, согласно законам механики, с ускорением, без особого сопротивления среды. А вот наверх не леталось, не попадалось эскалатора, наверх приходилось годами карабкаться. Почему-то ему все доставалось с трудом. Давно не выпадала такая планида — разом достигнуть. Наконец-то он мог взмыть, отхватить...

Но сперва он хотел выслушать показания Лаптева. Получить, так сказать, удовлетворение. Придется Лаптеву что-то произнести, признаться в постыдной своей ошибке, выставить какое-то оправдание. Каждый человек что-то изобретает в самооправдание. И все равно он заставит Лаптева просить прощения. Хочешь не хочешь, а просить придется, и не у этого солидного П. В. Кузьмина, а у того мальчишки, наглеца, которого с таким удовольствием когда-то ставили на место.

Костяная голова Лаптева скрипуче закивала.

— Да, да... Что-то по критериям. Студентом вы были?

— Тогда это было для вас *что-то*, — торжественно подчеркнул Кузьмин. — А сейчас это оказалось *ничто*. И весьма!

— Ох, и досталось вам. И этому... Райскому.

— Какому Райскому?

— Он ведь тоже... Или нет... Простите... Райский, кажись, позже. Вы ведь еще при Лазареве, — окончательно установил он. — Так вы тот Кузьмин?

— Я, я, — подтвердил Кузьмин, радуясь, что Лаптев, по-видимому, узнает его.

— Поздравляю, — сказал Лаптев без всякого смущения, как будто он приветствовал успех своего ученика.

Кузьмин осекся, не сразу понял в приветливости Лаптева ту казенную любезность, какая выросла от бесчисленных защит, конференций, банкетов, симпозиумов. Поздравления по случаю присвоения, присуждения, награждения, назначения...

Через щель этого «поздравляю» увиделась бесконечная анфилада лаптевской жизни, случай с Кузьминым был в ней мелькнувшим эпизодом, рядовым, начисто забытым. Приходило ли Лаптеву в голову, что он когда-то мимоходом переломил всю судьбу студентика Кузьмина?

Обращаясь не к Кузьмину, а к доске, он задал один за другим несколько вопросов. Вопросы были простые и точные, на первом же Кузьмин запутался, следующие вопросы добили его, загнали в тупик, он попробовал выбраться отчаянно и нагло — это, мол, не экзамен, ему не отметка нужна, и он рассчитывал не на ловушки, а на понимание всего замысла, всей концепции. Вот тут-то Лаптев взвился и за несколько минут превратил такие красивые построения в нелепые нагромождения, сляпанные нахалом или шалопаем. Впрочем, он обошелся без резких слов. Он был убийственно корректен. И, что самое ужасное, — убедителен. То нарушение логики, которое восхищало Лазарева, стало вздором, ахинеей. Лаптев был в ударе, он работал на публику, весело, легко: «Трудно, конечно, со столь скромными средствами браться за столь серьезные проблемы», «Тросточкой звезду не сшибешь»...

Казалось, навсегда забытые фразочки. Кузьмин извлекал их из тайников как улики. Оказывается, они отлично сохранились, а как он старался забыть, все забыть. И тот липкий пот унижения, свое позорное бессилие, прикрытое кривой дрожащей улыбкой, то есть снаружи это была улыбка, а изнанка — затравленная гримаса — только бы удержаться, не сорваться в слезы...

— Вы, кажется, со мной не согласились и собирались доказать,— продолжал Лаптев, еле различая в сумерках прошлого мелкое это копошение, нечто из жизни козявок.— Собирались... Значит, доказали? Поздравляю.

— Спасибо. Жаль, что теперь ваши поздравления, Алексей Владимыч, не имеют той цены. Дорога ложка к обеду. Кстати, я ничего не доказывал. Другие доказали. Все было правильно с самого начала. Просто теперь это дошло, прояснилось.

Желтые глаза смотрели мимо него, не обращая внимания на едкий тон.

— Может, так оно и лучше.

— Почему же?

Лаптев поскуchnел, он всегда скуchnел, когда ему приходилось тратить время на объяснения.

— Теорию признают, когда в ней нуждаются. Не раньше. Наши теории, особенно в чистой математике,— это ведь изобретения. Мы придумываем то, чего в природе нет. Этим изобретения отличаются от открытия. Открывают то, что существует. Например, нефть. Или Америку. Это большей частью годится. А изобретения нужны, когда их есть к чему применить. До срока они ни к чему. От зеленых яблок что бывает?

— Ах вот оно что. Значит, вы тогда обо мне заботились, я-то думал...— сказал Кузьмин.— Выходит, мне благодарить вас надо?

Глаза Лаптева слегка оживились умной насмешкой. Это он любил — скрестить шпаги.

— Так, так,— пропел он, и сразу воздух насытился электричеством.— Вы что же, эти годы математикой не занимались?

— Н-нет... У нас на монтаже всего лишь арифметика. Не простая. Считать надо уметь до ста трех.

— Это что?

— А это считаем так, чтобы было чуть больше ста: сто один, сто два процента. Для премии.

— Так что же — годы ушли впустую?

— Почему же... — осторожно сказал Кузьмин, гадая, откуда последует удар.

— Ну как же, нынче ведут счет печатными трудами. Небось и звания у вас нет, и степени? Горюете, что не достигли?.. Еще бы — не профессор, не доктор. Боже мой, без этого какое же положение. Это ведь для вас показатель.

— Конечно, главный показатель. Был бы я уже давно доктором наук. А может, и больше, — в тон Лаптеву, взведенно отвечал Кузьмин. — И сделал бы немало, и достиг...

— Вот именно, и, вероятно, далеко бы пошли, кафедру получили бы. А может, институт. Одно за другим сложилось бы. А так что вы можете предъявить? А ведь пора, возраст. Скоро, как говорится, с горки.

Каждая фраза Лаптева в точности повторяла тайные мысли самого Кузьмина, разве что интонация была другая.

— ...Вы, конечно, намеревались совершить нечто великое. Иначе и смысла нет. Жить рядовым — какой же смысл. Сознать, что ничего выдающегося из вас не получилось, обидно. Об этом лучше не думать. Лучше избегать таких рефлексий... И вот, пожалуйста, жар-птица сама в руки... Держите! Крепче! Теперь-то уж, пожалуйста, не упустите. Последний шанс выпал. Иначе что ж, иначе жизнь ваша не удалась.

Это уж было черт знает что — бесстыдно оголить то сокровенно, что едва зашевелилось, и начать издеваться над этим. Не то чтобы заискивать, подольстить, успокоить. Ничего подобного. Лаптев шел на рожон. Он не искал примирения. Не винулся, нисколько.

— Иронизируете, Алексей Владимыч? Как будто вы жили по-иному. Вы-то ничего не упустили, вы достигали и не отказывались.

— Достигал! Изю всех сил! Еще как старался! — с восторгом подхватил Лаптев. — Потому и говорю. Мы ведь с вами все мерим достижениями. Хороший человек, плохой — неважно, важно, сколько страниц он написал. Важно получить результат, кто первый получил, тот и хорош. Академик — это великий человек по сравнению с учителем арифметики. Что такое учитель — мелочь. Я, например, людей мерил знаниями. Мне и в голову не приходило, что так нельзя. Даже талантом — нельзя. Что учитель может быть великим, а академик — ничтожеством. Ну как же, у нас, в математике, все со-

ответствует... Как бы не так. Подумаешь, я первый вывел такой-то метод. Ну и что? А следом Тюткин сообщает миру, что он вводит некое новое понятие. И тотчас появляется статья доктора Сюткина, где вводится другое понятие и доказывается, что понятие уважаемого коллеги Тюткина — частный случай предложенного Сюткиным понятия. Сколько раз я был тем и другим. Математика тут ни при чем, математика дивная наука, но нельзя приносить ей в жертву свою душу. Я многого достиг, да? Но, может, я больше потерял? Думаете, эти гонки мне нравственности прибавили? Нет. Вот спохватился, да поздно. Задумался не потому, что опомнился, а потому, что уже не угнаться. Вынужденно... В наш прагматический век знаете чего нам не хватает? Святых. Праведников не хватает. Церковь, она знала свое дело. И нам бы... О чем это я? Подождите... К чему? Ах да, математика. Нет, не греет... Мне яблонька ныне дороже всяких загогулин.

Горечь его слов удивляла, печалила, не ожидал Кузьмин услышать такое, и от кого — от этого патриарха, прославленного, недосягаемого.

— Как же так? Зачем же вы тогда... — Кузьмин остановился, сказал сухо и убежденно: — Математика наиболее ясная и честная наука. Какая другая объективней? Не история же! Из всех наук математика, по крайней мере, наиболее точная.

— Не повторяйте чужих слов, — отмахнулся Лаптев. — Она точная не потому, что достоверная, а потому, что мы можем знать меру неточности своих утверждений. Можем, да не хотим... Если бы я начинал снова, знаете, кем бы я был? Садовником. Или учителем. Музыке бы обучал.

— А ваш талант?

— Отдаю!.. — воскликнул Лаптев. — Вот именно. Талант! Берите! — повторил он ликующе, как будто Кузьмин нашел именно то слово, какого Лаптеву не хватало. — Талант, думаете, счастье приносит? Талант иссушил меня.

— То есть как это?

— Да, да, талант поработил, талант — бесчеловечная штука.

— Талант? — все более изумлялся Кузьмин этой ереси.

— Вы чем занимаетесь?

— Я? Монтажник.

— Не знаю. Но, наверное, это тоже хорошо. А представляете — садовник?

— При чем тут садовник? — возмутился Кузьмин. — Да ведь все от таланта. У кого талант есть, больше может дать людям.

— А если наоборот? — И взгляд Лаптева стал необычно серьезным. — Если талант глушит все чувства? Я людей не замечал. Вот и вас, например, я не заметил. Я на уравнения смотрел, возмущался, вижу ошибку, а не человека... Я как пленник этой математики. Приговорен. И все потому, что когда-то решил, что главное во мне — талант. А когда талант кончается — еще хуже становится. Нет, лучше бы его не было. А как он унижает окружающих! Все чувствуют себя насекомыми. Если б заново, честно говорю, я бы отказался. Вы молодец. Вы ведь отказались?

— Я? Нет уж, извините. — И Кузьмин разозлился, поняв, что все рассуждения Лаптева были ради вот этой петли, этого хитрого выпада. — Я бы не отказался и не собираюсь. Не убедили.

Лаптев не ответил. Черные зрачки его вдруг укололи Кузьмина, словно напоминая недавний разговор с Зубаткиным о таланте. Кузьмин замер: эхо его слов отдавалось вдали. Поразительно, как, оказывается, можно одному говорить одно, а через час другому совсем иное. И не замечать этого!

— Вы что ж, Алексей Владимыч, еще тогда все это ради меня проделали? Чтобы я был свободен? Беспокоились? — зло сказал Кузьмин. — Хотели поскорее избавиться меня от таланта?

И опять удар прошелся мимо, острое разило пустоту, не задевая и не раня. Лаптев переместился в другое измерение.

— А зачем вам это? — задумчиво спросил Лаптев. — Теперь-то... зачем?

У Кузьмина горячо разлилось по телу: это был тот же голос, что и тогда, небесно-насмешливый, даже без особой насмешки, вместо насмешки было у Лаптева небесно-снисходительное высокомерие. И сразу радость погасла, стало скучно, безразлично. Совершенно особым умением обладал Лаптев — одной фразой сбить с ног. Вопрос был жестокий. Кузьмин почувствовал за ним силу, разящую без пощады. Впрочем, старик имел на это право, он и себя не щадил. Под дряхлой оболочкой действовала отличная машина, могучий мозг, который

проверял, анализировал, не считаясь ни с какими чувствами, не зная снисхождения.

И все же *теперь-то зачем...* — в смысле: разве наверстаешь? Признание, похвала — зачем они так поздно?

Но тут смутное подозрение остановило Кузьмина: а что, если все эти признания, откровения лишь расчетливая игра? «Ах, действительно, зачем же мне это, к чему теперь-то, нет смысла...»

— Ах, действительно, зачем? — подыграл Кузьмин, красная шея его борцовски напряглась, лицо затвердело. — Затем, чтобы неповадно было! В назидание другим! Чтобы знали, что рано или поздно придется ответить. У нас ведь не любят выяснять, кто там когда-то ошибся: кто виноват, что задержан проект, отвергнуто изобретение, загублены годы. Через двадцать лет все оказалось правильно, и прекрасно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Так ведь? А я думаю, что полезно спросить. Поучительно. Пусть знают, такое даром не проходит, каждому воздастся... Вот он виноват — пальцем ткнуть — смотрите все! Как по-вашему?

— По-моему... — Лаптев старчески пожевал губами, сказал еле слышно, для себя: — Мне отмщение, и аз воздам. — Он прикрыл темные веки. — Погодите... Ваш Лазарев жаловался мне, что вы сами не захотели, на произвол судьбы бросили свою работу. Точно, он натурально меня винил, он всех винил, а вы преспокойным манером уехали. Так ведь? Вызова не приняли. Войны не объявили. Крест не взвалили. И молодец. И слава богу, что не страстотерпец. Меня отец учил: пока баре рядятся, мужик должен пахать.

— Лазарев вам жаловался? — переспросил Кузьмин. — Сам Лазарев?

Лаптев вместо ответа быстренько усмехнулся и продолжал свое:

— Допустим, вы бы боролись. Ухлопали бы годы. На что? А так, по крайней мере, дело делали.

— Вот уж спасибо вам, Алексей Владимыч, премного обязан, — Кузьмин размашисто поклонился в пояс. — Вашими заботами, значит, наставлен я на путь истины. А я-то, дуралей, считал, что вы промашку дали, мало ли с кем не бывает. Вы же наперед все начислили, боже ты мой, все предвидели, позаботились, чтобы я делом занимался...

Лаптев кисло покачал головой:

— Не умеете вы иронизировать. Не задевает. Знаете почему? Я же вам объяснял: о вас я тогда не помышлял. Увы! Нет, нет, то, что вы не боролись, — это ваша собственная заслуга. Хотя можно считать, это была ваша ошибка. Быть человеком — значит бороться. Учили?

— Бороться с кем?

— Хотя бы со мною. Но поскольку вы уклонились или поверили мне, то все ваши претензии несостоятельны.

— А Лазарев, он боролся с вами, и что?

Дряблый рот Лаптева вдруг оскалился мстительной жесткой усмешкой.

— Это я с ним боролся! А он не боролся, он вредил. Кузьмин пристально посмотрел на него.

— Но если по совести, Алексей Владимыч, неужели вам сейчас, передо мной, хоть бы что?

— Желаете, чтобы я себя злодеем чувствовал. Да? Так у меня на такие злодейства покаянства не хватит. Что ж тогда Чебышев, Пафнутий Львович, который отвергал идеи Римана? Он, по-вашему, явный лиходея. Вы бы его прямо в кутузку и под суд. А ученик Чебышева, Марков, тот вообще геометрии не признавал, — тому, значит, высшую меру?..

Внизу из-за колонн вышла женщина и стала смотреть на них, слегка запрокинув голову. Кузьмин не сразу узнал в ней ту самую, которая мелькнула у подъезда, и тем более ту, которую знал когда-то. Она смотрела на них спокойно, без нетерпения, как смотрят на горы.

Постепенно, как бы толчками, он узнавал ее и, узнавая, удивлялся, потому что не должен был узнать ее, ничего не осталось в ней от той костлявой, большеротой, бесстыдно верткой девчонки во фланелевой лыжной куртке и синих штанах, с глазами голодными и взрослыми. Теперь это была полнеющая красивая блондинка, туго затянутая в замшевый темно-зеленый костюм, сдержанная в движениях, с холодным, умело разрисованным лицом, на котором вспоминались разве что капризно изогнутые губы.

Кузьмин кивнул ей, а Лаптев, отнеся это к своим словам, сказал примиренно:

— ...Добро творить одно, прощать — другое... А в слове этом чисто русская философия. Забытое слово.

— Какое слово? — не стесняясь, спросил Кузьмин.

Лаптев удивленно поднял брови:

— Добро-то-любие.

— Это от меня требуется добротолюбие? Я, значит, должен платить добром. Хорошо. А как быть с Лазаревым? С ним как рассчитываться будете? Он тоже должен, наверное, вас благодарить. Но только он уже не может.

Внутренне сам Кузьмин поморщился от своих слов. Но Аля стояла внизу, он обязан был спросить про Лазарева. Он делал то, что должен был сделать, и непонятно, почему ему, Кузьмину, неприятно и трудно, а Лаптеву хоть бы хны.

— Завтра на заключительном заседании я могу отметить вашу работу и признать... — Лаптев вдруг засмеялся, прикрывшись густой сетью морщин, почти исчез за ними. — Не от вас я добра прошу. Это мне любо, что кому-то могу доставить... Если желаете, я вам слово дам. Я буду председателем. Поскольку старейший, то глава. В некотором роде украшение... — Морщин стало еще больше, все его лицо было исцарапано, изрезано маленькими морщинами. — Во мне ныне надобности нет, давно уже... А тут хоть с некоторой пользой буду употреблен.

Так все получилось неожиданно легко, так Лаптев охотно согласился, что Кузьмин несколько струхнул. Борол, гнул, силился, и пожалуйста, вдруг само собой, полное исполнение желаний, восхождение на Олимп, вернее возведение на Олимп, безо всяких хлопот и страданий.

Но тут ему почудилось, что Лаптев подмигнул ему, откровенно, как соумышленнику, даже несколько уличающе. «Да на что это он намекает?» — обиженно подумал Кузьмин, и непонятно было, зачем Лаптеву понадобилось портить впечатление от своих слов этим подмигиванием. Он еще подождал, на всякий случай, однако Лаптев молчал.

— Вот и прекрасно. Наконец-то, — сказал Кузьмин, вынул платок и трубно высморкался. Потому что наплевать ему было на все умствования старика, важно, чтобы Лаптев признал, согласился, и ничто тогда уже не помешало бы полному и сладостному перевороту жизни. Наступала новая эра, не похожая на все, что было с ним, и можно было отбросить всякие мелочи и нюансы.

Лаптев, склонив набок голову, прислушался к замирающим звукам его голоса.

— Почему-то вы не рады,— убежденно сказал он.

— Ну что вы, я в полном восторге,— соврал Кузьмин.

Лаптев как-то иначе, сбоку, словно на примерке, посмотрел на него и неприятно улыбнулся.

— Вот и ладненько. Считаем, что сделка состоялась.

— Сделка? Почему ж это сделка?

— Сделка, сделка! — заговорщицки и в то же время поддразнивая, повторил Лаптев.— Про ментора своего — ни гугу!

Кузьмин покраснел.

— Позвольте, почему вы так...

Не отвечая, Лаптев хихикнул тоненько, почти пискнул, и стал подниматься, держась за перила.

— Я все равно спросил бы про Лазарева. За что вы его? — как можно независимее заговорил Кузьмин, доказывая, что никакая это не сделка и он не отступится. Мельком обернулся на Алю, развел руками, как бы извиняясь, и пошел за Лаптевым.

Прозрачно-серебристый пушок светился, подобно нимбу, над головой Лаптева. Встречные кланялись ему издали, лица благодарно светлели, Лаптев не поднимался, а восходил, и отблеск его величия падал на Кузьмина, на него тоже смотрели с почтением. Кузьмин неотступно следовал за Лаптевым. Он хотел оправдаться, он не понимал, как получилось, что ему опять надо оправдываться.

...Было заметно, что, глядя на Лаптева, люди радовались тому, что видят этого человека. Его любили. И Кузьмин с удивлением чувствовал, что тоже любит этого человека.

Когда-то сыновья Кузьмина играли в такую игру:

«А что бы ты спросил, встретив Пушкина? А Ньютона? А Шекспира?»

А что бы ты спросил, встретив Лаптева? «Что вы сделали с Лазаревым?» Как в Библии: «Где Авель, брат твой?»

Можно было спросить, а можно и не спросить. «А зачем спрашивать, что это изменит?» — думал Кузьмин, останавливая себя. Потому что Лаптев явно зачем-то подстрекал, подначивал. Надо было взвесить каждое слово, надо было следить в оба... Иначе все могло рухнуть.

Кузьмин шел за Лаптевым, придерживая длинную мантию его славы. Мысленно он примерял на свои плечи приятную ее тяжесть. Это была особая слава, незнакомая ему до сих пор, слава, независимая от всяких званий, стоящих перед именем. Чистая слава, сосредоточенная вся в слове «Лаптев». «Тот самый», — иногда добавляли для пояснения. И не нужно было — «доктор» или «академик», «заслуженный деятель». Просто Лаптев. Вкус этой славы пьянил Кузьмина. Отныне он ведь тоже мог жить среди подобной известности, уважительности, и люди оборачивались бы к нему своей приятностью.

Только что он был свободен, он мог говорить что вздумается, и вот уже все кончилось. Почему-то надо снова быть осторожным, сдерживаться.

...У балюстрады стоял малинового плюша диванчик, Лаптев не присел, а облокотился на белую резную спинку. Случайно или нет расположился он так, чтобы видеть Алю, стоящую внизу у колонны?

Обнаружив рядом Кузьмина, он шевельнул удивленно бровями.

— Ах, вы еще здесь... — И, не давая Кузьмину ответить, спросил: — Вы знаете, в чем преимущество старости? Преимущество, которое заменяет и женщин, и вечеринки. Начинаешь жалеть людей. Мне каждого жалко... — И, опередив Кузьмина, закрылся смешком: — Особенно тех, кто меня слушает. Стареть — это искусство. Вот, например, тянет на рассуждения...

Опять он говорил о другом, совсем постороннем. Отвлекался куда вздумает, то замолчит, не отвечая, то повернется и пойдет. Вот у него была свобода, полная независимость. А может, все это были ловкие приемы. В результате он всякий раз вывертывался, ускользал, а то еще хитрее — внушал к себе симпатию. Что-то дьявольское было в этом старике.

...И вдруг строго произнес:

— О Лазареве не надо.

Вроде бы брезгливо, но ведь возобновляя, потому что Кузьмин готов был отступить. Но теперь нельзя было промолчать, теперь уже Кузьмина зацепило.

— Отчего же не надо, очень даже мне интересно.

— Вы уверены, что Лазарев был порядочный человек?

Это звучало серьезно, и Кузьмин имел возможность уклониться, пожать плечами: откуда я знаю? Откуда и в самом деле он мог знать, мало ли что там могло быть.

— Во всяком случае, насчет моей работы он оказался прав. А с ним обошлись несправедливо. Вот это мне известно, и этого достаточно.

— Вы разве не знаете, почему с ним так обошлись?

— За то, что выступил против вас... Так он считал,— осторожно добавил Кузьмин.

— Не считал, а говорил...— нетерпеливо поправил Лаптев и стал называть какие-то имена, когда-то Кузьмину известные, но некоторые сейчас вспоминались не сразу, да и то скорее по той особой интонации, которая прилегла к этим фамилиям,— Лаптев повторял ее, слегка снижая голос. Какой-то Вендель, очевидно из преподавателей, Щапов — этого Кузьмин помнил по номограммам, но Лаптев произнес фамилию так, что возник душный зал, огромный сутулый старик на трибуне: Щапов каялся. Очки у него потели, он протирал их галстуком. Картина мелькнула бессловесная, что это такое происходило, чем кончилось, зачем Кузьмин там был — неизвестно. А Лаптев тащил его дальше, в мир уж совсем безликих призраков, какие-то возникали имена, шепот, что-то важное, чем-то подозрительное, но в душе Кузьмина еле-еле отзывалось. Он не находил в себе никаких следов былых переживаний. И опасения были не его, а чужие. Только сейчас впервые подумал он, что в институте в те годы происходили трагические события, некоторых профессоров лишали кафедры, имена их вычеркивали, учебники изымали, другие почему-то уезжали на Урал или в Петрозаводск. Тогда все это совершенно не занимало Кузьмина. Оправдывал? Избегал? Не понимал? Теперь не узнать той молодой безучастности.

— Вы в чем-то подозреваете Лазарева. Но при чем тут был я?

В этого старика словно бы впрыснули кровь. Сухая пятнистая кожа его побагровела, он заморгал, облизнул губы.

— Вы, Кузьмин, были для него одним из способов укрепиться. Уж тогда Лазарев выиграл бы, он бы показал нам всем кузькину мать.

— Вот оно что... А со мной, значит, попутно разделились. Я пешка, которой жертвуют. Я не в счет, я кучер.

— Что за кучер?

— Меня всегда поражало, — с жаром сказал Кузьмин. — Бомбу кидают в царя, а то, что кучер при этом гибнет, никто из этих героев не думал. Это для них мелочь, недостойная внимания...

— А ты царя не вози... Нет, тут у меня другая ошибка. Раньше надо было его удалить. Мы, как всегда, деликатничали. Можно было отстоять кой-кого, а мы ждали, что дирекция вмешается...

Прожитое возвращалось, обступало, постепенно оживали все эти люди, которые когда-то ходили мимо Кузьмина по институтским коридорам, читали ему лекции, принимали экзамены... Выходит, он ничего о них не знал... Лаптев припоминал какие-то случаи, скорбел о чьей-то гибели, а Кузьмин чувствовал себя виноватым: он ничего не мог припомнить. Подлинная жизнь была скрыта. Вот Семейную гору в Кавголове — это он помнил. Он отрабатывал на ней приемы слалома. Помнил успехи курсовой волейбольной команды, диспуты о любви. Чем еще он увлекался тогда? Пиджак букле, ботинки на каучуке, зажигалка-пистолет. Каким он был пижоном... Но тут же ему захотелось защитить этого мальчика. Слишком легко было винить его, кроме пиджака букле и лыж была работа на агитпункте, восстановление институтского стадиона — запахивали воронки, снимали колючую проволоку, разбирали бетонные доты... Кузьмин разглядывал его издали, как Лаптев. Откуда парню было знать предысторию этих людей — Щапова, Лазарева, Лаптева, ту, что тянулась с довоенных лет, — борьбу разных школ математики, бесчисленные вузовские реформы, каким-то боком сюда подмешалась лысенковщина, про которую он и вовсе не обязан был знать. Парень занимался математикой. Лазарев выхлопотал ему билет в научные залы Публички, туда, где сидели профессора. Там были отдельные письменные столы, для каждого настольная лампа с зеленым абажуром. Они вместе с Лазаревым защищали научную истину, и оба за это пострадали. Что бы Лаптев ни приводил, от этого факта никуда не денешься. Истина в конце концов победила, Лаптев, конечно, полагал, что он борец за справедливость, но какими методами он боролся — вот в чем суть!

— Выходит, вы не просто заблуждались, вы умышленно меня подкосили?

— Не совсем. Это как бы слилось. Ведь то видишь, что хочется видеть. — Лазарев тоскливо поморщился и замолчал.

Кузьмин не стал вдаваться в тонкости, да и невыгодно ему было терять преимущество, он сказал:

— Нельзя сводить счеты при помощи науки. Это вам не дубинка. С несправедливостью нельзя бороться новыми несправедливостями. А уж в науке подавно. Наука не терпит никаких комбинаций.

Ах, как убедительно у него получалось! Нахально, но правильно. Одна за другой следовали законченные, авторитетные фразы, прямо хоть записывай. Вообще, что касается науки, что надо и что не надо — он мог бы, наверное, учить не хуже других, это было легко и приятно: «В науке нужно думать не о себе, не о своих интересах, а о результатах, о пользе дела», «Наука требует бескорыстного служения, полной отдачи и никаких компромиссов», «Только тот достоин называться большим ученым, кто умеет вовремя признавать свои ошибки и анализировать их», — неизвестно откуда они возникали и усиливали начальственную мощь его голоса:

— ...Ради хотя бы истории математической школы полезно будет напомнить молодым некоторые вещи возражения. Вот, мол, как тогда думали... А что касается Лазарева, то, ей-богу, те страсти, о которых вы говорили, на фоне этого факта выглядят неубедительно и — простите — мелковато.

— Вероятно, — согласился Лаптев.

— Я знаю, что не стоило мне про Лазарева, вам это неприятно, но пусть, я не боюсь, — сказал Кузьмин, глядя на Алю. — Пусть я на этом проиграю, пусть вы можете расторгнуть сделку...

Лаптев чуть улыбнулся, поднял сухонькую ручку.

— Подождите, вам зачем это надо, насчет Лазарева? Ах да, он ваш учитель! Вы хотите, чтобы все было в ажуре. Тогда вам будет совсем легко и гладко. А может, не надо, чтобы вам было легко? — с каким-то неясным предостережением добавил он.

— Почему?

— Долго объяснять... Да вы не беспокойтесь. Я не в обиде, что вы решились спросить про Лазарева. А на заключительном заседании, ежели пожелаете, скажу, как обещал. — Лаптев все это произносил наспех, невыразительно и, отговорив, вдруг спросил с любопытством: — Вы лучше вот что объясните мне: вы что ж, дей-

ствительно полагаете, что эта ваша работа важнее того, что происходило?

— Важнее чего? — спросил Кузьмин, хотя сразу понял, что имелось в виду.

Темное коричневатое лицо Лаптева стало суровым, как на древней иконе.

— Той борьбы с клеветниками. Тех людей, которых мы защитили, — и он торжественно стал называть фамилии...

Опять эти давно перезабытые люди, до которых ему никогда не было дела. С какой стати он обязан вникать? Какого черта Лаптев навязывает ему эти отгоревшие страсти? Мало ли что было. И поворачивает так, словно бы Кузьмин должен виновато склонить голову. Нет уж! Он жил, как все его друзья жили в те годы, и не намерен этого стыдиться. Ничего зазорного в той жизни не было, нисколько. По крайней мере на все имелись простые и ясные ответы, можно было ни о чем не задумываться и делать свое дело. Он, Кузьмин, не оправдывает того, что было, все это давно осуждено, зачем же снова возвращаться, перебирать? Стариковское занятие.

— Да, да, конечно, все, что вы говорите, тоже важно, — сказал Кузьмин. — Вы правильно отметили.

Он посмотрел на Алю и почувствовал, как он устал от этого разговора, где каждое слово требовало умственного напряжения, то этого словесного фехтования. Скорее бы кончить и спуститься к Але, которая все так же спокойно ждала.

Позавидуешь выносливости старика. Ему хоть бы хны. Кузьмин же чувствовал себя изнуренным, ближе по возрасту к Лаптеву, чем к Зубаткину. Река времени несла его к Лаптеву, он ощущал ее течение, тиканье часов на руке, секунды стучали отбойным молотком, отваливая пласты времени кусок за куском.

— Как вы назвали? Добротолюбие? Да, может, так и надо, — сказал Кузьмин, не заботясь уже ни о чем и ничего не выгадывая. — Добротолюбие... Хотя вы-то, Алексей Владимыч, сами добротолюбие не соблюдаете. Вот до сих пор простить Лазареву не можете. Ведь вы тоже должны были обрадоваться.

— Чему обрадоваться?

— Да тому, что есть возможность исправить вашу ошибку, — пояснил Кузьмин.

Никак он не ожидал, что слова его так сильно взволнуют старика. Все в Лаптеве вдруг встрепенулось, затрепетало, зашелестело, как сухая осенняя листва.

— Исправить ошибку? Где это вы видели, кто, кто исправляет? У нас тут уличили одного аспиранта. Спирит. Совесть, спрашиваю, неужели не мучает? Это, говорит, понятие религиозное. А я мальчишкой... отец меня привез на Нижегородскую ярмарку, там мужик, помню, на коленях кричал: вяжите меня, православные, ограбил! И головой бьется. Мужик. Совесть... когда-то... Аспирант... Не модно, — он задыхался, волнуясь, видно, еще чем-то другим.

— Да не надо, чтобы на колени, — поспешно сказал Кузьмин, — мне и так... я ведь про другое понять хочу: если бы вы тогда согласились, увидели бы, что работа моя правильна, то с Лазаревым вы бы как обошлись? Извинились бы перед ним? Оставили бы его в покое? Все иначе было бы? Ведь так?

Лаптев застыл с впалым приоткрытым ртом.

— Не знаю, — наконец признался он. — В том-то и пакость, что не знаю. Казалось бы, ради истины ничего не жаль, ничем нельзя поступиться. А тут... не уверен. Если бы умышленно поступился, все равно был бы прав. Лично перед вами я всячески виноват, но вас-то не отделить от Лазарева. А если вы для Лазарева были козырем, тогда все оправдалось. Поймите — *оправдалось*. Поэтому я и не жалею ни о чем.

Кузьмин устало кивнул:

— Ваше дело.

— Поэтому и не радуюсь. Все правильно, это и плохо. Вот как... А вас я не осуждаю...

— Меня-то чего осуждать, — взметнулся Кузьмин. — За что? Нет уж... — Он замолчал, но Лаптев прерванной фразы не досказал, только посмотрел на него необычно серьезно, с печалью и протянул руку. Такая она была невесомо-сухонькая и холодная, что, казалось, Лаптев еле стоит на самом краю жизни, и если не удержать его, то вот-вот сорвется и исчезнет.

— Завтра, перед началом вечернего заседания, — пробормотал Лаптев. — Мы договоримся... — Он шагнул в сторону, и на этом все кончилось, его окружили, взяли под руки, увели, и Кузьмин не успел спросить, что же означали последние слова об осуждении и взгляд его,

исполненный жалости и сочувствия. Как будто Лаптев посмотрел на него уже с той стороны, где не могло быть ни хитрости, ни желания одолеть. По сумме, как говорится, очков выиграл поединок Кузьмин, какого же черта Лаптев жалел его и даже прощал, с какой стати...

Стоило Лаптеву прикоснуться к прохладному желтоватому мрамору балюстрады, и словно током продернуло воспоминание. Как будто в камне старого особняка за десятилетия скопился заряд. Они стояли именно здесь с Ярцевым, Щаповым и Венделем и чиркали по мрамору пальцами, а потом карандашами. С этого зародилась нынешняя теория управления. На этой лестнице. Классическая советская школа, ныне одна из сильнейших в мире. Первый сформулировал, кажется, Семен Вендель. Этот болтливый, всегда орущий простак соображал быстрее всех. Свои мысли он раздавал направо-налево, он никогда не заботился об авторстве. Было это перед войной. Колька Щапов только что получил орден за блюминг. Эти трое были лучшие ученики Лаптева. Щапов думал глубоко и фантастично. Если б не блокада, Щапов бы устоял, блокада износила ему сердце. Перед смертью он успокаивал Лаптева: справедливость, мол, восторжествует, разберутся, всем этим проработчикам разъяснят, и Лазареву в том числе. Обидно было, что ничего этого он уже не увидит, он знал, что умирает. «Но в конце концов не все ли равно,— говорил он,— если можно считать, что все это вскорости будет».

Звучали голоса, Вендель брызгал слюной, размашистым жестом Ярцев откидывал со лба золотистые свои волосы. Лаптев был больше там, с этими ушедшими, чем здесь. Нынешнее интересовало меньше, чем прошлое. Кстати, он давно обнаружил, что прошлое было не мертво, оно жило и менялось. Ярцев тогда посмеивался над шумом вокруг счетных машин, он был не прав, а теперь снова стал прав. Ярцев молодец, он один из тех, кого удалось уберечь. И Несвицкого, и Кондакова. Может, они и догадываются, но толком не знают, как все происходило...

Не спеша он наблюдал за жизнью прошлого, как оно менялось. Эта жизнь продолжалась в нем. Через него, Лаптева, продолжал жить его учитель Стеклов, а учителем Стеклова был Ляпунов... В последнее время он все явственнее ощущал эту преемственную связь, уходя-

щую от него в глубь прошлого. Существовала и другая ветвь, направленная в будущее, ее он чувствовал слабее, да и не нравилась ему нынешняя математика...

Никто не осмелился подойти к нему. Он сидел в комнате оргкомитета, согревая лицо над стаканом горячего чая. Запах поднимался парной, банный, какой почему-то бывает у казенного чая. Лаптев подумал, что после войны он ни разу не парился в бане, не пил чай из самовара. Тут же вспомнились ему белые снарядные головы рафинада в синей хрусткой обертке, жестяные коробки чая — «черный, кантонский, производство Никифора Смирнова» — на полках в магазине колониальных товаров...

Множество бумаг, стенограмм, протоколов ожидало его подписи, и хотя все решалось какими-то другими людьми, но процедура считалась незавершенной без него.

Откуда-то уж совсем издавека вспомнилось, что в двадцатых годах в этом особняке помещалась комиссия по улучшению быта ученых, сюда приезжал Горький и с ним Карпинский, и тогда Лаптев, которого Горький стал расспрашивать, вдохновенно произнес настоящую оду математике. «Все прекрасное в истинном смысле слова, — вещал он, — может быть подвергнуто математической обработке». Горький слушал его завороженно, а Карпинский дергал бровь, морщился, потом сказал: «Иллюзии это, Алексей Максимович, но бывает, что в погоне за иллюзиями юноши делают всякие полезные открытия».

Ему приятно было перебирать свое прошлое. Теперь, когда он почти не работал и голова была свободна, он перестал торопиться и мог наконец осмотреть прожитую жизнь. В этом была сладость доставшихся ему последствий. Чем же была его долгая, такая занятая, такая работающая жизнь? Был ли в ней смысл помимо его постоянного труда, ради которого он не считался ни с чем — ни с семьей, ни со здоровьем? Казалось, что должно было быть что-то еще, но что именно, он понять не сумел. Теперь, когда он перестал заниматься математикой, он увидел, что ум его, которым он гордился, — уродливо однобок, а душа пуста. Он даже чувствовал себя глуповатым, прежнее его высокомерие к историкам, особенно к философам, стало стыдным. Он не представлял, как

трудно размышлять о своей собственной жизни, о так называемой душе. Была ли она у него, что с ней, не усохла ли за ненадобностью? Господи, как заросло все внутри. Он услышал далекий юношеский голосок:

Но и во сне покоя нет,
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

Чьи-то стихи из его молодости, когда он знал наизусть множество стихов, глотал каждый новый сборник, следил за поэзией. Сегодня кумиром был Ходасевич, завтра Василий Каменский, Маяковский... А стал известным математиком, и в голову не приходило сесть читать книгу стихов. Если по душе, то Кузьмину должно было посочувствовать. Так нет, прежде всего подумалось — лазаревский кадр! В этом и вред Лазарева... Сейчас перед Лаптевым возник, конечно, чужой человек, взрослый Кузьмин, затверделый. Тому, прежнему студенту, можно было растолковать тихие знаки того времени. Неразличимые сигналы помимо трубных словес и клятв, которыми защищалась каждая сторона. Слова-то произносились одинаковые, и Лазарев и Лаптев утверждали одно и то же. И ведь искренне... Разве завтра на пленарном заседании это объяснишь? Разве кто поймет, насколько рискованной была операция по удалению Лазарева? Комиссия наезжала за комиссией. Чувствовали, что Лаптев нашел предлог, придрался, друзья его упрекали; он же знал, что использует последний шанс, либо — либо: либо, как говорится, сена клок, либо вилы в бок. Да и не счеты он сводил, а людей спасал, свою кафедру. Завтра не преминут его спросить про Кузьмина, и, как ни крутись, проглядел, не оценил его открытия, — но это признать не штука, а вот поймут ли, что он нисколько не жалеет, что все так получилось. Не так уж много было в его жизни поступков, а Лазарева изгнать — это был по тем временам поступок. Бог с ней, с наукой, наука подождет, вот она и дождалась... Тем более если подсчитать, сколько первоклассных работ дала после Лазарева кафедра, тот же Ярцев, по автоматике... Так что за вычетом Кузьмина, в сумме, наука выиграла. Можно было уравнение составить. Прежде в этом уравнении все бы сходилось, теперь же появилась какая-то неточность.

Лазарев, несомненно, был клеветником, он причинил

много неприятностей людям. После удаления Щапова, а затем Венделя Лазарев стал доказывать, что все это не случайно, что на кафедре идейный застой, окопались чужие люди, он раздувал ошибки, мелкие оговорки, его ярлыки, его демагогия в те времена могли привести к трагическим последствиям. Вокруг него стала группироваться обиженная бездарь. Надо было как-то защищаться. В этот критический момент и обнаружилось со сборником... Почему, спрашивается, Лазарев пошел на риск, публикуя работу Кузьмина? Знал ведь, что борт подставляет. Значит, представлял ценность его работы? Кляузник, демагог, завистник, сам по себе ученый никакой, а интуиция, значит, была? Лаптев, например, Кузьмина прохлопал, увидел только недоказательность идеи, у Лазарева было то преимущество, что он знал этого паренька и поверил в его чутье. Получается, что Лазарев защищал Кузьмина ради истины? Или все же для того, чтобы укрепиться? Теперь не узнаешь. Говорят, важны не намерения, важны итоги. Кому как, теперь ему интересны именно намерения Лазарева. А насчет намерений неясно, данных не хватает. Уравнение не решается. Нравственные задачи вообще самые сложные. Нравственная задача предполагает выбор: что лучше — как поступить — кто прав. Был ли выбор у Лазарева? Тут не отвлеченная задачка, важно еще, кто решает, в каких условиях... Может, Лазарев — не просто низкая личность, может, было в нем что-то и другое. Ведь было же оно в молодости, когда он первый учуял значение той знаменитой работы Лаптева по анализу и прислал восторженное письмо. И ведь был момент, когда Лазарев упрашивал напечатать работу Кузьмина, да, приходил, уговаривал, а Лаптев отмахнулся — вздор! И даже когда Лазарева уволили на пенсию, он продолжал настаивать на правоте Кузьмина, упоминал его, кажется, в своих письмах-жалобах. Ярцева это растрогало, Лаптев же сказал: «Наука не мешает человеку быть подлецом, но подлость мешает человеку быть ученым». Не верил он Лазареву, не хотел учитывать никакие его плюсы... Он повторил эту фразу публично, на заседании в честь награждения его и Щапова (посмертно) Ленинской премией. Собрались много народу. Окна были раскрыты. Пахло яблоками. Стекла высоких шкафов слепили закатным солнцем. В углу, у дверей, в костюме цементного цвета, си-

дел Лазарев, совсем больной, и все записывал. Но это уже было нестрашно. Те самые работы, на которые он нападал, были отмечены премией.

Глядя на него в упор, и повторил Лаптев ту фразу, чтобы всем было ясно: «Наука не мешает человеку быть подлецом...» Рядом с Лазаревым сидела девушка. У нее были такие же, как у Лазарева, зеленые глаза. Он понял, что это его дочь, что она привела Лазарева. Лицо ее искажилось. Она беспомощно оглянулась. Некоторые смотрели на них, кто-то показывал соседу, шептал. Она закрыла лицо руками. Не стоило при ней...

Вряд ли у кого еще сохранился в памяти этот яблочный осенний день. Тех шкафов и того зала давно нет. На том месте построено другое здание. В нем самом, в Лаптеве, тоже многое перестроилось, и неизвестно, зачем память тщательно хранит этот день.

Но был же какой-то сокровенный смысл во всех этих давних ошибках, битвах. Это ведь были не огрехи жизни, а сама жизнь. Исправить ее он уже не мог, он мог только пытаться понять ее. Странная штука, он всегда так боялся смерти и совершенно к ней не готовился. Лишь с тех пор как шум жизни стал в нем стихать, он начал приводить в порядок свои дела. Рассказал на семинаре о своих накопленных идеях. Собрал какие мог части работы, заметки Щапова, Венделя, восстановил кое в чем их авторство, написал о Стеклове, о Смирнове... Было куда как мило: старец, уходя, благословлял, оделял своим наследством.

Встреча с Кузьминым нарушила эту благостную церемонию. словно выдернули какой-то клинышек, и все зашаталось, поползло, кособочась. Должен ли он помочь Кузьмину или должен еще раз попытаться остановить его? Что лучше — искупить свой грех либо подумать о Кузьмине, о ненужных хлопотах, надеждах и всяких сложностях, на которые Кузьмин себя обрекает? Сомнения терзали Лаптева бесовскими когтями. Будь Лаптев человек религиозный, может, было б проще: он обязан был бы позаботиться о своей душе, о совести, очиститься. Но он готов был пренебречь своей душой и поступить как можно лучше для Кузьмина, однако как это сделать, он не знал. Мало, оказывается, хотеть сделать лучше, надо еще знать, как это сделать. Математика не могла помочь ему, ни опыт анализа, ни опыт систематики, ни опыт логики.

III

Чем ближе он подходил, тем старше она становилась. С каждым шагом она старела, руки старели, шея морщинилась, волосы теряли блеск. Только рот оставался молодым, такие же яркие, капризно изогнутые губы и чистые ровные зубки.

Кузьмин медленно спускался по лестнице, а ощущение было такое, как будто он поднимался, восходил; вдруг он подумал: разве можно сказать, куда ведет лестница, вверх или вниз... Так же и с этой женщиной, какой она стала, — приблизится он или отдалится, кого он встретит и что произойдет сейчас, ведь то, что между ними было, было совсем с другими людьми.

— Аля, — произнес он. — Аля... — Звук этого давно не произносимого имени взволновал его. — Вот наконец освободился, прошу прощения... — и всякие слова, какие положено в таких случаях, но эхо ее имени продолжало отдаваться где-то внутри.

— Ничего, Павлик, я вас с удовольствием ждала.

От этого точно как прежде «вас... Павлик» стало легче, и можно было обращаться к ней на «ты», как к той девчонке.

Нет, не затихало эхо, усиливалось, словно один за другим отзывались колокола дальних звонниц.

Она нисколько не стеснялась своих морщин, спокойно подставляла себя под его взгляд. Взамен бесстыдной девчонки с большим хохочущим ртом была женщина, уверенная в себе, знающая свою женскую силу. А между ними расположилась целая жизнь, лучшая ее пора, которую он так и не увидел, о которой не имел понятия. Слышал только, что вскоре после смерти отца она уехала в Москву к своим теткам, а потом... Что же было потом?

— Потом было много всякого, — спокойно сказала Аля, вроде без всякой улыбки, и все же где-то смешок, усмешечка прятались. — А еще потом вышла замуж за известного вам, Павлик, Васю Королькова.

— За Королькова? — Он глупо засмеялся и чуть не добавил: «Васька-Дудка» — такое было прозвище у этого парня с их курса. Обалдуй обалдуем.

Аля не обиделась на его смех, только улыбнулась как-то криво.

— Ну, как я выгляжу?

— Дивно, — искренне сказал он. — Послушай, это ты меня внесла в список?

Она ответила неопределенно, ей, мол, известно, хотя сама она была занята...

— Я вас, Павлик, искала в холле, но тут приехали американцы, и меня позвали, я помогаю в оргкомитете. Вот, возилась с ними, устраивала. Хотят пойти на Вознесенского. Наслышаны.

— А-а, — протянул Кузьмин, понятия не имея, что это за Вознесенский.

Она сказала еще про Большой драматический, выставку молодых, о которой он тоже не знал. В той несостоявшейся его жизни были, разумеется, и этот Вознесенский, и театры, и приемы, и выступления на конгрессах. Он все успевал бы, то есть не он, а тот, другой Кузьмин, вел бы культурную, разностороннюю жизнь...

У нее были, наверное, заграничные духи — острый запах, полный свежести, сквознячка, и вся она выглядела свежо и молодо. Странно, теперь, после первых минут разочарования, она стала как бы молодеть, а он стареть. Если бы он встретился с Алей сразу, на улице, у подъезда, он, может, и почувствовал бы ее превосходство, но сейчас, после Нурматова, он на все события смотрел с чувством приятной доброты.

— Откуда ж ты знала, что я пойду на секцию? — спросил он, чтобы все же проверить. Она могла и не слышать про доклад Нурматова, про то, что произошло и кем он стал за эти часы.

Но она кивнула, подтверждая:

— Как же иначе. Это ваша секция, Павлик. Вы выступали? — Она держалась почтительно и по-хозяйски.

— Нет, я там поспал, а потом тихонько ушел.

— Поспали?

— Скучища.

— Ладно, ладно, не изображайте... Почему вы, мужчины, всегда стыдитесь быть счастливыми?..

Она была неколебимо уверена, что он счастлив. Она была рада, что все так удачно сложилось, рада за него и за своего отца. Ее интересовали подробности. Она проверяла, как все произошло. Как они встретили Кузьмина?

— Непродолжительными аплодисментами, — сказал он. — Приветливо встретили, но все же скромно.

Аля внимательно посмотрела на него.

— Павлик, вы представились им?

Почему-то ее прежде всего занимала эта история.

— Они и так узнали меня, — сказал Кузьмин. — По портрету. В прошлом году был напечатан в тихвинской газете. Не видела? Пуск Череповецкой ГЭС. Я там третий слева.

Она безулыбчиво покачала головой, взяла его под руку и повела мимо буфета, через бюро стенографисток, в маленькую комнату, где было тихо, горел красный свет в старом камине. Они сели в глубокие кресла. Аля сказала кому-то: «Передайте, что я здесь» — и приступила к Кузьмину уже всерьез. Она все еще не верила, что он не объявился, допытывалась почему, так и не спросив о семье, где он, как он, что делает, ее лишь интересовало, неужели он скрыл и не сказал, кто он.

— Как же так? — не переставала она удивляться, все еще не веря и сомневаясь. — Почему? Нет, Павлик, вы серьезно? Что же там произошло?

— Да ничего не произошло.

— Нет, но вы же там присутствовали? Как же вы промолчали?

Она все сильнее огорчалась, недоумевала. Ее забота несколько смягчила обиду Кузьмина.

— Ах, вот что, — вдруг сообразила Аля, — понимаю. Вы, Павлик, расстроились. Верно? Небось махнули на все рукой. Еще бы, столько лет... Да, это ужасно, столько лет пропало. Если бы сразу... Вы могли достигнуть... Во всяком случае, стать замечательным математиком...

Она жалеючи, каким-то знакомым царапающим движением поскребла его рукав, глаза ее были полны сочувствия. Кузьмин все больше узнавал ее.

— Такая работа, такая блестящая работа, — расстроенно повторяла она. — До чего ж обидно. А сколько других работ вы смогли бы сделать... Папа был прав. У вас, Павлик, исключительный талант.

— Был.

— Не знаю, не говорите так. Я не могу этого слышать. Такое не пропадает, не должно пропасть, это в крови...

Она защищала его с горячей заинтересованностью, как будто знакомство их не прерывалось, как будто дела Кузьмина оставались для нее самой насущной заботой. Она верила в него, она восхищалась им — дурманная сладость была в ее словах, сомнения, вселенные Лаптевым, рассеивались. Он слушал описание своих упущенных званий, степеней, исследований, и ему хотелось ве-

рить, что все так и было бы, и, может, сто́ит об этом пожалеть, но, кажется, это еще поправимо, многое можно вернуть, наверстать...

— Ну-ну, ты наворачиваешь, — опомнился он. — Если бы да кабы... Могло быть, а могло и не получиться. Одной той работы мало...

— Нет уж, вы поверьте мне, Павлик, — с ласковой твердостью сказала Аля. — За меньшие работы профессорами становятся. Способности — это не самое главное. — На какой-то миг она забыла про свое лицо и стала похожа на Зойку-наладчицу, нахальную пробивную бабу, которая чуть что кричала: «Все делаши, все хапу-ги, я по себе сужу».

— Откуда ты все это знаешь?

— Я? Кому же знать, если не мне, — усмешка прогнула ее накрашенные губы, — я этого нахлебалась... вот. Между прочим, даже я стала доцентом.

— Почему да же? Скромничаешь? А вообще, ты стала... такая дама. Теперь ты как — Королькова?

— Нет. Лазарева. Доцент Лазарева. Не хуже других, хотя способностей не чувствую. Это благодаря Королькову удалось выйти на орбиту. Послушайте, Павлик, о чем вы говорили с Лаптевым?

— Так... вспоминали.

— Он про вас знает?

— Я сказал.

— И что? Как он?

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

— Простите, Павлик, вы, конечно, не обязаны мне отчитываться. — Она помедлила, ожидая возражений, но Кузьмин молчал. Щеки ее нервно покраснели, она сглотнула и продолжала твердо: — Как вы понимаете, Павлик, я имею некоторое право интересоваться, все это касается и меня.

— Да я не потому, — сказал Кузьмин и попробовал, осторожно обходя связанное с Лазаревым, передать их разговор, те чувства жалости, и восхищения, и удивления, которые вызвал у него Лаптев, и душевную путаницу от противоречивых его суждений.

— И это все? — холодно спросила Аля. — Вы что же, собираетесь простить его? За какие подвиги? Что он совершил такого?

В самом деле, почему в душе его не осталось ненависти к Лаптеву, исчезла мстительность? Куда она девалась? Он виновато посмотрел на Алю. Но все же Лап-

тев согласен выступить, сообщить о Кузьмине, предоставить ему слово, нет, нет, он не вредный старик, он, вообще-то, мог послать Кузьмина подальше со всеми претензиями.

— Значит, вы, Павлик, решили не портить с ним отношений, — вывела Аля. — Он за вас словечко замолвит, и дело с концом, ему можно ни в чем не каяться. Ай да Лаптев, ловко он откупился. Взаимно выгодная сделка, оба вы с прибылью, оба...

— Да вы что, сговорились?! — взорвался Кузьмин. — Какая еще сделка? Не желаю слышать.

— Придется! Нет уж, Павлик, я ведь и вас щадить не стану... — Белое лицо ее затвердело, стало гладкое и холодное, как кафель. — Так что не надо. Переоцениваете вы Лаптева, практически не у дел он. А себя вы недооцениваете... Вы-то уж не студентик, чего вы боитесь? Не сможет он нынче повредить, не укусит — откусался. — Она наклонилась, приблизилась лицом, так что глаза ее расширились, и там, в черной глубине, колыхнулась скопленная годами ненависть. — Его сейчас бить, сейчас, не вдогонку за гробом, а пока еще на коне, на трибуне!.. Вывернуться хотел? Прикинулся беспомощным. Понадеялся, что мы отпустим грехи за давностью. Нет уж! Я хочу посмотреть, как он будет извиняться!

— Послушай, Аля, зачем ты так?

— И не просите, Павлик! Да как у вас язык поворачивается, самолюбие где ваше? Забыли, как он глумился над вами? Вы что думаете, он заблуждался? Как бы не так. А что он сделал с папой? За что он его из института вышвырнул? Разве это справедливо было? Если бы не он, отец, может, жил бы еще. И у меня вся жизнь наперекос... Знали бы вы, как он при всех, сияющий, награжденный... Я привела отца, чтобы поздравить Лаптева, уговорила отца, а Лаптев при всех его придавил каблуком... Меня, дочери, не постеснялся! Это я только теперь понимаю, какие муки отцу, что такое при мне... Почему это я прощать должна? Где это сказано? Да я и права не имею прощать, перед отцом своим не имею.

— Может, через столько лет и Лев Иванович...

— Он — да, он мог простить, а я не имею права. А вы, как вы, Павлик, могли за счет папы сговориться... Он так в вас верил... Павлик, вы знаете, он до последнего дня ждал, что вы вернетесь. Он писал вам, помните,

несколько раз, а вы даже не ответили. У него была договоренность, что вас возьмут в университет...

Совершенно верно, приходили письма. Кажется, он получил их с опозданием, то ли он уезжал, а может, его уже перевели в Заполярье.

А здесь, оказывается, ждали его. В полутемной квартирке Лазаревых, на Фонтанке, окна на набережную, первый этаж. Там были сводчатые потолки, толстые стены и широченные подоконники, на которых стояли бутылки с луковицами.

...Он приехал в первую в жизни командировку. Полный чемодан трофейных реле и связка воблы. Когда в гостинице сказали, что мест нет, он долго не мог понять — у него же командировочное удостоверение, он приехал по государственным делам!

У Лазаревых он прожил больше месяца. Сидел в лаборатории, снимал характеристики реле. Спасибо, что разрешали. Выпросил за воблу. Возвращался иногда поздно, парадная была закрыта, и Кузьмин влезал через окно. Аля ставила чай, а Лазарев, покачиваясь в скрипучей качалке, долго, язвительно Кузьмина попрекал и обличал своих врагов. Он называл Кузьмина отступником, карьеристом, который продался за чечевичную похлебку быстрого успеха, изменил своему таланту. Но никогда не винил Кузьмина в своих неприятностях. Его уже «ушли» из института, и он писал протесты, давал уроки, вел кружок математиков в Доме пионеров, вычитывал корректуры. Кузьмина винить в этом — чести слишком много. Лазарев напечатал его работу ради науки и не жалеет. Он принес себя в жертву, он мученик, он страдает за веру. Рано или поздно его признают. Он восторгается над этими злопыхателями, вредителями, идолами, оппортунистами, над этой сворой во главе с Лаптевым.

Аля стелила Кузьмину постель в своей комнате, сама она спала в столовой, рядом с отцом, на коротком диванчике.

— ...Жарков, его ученик, получил кафедру и обещал вас взять. Вы, Павлик, могли поначалу жить у нас. Мы все продумали. Я была уверена, что вы вернетесь к математике...

Перед сном они шептались в ванной. Большая ванная комната с красной колонкой была превращена в кладовку. В эмалированной чаше ванной лежала картошка, у стен стояли доски, сушились дрова. На синих изразцах повторялись домики с острой крышей, из каждого выходила девушка. И в комнате печь была изразцовая, он до сих пор помнил ладонями ее скользящую теплынь.

— Ты помнишь, какая была у вас печь, изразцы? — сказал он.

Аля сбилась, замолчала.

— Зеленоватые, фигурные, — растерянно подтвердила она и закрыла глаза, вспоминая. Лицо ее потеплело. Она спросила, помнит ли он, как они прощались. Он не помнил.

Она вздохнула.

— Как вы мне нравились, Павлик! Вы говорили мне такие слова... — Она удивленно засмеялась.

— Хорош был гусь.

Было завидно, что вся эта сцена прощания, наверное, сейчас стоит у нее перед глазами, и там он, молодой, чубатый, в длиннополом старомодном плаще. Он же ничего увидеть не может, для него все забылось, пропало.

— ...Я и на математический пошла, чтобы утешить отца. Я думала, что мы с вами, Павлик, будем вместе... Будем работать...

Она перебирала свои мечты без грусти, иногда покачивала головой, как над забытыми детскими игрушками. А Кузьмин пытался прикинуть, каким он тогда представлялся ей: уже взрослым, настоящим мужчиной, приехал откуда-то с Севера, хвастал, наверное, строганиной, тузлуком, северным сиянием. Талантливый, но легкомысленный, не знающий себе цены, — это отец напел ей.

Спустя столько лет и вдруг узнать, что кроме той жизни, какую он вел, где-то существовала другая его жизнь, которую кроили, рассчитывали, обсуждали, и эта несостоявшаяся судьба его, оказывается, как-то влияла на поступки людей, о которых он и думать забыл...

Выходит, не то что «если бы да кабы» или «допустим-предположим», а для него все было заготовлено впрок, колея проложена, и, не закрутись он тогда на

Севере, приехал бы в Ленинград, и Лазарев доломал бы его поступить в аспирантуру.

Словно бы развернулся перед ним пожелтевший проект его собственной жизни, случайно не осуществленный. Не эскизный, а детальный, где все размечено — аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, предусмотрена и докторская, и работа по НИСу, лекционные часы, денежки... Только сейчас он стал понимать, какую жизнь он потерял, совсем иную, чем он вел, — вдумчивую, глубокую, плотно заполненную трудом, наедине с бумагой, книгами...

— Уж кто-кто, а вы, Павлик, имеете сегодня полное юридическое право потребовать свое. В конце концов, это же действительно ваше, собственное, недополученное. Доложит о вас Несвицкий, по его секции, я это организую, и плевать вам на Лаптева, ничего вы ему не должны...

Какие-то неизвестные ему воспоминания, какие-то минувшие чувства делали сейчас Алю яростной его защитницей. Она убеждала его со всей силой и гневом.

— Чего вы боитесь? Ну чего? Надо воспользоваться моментом. Сейчас самый раз.

Она бралась все сделать так, чтобы он ни о чем и не заботился. Только выступить, объявиться, ничего больше от него не требуется. И, глядя на ее гибкие сильные руки с вишневыми ногтями, Кузьмин понимал, что у нее получится в лучшем виде. Было заманчиво довериться, встать на ступень эскалатора и плавно подниматься, подниматься... Еще приятней было, что есть на свете кто-то заинтересованный в нем самом, в его славе, успехе. У Нади это получалось не так, Надя не вызывалась помочь, она скорее руководила им, решала за него, вмешивалась. Обижалась, если он не слушал. Она считала, что он заслуживает большего, раздражалась на то, что он не умеет добиться... Как всегда, думая о ней, он досадовал и на себя, и на нее. Мысленно он сравнивал их, и дело было не в том, что Аля была моложе и красивей, — на такое Кузьмин не клюнул бы, — она была еще частью другого мира, интересного, значительного, деятельной, наглядной частью той несбывшейся его жизни. Она была как бы заложена в том проекте.

— ...Что было, то сплыло. У меня в голове, Алечка, глубочайший вакуум. Я в математике уже ничего не потяну. Поздно. Забыл. Мозги уже на другое приспособлены.

Она не отмахнулась, а оглядела его оценивающе и осталась довольна.

— В математике необязательно заниматься математикой. Уверяю вас, Павлик. Если бы... Да и никто от вас не может требовать. А какие-то общие положения — так это за несколько месяцев. Я берусь. Тут важно другое...

Действовали не слова, а убежденность, она и голоса не повышала, сидела в кресле, спальчив руки, иногда чуть наклонялась к нему, уверенность ее действовала завораживающе. Он любовался этой волевой, мудрой женщиной, кто бы подумал, что из того заморенного утенка вырастет такая... Впрочем, он мог гордиться, он тогда уже заметил ее, что-то в ней было... Какой-то бес в ней играл. Открытые коленки ее отливали тугим яблочным блеском. Все в ней стало вызывающим, поддразнивало. Тогда, в ванной, она вела себя вольно и позволяла делать с собою, что угодно. Что его все-таки удержало? Почему у них разладилось?..

Он со злостью подумал о том, что, в сущности, это Надя уговорила его окончательно бросить математику. Она уверила, что наука не для него, не его стихия.

— ...Вы, Павлик, заслужили пожинать плоды. Что тут плохого? Лучше вы, чем кто-то другой заработает на этом. С какой стати? А представляете, какой фурор произойдет! — Она расхохоталась, и Кузьмину тоже стало весело. Господи, почему бы не повертеть руль своей жизни, подумалось ему. И тут же Аля сказала: — Что вы так серьезно к этому относитесь? Такие все стали шибко ответственные...

Когда он вернулся в Ленинград, Лазарев уже умер, Аля уехала, квартиру заняли какие-то молодожены. Одно время Кузьмин ходил с работы по Фонтанке, мимо того дома, и засматривал в знакомые окна. Там сушились пеленки, кричало радио. Были те же обои и та же печь. Никто не знал и не помнил, что здесь жил Лазарев. Впервые, кажется, Кузьмин пожалел об этом странном человеке, который по-своему любил его, несомненно любил, а Кузьмин относился к нему пренебрежительно, тяготился его попреками, поучениями; занудный старикан, неудачник, бедолага — вот кем был для него Лазарев. Честно говоря, даже чувства благодарности он не испытывал. Лазарев тяготил. С ним надо было держаться настороже, по малейшему поводу он обижался, требовал разъяснений, извинений, Кузьмин быстро уставал от его воспаленного самолюбия. Особен-

но в ту командировку. После Севера, отчаянной само-
забвенной работы, этот Лазарев со своим брюзжанием
и соблазнами выглядел отсталым от жизни, поглупев-
шим. На Севере города еще сидели на голодном пайке,
без электроэнергии. В часы «пик» приходилось выру-
бать фидера лесозаводов. На Кузьмина наседали
и сверху, и снизу. За военные годы энергетики привык-
ли не считаться ни с какими правилами, ставили транс-
форматоры без фундаментов, на бревна, на камни, пе-
регружали сети, вешали аварийные временки, все кое-
как, на соплях — не хватало мощностей, материалов...
Энергетики должны были изворачиваться, но в то же
время они были хозяева положения, директора пред-
приятий ломали перед ними шапки, выпрашивая хоть
десяток киловатт. И вот теперь он, Кузьмин, должен
был приводить их, героев военных лет, в чувство, ста-
вить на место. Он лишал их власти. Он хотел привести
сети в соответствие нормам, требовал от энергетиков
и от начальства всего того, что было положено. И те
и другие были недовольны им, но ему нравилось воевать
на два фронта, он шел напролом. Не вводил подстанции
без релейной защиты. Не допускал перегрузок. «Строй-
те новые линии», — отвечал он на просьбы и упреки. И
в то же время он производил рискованнейшие включе-
ния... Рассказывать об этом Лазареву было бесполезно.

— Вы кем сейчас работаете, Павлик?

Обычное монтажное управление, каких десятки,
а может, и сотни. Всесоюзного значения не имеет. Ка-
бинет маленький. Секретарша. Правда, она же маши-
нистка и завхоз. Комфорта нет. Чай, кофе не приносят.
Журналисты не бывают.

— Дальше некуда, — сказала Аля. — Куда вы попа-
ли? Ни минуты нельзя там оставаться... — Она шутила,
смеялась, а потом разом посерьезнела. — Чего жалеть?
Конечно, привыкаешь, любая работа может доставлять
удовлетворение, — наблюдая за Кузьминым, она как бы
подбирала верную ноту. — Особенно талантливому че-
ловеку. Талант, он всюду талант. Но теперь, когда все
выяснилось, теперь-то какой вам смысл?.. Что вам дала
ваша работа?

— Ничего, — сказал он.

— Вот видите. А помните, как вы мечтали получить
орден?

Они оба улыбнулись одинаковыми улыбками.

...Следовательно, он в тот приезд так и мечтал, и не стеснялся признаваться.

— Послушай, Аля, а как это было?

Переносица ее чуть сморщилась, и все эти отвлеченные, воспоминания не входили в ее план, но, не показывая вида, она рассказывала, как он хвалился своим назначением, он был упоен тогда своей властью: шесть машин, рации, вызовы в обком...

— У папы записаны ваши высказывания, Павлик: «Солдаты свое дело сделали, теперь спасают страну инженеры». Папа спросил: а как же ученые, они ведь сделали атомную бомбу? Вы на это сказали: бомба, да, но она нас не накормит и не согреет. Сейчас людям нужны самые элементарные блага.

Неужели он так и сказал — «блага»? Это было совсем не его слово. Но Лазарев записывал точно. Лазарев сидел за большим обеденным столом. На одной половине ели, на другой лежали книги, конспекты, там Лазарев занимался. Он хохлился в меховой солдатской телогрейке, говорил с ужимочками, ехидством, но все его доказательства оборачивались против него, потому что какой же смысл было обрекать себя на подобное прозябание? «Все это прекрасно, — думал тогда Кузьмин, — но чего вы добились, дорогой учитель? Чего достигли?» А он, Кузьмин, был нужен, его ждали, он командовал сотнями людей, тысячами и тысячами киловатт... Орден ему все же дали. Через два года.

— Вот видите, — повторяла Аля. — Что же вас теперь держит? Я не пойму. Чего-то вы недоговариваете. — Она слегка раздражалась, еле заметно. И какая-то была нетерпеливость в ней, иногда она поглядывала на раскрытую дверь, прислушивалась к голосам в соседних комнатах.

— Так-то так, Алечка, — сказал Кузьмин. — А собственно, что ты уж больно озабочена моими делами?

— Потому что это несправедливость. Мне за папу обидно, что он не дожил. Не узнал. — Витая пружинка волос у ее виска качнулась, и Кузьмин, подбравшись, сказал:

— Вот это другое дело.

— Нет, не другое, — тотчас с новым накалом подхватила Аля. — Вы, Павлик, напрасно меня отделяете. Папа не узнал, зато я узнала. Во мне все теперь вско-

лыхнулось. Ведь я потом, когда вы, Павлик, не вернулись, я ведь тоже разуверилась в отце. Занималась анализом по Лаптеву. Прячала его учебник от отца. Жалела его, считала, что у него пунтик. Короче, я тоже его предала... Поверила Лаптеву. В этом-то мерзость... Он это почувствовал, вида только не подавал. А перед смертью тетке, сестре своей, сказал, что Алечке так легче прожить будет, пусть думает, что все правильно, по заслугам и почет, отец убогий, юродивый, только жалко, когда узнает, что отец-то прав был, расстроится и клясть себя будет. Вот что мучило его. Он про нынешний день беспокоился.

Голос у нее вился ровно, с легким дымком, как стружка на станке, и глаза смотрели на Кузьмина не мигая.

— А больше он ничего не говорил?

— То есть?

— Значит, он считал, что... словом, ни в чем не виноват?

— Виноват? В чем?

— Нет, я так,— сказал Кузьмин, напуская рассеянность.— Я про Лаптева.

— Что именно?

Руки ее вцепились в подлокотники, глаза, обведенные синью, смотрели накаленно, с недобрым блеском. Она замерла, готовая броситься защищать отца. Неужели она не знала про то, что творилось на кафедре? И сам Лазарев никогда не обмолвился? И никто кругом? Или же Лазарев дома все это преподносил по-своему? А может, у него были какие-то оправдания? Может, он верил, что в математике идет классовая борьба, что Лаптев проповедует идеализм?

Вся сила встревоженной, обеспокоенной любви к отцу была сейчас в ней, в единственной его дочери, которой он заменил умершую мать, вынянчил в блокаду. И эта ответная, запоздалая, но оттого нерассуждающая любовь сжигала все возражения.

Какие доказательства, в конце концов, были у Кузьмина?

Он поднялся, подошел к камину.

— Ну бог с ним, Лаптевым... Дался тебе этот старец.

Он взял ее прохладную руку, потянул к себе так, что Аля поднялась.

— Оставь Лаптева в покое. Столько лет прошло. У них с отцом были свои счеты. Нам их ныне трудно судить.

— А кому же судить? Кто вместо нас, нет уж, извините.— Она сжала его пальцы.— Я ж одна у отца, больше никому заступиться за него. Я обязана его реабилитировать, это мой долг.

— В чем реабилитировать?— чутко вскинулся Кузьмин, и Аля отняла руку.

— Они его считали неудачником! Они хотят, чтобы так и остался он для всех навечно неудачник, бездарь. Им выгодно, чтобы он сгинул в неизвестности. Концы в воду. Потому что если сейчас все всплывет, тогда надо признать, что он был прав. А это что значит? Понимаете, Павлик? Что они виноваты. Поэтому они ни за что. Они на все согласны, лишь бы было шито-крыто. Боятся, как бы преступление не обнаружилось. Они и вас готовы угробить. Думаете, Несвицкий напутал про Кузьмина? Я уверена, что специально такой слух распространили.

— Ну, ну, Алечка, это ты накручиваешь.

— Эх, Павлик, вы их не знаете. Как папа от них страдал. Он плакал по ночам. Вокруг него... его не любили. Думаете, я не в курсе? За то, что он не был соглашателем, за то, что он боролся за молодых. За Лядова, за Раевского, за вас, между прочим. Я к нему трезво, я объективно, не потому что мой отец. Думаете, он не знал, что́ ему грозит, когда он печатал вашу статью? Знал.— Пылко-вишневый жар высветил изнутри ее шею, щеки.— У него написано было в тетрадке эпиграфом: «Буду стоять у позорного столба, пусть грязью кидают, плюют, готов, все вытерплю, потому что страдаю за истину. И слава богу, что есть за что пострадать!» Мучился и радовался. А вы, я же понимаю, Павлик, вы стесняетесь вступить за него, предаете...

Пламя, что гудело в ней, ожгло и его незаслуженной обидой. Он-то щадил, заслонял ее от папеньких дел, а она, не разобравшись, лупила наотмашь...

— Ты вот что, Алечка, ты не наступай... Твоей заслуги во всем этом деле — нет. Ты доцент — вот и занималась бы... А на готовое мораль напускать — это мы мастера. Льву Ивановичу эта бодяга не нужна, не воскресит. Это все тебе нужно. Как же, дочь того самого Лазарева, учителя того самого Кузьмина, семья потом-

ственных математиков! Вот и вся твоя забота обо мне. Я-то думал, чего ты бьешься. А ты за себя хлопчешь!

— Замолчите! Как не стыдно... Да что ж это такое... Вы, Павлик... все, все перевернули! Выгородить себя хотите!

Оглохшие от злости, не слыша друг друга, они неуступчиво насккивали, схватываясь все с большей яростью. Кузьмин уже не мог сладить с собою, хваленая его выдержка рухнула, перед ним дергался ее большой лягушачий рот, душил приторный запах косметики, хотелось схватить ее за руки, стиснуть, чтобы хрустнуло, чтобы оторвать ее сверлящий голос, чтобы она наконец заплакала. Почему она не плакала?

Угадала она или подчинилась его мыслям, но вдруг сникла и, бесслезно всхлипывая, сказала:

— Простите меня, Павлик. Я не должна... Нервы у меня... Я, может, преувеличиваю отца. Наверное. Он был для меня всем. Он меня выкормил. Это я только теперь понимаю, как трудно ему было. Может, он из-за меня и не сумел стать... Вы ни при чем. Это я виновата...

Злость Кузьмина разом схлынула, перед ним открылась любовь, завидная, нелегкая. В душе он обругал себя: существует ведь честь отца, честь фамилии, и слава богу, что Аля бьется за эту честь, хорошо, если б сыновья Кузьмина когда-нибудь вот так же отстаивали его. Простая эта подстановка чрезвычайно Кузьмина впечатлила: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Давно известная эта истина была одной из тех житейских истин, которые он любил приводить, а вот к своей собственной жизни почему-то не применял. Пожалуй, это самое трудное требование к себе... Лазарев был для нее всем — и отцом и матерью; с ней он был добрым, нежным, страдающим, она не знала его таким, каким он бывал на кафедре, желчным, с тягостной подозрительностью. Все время хотелось перед ним оправдываться. Скрюченный, желтый, полусогнутый в каком-то извороте, как бы что-то выглядывая, Лазарев внушал опасение...

Но, слушая Алю, вспоминалось и другое: как Лазарев весело и ловко готовил дома голубцы, колдовал над латкой, прицокивая языком, как подкладывал в тарелку Але, и в эти минуты желчность его, скрюченность превращались в уютную ворчливость старенького заботливого домового.

Они существовали порознь, отдельно: домашний Лазарев и институтский Лазарев, сложить их Кузьмин не мог и не знал, что ответить Але, не знал, кем же он был для него, его учитель.

Умирал Лазарев тяжело, рвался из смерти, как из капкана. Болезнь свою ненавидел, убежденный, что его болезни радуются враги, болезнь их союзница, что это недоброжелатели напустили на него порчу. До последней минуты он видел себя жертвой, считал, что погибает за истину.

Неизвестно, зачем Аля рассказывала про это. Обдуманность ее речи нарушилась, она не старалась, чтобы Кузьмин понял: какие-то наволочки, медный Будда, клюквенный морс, книга Иова захлеб перемешались в ее рассказе.

Пожалуй, только про Иова он кое-что догадался. Когда-то Лазарев пытался рассказать ему испытания, постигшие Иова, и как Иов сохранял, несмотря на страдания, свою веру. Какие там были испытания, забылось, помнил Кузьмин только общую идею, и то странно помнил, вместе со словами Лазарева: «Слабый не должен быть добрым». Считал ли Лазарев себя слабым? К чему он это сказал?

Ныне, всплыв из прошлого, Лазарев напоминал тех изобретателей, что время от времени настигали Кузьмина. Изобретатели были особые люди — как правило, трудные и святые. Среди них не было плохих или хороших, изобретатели — это состояние, в которое попадали самые разные люди, и состояние это для них всех общее. Самые деликатные, робкие — с той минуты, как они изобрели, — преображались. Они шли как одержимые, ни перед чем не останавливаясь, ничего не боясь. Изобретение владело ими, оно заставляло их действовать. Конфузились, стыдились своей настырности и ничего не могли поделать. Они — единственные на земле — знали, как лучше сделать то-то и то-то, это придавало им силу, волю, пока им не удавалось пробить свою идею. После этого они быстро возвращались к прежним своим натурам.

Почему же Лазарев мучился, страдал за идею Кузьмина, а сам Кузьмин нисколько? И не вспоминал, и только досадой отзывался на лазаревские уговоры? А вот Лазарев действительно мог терпеть ради чьей-то

чужой работы. Все-таки это редкое качество, растроганно думал Кузьмин.

Он обнял Алю за плечи. Она не удивилась, ощутив его жажду утешить. В груди Кузьмина что-то повернулось, очистилось, на мгновение приоткрылась щель, и там, вдали, в солнечно-пыльном луче, он увидел себя, каким он был тоненьким, быстрым, юношеское лицо свое, пылающее восторгом жизни, он показался себе прекрасным, он понял, что тот Павлик Кузьмин и есть он, горячее дыхание юности слилось с теплом Алиного плеча...

Наверное, Аля и впрямь любила его. Почему они расстались? Почему он отказался от нее? А ведь что-то было, что-то происходило и произошло тогда...

IV

— Что я вижу! Моя законная жена в объятиях... и кого! Попались! О неверная! — с театральным весельем сыпал Корольков, оставаясь в дверях.

От него исходило преувеличенное благодушие и приветливость занятого человека, улучившего приятный перерыв.

Аля не отстранилась. Прижавшись друг к другу, они из двадцатилетней давности оглянулись на это непростое вторжение. Тихий студентик Корольков, как порозовело, налилось соками его длинное лицо, обтянутое когда-то серой угреватой кожей. Он тогда был бесцветно робкий, с постно поджатыми бледными губами, воплощенная старательность, и голос у него был не нынешний баритон, а скрипуче-виноватый, — типичный зубрила, грызун науки, которая действительно была для него гранитом. Ныне он стал важен, располнел, особенно книзу, бедрами, задом. Полированный зачес, уложенный волосок к волоску, закрывал лысину. Безукоризненно сидел на нем синеватый костюм в крупную клетку, не официально-вечерний, в меру помятый и в то же время строгий, деловой. Все на нем было продумано: полосатенькая рубашка, широкий, но не очень, галстук, суровая морщинка между бровями и скромные очки интеллектуала.

Вопросы, восклицания... Не ожидая ответа, он вспоминал однокашников, щурился в смехе, и черные зрачки его, сверяясь, поглядывали на Алю.

Она затуманенно, не слыша ни его, ни себя, отошла, присела на ручку кресла и стала смотреть на них обоих. Она явно их сравнивала. Она удалилась в ложу, оставив их вдвоем на сцене. Она сравнивала их фигуры, костюмы, манеру говорить, их усмешки и подстрекающе молчала. Может, от этого разговор их быстро заострился. Корольков высказал сочувственное удивление небольшой должностью Кузьмина: монтажное управление, да еще номер 183, сколько же их? И как же так получилось — слухи ходили, что Кузьмин шел чуть ли не на замминистра...

Тут был некоторый перебор, может, умышленный, про замминистра и речи не было, а вот на начальника главка Кузьмина выдвигали, существовал когда-то и такой вариант его жизни. Переживал, что сорвалось, но зато сейчас, когда Корольков, поджав губы, соболезнующе закивал, Кузьмин подумал, что с тех пор главк тот реорганизовывался, и не раз, начальство там не удерживалось, на совещаниях производственники доказывали, что главк не нужен, и тогда в главке чувствовали себя неудобно, да и работа в нем была чисто конторская. Разумеется, монтажных управлений много, так ведь и математиков много.

Но Корольков не просто математик, он доктор математических наук!

Кто бы мог подумать, это, конечно, достижение, но, вообще-то, и докторов толпы, больше, чем монтажных управлений, и, значит, и главных инженеров управлений. На это Корольков неуязвимо заулыбался и сообщил, что он не только доктор, ах, если бы были возможности заниматься чистой наукой... какое это счастье, увы, он еще советник какого-то комитета, на его плечах большая международная работа — проводить конгрессы, устраивать командировки, направлять с чтением лекций — особенно в развивающиеся страны, еще с культурным обменом, помогать налаживать по линии ЮНЕСКО, он вице-председатель комиссии, какой именно — Кузьмин не уловил, во всяком случае нечто ответственное, требующее дипломатии, контактности, умения устанавливать научные связи между самыми разными организациями, научными обществами... Начал Корольков рассказывать несколько заносчиво, затем нашел более выигрышный тон — небрежный, даже слегка ироничный, подтрунивающий над своими чиновными успехами.

Тем не менее Кузьмин пока что брал верх: он занял выгодную позицию слушающего, он мог хмыкать, недоверчиво щуриться. Корольков же должен был доказывать и невольно нагнетал, так что Але было наверняка неинтересно слушать его. В любом случае рассказывать о себе рискованно, тем более отвечая на вопросы. Отвечающий неизбежно теряет, он как бы обороняется. Но при всем при том Кузьмин не мог скрыть некоторого ошаления — уж очень Корольков отличался от смиренного, неказистого Дудки. Так что тут Корольков имел преимущество. Он скромно признался, что поездки имели и свои радости — как-никак повидал мир, язык освоил. Спросил, часто ли приходится Кузьмину выезжать за рубеж.

Однажды Кузьмин ездил с туристской группой в Югославию, да еще в Польшу, и раз в командировку в ГДР. Смешно было бы хвастать этим, поэтому он махнул рукой неопределенно — где уж нам с суконным рылом в калашный ряд.

А язык? И язык, он только английские журнальные статейки по электротехнике кое-как переводил — не больше. Корольков на это скорбно покивал: надо знать язык, сегодня специалисту нельзя без знания языка. Мы живем в эпоху информации. НТР — это и есть информация плюс коммуникация!..

Так он набирал очки.

Уши у него торчали такие же большие, как и прежде.

Кто бы мог подумать, что из Дудки получится международный деятель. На семинарах ничем не выделялся, соображал туго, типичный слабак. Лазарев называл его точкой отсчета, нулевой отметкой, единицей посредственности, держал его за старательную услужливость. И вот, пожалуйста, — всех обскакал. Как это случилось? Как это вообще происходит? Из каких складывается случайностей? Не был отличником. Не побеждал на олимпиадах, на студенческих конкурсах, и в итоге, так сказать, жизненного конкурса — оказался впереди. Доктор наук. Научные труды. Книгу написал, подтвердил Корольков. Книга, международная арена, государственные проблемы... Если бы тогда, на семинаре у Лазарева, сказали, что наибольшего достигнет Дудка, — рассмеялись бы... По какой шкале, конечно, считать, что считать успехом, но для самого Королькова это взлет.

С каким терпением, с какой милосердной улыбкой отвечал он на ерничанье Кузьмина.

— Да, брат, моя служба не просто тары-бары. Тут свой талант нужен. И представлять достойно, и самим собой оставаться. Я тебе скажу, интересно жить — тоже способность, человек, интересно живущий, может принести больше пользы обществу...

— Ладно. Расхвастался,— сказала Аля.

— Я же не про себя, Алечка.— Корольков льстиво хихикнул.— Я про путешествия. Сейчас всем предоставлены возможности. Надо мир повидать. Как сказал один мудрец: пока ходишь, надо ездить...

Неясная полуулыбочка заслоняла ее лицо. Иногда Кузьмину казалось, что она демонстрирует своего мужа, показывает его и так и этак. Уверяет себя, что не ошиблась в выборе. И неказист, и осанист, и скромн, и на коне. Да и конь, видать, без спотычки.

И снова Кузьмин спрашивал себя: за что Королькову так подвалило? Как действует этот механизм удачи?

А Корольков описывал Бейрут, Токио, Дели.

Разноцветный шар поворачивался, сверкая океанами, огнями ночных городов, и было ясно, что Кузьмин уже не увидит ни японских вишен, ни горячей африканской пустыни. Не успеет. Разве что по цветному телевизору. Жизнь, что всегда маячила еще впереди, оказалась вдруг за спиной. Тайфуны и джунгли детства, заморские небоскребы, зеленоватые айсберги, все мечтания, раскрашенные книгами, снами, прощальной болью шевельнулись в душе. Глядя на Королькова, он подумал о том, как много прожито и как быстро, и было до слез жаль остатка причитающейся жизни. Он имел в виду жизнь полноценную, без старости, когда еще можно лазить по горам, работать без усталости, любить женщин, подниматься на верхушку анкерной опоры... Тающий этот кусочек жизни словно лежал в его руке, и Кузьмин примеривался и взвешивал, и сокрушался над ним. Вот она, блистающая сквозь Королькова его иная жизнь, которую ему тоже хотелось заполучить.

Ах, Корольков, Корольков, что значит планида, не родись красивым, а родись счастливым. И как это ловко сложилось у него одно к одному — и жена красавица, и большие дела, и большой почет, и никаких забот. Конечно, имеются у него свои хлопоты, но это не заботы Кузьмина, план у него не горит, аварий не бывает, его

заботы тоже как бы высшего порядка... Есть такие люди, которым достается все лучшее.

Корольков и Аля переглянулись.

— Эти сласти не для нас, технарей, — с вызовом сказал Кузьмин. — Наше дело маленькое: пайай, включай.

Ясно, что Корольков зашел сюда не случайно, он был в курсе, однако помалкивал, тянул, не хотел начинать первым. Корольков мог ждать. Его устраивала эта демонстрация своих успехов, эта возможность гарцевать, возбуждать зависть и удивление.

Кузьмин упорствовал, они тянули, кто кого пересилит, кто первый откроется, и Аля, мерцая зелеными глазами, бесстрастно наблюдала за ними.

— Как говорят англичане, — рассуждал Корольков, — *every dog has his day!*¹

В такого рода состязаниях Корольков поднаторел, и Кузьмин понял, что придется начать самому, только бы найти нужный тон, такой, чтобы сбить спесь у Королькова.

— Меня опять приобщить пытаются, — начал он неуверенно, полный сомнений, — свалилось тут одно открытие как снег на голову.

— Слышал, слышал... Что-то насчет критериев? Это тот твой завальный доклад? Но я, брат, в этом ни бумбум. Ну что ж, благословляю. Лучше поздно, чем никогда. То был фальстарт, теперь уж никакой Лаптев больше не помешает! Как сказал Гагарин, — поехали! — Корольков подмигнул, словно похлопал Кузьмина по плечу.

Как будто все дело состояло в том, что Лаптев *п о м е ш а л*. Не сбил с толку, а именно помешал, и Кузьмин отступил, не в силах одолеть помеху. Такая, значит, сложилась версия.

— Поехать можно, да только, я думаю, зачем мне это, — лениво, даже свысока произнес Кузьмин и почувствовал, как это действует. — Всякому свое мило... — Он не удержался, тоже подмигнул. — На твое местечко — это бы я еще согласился — по заграницам пошататься. Так ведь не уступишь? А самому пробиваться — скучно.

— Почему обязательно на мое?

¹ Будет и на нашей улице праздник (рус. аналог английской поговорки. — *Ред.*).

— Потому что послушал тебя — лучше твоей должности нет.

— Это верно, — милостиво согласился Корольков. — Но многое, Паша, зависит от того, как относишься к своей работе. Я, брат, умею любить то, что делаю...

Аля вздохнула и спросила Королькова, договорился ли он с корреспондентом; узнав, что нет, бросила едко: «Ну конечно». Извинилась перед Кузьминым и вышла, Корольков обеспокоенно проводил ее глазами.

— Тянет она меня... точно буксир. Теперь вот в академию тянет, — с тревогой сказал Корольков, но тут же встряхнулся, расстегнул пиджак, засунул руки в карманы, ноги расставил пошире. — Да, подвалило тебе, брат, выиграл первый приз... Чего уж тут выламываться, ручаюсь, не чаял, не гадал...

— Ты что ж, завидуешь? Всего у тебя полно, да еще бы поболе?

— Пригодилось бы. В самый раз. У меня хоть должность велика, а золотом не очень обеспечена. На бумажных деньгах существую... Но ты не думай, я свое дело умею делать. Есть в этом свой резон: нет смысла хорошего математика отвлекать на оргработу. Я себе цену знаю. Невелика. Что могу, то могу. Найти себя — это хорошо, но сделать себя — это, Паша, тоже заслуга.

— Ты, значит, сделал.

— Сделал. Не жалуюсь. Я, брат, всего своим трудом добился. Без всяких протекций и озарений. Вот эти-ми, — он поднял руки, помахал перед Кузьминым. Руки у него были большие, грубые, такими бы тросы натягивать, кабели выгибать, и Кузьмин рассмеялся, представив Королькова в этих сволочных тоннелях.

Корольков покраснел, шея вздулась, но лицо оставалось приветливым, с той же резиновой улыбочкой.

— Смеешься? Чего ж ты смешного нашел?! Это я бы мог над тобой посмеяться.

— Видишь ли, я-то думал, что у вас голова нужна, способности, а руками... Или это в смысле руководить?

— Ты язык свой придержи. Все беды от языка происходят. Я тебе, Паша, напомнить хочу, что ты мне сказал, когда от Лазарева выпроваживал. Или позабыл?

— Я? Тебе?

— Мне, мне, кому ж еще. — Он подозрительно вглядывался в лицо Кузьмина с глупо раскрытым ртом. — Ты жил у них. Я пришел. А ты, при Але, выставил меня...

— Хоть убей, не помню.

— Взял меня за грудки и посоветовал обучать дефективных, такая математика, мол, мне по силам.

— Ишь ты, с чего это я взъелся?

— А как же, ты был пуп земли. Сказочный, быстро растущий принц. Залетел в наше болото, соизволил обратить внимание на Алю.

— А-а, вот оно что.— Кузьмин облегченно улыбнулся над всеми ними тогдашними. Он придвинулся к камину, протянул руки к огню, который был лишь изображением огня посредством красных лампочек.

— Еще ты сказал про Алю: не надейся, Вася, не отломится тебе, ищи себе попроще... И это запомнил?

— Да, как-то не врезалось. Сколько, знаешь, было подобных собеседований...

— Шути, шути... А все-таки промахнулся ты, Паша. Еще как. По всем пунктам просчитался. Непростительно при твоих-то способностях. Вот оно, друг Паша, какой оборот приняло. Кто из нас кто? Кто кем стал? Судьба играет человеком!

— Ах ты, граф Монте-Кристо!

— Хочешь меня втиснуть в матрицу. Не упрощай. Я ведь не злорадствую. Напрасно ты себя утешаешь. Я анализирую.

— Ну, давай, давай.

— Все это, брат ты мой, не случайности. Не то что мне повезло, а тебе нет. Извините, на «повезло» причина есть, существует запрограммированность! То, что в древности называли судьбой, а сейчас — гены. В некоем смысле — закономерность...

Помахивая рукой, он неторопливо прохаживался из угла в угол, как бы диктуя, подчеркивая каждую фразу, потому что каждая его фраза была полна значения, произносилась не зря, и не следовало Кузьмину так уж безучастно сидеть перед камином.

Если тряс за грудки Королькова, значит, были какие-то чувства к Але. Что-то, значит, насчет этой Али трепыхалось.

Опять возник тот молодой Кузьмин, опять совершил подвох. Вел себя грубо, бестактно, а кроме всего прочего, непонятно. Чего он, собственно, добивался? И если он выгнал Королькова, то дальше-то что, почему после этого он уехал и словно бы отрубил?.. Что-то при этом

забрезжило расплывчатым пятнышком, как дальний выход из тоннеля, как окошко в ночном лесу, скорее предчувствие, чем свет. Если б он мог вспомнить...

Прошрое, казалось сугубо личная его собственность, местами было тщательно укрыто от него, недоступно. И странно, что эти темные провалы, эти пустоты для кого-то другого — навсегда врезавшиеся минуты, полные звуков, красок.

Почему-то приблизилось не то, чего он ждал, а угольной лампочкой освещенная передняя Лазаревых. На стене велосипед, дамский, с голубой сеткой. Кажется, Алиной матери. Под ним старинный счетчик Всеобщей Электрической Компании, и, что интересно, почему, наверное, и запомнилось: под счетчиком медные круглые амперметр и вольтметр, уцелевшие здесь, очевидно, с начала электроосвещения. Стояла огромная вешалка, увешанная старыми макинтошами, ватниками, еще был плакат: женщина с красным флагом на баррикаде. А у дверей лежала рогожа. И слово-то он это забыл — рогожа! Плетенная из мочалы. Мочалка, с чем в баню ходили. Ничего этого нет, ни мочалок, ни рогож, разве где-нибудь в Коневске, куда ему давно пора съездить посмотреть, как работает новое оборудование...

— ...От меня, представь себе, Паша, кое-что зависит. Ты с этим столкнешься. Я не академик, но могу способствовать не хуже. В смысле паблисити. С выходом за рубеж, с выступлениями. На одном Лаптеве ты не вспорхнешь...

— Вот что — Лаптева не троньте! И Але скажи, чтобы Лаптева оставили в покое.

Брови Королькова поднялись, замерли, и вдруг он просиял:

— Ну, ты, брат, даешь!.. И правильно! Молодец! Я ведь ей тоже указывал! Понимаешь, Лаптев — гордость нашей математики. С ним в капстранах считаются. Зачем его подрывать, не нужно, давайте переступим личные отношения. Я учитываю — да, ее отец, да, все прочее, но если политически невыгодно? Приходится нам быть политиками... И потом, Лазарев тоже не сахар.

— Чего ж она твоих указаний не слушает?

— В своем отечестве, как говорится, нет пророка. Кузьмин с интересом посмотрел на Королькова.

— Не признает, значит?

Корольков резко повернулся к дверям, где кто-то проходил, зачес его редких волос сдвинулся, приоткрыв белую плешь.

— Сейчас ты опять изображаешь принца, — обиженно сказал он. — Спустился благодетель-реставратор. Восстановишь имя ее отца. Освятишь своим талантом. Кругом таланты, творцы, создатели, открыватели. Работников нет, зато талантов и поклонников завались.

Тусклый свет там, вдали, усилился, поярчел. Злость веселыми иголочками прошлась по груди Кузьмина.

— Позволь, позволь, Вася, что ты там насчет судьбы толковал, в каком смысле ты понимаешь, что это закономерность?

Если Корольков что и почувствовал, то, надо отдать ему должное, не оробел, отвечал твердо:

— В том смысле, что нет в тебе боевитости. Не борец ты. От первой неудачи вянешь. Тебя стукнуть посильнее — и ты готов. Что, не так? Ты в моих условиях, при моих данных застрял бы учителем.

— Хороший учитель — это великое...

— Это мы с тобой сегодня понимаем. А тогда как ты мне сказал про школу дефективных? Ты правильно предрекал. С одной поправочкой. Ты по себе мерил. Если б тебя лишить способностей... Но ты не учел, Пашенька, что зато у меня есть характер. Мне, брат, ничего не доставалось за так. Я за все по высшей ставке платил. У меня на какую-нибудь задачку втрое времени уходило. Впятеро! Задницей брал, но добивался, а принесу — так весь семинар считает, что я случайно решил. Ты привык, что тебе все с неба сыпалось. А я тащил, как муравей. Если бы, конечно, тебя под стекло, охранять от всяких передряг, ты бы расцвел, ты бы развернулся! Но жизнь, брат, тем и хороша, что она и бесталанным шанс дает. Наша жизнь, она... демократична! — Он рассмеялся, довольный найденным словом. — Она не для аристократов. Для трудяг. Я-то приспособленней оказался, а? Может, это подороже исключительных способностей. И пользы принес не меньше...

Как он торжествовал, этот сукин сын, как он куражился. Не думал Кузьмин, не гадал, когда спрашивал насчет судьбы, что наткнется на такое, словно осиное гнездо ворохнул. Слова Королькова жалили, одно больнее другого.

— ...Щелкнули тебя в министерстве — скис! Щелкнул тебя Лаптев тогда — скис! Легко ты скисаешь! Дитя удачи!

— Бывает, бывает,— согласился Кузьмин.

...На второй месяц пребывания в министерстве он выступил против проекта Булаховской гидростанции. Не было никакого смысла и никакой нужды разворачивать столь дорогое строительство. Он приводил цифры, опровергнуть их было невозможно, поэтому возражали общими возражениями, потом его вызвало начальство и мягко пожурило: не с того он начинает свою деятельность, ниспровергать дело нехитрое, а что взамен? Но он же предлагал станцию на угле. Вот и хорошо, сказали ему, защищай свою станцию, выступай за, обосновывай, а против и без тебя хватает.

Но он требовал спора по существу и потребовал доказательств публично, в интервью с одним писателем. Беседу опубликовали в газете, с этого и пошло: вскоре его откомандировали на укрепление, потом на усиление в трест, оттуда на стройку,— и правильно, он вел себя глупо, как бодливый баран.

Наконец он перестал упорствовать, но было уже поздно.

А может, потому и не вернули его, что сдался, может, надо было продолжать борьбу, тем более что сторонники у него появились даже среди проектировщиков. Но он боялся превратиться в сутягу. До каких пор можно или нужно настаивать на своем? Вот тоже проблема. Есть ведь какие-то разумные пределы?

Писатель уверял, что если бы Кузьмин устоял еще месяц-другой, то они победили бы. В ЦК уже склонились в их пользу. Впоследствии писатель написал про это пьесу, об инженере, который выступил, подобно Кузьмину, и не сумел додержаться буквально день. На сцене жена обвинила этого человека в малодушии, друг считал, что он погубил дело, все клеймили его, и никто не подумал, что он первый начал, что он боролся сколько мог, что он был смелее их всех. Даже писатель не подумал.

— ...Однако не совсем скисал,— сказал Кузьмин.— Не совсем, если меня снова щелкали. Кто гнется, тот и выпрямляется...

Оправдание ли это?.. Он приехал на Булаховскую за полгода до затопления. Посреди весенней цветущей долины стояла бетонная плотина. Гигантская угрюмая бетонная стена. Перегораживала пахучие поля клевера, перелески, рощи. Все это уйдет на дно. Теперь уже ушло, затянуло илом, тиною. Он был виноват перед этой долиной.

— А ты, значит, без поблажек обходился, — задумчиво протянул Кузьмин, — сам всего добивался?

Он продвигался почти наугад. Еле-еле вспоминалось, как он просил у Лазарева за Дудку, не удалять его из семинара. И насчет Али, когда он увидел, как серьезно для Королькова чувство к Але, и сжалился. Слишком неравны были их силы: этот отставший на курс, какой-то затрушенный, дохлый Корольков — и он, в меховой куртке, широкоплечий, восходящая звезда советской энергетики...

Какой-то был разговор, почти ничего не помнилось, воспоминания растворились, перешли в плоть, в сны, смех, жесты, в невнятную тоску, в жилистую терпеливость, стали частью его самого...

Даже этот Корольков, Вася-Дудка, и тот чем-то вошел в него, еще там, в начале пути. Дал возможность проявить свою доброту и щедрость.

— Ах, не все ли равно, Дудка, — размягченно сказал Кузьмин, — и тебя можно носом ткнуть, да неохота мне в считалки играть. Молодость прошла, вот что грустно... Помнишь, как мы пляс устроили в общежитии на Флюговом?

Некоторое время они разглядывали тот буйный вечер, с джазом третьекурсников, и другой вечер, под патефон, их студенческую жизнь с тихой читалкой, с разгрузкой овощей на Сортировочной, с походами на Карельский, с танцзалом, где вдоль стен стояли девицы, которые не очень-то льстились на студентов... Румба, полечка, буги, русский бальный... Они припоминали наперебой, и Кузьмин растрогался от своей доброты, от жары танцулек и своих партнерш — где они, королевы Мраморного зала и Промки?..

— А ты по-прежнему о себе воображаешь, Паша...

Вот тут-то Корольков и нанес свой удар и засмеялся в лицо размякшему Кузьмину. Не стесняясь, напомнил Корольков ту его уступку, подумаешь, монаршья ми-

лость, грош ей цена, плевать он хотел на такие благодеяния, все равно он добился бы Алиной любви, что бы там ни было.

— ...Не преувеличивай ты себя, Паша, от души советую тебе, лапушка, опять можешь промахнуться, потому что пока ты еще величина мнимая. Что ты можешь? Ничего пока не можешь. И двигаться тебе надо осторожно, тебя сейчас любой обидеть может. Но я тебе помогу, так и быть уж...

Щелкнул контакт, и словно что-то в Кузьмине включилось, загорелось. Сам он и не пошевелился, но обозначились мышцы, массивная челюсть, разлапистые огромные ноги.

— Ах ты, Дудка, Дудка... Не нужен ты мне. У меня найдутся помощники,— он медленно начал перечислять:— Анчибадзе, Зубаткин, Нурматов,— и оборвал, а потом, едко улыбаясь, сказал:— Обойдусь без тебя. А вот я тебе нужен. Верно?

— Зачем?

— А если я скажу Але, что ты не хочешь помочь мне?— Он подождал и прицельно прищурился.— Нет, напрасно ты так держишься, будто ты лицо независимое. Так что со мной надо по-хорошему. А то у тебя могут произойти семейные сложности.

И самому Кузьмину была неприятна эта улыбка, и подлый его тон, и страх, мелькнувший в глазах Королькова, тут же погашенный фальшиво-воинственным смешком.

— Поверхностные у тебя суждения, Паша, ну да бог с тобой...— И ловко перешел на Анчибадзе и прочих молодых светил, которые ничего не умеют ни провести, ни организовать, вечно напутают...

Из соседней комнаты донесся резкий голос Али. Кузьмин спросил быстро, что с записями Лазарева, куда они делись.

— Они у Али,— так же быстро и тихо сказал Корольков.— Я не читал. Честное слово. Она не дает. А что?

Не дает, значит, сама читала, подумал Кузьмин. И вовсе не значит, тут же возразил он, если бы читала, то понимала бы Лаптева, побаивалась бы... Что там было записано у Лазарева? Попросить у Али почитать? А зачем?

Попросить ее или не спрашивать? Не потому, что боялся отказа, а потому, что не знал, хочет ли он сам прочесть эти тетради, где, наверное, было и его прошлое, и всякие нелестные размышления о нем, наблюдения... А может, лестные размышления, тогда тем более горько... И про Лаптева, и про то, как было с Щаповым... Как это прочтается сегодня — в оправдание Лазарева? Или же в обвинение его? Искренность — это же еще не оправдание.

Однажды Кузьмин тоже записывал себя. Надя после ссоры уехала, казалось, навсегда, и он изливал свою душу без начала и конца. Он не сразу сообразил, что это про него. Узнал себя только по почерку. Общие рассуждения о любви были банальны, зато некоторые подробности поразили его. Как он вытирал стол старой тряпкой и увидел, что тряпка — остатки Надиной ночной рубашки. Выцветшие красные цветочки напоминали первые месяцы их жизни: солнечные архангельские ночи, как он спал, уткнувшись в ее фланелевое плечо. Тут страничка оборвалась... Ему хотелось узнать, что было дальше... Если бы он записывал хотя бы самое главное, ведь у него была такая плотная, насыщенная жизнь, столько встреч, событий... Но для чего нужны эти записи? Для чего тащить и копить свое прошлое? Он ведь не историк, не писатель, какая же польза от этих записей?..

...Ее энергия захватила, закружила, невозможно было сопротивляться властному ее напору. Не было смысла ни в чем сомневаться или проверять. Организовано все было по-военному четко и абсолютно логично — корреспондент Всесоюзного радио приехал, запись состоится. Сперва Корольков сообщит о ходе конгресса, кто приехал, откуда, значение, размах и всякое такое, упомянет о докладе Нурматова и перейдет к Кузьмину, представит его, после чего сам Кузьмин ответит на два вопроса. Текст Королькову Аля подготовила, Кузьмину же надо подчеркнуть сочетание чистой науки и инженерной практики, истории вопроса пока что лучше коснуться в самом общем виде...

Можно подумать, что исключительно ее воля свела в узел все случайности, да и не было случайностей, это она заранее рассчитала, и потому свершилось неумоли-

мое... Зеленые глаза ее блестели, Корольков смотрел на нее с восхищением.

— Вот, брат, у кого учиться надо! А? Министр!

От нее исходил призыв к действию. Она заряжала электричеством, хотелось мчаться, одолевать, что-то совершать — трудное и немедленное. В ее присутствии все становилось достижимо — Всесоюзное радио, и завтрашнее выступление на пленарном заседании, и заморские страны, — вся та жизнь, которую Кузьмин потерял вместе с Алей, — эта жизнь распахнулась перед ним, он мог не хуже этого сочного, бодрого Королькова выступать перед всей страной, налаживать контакты, летать на международных авиалиниях... Знаменитые знакомые, звонкая слава и, разумеется, Аля, которая знала все, что нужно делать, которая любила его и была обязательной частью этой его возможной жизни. А кроме того, тишина, большой стол и чистая бумага — вот что виделось в том варианте прежде всего, — покой одиночества, высокая спинка такого же кресла, такой же камин... Давно все кончилось насчет жажды беспокойной жизни. Чего ему не хватало в эти годы — размеренности, покоя, возможности сосредоточиться; ничего нет отвратительней постоянной, изматывающей суеты, тревог, авралов, того, что преподносят как романтику будней, а на самом деле безобразие, с которым он воюет.

Сидеть и думать — до чего ж это, наверное, приятно. Он смутно помнил то острое наслаждение, что охватило его в зале Публички, когда вдруг появился результат, еще вывод не клеился, а результат уже чувствовался, гладкий, крепкий, безупречно красивый, единственной формы, как желудь...

Сидеть и думать, столько накопилось, например о Лене Самойлове — верный друг его, за которым он ходил до последнего дня, нянчил его, беспомощного паралитика, пострадавшего при аварии на той же Булаховской плотине. Похоронил Леню и с кладбища — в машину и на линию, и некогда погоревать было. Вот уже год прошел — до сих пор времени не найти поскорбеть о Лене, осмыслить смерть его...

Сидеть и думать...

Он смотрел на Алю, на Королькова, стараясь через них увидеть себя в той сказочной райской жизни, от которой отделяло его совсем немного, он мог разглядеть все подробности.

Сидеть и думать, работать головой, чтобы все там ворочалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытаться все это, испытывать без снисхождения, без пощады.

...Кузьмин облизнул губы, шмыгнул носом. Толстые губы его выпятились, веки смежились, и лицо сразу поглупело. Почесывая затылок, он забормотал, что выступать перед микрофоном не умеет, и вообще стоит ли упоминать о нем, рановато, ни к чему, в связи с тем и поскольку он не решил для себя в принципе...

— Не решил — что? — резко занесся голос, спросила Аля.

Он проямлил, что, может, лучше не стоит объявляться, засмеялся заискивающе, пытаюсь как-то утешить Алю, хотя при этом один глаз его открылся с некоторым удивлением, а другой подмигнул неизвестно кому.

— Та-а-ак. — Аля повернулась к Королькову.

— Я наоборот, Алечка, я его уговаривал, — поспешно сказал Корольков.

— Что он вам наговорил, Павлик?

Кузьмин ответил не сразу.

— Он ни при чем, дело не в нем.

— Кокетничаешь ты, Паша, — сказал Корольков. — Гордишься. Не строй ты из себя блаженного. Никто не оценит. Наше поколение и так слишком деликатно. Думаешь, твой Нурматов зарыдает от твоей скромности? Да ему только на руку. Они скромничать не станут, они люди деловые, у них не залежится, все пойдет в дело: и твоя нерешительность и доверчивость, — им все сгодится.

— Иди, иди, — сказала Аля. — Корреспондент там ждет.

— Ничего, подождет, я сейчас, Алечка, я только хочу показать этому гегемону, насколько он оторвался и недооценивает. Ты, Паша, пойми, наша научная деятельность будет приобретать все большее значение. Больше, чем твои монтажные работы. Твои работы — это еще не механизированные остатки прошлого. Сейчас, брат мой, центр человеческой деятельности перемещается. Из цеха в институт. Активность людей перено-

сится из сферы производства вещей в сферу производства идей...

Он увлекся, в словах его, хотя и произносимых не впервые, прорвалась такая гордость за науку, которой он служил, что Кузьмин поразился, самого же Королькова воодушевило то, что он заставил Алю себя слушать.

— Красивая картина,— сказал Кузьмин.— Ну прямо девятый вал. На нас идет наука! Наука, наука, а нам что остается? Может, посодействуешь, чтобы нам годовой план скостили? Поскольку центр перемещается и грязная наша, бесславная работа не имеет будущего... Эх, Вася, пока вы решаете задачки и выступаете, кому-то надо таскать, строгать...

— Тот, кто на другое не способен, пусть этим и занимается.

— Ты, значит, способен? Ты? Ты богом отмеченный?— Кровь прилила у Кузьмина к голове, забилась толчками в висках.— Уж ты бы молчал. А ты на тридцатиметровую опору залезть способен? Думаю, полные штаны накладешь!

— Убил! Наповал!

— Кончайте,— отрубила Аля.— Вася, корреспонденту скажи, что с Кузьминым потом... Или нет... Словом, скажи что-нибудь!— прикрикнула она.

Лицо Али замкнулось. Погасли глаза. Осталась грубо размалеванная маска с комками помады на запекшихся губах.

Молчали. И раскаяние медленно проникало в Кузьмина: старалась, хлопотала ради него, влетела сюда счастливая, а он вместо спасибо холодной водой в рыло, фанаберию свою распустил.

Стоило бы ей сейчас заплакать, не сдержаться, и он согласился бы, пошел за Корольковым к этому корреспонденту, сделал бы все, что она просила.

...Бедняга, бедняга, как он постарел, опустился. Что за костюм, ботинки круглоносые, старомодные, и эта клетчатая перемятая рубашка. Видимо, привык и не замечает, что превратился в заурядного технаря, прораба... Бывший Кузьмин. Осталось кое-что в повадке, в манерах, по ним-то и можно признать. А какой был

герой, как стартовал... К нему ходили со всего факультета с задачками. Не потому, что так уж быстро соображал, а скорее потому, что красиво у него все получалось. Все у него было красиво, на доске писал — и то красиво. Куртка суконная с молниями сидела на нем лучше модных костюмов. Молнии сверкали на карманах, на груди. Это он первый ввел тогда моду носить книги и конспекты, перевязанные ремешком. Корольков, стыдно признаться, и кепку надевал по-кузьмински, сдвинув верх назад. У Кузьмина имелись все данные, чтобы взмыть. Он должен был прославиться. Природа наделила его ростом и внешностью представительной, что, между прочим, играет отнюдь не последнюю роль. Пашка Кузьмин с его широкими плечами, зачесом светлых волос был прямо-таки создан для выдвижения. При всех, как говорится, прочих равных, именно он на взгляд любого начальника соответствовал облику руководителя, он имел явные преимущества перед низенькими, толстыми, вислоносыми, перед тихонями и говорунами. И физиономия у него располагала. За таким прежде всяких других хотелось идти и слушаться, такой и для представительства хорош. В начале карьеры Корольков нахлебался по уши, когда какой-то кадровик усомнился, будут ли иностранцы таять при виде Королькова, ему, видите ли, надо, чтобы они ходили под себя от умиления... Даже и ныне Кузьмин, конечно при соответствующем оформлении, тянул на крупного работника Совмина. Властность была и спокойствие, как будто он уверен, что ни одно его слово не пропадет впустую. Господи, на какие сказочные орбиты он мог выйти!

Первые годы Корольков ревниво следил за ним, сам не зная, чего желает: падения или возвышения. Лазарев уверял, что Кузьмин карьерист. Увидел, что в науке быстро не получается, переметнулся в инженерию, надеясь, что через промышленность скорее можно пробиться. Такое объяснение устраивало Королькова, и держалось оно долго, следуя за прерывистым, но неуклонным восхождением Кузьмина, которое, впрочем, как теперь понимает Корольков, совершалось с некоторым торможением, явно медленнее, чем полагалось в те бедные кадрами послевоенные годы.

История с интервью, вернее, скандал с этим интервью опроверг лазаревскую схему. Самого Лазарева тогда уже не было в живых, но вряд ли и он смог бы объ-

яснить произошедшее. Зачем, спрашивается, понадобилось Кузьмину, уже работнику министерства, откровенничать с каким-то писателем и заявлять, что Булаховскую гидростанцию строить невыгодно? И это в конце второго года строительства, которому он должен был содействовать. Корольков сразу определил, что скандала не миновать. С этой новостью Корольков и приехал после долгого перерыва к Але... Министерство — это не институт, можно, конечно, отстаивать свое мнение, но весь вопрос — до каких пор, да и тактично ли через печать. Кроме строительства ГЭС, Кузьмин еще замахнулся на способ передачи энергии постоянным током, о котором тогда много говорили. При таком несогласии логичнее подать в отставку. На что он, Кузьмин, рассчитывал? Никто никогда не останавливал начатую стройку. Слишком много специалистов должны были признать свою ошибку. Факты, которые Кузьмин сообщил писателю, были неопровержимы, и тем хуже было для Кузьмина. Спрашивается, о чем он сам раньше думал? Где он был? Нет уж, взялся, так, будь добр, служи честно, тяни до конца и не пой, не жалуйся. Корольков тоже мог бы исхаять свою работу. В загранкомандировках не так уж много хорошего. Ему осточертел душный табачный запах отелей средней руки, с их больничным строем дверей, наглыми швейцарами; бессмысленные приемы, которые устраивали такие же бессмысленные комитеты, где приходилось улыбаться безостановочно, широко, радушно, а ночью от этой улыбки болит лицо и дергаются мышцы рта. А бесчисленные чашки кофе, после которых он мучился изжогой. А заседания, где надо мгновенно отбивать наскоки и выпад, и так трудно сразу найтись, а потом в кровати приходит запоздалый ответ, и от этого ворочаешься, и никакое снотворное не помогает. Давно уже он, приезжая за границу, не ходил по театрам, не искал достопримечательностей, ему надоели шоу, стриптизы, музеи. В свободное время он валялся в гостинице, читал детективы. Но он не плакался, ни перед кем не вытряхивал изнанку своей работы. Але и той не жаловался. Держался, чтобы все завидовали. И Кузьмин сегодня позабавовал — это Корольков чуял безошибочно. Все завидовали, слушая его рассказы о ЮНЕСКО, о знакомствах, жизнь его выглядела яркой, как на цветных фото, которое он любил показывать: Корольков на конгрессе во Флоренции, Корольков в гостях у Бертрана Рассе-

ла — они сидят на террасе старого шотландского дома Расселов, Корольков гуляет по Версальскому парку вместе с известным французским математиком Адамаром. Академики и те с уважением разглядывали эти фото. А вот Кузьмину он не стал их показывать. Побоялся, что ли? От Кузьмина можно было чего угодно ожидать. Но чего бояться Кузьмина? Кто такой Кузьмин? Инженер, каких тьма. Ничего задуманного из его сказки не вышло. Провинциальный неудачник. Опасается нарушить рутину своей жизни, держится за местечко, благо не надо много думать, знай привинчивай и включай — одни и те же хлопоты, одна и та же техника. С какой стороны бояться Кузьмина? Казалось бы, ни с какой, вдуматься, так он на сегодня ничего из себя не представляет. Человек, потерявший веру в себя, хотя и хорохорится, что Королькову видно насквозь. Какого же черта!

Он знал, что ему мешает, он догадывался.

Как незримая преграда.

Со стороны не видно, что ему не дает перешагнуть, только он сам понимал, откуда выползает проклятая неистребимая робость. Из тех студенческих лет, из того вечера, когда Кузьмин притиснул его к холодной стене в подъезде лазаревского дома... И то, что Кузьмин удивился успехам Королькова, уже не радовало. Скорее было оскорбительно! Шло ведь это от институтских лет, когда Королькова всерьез не принимали. Его порой вообще не замечали. На Карельском, в Дюнах, он отстал, потерял ребят, и когда наконец разыскал их, они раскладывали на траве горячую вареную картошку и Кузьмин спросил, не у него ли соль. Никто и не заметил отсутствия Королькова. Беда в том, что он не может этого забыть. Слишком много он помнит.

Ровно крутились бобины магнитофона. Внутри у Королькова тоже раскручивался записанный набор годных на сей случай фраз. Корреспондент следил за лентой, которая требовала больше внимания, чем текст. Обычные вопросы, обычные ответы, грамотно расставленные ударения, без запинок и монотонности, знает, что надо: читать, будто бы не читает, а говорит. Ученый нового типа: уважает чужое время и ценит свое.

Случай с Кузьминым мог, конечно, оживить его выступление. Украсить. Вызвать в некотором роде сенсацию. То, что Кузьмин волнуется, жметесь, — типичное кокетство. Взять и рассказать про Кузьмина — поставить его перед фактом, и никаких кренделей. Потом благодарить будет. В таких случаях чуть столкнуть камешек — и покатится, и загрохочет, и не остановишь.

«Павел Кузьмин, с которым, кстати, мы когда-то вместе учились в институте».

Можно добавить: «Мы рады, что удалось его отыскать».

Или: «Мы рады, что сегодня в конгрессе он участвует вместе с нами... что он предстал как автор...»

Для журналистов это находка, они налетят, специальную передачу закатят. Корольков мог бы представить Кузьмина, прокомментировать. Преподнести происшествие с Кузьминым можно умно и поучительно: человек, в котором уживаются абстрактная наука и производство монтажных работ, сделал открытие и ушел в промышленность, и доволен! Поднять Кузьмина так, что станет он героем! Запросто.

Но почему, спрашивается, он, Корольков, должен делать из него героя, почему он должен возвеличивать его и сам за здорово живешь украшать его перед Алей? Что хорошего сделал ему Кузьмин? Пришел, явился на все готовое, и пожалуйста — все встают, овация, степень на блюдечке! А другие геморрой себе наживали, сидя над кандидатской. И сразу же, не разгибая спины, за докторскую. Молодость всю ухлопали...

Сегодня, конечно, Кузьмину можно присуждать без защиты, ему незачем выпрашивать отзывы, трепетать от замечаний оппонентов, заниматься бесконечными правками, мучительно проводить предзащитные недели, когда ждешь в любую минуту — где-то найдут ошибку, и все рухнет, завалится...

За что это Кузьмину такие привилегии, за какие такие доблести?! Если б не Аля...

У Али свой интерес, и она доведет Кузьмина до дела.

Жаль, что из-за Али нельзя выдать полным текстом Кузьмину, ох и славно бы перешагнуть всякие соображения и с маху выдать им обоим, не выбирая слов, и Кузьмину, и Але. Пусть она слышит...

Он представил себе это живо, так что в горле запершило. Какая сладость хоть на минутку отбросить

высшие соображения, всякую дальновидность, этот проклятый мундир положения, который никак не снять. И ведь дома, с Алей, и то он разучился быть самим собой... С Алей он всегда тоже на цыпочках, Аля — человек железной воли, она могла бы командовать армией, могла подводной лодкой, могла быть послом, министром, вождем африканского племени.

Она любого заставит сделать все, что ей надо. Как бы там Кузьмин ни мудрил, ему не вырваться.

Корреспондент поиграл на клавишах переключателей. Магнитофон заговорил голосом Королькова — звучным, наполненным баритоном. Чувствовалось, что говорит без бумажки компетентный, серьезный ученый. Разве можно было догадаться, что творилось с ним, когда он это говорил? В одном месте он запнулся, вместо «Лаптев» сказал «Лазарев», тут же поправился, но корреспондент сказал, что это легко вырезается. Прекрасное устройство, любые оговорки, ошибки вырезаются и удаляются, остается только нужное, разумное.

— Вы ничего не хотите добавить? — Это голос корреспондента.

— По-моему, достаточно, — ответил тот же звучно уверенный баритон, принадлежащий человеку, которого и Аля могла бы признавать, как делали все остальные.

Она сама его создала и не любила. Он знал это. Хотя она полагала, что он не знает. Она не догадывалась, что он знает. Это было его преимущество, но он никогда не мог использовать его...

V

— Ты счастлива?

У Монетного двора бродили часовые в мокрых блестящих плащах с острыми капюшонами. Площадь перед собором была пуста. Прожектора освещали золотой шпиль и на нем ангела, одиноко летящего сквозь туман.

Ты счастлива?... Откуда пробился этот вопрос, из каких подземных источников, что продолжали струиться меж ними. Какое ему дело — счастлива она или нет. Что ему хотелось бы услышать?

Рука ее в синей перчатке лежала на его согнутой руке... Когда-то с ним что-то похожее было. Они ходили с Алей по Ленинграду, в котором еще не было метро

и телевизионной башни, и телевизоров, кажется, тоже не было...

Когда-то точно так же она прижималась бедром, у нее это получалось само собой. Не мудрено, что он лапал ее не стесняясь, но и она вела себя будь здоров... Глядя со стороны на ее строгое лицо, и в голову не придет... что она умеет так прижиматься и шептать.

Счастлива? Еще бы, сам отвечал он, как все хорошо у нее сложилось... Ему хотелось улестить ее, дать время отсердиться. И он нахваливал ее и Королькова: смотри, как взлетел, какой стал корифей, наверняка это ее рук дело, искательно предполагал он, надо же уметь обнаружить в Королькове такой алмаз!

Наконец-то она усмехнулась. Ей понравилась его догадка. Мало кто знал, сколько ей пришлось помываться и какова ее роль. Корольков не верил в себя, боялся и мечтать о диссертации («Ваша работа, Павлик, да и папа мой тоже добавил»), терпеливо и осторожно она внушала ему, что он способен, что может не хуже других. Не отступаясь ни на один день, она буквально заставляла его писать, действуя и лаской, и угрозами, грозила бросить его, — зачем ей муж, который не имеет положения, не в состоянии пробиться? Наверное, легче было самой сделать диссертацию.

— Неужели и докторскую вытянула ты?

— И докторскую. Могу из него и членкора сделать, если возьмусь, — с вызовом сказала она.

— Но докторская... Это же должен быть серьезный вклад...

— Вклад был... — Голос ее колыхнула чуть слышная улыбка. — Что вы, не знаете, Павлик, как это делается? Направили в докторантуру. Им для ученого совета нужен был доктор. Полагалось. И ставка была. Я говорила: направляют — иди. С кандидатской его тоже подгоняли. У них свой план подготовки. Должен расти. Ассистент должен становиться научным сотрудником. Корольков не рвался. Единственное, чего я добивалась, — чтобы он не противился. Делал, что требуют. Мой Корольков еще лучше некоторых других.

— Представляю. Но при чем тут наука?

— Ах, Павлик, не равняйте на себя, у вас иное дело, у вас талант.

Он молчал.

— А на Королькова вы напрасно, он вырос на своем месте; если б вы знали, сколько он пробил для наших

математиков изданий, командировок по обмену. Это можно лишь с его упорством. У него характер есть, этого от него не отнимешь. Помните, Павлик, как он у нашего дома дежурил?..

Наконец-то из глубин и поверхности сознания всплыла картина осенней набережной, продрогшая фигура Королькова с поднятым воротником. Всякий раз, возвращаясь к Лазаревым, Кузьмин видел маячившего поодаль Королькова. До поздней ночи горе-кавалер бродил под окнами. Над ним смеялись. Аля потешалась откровенно и зло. На Королькова ничего не действовало. Однажды, рассвирепев, Кузьмин прогнал его, тогда Дудка перешел на другую сторону Фонтанки, стал там ходить, мотаясь взад-вперед, вдоль чугунных перил. Он был трус, слабак, зануда, его постная физиономия изображала страдание необыкновенной личности — все это смешило Кузьмина, знавшего, что Дудка бездарен, скучен и не имеет никаких надежд на успех. Все преимущества были на стороне Кузьмина. Тем не менее Дудка иступленно продолжал свою безнадежную борьбу. Иногда, обессилев, он повисал на перилах, тупо глядя в грязную воду. Лазарев боялся, что он утонет. Однажды Кузьмину это надоело. Почему-то вдруг обрыдло, и он уступил. Или отступил?

Постепенно провалы памяти заполнялись клеточка за клеточкой, как в кроссворде.

— ...чего другого, а настойчивости ему хватает. Если им постоянно руководить. У американцев вышла книга «Роль жен в жизни ученых»...

— Что делает любовь, — сказал Кузьмин.

— Любви не было, — сказала Аля. — Был расчет.

— Он же тебя любил?

— Он — да. А мне было не до любви. И глупо было ждать любимого. Кто я была? Разведенка, учителька. Восемьдесят пять раз в месяц, маленький ребенок, жила в одной комнате с больной теткой. Чего мне ждать? Мать-одиночка. Я уже без иллюзий была.

— А Корольков ходил под окнами.

— Примерно так. Во всяком случае, возник и не испугался. Счастлив был, когда я согласилась. Расчет — он умнее любви. И честнее. Любовь с первым моим кончилась пьяными драками да судом. Квартиру потеряла. Нет, для прочного брака любовь не главное. Без нее даже лучше. Я для Королькова старалась, потому что от-

рабатывала, в благодарность. Отплатить хотела.— Она подумала.— Да и должна я себя куда-то тратить.

— А он?

— А ты, а он,— передразнила Аля,— я пошла с вами, Павлик, не для исповеди. Что он, ему прекрасно, он считает, что это и есть любовь. Может, он и прав. Любовь разная бывает. Я столько ему отдала, столько возилась с ним, почти наново сделала, что и самой смотреть — сердце радуется... Так что иногда думаешь... Хотя...

Пауза возникла опасная, зыбкая, как трясина.

Часовые принимали их за любовную парочку: молодые люди, у каждого семья, деться некуда, вот и кружат подальше от людей, в туманном безлюдье крепости.

А ведь могло так и случиться.

Вариант, который еще возможен.

Отлитая, затвердевшая, казалось, навсегда, жизнь податливо размягчилась, позволяя все смять и переделать.

Полосатые тюремные ворота, будки, каблуки по булыжнику...

Тень арки поглотила их и вырезала полукругом Неву, мглистое, высвеченное снизу небо, комендантскую пристань. Волна била в гранит. Холодный ветер гулял по реке. Аля прижалась к Кузьмину. Ему захотелось спуститься к воде...

Прыгнуть на осклизлый камень...

Поднять Алю на руки...

— Как обидно, Павлик, что папа не дожил и не узнал.

Пружинка волос качнулась у ее виска.

— ...такой триумф...

Или уехать сейчас с ней. Пойти на вокзал и уехать.

— Почему вы не хотите? Что вам мешает?

— Ничего не мешает,— сказал он,— да этого мало.

— Что вас останавливает?

— Подумать надо,— примирительно сказал он.

— Чего думать? Завтра вечером заключительное заседание, поэтому сейчас надо решать. Нам надо ведь подготовиться. Боже, да за что вы цепляетесь? В крайнем случае назад всегда вернетесь. Такой-то хомут никуда не денется.

— Алечка, почему вы оба, с вашим ученым супругом, так свысока к моей работе...

— Можете со мною, Павлик, без вашего примитивного мужского самолюбия. Вас никто не посмеет упрек-

нуть, вы не сбегаете, вы возвращаетесь к своему призванию.

— Слишком поздно.

— Там видно будет, сейчас следует использовать ситуацию, завтра на заседании вам надо сказать следующее...

Завтра ему предстоит встреча со следователем. Голубевская бригада кабельщиков по вечерам халтурила на соседнем заводе. Монтировали кабели. Откуда брали материал? Кузьмин объяснил следователю, что, хотя формально материал можно считать казенным, фактически же это бросовая арматура, захороненная в земле. У бригады свое хозяйство, учет там вести невозможно. Следователь, человек бывалый, понял, что стоимость воронок, муфт, гильз — копеечная, кое-что из дефицита стоило подороже, но и это следователя мало занимало. Его интересовало — знали ли мастер, начальник участка про эту халтуру. Кузьмин, выгораживая ребят, сказал, что он и сам знал. И начальство повыше знало. Не именно про этот завод, а что кабельщики и сетевики халтурят. Почему не запрещают эту халтуру? По многим причинам, прежде всего потому, что всякому предприятию позарез нужна подобная халтура, без нее не обойтись, специальной организации, которая бы вела такие работы, нет... Пока следователь писал, высунув кончик языка, он выглядел простаком, но когда он поднимал глаза, оплетенные тонкими морщинами, было ясно, что ему давно известно многое из того, что рассказывает Кузьмин. Когда Кузьмин предложил съездить на завод убедиться, следователь спросил, нужно ли это, Кузьмин настоял, не обратив внимания на его интонацию. По новому цеху их водил заводской энергетик, также привлеченный по этому делу, испуганный, плохо выбритый человек с еле слышным голосом.

В цехе стояли серебристые камеры для каких-то испытаний, сушильные агрегаты, холодильные, сверкала эмаль, никель. Этот цех выглядел как лаборатория, красивая, чистая, тихая и неработающая. Торчали разведенные концы кабелей, обесточенных, невключенных. Появился директор завода. С ходу он набросился на следователя, грозя жаловаться в обком, в Совет Министров. «Вы срываете выполнение госзаказа! — кричал он. — Вы ответите!» Ему надо было немедленно пустить

этот цех. На любых условиях — отдавайте под суд бухгалтера, энергетика, но разрешите кабельщикам кончить работу. Следователь не соглашался, и директор стал сваливать незаконные действия на своего энергетика. Кузьмин не выдержал, вступился — ведь энергетик хотел выручить завод, он выполнял требования начальства. На это директор, считая, что Кузьмин хочет его «вмазать», заявил, что лично он понятия не имел о подобных махинациях, что он никогда ничего подобного бы не позволил.

Поведение директора обескуражило — вместо того чтобы замолвить слово за кабельщиков, директор топил их, а заодно и своих людей, так что от поездки никакой пользы не выходило. Следователь не преминул поставить директора в пример Кузьмину — вот как надо блюсти государственные интересы, а не выгораживать халтурщиков. Однако при этом, как бы невзначай, он справился у директора, почему не обеспечили кабельщиков заводским материалом. Ах, на заводе нет, но почему не запросили министерство? Фондированные материалы? Пока выхлопочешь, год пройдет? Значит, директор все же знал? Значит, у энергетика выхода не было? Или был? Вопросы мелькали быстрые, простенькие, и задавал он их с непонятливо-простодушным видом, и вскоре неизвестно как выяснилось, что кабельщики и энергетик хоть и нарушали, но без них дело бы не продвинулось, а директор, тот как раз не способствовал и сейчас в некотором смысле тормозит, поскольку если со стороны энергетика, как он указывает, есть злоупотребления, то надо заводить настоящее дело... На обратном пути следователь спросил: почему директор себя так ведет? Кузьмин сперва назвал директора трусом, прохиндеем, делягой, но тут же усовестился: директор был заслуженный, прошел огонь и медные трубы, — нет, дело в другом, на его месте, может, и Кузьмин вел бы себя не лучше, потому что держать такой цех под замком никто не может себе позволить... А почему же Кузьмин защищает кабельщиков? Опять же не в силу благородства, разъяснил Кузьмин, а прежде всего потому, что кабельщиков не достать, дефицитная специальность. Вот и приходится цацкаться с ними. Да и выполняют-то они то, что, кроме них, никто не сделает, они действительно выручили завод... Он не стал добавлять, что, как бы их ни наказывать, ничего от этого измениться не может, сами предприятия толкают их на на-

рушения. Не первый раз его кабельщики попадались. Да бригадир Голубев и не таился. Похоже, привык к тому, что их отстоят. Они понимали ситуацию не хуже Кузьмина. Сам он вмешивался в крайнем случае. Было неприятно, что при этом тень подозрений ложилась и на него: «круговая порука», «честь мундира» и тому подобное. «Но кому от этого плохо, государство-то выигрывает?» А ему отвечали: «Государство не может выигрывать, если нарушается закон». К счастью, нынешний следователь избегал общих слов. «Все же придется привлечь бригадира», — как бы советуясь, сказал следователь. «Делайте что хотите». — «Что же вы, отступаетесь?» Он промолчал, но завтра Кузьмин скажет: «А меня это уже не интересует». — «Как так?» — «А вот так, я ухожу». — «Куда?» — «Далеко! Я улетаю от ваших дознаний, от взысканий, от наглеца Голубева, которого следовало бы проучить, от летучек, бесконечных бумажек, от хозактивов, от сметчиков, от новых распредустройств, приписок, отсыревшего кабеля, битых изоляторов, от печали вечерней своей опустелой конторы, — я улетаю, я удаляюсь».

— ...Завтра, — говорила Аля, — завтра...

Завтра он может стать недостижимым, уплыть в иной мир, к иным людям. Вдвигаются паруса, руль поворачивается круче, еще круче...

Камень внизу был мыльно-скользкий, прыгнешь — не удержишься. Прорези окон в крепостных стенах зияли столетней тьмой. Заключенные спали — декабристы, народовольцы, петрашевцы... В Монетном дворе стучали прессы. Готовили ордена и медали. А напротив, через Неву, в саду Мраморного дворца стоял маленький ленинский броневик...

— А Лаптев? — сказал Кузьмин. — Прошу тебя, Лаптева не трогай, не надо.

— Пожалуйста. Я согласна. Я вас понимаю, Павлик. Посмотрим, если он вам поможет... — Она наклонилась к нему. — Но все равно свое он получит. — Глаза ее стыли, холодные и темные, как эта река.

— Тогда я не играю, — сказал Кузьмин. — Нет. Не нужны мне ваши утехы, не пойдет, — повторил он с удовольствием.

Он загадал — удержится или не удержится, но не прыгнул, а спустился с причала на камень, ноги его стали разъезжаться, пока не уперлись в какие-то выступы.

— Зачем мне все это, не нужно, не нуждаюсь! — крикнул он снизу, не то дурачась, не то всерьез.

— Как это глупо, простите меня, Павлик, но другого слова я не нахожу... Пойдемте, здесь ветер.

В темноте арки он взял ее под руку.

— Зачем вы меня мучаете, Павлик?

Он засмеялся.

— Ей-богу, Алечка, неохота.

— Вы боитесь?

— Чего мне бояться?

— Вы, может, сами не понимаете. Вы боитесь отказаться от своего прошлого. Пришлось бы признать, что все было ошибкой. Вся ваша жизнь, со всеми вашими достижениями, все, все... Нет, нет, я уверена, все было достойно и дай бог всякому, но не то. Вам надо сказать себе, что вы жили не так, делали не то, занимались не тем, — это, конечно, грустно. Надо иметь мужество...

— Да почему не то? Откуда тебе знать! — воскликнул Кузьмин, теряя терпение. Голос его взлетел, гулко ударился в кирпичный свод арки.

— Знаю, лучше других знаю! — с нажимом сказала Аля. — У вас, Павлик, был талант. А вы его затоптали. Вы не поверили в себя, — ожесточенно твердила она. — Вам завидовали. Вы же счастливчик! Вам достался божий дар! Другие бы все отдали... Если бы Корольков хоть половину имел... Господи, ведь это наивысший акт природы!.. Вы поймите, Павлик, им всем это недоступно, они в глубине души понимают, что положение у них временное, и у Королькова временное, а талант — это вечное. Талант дает удовлетворение, неизвестное им всем... Ну, хорошо, ошиблись по молодости, прошлого не изменишь, но зачем же оправдывать то, что произошло, только потому, что это прошлое ваше? Ах, Павлик, зрелость наступает, чтобы исправлять ошибки молодости. Судьба дает эту возможность, судьба вознаградила вас, Павлик, и меня тоже, мы с вами наконец дождались...

Раздражала ее выпренность и то, как она прижимала руки к груди. Кузьмин видел, что все это было искренне, и от этого ему становилось еще досаднее.

— Дает, значит, судьба возможность исправиться, да? Образумиться? А он кобенится... А если я ни о чем не жалею? Тогда как? Не раскаиваюсь. И никогда не жалел, моя жалелка на других удивляется,— соврал Кузьмин, но его подмывало выразиться поглубже, да и назло.— Тебя вот жалею. А себя-то за что? Отдельные ошибки, конечно, были, но общая линия совершенно правильная. Я работал, а не языком чесал, как твой Корольков! Твое, между прочим, произведение. На стройплощадке ему красная цена сто тридцать рэ. И будь добр, вкалывай. Ясно, зачем ему пачкаться!

— Корольков, между прочим, лаборантом простым работал, получал девяносто рублей. У нас на такой ставке молодые ребята после университета сидят по многу лет. И не жалуются. Уж ученых в корысти грех упрекать. Вы любому предложите двойную ставку и чтобы вместо научной работы пойти счетоводом, монтером, кем угодно — откажется. О нет, ученые — это особые существа! Самые бескорыстные!

— Сухою корочкою питаются? Как же! Только зачем ему идти монтером? Там давай норму, давай план. Там грязно, шумно, всякие нехорошие слова говорят. Номерок вешай. А у вас чистенько, интеллигентная среда, милые разговоры. Платят меньше, зато под душ не надо. Все, что ни сделаешь, все работаешь на себя, на свою славу. А не хочешь работать — никто не заметит. Вдохновения нет, и все, поди проверь.

— Фу, стыдно слушать от вас, Павлик, такую обывательщину. Не вам бы... Интеллигенцию легко бранить. Они, мол, белоручки, болтуны, они много о себе мнят, они хлюпики, неизвестно за что деньги получают. Наш директор института, он, например, себя считает крестьянином. Это его гордость, обижается, если его называют интеллигентом.

— Скажи своему директору, что крестьянином можно родиться, а интеллигентом нельзя, интеллигент — это не происхождение и не положение, это стремление. Свойственное, между прочим, не только научным работникам. На производстве, к твоему сведению, тоже встречаются интеллигенты... Хотя вы считаете инженера, мастера черной костью...— Кузьмин поднял палец, хотел что-то подчеркнуть, да передумал, вздохнул.— А может, ты права, теперь не тот инженер пошел. Мельчает наша среда, беднеет, сколько-нибудь яркое отсасывают всякие НИИ, КБ, кафедры.

— Только потому, что у нас кейф, безделье? Так вы утешаетесь? А может, они стремятся на передовую? — Кругом было темно, а в зрачках ее горели бешеные огни. — Мы работаем побольше ваших шабашников! Наши головы ни выходных, ни отпуска не имеют. А что касается грязи, так я, к вашему сведению, каждый год весной и осенью в поле, я вот этими руками в колхозе столько картошки убираю, что всем вашим монтерам хватит. Да, да, кандидаты наук, доценты, лауреаты... пропалываем, и гнилье перебираем на овощных базах, и не ноем. У нас бездельников не больше, чем у ваших... Только у нас стащить нечего. Вот наш недостаток...

— Но это же глупо — хаять друг друга.

— Не я начинала.

Они препирались, все более ожесточаясь и опять в последнюю минуту, когда Кузьмин понял бесцельность их схватки, но еще не нашел силы уступить, Аля опередила — мягко и виновато поскребла его руку.

— Вы помните, Павлик:

Чужое сердце — мир чужой, —
И нет к нему пути!
В него и любящей душой
Не можем мы войти...

Он вслушивался в эти стихи, пытаясь продолжить их музыку... Знал ли он их когда-то? Читал ей наизусть, или она ему читала?

— ...Вы, Павлик, могли себя чувствовать счастливым, пока не знали... Теперь же, когда есть уравнение Кузьмина... Оно будет существовать независимо от вас. В этом отличие науки. А кто устанавливал выключатели... не все ли равно, никого это не интересует...

Положим, случись что, и весьма даже будут интересоваться. Поднимут документацию.

Она не понимает, что совсем это не все равно, кто устанавливал, кто монтировал. Вот муфты акимовские, кабель акимовский... Этого Акимова он застал уже в самые последние месяцы перед смертью: маленький, с перекосенным от пареза страшноватым лицом, на котором успокаивающе светились голубенькие добрые глаза. Кабель, проложенный Акимовым, муфты, смонтированные Акимовым, славились надежностью. При аварии смотрят по документам, кто делал муфту; сколько лет,

как Акимов умер, а до сих пор всем известно: если муфта его — можно ручаться, что авария не в муфте. Даже сделанное им в блокаду стоит и работает. Десять лет пройдет, двадцать, и по-прежнему имя его будет жить в уважении. Вот тебе и загробная жизнь.

Но вообще-то...

В Горьком Кузьмина не хотели пускать в цех автоматов, который он монтировал. Никто тут не знал, не помнил, как монтажники там ползали под крышей, по чертовым ходам-переходам, волоча кабель, двести сорок квадрат, а попробуй обведи его нужным радиусом между балками, покорячишься, пока управишься с этой жесткой виниловой изоляцией, только через плечо ее угнешь. Как у него кружилась голова от тридцатиметровой высоты, с детства у него был страх высоты... «Что вам надо? — спросил по телефону начальник цеха. — Посмотреть? Чего смотреть?» Разве объяснишь. И не доказать было, что именно он монтировал цех, никаких справок не дается... Потом, когда его наконец пропустили, он обнаружил, что цех уже не тот, аппаратуру заменили, поставили новые моторы, только крановое хозяйство осталось, на той же тридцатиметровой отметке.

Сколько было таких цехов... А в самом деле — сколько? Он даже приостановился. Штук двадцать наберется, плюс еще подстанции, распредустройства, пульты... Нет, нет, не так уж плохо это выглядит. Если еще нынешний объект вытолкнуть, то, считай, второй завод целиком...

— ...Что вы, Павлик, из-за того, что Корольков вам не так сказал, из-за этого вы закусили удила?

— Он сказал совершенно точно. Сказал то, что не принято говорить, но все думают: *«Ни на что другое не способен»*.

— Обиделись?

— Нисколько. Я-то способен. Какая тут обида, ты не поняла...

Такое словами не передать. Это пережить надо, когда с нуля начинаешь. Все твое в пустом, чистом, пахнущем известью, краской зале. Ну, не совсем все. Машины, железо устанавливают другие. Но сила, то

есть энергия, свет, тепло, движение — это твое. Перво-основа. Азбука. Потом можешь читать что угодно, но вначале кто-то должен выучить тебя азбуке. Об этом первом учителе забывают. У монтажника работа незаметная. Своего монтажники ничего не делают. Они готовое ставят на место. Исправляют чужие ошибки: проектировщиков, строителей, поставщиков. Позавчера хватились — щиты покореженные. Кому приводить в порядок? Монтажникам. Заказчик плохо хранил реле — монтажники очищают ржавчину, окислы, дряют, заменяют контакты. Работяги прекрасно знают, что они не обязаны. И в зарплате теряют, и не выведешь им. Чего проще: не годится реле — гони другое. Не дадите — стоим. Постоим, постоим — уйдем на другой объект. Но почему-то никогда этого права своего не удавалось осуществить! И работяги — эти шабашники, эти халтурщики, эти рвачи, молотки, эти хваты, которые умели качать права будь здоров, — помалкивали, чистили щиты от краски, исправляли реле... Понимали: они не сделают — все остановится, все сроки, планы полетят...

— ...ежедневно я необходим. Без меня не обойтись. И ежедневно есть результат. Видно, сколько сделано. Не отвлеченные цифры, не научные отчеты, что гниют потом годами. Не проекты. И даже, скажу тебе, не то что на заводе: собираешь мотор, толком неизвестно, куда, для чего. А тут все понятно. Любому. Мы последняя инстанция. Финиш для каждой катушечки. Кончили — и пуск. И все заработало, закрутилось...

Нужен он, это точно, ничего не скажешь. Ежечасно. Для всяких okazji. Редко для хорошего. С утра сегодня — агрегат в последнюю минуту перед пуском сменили, и подводка оказалась не на месте. Нарастивать надо, а как ее нарастишь? Места нет, и шкафы силовые не вписываются. Куда их ставить? Подать сюда Кузьмина, пусть изобретает, пусть придумывает, он начальник, он голова...

— ...Но это по мне. По мне... А у вас... Столько лет обходились без меня, и обойдутся. Я не хочу зависеть от

своего таланта. Нет у меня таланта...— повторил он, с интересом прислушиваясь к своим словам. Как будто нацелился и выстрелил, ударил снарядом в свой сказочный мраморный город, с тихими улицами, высокими библиотечными залами, с памятниками, мемориальными досками, золотом по белому мрамору... Взрыв, дым, поднимается белая пыль над руинами. Обломки. Развалины. Колонны Парфенона, камни дворца Диоклетиана в Сплите...

— Если бы ты видела, какую я капусту вырастил, ты бы не стала меня уговаривать.

— Какая капуста?— сухо сказала Аля.— При чем тут капуста?

— Так ответил Диоклетиан, экс-император, когда римские кесари уговаривали его вернуться к власти,— улыбаясь, он смотрел в темное небо.— Слыхала про такую историю?

Ему хотелось уязвить ее, пробить ее высокомерие, ее отвратительную уверенность.

— Почему ты знаешь, что мне надо? Кем я должен быть, по-твоему? Откуда тебе это известно? Ну да, тебе все известно, ты знаешь, как лучше жить... Почему ты не слушаешь, что я тебе говорю?

— Потому что я не верю вам, не верю.— Она, поддразнивая, засматривала ему в лицо.— Ни одному слову не верю, все это притворство, все это мысли, взятые напрокат. Римский император — это же пижонство, это не пример.

— Но почему ты не веришь? Странно... Какая мне корысть притворяться? У меня не будет второй жизни, чтобы говорить правду. И неизвестно, когда мы встретимся еще...

При свете фонаря он увидел, как она съежилась.

— Это... зачем... Какой вы жестокий... Опять вы делаете ужасную ошибку...

Он был доволен, хотя не понимал, что ее так подшибло.

— ...Может, у вас, Павлик, какая-то перспектива? Какие-то планы? На что вы надеетесь?— настаивала она, в отчаянии недоумевая, почему он не раскаивается, почему не приходит в ужас, узнав, что всю жизнь занимался не своим делом, что потерял ее, ибо она была неотделима от его великих деяний.

«Не хочу»,— отвечал он. «А я выше этого». «Все это уже было». «Пойми, мне неинтересно». Все эти ответы

ничего не разъясняли. Поведение его выглядело загадочно. Или нелепо. Хуже всего, что от Алиной настойчивости решимость его возрастала. Он ничего не мог поделать с собой. Голос его звучал убежденно, как будто много лет Кузьмин готовился к этому часу, к этому отпору.

— Помните, Павлик, вы уверяли меня, что перевернете горы? Где эти горы?

Наверняка он так говорил. Горы!.. Ах, чудак! Простые наконецники, которые он предложил десять лет назад, и те еще осваивают. Сейчас он мечтает изготавливать контакторы, маленькие, подобно японским, легкие и надежные, — вот какие у него остались горы, совсем не те голубые, сверкающие ледниками исполины, что виделись молодому Кузьмину на горизонте его жизни.

Слова Али все же причиняли боль. Не ту, какой она добивалась, но боль.

Аля судила его, каким знала его тогда. То есть не его, а того мальчишку, за то, что он не совпадает, не поступает так, как должен был бы поступать...

Они вышли к стоянке такси. Машин не было, и людей не было, и не было где укрыться от ветра и мороси.

Он заслонял Алю, она стояла неподатливо прямо. Кузьмин обнял ее за плечи, мягко прижал к себе, и она вдруг охватила его за шею, зацеловала его часто, быстро обегая теплыми губами его лицо.

— Павлик, если б вы знали, Павлик, кем вы были для меня все эти годы. Вы всегда присутствовали. Папа перед смертью тоже просил, чтобы я помогла вам. Я знаю, я недостойна, но я втайне верила, честное слово, я так ждала, что этот день придет...

Слова ее ударялись в его щеку, уходили вглубь сотрясением, болью. Было чувство полной власти над этой женщиной — как будто на миг она лишилась судьбы и очутилась на границе между привычным и неизвестным. Она жаждала самопожертвования, достаточно было одного движения, одного слова.

— ...Мне от вас ничего не нужно, Павлик, не бойтесь, я не покушаюсь... Стыдно, что я так надеялась...

— На что?

— ...И ничего не могу найти из того, что оставила.

— Но это же смешно, Аля, я не могу отвечать за твои детские фантазии.

— Вот именно — фантазии. Как просто вы разделились, Павлик.

— Посмотри: я другой, совсем другой человек. Того уже нет, как ты не можешь этого понять. И Корольков другой, и Лаптев, мы все стали другие, не хуже, не лучше, а другие. Это получается незаметно...

«Пришла моя пора, пришла моя пора,— подумал он,— меняется всего одна буква...»

— Почему же, я поняла. Вы, Павлик, всегда были другой. Не тот, за кого вас принимали. Вы оказались куда меньше своего таланта,— при этом она не отстранилась, она продолжала все тем же ласково-льнущим голосом, только плечи ее закаменели.— Не тому было отпущено. Ошиблись. И я ошиблась, я любила... ах, Павлик, если б вы знали, кого я любила все эти годы. Какой он был, ваш тезка... Талант у вас, Павлик, не стал призванием, вы нисколько не пожертвовали ради него. Вы доказали, что талант — это излишество, ненужный отросток. Избавились и счастливы. Все было правильно. За одним только исключением, Павлик: будущее ваше — оно позади. У вас впереди не остается ничего. Но это мелочь. Вы прекрасно обойдетесь своей капустой. Вместо будущего у вас перспективный план по капусте.— Она отстранилась и посмотрела на него, обнажив в улыбке белые чистые свои зубы.— Не надо делать такое лицо, ничего, ничего, переключите свою злость на производственные показатели...

Никакой злости он не чувствовал. Сырая одежда тяжело навалилась на плечи, тянула его к земле. Он закрыл глаза, асфальт мягко качнулся под ногами. Площадь могла опрокинуться на него вместе с фонарями, газонами и гранитным парапетом. Он крепко взял Алю под руку.

— Со мною надо постепенно...— сказал он, но слова были горькие, связывали рот, и Кузьмин замолчал.

Такси не было. Время тянулось без звуков, движения, тусклая пелена тумана поглощала все. Где-то неслышно, как стрелки часов, ползли тени машин, взбираясь на мост.

Какими извилистыми путями жизнь вывела его к этому вечеру. Он стоял на развилке судьбы. Аля, Лазарев, Корольков... Замкнулось в кольцо то, что он считал незначущим эпизодом своей юности, навсегда смытым, стертым... Ан нет, давние, казалось бы, случайные

слова, встречи — все они жили, дожидаясь своего часа, разрослись...

— Что, по-твоему, выше, — вдруг спросил он, — жизнь или судьба?

Она равнодушно пожала плечами.

— Жизнь выше, — сам себе ответил Кузьмин.

— Вы что же, Павлик, окончательно простили Лаптева? — спросила Аля.

— Я его даже поблагодарил. Думаю, что так будет лучше.

— Кому лучше?

— Всем, нам всем, и тебе тоже, — предостерегающе сказал он. — Твой отец, несмотря ни на что, чтит Лаптева, он сам говорил мне.

Ничего подобного Лазарев не говорил. Но какое это имело значение? Не стоило Але копаться в прошлом, во всяком случае ни к чему ей сталкиваться с Лаптевым. Ради отца и ради Лаптева. Потому что Лаптев в этом вопросе фанатик, он может зайтись и не пощадить ее чувств к отцу, и оба они затерзают друг друга. Ложь, правда — когда-то это было так ясно: ложь — дурно, правда — хорошо, всякая правда хороша, правда не может повредить, ложь не может быть оправдана. С годами судить людей стало труднее. Все перепуталось. А судить надо было. Он понимал одно — с демонами прошлого надо обращаться крайне осторожно.

Зайдя в номер, Аля скинула намокшие туфли, привела себя в порядок, надела лодочки, припудрилась и, как было условлено, спустилась в бар, где сидел Корольков с французскими гостями.

Привычные эти действия, привычная обстановка несколько успокоили ее. Французы шумно обрадовались ей, принесли коктейль, она выпила и даже закурила. За столиком обсуждали математиков Бурбаки, потом сравнивали красоту законов Эйлера и Гаусса, смеялись над шуточками Несвицкого. Он, щеголяя своим прононсом, расчесывал бородку, наслаждался всей этой французскостью.

Улучив минуту, Корольков вопросительно посмотрел на Алю, она ответила коротко, так, что он один понял. «Чудак», — определил он, повеселев, и стал показывать французам свои фотографии.

Если бы она могла вот так же легко и пренебрежительно поставить точку. Сырость и холод медленно покидали ее тело.

Какая-то женщина издали смотрела на нее взглядом, полным зависти. Аля увидела себя ее глазами: со вкусом одетая, окруженная интересными иностранцами, весельем... В молодости она сама завидовала таким женщинам, одетым в чернобурки, с генералами под руку.

Коктейль был густой, крепкий. Аля пила мелкими глотками и ждала, пока внутри отойдет. Общее внимание, милые эти приветливые люди должны были возбудить хорошее настроение. Отлаженный механизм такого настроения обычно заводился легко, однако сегодня что-то не срабатывало. Время шло, а она никак не могла включиться в разговор и видела этих людей отстраненно, как на сцене.

Ее сосед француз улыбнулся ей и под столом положил ей руку на колено. Она не удивилась, она смотрела на него и старалась понять, где же она ошиблась в разговоре с Кузьминым, на каком повороте. Поначалу реагировал Кузьмин вполне нормально, строил разные планы и радовался...

Француз считался одним из светил, за ним всячески ухаживали, но Королькову единственному удалось наладить с ним отношения. Корольков умел становиться нужным. Француз был развязен и бесцеремонен и наверняка полагал, что ей лестно такое внимание...

Неужто Кузьмин думал, что она хочет вернуться к тому, что было? Пожалуй, думал. И струхнул. Бедняга, он не понимал, что все давно кончилось. Женщина не может любить второй раз того, с кем рассталась. А может быть, она причинила ему боль? Может, ему что-то показалось? Она любила в нем первую свою любовь, не больше.

Корольков слушал французa, по-детски округлив глаза, замерев. Что-то он напоминал Але, его немигающий с металлическим холодком взгляд, сморщенная наготове к улыбке переносица. Не саму ли ее, Алю? А что, если она стала похожа на него, как становятся схожи с годами супруги? Подозрительно она вглядывалась в его лицо. Ужасно, если со временем она тоже станет вот так мелко кивать, искательно заглядывать в лицо собеседнику. И губы ее обвиснут. Корольков внезапно стал ей противен. «Что же это такое, за что я должна

стать похожей на него?» Неотвратимость этого приводила ее в бешенство.

Неизвестно почему, мысль ее перекинулась на Надю, то есть можно объяснить почему, но Аля ни за что не стала бы объяснять, она думала о том, правильно ли она сделала, ничего не спросив про Надю, хотя Кузьмин ждал ее расспросов. Что-то ее удержало. Что же это было? Вроде следовало бы намекнуть, каким героем он предстанет перед своими домочадцами. Мужчина прежде всего рад возвыситься в глазах жены. Однако и сам Кузьмин не подумал о семейном честолюбии. И Аля не стала... Не потому ли, что Надя тогда первая уговаривала его выкинуть из головы «лазаревщину». Это она настояла уехать на Север, изображала из себя спасительницу, вылечила, мол, его от губительной страсти. Недаром он скрывал от нее, что останавливался у Лазаревых. С некоторым злорадством Аля вообразила, как Надя примет новость. Оказывается, она не спасла, а загубила талант своего мужа, увела от подлинного назначения. Из-за нее он потерял себя. Всю жизнь его пустила под откос. От такой вины можно руки на себя наложить.

Что же, Кузьмина остановила вот эта боязнь огорчить жену?

Какая заботливость... Аля даже усмехнулась, вспомнила Надю, которая была старше ее на четыре года, низкорослую, с большим круглым плоским лицом, ноги грубоватые...

Неприятный ее взгляд смутил француза. Он убрал руку и сказал авторитетно:

— Одним людям кроме таланта нужен еще и покой, другим — успех у женщин, каждому чего-то не хватает.

Разговоры о таланте были привычны. Она росла в доме, где постоянно обсуждали чьи-то способности, где жгучая зависть к таланту не давала покоя отцу, швыряла его от ненависти к истерическим восторгам, талант считался решающей меркой каждого человека, открытие было оправданием любой жизни. Отец скорбел о том, что дьяволов и чертей истребили и некому запродать свою душу в обмен на талант, он и вправду готов был бы на такую сделку, ни минуты бы не сомневался. Он с силой дергал короткие свои седые лохмы, и Аля пугалась, понимая, что никого, даже ее, отец не пощадил бы, чтобы достигнуть какого-то открытия: ей вспомнилось (наверное, из-за слов Кузьмина), как отец неохотно, прямо-таки корчась, признавал, что Лаптев

настоящий, не маргариновый профессор, при этом нос его бледнел и пальцы скрючивались.

Тайный счет, кто сколько стоит, вел даже Корольков, который обожал звания, должности, списки трудов, но при этом оказывал предпочтение, где только мог, «настоящим», опекал молодых гениев, того же Нурматова, какого-то Зубаткина.

Если бы Кузьмин отказался от должности, скажем от кафедры, от профессорства, это еще можно объяснить. Но то, что он, в сущности, отверг талант, то есть призвание его таланта, это оскорбляло ее. При чем тут Надя, разве смогла бы Надя перевесить свалившийся на Кузьмина ни за что ни про что неслыханный подарок? Нет, тут таилось что-то другое, была у него какая-то тайна, какой-то иной, скрытый от нее смысл руководил им.

А может, Корольков прав: глуп Кузьмин, и ничего больше.

И в голову не могло ей прийти, что усилия ее кончатся провалом. Как ни верти, дело-то было верное, как дважды два. Ничего другого, кроме похвалы да спасибо, не ждала, и дальше все железно сцеплялось — Лаптев будет посрамлен, отец оправдан, а там пойдет, покатится по колеям, своим ходом.

Слава богу, на доводы она не скупилась, со всех сторон заходила, Кузьмин же, как на невидимом поводке, шел, шел — и вдруг на дыбы и ни с места. Уперся в дурацком своем решении, хоть тресни. Ничем не взять. А ведь она умела своего добиваться, с мужиками особенно. Мужика на чем-то обязательно можно если не купить, так уломать, упросить. Сильные мужчины — это легенда, по крайней мере ей не попадались такие, сильные мужчины — девичий миф, сладкая мечта. Может, когда-то они существовали, но лично она убедилась, что мужчины охотнее подчиняются, чем верховодят, что, несмотря на их грозный вид и громкие слова, они слабы душою, они обидчивы, они упрямятся по мелочам, ими так легко управлять, они нуждаются в беспрестанной поддержке, в самоутверждении, в похвалах. И вовсе они не умны, и мужественность свою любят доказывать выпивкой, ругательствами или же гоняют на машине, как когда-то гоняли на лошадях...

У Кузьмина она натолкнулась на силу, с которой никак было не справиться. Не обойти, не перехитрить,

все ее подступы не помогали, и она почувствовала себя слабой, беспомощной.

В гостинице, когда они распрощались и Кузьмин спускался по лестнице, она следила за ним сверху. Голова его поднялась, плечи раздвинулись, словно тяжесть какую сбросил, словно поднимался, взмывал, большой, свободный. Уходил на волю. Словно бы победитель.

Уязвило это ее чрезвычайно, но сейчас, стыдно признаться, смотрела она на этих французов с вызовом — никто из них не сумел бы так играючи перешагнуть, отринуть... И ведь не опомнится, не прибежит назад...

Французы ухватились бы руками и зубами, поведение Кузьмина сочли бы вздором, нелепицей. Они презирали нелепые поступки. Да и Корольков, и она сама не умели совершать ничего нелепого, они всегда спрашивали себя: зачем? для чего? что это дает? И Кузьмина она сейчас судит по принципу «зачем».

Они все были разумные люди, знали, чего хотели, с ними было ясно и легко. Например, сейчас они жаловались, что ученых у них ценят по количеству печатных работ: чем больше, тем, значит, ученее. Аля им сочувствовала, потому что и у нас творилось подобное. И ее все поняли, когда она сказала, что наряду с наукой растет ее тень — «научность». Получилось уместно и ловко, и все засмеялись, а Корольков с гордостью, и у Али в груди потеплело. Она была среди своих, милых ее сердцу людей. Мыслящих, преданных науке. Надо было знать их братство, чтобы любить их. Постороннему они казались чужаками, вздорными, тщеславными, а ведь все начиналось с них, они отдавали науке самое дорогое — мозг, математика требовала все силы их ума, души, и навсегда. Зато существование их в каждую часть времени было насыщено... Когда-нибудь Кузьмин поймет, чего он лишился. И не то что когда-нибудь, а отныне он постоянно будет сравнивать... Нехорошо он поступил. Какие бы высокие мотивы он ни приводил, фактически он предал своего учителя. Никуда от этого ему не деться. Отрекся. Неблагодарный, бездушный, ограниченный человек. Бездуховный — вот верное слово, бездуховный. Из-за этого он такой чужой...

Она залпом допила коктейль, показала глазами Королькову, что он может оставаться, сколько ему надо.

В двухкомнатном люксе ее обступила ковровая тишина и тот прочный уют, какой исходит от старинной тяжелой мебели. С бронзовыми накладками, с мраморными досками. Горел не торшер, а массивная медная лампа под зеленым абажуром. Лампа была из детства, и шелковые шторы с бахромой тоже оттуда. Аля разделась, накинула халатик, прошла босиком по толстому ковру. Из окна была видна мокрая улица, заставленная машинами, напротив — книжный магазин с высокой железной лестницей, раньше тут был продуктовый, и они с Кузьминым за высокими круглыми столиками пили кофе. Кузьмин угощал ее — граненый стакан кофе и булочка с изюмом. Рядом с магазином — кассы Филармонии, дальше, в тумане, темнел памятник Пушкину, окруженный голыми деревьями сквера.

Мне все здесь
На память
Приводит бывшее.

Ей захотелось прочесть себе стихи Пушкина, печальные и тягучие, с мерцающим смыслом, от которого всегда сжимается сердце. На память не приходило ничего, кроме отрывков оперных арий. Она не поверила себе, она ведь хорошо знала Пушкина.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний...

А дальше забыла, пусто, какие-то обрывки без конца и начала. Все куда-то провалилось. Как же это так, испугалась она, почему?.. Отец лежал обложенный подушками, а она вечерами читала ему стихи, он повторял отдельные строки, и оба они вздыхали, открывая вдруг секрет иного значения этих простых слов.

Щеки, шею ее защекотало, она почувствовала, как жжет глаза, и, поняв, что это слезы, заплакала сильнее. Она плакала, горько и сладостно всхлипывая. Перед ней с обидным откровением открылась простая старенькая истина: времени не воротишь. И прошлого не повторить. Вроде бы все повторилось — и эта улица, и Кузьмин, и она, Аля, а прошлого нет, никак его не составить. Печальные стога зябнут на скошенных полях. Стога сухого сена, что было недавно цветущим лугом.

Нельзя ни на один миг вернуть те вечера с отцом, сесть в ту качалку, нельзя было снова очутиться в той осени с Павликом Кузьминым, нельзя никаким образом

передать отцу, что мечта его сбылась, хотя и не совсем, но что он был прав, прав...

Почему нельзя ничего вернуть, если она, Аля, та же? Почему так несправедливо устроено, так бессовестно? Зачем же все это было? Зачем сохранились чувства? — вытирая глаза, спрашивала она. — Есть ли какой-то смысл в том, что было и что сейчас ожило и снова исчезло?.. Для чего оно появлялось?

Ей вдруг подумалось, как неправильно она живет, что хорошо было бы:

...чтобы он возвращался, грузный, усталый, долго мылся в ванной, садился за стол и много ел.

...чтобы от него пахло железом, горелой изоляцией.

...чтобы он брал ребят с собою, показывал им свои подстанции, всякие машины, и в комнатах валялись бы провода, магнитики, катушки.

...чтобы все в доме беспокоились за план, аварии, премиальные.

...работать в школе учительницей.

...ехать за ним в Заполярье. Возиться с этими фундаментами на вечной мерзлоте.

Она готова была бросить все, и знала, что способна на это.

И знала, что приятно так воображать, потому что на самом деле все останется как было.

И Кузьмин тоже ничего своего привычного не в состоянии бросить. Они одинаково приговорены.

Разница в том, что, очевидно, он имеет нечто большее. Для него существовали какие-то соображения, которые были ему дороже, чем успех, дороже даже, чем талант. Какой-то был у него тайник, преимущество, секрет...

Постукивая кончиками пальцев, она наносила под глаза ночной крем. И вокруг рта. Новый французский крем. Душистый, пахнущий мятой. В полутьме зеркала лицо ее выпукло заблестело, спокойное, словно отлитое из металла. Она сама не могла бы ничего прочесть по своему лицу. В зеркале отражалась полнеющая женщина с еще красивой грудью, с длинными крепкими ногами, складки на загорелом животе не портили ее фигуры, и талия у нее сохранилась. Она придирчиво разглядывала себя, проверяя, как она выглядела перед Кузьминым. Она должна была ему понравиться. Заплаканные

глаза тоже шли ей, жаль, что Кузьмин не видел ее такой. Может, она была слишком уверенной в себе, весьма довольная собой супруга Королькова, занятая украшением своей биографии. Самолюбие его и выиграло, не хотел предстать неудачником, вот в чем фокус, именно перед ней, перед женщиной, которую он упустил, а теперь увидел во всей красе. Теперь приходится изображать, напускать спесь, — мужчины думают, что они сохраняют этим мужское достоинство.

Не упустил, а уступил, и теперь досадно, с досады и уперся.

Утешительная ее версия была сомнительна, зато приятна.

Аля легла, вытянулась между свежими простынями. Та женщина в зеркале еще стояла перед ее глазами, запомнилась, словно встречная незнакомка. Значит, все видят ее именно такой, но ведь это была совсем не та, что существовала внутри, перед умственным ее взором, слабая, одинокая, чего-то ждущая...

Смутные надежды, связанные с Кузьминым, долгое ожидание этого дня — все чувства, которые составляли не известную никому часть ее жизни, только ей принадлежащей, — кончились. Она должна была стать такой, как та, встречная незнакомка в зеркале. Вернуться. О, она отчетливо сознавала все выгоды жизни той незнакомки.

Комфорт этого номера, гостиничный быт, когда завтра не надо ничего готовить, прибирать. Имелось множество утешений. Утром она позвонит своему двоюродному брату, следователю, пусть посоветует, как действовать насчет отца, чтобы восстановить его имя, авторитет. Намеки Кузьмина — пустое, Лаптев чего-нибудь натрубил, все они не любили отца. Недаром он оказался прозорливей всех. За это и травили его. Провидцев боятся. Они чувствовали его дар, завидовали...

Добиваться справедливости придется самой. Рассчитывать на Кузьмина не приходилось. Одинокая это будет и долгая борьба за правду об отце. Ну что ж, не привыкать, она боец, она сильная, как нахваливал ее Корольков.

Если бы кто знал, как надоело ей быть сильной, добиваться своего, побеждать. Не хочет она побеждать, чего-то достигать, рассчитывать, предвидеть. Опять жить будущим. Она всегда жила либо прошлым, либо будущим. А существовало еще и настоящее. Не корот-

кий миг, а долгое сейчас, с которым она плыла сквозь этот родной ленинградский туман, в котором были эти жгучие, еще не утихшие слезы.

Завтра, в деловом, говорливом телефонном дне, все это исчезнет. Она сама не поверит, что плакала. Это уже исчезает, не удержать этой тоски, этих сомнений в правоте своей жизни. Было жаль, что она не может побыть еще вот такой же слабой, плачущей, чтобы не находить утешения, печалиться, почувствовать себя несчастной. Приоткроется ли еще когда-нибудь перед ней грусть накошенных стогов времени?

Слишком поздно, подумала она, слишком поздно, чтобы быть несчастной.

Медные светильники пылали, как факелы. Лестница спускалась полого, торжественно. Где-то с площадки Аля смотрела вслед. Кузьмин еще мог вернуться. Ковровая дорожка, зажатая бронзовыми прутьями, падала со ступеньки на ступеньку, каждая ступень была как обрыв, как удар топора. Рубились якорные канаты, скрепы, тросы...

Император Диоклетиан покидал свой престол. Внизу застыли воины, склонив железные копья, у подножия стояли центурионы с белыми лентами, в начищенных панцирях. Его гвардия, где он начинал простым солдатом, прощалась с императором. Диоклетиан отрекался от власти над огромной империей, которую оставлял в зените ее могущества. Пурпурная мантия еще висела на его могучем плече, и диадема — символ властителя империи — сияла на лбу. Он покидал дворец. Он распрощался с преторами, жрецами, авгурами, генералами, префектами, со своими ставленниками Максимилианом, Констанцием и третьим... как его звали? Ах, да, Галерий, с гладким и нежным лицом, похожий на Алю. Кесарь Галерий был огорчен его решением больше других, а ведь Галерию он учинил немало позора, когда заставил его бежать целую милю за своей колесницей. И вот теперь Галерий стоял, кусая губы, не понимая, что случилось, почему император отрекается. Никто не понимал. Болезнь его прошла. Император выздоровел, он был богат, римляне восторженно приветствовали его на улицах, и тем не менее он удалялся. Он уплывал куда-то в жалкую провинцию на берег Адриатического моря. Что намерен искать он там, вдали от великого Рима?

Для этих сенаторов, трибунов, властолюбцев, политиков, заговорщиков, — для них ничего не значили изъяснения старого философа: не ищи себя нигде, кроме как в себе самом.

Всякие слабаки, нищие, умники и неудачные полководцы придумали это себе в утешение, вместо того чтобы искать славы и власти.

Реальны только власть, деньги и слава. Но власть важнее денег и славы. Диоклетиан отказывался от наивысшей власти. Он так ничего и не разъяснил.

Диоклетиан уходил, он удалялся, не добиваясь, чтобы его поняли.

Ночью, среди подсвеченных развалин императорского дворца в Сплите, Кузьмин рассказывал Наде про добровольное отречение Диоклетиана. Кузьмин забрался по каменной кладке на теплые ноздреватые выступы аркад и громовым голосом бросал вызов богам. Лестница людской славы для императора кончилась. Он достиг высшей ступени. Дальше было небо. Он швырнул свою диадему в сонм богов.

«Получайте. Я достиг, по-вашему, всего, но есть больше, чем власть императора, — это презрение к власти!»

...Внизу, на площади, сидели парочки за столиками кафе, брэнчала гитара, на рейде мигали огнями корабли польской эскадры, вспыхивал маяк...

Кесари прибыли во дворец уговаривать Диоклетиана вернуться в Рим. А он в ответ повел их в огород показать капусту, которую он выращивал! Кесари молчали. Презрение Диоклетиана оскорбляло их своей беспричинностью...

Надя смеялась, они вернулись на пароход поздно ночью и долго еще стояли на палубе.

Ему нравилась история Рима накануне падения, история России Ивана Грозного, периоды решающие и загадочные. История привлекала его неточностью. Там был простор домыслу.

Они карабкались по скалам, у Нади ноги еще были здоровые. Адриатика доводила ее до слез своей синевой, берегами...

Лифт, как назло, не работал. Опираясь на железные перила, Кузьмин устало поднимался вместе с императором на пятый этаж. Лестница сборного железобетона

гудела под их ногами. Пахло из люков мусоропровода, да еще из ведер для пищевых отходов. Какого черта ты покинул свою империю, Диоклетиан, что тебя ждет?

Ведь не хотел же ты начать сызнова. Восхождение не терпит срывов. Нет, тут что-то другое. Диоклетиан променял свою власть на... На что? Что он получил взамен? В истории цезарей, королей, тиранов редчайший, беспримерный поступок. И никаких объяснений.

В передней они скинули обувь и почувствовали, как отсырели ноги. Тапочек, конечно, на месте не было. Так и живем, дружище император. Ребята спали, Надя, наверное, тоже уснула, и никому не было до них дела. Никто не станет славить твоего отречения, Диоклетиан, бывший властелин, исключенный отныне из истории Древнего Рима... А может, наоборот, может он выделился из всех императоров, цезарей и прочих владельцев власти и навечно озадачил всех... Но что, если ничего он не хотел — ни озадачивать, ни получать взамен?..

Они развесили набрякшую влагой одежду, пустили горячую воду, заплескались в ванной, смывая с себя промозглость и чад ушедшего дня. Кузьмин докрасна растерся полотенцем, мысли его вернулись к следователю: надо бы рассказать ему про дальневосточную историю, когда этот прощелыга Голубев вкалывал со своими ребятами без роздыха, без жилья, в мороз, на голых сопках неделю, больше — полторы. Если бы он сумел изобразить следователю скрюченные, исковерканные металлические опоры, одну за другой по распадам и вершинам сопки, — страшная картина, которую они увидели впервые в жизни. Ночью оборвалась линия передачи, одна, затем вторая. Города и поселки побережья остались без энергии. Под утро с вертолета Кузьмин увидел масштаб аварии. Гололед рвал тросы, сминал могучие стальные конструкции опор, сворачивал, скручивал их, словно проволочные игрушки. Кое-где высились уцелевшие мачты — обросшие льдом белые башни. Ничего подобного Кузьмин не представлял себе. А кругом тянулись мрачные черные сопки, поросшие бамбуком и стлаником. Гусеничные трактора, между прочим, и те не могли из-за этого бамбука взбираться на сопки, скользили вниз. В городах прекратилось отопление, лопались трубы, остались без света больницы, погасли печи хлебопекарен. Бедствие разрасталось. Партийные организации мобилизовали все средства, бросили в помощь моряков, учащихся, все передавалось в распоря-

жение энергетиков. Как они работали!.. Как этот самый Голубев таскал на себе изоляторы, взбирался на четвереньках на сопку, волоча тяжелые фарфоровые тарелки... Ребята Кузьмина были там приезжие, командированные на монтаж линий к рыбозаводу. Они не знали ни этих поселков, ни городов, сидевших без света, никто не знал и их в этом краю. Когда аврал кончился, выяснилось, что некому оплачивать им за эти авральные дни, за неслыханную работу... И ведь никто и не шумел по этому поводу. А Голубев сказал: вот это и есть, ребята, потрудиться на благо родины в чистом виде! Вроде бы не всерьез сказал, но, когда Кузьмин выхлопотал им деньги, показалось, что они чуть разочарованы тем, что ту работу перевели на сверхурочные, аккордные, словом на обычные рублики. Сейчас звенья тех дней слились, и остались, и, видно, уж до конца останутся только заключительные минуты, когда по рации Кузьмин сообщил дежурному инженеру, что провода закреплены, и дежурный инженер сказал, что сейчас подадут напряжение. Под брезентовыми робами они стояли на голой, продуваемой, истоптанной до грязи сопке и смотрели вверх, на провода, как будто там можно было что-то увидеть кроме низкого тяжкого неба, где быстро меркнул последний свет и присвистывал ветер. Глаза слезились, словно песок был под веками... Ноги вросли в землю. Чего ждали все эти сонные, усталые, продрогшие литейщики, почему не спускались по гусеничному следу вниз, к машинам, чтобы завалиться спать на дно кузова?

...Это было как толчок, они услышали его, хотя ничего не произошло, они сперва почувствовали включенное напряжение, а потом уловили легкое гудение, но это зазвучало для них так, словно запели трубы над этими безлюдными, мерзлыми сопками. Праздничный оркестр шагал по дикому этому небу, гремели барабаны, играли фаготы, тромбоны, шел ток. Ток идет, ток идет! Где-то далеко, на побережье, в домах щелкали выключатели, сотни, тысячи маленьких выключателей, загорались телевизоры. Дети смеялись, прыгали, взрослые гасили свечи, коптилки, но ничего этого на сопке не было видно, и даже никто и не пытался представить, вообразить всю эту картину, а был только оркестр наверху, в темном холодном небе, в проводах, играли трубы, и чувство

такого полного счастья и оправдания жизни, что даже спустя годы, когда вспоминаешь, теплеет в груди. Совсем не много таких минут набирается в биографии любого человека, зато и хранишь их, как говорится, на черный день. Если бы можно было как-то объяснить Але чувство это, то, может, она и не сочла бы его решение таким нелепым, но вся беда в том, что словами этого не передашь, такое пережить надо, даже не пережить, а прожить вместе с ним, как Надя, перемучиться. Поэтому Аля-то и не могла понять, а может, и Кузьмин тоже поэтому чего-то недопонял из Алиных доводов, может, и у нее есть какая-то своя нажитая правда.

Коридорчик с рваными понизу обоями.

Антресоли, где лежали чемоданы, сбоку кирзовые сапоги, в которых Кузьмин ездил на ильменские объекты. Потрепанный коричневый чемодан. На нем и сидеть было удобно, и класть под изголовье где-нибудь в бесплацкартном вагоне...

Внимательно оглядывал он свою квартиру, словно вернулся из дальнего путешествия.

На книжной полке стояли журналы «Юность», Короленко, сборники «Пути в неизвестное», Андрей Платонов — об этом авторе Кузьмин ничего не знал, — впервые он просматривал книги ребят, удивился, обнаружив здесь Тимирязева и Мечникова.

На кухне приготовлены были для него бутылка кефира и холодные голубцы.

Ничего, кажется, не изменилось, те же кастрюли, банки, ваза с бессмертниками, та же клеенка, стена, исчирканная карандашом, — давно он ее не замечал, пригляделась, — детские проделки младшего сына.

В буфете сердечные капли, наверное Надины. Кузьмин попробовал сообразить, давно ли они здесь. Он вспомнил, что у Нади несколько месяцев побаливает сердце и о чем-то ее предупреждал врач. Возле тарелки лежал истрепанный бюллетень техотдела с их коллективной статьей о монтаже шин. Кто-то его брал и, видно, вернул, принес.

Капала вода из крана. Пахло укропом и яблоками. Ночью каждая вещь жила для себя, становилась заметной. С высокой чашки улыбались пионеры. Чашку подарил Леня Самойлов. На домашние вещи Кузьмин не обращал внимания, вещи появлялись и исчезали — случайные спутники бивачной его жизни. А вот, оказы-

вается, чашка — не просто чашка, она еще память о Лене, и, глядя на нее, можно припомнить тот день, когда Леня подарил ее, как принес, и какой он был, и где это было. Чашка хранила в себе, оказывается, массу воспоминаний, как живое существо. Без чашки ничего не сработало бы, не припомнилось.

Послышались шаги. Кузьмин подобрал босые ноги. Вошла Надя, заспанная, в халате, присела к столу, жмурясь от света. Зевая, рассказала, кто звонил, про ребят. Сама ни о чем не спрашивала. Смотрела, как ест. Глаза ее, даже заспанные, выделялись на лице резко и сильно. Еще раз зевнула недовольно и протяжно. Кузьмина взяла досада — могла бы поинтересоваться все же, где был так долго.

— Что же, до сих пор заседали? — спросила она равнодушно. — Что это за конференция?

— Математическая, — он достал программу. — Научная.

Она перелистала, скучая.

— Тебе-то там зачем?

— Пригласили.

— Время только терять, — категорично заключила Надя. — Дергают зазря.

Кузьмин не то чтоб улыбнулся, улыбка выскользнула, он не успел ее удержать.

— В самом деле, — она внимательно всмотрелась в него, — ты-то какое отношение имеешь?

Капля звучно ударила в раковину, и снова, еще громче. В самом деле, думал Кузьмин, какое я имею отношение, я, нынешний... Сон ушел из Надиных глаз. Она обеспокоенно выпрямилась, словно прислушиваясь.

— Это верно, — сказал Кузьмин. — Никакого отношения. Так... забавно было.

— Что забавно?

— Знаешь, кого я там встретил? Лаптева!

Выщипанные брови ее поднялись, кожа на левой, обмороженной щеке натянулась, покраснела. Это произошло в гололед, на Дальнем Востоке, когда Кузьмин заставил ее ждать на сопке вертолет с оборудованием.

— Лаптев... Лаптев... тот самый? Что долбал тебя? Он еще жив? — Она засмеялась, напряжение медленно покидало ее. — Узнал он тебя?

— Кажется.

Она вслушивалась не в слова, а в интонацию его голоса, и это беспокоило его. Он почувствовал, как трудно ему укрыться, она знала все его уловки и приемы.

— Узнал, узнал! Вот оно что... то-то, я вижу, ты не в себе. Ну и что он тебе сказал? Напомнил... И ты расстроился. До сих пор забыть не можешь. Не стыдно? — Она успокоенно зевнула, потянулась, халатик распахнулся, и Кузьмин увидел, как проигрывала она перед Алей. С оптическим увеличением выступили тонкие морщины на шее, блески седых волос. Набегал второй подбородок. И ему было больно оттого, что она проигрывала перед Алей. Потому что эти морщины были его морщины, и ее тело, руки — все это было уже неотделимо от него самого.

«Как моя работа, как прожитая жизнь, или нет — нажитая жизнь. Сменить — значит, наверное, изменить. Как предательски схожи все эти слова...»

Зрение его чудесно обострилось: он увидел мелкие трещины на стене, распухшую больную ногу Нади, синие тромбы на икрах, и в то же время видел мелькающие ее молодые ноги в шиповках над гаревой дорожкой стадиона, он видел следы своих былых поцелуев на ее плечах, на груди, и шрам от грудницы, и следы беременностей и болезней. Ясновидение это было неприятно. Мучительно было видеть себя на коленях, когда он стоял охватив ее ноги, и молил прощения, и, когда она его простила, он нес ее на руках по упруго-дощатому тротуару под огромными морозными звездами и был так счастлив...

Куда ж это подевалось? За что, за что он ее так давно не целует?

Он чувствовал, как от этого странного видения все вокруг меняется, и понимал, что жизнь его тоже должна измениться. Это было странно, потому что он-то как раз старался оставить ее неизменной.

Он поднялся, расправив плечи до хруста, потер глаза, словно бы собираясь спать. Ему хотелось подойти к Наде, обнять ее, но подойти вот так, ни с того ни с сего, оказалось невозможно. С удивлением он обнаружил какое-то препятствие. Что-торосло за эти годы. Искоса он взглянул на Надю: она точно прислушивалась к недосказанным его словам, беспомощно и встревоженно. Но, странное дело, глядя на нее, Кузьмин думал

не о том, от чего он заслонил Надю, а чего он лишил ее,— она и не подозревает, сколько бесплатных даров, какая красивая новая жизнь *не досталась* ей... В горле у него запершило, он заставил себя разгладить лоб, разжать губы, сделать веселое и сонное лицо, он поднял Надю со стула, притянул к себе, заново чувствуя ее мягкие груди, ее тело, знакомое каждым изгибом, осторожно поцеловал ее в щеку.

— Ты что? — почти испуганно спросила она.

— Да, да, все правильно, — ответил он невпопад.

Под утро он внезапно проснулся. Кто-то звал его тоненьким мальчишеским голоском: «Па-а-влик! Па-а-авлик!» Кузьмин улыбнулся. Он не знал, чему он улыбается, за окнами тьма чуть подтаяла, и можно было еще спать час-другой, тем более что день предстоял хлопотный, без особых радостей. Но он лежал и, улыбаясь, слушал, как босые мальчишеские ноги, шлепая, бегут по высокой траве все дальше и дальше и детский голос зовет его, замирая в отдалении.

ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ УЧЕНОМ И ОДНОМ ИМПЕРАТОРЕ

I

Имя Араго хранилось в моей памяти со школьных лет... Щетина железных опилок вздрагивала, ершилась вокруг проводника... Стрелка намагничивалась внутри соленоида... Красивые, похожие на фокусы опыты, описанные во всех учебниках, опыты-иллюстрации, но без вкуса открытия.

Маятник Фуко, Торричеллиева пустота, правило Ампера, закон Био — Савара, закон Джоуля — Ленца, счетчик Гейгера... — имена эти сами по себе ничего не означали. И Араго тоже оставался прикрепленным к железным опилкам и магнитной стрелке, пока не попало мне трехтомное его сочинение: «Биографии знаменитных астрономов, физиков и геометров».

В разного рода очерках по истории науки я встречал ссылки на эту книгу.

Историки часто пользовались ею. Она была написана в пятидесятых годах прошлого века, и было странно, почему до сих пор к ней сохраняется интерес. Ее цитировали почти все в кавычках и без. Если можно судить о ценности работы по количеству ссылок на нее, то книга Араго в истории науки занимала одно из первых мест.

Книга сама служила первоисточником — вот в чем был секрет. Большею частью она состояла из воспоминаний Араго о своих современниках.

Это были его учителя — Лаплас, Пуассон, Гаспар, Монж.

Его друзья — Фурье, Ампер, Френель, Малюс, Гумбольдт.

Он работал с Томасом Юнгом, Жаном Био, Пети.

Он знал Лангранжа, Деламбра, Дальтона, Кювье, Гершеля.

Однако «Биографии» заинтересовали меня не только фактами.

Выход в литературу у больших ученых всегда своеобразен. Автобиографии Алексея Крылова, Чарльза Дарвина, Норберта Винера, книги о науке Освальда, Шкловского, Вавилова, Капицы, Бернала отличаются от прочих мемуаров и научно-популярных работ, пожалуй, прежде всего свободой. Такую же свободу я почувствовал у Араго. Работы его предшественников для него живая плоть, из которой вырастали его собственные исследования. Он может судить о великих своих друзьях самостоятельно, ему не надо заручаться чужими авторитетами. При этом ему иногда удавалось решить труднейшую, уже чисто литературную задачу — связать научную характеристику с человеческим характером ученого. Показать, как житейские качества, склонности проникают в систему мышления, сказываются на результатах работы.

Блестящий экспериментатор, Араго знал, как опасно пренебрегать «мелочами». Он описывал, казалось бы, общеизвестные и поэтому малоприметные тогда подробности быта, привычек; спустя столетие его «мелочи» стали драгоценностями. Он был прав: откуда нам знать, какие детали нашей жизни поразят людей следующего века?

Его повествование вызывало действие, которое хочется назвать (ничего лучшего я не могу придумать) авторским эффектом, автоэффектом.

Араго писал о других, он сам увлекался и увлекал читателя перипетиями их научных поисков, зигзагами судеб в бурях Великой французской революции, наполеоновских войн, он с блеском специалиста раскрывал разные манеры мышления — все это захватывало, и в то же время возникал совершенно непредусмотренный интерес — к самому автору.

Где-то за фигурами героев, как шорох за сценой, как вычерки в рукописи, появлялась личность автора. Причем появлялась против его воли — вот что было любопытно: он всячески прятал себя и тем самым проступал, обозначался из умолчаний и недомолвок о самом себе.

Временами голос его срывался, бесстрастный тон переходил в крик — он не замечал этого, поглощенный любовью к своим героям. Каждого он любил по-другому. Откуда он брал столько чувств, не уставая восхищаться, гордиться их успехами, страдая от их слабо-

стей, каждый был неповторим, любого «...можно заместить, но никогда нельзя заменить».

В биографии Ампера он все отдавал Амперу, почти не говоря о собственных опытах, на которых Ампер основал свою теорию.

Он писал о Малюсе, стараясь не упоминать, что, продолжив исследования Малюса, он, Араго, открыл хроматическую поляризацию.

Рассказывая о Френеле, он не выделял собственных опытов, подтвердивших теорию Френеля. Выяснить из биографии Френеля, что Араго вместе с ним установил законы интерференции поляризованных лучей, невозможно. В крайних случаях он неохотно сообщал о себе в неопределенной форме: «один из членов академии», «один из его друзей».

Не так-то часто в науке встречаешь подобную скромность.

Известно, что в спорах о природе света, об электромагнетизме он резко расходился с Пуассоном, Био, Фурье, Гей-Люссаком, но нигде он не позволял себе никаких выпадов. Последующие годы подтвердили правоту Араго, он имел право торжествовать — он этого не делает. Он только свидетель, летописец. Единственное, что он не прячет, это свою влюбленность. Никогда не скажешь, что его научные заслуги не меньше, а иногда и больше тех, о ком он пишет с таким уважением и восторгом.

Порой он проговаривался — не то чтобы о себе, а о том, что мучило его:

«Действительно ли люди, занимающиеся отлично науками, становятся равнодушными ко всему, что другие считают счастьем или бедствием, становятся холодными к переменам в политике и нравственности?»

Я бы тоже мог задать этот вопрос многим из знакомых физиков.

Но не потому ли это мучило его, что ему самому надо было отвечать?

Значит, были в его жизни события, когда приходилось выбирать.

«Для истории человеческого ума полезно доказать, — пишет он, — что люди могут обладать гением в своей специальности и в то же время быть посредственностью в житейских делах».

В конце третьего тома была приложена его автобиография, вернее, короткие заметки о его молодости. Себя он не успел написать. И это жаль, потому что биография его была неожиданной.

Кто знает, когда, чьими стараниями возник образ ученого как человека, далекого от мирских дел, затворника, погруженного в свою не понятную никому науку. Сто, а то и двести лет существовал во всяких романах, повестях, пьесах бородатый сутулый чудаковатый, рассеянный, неуклюжий, наивный, колдующий среди книг, рукописей, приборов. Он, конечно, одержим своей идеей, он страдает, мучается, ищет, но внешне судьба его не примечательна яркими событиями, нет в ней особых приключений, опасностей...

Конечно, таких ученых было немало. Можно вспомнить биографии Фарадея, Павлова, Ньютона, Эйлера, Фурье, Эйнштейна. Но, оказывается, не меньше было и других великих ученых, чья жизнь богата приключениями, и опасностями, и подвигами. Ломоносов, Франклин, Галуа, Карно, Жолио-Кюри, Курчатов — список этот можно продолжать, обнаруживать в нем героев войны, революционеров, политиков, дипломатов, путешественников. Никто из них не был любителем приключений. Обстоятельства втягивали их, и жители лабораторий, тихих кабинетов проявляли мужество, находчивость, выносливость. И вот что примечательно — они умудрялись во всех своих превращениях оставаться учеными.

II

Сначала мне хотелось написать повесть «для среднего возраста», назидательную повесть о невероятных похождениях молодого Франсуа Араго в Испании и Африке...

Она писалась весело и легко, и, может быть, я зря от нее отказался.

Приключений было много, их хватило бы на большой авантурный роман в добрых традициях старой, но нестареющей литературы.

А можно было сделать лихой кинобоевик: актеры играют в алых камзолах, дерутся на шпагах, стреляют из длинноствольных пистолетов...

Там были бы переодевания, побеги, рабство, пираты. Главный герой — изящный молодой француз, немнож-

ко д'Артаньян, немножко хитроумный Одиссей, влюбчивый, храбрый, любознательный и легкомысленный. Что бы ни случилось, он благополучно выкручивается из самых отчаянных ситуаций.

Получилась бы занятная, веселая картина, тем более что все кончается как нельзя более счастливо. И незачем доказывать, насколько это исторически соответствует, что все так и было. Никому и в голову не придет сличать факты. Какое мне дело, соблюдал ли историческую правду Александр Дюма в «Трех мушкетерах»? И правильно делал, если не соблюдал.

«Похождения Доминик-Франсуа Араго» — мысленно я ставил картину и прокручивал для себя. Актеры играли превосходно, только все героини были похожи на женщин, которых я любил. А главный герой — на моего приятеля, тренера по волейболу. Ничего в нем не было от научного работника, а тем более от великого ученого. Стреляли пушки, хлопали паруса, рычали львы, и никакой науки...

Появлялся Наполеон, на мгновение, как взмах клинка, и потом где-то он все время присутствовал. Их жизни скрещивались упорно. Наполеон и Араго. Слишком настойчиво — Араго и Наполеон, — и тут я вдруг почувствовал нечто большее, чем приключенческий сюжет.

Была в этом радость сравнения. События располагались подстроено четко, почти симметрично, не надо было ничего сочинять. Оставалось лишь срифмовать факты, обнаружить их скрытый рисунок, соединить звезды, как это когда-то делали астрономы, в фигуру созвездия.

Лучше всего начать с поступления Араго в Политехническую школу. Ему было шестнадцать лет. Он приехал сдавать экзамены в Тулузу, мечтая о военной карьере. Шел 1802 год. Только что был заключен Амьенский мир, и Бонапарт, герой войны, стал героем мира. Слава его манила, казалась такой доступной...

Мальчиком Араго изучал главным образом музыку, фехтование и танцы. Почему-то в его маленьком Перпиньяне считалось, что именно эти предметы должен знать офицер. Сам он учил математику. Она появилась в его жизни случайно и захватила его, как недуг. Он самостоятельно одолевал Эйлера, Лагранжа, Лапласа.

У него и в мыслях не было стать математиком, ему просто нравилось *понимать* математику.

Экзамены были трудные. До него отвечал его товарищ и провалился; не мудрено, что экзаменатор Монж предупредил Араго:

— Если вы будете отвечать так же, то мне бесполезно вас спрашивать.

— Мой товарищ знает лучше, чем он отвечал, — возразил Араго. — Я, конечно, тоже могу не удовлетворить вас, хотя надеюсь быть счастливее его.

— Ну, знаете, неподготовленные всегда оправдываются робостью, — сказал Монж, начиная сердиться на самоуверенность этого провинциала из Перпиньяна. — Так вот, лучше не экзаменуйтесь, чтобы не стыдиться.

Араго ответил заносчиво:

— Больше всего я стыжусь вашего подозрения. Спрашивайте, это ваша обязанность!

— Однако, сударь, вы много о себе думаете. Ну что ж, сейчас увидим, имеете ли вы на то право.

Монж начал с геометрии. Араго ответил. Затем пошла алгебра. Араго знал работы Лагранжа «как свои пять пальцев». Щеголяя, он разбирал вариант за вариантом, ответ его продолжался час. Монж помягчел. Хвастливый юнец заинтересовал его, и ради любопытства он решил проверить его сверх программы. Араго простоял у доски два с лишним часа. Монж был в восторге, он поставил имя Араго первым в списке.

Спустя год, при переходе на второй курс, Араго сдавал экзамен знаменитому математику, геометру, академику Лежандру. Он вошел в кабинет Лежандра, когда слушатели выносили упавшего в обморок студента. Лежандр несколько не был смущен, он сразу же накинулся на Араго:

— Как вас зовут? Араго? Вы не француз?

— Если бы я не был французом, то не стоял бы перед вами.

— Я утверждаю, что тот не француз, кто называется Араго.

— А я утверждаю, что я француз, и хороший француз.

Поскольку странный этот спор зашел в тупик, Лежандр отправил Араго к доске. Однако вскоре он возвратился к прежней теме:

— Вы, без сомнения, родились в департаменте Восточных Пиреней.

— Да.

— Так и надо было говорить. Вы, значит, испанского происхождения?

— Я не знаю происхождения моих предков, знаю лишь, что я француз, и этого достаточно.

Оба, учитель и ученик, стояли друг друга в своем упрямстве. Взбешенный Лежандр закатил вопрос, требующий двойных интегралов, и тотчас прервал ответ:

— Этот способ вам Лакруа не читал, откуда вы его взяли?

— В одной из ваших работ.

— Ага, вы его выбрали, чтобы мне понравиться?

— Я об этом и не думал. Выбрал я его потому, что он кажется мне лучшим.

— Тогда объясните мне его преимущества, иначе я поставлю плохую отметку, во всяком случае за ваш характер.

Араго объяснил, поигрывая в небрежность и скуку.

Лежандр потребовал определить центр тяжести сферического отрезка.

Араго протяжно зевнул и заметил, что вопрос этот слишком легкий.

Лежандр усложнил вопрос. Араго ответил улыбаясь...

Надо было обладать величием Лежандра, чтобы прервать поединок признанием таланта этого наглейшего из учеников.

По этим выходкам рано о чем-либо судить, пока что это может остаться всего лишь обычной кичливостью самонадеянного, знающего свои способности студента. Но вот совершается поступок, и сразу недавнее поведение обретает смысл. Поступок всегда раскрывает шифр вчерашнего вздора и невнятицы. Молодость Араго тем и привлекательна, что она состояла из поступков.

В 1804 году первый консул Франции надел на себя корону императора.

Студентов Политехнической школы выстроили в актовом зале присягать Наполеону. Один за другим, вместо того чтобы отвечать: «Я клянусь!» — они отвечали: «Я здесь!» Это никак не могло означать повиновения новому императору Франции. А студент Бриссо (за-

помните эту фамилию!) выкрикнул с полной определенностью:

— Я не желаю присягать на повиновение императору!

Начальник школы приказал арестовать его. Араго командовал бригадой. Он отказался выполнить приказ.

Накануне в числе других он отказался поставить подпись под поздравлением императору. Начальник школы принес Наполеону список непокорных студентов.

Первым стояло имя Араго. Первым не по алфавиту, а как первого ученика.

— Я не могу выгнать лучших воспитанников, — сказал Наполеон, — жаль, что они не худшие, оставьте это дело.

Так Наполеон впервые узнал о существовании некоего восемнадцатилетнего республиканца Араго. Он и понятия не имел, что только что монаршая его милость определила судьбу человека, который в последние дни царствования определит его собственную судьбу.

Первый поступок Араго быстро и непредвиденно вызвал за собою следующий, он, в свою очередь, породил другой, и долго еще, не затухая, волна эта бежала по его жизни.

На первый взгляд, автобиография Араго написана не ученым. То есть там ученый и научные занятия — предлог, чтобы поведать удивительную, презабавнейшую одиссею одного молодого человека наполеоновских времен. О самих исследованиях — вскользь, без особой увлеченности, не это главное...

В Испанию Араго отправился в 1806 году по настоянию Лапласа. Незадолго до этого Лаплас добился у правительства ассигнований, чтобы продолжить работы по измерению меридиана.

Мечты об офицерском мундире еще томили Араго, он был разочарован в Наполеоне, но военные подвиги молодого Бонапарта по-прежнему кружили ему голову. Нехотя он согласился на эту скучную командировку, не смея отказать Лапласу.

Измерение меридиана началось во время Великой французской революции. Конвент постановил ввести во Франции метрическую систему мер. Мерой длины предложили метр — одну десятимиллионную долю чет-

верти длины меридиана. Но для этого надо было эту четверть измерить. Была послана экспедиция, Делаамбр во главе первой группы поехал в Дюнкерк, Пьер Мешен стал двигаться ему навстречу от Барселоны. Война прервала работу, и двадцатилетний Араго, назначенный вместе с Жаном Био комиссаром Комиссии долгот, должен был продолжить измерения меридиана дальше из Каталонии.

Шесть месяцев он провел на метеостанции в пустынных горах. Изредка вырывался в Валенсию, на ярмарку или к землякам.

Стремительные романы с местными красотками, дуэли из-за них и трактирные драки занимали его больше, чем измерения. В горах бродили отряды испанских партизан и разбойничьи шайки. Они нападали на купцов, на путешественников, на геодезистов.

Однажды Араго спас предводителя всех разбойников округа. Араго дал ему приют в своей горной хижине и от него получил за это право беспрепятственно ходить в горах от станции к станции в любое время. Он был единственный, кто ночью шел не таясь, размахивая фонарем, распевая песни. Стоило ему назвать свое имя, как его отпускали. Гарантия действовала.

Никто в округе — крестьяне, монахи, даже горожане — не понимал, чем заняты эти странные люди, о чем сигналият они желтыми огнями с вышек, что измеряют диковинными кругами, трубами, угломерами. Партия геодезистов пробивалась напрямик по глухим тропам...

Шли королевские войска, преследуя разбойников, гремели выстрелы, пастухи пасли стада коз, в городах еще хозяйничала инквизиция, по улицам Валенсии везли на осле колдунью, вывалянную в черных перьях, на перекрестке дорог лежали тела четвертованных разбойников...

А Франсуа Араго с товарищами безостановочно, день за днем, шагал, вымеряя свой незримый меридиан, утешаясь смиренной гордостью чернорабочего науки.

Линии геодезических треугольников пересекали провинции, страны, границы, скрепляя навсегда единым обручем Землю, уточняя фигуру земного шара, маленькой, сплюснутой в полюсах планеты.

Работа была безвестной, безымянной — может быть, первая работа, которая соединила ученых разных стран и ученых разных поколений.

Давно уже умер Борда — ученый, воин и моряк, затем, после восьмилетнего пути, умер на этом меридиане Пьер Мешен, приходили другие, продолжая этот путь, верста за верстой, мимо монастырей, селений, через войны, суеверия, лихорадки, обвалы, смены правительств, восстания.

Войска Мюрата вступили в Мадрид, нещадно расправляясь с патриотами. Провинции поднялись против интервентов. Крестьяне, ремесленники вооружались, готовясь к отпору. Испанские патриоты бросили вызов Наполеону — началась герилья, ожесточенная долгая народная борьба за независимость.

Био, заболев, вскоре уехал домой; теперь, когда Испанию охватила гражданская война, Араго тоже имел полное право собрать свои инструменты и вернуться во Францию. Вместо этого он отправился на Мальорку заканчивать измерения. Ему хотелось измерить «одним треугольником дугу параллели в полтора градуса».

Мальорка была для него не центром восстания, а точкой, которую надо было соединить геодезически с Ивзой и Ферментерою. Что поделать, таков был путь меридиана, не Араго его выбирал.

С точки зрения здравомыслящего человека, меридиан не испортился бы, если его покинуть на годик. Никуда он не делся бы, и даже партизаны не могли его повредить.

Однако в науке здравый смысл не такая уж ценность.

Сам Араго, конечно, считал себя весьма здравомыслящим человеком: попадая в очередную передрагу, он действовал хитро, находчиво, гибко; вопрос лишь в том, чего ради он постоянно из одной передраги попадал в другую, с какой стати он отправился в самое пекло, где его не ждали ни награды, ни слава, куда ему никто не приказывал лезть?

В столице Мальорки на главной площади Пальмы неделю горел огромный костер, толпа затапливала в огонь кареты дворян, сторонников Годоя, кричала: «Долой временщика! Долой французов! Смерть французам!»

Араго преспокойно устанавливал свои приборы на метеостанции над портом. Сочувствуя испанцам, он полагал, что их угрозы к нему не относятся. Пусть Напо-

леон воюет, сколько ему вздумается, каждый занимается своим делом, он, Араго, вместе со своими друзьями испанскими комиссарами Родригесом и Шэ тем временем выяснит, насколько Земля сжата у полюсов...

Поскольку испанцы не знали ничего о его сочувствии, а сжатие у полюсов им тоже казалось делом не экстренным, то они заключили, что француз, который сигналил огнями на виду французской эскадры, — обыкновенный шпион.

Рассуждения их были вполне логичны. И когда разъяренная толпа подступила к метеостанции, у Араго хватило здравого смысла не рассказывать им об эллиптических функциях, а переодеться крестьянином. Отлично владея мальоркским наречием, он незаметно смешался с повстанцами. Он подзадоривал толпу не церемониться с французом. Ему нравилась игра с опасностью, балансирующая пробежка по краю жизни. И вообще, если б не его работа, он не прочь был бы остаться с повстанцами. Не следует думать, что ученые так уж любят свою работу. Большой частью они рады отделаться от нее — и не могут. Почему так — то ли это какая-то хворь, то ли врожденное устройство души — неизвестно. В самом деле, что заставляет красивого ловкого парня, владеющего шпагой, быстрого на язык, просиживать годами над приборами, уточняя какую-нибудь четвертую цифру после запятой, вместо того чтобы стать купцом, пиратом, офицером, наконец императором?

Ночью Араго пробрался в порт на корабль экспедиции. Капитан отказался укрыть его. Тем временем преследователи обнаружили беглеца, они заняли причал. Араго с несколькими верными матросами спрыгнул в шлюпку и поплыл к Бельверской цитадели. За ним гнались на лодках. Толпа бежала вдоль берега. В схватке ему располосовали бедро, чудом ему удалось забраться в крепость, укрыться там в тюремной камере. Он смеялся: это был побег наоборот, побег в тюрьму. Он стал арестантом и был спасен. Спасен для новых опасностей. Какой-то фанатичный монах потребовал отравить заключенного. С монахами у Араго постоянно возникали нелады. Большой частью его интерес к духовенству кончался тем, что его порывались убить или отравить.

Иногда, со стороны, его поведение выглядело более чем странным. Представьте себе следующую сцену. Вместе с Био он является к архиепископу Валенсии. Им надо заручиться содействием церкви, чтобы получить помощь местного населения. Аудиенция проходит успешно, архиепископ обещает покровительство, Био и французский консул выходят, совершая при этом непростительную небрежность, — они забывают поцеловать руку монсеньору. Араго почему-то остается оцепенелый и безучастный. Чрезвычайно рассерженный архиепископ сует ему руку прямо в зубы, даже не руку, кулак. Грубость нисколько не возмущает Араго, наоборот, с нежностью, зачарованно он склоняется над волосатым кулаком архиепископа.

Попробуйте разгадать эту сценку, понять, что тут произошло. А между тем все дело заключалось, оказывается, в перстне. С первой минуты Араго заинтересовался перстнем архиепископа и стал прикидывать, какие оптические опыты можно поставить с великолепным большим аквамарином, сверкающим перед его глазами. С этими учеными никогда не угадаешь, что может взбрести им в голову.

III

В тюрьме он прочел в газетах душераздирающее описание жизни молодого астронома Араго, покорно позволившего себя повесить.

Многообещающий поворот, конец первой части и начало новых приключений Араго.

Он не пишет формул на стене своей камеры, не пересыпает свою речь научными словечками. У него иные заботы. Самые элементарные. Ему надо бежать из крепости. С помощью своего друга Родригеса он, ловко работав губернатора, бежит на рыбацьем барке в Алжир.

Итак, барк подан, впереди Средиземное море. Астронома Араго больше нет, не существует, он казнен, есть таинственный незнакомец и дальше на выбор — сражение с корсарами, захват фрегата английского, испанского, любого; можно возглавить отряды испанских партизан, стать грозой наполеоновских войск — «неуловимым Доминик-Франсуа», — полководцем, диктатором, и представляете — время от времени Парижская акаде-

мья получает подписанные инициалами «Ф. А.» записки. Чтение их производит переполох. Открытия в метеорологии, электричестве, оптике следуют одно за другим. Кто он, гениальный автор?..

Скорее всего, он вынужден будет оставить науку, почти как Наполеон.

В игре этих замыслов — несостоявшиеся варианты его судьбы. У каждого человека есть несколько несбывшихся биографий, набор случайно несостоявшихся судеб.

Пока барк медлил с отплытием, сюжеты ветвились один заманчивее другого. Араго в этот явно неподходящий момент грузил на барк свои приборы. Не знаю, каким образом друзья умудрились утащить их со станции, и вот теперь он грузил ящики со всякими треногами, барометрами, медными кругами, угломерами. Самым что ни на есть банальным приемом показывал он свою преданность науке. Словно какой-нибудь служака-лаборант. С этими учеными никогда не знаешь... Кажется, характер, самой природой назначенный для приключений: лихой, фатоватый мушкетер, которому море по колено, созданный для поединков, подвигов; так нет, обязательно испортит приключение, нарушит темп и вылезет нудный педант, готовый рисковать жизнью не ради возлюбленной или власти, а ради каких-то железяк, годных на то, чтобы измерить угол чуть поточнее...

С разными приключениями, которые так и льнули к Араго, добрался он до Алжира. Раздобыв фальшивый паспорт, он наконец сел на корабль и отправился в Марсель. Трое суток плавания, вот уже Лионский залив, конец путешествия, а там отчет в Комиссии долгот и можно вернуться в обсерваторию, а можно уйти в армию, надеть мундир, саблю... Увы, в самую последнюю минуту их настигает испанский корсар, берет в плен, тащит назад и доставляет в Розас.

Чиновники во главе с судьей должны были установить личность пленных. Араго пришлось проявить все свое искусство, чтобы замести следы. Допрос напоминал ему привычную обстановку экзамена, с той лишь разницей, что неудачный ответ означал расстрел.

— Кто вы?

— Бедный торгош.

— Откуда?

— Из страны, где вы никогда не были.

— Откуда?

— Я из Швеката.

— Нет, вы испанец, испанец из Валенсии, это слышно по вашему выговору.

— Да? А может, я из Ивзы?

— Попались! — сказал судья. — Вот здесь солдат из Ивзы, поговорите с ним.

Эффектная пауза. Толпа замерла, предвкушая развязку. И вдруг Араго чистым высоким голосом запел песню пастухов Ивзы. «Бе-бе-бе», — припевал он, бля козой и прищелкивая по-пастушьи. Где, когда успел он подхватить это характерное наречие? Солдат из Ивзы со слезами восторга поклялся, что перед ним земляк. Но Араго, хохоча, уже доказывал, что он француз. И бывший офицер бурбонского полка после нескольких фраз Араго тоже подтверждал — француз. Ничего подобного — перед судьей уже был не француз, а сын какого-то мотарского трактирщика. А через минуту он превратился в комедианта-кукольника из Лериды.

Замороченный судья хватался за голову, толпа гоготала. Араго разыгрывал представление у старой мельницы близ Фугераса. Чем только не наделила его природа — он жонглировал своими способностями, полный молодых сил и дерзости. Кто он — иллюзионист, актер, чревовещатель? Сейчас он начнет показывать фокусы, он превратится в арабского шейха, в мага-волшебника, предсказателя судеб...

Будь он вымышленный герой, он сорвался бы по касательной, вознесясь над знаменитыми авантюристами прошлого, вплоть до Казановы и Калиостро, поскольку он обладал еще разными научными сведениями. Но в том-то и секрет его молодости, что всякий раз какая-то центростремительная сила удерживала его.

В Алжире было полно испанских офицеров, в любую минуту беглеца могли опознать и отправить на казнь.

Уговорив часового, Араго передал письмо капитану английского корабля, стоящего на рейде: «Вы можете меня вытребовать, потому что я имею английский паспорт. Если этот акт будет для вас труден, то, сделайте милость, возьмите у меня рукописи и отошлите их в Лондонское Королевское общество».

Вот что его мучает. Рукописи. Хоть бы переправить в Европу результаты измерений. Хотя бы в Англию. Наплевать, что идет война и Англия — заклятый враг Наполеона. Измерения сделаны не для англичан и не для Наполеона. Важно, что с их помощью теперь можно вычислить меридиан и сжатие Земли у полюсов и сравнить с тем результатом, который Лаплас добыл теоретически.

Капитан пришел. Они переговаривались, стоя по краям карантинной площадки, огороженной канатами. Вытребовать Араго он не мог. Ну а рукописи? Взять с собою рукописи и передать в Королевское общество?.. Араго вытащил из-под рубашки грязную связку листов, испещренных цифрами. То, что он спас всяческими хитростями. Капитан рассердился. Он полагал по меньшей мере увидеть солидный фолиант в сафьяновом переплете. Было бы из-за чего рисковать. Какую ценность могла иметь пачка мятых бумаг, которой размахивал этот оборванец!

Английский капитан Джордж Эйре ничем не отличался от многих своих земляков, любивших видеть науку в строгих мантиях оксфордских докторов, среди громоздких приборов, обязательно непонятных и дорогих.

Что оставалось Араго? Бежать. Тщательно изучив местность, он ночью заполз в кустарник и оттуда благополучно пересек линию часовых. В это время в лагере поднялся шум. Вспыхнули факелы. Его хватились. Он метнулся назад, притворно потягиваясь, вошел в барак. Если бы его поймали, ему грозила верная смерть. Оказалось, что его спутники, взятые с ним в плен турки, арабы, евреи, искали своего защитника и спасителя, они боялись погибнуть без него. Он увидел их отчаяние и остался.

Злополучная рукопись вновь легла под солому, она снова была в плену, и он был прикован к ней, как каторжник к пушечному ядру.

Пленников перевели в каземат, оттуда в форт, оттуда в темный трюм на понтоне. Им давали сухой хлеб и горстку рисовой крупы, которую негде было варить. Иногда их выпускали в город. Заросший бородой, в лохмотьях, Араго бродил по кривым улочкам и рыжим базарам Паламоса, выпрашивая подаяние.

Во Франции его давно считали погибшим. Спустя двадцать лет Араго вспоминал о своих скитаниях с легким удивлением и завистью к себе, молодому, выносливому.

Рукопись, приборы... Он упоминает о них нехотя, они ему порядком осточертели. Кажется, что если бы он переправил рукопись в Англию, во Францию, то взмыл бы, свободный, легкий, ринулся бы в политику, в войну. Наука не могла поглотить весь его темперамент и энергию.

Тяжелее всего пришлось, когда пленных поместили в маленькую часовню. Каждое утро приносили из госпиталя умерших. Ночью, когда Араго лежал рядом с холодными телами, он мысленно возвращался в свое прошлое, ему хотелось проверить неизбежность траектории, которая привела его сюда. Ночь сладко пахла трупным тлением. Покойники все казались одинаковыми. Только раны были у них разные. Они умирали от французских штыков, французских пуль и ядер. Араго привык к виду смерти, но тут ее было слишком много. Йодистый привкус ее сводил скулы. Его собственная смерть переминалась с ноги на ногу за порогом вместе с караульными крестьянами. Всякий раз, когда открывались кованые двери, можно было ждать, что его поведут на казнь. Обидно было умереть без имени, без вины, ни за что ни про что. В душе его не было злобы к партизанам. Их считали фанатиками, но он-то знал праведность их ненависти к французам. Европа впервые увидела такое отчаянное сопротивление целого народа. Ему было стыдно за Францию.

Лунный свет сквозь узкие витражи пестро расцвечивал лица покойников. Бегали крысы. Сонно вскрикивали обезьяны. Неукоснительно прямая линия меридиана соединяла эту часовню с Парижем и нынешнюю жизнь Араго с его прежней. Сквозь все случайности и нелепости пробивалась, в сущности, жестокая связь. Как будто он тронул цепь, и движение отозвалось в том дальнем, первом звене его поступка, в актовом зале Политехнической школы. Сперва он отказался арестовать Бриссо, потом спустя несколько месяцев Бриссо, уже исключенный из школы, пришел не к кому другому, а именно к Араго, сказать, что он хочет освободить Францию от тирана. С инженерной тщательностью он

разработал план покушения на Наполеона. Долго тренировался в стрельбе из пистолета. Нанял маленькую комнату на площади Карусель. Окно ее выходило на место, где Наполеон обычно устраивал смотр гвардии. Бриссо стрелял без промаха. Ничто не могло поколебать его руки и намерений.

Откровенность Бриссо поставила Араго в отчаянное положение. Донести он не мог, об этом он и думать не хотел. Но и быть соучастником убийства, а это было убийство, он тоже не мог.

Несколько недель он потратил, уговаривая Бриссо отказаться от замысла.

Прав ли он был, спасая жизнь Наполеона? Наполеон виноват в войне с Испанией. Война сделала Араго пленником... Не пожинает ли он сам ныне плоды посеянного им? Поразительное, конечно, сцепление обстоятельств, которое привело его сюда, но, глядя назад, в прошлое, он мог отыскать неизбежность, похожую на возмездие. Все же оно существует, возмездие, должно существовать. Где-то в начале пути совершается выбор, казалось бы, незначительный, и вот через годы вдруг предъявляет счет. Вот теперь, испытав на своей шкуре несправедливость этой войны, увидев сотни невинно погибших, остановил бы он Бриссо?..

К ноябрю 1808 года по ходатайству алжирского дея Араго получил свободу и отплыл в Марсель.

На сей раз уже показались сахарно-белые дома на холмах Марсея, когда налетел шквал, корабль погнало на юг, сломало мачты и спустя неделю выбросило на берега Африки. Все начиналось сызнова. Араго бредет с караваном опять в Алжир, через селения, охваченные междоусобной войной.

Вокруг костров бродили львы. Араго стрелял в жаркую черноту. В одном из селений его узнали, он избежал смерти, прикинувшись паломником, готовым принять мусульманскую веру. Он творил намаз по всем правилам Корана, а под рубахой у него топорщилась все та же связка рукописей — седьмая часть четверти меридиана, дуга, измеренная им с точностью, доселе недоступной, земной эллипсоид, который он тащит за пазухой...

Бродячий Атлант однообразен, как будто обречен спасти и спастись, приключения давно превратились

в испытания, ему давно следовало погибнуть, сдаться, а он? Все еще жив и упрямо волочит за собою приборы и затрепанную рукопись.

В Алжире выяснилось, что дей, отпустивший их, казнен, а новый дей объявил войну Франции. Согласно правилам, Араго внесли в список невольников.

Новые приключения ничего не могли изменить. Они лишь нанизывались на растущее упорство Араго. Прошло несколько месяцев, и он опять на корабле и в третий раз плывет в Марсель.

Перед родным берегом английский фрегат чуть было не захватил их в плен. Судьба соревновалась с Араго в настойчивости, и вдруг в последний момент не то чтобы сжалилась, она сдалась, признала себя побежденной — стало ясно, что, сколько ни отбрасывать этого человека назад, он все равно будет возвращаться.

Препятствия не превратили его в одержимого. Слава богу, его не причислишь к лику маньяков науки, поглощенных лишь своей идеей. Достаточно взглянуть, чем он занимался, сидя в каюте корабля. Приводил в порядок рукописи? Готовил вычисления? Научный отчет? Как бы не так! Он наслаждался захваченной французами почтой испанских горожан с Мальорки. Он знал там многих. Без стеснения он вскрывал письма известных ему девиц, большинство упоминали о нем весьма лестно и откровенно обсуждали слабости его соперников. Ему исполнилось двадцать три года, и он раздувался от гордости. Это чтение было поинтереснее научных статей.

Воскрешение Араго произвело во Франции сенсацию, кандидатуру его немедленно предложили в Академию.

За день до выборов Лаплас позвал к себе Араго и сказал:

— Напишите письмо в Академию, что вы желаете избираться только после открытия вакансии для Пуассона.

Он считал, что Пуассон, учитель Араго по Политехнической школе, должен быть избран раньше. Пуассон был учеником Лапласа, его гордостью. Лаплас считал Пуассона лучшим математиком. Может, он и был прав, и, что еще важнее, он не мог быть неправым, он был властителем Академии, он был гордостью Франции

и любимцем Наполеона. Спорить с ним было немислимо. Но Араго был весел и счастлив, секрет его состоял в том, что он не рвался в Академию. Мундир академика прельщал его меньше, чем офицерский.

— Гумбольдт предлагает мне ехать в экспедицию на Тибет, — сказал Араго Лапласу, — там звание академика не поможет. Так что я могу и подождать. Но я бы не хотел поступить нетактично в отношении Академии. На мое письмо мне будут вправе сказать: откуда вы знаете, что о вас думают? Вы отказываетесь от того, что вам не предлагают.

Он отклонил просьбу Лапласа. Почтительно и твердо. Несогласие с Лапласом было дерзостью. Граф Лаплас, сенатор Лаплас возмутился. Достаточно ли вообще у этого юнца заслуг, чтобы быть избранным, не слишком ли он молод?

Если бы в эту минуту прокрутить перед Лапласом сцену тридцатилетней давности... Чтобы он увидел и услышал себя после того, как его забаллотировали в Академию. Он был так же самоуверен, кичлив, как Араго, ему тоже было двадцать три года, и ему говорили те же слова, и как он негодовал! Но сейчас он об этом не помнил. Он начисто забыл — вот как удобно устроена у человека память. Она стирает все, что неприятно.

Что другое, а сомнение в заслугах задело Араго. Сам он мог называть себя лоботрясом и неудачником. Он считал, что ничего не успел, потратил впустую три года в Испании, карабкаясь на тонконогих мулах по тропам Кабилии, пробиваясь сквозь воюющую страну, сидя в тюрьмах. Но то, что он не сделал, — это его забота, а ваша, милостивые государи, — изумляться тому, сколько он сделал. Самомнения у него хватало. И все же не без страха он попробовал подсчитать.

Вместе с Био он сделал несколько работ по атмосферной рефракции.

Провел наблюдения для проверки законов качания Луны.

Вычислил орбиты многих комет.

Определил коэффициент для барометрической формулы.

Изучил преломление света в различных газах.

Там, в Испании, он впервые применил турмалиновые пластинки для определения преломления света в воде.

Окончил самую большую триангуляцию для продолжения парижского меридиана.

Неплохо. Он сам не мог понять, когда он все это успел.

Осторожный, расчетливый, предусмотрительный Лаплас, пожалуй, впервые терпел поражение. Ему осмелились возражать и Био, и Лежандр, и Галле. За Араго вступился и Лагранж, а затем и Деламбр.

Араго выбрали почти единогласно.

Французских академиков пленило его «...мужество в самых затруднительных обстоятельствах, которое способствовало окончанию наблюдений и спасло инструменты и полученные результаты».

В конце концов и Лаплас подал голос за избрание Араго.

Получив зеленый мундир, расшитый золотом, Араго явился на прием к императору во дворец Тюильри.

Таков был новый порядок. Наполеон лично знакомился с избранными академиками.

Церемония имела разработанный ритуал. Возвращаясь с мессы, Наполеон в сопровождении своих маршалов и министров производил смотр творческим силам империи.

Шеренги писателей, артистов, художников, ученых выстраивались под присмотром руководителей Академии, секретарей отделений. Желавшие могли преподнести императору лучшие свои работы. Остальные так или иначе старались быть замеченными, удостоенными, упомянутыми.

Гений императора был всеобъемлющ — он с успехом наставлял архитекторов, давал указания художникам.

«Не бородавка на носу придает сходство,— учил он, и слова его повторялись, как откровение.— Никто не осведомляется, похожи ли портреты великих людей: их гений — вот что должно быть изображено».

Наиболее сведущим Наполеон считал себя в естественных науках. В молодости, слушая лекции Лапласа и Монжа, он мечтал стать ученым. Он даже написал трактат о внешней баллистике. И как знать...

Приятно было погрузиться о несостоявшейся научной карьере. Наполеон писал Лапласу: «Весьма сожалею, что сила обстоятельств удалила меня от научного поприща». Не будь он императором, он, конечно, зани-

мался бы математикой или артиллерией, а может, астрономией, но, увы, приходилось быть императором.

«Как только у меня будут шесть свободных месяцев, я употреблю их на изучение вашего прекрасного творения», — обещал Лапласу, автору «Небесной механики», знаток механики земной. Это «шесть месяцев» должно было всем показать уважение к сложности труда Лапласа. Шутка ли — потратить полгода своей императорской жизни, лишь бы насладиться творением Лапласа. Вот до чего доходила его любовь к науке. К счастью, этого не случилось, но стало ясно, какими способностями он обладал, ибо надо быть незаурядным математиком, механиком, чтобы разобраться в трудах Лапласа. Недаром молодого генерала Бонапарта избрали вице-президентом Египетского института наук и искусства и членом по математическому отделению. Пожелай он — и был бы президентом, но он решительно отказался, предложив президентом великого геометра и своего друга Гаспара Монжа. Предложение его после приятного сопротивления было принято. Монж — президент, гражданин Бонапарт — вице-президент и гражданин Фурье, великий математик и теплотехник, — неперемный секретарь. Так что гражданин Бонапарт по своему ученому весу располагался где-то между Монжем и Фурье.

Французская революция подняла авторитет ученых.

Молодой, еще стройный, прямо-таки худенький генерал Бонапарт искал их поддержки. Он был полон почтения к своим недавним наставникам, он доверял им, советовался с ними — скромный солдат, «самый штатский среди военных», казалось, он мечтает создать власть ученых и политиков, инженеров и военных.

Ему верили. Эти математики, астрономы, механики всегда верят в разумные вещи. Они считали, что если ученые бескорыстны, преданы родине, талантливы, то, следовательно, они могут заниматься государственными делами. Эти чудаки всегда рассматривают идеальную схему. И хотя Наполеон, став диктатором, постарался освободить их от всяких надежд, они долго еще продолжали держаться за свою утопию. И Араго тоже был убежден, что государством должны управлять ученые. Культ науки у него переходил в культ ученых. Ученые бескорыстны, образованны. Стремление к истине, свой-

ственное естествоиспытателям, оздоровит государственную машину. Но как раз тут научное мышление изменило ему, он не сумел, а может, не желал понять того, что происходило у него перед глазами. Хотя бы с его учителем Лапласом. А пример был поучительный.

Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел. И величайший правитель Франции, и величайший ученый Франции поначалу были довольны. Однако вскоре выяснилось, что министра из Лапласа не вышло. К счастью или к сожалению, но не вышло. Взялся он за дело со всем усердием исследователя. Пытался вести управление по математическим расчетам. Формализовать аппарат. Внедрить математические методы. Но оказалось, что администрация новой империи работала по иным законам. Канцелярские интриги не поддавались расчетам. Интересы чиновников были посильнее формул, эти интересы исходили не из целесообразности и, уж во всяком случае, не из интересов страны. Лаплас заслужил славу неудавшегося министра. По своему характеру он и в самом деле не мог оставаться министром. Но неслыханный его провал примечательнее успехов некоторых прославленных наполеоновских министров.

Став императором, Наполеон стал мудрее, образованнее генерала Бонапарта. Император все знал сам и не нуждался в советах астрономов или ботаников. Он был достаточно умен, чтобы не отталкивать от себя Академию, он ласкал ее, награждал и щелкал по носу, выбивая вольнодумство.

На торжественном заседании, посвященном десятилетию его правления, секретари отделений зачитали обзоры успехов наук, обязанных заботам императора.

Зал был переполнен. Академики соревновались в эпитетах и сравнениях. «Величайший гений...», «Праздник природы...», «Редчайшее сочетание...».

«Бог, сотворив Наполеона, почувствовал необходимость в отдыхе!»

«Наконец-то человечество получило достойную награду».

...Увековеченный в скромном сером сюртуке, император шел, сопровождаемый свитой, сиянием звезд, лент, золотого шитья. Араго смотрел, не чувствуя в себе волнения и удивляясь прежним мечтам своим.

Наполеон изменился, обрюзг, отяжелел. Еще больше преобразились люди, окружавшие его. За три года отсутствия Араго исчезли остатки якобинских замашек. Каждое слово императора ловили, как наивысшую истину, преувеличенно ахали, преувеличенно смеялись, истово замирали от восторга. Лица «бессмертных», знакомые Араго по портретам, потно блестели от страха и обожания. Здесь взвешивался малейший жест, учитывались интонация, молчание.

Бархат, толстые золотые эполеты, бриллианты, помаженные склоненные головы... Только что Араго так же подставлял голову обезьянам, которые ловко истребляли вшей в его волосах, и только что он протягивал холщовую торбу, выпрашивая банан и кусок хлеба.

Наполеон остановился перед ним.

Испания избавила от многих иллюзий, и все же Араго чувствовал силу, исходящую от этого человека, она действовала вопреки воле и разуму.

— Вы очень молоды, — сказал Наполеон. — Как вас зовут?

Один из академических чиновников опередил Араго со стремительностью личной охраны:

— Его зовут Араго!

— Чем вы занимались?

Другой чиновник, а может, то был ученый, Араго не успел посмотреть, проворно ответил:

— Астрономией!

— И что вы сделали в этой науке?

Тогда первый, перехватывая, крикнул:

— Он измерил дугу меридиана в Испании!

Араго восхитила шустрость этих молодцов. Они знали о нем наверняка все. Император, кивнув, отошел, решив, очевидно, что перед ним немой или идиот, обалдевший от робости и восторга.

Он не успел сказать Наполеону ни одного слова. Да и о чем? Что следует говорить императорам? Бесстрашные истины, которые нравятся школьным историкам? Но надо, чтобы это еще нравилось и императору. Или, во всяком случае, чтобы не очень ему не нравилось.

С каким чувством он ехал во дворец? После избрания он считал себя героем — он спас не только ценные инструменты и рукописи, он сохранил результаты многолетних измерений, стоивших Франции огромных

средств. Строились станции в глухих горах Каталонии, Арагоны, Валенсии. Караваны мулов перетаскивали по горным тропам оборудование. Ураганы опрокидывали вышки... Правда, на фоне дворцовой роскоши эти суммы съеживались. И работа его вряд ли могла поразить придворных сановников. Другое дело, если бы он обнаружил новую планету, открыл всемирное тяготение или в крайнем случае изобрел динамит. Они напоминали того английского капитана — Джорджа Эйре. Вереница джорджей, милых, сочувственно удивленных: стоило ли так трястись над этой пачкой грязных листков? Что от них останется? Лишь несколько цифр в справочнике.

Свита озидала с жалостью недотепу-новичка, этого простофилю, который упускал счастливый случай вернуть что-нибудь приятное и тем удержаться в памяти императора.

Он улыбался.

— Ваше величество, — мог бы он сказать, — кроме меридиана, я еще кое-что сделал.

— Что же? — спросил бы Наполеон.

— Я спас вашу жизнь.

В его распоряжении оставались еще две или три секунды. Наполеон был рядом. Можно было сказать:

— Вы изволили заметить, ваше величество, что я очень молод, но это не помешало мне еще шесть лет назад отвести руку убийцы. Бриссо уже умер, — добавил бы он, — теперь я могу назвать его имя.

Кто еще в этом зале мог похвастаться чем-либо похожим? В запасе у него были и новые подзорные трубы, и разные сведения, полезные для войны. Несколько слов — и положение его могло круто измениться. Всего один шаг отделял его от обладающих славой, богатством, властью. Ничего не стоило ему очутиться среди них. Привычная отчаянность и дерзость подмывали его. Было так легко сделать этот шаг. За ним мерещились бурная пена славы и разные прелести столичной жизни, по которой он стосковался, дворцовые балы, орден Почетного легиона, покровительство монарха, карьера, карьера...

Молча он смотрел на круглую спину Наполеона.

Может быть, он вспомнил ночные трупы в часовне.

Что-то с ним происходило.

Может, он не хотел отойти в сторону от меридиана. Слишком долго он шел, сверяя свой путь с меридианом.

У меридиана были свои законы. Участок, измеренный Борда, давно слился с отрезком, измеренным Кассини, а тот — с отрезком, измеренным Мешеном, теперь к ним добавится дуга, измеренная Араго.

На меридиане не пишут имен, на нем не будут обозначены три года жизни Араго, его скитания, свист пуль, кровь, чума, там будут лишь градусы, минуты, секунды.

Наполеон уходил, не оглядываясь. Еще шесть лет было до того дня, когда ему придется долго ждать ответа Араго.

История — лучший драматург, она позволяет себе любые условности, симметрию почти геометрическую. Шесть лет назад и шесть лет вперед, а посередине — Араго в зале Тюильри...

IV

Это случилось после Ватерлоо. Наполеон приехал в Париж 21 июня 1815 года. Палата непрерывно заседала, предместья бушевали, готовые стать на защиту императора: «Долой палату! Не нужно отречения! Император и оборона!» Но для Наполеона все было кончено. 22 июня он подписал отречение и удалился в Мальмезон.

Гаспар Монж — академик, создатель начертательной геометрии — был один из немногих, кто не оставил в эти дни Наполеона. Ежедневно он являлся в опустелый дворец к своему кумиру. Двадцатилетняя дружба связывала знаменитого геометра с императором.

Монж заслуживал полного доверия, и однажды Наполеон открыл ему свой план, наилучший выход из создавшегося положения, последнее произведение великого стратега — уехать в Америку, не ради спасения своей свободы, а для того, чтобы начать новую, достойную наполеоновского гения деятельность.

— Бездействие для меня убийственно, — говорил он Монжу. — Судьба отняла у меня надежду когда-нибудь возвратиться к моей армии.

Что же ему оставалось, чем еще он мог заполнить свою душу, ум? Имелось ли что-либо в этом мире, рав-

ное славе завоевателя, вершителя судеб народов и государств? Конечно, нет. Но была наука — его первая, молодая любовь. Ему вдруг показалось, что он и в самом деле любил ее и втайне был верен ей. Пожалуй, наука, только она может вернуть ему душевное равновесие, удовлетворить его честолюбие.

Когда-то, еще будучи первым консулом, он сказал академику Ламерсье, который отказался от должности государственного советника:

— Вы хотите полностью принадлежать науке? О, как я понимаю вас! Если б я не сделался военачальником и орудием судьбы великого народа, неужели я стал бы бегать по департаментам и салонам, чтобы добиться портфеля министра! Потерять независимость и самого себя — нет! Я занялся бы наукой, точными науками! Я вступил бы на дорогу Галилея и Ньютона. И поверьте, я всегда добивался того, чего хотел, в любых самых великих походах и предприятиях, так же было бы и в науке. Я прославился бы не меньше своими открытиями...

Ему внимали с умилением. Он и сам верил в универсальность своего гения. Легенда была удобной — в любой области он добился бы своего. Не властолюбец, не карьерист, он жертвовал своим призванием ради славы Франции.

При всяком удобном случае он разукрашивал этот образ, пока сам не уверился в своем неосуществленном таланте. В Америке он намерен был вести научные экспедиции, обследовать весь Новый Свет — от Канады до мыса Горн. С истинно наполеоновским размахом он готовился завоевать, в смысле науки, обе Америки. Что именно изучать, не важно: то, что еще неизвестно. В Америке этого добра хватает, насобирать открытий можно сколько угодно. Одна лишь загвоздка — найти спутника, который натаскает его до современного уровня науки, введет в курс. Это должен быть талантливый ученый, отважный, закаленный, чтоб хоть как-то соответствовал Наполеону... Такой, как Монж, но помоложе, сам Монж из-за ветхости не потянет.

Решено было оказать эту честь Араго. Разработана была финансовая часть предприятия. На деньги Наполеон не скупился. Естественно, за потерю работы и должности во Франции Араго будет щедро вознагра-

ден. В любом случае он получит большую сумму. Будет закуплено лучшее оборудование, приборы астрономические, физические, метеорологические...

Монж воспринял этот план с энтузиазмом.

В своем рассказе Араго изо всех сил сдерживает иронию, сохраняя невозмутимость беспристрастного летописца.

Отказ Араго изумил Монжа. Как же так? Известно, что дружба великого человека — благодеяние богов. О чем еще можно мечтать — стать спутником Наполеона, удостоиться быть ему верным помощником, соучаствовать в его грандиозном замысле. Монж продолжал верить в звезду императора. Ореол божества еще сиял для него над челом Наполеона. Со всем красноречием Монж уговаривал Араго, не понимая, как можно уклониться от столь лестного предложения.

Это уже спустя десятилетия Араго иронизирует. В те дни замысел Наполеона не выглядел фантазией. Наполеону удавалось все. Поражение, разгром, Ватерлоо — не в счет. Побед было больше, чем поражений. Отречение? Ну что ж, однажды он уже отрекался. Чудо Ста дней смутило самые трезвые умы. Вслух уверяли друг друга, что дело императора проиграно, исторически обречено. Фурье не побоялся сказать это в лицо Наполеону. Однако втайне тот же Фурье побаивался — а вдруг... Не верили и верили. От Наполеона можно было ожидать чего угодно. Казалось, для него не существовало неодолимого. Снова, в который раз, все могло перевернуться.

Надо было иметь смелость отказать Наполеону. Он продолжал оставаться опасным, великим, могущественным. Изо всех сил Араго пытался стряхнуть с себя гипнотическую силу этого человека, вернуться к действительности.

— Англичане и пруссаки подходят к столице! Франция гибнет!.. Как можно думать сейчас о путешествии на мыс Горн! — доказывал он Монжу. — Это немыслимо, Наполеону сменить оружие на барометр! В такую минуту! Когда надо защищать нашу независимость!

Насчет войны Наполеон знал побольше Араго, войну он проиграл до конца, до последнего шанса. Сидя в Мальмезоне, он нетерпеливо ждал известий от Монжа. Это была последняя ставка Наполеона, запасной со-

кровенный козырь его фортуны. Согласие Араго не вызвало сомнений. В глазах Наполеона он оставался тем самым обалделым, онемелым от восторга малым в новеньком зеленом мундире академика, замершим на воощенном паркете белого зала Тюильри...

Монж не терял надежды уломать своего ученика.

Никто из приближенных не понимал, почему Наполеон тянет, откладывает отъезд. Снова, не объясняя, приказывает распрягать лошадей. Дорог был каждый час. Два фрегата ждали его в порту Рошфор, готовые отправиться в Америку. День проходил за днем. Он подолгу стоял у окна. Подъезжали конники, кареты, и все было не то, не то... Наконец 28 июня Наполеон покинул Мальмезон и ехал не торопясь, словно ожидая кого-то. Утром 3 июля он прибыл в Рошфор. К этому времени английская эскадра блокировала гавань. Но еще можно было пробиться. Офицеры предложили вывезти его ночью на небольшом судне. Он отказался.

Момент катастрофы, крушения великого человека вызывает у потомков почему-то особый интерес. Биографы расплетают нить событий на волокна тончайшие, самые тончайшие. Любая нелогичность, любое нарушение структуры становится тайной. О странности этих решающих, трагических дней спотыкались почти все специалисты. Осторожные исследователи отмечают непонятную нерешительность Наполеона, никак не свойственную его натуре, военному опыту. Другие смелее: они догадываются, что Наполеон явно медлил с отъездом, как может медлить человек ожидающий... Чего? Научная добросовестность молча пожимает плечами.

На острове Святой Елены Наполеон в разговорах и воспоминаниях перебирал всю свою жизнь. Однако сколько-нибудь удовлетворительного объяснения своему поведению в последние дни свободы он так никогда и не дал.

Историку, вероятно, свидетельства Араго недостаточно. Не знаю, существуют ли другие подтверждения его рассказа. Да это и не так существенно, мне важна была не подлинность, а возможность.

По-видимому, можно найти доказательства, когда хотят, их находят, но зачем мне доказательства, я верю Араго, как верят правде; когда правде не верят, тогда ее начинают доказывать, и тогда уже говорят «я согласен», а не «я верю».

Рассказ Араго мог ускользнуть от внимания историков, затеряться; они из разных миров, эти два человека, не приходит в голову сопоставлять их интересы. Но стоило обнаружить их случайное скрещение, как сразу все сцепилось, выстроилось, и представилась утлая, отчаянная надежда Наполеона начать на новой земле новую жизнь, с иными радостями и ценностями. Может, впервые он пожалел о своем юношеском выборе. Ничего не осталось от его побед, от его империи. Все осыпалось, как тлен, труха. Стоило ли тратить на это свой гений! Он мог стать великим ученым, таким же, как Лаплас, а может, и больше.

...Он обнял Араго. Наконец-то. Еще не поздно. Америка, экспедиции, лаборатории, не одна, не две, лучшие мастера, десятки ученых — все это скреплено именем Наполеона, его славой, его миллионами, его волей, его гением, ведь гений его в полной силе... Не правда ли?

— Не знаю, ваше величество, — уклончиво сказал Араго. — Я никогда не начинал сначала, я умею только продолжать.

Можно было счесть это дерзостью. Ничего не стоило приказать арестовать, связать этого человека, заставить его, припугнуть, да мало ли средств еще оставалось у низложенного императора! Отныне Наполеон был свободен от всяких обязательств. Но он был уверен, что Араго поймет, преисполнится. Ему давали славу — неслыханную славу помощника Наполеона, деньги, каких не имел ни один ученый, новую жизнь, полную приключений, открытий, власти — да, да, полнота научной власти над экспедициями, лабораториями...

— Ах, ваше величество, если б я не был занят! Видите ли, я сейчас выясняю, какой поляризованный свет способен...

На какой-то миг перед Наполеоном словно приоткрылись пространства Вселенной, внутренняя сущность вещей, где колебались, расходились волны света, бесшумно мчались планеты, возникали заряды, поля; мир, который не подчинялся никаким императорам, который был неподвластен политике, силе, войнам, где царили иные, вечные, нестареющие законы.

— ...Иногда я удивляюсь, ваше величество, чем заняты все остальные люди, если только они не изготавливают мне приборы и линзы. — Араго улыбнулся над

собственным простодушием. Он хитрил, но он и не хитрил. — Почему вы не можете уехать сами, ваше величество?

Уехать самому? Но что такое он сам, не император, не полководец, просто господин Бонапарт, мистер Бонапарт, частное лицо... Вдруг предстать перед всеми обыкновенным человеком — толстенный, маленький, плохо воспитанный корсиканец. Лишенный министров, полиции, солдат — что же останется? Заурядная личность?

На него показывают пальцами, удивляются, разочарованно переглядываются. Его высказывания любой сможет счесть банальностью, над вкусом его можно будет безнаказанно смеяться. На Эльбе его защищал ореол узника, опасного пленника, его боялись, его сторожили. В Америке он будет никем, просто беглец.

Без миссии поездка в Америку становилась бегством. Бесславный побег ради спасения жизни. Нет, это не для Наполеона. Он хотел оставаться Наполеоном, любой ценой, но Наполеоном.

Смешно, что судьба Наполеона ныне зависела от какого-то Араго, вернее, от увлечений этого Араго, от какой-то поляризации, линз...

Наполеон, привыкший повелевать народами, государствами, королями, должен был упрашивать, уговаривать этого человека, не имеющего ни власти, ни денег, ничего...

...Это я заставил Араго догнать Наполеона. Меня мучило отчаянье Монжа, холодная, черствая неуступчивость Араго и даже уязвленное самолюбие Наполеона.

Я видел, что отказ Араго нанес последнюю рану, сквозь которую выходили энергия, предприимчивость...

На самом деле этой встречи не было, и разговора этого не было. Но мне хотелось, чтобы Араго согласился. Все-таки это был Наполеон. Рушилась грандиозная эпоха, и, кажется, если бы Араго решился, примчался в последнюю минуту в Рошфор, Наполеон воспрянул бы и не было бы острова Святой Елены и тихого, бесплодного угасания этого могучего духа.

Монж делал все, что мог. «Никогда любовь Монжа к Наполеону, — пишет Араго, — не обнаруживалась с такой силой, как в продолжении этих переговоров».

Араго не осуждал Монжа, противиться очарованию Наполеона умели немногие. (До конца своих дней Монж сохранял верность опальному другу. За это его исключили из Академии. Травить бонапартистов было выгодно и безопасно. Власти запретили участвовать в его похоронах. Араго выступал в защиту памяти Монжа. Он требовал уважения к Монжу за его верность. Араго не допускал мысли, что большой ученый может быть безнравственным человеком. Для него нет сомнений, что и Лавуазье казнен несправедливо — «он благороднейший гражданин и великий химик». Он обличает тех, кто казнил астронома Бальи. Они невиновны, жертвы тех кровавых лет,— и Ларошфуко, и Кондорсье, и Мольбер.)

Он уверен, что творческий гений и злодейство несовместны. Наука нравственна, и занятия наукой нравственны, они требуют бескорыстия, честности, товарищества.

И непреклонности...

Восьмого июля Наполеон поднялся на борт фрегата «Заале» и вышел в море, все еще собираясь отправиться в Америку. Он действовал как бы по инерции — пассивно и вяло. Его офицеры попросили англичан пропустить фрегат. Английский капитан сказал, что если Наполеон выедет в Америку, то нет гарантии, что он не вернется и не заставит Англию и Европу принести новые кровавые жертвы.

Капитан другого французского фрегата вызвался напасть на англичан, отвлечь их на себя, и тем временем «Заале» проскользнет, выйдет в океан. Это было в духе Наполеона, однако он не дал согласия. Он предпочел плен.

Ньютон однажды заметил: «Надобно чувствовать в себе силы, сравнивая себя с другими».

Нынешний Араго осмеливался сравнивать себя с Наполеоном. Не в смысле военном. Есть ученые, способные командовать армиями, но даже великий полководец не может стать ученым. Призвание к науке требует осуществить себя смолodu. Наполеон когда-то сделал свой выбор...

Теперь Араго вел собственное сражение с защитниками теории истечения света. Его соратник Френель получил законы новой волновой оптики. Давняя борьба перешла в решающую битву, впрочем, не известную никому, кроме десятка-другого умов, распаленных своими

знаниями и заблуждениями. Не обращая внимания на европейские катастрофы, они напрягались ради новой, пока что безупречной истины. Только что Араго сумел поставить победный опыт, подтверждая формулы Френеля. Теперь они готовили следующий удар, желая установить законы интерференции поляризованных лучей. Речь шла о природе света — это было поважнее планов Наполеона и любых обещаний.

Предложение Наполеона никак не взволновало Араго.

Наука не прибежище для потерпевших неудачу монархов.

Спустя тридцать лет он вспомнил об этом эпизоде без всякого тщеславия, мимоходом, лишь в связи с Монжем.

Казалось бы, сама возможность такого поворота могла ему льстить. Шутка ли — уехать с Наполеоном в Америку, какие сюрпризы истории таились в этом варианте и для Араго, и для Франции, и вообще... Все зависело от него. А для него это был курьезный случай, не больше. Нечто несущественное в сравнении с тем, что произошло дальше. А что же произошло?.. А ничего. Он остался в своей обсерватории. Он сделал десять, а может, двенадцать неплохих работ. Вот, пожалуй, и все, ничего больше.

Через два месяца император-победитель, вступивший в Париж Александр I, пригласил Араго переехать в Петербург работать в Академии наук. Александр искал славы просвещенного монарха. У Екатерины были Эйлер, братья Бернулли, у него будет Араго.

Узнав об этом, другой победитель, Фридрих, король прусский, пригласил Араго работать к себе в Берлин, пригласил сперва через Гумбольдта, а потом и сам явился в обсерваторию.

Араго даже не предложил ему сесть. Был солнечный день, и он торопился закончить опыт.

Он отказывал монархам быстро и небрежно. Ему было не до них. Он гонял луч света сквозь всякие пластинки, призмы, вертел его зеркалами, ломал, гасил... Его мучили загадки мерцания звезд. Он чувствовал себя волшебником, хозяином Вселенной. Он чувствовал себя ничтожеством перед неистощимым хитроумием природы...

...Но все это будет не скоро, через шесть лет. Пока что он стоит в зале Тюильри. Он впервые говорил с Наполеоном, то есть Наполеон говорил с ним и двинулся дальше, и за императором двинулись министры, маршалы, герцоги, уже прославленные навечно своими подвигами, изменами и милостями Наполеона. Казалось, не будет конца могуществу и счастью этого маленького, легко полнеющего человека. Араго смотрел ему вслед, слушал, как Наполеон отчитывает и поучает Ламарка. Старик плакал от унижения и обиды, на которую он не мог ответить. Араго запоминал каждое слово.

В такие моменты запоминается все, любая малость. Ему было стыдно и грустно.

Великий Ламарк плакал перед этими князьями и генералами; Наполеон решал, быть ли ему, Араго, академиком. Расшитые зелеными ветвями мундиры академиков были для наполеоновских придворных ливреями, и они были правы — это были ливреи. Они считали, что это им, для них Араго тащил свою рукопись. Вот он, финиш скитаний и всех его злоключений.

Но почему, по какому праву они были высшими судьями — миловали и казнили? Кто из них понимал, что такое Ламарк? И что такое путь меридиана?

Не проще ли быть с ними, тоже вершить суд... Или с этими, в зеленых ливреях? Такова цена за науку. Он презирал и жалел своих наставников и учителей и жалел себя за то, что он был не лучше, ему тоже хотелось, чтобы Наполеон поблагодарил его: «Вы молодец, Араго, родина не забудет вас». Он жаждал похвал, он ведь шел сюда и за этим. Отныне его место здесь, в этой шеренге склоненных и ждущих милости. Весь его путь сквозь Испанию, Африку приводит, оказывается, в эту шеренгу. За все надо платить, и за прямоту пути тоже, выходит, надо расплачиваться молчанием или поклоном.

Сидя в тюрьме, попрошайничая на улицах Паламоса, он был свободней, чем здесь, где надо притворяться, выслушивать поучения, терпеть, унижаться... Чего ради? Только для того, чтобы делать свое дело, чтобы иметь возможность осуществить себя, остаться самим собой, чтобы остаться... Если б он хотя бы знал, что у него получится, сколько он сделает в электричестве, в оптике, в метеорологии, ему было бы легче, все было бы легче, все было бы оправданно...

Никто и ничего не мог ему подсказать, облегчить этих минут.

Это как мистика — вжиться в судьбу давно ушедшего человека, очутиться вместе с ним в каком-то часе его жизни, он-то и знать не знает, что будет дальше, а мы уже знаем все, до последнего его дня и после смерти, что будет с его книгами, с разными его теориями, какие он совершит ошибки, что будет с Наполеоном, что произойдет от этой встречи, что будет с этой юношеской обидой на то, что Наполеон никак не отметил, не увидел, не сказал...

И слава богу, что ничего не сказал! Отныне Араго был свободен. Больше он не будет нуждаться в этом, в этих наивных иллюзиях молодости. Молодость его кончилась. Иные судьи, иные боги, иные награды ждали его.

1971

СОДЕРЖАНИЕ

КАРТИНА. Роман 5

ПОВЕСТИ

Однофамилец 352

Повесть об одном ученом и одном императоре . . . 477

Гранин Д.

Г 77 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4: Картина:
Роман; Повести.— Л.: Худож. лит., 1990.— 512 с.
ISBN 5-280-00959-8 (Т. 4)
ISBN 5-280-00860-5

Четвертый том содержит, помимо романа «Картина», повести
«Однофамилец» и «Повесть об одном ученом и одном императоре».

Г 4702010201-055
028(01)-90 **подписное**

ББК 84.Р7

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ**

Редактор **Т. М е л ь н и к о в а**

Художественный редактор **В. Л у ж и н**

Технический редактор **Н. Л и т в и н а**

Корректоры **А. Б о р и с е н к о в а, Г. Щ е г о л е в а**

ИБ № 5653

Сдано в набор 01.02.89. Подписано в печать 20.10.89. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,30. Уч.-изд. л. 28,45. Тираж 100 000 экз.
Изд. № ЛПН-234. Заказ № 1940. Цена 2 р. 20 к. Ордена Трудового Красного
Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отде-
ление. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производ-
ственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького
при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

